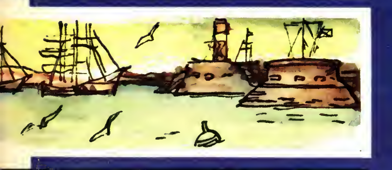
К·М·СТАНЮКОВИЧ



ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

К·М·СТАНЮКОВИЧ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

Москва
«Художественная литература»
1988

ББК 84Р1
С77

Тексты печатаются по издаиию:

К. М. С т а и ю к о в и ч, Собраиие сочииеиий в шести томах. М., Гослитиздат, 1958—1959 и К. М. С т а и ю к о в и ч. Собраиие сочииеиий. М., изд. Карцева А. А., 1887—1900, т. 1 и т. XII («Америкаиская дуэль» и Словарь морских термииов)

Вступительиая статья
ЛЕОНИДА СОБОЛЕВА

Иллюстрации
А. Ф. ТАРАНА

Оформлеиие
А. И. РЕМЕННИКА

С $\frac{4702010100\text{-}006}{028(01)\text{-}88}$ 9-88

ISBN 5-280-00087-6 (Т. 1)
ISBN 5-280-00086-8

О КОНСТАНТИНЕ МИХАЙЛОВИЧЕ СТАНЮКОВИЧЕ

Посмертные судьбы писателей — вернее, судьбы книг, в которые вложены их думы и чувства,— складываются по-разному. Бесспорно, вечно живут в поколениях книги великанов литературы. Рядом с ярчайшими факелами разума и искусства существуют в веках книги не столь всеобъемлющие, но все же нашедшие общность человеческих мыслей и чувств. Однако есть еще громадное множество книг, которые в свое время привлекали к себе сочувствие современников и составляли передовую литературу своей эпохи, но так и не смогли переступить той таинственной грани, что отделяет забвение от бессмертия.

Можно очень талантливо продолжать начатое кем-то дело, можно очень точно идти по проложенному кем-то курсу и даже открывать на нем новые острова. Но по суровому закону отбора память столетий сохраняет имена главным образом тех, кто первым сказал нечто новое, кто повернул корабль на неизведанный курс.

Сказанное весьма близко относится к русскому писателю конца XIX века Константину Михайловичу Станюковичу. Его рассказы о море и моряках любимы читателями и сейчас, но мало кто знает, что из тринадцати томов Собрания сочинений, вышедшего при жизни Станюковича, «морские» рассказы и повести составляют только три.

* * *

Этот талантливый и умный, хорошо знавший жизнь и удивительно работоспособный писатель, честный труженик-просветитель, страстный поборник передовых идей шестидесятых годов, создал множество «неморских» произведений. Тут и романы, и повести, и пьесы, и рассказы, тут и публицистические статьи и обличительные очерки, написанные в щедринской манере. Произведения его отличаются высоким гражданским чувством, прямо и остро решают вопросы морали, порядочности, честности, принци-

пиальности, смело выражают протест против реакционной политики царского правительства, душившего те освободительные стремления, которые возникли в русском обществе после «реформ» и отмены крепостного права. Некоторые из них, как «Танечка», «Два брата», «Испорченный день», «Похождения одного благонамеренного молодого человека, рассказанные им самим», «Бесшабашный», по-своему ставят проблему «отцов и детей», с болью и гневом осуждая карьеризм, стяжательство, холодный жизненный цинизм тех представителей молодого поколения, для кого жажда личного преуспевания заслонила прогрессивные цели, которым служили их отцы. Все симпатии Станюковича на стороне честных, добрых, неимого наивных интеллигентов — тех, кто хотя и не способен, как это ясно и самому писателю, что-либо изменить в жизни, но кто пытается противостоять карьеризму, беспринципности, хищничеству сильных мира сего и кто стремится вопреки им бескорыстно служить народу (Чернопольский в «Испорченном дне», Глеб Черемисов в «Без исхода», Василий Вязников, Леночка, Лаврентьев в «Двух братьях», Липецкий в «Дураке» и др.).

Эти качества писателя привлекали к нему лучшую часть читательской общественности его времени, в особенности передовую учащуюся молодежь.

Популярность Станюковича как писателя умножалась еще и необычностью его биографии. В самом деле, нужно было быть глубоко убежденным и очень принципиальным человеком, чтобы в возрасте двадцати одного года решительным образом поломать свою будущую жизнь во имя идеи. А так оно и было.

Сын влиятельного адмирала, властной его волей предназначенный с самого детства для карьеры флотского офицера и получивший в морском корпусе необходимые для того воспитание и образование и даже корабельный опыт (отец послал его в трехгодичное кругосветное плаванье, «чтобы выбить из головы дурь» — мысль об университете),— молодой Станюкович нашел в себе мужество выйти в отставку, что повлекло за собой полный разрыв с отцом и потерю наследства. Так вошел он в ту трудную, полную лишений и опасностей жизнь, на которую были обречены в России литераторы-демократы, посвятившие себя служению народу, защите прав человека и борьбе за его лучшее будущее. Став на этот подвижнический путь, Станюкович до последнего дня оставался верен своим принципам и долгу честного писателя.

Проработав первый год новой жизни сельским учителем в селе Чаадаеве Владимирской губернии («чтобы хорошо ознакомиться с народным бытом», как объяснял он сам в своей автобиографии), К. М. Станюкович поступил на службу сначала в Управление Курско-Харьковской железной дороги, потом в Пе-

тербурге в Общество взаимного поземельного кредита, затем в Ростове-на-Дону в Волжско-Донское общество.

Все эти годы Станюкович писал и печатался, став профессиональным литератором-журналистом, драматургом, автором повестей и романов, постоянным сотрудником журнала «Дело». Того самого «Дела», в котором печатались Глеб Успенский, Омулевский, Засодимский, соратник Чернышевского Н. В. Шелгунов,— журнала, которому Главное управление по делам печати дало в 1874 году вполне определенную характеристику: «Издатель и самые сотрудники «Дела» заведомо принадлежат к числу писателей самого неблагонадежного направления, не раз осужденного правительством. Они продолжают свою пропаганду, избегая лишь резкостей, которые бросаются в глаза и подлежащих прямо зачеркиванию цензором, но зато придают всему журналу вредный характер подбором, содержанием и направлением статей в известном духе, и притом по всем разделам журнала».

Работе в «Деле», которую он начал в 1872 году, Станюкович отдавал все свои силы и материальные средства. В 1880 году после смерти редактора журнала Благосветлова он вместе с Шелгуновым и Бажиным стал соредактором журнала, а в декабре 1883 года взял на себя его издание.

Деятельность К. М. Станюковича давно уже привлекала внимание царского правительства. Еще с конца шестидесятых годов он был внесен в список неблагонадежных и фактически стал поднадзорным, а с весны 1883 года на него было заведено уже особое дело. Выезды его за границу для лечения обратили на себя внимание полиции, следившей за встречами Константина Михайловича в Женеве и Париже с русскими эмигрантами-революционерами, которых он действительно привлекал к участию в журнале, поручив, например, С. М. Степняку-Кравчинскому, известному народнику-революционеру, перевод романа Джованьоли «Спартак» и опубликовав его в «Деле» в 1881 году. Департамент полиции охарактеризовал Станюковича как литератора, который «принадлежит к числу крайних радикалов и давно имеет связи с русской эмиграцией и революционными кружками внутри империи».

Весной 1884 года Станюкович поехал на юг Франции, в Ментону, за своей безнадежно больной дочерью Любой. Перед возвращением писателя в Россию эмигранты устроили ему прощальный обед. На границе Константин Михайлович был арестован и препровожден в Петропавловскую крепость. В обвинительном заключении говорилось, что Станюкович, во-первых, оказывал содействие к сокрытию от преследования полиции «государственного преступника» Леона Мирского после покушения на жизнь генерал-адъютанта Дрентельна, во-вторых, во время своих неодно-

кратиых поездок за границу иаходился в иепосредственных отиошениях с прожнвающими в Жеиеве и Париже русскнми эмигрантами, а также с редакцией революциоииого журнала «Вестинк народной воли» и, в-третьих, помещал в журнале «Дело» статьи вредного направлення. Приговор был выиесен через год: весиой 1885 года К. М. Станюкович был отправлен в трехгодичиую ссылку в Томск.

Все случилось одиовремеино, разом: арест, год крепостн, смерть дочерн, ссылка, потеря любимого журнала, полное матернальиое разореиие. Какие иужиы были душевные силы, какая убеждеиность, какое мужество, чтобы выдержать этот удар, ие опустить головы, ие сдаться!

Но писатель-граждании смог это сделать. В душиой обстановке царской провннцнн XIX века, в темные годы торжества победоносцевской реакцнн Стаиюковнч продолжал энергнчно работать. Ои стал сотрудиком томской «Сибнрской газеты», печатал в ией свои очеркн, критическне статьи, даже сатирическне стнхи и роман на местиом матернале, также облнчительиого характера, «В места ие столь отдаленные»,— н ие это ли участие Станюковича в газете помогло сложнться миеиию о ией у начальннка томского жандармского управлення как о газете «иаправлення крайне вредного»?

Здесь, в Томске, в годы ссылкн, в судьбе писателя произошло событне огромиой важности, определившее всю дальнейшую его литературную судьбу до самых наших дней н иадолго еще вперед: ои напнсал небольшую повесть «Васнлнй Ивановнч» и рассказ «Беглец».

Это былн первые морскне рассказы Стаиюковнча, еслн ие считать юношеских очерков, иапечатаиных в «Морском сборике» в шестидесятых годах.

* * *

С какой изумляющей свободой н мощью хлыиуло из прекрасиой н любящей народ душн писателя то безмериое богатство впечатленнй, чувств н мыслей, которым еще прн вступленнн в жизнь так щедро одарил его русский флот — корабли и моряки! Поразителеи тот факт, что в литературном своем воплощеинн это богатство открылось через четверть века. Более того: самые раиние, детские впечатлення о высоких духовных качествах русских моряков, героев Севастопольской обороны 1854—1855 годов, воскреслн во всей своей вдохиовенной иепосредствеиности даже через сорок семь лет — в искреиней трогательной повести «Севастопольский мальчик».

Едва лншь писатель, томясь в снбнрской ссылке, припомнил

корабли, океаны, матросов и офицеров русских кораблей, беспокойных и грозных адмиралов, робких первогодков-новобранцев и просоленных стариков боцманов — в литературной его судьбе произошел поворот от популярности к славе, изумительный поворот, обусловивший бессмертие его имени.

Произошло некое чудо. Писатель, печатавшийся уже более двух десятков лет, вдруг получил как бы второе дыхание, вторую литературную молодость, притом более цветущую, чем первая. Забыв все, в какой-то великолепной одержимости, в том счастливом состоянии, в каком образы, мысли и их оболочка — трудные и капризные слова богатого русского языка — приходят в желательное соответствие,— в состоянии, какое называется старомодным словом «вдохновение», Станюкович в короткое время словно выплеснул из себя впечатления недолгой своей флотской службы.

Ожили — да так и остались на десятки лет — прекрасные и трогательные образы русских матросов, готовых жертвовать собой ради товарища и ради корабля, образы молодых офицеров, чуявших свободный дух шестидесятых годов и пытавшихся чем-то облегчить жестокую каторгу, на которую обречен был русский крестьянин, забритый во флотский экипаж; фигуры страшных, но по-своему великолепных капитанов и адмиралов, для кого жизнь марсового стоила дешевле секунды опоздания уборки парусов, но кто не только в бою, но и в состязании на парусном учении оберегал незапятнанную честь русского флага, никогда не склонявшегося ни перед врагом, ни перед соперником.

Давно сгнили доски палуб тех фрегатов, клиперов, тех кораблей, о которых писал Станюкович. Но вот уже три четверти столетия живут созданные им образы русских флотских людей, плававших на этих кораблях. Происходит это потому, что писатель сумел поймать в жизни и воплотить в литературе самое важное: сущность людей, их мысли и чувства.

Первооткрывательство же Станюковича состоит в том, что он во всей жизненной правде показал то особое и удивительное человеческое существо, которое именуется русским моряком — будь это матрос или адмирал.

Были и до него в русской литературе книги о кораблях и о моряках. Но разве можно сравнить книжные, мелодраматические персонажи моряков Бестужева-Марлинского с живыми, плотными на ощупь образами Станюковича? Разве литературные описания Марлинским бушующего моря идут в какое-либо сравнение с точным, строгим и мужественным рассказом Станюковича о шторме хотя бы в очерке «На каменьях»? Очень мало можно было узнать о матросах и офицерах, о их жизни на военном корабле из академически спокойного и как бы постороннего труда

Гончарова «Фрегат «Паллада». Вряд ли нужно перечислять доказательства, которые можно взять из любого морского рассказа Станюковича. И без того несомненно, что новым своим циклом Станюкович перевернул всю свою литературную биографию. Как ни велики были его литературные заслуги, они померкли перед тем, что посчастливилось написать ему за эти короткие годы. И произошло это потому, что литературный корабль его сделал решительный поворот и — не разбившись о скалы — вышел в океан.

Причиной же тому было взаимодействие таланта писателя и того удивительного мира, который называется флотом.

Что же такое этот удивительный и прекрасный мир, который не дает спать подростку, который мучает юношу, который радует сложившегося молодого человека, ставшего матросом или офицером? В чем тайна этого поразительного обаяния и почему вода реки или озера, даже вода внутреннего моря, вроде, скажем, Каспия или Байкала, не действует на юную мужскую душу с той силой, с какой действуют на нее серо-зеленые волны Балтики или глубокая прозелень Черного моря,— не говоря уже о сводящем с ума голубом просторе океана? Что же тянет туда юношу, вступающего в жизнь?

Почему таким необыкновенным ореолом озарены подвиги матросов и офицеров на всех наших морях и океанах и в боях на берегу под Севастополем в обороне 1854—1855 и в обороне 1941—1942 годов? Почему так волнуют, так привлекают сердца советских юношей подвиги кругосветных путешественников Крузенштерна, Лисянского, Беллинсгаузена или Невельского, кто открыл проход между Сахалином и материком, или Павла Степановича Нахимова, кто не только бил, но и добил турецкий флот, или адмиралов Лазарева и Ушакова?

Почему так привлекают к себе молодые сердца подвиги тысяч и десятков тысяч безвестных для нас матросов, чьей отвагой и боевыми трудами вошли в бессмертие эти флотоводцы и командиры?

В свое время отставной лейтенант русского флота Станюкович в огромной мере ответил на эти вопросы. Писатель-реалист — он показал русских матросов и офицеров во всем их мужестве и бесстрашии, во всем чисто русском, неосознанном гуманизме, во всей чистоте прекрасной и честной души, во всей их самоотреченности и беззаветной любви к родному кораблю и к русскому флоту — в любви, рождающей крепчайшее морское товарищество, штормовое и боевое.

В темное и жестокое свое современье Станюкович осмелился сказать, что матрос — это человек. Все те прекрасные человеколюбивые передовые идеи, которыми жила душа этого честного

русского писателя и которые он пытался выражать в своих романах и повестях, приобрели звучание стократ более сильное, едва лишь его литературный талант обратился к флоту. Именно здесь писатель смог выразить все то прогрессивное, движущее вперед, что жило в нем долгие годы и определяло всю его деятельность.

Взаимодействие духовного направления писателя и великолепно знаемого им материала жизни совершилось именно тут.

Вот почему морские рассказы Станюковича жили и живут до сих пор среди самого широкого читательского круга. Дело совсем не в том, что, как считалось, писатель «нашел свою тему, обрел самого себя». Не «богатая жила», не случайный успех, а великая закономерность соответствия формы и содержания, сочетания идеи и опыта, соединения жизненных наблюдений и философских размышлений — вот что определяет долгую жизнь морских рассказов Станюковича.

* * *

В 1888 году закончился срок ссылки, и Станюкович получил возможность вернуться в столицу, к своим друзьям, к любимой работе в журнале. Ссылка не сломила его — он остался верен прежним идеалам, и не удивительно, что и в Москве и в Петербурге, где жил и работал писатель в девяностые годы, он сразу сблизился с передовой, демократической интеллигенцией. Он много пишет и печатает в лучших журналах — «Вестник Европы», «Русская мысль», «Северный вестник», «Русское богатство», а с 1892 года становится вторым редактором «Русского богатства», того самого журнала, куда перешло большинство сотрудников закрытых правительством «Отечественных записок». В эти годы Станюкович создает лучшие морские рассказы и повести: «Нянька», «Побег», «Грозный адмирал», «Беспокойный адмирал», «Вокруг света на «Коршуне» и многие другие — и по-прежнему продолжает работать над «неморскими» произведениями. Это была счастливая полоса в жизни писателя — и как бы итогом ее явился справляемый литературной общественностью в декабре 1896 года юбилей Станюковича в связи с тридцатипятилетием его литературной деятельности.

Много писем и телеграмм получил писатель. Его поздравляли собратья по перу: Чехов, Гарин-Михайловский, Мачтет, Шеллер-Михайлов; редакции многих газет и журналов, студенты, гимназисты, друзья и совсем незнакомые люди — простые читатели. Ему писали из Москвы, Петербурга, Одессы, Самары, Херсона, Калуги; благодарили за морские рассказы, за «Письма знатного иностранца», за романы и повести, за то, что его «живое одушевленное слово всегда будило общественную совесть, всегда

призывало на борьбу за свободу совести и мысли», за то, что он, несмотря на преследования правнтельства, оставался «писателем-гражданнном, служившнм весь век образцом стойкости убежденнй».

Станюковича радовала эта высокая оцеика его литературной н общественной деятельностн, ио большая скромность н требовательность к себе заставилн его иаписать письмо к устроителям юбилея: «Я не заблуждаюсь насчет своих лнтературных заслуг н не бывал в роли Нарцисса. Если я иикогда н ни при какнх обстоятельствах не служил пером тому, что счнтал вредным или безнравственным, то ведь это ие достоинство, а примитивная обязанность всякого иесколько уважающего себя литератора... Что же касается до моей деятельности как беллетриста, то оиа иичего выдающегося не представляет в исключительно художествеином смысле, чтобы за иее чествовать... Я же как писатель был и есть, выражаясь метафорнчески, одиим из матросов, не боящихся бурь и штормов и не покидающих корабля в опасности, но ии капнтаном, ни старшим офицером, ни даже рулевым литературиым не был».

Так пнсал Стаиюкович. Но читателн думали иначе, и письма, полные благодариости, любви, самых лучших пожеланий, продолжали прнходить и после юбилея.

А через год с иебольшнм писателя постигло страшное горе: умер его шестнадцатилетинй сын: сын-друг, сын — надежда и радость. Станюкович тяжело переживал эту утрату. Он метался нз города в город, с места на место, даже забросил литературную работу. Ослабленный организм не выдержал, и в 1900 году врачи отправили тяжело заболевшего писателя лечнться в Крым. Возвратившнсь, Стаиюкович продолжал много работать, но болезнь отпустила его иеиадолго. Осеиью 1902 года, сдав последние страницы «Севастопольского мальчика» в журнал «Юный читатель», пнсатель с сильным мозговым переутомлением и общим нервным расстройством уехал в Италню, сначала в Рим, потом в Неаполь. Но и там, борясь с болезнью и все усилнвающейся слепотой, Станюковнч продолжал писать. «Мие же работать иеобходимо. И не могу я ие работать. Только проснусь утром — мозг требует упражнеиия, как желудок пищи в известные часы»,— говорил он друзьям, уговарнвавшим его поберечь себя.

В мае 1903 года он умер и был похоронен в Неаполе.

* * *

Станюкович любил образ корабля, легко несущийся по голубой глади океаиа под ровным, постояииым пассатным ветром, иадувающим его многоярусные паруса.

Не так ли и литературный талант его, наполнив свои паруса вечным океанским ветром, верным спутником молодости, вышел на безмерные просторы времен, сам не заметив, где перешел он таинственную грань между забвением и бессмертием, подобно тому как идущий в дальнем плавании корабль не замечает меридианов, пересекаемых им?

Более полустолетия минуло с тех пор, когда выпало перо из рук писателя,— а книги его все еще живут. И все еще идет полным ветром его корабль под белыми парусами, чистыми и незапятнанными, как чиста и незапятнана была совесть этого примечательного русского писателя.

И счастливы будут те из нас, современных морских писателей, чьи книги угонятся в океане времени за этим белоснежным кораблем, несущим на палубе вечно живые образы русских матросов и офицеров.

Леонид Соболев

30 марта 1958 г.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

МАТРОССКИЙ ЛИНЧ

I

Клипер медленно подвигался, держась в крутой бейдевинд, под зарифленными парусами. Покачивало-таки порядочно. Шел дождь. Горизонт вокруг затянулся мглой, и по нависшему мутному небу носились черные клочковатые облачки. Ветер дул порывами: то затихнет, то вновь заревет, проносясь заунывным воем в намокших снастях.

Уж целую неделю не выглядывало солнышко, и старший штурман волновался, что нельзя сделать обсервации и точно определиться. По счислению, мы считали себя в ста милях от Гонконга и рассчитывали подойти к нему к полудню следующего дня.

Кутаясь в просмоленные парусинные пальтишки, матросы не отходят от своих снастей, перекидываясь изредка отрывистыми замечаниями о погоде и встряхиваясь, как утки, от воды. Вахта выдалась беспокойная. Приходилось быть постоянно начеку для встречи часто налетавших шквалов.

На мостике, одетые в дождевики, с короткополыми зюйдвестками на головах, стоят капитан и вахтенный офицер. Капитан совершенно спокоен; молодой офицер несколько возбужден. Первый раз в жизни ему доводится править такую бурную вахту, распоряжаясь самостоятельно. Ему и приятно, и жутко, и в то же время досадно, что капитан часто выходит наверх, словно не доверяя осмотрительности молодого мичмана, считающего себя уже опытным моряком после перехода Атлантического и Индийского океанов.

Капитан, переживавший в молодости точно такие же чувства, отлично понимал состояние юноши-офицера и не вмешивается в его распоряжения, хотя зорко наблюдает

за всем. Особенно часто и пристально всматривается он в горизонт.

Вон там, на склоне неба, что-то чернеет, растет в грозовую тучу и, отделившись от горизонта, серым, быстро движущимся широким столбом приближается к клиперу с наветренной стороны.

Это несется шквал с дождем.

Громким, чересчур громким, слегка вибрирующим голосом офицер несколько рано командует убрать паруса и, стараясь подавить волнение, невольно охватившее его при виде грозного шквала, принимает небрежную посадку лихого, ничего не боящегося моряка.

Паруса взяты «на гитовы» (убраны), и маленькое судно с оголенными мачтами готово к встрече врага, предоставляя его ярости меньшую площадь сопротивления.

Срывая и крутя перед собой седые гребешки волн, шквал бешено нападает на клипер, охватывая его со всех сторон проливным дождем и мглой. Яростно шумит он в рангоуте, гудит во вздувшихся снастях, кладет судно на бок и несколько секунд мчит его с захватывающей дух быстротой, так что кругом видна только одна кипящая пена.

Шквал пронесся, и мгла рассеялась. Клипер приподнялся и пошел тише. Некоторые из молодых матросов, преувеличившие в страхе опасность, набожно перекрестились с облегченным вздохом.

Снова раздается звучный голос вахтенного офицера. Снова натягивают паруса, и клипер по-прежнему покачивается с боку на бок на неправильном волнении, легонько поскрипывая своими членами.

— Я поторопился немного убрать паруса, Павел Николаевич? — обращается к капитану мичман, несколько смущенный. Ему кажется, что капитан должен был заметить его трусость перед шквалом.

— Отлично распорядились... молодцом!.. Всегда лучше убраться раньше, чем позднее! — проговорил с обычной приветливостью капитан и, спускаясь вниз, прибавил:

— Если засвежеет — дайте знать... Впрочем, навряд ли засвежеет. Барометр подымается.

II

В то самое время, как наверху посвистывал ветер и усталые, измокшие под дождем вахтенные матросы мечтали о смене, подвахтенные отдыхали внизу. Время бы-

ло послеобеденное, и матросы безмятежно спали. Все пространство кубрика и нижней палубы, все укромные местечки около мачт и трубы были заняты лежащими врастяжку людьми. Несмотря на парусинные виндзейли, пропущенные сверху в открытые люки для притока свежего воздуха, в палубе стоял тяжелый запах. Пахло жильем, сыростью и смолой. Громкий храп шести десятков матросов, только что плотно пообедавших, раздавался на все лады из конца в конец.

Не все, впрочем, спали. Некоторые из матросов, «похозяйственнее», воспользовавшись досугом, справляли свои делишки: кто тачал сапоги, кто занимался шитьем. Несколько человек сушили у «камбуза» (судовая кухня) смокшие буршлаты, слушая, как вестовые, перемывавшие тарелки, рассказывали офицерскому «коку» (повару) о том, что господа «нонче очень одобряли» обед.

— Только один Мурашкин фыркал... Он уж у нас завсегда; что ни подай, все: «фуй» да «фуй»! Одно слово, «фуйка»! — насмешливо заметил один из вестовых.

— Фуйка и есть! — повторили вестовые и засмеялись, видимо довольные прозвищем, которым они окрестили младшего штурмана за его постоянное привередничанье, вызываемое не столько недовольством, сколько желанием показать, что он обладает тонким гастрономическим вкусом.

— На берегу, поди, трескал подошву под соусом из водицы и облизывался, а теперь фордыбачит,— сердито проговорил повар.— И хучь бы толк в кушанье понимал, а то так только... Так прочие были довольны?

— Очинно даже довольны... Старший офицер два раза жаркова накладывал... Скусное, говорит... А дохтур пирожки хвалил... С десяток их слопал Карла Карлыч!

Уютно примостившись у трубы и упираясь босыми ногами в плинтус машинного люка, пожилой рябоватый матрос с серьгой в ухе, с сосредоточенным, строгим видом, обламывал новый парусинный башмак, напевая себе под нос приятным голосом какой-то однообразный, заунывный мотив без слов. По временам он оставлял работу и, оглядывая со всех сторон здоровенный башмак, любовался им с чувством удовлетворения, выражавшимся тихой улыбкой в чертах его загорелого, энергического лица. Затем лицо его снова принимало обычное выражение строгого спокойствия человека, видавшего виды, и он принимался работать и подпевать, ухищряясь искусно строчить, несмотря на качку. Это — Василий Федосеич Федосеев, ис-

правный баковый матрос, пошедший третий раз в «дальнюю», влиятельный среди команды. В знак уважения его все зовут Федосеичем, хоть он и не унтер.

Рядом с ним, лежа навзничь с раскинувшимися по бокам руками, сладко храпел молодой черноволосый плотный матрос Аксенов, из рекрут, первый раз попавший в море. Он был из одной деревни с Федосеичем и в качестве земляка пользовался покровительством бывшего односельца, не забывшего еще деревни и любившего поговорить о ней с молодым матросиком.

Громко всхрапнув, Аксенов вдруг проснулся. Его румяное, здоровое курносое лицо, блестевшее масленым налетом, улыбалось еще блаженной сонной улыбкой, которая бывает у людей после приятных сновидений. Он потянулся, сладко позевывая и щуря свои большие тюленьи глаза, и, повернув голову, стал смотреть, как Федосеич работает.

— А важные башмаки будут,— промолвил наконец он.

— Чего не спишь? Спи себе, знай, Ефимка! Еще не свистали вставать. Ночью на вахте не разоспишься... Лучше загодя отоспись! — ласковым тоном проговорил Федосеич, не отрываясь от работы.

— Будет... важно выспался... Однако покачивает,— заметил он, присаживаясь.

— Есть-таки маленько... Это кто тебя так, Ефимка? — вдруг спросил Федосеич, увидав под глазом у своего земляка свежий подтек.

— Известно, кто... Все он, черт лупоглазый... боцман!

— Однако здорово он тебя, братец ты мой, звезданул! Ишь ты... Чуть-чуть не потрафь, в самый бы глаз! — продолжал Федосеич, внимательно оглядывая синяк.— За что он тебя?

— Вовсе зря... право, зря! — оживленно заговорил Ефимка, припоминая недавнюю обиду.— Небось знаешь, как он с нашим братом... вовсе обижает... Даром, что приказано народ не бить и господа не дерутся, а он...

— Ты не мели пустова, Ефимка! — строго остановил его Федосеич...— Иным разом, если за дело, нельзя и не съездить... Такая уж его должность... Ты толком-то сказывай: за что?

— Как есть задарма, Федосеич... Просто ни за что. Парус даве, значит, убирали... Ему и покажись, что долго... Он и пошел чесать морды... А я вовсе и не касался паруса-то... Так по путе, значит, меня свистнул... С сердцов...

— Не врешь, Ефимка?

— Чего врать-то... Хучь у ребят спроси... Все видели.

Федосеич помолчал, потом тихо покачал головой и раздумчиво промолвил:

— Куражится Нилыч... Не слушает, что ему люди говорят...

— Совсем озверел нонче... Вечор тоже вот меня огрел по спине, а Левонтьева в морду съездил! — жаловался Ефимка.

Старший офицер, проходивший из подшкиперской каюты в кают-компанию, показался в это время из-за трубы. Он слышал жалобы молодого матроса и, подойдя к нему, спросил, показывая пальцем на глаз:

— Это что у тебя, Аксенов?

Матрос мигом вскочил и застенчиво отвечал:

— Зашибся, ваше благородие!

— Гм... Зашибся?..— промолвил с улыбкой старший офицер и, не расспрашивая более, пошел прочь.

— Уж этот Щукин! — прошептал он, входя в кают-компанию.

— Это ты правильно, Ефимка! Ай да молодец! Из тебя настоящий матрос выйдет! — одобрял Федосеич.— Что дрязгу-то заводить да кляузничать... Это последнее дело... Мы лучше Нилыча сами проучим, по-матросски! — значительно проговорил Федосеич, понижая голос.

— Боцмана?! Да как его проучишь... боцмана-то? — изумился молодой матрос.

— Уж это не твоя забота, как их учат!.. А ну-кась, примерь, Ефимка! — продолжал Федосеич, передавая Аксенову башмак.

Ефимка обулся, прошел несколько шагов и, возвращая башмак, весело проговорил:

— В самый раз, Федосеич!.. И ноге в нем вольно...

— А главное, как сшито... Ты это погляди, Ефимка!

Ефимка поглядел и нашел, что важно сшито.

— Износу им не будет... Строчка двойная, и на подметке хороший товар. Ужо в Гонконг придем, пустят на берег — оденешь... Да смотри, Ефимка, насчет того, что мы о боцмане говорили, никому не болтай! — внушительно прибавил Федосеич, снова принимаясь за работу.

В тот же вечер Федосеич о чем-то таинственно совещался с несколькими старыми матросами.

III

Гроза молодых матросов, боцман Щукии, кореиастый, приземистый, пучеглазый человек лет пятидесяти, с кривыми иогами, обветрившимся красиым лицом цвета грязиой моркови и с осипшим от ругаии и пьянства голосом, только что прикоичил свои неистощимые вариации иа русские темы, которыми ои услаждал слушателей иа следующий деиь с раииего утра по случаю уборки клипера. За иочь стихло, кругом прояснилось, уборка кончена, и Щукин, заложив за спииу свои просмолениые руки, с довольиым видом осматривает якориые стопора, предвкушая зараиее близость едииственного своего развлечения: съехавши на берег, иализаться до бесчувствия.

На эти развлечеиия старого боцмаиа смотрят сквозь пальцы ввиду того, что Щукии — знающий свое дело и лихой боцман. И если иа берегу ои обиаруживает слабости, недостойиые его звaиия, зато иа судие держит себя вполие иа высоте положеиия: всегда трезв; боясь соблазна, ие пьет даже казеииой чарки; исполиителеи и усердеи, солиден и строг; на службе — собака, ругается с артистичиостью заправского боцмана старых времеи и тщательио соблюдает свой боцмаиский престиж.

Увы! Весь этот престиж пропадал, как только Щукии ступал иа берег.

Отправлялся ои всегда иарядиый. Для поддержаиия чести русского имеии ои обыкиовеиио одевал собственную щегольскую рубаху с голландским вышитым передом, поверх которой красовалась цепь с серебряиой боцмаиской дудкой, получеииой им в подарок от старшего офицера,— обувал иовые сапоги со скрипом, повязывал свою короткую, жилистую, побуревшую от загара шею чериой шелковой косынкой, пропуская коицы ее в серебряиое кольцо; ухарски иадевал иа затылок матросскую фуражку без картуза, с черной лентой, по которой золотыми буквами было вытисиеио иазваиие клипера, и брал в руки, больше, я думаю, из иациоиальиой гордости, чем из иеобходимости, иосовой платок, который обратио с берега иикогда ие привозил.

В таком великолепии, тщательно выбритый, с подстриженными короткими щетиистыми усами, посматривая вокруг с видом имеииииика и ие выпуская из рук иосового платка, Щукии садился на баркас и, ступив иа берег, шел немедленно в ближайший кабак.

С берега Щукии обыкиовеиио возвращался в истерзан-

ном виде, не вязавши лыка, тихий, молчаливый и покорный. Случалось, что его привозили в виде тела, со шлюпки поднимали наверх на веревке и уносили в его каюту.

Наутро он снова напускал на себя важность, был еще суровее на вид и, словно в отместку за вчерашнее свое унижение, ругался с большим усердием, чаще ошпаривал линьком подвернувшегося под руку какого-нибудь молодого матроса и в этот день, как говорили матросы, был особенно «тяжел на руку».

Дальше ближайшего от пристани кабака Щукин (по крайней мере, в трезвом виде) не был ни в одном из иностранных портов, посещенных клипером, что, однако, не мешало ему отзываться о них со снисходительным презрением.

— Ничего нет хорошего... Так, слава одна — заграница! — рассказывал он безразлично обо всех чужих землях...— Против наших городов ничего не стоят... И народ не тот... То ли дело наша Россия... Недаром сказано: наша матушка Россия всему свету голова!

Он убежден был в преимуществе России так же непоколебимо, как и в том, что без линька и без боя матроса не выучить и не «привести в чувство». Эта философия была так твердо усвоена Щукиным, основательно прошедшим в течение двадцатилетней службы прежнюю школу линьков и битья, что, когда в начале нашего плавания было приказано боцманам и унтер-офицерам бросить линьки и не драться,— Щукин не верил своим ушам.

— Это как же теперче... Не смей и проучить человека?.. Какой же после этого я буду боцман, если не могу дать по уху! — ворчал он, беседуя с унтер-офицерами на баке.— Чудеса пошли... Прежде этого на флоте не было!

В конце концов он порешил, что все эти новые порядки — одно баловство; нельзя матросу жить без страха, и, несмотря на приказание, нередко-таки учивал людей посвоему, так что молодые матросы боялись боцмана, как огня. Уже несколько раз Василий Иваныч грозил Щукину, что его разжалуют, если он будет свирепствовать. Щукин, молча насупившись, выслушивал, крепился день-другой и снова дрался, хотя и не с прежнею откровенностью, а так, чтоб не заметили офицеры.

— Ой! Нилыч, не куражься... Не обижай людей зря! — нередко говорили ему в начале плавания старые матросы, пьянствуя вместе с боцманом на берегу.— Боцман ты — надо правду говорить — хороший, но только без толку мордобойничаешь... Ты это оставь, Нилыч...

— А я что же, по-вашему... кляузы заводить должен, что ли?.. За всякую малость жаловаться?.. Ни в жисть на это не пойду... я, братцы, коренной матрос!.. В старину небось боцмана кляузами не занимались... На своего брата не жаловались... Сами учивали... Если драться с рассудком — никакой вреды нет... Это верно я вам говорю.

— То-то ты иной раз без рассудка дерешься, Нилыч...

Щукин обещал драться с рассудком и скоро нализывался вместе, раскисая от вина, со своими советниками.

Возмущенный новыми порядками, заведенными на клипере, старый боцман слегка фрондировал, посмеиваясь над ними, и любил вспоминать, как прежде «учили нашего брата» и какой от того был во флоте порядок. Увлекаясь этими воспоминаниями, он не без красноречия рассказывал иногда в интимном кружке историю своих двух вышибленных передних зубов, как бы доказывая собственной особой справедливость взгляда, что если «бить с рассудком, то вреды не будет».

Достойно удивления было то, что о виновнике крушения своих зубов Щукин вспоминал с самою любовною и почтительною восторженностью, с какой обыкновенно вспоминают о людях, не вышибающих по меньшей мере зубов. Но в глазах Щукина этот самый командир Василий Кузьмич Остолопов («царство ему небесное!») был именно каким-то недосягаемым идеалом и олицетворением всех совершенств и качеств, необходимых, по мнению боцмана, настоящему начальнику. Рассказывая о нем, Щукин даже приходил в пафос, создавая из покойника какое-то мифологическое божество матросского Олимпа.

— Одно слово... лев был! — восторгался Щукин, теряясь в эпитетах.— Выйдет это он, бывало, наверх, так всякий чувствует... Взглянет — орел! Или, например, паруса крепить... У него, братец ты мой, положение было, чтобы в три минуты, а ежели на один секунд позже на каком-нибудь марсе, сичас всех марсовых вниз и на бак... Как всыпят всем по сту линьков, небось в другой раз не опоздаешь!.. И работали же у нас на «Фершаите»![1] Первым в эскадре корабль был... Работа горела... Не матросы, а черти были... лётом летали... У него, чтобы матрос ходил с прохладцей — нет, брат!.. Он все насквозь видел... Стоит это на юте, заложив за спину руки, да как вдруг

[1] Так называли матросы корабль «Ла Фершампенуаз». (*Примеч. автора.*)

заметит иеисправку — сам иесется на бак грозой и давай чесать... Раз, два, три!.. Одиому в ухо, другому, третьему, да как отчешет десятка два, будешь, голубчик, помиить. Шалишь!.. И рука ж была у иего!.. Ка-а-а-к саданет — в глазах пыль с огнем — и морду вздует... Зиали его руку-то!..— с восторгом говорил Щукин, показывая иаглядно, какая у Остолопова была рука.— Зато иасчет службы, иасчет чистоты и был порядок. Матрос на корабле в струие ходил, остерегался... Офицеров боялись, боцмаиов боялись, не то что иоиче... Ты ему слово, а он тебе два. Книжек этих для грамоты небось ие раздавали, матрос жил в страхе, ие умиичал... почитал как следует иачальство... А спустили тебя на берег, гуляй, зиачит, вовсю,— взыску не было. «Никак, говорят, без этого невозможно российскому матросу, чтобы он да за свои труды на берегу ие иахлестался вздребезги!» И стоит, бывало, иаш Василий Кузьмич да приветио усмехается, глядючи, как пьяиую матрозию, ровно баранов, с баркаса подиимают иа гордешке... Небось ои в том сраму ие видел!.. Не то, что как нонче прочие другие командиры,— угрюмо прибавлял старый боцмаи, пуская шпильку по адресу иашего капитаиа.

— Ои с большим умом был, Остолопов-то иаш!..— восторжеиио продолжал Щукии...— Поимал, что матросу лестио покуражиться иа сухом пути... Ну, и сам ие брезговал иапитками... Любил!..

— Миогие в старину любили!..— вставлял, смеясь, фельдшер.

— То-то любили!.. Но только с Василием Кузьмичом никому ие сравияться... Он, я вам скажу, и иасчет вииа черт был! Графииа три, а то и четыре за деиь выдует этой самой марсалы, и хоть бы в одном глазу! Выйдет к вечеру наверх — так только малеиечко с лица будто побагровеет, да ругается позатейией... Он на это выдумщик был!.. Поэтому мы, бывало, и примечали, что орел-то наш намарсалился! А стоит иа иогах как вкопаиный... глаз чистый... Что уж и говорить! Во всех статьях — орел!..

— А за что он вам, Матвей Нилыч, нанес повреждение действием? — галантно спрашивал, бывало, фельдшер, желая доставить боцмаиу удовольствие: рассказать вновь давио известиую всем слушателям историю о двух вышибленных зубах.

При этом вопросе Щукии иеизмеиио оживлялся, и иа лице его появлялась зараиее улыбка, словио ои готовился рассказывать о самом приятиом воспомииаиии в своей жизни.

— За что? По-настоящему мне бы следовало прямо всю скулу своротить на сторону да спину вздуть, а не то что два зуба!.. Вот что мне следовало, если говорить по совести... Свезли, видишь ли, братец ты мой, мы утром, как теперь помню, командира на Петровскую пристань... Он, как водится, прыг с вельбота и на ходу проговорил, в котором, значит, часу за ним приезжать... Мне и послышься, что к шести... я у него вельботным старшиной был... Ладно. Без четверти в шесть пристаем мы к пристани, глядим, а он ходит по ей взад и вперед да плечиками подергивает: в сердцах, значит, был... Тут я и вспомнил, что как будто он велел не к шести, а к пяти часам быть... Как взошло это в ум, так, братец ты мой, сердце во мне и захолонуло... по спине мураши забегали... Целый ежели час я командира заставил дожидаться... Василия Кузьмича... льва-то нашего!.. Можешь ты это как следовает понять, а? Тогда ведь не по-нонешнему: «Виноват — запамятовал!» Тогда, любезный мой, порядок любили форменный... За один секунд, бывало, шкуру спускали, а не то что как ежели целый час!!.

На этом месте рассказа Щукин всегда делал ораторскую паузу, как бы для того, чтобы слушатели имели возможность надлежащим образом проникнуться сознанием тяжести его преступления и могли затем еще лучше оценить великодушие покойного капитана.

— Хорошо... Подошел это он к вельботу, поманул меня перстом и отошел в сторону... Вижу: грозен... Я, значит, ни жив ни мертв, к ему. Подошел и смотрю ему прямо в глаза. Он любил, чтобы матрос ему завсегда с чистым сердцем в глаза глядел. А он воззрился на меня, ничего не говорит, да вдруг: бац! бац! Два раза всего-то кулаком в зубы, да так, что быдто цокнуло что-то. А надо тебе сказать, на указательном персте Василий Кузьмич завсегда носил брильянтовый супир. От государя императора пожалован. Так самым этим, значит, супирчиком он и цокнул. В глазах — пыль, но только я, как следовает, стою, эдак грудью вперед, и весело ему смотрю в зрачки. Жду еще бою! Однако он более не захотел. «Пошел, говорит, собачий сын, на шлюпку!» — и сам следом сел. «Отваливай!» Отвалили. Я изо всей мочи наваливаюсь — гребцы у нас на подбор! — а сам, однако, думаю: «Это, мол, только одна закуска была, какова-то настоящая расправка на корабле будет. Не меньше как два ста линьков прикажет для памяти всыпать!» Вельбот ходом идет, скоро и корабль наш. *Он*, насупившись эдак, поглядывает на ме-

ня, увидал, значит, как изо рту у меня кровь капелью каплет... Хорошо. Пристали к кораблю. Встал и ко мне обратил голову: «Что, спрашивает, целы ли у тебя, у подлеца, зубы?» — «Не должно быть целы, ваше вашескобродие!» Это я ему, потому чувствую, что во рту словно каша. Усмехнулся,— и что бы ты думал?! Заместо того чтобы меня, подлеца, приказать отодрать как сидорову козу, он, голубчик-то мой, выходя, говорит: «Пей за меня чарку водки, да вперед, говорит, прочищай ухо!» — «Покорно благодарю, ваше вашескобродие!» — гаркнул я в ответ, да тут же и зубы сплюнул в радости. А на другой день призвал меня к себе. «Молодцом, говорит, бой выдерживаешь, бабства, говорит, в тебе нет, как есть бравый матрос. За то, говорит, я тебя унтерцером жалую. Смотри, не осрами меня!..» И как это он похвалил за мое усердие, так я даже вовсе обалдел. Кажется, прикажи он мне за борт броситься, так я со всем бы удовольствием!.. Вот каков он был! Умел и строгостью и лаской, коли ты стоишь. Старинного веку командир был. Господь и смерть ему легкую сподобил... ударом помер. Играл, сказывали, в карты, маленько нагрузившись, да вдруг под стол... Бросились подымать, а батюшка-то Василий Кузьмич уж не дышит... Царство ему небесное, голубчику! — прибавлял умиленный Щукин, осеняя себя крестным знамением.

IV

Утренние работы окончены. Одиннадцатый час на исходе — скоро обедать. В ожидании приятного свиста дудок, призывающих к водке, матросы высыпали на палубу и толпятся на баке, разбившись по кучкам. Только что убрали паруса, и клипер довольно ходко шел под парами навстречу прямо дующему в лоб ветру, мешавшему идти под парусами. Волнение стихало, из-за туч выглядывало по временам солнце, и штурман был доволен: обсервация была взята. Оказалось, что мы будем на месте не ранее вечера.

Усевшись на лапе якоря, боцман, окруженный избранными лицами баковой аристократии: баталером, подшкипером, фельдшером и двумя писарями — рассказывал про китайцев.

— Совсем подлый народ! — говорил боцман, указывая пальцем на встречавшиеся джонки.— Всякую нечисть, шельмы, трескают. И крысу, и собаку, и лягушку, и стре-

козу... что ему ни дай, все жрет... Хлебушка-то у них нету... рис один, они и рады всякому дерьму. И вороваты, канальи... Чуть не догляди — объегорит, даром, что длиннокосый. Когда я первый раз ходил в дальнюю на «конверте» (корвете) и были мы в этих самых местах китайских, так раз ночью, братец ты мой,— мы в Шангае стояли — подъехала на шлюпчонке китайская морда — и что бы ты думал?.. Медную обшивку вздумал было, желторожий, отдирать... Уж жигануля же мы его, подлеца! — с веселым смехом рассказывал Щукин...— А пьют сулю какую-то вроде будто водки, из риса гонят... нальет себе, собачий сын, в чашечку с наперсток и куражится... Просто тошно на них, подлецов, глядеть... Одно слово идолы!

— Ишь, лупоглазый-то наш зубы скалит! — развязно заметил рыжий, в веснушках, франтоватый матрос из кантонистов, подходя к Аксенову и подмигивая плутоватыми бойкими глазами на боцмана.

— Он завсегда веселый перед берегом.

— Чует, что скоро нахлещется как свинья... А я, братец, о чем хотел было попросить тебя, Ефимка! — заискивающим голоском продолжал рыжий.

— Ну?

— Дай ты мне в долг доллер, как ежели нас на берег отпустят... Совсем, брат, прогулялся...

Аксенов несколько времени молчал и наконец нерешительно отвечал:

— Ты бы у кого другого взял, Леонтьев... право... Хоцца рубаху купить.

— Глупый ты... Зачем тебе рубаху?.. И тут вовсе нет хороших рубах... Ты рубаху лучше в Японии купишь... Там,— так сказывают,— рубахи!.. Дай, пожалуйста... Через месяц отдам... право отдам!..— упрашивал Леонтьев.

— И прежние отдашь?

— Все сразу отдам... будь в надежде! — продолжал Леонтьев, глядя жадным взором на потупившегося товарища.

После некоторого колебания Аксенов пообещал, и Леонтьев весело заметил:

— Вот спасибо... Вижу, что настоящий приятель... Ужо погуляем в Гонконге! С Якушкой пойдем... Он бывал здесь.

— Ишь ведь... тоже люди! — дивуется Аксенов, глядя на близко проходившую джонку, на палубе которой толпились китайцы.— Сколько, подумаешь, разного-то народа у господа! То малайцы были, а теперь китайцы пошли...

— Все один фасон — нехристь дикая! — с равнодушным пренебрежением кинул в ответ Леонтьев, считавший за признак хорошего матросского тона ничему не удивляться...— А ты, Ефимка, дурак! — несколько спустя проговорил он.— Чего вчера, как старший офицер спрашивал, ты не сказал про этого дьявола? По крайности, было б ему на орехи! Будь у меня на морде такая цаца, как у тебя, я беспременно бы сказал: «Так и так, мол, ваше благородие, безвинно через боцмана Щукина пострадал»! А то: «зашибся»!

— Чего жалиться! Ему и так будет! — промолвил Аксенов, стараясь придать себе важный вид.

— Уж не от тебя ли? — рассмеялся Леонтьев.

Аксенову очень хотелось посвятить приятеля в тайну вчерашнего разговора с Федосеичем, тем более что он и сам хорошо не понимал, на что именно намекал старый матрос. Он, однако, вспомнил наказ Федосеича не болтать, но, воздерживаясь от искушения, все-таки загадочно прошептал:

— Небось люди проучат!..

— Люди! — передразнил Леонтьев.— Какие это люди? Кто может проучить этого подлеца, кроме начальства?.. Ах, какая ты еще необразованная деревня, Ефимка, как я посмотрю! — с сожалением заметил Леонтьев.— Ударь он меня безвинно, да если со знаком, я бы нарочно на глаза капитану попался... Я бы не так, как ты... небось!.. А то: «люди»!

Аксенов, считавший обращение и ухарские манеры Леонтьева за образец матросского совершенства и старавшийся подражать ему во всем, был задет за живое, что его считают «деревней», и с сердцем возразил:

— Что ж ты-то не жалуешься... Вечор он тебя по уху тоже огрел!..

— То-то... без знаку... я говорю, а ежели бы оказал знак... он бы помнил Леонтьева! — бахвалился матрос, видимо рисуясь и восхищая своими манерами простоватого товарища...

— Эй, послушай, Антонов! — обратился он к проходившему вестовому старшего офицера,— как у вас слышно, когда в Гонконге будем?

— К вечеру, не раньше! — отвечал на ходу вестовой, спешно направляясь на бак.— Старший офицер вас к себе требует, Матвей Нилыч! — проговорил Антонов, подходя к боцману.— В каюте они...

Щукин оборвал разговор и рысцой побежал вниз. Пе-

ред входом в кают-компанию он снял фуражку и вошел туда нахмуренный, осторожно ступая по клеенке. Не любил он, когда Василий Иванович требовал его к себе в каюту. «Верно, опять насчет вина шпынять будет!» — подумал, морщась, боцман, просовывая свою четырехугольную, коротко остриженную рыжую голову в каюту старшего офицера и затворяя за собой двери.

— Ты опять дерешься, Щукин, а? — строго проговорил Василий Иванович, хмуря брови.

Вылупив свои бычачьи глаза на старшего офицера, боцман угрюмо молчал, нервно пошевеливая усами.

— Смотри, Щукин, не выводи меня из терпения... Понял?

— Понял, ваше благородие! — сурово отвечал боцман и хотел было уходить.

— Постой!.. Который раз я тебе говорю, чтоб ты докладывал мне, если матрос провинится, а не расправлялся бы сам? Слышишь?

— Слушаю, ваше благородие! — еще суровее промолвил боцман.— Но только как вам будет угодно, а за каждую малость не годится беспокоить ваше благородие... Тогда матросы вовсе не будут почитать боцмана! — решительно заявил Щукин обиженным тоном.

— Ты и не беспокой по пустякам,— проговорил, смягчаясь, Василий Иваныч, чувствовавший слабость к старому боцману,— но только не очень-то давай своим рукам волю... Ты любишь это... знаю я. Ну за что ты прибил Аксенова? Полюбуйся, какой у него фонарь... Срам! Ты ведь боцман, а не разбойник! — прибавил Василий Иваныч, снова принимая строгий начальнический тон.

Щукин опять упорно молчал.

— Нагрубил он тебе, что ли?

— Никак нет, ваше благородие!

— Неисправен был?

— Матрос он исправный, ваше благородие!

— Так за что ж ты его прибил, скотина? — воскликнул, вспыливши, Василий Иваныч.

— Матрос он еще глупый, ваше благородие!.. Не обучен как следовает...

— Ну?..

— Для острастки, значит, ваше благородие, чтобы понимал! — проговорил Щукин самым серьезным, убежденным тоном.

— Для острастки подшиб глаз?

— Насчет глаза, осмелюсь доложить, по нечаянности,

ваше благородие! — прибавил боцман как бы в оправдание, снова принимая угрюмое выражение.

— Слушай, Щукин! Последний раз тебе говорю, чтобы ты людей у меня не портил! — строгим голосом начал Василий Иваныч, подавляя невольную улыбку.— Ведь стыдно будет, как тебя разжалуют из боцманов?..

Щукин сердито молчал.

— Как ты полагаешь?

— Не могу знать, ваше благородие.

— А дождешься ты того, что узнаешь, если не перестанешь разбойничать. Ступай! — резко оборвал старший офицер.

Боцман исчез из каюты. Когда он поднялся на палубу, никто и не подумал бы, что его только что «разнесли»,— до того важен и суров был вид у Щукина. Только лицо его побагровело сильнее да глаза еще более выкатились.

— Видишь, боцман идет! Посторониться, что ли, не можешь... сволочь! — крикнул Щукин, намеренно задевая плечом Аксенова и поводя на него презрительным взором.

Молодой матрос отскочил в сторону.

— Жаловаться, подлец! — прошептал, проходя далее, Щукин, сжимая кулак и ощущая сильное желание задушить Аксенова в отместку за поступок, недостойный, по мнению боцмана, порядочного матроса.

— Так выучат люди, Ефимка? — подсмеялся Леонтьев.

В эту минуту и сам Аксенов усомнился, чтобы нашлись люди, которые могли бы проучить грозного боцмана.

— Зачем это вас, Матвей Нилыч, старший офицер требовал? — полюбопытствовал баталер, когда боцман пришел на бак.

— Насчет работ, значит, говорили...— усиленно небрежным тоном отвечал боцман.

— Верно, что к вечеру в Гонконг придем?

— Должно, к вечеру...

— А долго простоим, Матвей Нилыч?

— Еще неизвестно... Об этом у нас разговору не было! — с важностью молвил Щукин и прибавил: — Однако сейчас и обедать... водку несите!

Колокол пробил шесть склянок (одиннадцать часов), и с мостика раздалась команда: «Пробу подать!»

Через минуту кок в белом колпаке и чистом переднике вынес маленький поднос с двумя деревянными чашками, ложкой и сухарем. Приняв поднос, Щукин, сопровождае-

мый коком, торжественно понес пробу. Кок остановился на шканцах, а боцман, поднявшись на мостик, где в это время, кроме вахтенного офицера, находились капитан и старший офицер, подал пробу вахтенному офицеру, официально приложив растопыренные пять пальцев к виску. С тою же официальностью вахтенный передал пробу старшему офицеру, который в свою очередь подал ее, прикладываясь свободной рукой к козырьку фуражки, капитану.

Взяв поднос, капитан отведал щей и пшенной каши, съел кусок сухаря и, похвалив щи, передал пробу старшему офицеру. Василий Иванович тоже отведал и, передавая пробу вахтенному офицеру, сказал, что можно раздавать вино и обедать. Возвращая почти пустые чашки боцману, вахтенный приказал свистать к водке.

Два матроса с баталером сзади уже несли ендову с ромом, от которого распространялся на палубе острый, пахучий аромат, щекотавший обоняние. По обыкновению, шествие сопровождалось веселыми замечаниями и остротами. На шканцах шествие остановилось, и ендову бережно опустили на подостланный брезент. После того два боцмана и все восемь унтер-офицеров стали на шканцах в кружок, приставив дудки к губам, и, по знаку старшего боцмана Щукина, вдруг раздался долгий и пронзительный свист десяти дудок.

— Ишь, соловьи заливаются! — весело замечают матросы, окрестившие этот долгий веселый свист дудок, призывающий к водке, «пеньем соловьев».

«Соловьи» смолкли. Толпа собралась вокруг ендовы, и начался торжественный акт раздачи водки.

Баталер со списком в руке, отмечая крестиками пьющих и ставя палочки непьющим[1], выкрикивал громко фамилии, начиная по старшинству: сперва выкликались боцмана, затем унтер-офицеры, потом матросы первой статьи и т. д. В ответ раздавались на разные голоса короткие отрывистые: «яу!» или «яо!», и, выделившись из толпы, матрос подходил к ендове, принимая вдруг тот сосредоточенно-строгий вид, который бывает у людей, подходящих к причастию. Сняв шапку, а иногда и крестясь, он зачерпал мерной оловянной чаркой, по объему равняющей-

[1] Непьющим по окончании каждого месяца выдаются на руки деньги, равные стоимости вина. Обыкновенно приходилось около пяти копеек за каждую чарку. Эти деньги матросы называют «заслугой». (*Примеч. автора.*)

ся порядочиому стакаиу, ароматиого «горлодера» и, стараясь ие пролить ии одиой капли, благоговейио подиосил чарку к губам, выпивал, крякиув, передавал чарку следующему и поспешно отходил, закусывая припасеииым сухарем. Если иеосторожиый проливал виио, из толпы раздавались иасмешливые замечаиия:

— Виицо, брат, ие пшеиичка: прольешь — ие подклюиешь!

Водка роздаиа. На палубе стелются брезеиты. Артельщики разиосят баки с дымящимися щами и большие куски горячей солоиииы в сетках. Небольшими артелями, человек по десяти, матросы рассаживаются вокруг бака, поджав под себя иоги. Перед тем как садиться, каждый крестится. Артельщик, выбраииый каждою артелью, иачииает резать солоиииу иа мелкие куски, и все дожидаются, ие дотрогиваясь до щей. Затем крошево валится в бак, в щи подливается уксус, и матросы прииимаются за ложки.

У одиого из баков, вблизи грот-мачты, между другими сидели Федосеич, Аксеиов и Леоитьев. Старый матрос хлебал щи в молчаиии, с тою серьезиостью, с какой обыкновеиио едят простолюдииы. Ои ел истово, аккуратио, ие спеша, заедая щи размочеииым в воде ржаиым сухарем, и бережио сбирал падавшие сухариые крошки. Аксеиов весь отдался еде. Глаза его плотоядио блестели, и румяиое здоровое лицо покрывалось крупиыми каплями пота. Ои уписывал жириые щи за обе щеки, издавая по времеиам одобрительиые восклицаиия. После скудиого берегового пайка ои вволю отъедался иа обильиом морском довольствии и иаходил, что «при таком харче умирать ие иадо».

Леоитьев сиисходительио подсмеивался иад восторгами «деревии». Щеголяя своим «хорошим тоиом», переиятым у кроиштадтских писарей, ои старался «кушать погосподски»: с иекоторой иебрежиостью и будто иехотя, словио желая подчеркиуть, что ои привык ие к такой пище и восторгаться какими-иибудь щами считает иеприличиым. Во время еды ои болтал, видимо раздражая своей болтовией старого матроса. Федосеич, иедолюбливавший хлыщеватого Леоитьева, хмурился, бросая по времеиам иа иего сердитые взгляды, и, когда тот завел было скоромиую речь иасчет китаяиок, Федосеич ие выдержал.

— Нашел время язык чесать! — строго заметил ои.

— За обедом завсегда можио разговаривать. Это даже вполие благородио...

— За хлебом, за солью пустяков не ври!.. Или вас, кантонищину, этому не учили?..

— Ишь, строгий какой! — тихо огрызнулся Леонтьев и, несколько сконфуженный, замолчал.

Примолкли и остальные. Несколько минут только слышно было дружное сюсюканье людей, хлебавших щи.

— Нести, что ли, еще, ребята? — спросил артельщик, когда бак был выпростан и на дне осталась одна солонина.

Никто больше не хотел. Даже Аксенов не выразил желания. Тогда стали есть крошево, стараясь не обгонять друг друга, чтобы всем досталось мяса поровну.

Когда мясо было выпростано, артельщик пошел за кашей и за маслом.

— И скусная же была солонина! — прибавил, облизываясь, Аксенов.

— Эка, нашел скусного!.. Надоела уж эта солонина! — заметил Леонтьев, щуря глаза.— Завтра, по крайности, хоть свежинка будет.

— Разборчивый ты какой господин у нас. Видно, сладко в кантонистах едал? — насмешливо промолвил Федосеич.

— Небось едал! — хвастливо проговорил Леонтьев.

— Скажи пожалуйста! — иронически вставил Федосеич.

— Я, может быть, самые отличные кушанья едал.

— В казарме, что ли?

— Зачем в казарме? Мы, слава богу, не в одной казарме свету видели! Была у меня, братцы, в Кронштадте одна знакомая, заместо повара у адмирала Лоботрясова жила... Может, слыхали про адмирала Лоботрясова? Так придешь, бывало, в воскресенье к кухарчонке — она всего тебе предоставит: и соусу из телячьих мозгов, и жаркова — тетерьки с брусникой, и крем-брулея! Очень нежное это кушанье, братцы, крем-брулей! — продолжал Леонтьев, обводя всех торжествующим взором и, видимо, довольный, что слово произвело некоторый эффект.

— Тарелки, значит, вылизывал? — презрительно вставил Федосеич.

Среди матросов раздался смех.

— Это пусть вылизывает, кто настоящего обращения не знает, а мы, братец, и с тарелок умеем! — задорно возразил Леонтьев.

— Врать-то ты поперек себя толще! — проворчал, отворачиваясь, старый матрос.

— То-то... врать!.. Посмотрел бы, как люди врут, а мне врать нечего!

Принесли кашу, и все занялись едой. Прикончив кашу, поднялись, помолились и стали прибираться. Когда все отобедали и палуба была подметена, раздался свисток и команда «отдыхать!». По случаю прохладной погоды матросы пошли отдыхать вниз.

Выбрав укромное местечко для себя и для своего любимца, Федосеич принялся доканчивать башмак, а молодой матрос растянулся подле.

— Тоже: «крем-брулей», лодырь эдакий! — произнес вдруг сердито Федосеич.— Небось просил он у тебя денег, Ефимка?

— Просил. Доларь просил.

— А ты не давай. Ему, брехуну, пыли пустить, а тебе деньги нужны. В деревне отец с матерью в нужде живут, им бы прикопил по малости, спасибо скажут... И не вяжись ты лучше с ним, Ефимка! Форцу-то его дурацкого не перенимай! Форцу-то на ём много, а совести нет... Он молоденьких вас облещивает, чтобы денег выманить... Совсем пустой человек! Слышишь, денег ему не давай! — прибавил внушительно Федосеич.

— Я было обнадежил его, Федосеич!

— Пусть прежде отдаст старых два доларя. А то видит твою простоту и пристает! Так и скажи ему: Федосеич, мол, не велел! — заключил старый матрос и принялся за работу.

Аксенов стал подхрапывать. В это время мимо проходил боцман. Заметив сладко спящего матроса, из-за которого его «срамил» старший офицер, Щукин вскипел гневом и с сердцем пхнул ногой молодого матроса.

Аксенов проснулся и ошалелыми глазами смотрел на боцмана.

— Ты што на версту протянул лапы? Убери ноги-то! — грозно крикнул Щукин, прибавляя, по обыкновению, целый букет ругательств.

Матрос покорно подобрал ноги.

Федосеич пристально глядел на боцмана, держа в руке башмак, и, с укором покачивая головой, заметил:

— Нехорошо, Нилыч! За что зря пристаешь к человеку...

— А тебя спрашивали? — окрысился Щукин.— Ты кто такой выискался — советчик, а? Молчи лучше, а то как

бы и тебе не попало! — проговорил Щукин и пошел далее.

— Гляди, не поперхнись, Нилыч! — кинул ему вслед спокойно Федосеич.

Щукин сделал вид, что не слыхал замечания старого матроса, и хмурый и недовольный побрел в свою каютку.

Федосеич поглядел ему вслед и минуту спустя прошептал, как бы в раздумье:

— Зазнался человек, что вошь в коросте. Впрямь проучить пора!

— Не проучить его! Напрасно только вчера я не пожалился на него. Вишь, как он пристает! — жалобно произнес Аксенов.

— Глупый! Небось и не таких учивали! Бог гордых не любит! — успокоительно промолвил Федосеич и, принимаясь снова за башмак, запел свою тихую деревенскую песенку, приятные, твердые звуки которой производили впечатление чего-то необыкновенно хорошего, простого и спокойного.

V

Через три дня первая вахта собиралась на берег.

Матросы выходили на палубу вымытые, подстриженные, подбритые, в чистых рубахах и новых, спущенных на затылки, шапках. На многих были собственные рубахи из тонкого полотна, шелковые косынки и лакированные пояса с тонким ремешком, на котором висел матросский нож, спрятанный в карман штанов. Все имели праздничный, оживленный вид.

Леонтьев только что вышел снизу, расфранченный, в щегольской рубахе, в обтянутых штанах, с атласным платком на шее, украшенным бронзовым якорьком. Шапка на нем была как-то особенно загнута набекрень, светло-рыжие волосы густо намаслены, усы подфабрены, и весь он сиял, небрежно щуря глаза и, видимо, щеголяя писарской развязностью своих манер. Он искал глазами Аксенова и, увидав молодого матроса, который в эту минуту, улыбаясь довольной улыбкой, любовался своими новыми, только что надетыми башмаками, подошел к нему и хлопнул его по плечу.

— Так как же, Ефимка? Выходит: обнадежил товарища, а теперь, брат, на попятный, а? — проговорил он, отставляя ногу и покручивая усы, чтобы показать свой пер-

стеиек с фальшивым аметнстом, куплеииый за шнллнг в Сннгапуре.

Аксеиов подиял глаза и оглядывал франта матроса, несколько подавленный его великолепием.

— Я ведь сказывал тебе: Федосеич ие велнт! — уклончиво отвечал молодой матрос, не без завистн любуясь блестевшнм на мизинце у Леонтьева кольцом.

— Не срамнсь, Ефимка, право, ие срамнсь! Начальннк он тебе, что ли, Федосенч? Разве ты малый ребенок, что ие смеешь без Федосенча?.. У тебя, кажется, свой рассудок есть... Дай, голубчик, ведь ты обещал? — занскнвающнм тоиеиькнм голоском упрашнвал Леонтьев, в то время как плутоватые глаза его бегалн по стороиам.

— Федосеич ие велит! — с упорством повторил Аксенов.

— Вот зарядил: Федосенч да Федосенч! Ты н не сказывай ему, что дал, ежели уж ты так боншься своего Федосенча... Будь приятелем — дай.

— Не проси лучше...

— Так ты взаправду ие дашь мие доллера, Ефнмка? — спросил Леоитьев, иеожидаиио меняя тон.

— Сказаио тебе: Федосенч не велнт. У иего н деньги.

— Так после этого ты хуже свниьн, Ефнмка! Ужо погодн — вспомиишь!

— Ты чего грозишься-то? Ты прежде мон два доларя отдай.

— Два «доларя»? — передразнил Леонтьев.— Ах ты, деревня неотесаиная! — продолжал он, презрительно оглядывая молодого матроса.— Подождешь ты свон два «доларя», ежелн ты такую подлость сделал с человеком! Где у тебя распнска, а? — с иаглой усмешкой прнбавил Леонтьев н отошел прочь, окончательно смутнвшн молодого матроса.

— Первая вахта стаиовнсь во фрунт! — прокрнчал вахтенный уитер-офицер.

Матросы пошли строиться. После поверки скомандовали садиться иа шлюпки, и через несколько мннут баркас н катер, полиые людьми, отвалилн от борта клнпера. По обыкиовенню разодетый в пух н прах, боцман Щукии сндел иа баркасе иа почетиом месте, весело пуча глаза н делнкатио прндержнвая двумя пальцамн клетчатый носовой платок. На баркасе ои сбросил свою суровость н не играл в иачальиика. Обращаясь к сндевшнм рядом матросам, ои дружелюбиым товарнщескнм тоном рассказывал

о достоинствах английского джина и, между прочим, приглашал Федосеича попробовать этого напитка вместе. Однако Федосеич отказался и во всю дорогу сосредоточенно молчал.

VI

К вечеру баркас и катер шли к клиперу, возвращаясь с берега. Приближаясь к судну, шумные разговоры и смех стихли. Шлюпки пристали, и началась высадка. Слегка пошатываясь, выходили подгулявшие матросы на палубу и поскорей пробирались на бак, где шумно делились впечатлениями с остававшимися на клипере. Нескольких пришлось подымать на веревке и в бесчувственном состоянии уносить на палубу и окачивать водой. Наконец поднялся по трапу и Щукин, поддерживаемый сзади двумя более трезвыми ассистентами, и при свете фонарей предстал в самом жалком и истерзанном виде. Лицо старого боцмана было в кровавых подтеках, один глаз вздут, рубаха изорвана, и от шелковой косынки висели одни клочки.

Хотя боцман был очень пьян, однако при входе на шканцы он приложил руку к виску, отдавая честь, и пролепетал: «Честь имею явиться!» Затем его отвели в каюту и уложили.

Гардемарин, ездивший на берег с командой, доложил старшему офицеру, что боцмана, сильно избитого, привели на пристань Федосеев и еще два матроса и объяснили, что нашли его в таком виде, случайно зайдя в кабак. Василий Иваныч попросил доктора осмотреть Щукина. Скоро Карл Карлович вернулся и объяснил, что, хотя боцман и «поврежден», но переломов нигде нет, и через день-другой он отлежится.

Тогда Василий Иваныч велел позвать Федосеева.

Старый матрос явился в кают-компанию несколько раскрасневшийся от выпитого вина, но держался на ногах твердо. Он подтвердил старшему офицеру то же, что сказал и гардемарину.

— Кто же мог избить боцмана? — спросил Василий Иваныч.

— Должно, боцмана помяли англичане, ваше благородие! — тихим и спокойным голосом отвечал Федосеич.

— Какие англичане?

— С купеческих судов англичане, ваше благородие. Их тут есть...

— Почему ты думаешь, что англичане?

— Мы видели, ваше благородие, что Нилыч с ними раньше связался пить шнапсы... Верно, опосля и разодрались...

Василий Иваныч покачал головой и отпустил Федосеича.

На следующее утро Василий Иваныч сам заглянул в каюту боцмана. Щукин лежал пластом. Все лицо его было обложено компрессами.

При виде старшего офицера старый боцман вскочил.

— Лежи, лежи, Щукин. Где это, братец, тебя так изукрасили?

— Не припомню, ваше благородие! — хмуро отвечал боцман.

— Федосеев сказывал, что ты с англичанами дрался?

Боцман на секунду вытаращил удивленно глаза, но вслед за тем с живостью проговорил:

— Дрался, ваше благородие!.. Виноват...

Василий Иваныч сразу догадался, что на англичан взвели напраслину, но дальнейших расспросов не продолжал и ушел, пожелав боцману скорей поправиться и впредь с англичанами не драться.

Щукин отлеживался целый день. Был уже вечер, когда в каюту к нему вдруг шмыгнул Леонтьев.

— Кто здесь?

— Леонтьев, Матвей Нилыч!

— Тебе что? — сердито спросил боцман.

— Я, Матвей Нилыч, пришел доложить вам по секрету, потому как я завсегда уважал вас и, кроме хорошего, ничего от вас не видал... Я знаю, кто это с вами так подло, можно сказать, поступил. Я, если угодно, свидетелем под присягу пойду... Это Федосеев всему зачинщик... Я сам слышал, Матвей Нилыч, как он...

— Подойди-ка сюда поближе! — перебил его Щукин.

И когда матрос приблизился, боцман вдруг поднялся с койки и со всего размаха закатил здоровую затрещину Леонтьеву, никак не ожидавшему такого сюрприза.

— Вот тебе, подлецу, по секрету! Ах ты, мерзавец эдакий!.. С чем подъехал!

И грозный боцман, охваченный негодованием, снова

поднял свой здоровенный кулак, но Леонтьев благоразумно поспешил исчезнуть.

— Ишь ведь, подлый! — прошептал боцман, опускаясь на койку.

После происшествия в Гонконге Щукин, по словам матросов, стал гораздо «легче на руку». Он дрался редко, и если дрался, то с «рассудком». Ругался же он попрежнему артистически и нередко восхищал самих обруганных матросов неожиданностью и разнообразием своих импровизаций.

С Федосенчем он был в хороших отношениях, и они нередко вместе пьянствовали потом на берегу. Зато Леонтьеву доставалось-таки от боцмана. Слух о поступке франта матроса сделался известным, и вся команда относилась к нему недружелюбно.

VII

Несколько лет тому назад я жил летом в Кронштадтской колонии, близ Ораниенбаума.

Гуляя как-то вечером, я зашел на Ключинскую пристань полюбоваться недурным видом на море. Там дожидался щегольской катер с военного судна, а на пристани стояла группа матросов в белых рубахах, среди которой выделялась чья-то низенькая коренастая фигура в измызганном, оборванном куцем пальтишке.

— ...А ты думал как?.. Меньше как по двести линьков у него, братец ты мой, не полагалось порции... В иной день, бывало, половину команды отполирует... Одно слово — орел!..

Этот сиплый, надтреснутый, старческий басок показался мне знакомым, сразу напомнив давно прошедшие времена. Я подошел поближе и в оборванном старике узнал бывшего нашего лихого боцмана Щукина. Он сильно постарел. Испитое бурое его лицо было изрезано морщинами и заросло седой колючей бородой. Потускневшие глаза еще более выкатились. Платье на нем было самое жалкое, сапоги дырявые, и старая матросская шапка, надетая по старой привычке на затылок, была какого-то вылинявшего вида.

— Или взять теперь боцманов... Рази теперь боцмана?! Шушера какая-то, а не боцмана! — продолжал, оживля-

ясь, Щукин.— Один срам... Чуть что — сичас фискалить на матроса, если матрос не даст ему рупь-целковый... Тьфу! Или теперя матрос... Какой он матрос?.. Ему только и мысли, как бы под суд не попасть... Напился — под суд! Портянки паршивые пропил — под суд! Сгрубил ежели — под суд! Это небось порядки?..

Щеголеватый молодой унтер-офицер, слушавший ламентации Щукина с снисходительной улыбкой, с важностью заметил:

— Нонче другие права... При вас закону не было, а теперь на все закон...

— Закон?! — презрительно выпячивая губу, повторил Щукин.— А что фитьфебеля у вас нонче от матросов деньги берут да при часах ходят — это закон?! Выйдет это он: фу-ты на! Павлин, да и только... «Вы да вы», а от матроса рыло воротит — в господа лезет... Форцу-то много, а если прямо сказать, так одно слово: шильники!.. Нет, братец ты мой, ежели ты боцман, ты учи матроса, бей его с рассудком, но только и совесть знай... А то из-за портянок ежели человека несчастным сделать — это закон?! Или ежели за всякую малость на матроса жаловаться,— это, по-твоему, закон?!. Нет, брат, это не закон... Это — тьфу!..— энергично окончил старик, сплюнув и выходя из кружка.

— Здравствуйте, Щукин! — проговорил я, подойдя к старику.

Щукин оглядывал меня, видимо не узнавая. Я назвал себя.

— Вот где довелось встретиться, ваше благородие! — радостно приветствовал меня Щукин.— Вы, значит, вышли из флота?

— Вышел.

— Да и какой теперь флот, ваше благородие! Вы вот спросите: умеет ли он брамсель крепить... так он и брамселя-то не видал, а тоже матросом называется... Ишь ведь, тверезые они нонче какие! — насмешливо прибавил старик, кивая на матросов.— А унтер-то у них?.. При цепочке... деликатного обращения... все больше чай с алимоном... Другой народ пошел, ваше благородие!..

— А вы чем занимаетесь?

— А сторожем здесь, при кладбище, да вот пристань караулю, чтоб не сбежала... Спасибо, исхлопотал мне это Василий Иванович... Он не забывает старого боцмана... заместо отца родного... Вот вышел окуньков половить... С десяток уж наловил, ваше благородие...

«Матросский линч»

— Выпить-то ему не на что, вот он и ловит окуней на сорокоушку! — насмешливо проговорил унтер-офицер, приблизившись к нам.

— Небось у тебя не прошу, у сволочи! — сердито отвечал Щукин и пошел к своей удочке.

Я купил у Щукина окуньков, и он мгновенно удалился. Через четверть часа он снова явился на пристань совсем охмелевший, и скоро в вечерней темноте снова раздавался его пьяный, осипший голос:

— Одно слово — лев был... Рука — во!.. У нас на «Фершанте» в три минуты марселя меняли... А ты?.. Какой ты унтерцер? Тебе бы только компот в штанах варить, а не то что как прежде бывало... Или когда мы на клипере взаграницу ходили... Небось служба была... Василий Иваныч понимал, какой я был боцман... У меня — шалишь, брат...

1887

«ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ!»

I

Жара тропического дня начинала спадать. Солнце медленно катилось к горизонту.

Подгоняемый нежным пассатом, клипер нес всю парусину и бесшумно скользил по Атлантическому океану, узлов по семи. Пусто кругом: ни паруса, ни дымка на горизонте! Куда ни взглянешь, все та же безбрежная водяная равнина, слегка волнующаяся и рокочущая каким-то таинственным гулом, окаймленная со всех сторон прозрачной синевой безоблачного купола. Воздух мягок и прозрачен; от океана несет здоровым морским запахом.

Пусто кругом.

Изредка разве блеснет под лучами солнца яркой чешуйкой, словно золотом, перепрыгивающая летучая рыбка, высоко в воздухе прореет белый альбатрос, торопливо пронесется над водой маленькая петрель, спешащая к далекому африканскому берегу, раздастся шум водяной струи, выпускаемой китом, и опять ни одного живого существа вокруг. Океан да небо, небо да океан — оба спокойные, ласковые, улыбающиеся.

— Дозвольте, ваше благородие, песенникам песни петь? — спросил вахтенный унтер-офицер, подходя к офицеру, лениво шагающему по мостику.

Офицер утвердительно махнул головой, и через минуту стройные звуки деревенской песни, полной шири и грусти, разнеслись среди океана.

Довольные, что после дневной истомы наступила прохлада, матросы толпятся на баке, слушая песенников, собравшихся у баковой пушки. Завзятые любители, особенно из старых матросов, обступив певцов тесным кружком, слушают сосредоточенно и серьезно, и на многих

загорелых, обветрившихся лицах светится безмолвный восторг. Подавшийся вперед широкоплечий, сутулый старик Лаврентьич, «основательный» матрос из «баковщины», с жилистыми просмоленными руками, без пальца на одной руке, давно оторванного марсафалом, и цепкими, слегка вывернутыми ногами,— отчаянный пьяница, которого с берега привозят всегда в бесчувствии и с разбитой физиономией (он любит лезть в драку с иностранными матросами за то, что они, по его мнению, «не пьют настояще, а только куражатся», разбавляя водой крепчайший ром, который он дует гольем),— этот самый Лаврентьич, слушая песни, словно замер в какой-то истоме, и его морщинистое лицо с красно-сизым, как слива, носом и щетинистыми усами — обыкновенно сердитое, точно Лаврентьич чем-то недоволен и сейчас выпустит фонтан ругани,— смотрит теперь необыкновенно кротко, смягченное выражением тихой задумчивости. Некоторые матросы тихонько подтягивают; другие, рассевшись по кучкам, вполголоса разговаривают, выражая по временам одобрение то улыбкой, то восклицанием.

И в самом деле, хорошо поют наши песенники! Голоса в хоре подобрались всё молодые, свежие и чистые и спелись отлично. Особенно приводил всех в восторг превосходный бархатный тенорок подголоска Шутикова. Этот голос выделялся среди хора своей красотой, забираясь в самую душу чарующей искренностью и теплотой выражения.

— За самое нутро хватает, подлец,— говорили про подголоска матросы.

Песня лилась за песнью, напоминая матросам, среди тепла и блеска тропиков, далекую родину с ее снегами и морозами, полями, лесами и черными избами, с ее близкими сердцу бездольем и убожеством...

— Вали плясовую, ребята!

Хор грянул веселую плясовую. Тенорок Шутикова так и заливался, так и звенел теперь удальством и весельем, вызывая невольную улыбку на лицах и заставляя даже солидных матросов поводить плечами и притопывать ногами.

Макарка, маленький бойкий молодой матросик, давно уже чувствовавший зуд в своем поджаром, словно в себя подобранном теле, не выдержал и пошел отхватывать трепака под звуки залихватской песни, к общему удовольствию зрителей.

Наконец пение и пляска кончились. Когда Шутиков,

сухощавый стройный чернявый матрос, вышел из круга и пошел курить к кадке, его провожали одобрительными замечаниями.

— И хорошо же ты поешь, ах хорошо, пес тебя ешь! — заметил растроганный Лаврентьич, покачивая головой и прибавляя в знак одобрения непечатное ругательство.

— Ему бы подучиться, да ежели, примерно, генералбас понять, так хучь в оперу! — с апломбом вставил молодой наш писарь из кантонистов, Пуговкин, щеголявший хорошим обращением и изысканными выражениями.

Лаврентьич, не терпевший и презиравший «чиновников»[1], как людей, по его мнению, совершенно бесполезных на судне, и считавший как бы долгом чести при всяком случае обрывать их, насупился, бросил сердитый взгляд на белокурого, полнотелого, смазливого писарька и сказал:

— Ты-то у нас опера!.. Брюхо отрастил от лодырства, и вышла опера!..

Среди матросов раздалось хихиканье.

— Да вы понимаете ли, что такое обозначает опера? — заметил сконфуженный писарек...— Эх, необразованный народ! — тихо проговорил он и благоразумно поспешил скрыться.

— Ишь какая образованная мамзеля! — презрительно пустил ему вслед Лаврентьич и прибавил, по своему обыкновению, забористую ругань, но уже без ласкового выражения...

— То-то я и говорю,— начал он, помолчав и обращаясь к Шутикову,— важно ты поешь песни, Егорка...

— Уж что и толковать. Он у нас на все руки. Одно слово... молодца, Егорка!..— заметил кто-то.

В ответ на одобрения Шутиков только улыбался, скаля белые ровные зубы из-под добродушных пухлых губ.

И эта довольная улыбка, ясная и светлая, как у детей, стоявшая в мягких чертах молодого, свежего лица, подернутого краской загара, и эти большие темные глаза, кроткие и ласковые, как у щенка, и аккуратная, подобранная сухощавая фигура, крепкая, мускулистая и гибкая, не лишенная, однако, крестьянской мешковатой складки,— все в нем притягивало и располагало к себе с первого же раза, как и чудный его голос. И Шутиков пользовался

[1] **Чиновниками** матросы называют всех нестроевых: писарей, фельдшера, баталера, подшкипера. *(Примеч. автора.)*

общей приязнью. Все любили его, и он всех, казалось, любил.

Это была одна из тех редких, счастливых, жизнерадостных натур, при виде которых невольно делается светлее и радостнее на душе. Такие люди какие-то прирожденные философы-оптимисты. Его веселый, сердечный смех часто раздавался на клипере. Бывало, он что-нибудь рассказывает и первый же заразительно, вкусно смеется. Глядя на него, и другие невольно смеялись, хотя бы в рассказе Шутикова иногда и не было ничего особенно смешного. Оттачивая какой-нибудь блочек, отскабливая краску на шлюпке или коротая ночную вахту, примостившись на марсе, за ветром, Шутиков обыкновенно тихо подпевал какую-нибудь песенку, а сам улыбался своей хорошей улыбкой, и всем было как-то весело и уютно с ним. Редко когда видели Шутикова сердитым или печальным. Веселое настроение не покидало его и тогда, когда другие готовы были упасть духом, и в такие минуты Шутиков был незаменим.

Помню я, как однажды мы штормовали. Ветер ревел жестокий, кругом бушевала буря, и клипер, под штормовыми парусами, бросало, как щепку, на океанском волнении, готовом, казалось, поглотить в своих седых гребнях утлое суденышко. Клипер вздрагивал и жалобно стонал всеми членами, сливая свои жалобы со свистом ветра, завывающего в надувшихся снастях. Даже старики матросы, видавшие всякие виды, угрюмо молчали, пытливо посматривая на мостик, где словно приросла к поручням высокая, закутанная в дождевик фигура капитана, зорко взглядывавшего на беснующуюся бурю.

А Шутиков в это время, придерживаясь одною рукою за снасти, чтоб не упасть, занимал небольшую кучку молодых матросов, с испуганными лицами прижавшихся к мачте, посторонними разговорами. Он так спокойно и просто «лясничал», рассказывая про какой-то забавный деревенский случай, и так добродушно смеялся, когда долетавшие брызги волн попадали ему в лицо, что это спокойное настроение невольно передавалось другим и ободряло молодых матросов, отгоняя всякую мысль об опасности.

— И где это ты, дьявол, насобачился так ловко горло драть? — снова заговорил Лаврентьич, подсасывая носогрейку с махоркой...— Пел у нас на «Костенкине» один матросик, надо правду сказать, что форменно, шельма, пел... да все не так забористо.

— Так, самоучкой, в пастухах когда жил. Бывало,

стадо разбредется по лесу, а сам лежишь под березкой и песни играешь... Меня так в деревне и прозывали: певчий пастух! — прибавил Шутиков улыбаясь.

И все почему-то улыбнулись в ответ, а Лаврентьич, кроме того, трепанул Шутикова по спине и, в виде особого расположения, выругался в самом нежном тоне, на который только был способен его испитой голос.

II

В эту минуту, расталкивая матросов, в круг торопливо вошел только что выскочивший из палубы плотный пожилой матрос Игнатов.

Бледный и растерянный, с непокрытой, коротко остриженной круглой головой, он сообщил прерывистым от злобы и волнения голосом, что у него украли золотой.

— Двадцать франков! Двадцать франков, братцы! — жалобно повторял он, подчеркивая цифру.

Это известие смутило всех. Такие дела бывали редкостью на клипере.

Старики нахмурились. Молодые матросы, недовольные, что Игнатов внезапно нарушил веселое настроение, более с испуганным любопытством, чем с сочувствием, слушали, как он, задыхаясь и отчаянно размахивая своими опрятными руками, спешил рассказать про все обстоятельства, сопровождавшие покражу: как он, еще сегодня, после обеда, когда команда отдыхала, ходил в свой сундучишко, и все было, слава богу, целехонько, все на своем месте, и как вот сейчас он пошел было за сапожным товаром — и... замок, братцы, сломан... двадцати франков нет...

— Это как же? Своего же брата обкрадывать? — закончил Игнатов, обводя толпу блуждающим взглядом.

Его гладкое, сытое, чисто выбритое, покрытое крупными веснушками лицо с небольшими круглыми глазами и острым, словно у ястреба, загнутым носом, отличавшееся всегда спокойной сдержанностью и довольным степенным видом неглупого человека, понимающего себе цену, теперь было искажено отчаянием скряги, который потерял все имущество. Нижняя челюсть вздрагивала; круглые его глаза растерянно перебегали по лицам. Видно было, что покража совсем его расстроила, обнаружив его кулацкую, скаредную натуру.

Недаром же Игнатов, которого некоторые матросы уж начинали почетно величать «Семенычем», был прижимис-

тым и жадным к деньгам человеком. Он н в кругосветное плаванне пошел, вызвавшись охотиком н оставив в Кроиштадте жену — торговку иа базаре — и двоих детей, с едниственной целью прикопнть в плаванни деньжоиок и, выйдя в отставку, заияться в Кроиштадте по малости торговлей. Он вел крайие воздержаиную жнзнь, вииа ие пил, на берегу деиег не тратил. Он копил деиьги, копил нх упорио, по грошам, зиал, где можио выгодио меиять золото и серебро, и, под большим секретом, давал мелкне суммы взаймы за процеиты надежиым людям. Вообще Игнатов был человек оборотистый и рассчитывал сделать хорошее дело, прнвезя в Россню для продажн сигар и кое-какие япоискне и китайские вещн. Он н раньше уж занимался такнмн делишкамн, когда плавал по летам в Финском залнве: в Ревеле, бывало, закупит килек, в Гельсиигфорсе снгар и мамуровки и с выгодой перепродаст в Кроиштадте.

Игиатов был рулевым, служил исправио, стараясь ладить со всеми, дружил с баталером и подшкипером, был грамотеи и тщательно скрывал, что у него водятся деньжонки, и прнтом для матроса порядочные.

— Это беспремеино подлец Прошка, никто, как ои! — закипая гневом, взволиованио продолжал Игиатов.— Даве он все вертелся в палубе, когда я ходил в сундук... Что ж теперь с этнм подлецом делать, братцы? — спрашивал он, обращаясь преимущественно к старикам и как бы ища нх поддержки.— Неужто я так н решусь денег?.. Ведь деиьгнто у меня кровиые... Сами зиаете, братцы, какие у матроса деиьги... По грошам сбирал... чарки своей не пью...— прнбавил ои униженным, жалобным тоном.

Хотя никаких других улик, кроме того, что Прошка «даве вертелся в палубе», не было, тем ие меиее н сам потерпевшнй, и слушателн не сомневалнсь, что украл деиьги именно Прошка Житнн, ие раз уже попадавшнйся в мелких кражах у товарищей. Ни одни голос ие раздался в его защнту. Напротнв, миогне возмущенные матросы осыпалн предполагаемого вора браиью.

— Эдакнй мерзавец... Только срамит матросское звание...— с сердцем сказал Лаврентьич.

— Д-да... Завелась н у нас паршивая собака...

— Надо его теперь проучить, чтобы помнил, лодырь беспутный!

— Так как же, братцы? — продолжал Игнатов...— Что с Прошкой делать?.. Ежелн не отдаст он добром, я попрошу доложить старшему офнцеру. Пусть по форме разберут.

Но эта приятная Игнатову мысль не нашла на баке поддержки. На баке был свой особенный, неписаный устав, строгими охранителями которого, как древле жрецы, были старые матросы.

И Лаврентьич первый энергично запротестовал.

— Это, выходит, с лепортом по начальству? — презрительно протянул он.— Кляузы заводить? Забыл, видно, с перепугу матросскую правилу? Эх вы... народ! — И Лаврентьич для облегчения помянул «народ» своим обычным словом.— Тоже выдумал, а еще матросом считаешься! — прибавил он, бросая на Игнатова не особенно дружелюбный взгляд.

— По-вашему как же?

— А по-нашему так же, как прежде учивали. Избей ты собачьего сына Прошку вдрызг, чтобы помнил, да отыми деньги. Вот как по-нашему.

— Мало ли его, подлеца, били! А ежели он не отдаст?.. Так, значит, и пропадать деньгам? Это за что же? Пусть уж лучше форменно засудят вора... Такую собаку нечего жалеть, братцы.

— Жаден ты к деньгам уж очень, Игнатов... Небось Прошка не все украл... Еще малость осталась? — иронически промолвил Лаврентьич.

— Считал ты, что ли!

— То-то не считал, а только не матросское это дело — кляузы. Не годится! — авторитетно заметил Лаврентьич.— Верно ли я говорю, ребята?

И все почти «ребята», к неудовольствию Игнатова, подтвердили, что кляузы заводить «не годится».

— А теперь веди сюда Прошку! Допроси его при ребятах! — решил Лаврентьич.

И Игнатов, злой и недовольный, подчинился, однако, общему решению и пошел за Прошкой.

В ожидании его матросы теснее сомкнули круг.

III

Прохор Житин, или, как все пренебрежительно называли его, Прошка, был самым последним матросом. Попавший в матросы из дворовых, отчаянный трус, которого только угроза порки могла заставить подняться на марс, где он испытывал неодолимый физический страх, лентяй и лодырь, отлынивавший от работы и ко всему этому нечистый на руку, Прошка с самого начала плавания

стал в положенне какого-то отверженного парня. Все нм помыкалн; боцмана и унтер-офнцеры походя, н за дело, н так, здорово жнвешь, ругали н били Прошку, прнговарнвая: «У, лодырь!» И он ннкогда не протестовал, а с какой-то привычной тупой покорностью забнтого жнвотного переноснл побон. После несколькнх мелкнх краж, в которых он был улнчен, с ннм почти не разговаривалн н обращалнсь с пренебреженнем. Всякнй, кому не лень, мог безнаказанно обругать его, ударить, послать куда-ннбудь, поглумнться над ннм, словно бы иное отношенне к Прошке было немыслимо. И Прошка так, казалось, прнвык к этому положенню загнанной, паршнвой собакн, что н не ждал иного обращення н переноснл всю каторжную жнзнь, по-вндимому, без особенной тягостн, вознаграждая себя на клнпере сытной едой да дрессировкой поросенка, которого Прошка учнл делать разные штуки, а прн съездах на берег — выпнвкой н ухажнванием за прекрасным полом, до которого он был большой охотннк; на женщнн он тратил последний грош н радн ннх, кажется, таскал деньгн у товарнщей, несмотря на суровое возмездне, получаемое нм в случае поимкн. Он был вечный «гальюнщнк» — другой должности ему не было, н состоял в числе шканечных, нсполняя обязанность рабочей снлы, не требовавшей ннкакнх способностей. И тут ему доставалось, так как он всегда лениво тянул вместе с другими какую-нибудь снасть, делая только внд, как леннвая лукавая лошадь, будто взаправду тянет.

— У-у... подлый лодырь! — ругал его шканечный унтер-офнцер, обещая ему ужо начистнть зубы.

И, разумеется, «чнстил».

IV

Забравшись под баркас, Прошка сладко спал, бессмысленно улыбаясь во сне. Сильный удар ногн разбудил его. Он хотел было залезть подальше от этой непрошеной ногн, как новый пннок дал понять Прошке, что он зачем-то нужен и что надо вылезать из укромного местечка. Он выполз, поднялся на ногн н глядел на злое лицо Игнатова тупым взором, словно бы ожндая, что еще будут бнть.

— Ступай за мной! — проговорнл Игнатов, едва сдержнваясь от желання тут же истерзать Прошку.

Прошка покорно, словно виноватая собака, пошел за Игнатовым своей медленной, ленивой походкой, перевалнваясь, как утка, со стороны на сторону.

Это был человек лет за тридцать, мягкотелый, неуклюжий, плохо сложенный, с несоразмерным туловищем на коротких кривых ногах, какие бывают у портных. (До службы он и был портным в помещичьей усадьбе.) Его одутловатое, землистого цвета лицо с широким плоским носом и большими оттопырившимися ушами, торчащими из-под шапки, было невзрачно и изнощено. Небольшие тусклые серые глаза глядели из-под светлых редких бровей с выражением покорного равнодушия, какое бывает у забитых людей, но в то же время в них как будто чувствовалось что-то лукавое. Во всей его неуклюжей фигуре незаметно было и следа матросской выправки; все на нем сидело мешковато и неряшливо,— словом, Прошкина фигура была совсем нерасполагающая.

Когда, вслед за Игнатовым, Прошка вошел в круг, все разговоры смолкли. Матросы теснее сомкнулись, и взоры всех устремились на вора.

Для начала допроса Игнатов первым делом со всего размаха ударил Прошку по лицу.

Удар был неожиданный. Прошка слегка пошатнулся и безответно снес затрещину. Только лицо его сделалось еще тупее и испуганнее.

— Ты сперва толком пытай, а накласть в кису успеешь! — сердито промолвил Лаврентьич.

— Это ему в задаток, подлецу! — заметил Игнатов и, обратившись к Прошке, сказал: — Признавайся, сволочь, ты у меня золотой из сундука украл?

При этих словах тупое Прошкино лицо мгновенно осветилось осмысленным выражением. Он понял, казалось, всю тяжесть обвинения, бросил испуганный взгляд на сосредоточенно-серьезные, недоброжелательные лица и вдруг побледнел и как-то весь съежился. Тупой страх исказил его черты.

Эта внезапная перемена еще более утвердила всех в мысли, что деньги украл Прошка.

Прошка молчал, потупив глаза.

— Где деньги? Куда ты их спрятал? Сказывай! — продолжал допросчик.

— Я денег твоих не брал! — тихо отвечал Прошка.

Игнатов пришел в ярость.

— Ой, смотри... до смерти изобью, коли ты добром не отдашь денег!..— сказал Игнатов, и сказал так злобно и серьезно, что Прошка подался назад.

И со всех сторон раздались неприязненные голоса:

— Повинись лучше, скотина!

— Не запнрайся, Прошка!

— Лучше добром отдай!

Прошка видел, что все протнв него. Ои подиял голову, снял шапку н, обращаясь к толпе, воскликиул с безнадежиым отчаянием человека, хватающегося за соломнику:

— Братцы! Как перед нстнниым богом! Хучь под присягу снчас! Разразн меня на месте!.. Делайте со мной, что вгодно, а я деиег ие брал!

Прошкниы слова, казалось, поколебали иекоторых.

Но Игиатов не дал усилнться впечатленню н тороплнво заговорил:

— Не врн, подлая тварь... Бога-то оставь! Ты н тогда запирался, когда у Кузьмиаа из кармаиа франок вытащил... помиишь? А как у Левонтьева рубаху украл, тоже шел под прнсягу, а? Тебе, бесстыжему, присягиуть — что плюиуть...

Прошка снова опустил голову.

— Виннсь, говорят тебе, скорее. Сказывай, где мои деиьги? Нешто я ие видел, как ты около вертелся... Сказывай, бессовестиый, зачем ты в палубе шнырял, когда все отдыхалн? — наступал допросчнк.

— Так ходил...

— Так ходил?! Эй, Прошка, не доводн до греха. Призиавайся.

Но Прошка молчал.

Тогда Игнатов, словно бы желая нспробовать последнее средство, вдруг сразу нзмеиил тои. Теперь он не угрожал, а просил Прошку отдать деньгн ласковым, почтн заискивающнм тоиом.

— Тебе иичего не будет... слышншь?.. Отдай только мои деньги... Тебе ведь пропнть, а у меня семейство... Отдай же! — почти молил Игнатов.

— Обыщите меия... Не брал я твонх деиег!

— Так ты не брал, подлая душа? Не брал? — восклнкиул Игнатов с побелевшнм от злобы лнцом.— Не брал?!

И с этнмн словами он, как ястреб, иалетел на Прошку.

Бледиый, вздрагнвающнй всем съежившнмся телом, Прошка зажмурил глаза и старался скрыть от ударов голову.

Матросы молча хмурились, глядя иа эту безобразиую сцеиу. А Игнатов, возбуждеииый безответностью жертвы, свирепел все более н более.

— Полио... Будет... будет! — раздался вдруг из толпы голос Шутнкова.

И этот мягкий просящий голос точно сразу пробудил человеческие чувства и у других.

Многие из толпы, вслед за Шутиковым, сердито крикнули:

— Будет... будет!

— Ты прежде обыщи Прошку и тогда учи!

Игнатов оставил Прошку и, злобно вздрагивая, отошел в сторону. Прошка юркнул вон из круга. Несколько мгновений все молчали.

— Ишь ведь, какой подлец... запирается! — переводя дух, проговорил Игнатов.— Ужо погоди, как я его на берегу разделаю, коли не отдаст денег! — грозился Игнатов.

— А может, это и не он! — вдруг тихо сказал Шутиков.

И та же мысль, казалось, сказывалась на некоторых напряженно-серьезных, насупившихся лицах.

— Не он? Впервые ему, что ли?.. Это беспременно его дело... Вор известный, чтоб ему...

И Игнатов, взяв двух человек, ушел обыскивать Прошкины вещи.

— И зол же человек на деньги! Ох, зол! — сердито проворчал Лаврентьич вслед Игнатову, покачивая головой.— А ты не воруй, не срами матросского звания! — вдруг прибавил он неожиданно и выругался — на этот раз, по-видимому, с единственной целью: разрешить недоумение, ясно стоявшее на его лице.

— Так ты, Егор, думаешь, что это не Прошка? — спросил он после минутного молчания.— Кабысь больше некому.

Шутиков промолчал, и Лаврентьич больше не спрашивал и стал усиленно раскуривать свою короткую трубочку.

Толпа стала расходиться.

Через несколько минут на баке стало известно, что ни у Прошки, ни в его вещах денег не нашли.

— Запрятал, шельма, куда-нибудь! — решили многие и прибавляли, что теперь Прошке придется худо: Игнатов не простит ему этих денег.

V

Нежная тропическая ночь быстро спустилась над океаном.

Матросы спали на палубе — внизу было душно,— а на вахте стояло одно отделение. В тропиках, в полосе пассата, вахты спокойные, и вахтенные матросы, по обыкнове-

нию, коротают иочные часы, разгоияя дрему беседамн и сказкамн.

В эту ночь, с полуночи до шестн, иа вахте довелось быть второму отделению, в котором были Шутиков и Прошка.

Шутиков уж рассказал иесколько сказок кучке матросов, усевшихся у фок-мачты, и отправился покурнть. Выкурнвши трубку, ои пошел, осторожно ступая между спящимн, на шкаицы н, разглядев в темноте Прошку, одиноко прнтулившегося у борта и поклевывавшего иосом, тнхо оклнкнул его:

— Это ты... Прошка?

— Я! — встрепеиулся Прошка.

— Что я тебе скажу,— продолжал Шутиков тнхим ласковым голосом,— ведь Игнатов, сам зиаешь, человек какой... Он тебя вовсе изобьет на берегу... безо всякой жалости...

Прошка иасторожился... Этот тои был для иего неожндаиностью.

— Что ж, пусть бьет, а я евойиых денег ие касался!— ответил после короткого молчаиия Прошка.

— То-то ои не верит н, пока ие вернет своих денег, тебе ие простит... И миогне ребята сумневаются...

— Сказаио: не брал! — повторил Прошка с прежннм упорством.

— Я, братец, верю, что ты ие брал... Слышь, верю, н пожалел, что тебя заиапрасно давеча бнлн н Игиатов еще грозит бнть... А ты вот чего, Прошка: возьми ты у меия двадцать франоков н отдай нх Игиатову... Бог с иим! Пусть радуется на деиьгн, а мне когда-иибудь отдашь — приневоливать ие стаиу... Так-то оно будет аккуратией... Да, слышь, иикому про это ие сказывай! — прибавил Шутнков.

Прошка был решительно озадачен н не иаходил в первую минуту слов. Еслн б Шутиков мог разглядеть Прошкнио лнцо, то увидал бы, что оио смущено и иеобыкновеиио взволиовано. Еще бы! Прошку жалеют, и мало того, что жалеют, еще предлагают деньги, чтобы избавить его от битья. Это уж было слишком для человека, давио ие слыхавшего ласкового слова.

Подавлеиный, чувствуя, как что-то подступает к горлу, молча стоял он, опустив голову.

— Так бери деиьгн! — сказал Шутиков, доставая из кармана штаиов завернутый в тряпочку весь свой капитал.

— Это как же... Ах ты господи!— растерянио бормотал Прошка.

— Эка... глупый... Сказано: получай, не кобенься!

— Получай?! А, братец! Спасибо тебе, добрая твоя душа! — отвечал Прошка дрогнувшим от волнения голосом и вдруг решительно прибавил: — Только твоих денег, Шутиков, не нужно... Я все же чувствую и не хочу перед тобой быть подлецом... Не желаю... Я сам после вахты отдам Игнатову его золотой.

— Так, значит, ты...

— То-то я! — чуть слышно промолвил Прошка...— Никто бы и не дознался... Деньги-то в пушке запрятаны...

— Эх, Прохор, Прохор! — упрекнул только Шутиков грустным тоном, покачивая головой.

— Теперь пусть он меня бьет... Пусть всю скулу своротит. Сделай ваше одолжение! Бейте подлеца Прошку... жарь его, мерзавца, не жалей!— с каким-то ожесточенным одушевлением против собственной особы продолжал Прошка.— Все перенесу с моим удовольствием... По крайности знаю, что ты пожалел, поверил... Ласковое слово сказал Прошке... Ах ты господи! Вовек этого не забуду!

— Ишь ведь ты какой! — промолвил ласково Шутиков и присел на пушку.

Он помолчал и заговорил:

— Слушай, что я тебе скажу, братец ты мой: брось-ка ты все эти дела... право, брось, ну их!.. Живи, Прохор, как люди живут, по-хорошему... Стань форменным матросом, чтобы все, значит, как следует... Так-то душевней будет... А то разве самому тебе сладко?.. Я, Прохор, не в укор, а жалеючи!..— прибавил Шутиков.

Прошка слушал эти слова и находился под их обаянием. Никто, во всю его жизнь, не говорил с ним так ласково и задушевно. До сей поры его только ругали да били — вот какое было ученье.

И теплое чувство благодарности и умиления охватило Прошкино сердце. Он хотел было выразить их словами, но слова не отыскивались.

Когда Шутиков отошел, пообещав уговорить Игнатова простить Прошку, Прошка не чувствовал уж себя таким ничтожеством, каким считал себя прежде. Долго еще стоял он, посматривая за борт, и раз или два смахнул навертывавшуюся слезу.

Утром, после смены, он принес Игнатову золотой. Обрадованный матрос алчно схватил деньги, зажал их в руке, дал Прошке в зубы и хотел было идти, но Прошка стоял перед ним и повторял:

— Бей еще... Бей, Семеныч! В морду в самую дуй!

Удивлеииый Прошкииой смелостью, Игнатов презрительио оглядел Прошку и проговорил:

— Я разделал бы тебя, мерзавца, иачисто, кабы ты мне ие отдал деньги, а теперь ие стоит рук марать... Сгииь, сволочь, ио только смотри... попробуй еще раз ко мне лазить... Искалечу! — виушительио прибавил Игиатов и, оттолкиув с дороги Прошку, побежал вииз прятать свои деиьги.

Тем и ограиичилась расправа.

Благодаря ходатайству Шутикова и боцмаи Щукии, узнавший о воровстве и собиравшийся «после убирки искровянить стервеца», вместо того довольио милостиво, отиосительио говоря, потрепал, как ои выражался, «Прошкиио хайло».

— Испужался Прошка Семеиыча-то! Предоставил деньги, а ведь как запирался, шельма! — говорили матросы во время утренией чистки.

VI

С той памятной иочи Прошка беззаветно привязался к Шутикову и был предан ему, как вериая собака. Выражать свою привязаииость открыто, при всех, он, разумеется, ие решался, чувствуя, вероятно, что дружба такого отвержеица уиизит Шутикова в чужих глазах. Он иикогда ие заговаривал с Шутиковым при других, ио часто взглядывал иа него, как на какое-то особенное существо, перед которым он, Прошка, последняя дряиь. И он гордился своим покровителем, прииимая близко к сердцу все, до него касающееся. Ои любовался, поглядывая сиизу, как Шутиков лихо управляется иа рее, замирал от удовольствия, слушая его пеиие, и вообще иаходил иеобыкиовеиио хорошим все, что ии делал Шутиков. Иногда дием, но чаще во время ночиых вахт, заметив Шутикова одного, Прошка подходил и топтался около.

— Ты чего, Прохор? — спросит, бывало, приветливо Шутиков.

— Так, иичего! — ответит Прошка.

— Куда же ты?

— А к своему месту... Я ведь так только! — скажет Прошка, словио бы извиияясь, что беспокоит Шутикова, и уйдет.

Всеми силами старался Прошка чем-нибудь да угодить Шутикову: то предложит ему постирать белье, то почииить

его гардероб, и часто отходил смущенный, получая отказ от услуг. Однажды Прошка принес щегольски сработанную матросскую рубаху с голландским передом и, несколько взволнованный, подал ее Шутикову.

— Молодец, Житин... Важная, брат, работа! — одобрительно заметил Шутиков после подробного осмотра и протянул руку, возвращая рубаху.

— Это я тебе, Егор Митрич... Уважь... Носи на здоровье.

Шутиков стал было отказываться, но Прошка так огорчился и так просил уважить его, что Шутиков, наконец, принял подарок.

Прошка был в восторге.

И лодырничать стал Прошка меньше, работая без прежнего лукавства. Бить его стали реже, но отношение к нему оставалось по-прежнему пренебрежительное, и Прошку нередко дразнили, устраивая из этой травли потеху.

Особенно любил дразнить его один из шканечных, забиячный, но трусливый молодой матрос Иванов. Как-то однажды, желая потешить собравшийся кружок, он донимал Прошку своим глумлением. Прошка, по обыкновению, отмалчивался, и Иванов становился все назойливее и безжалостнее в своих шутках.

Случайно проходивший Шутиков, увидав, как травят Прошку, вступился:

— Это, Иванов, не того... нехорошо это... Чего ты пристал к человеку, ровно смола?

— Прошка у нас не обидчивый! — со смехом ответил Иванов...— Ну-ка, Прошенька, расскажи, как ты у батюшки шильники таскал и мамзелям опосля носил... Не кочевряжься... Расскажи, Прошенька! — глумился на общую потеху Иванов.

— Не тронь, говорю, человека...— строго повторил Шутиков.

Все были удивлены, что за Прошку, за лодыря и вора Прошку, Шутиков так горячо заступается.

— Да ты чего? — окрысился вдруг Иванов.

— Я-то ничего, а ты не куражься... Ишь тоже нашел над кем куражиться.

Тронутый до глубины души и в то же время боявшийся, чтобы из-за него не было Шутикову неприятностей, Прошка решился подать голос:

— Иванов ничего... Он ведь так только... Шутит, значит...

— А ты съездил бы его по уху, небось перестал бы так шутить.

— Прошка бы съездил?..— удивленно воскликнул Иванов, до того показалось ему это невероятным.— Ну-ка, попробуй, Прошка... Насыпал бы я тебе, вислоухому, в кису.

— Может, и сам бы съел сдачи.

— Не от тебя ли?

— То-то от меня! — сдерживая волнение, проговорил Шутиков, и его обыкновенно добродушное лицо было теперь строго и серьезно.

Иванов стушевался. И только когда Шутиков отошел, проговорил, насмешливо улыбаясь и указывая на Прошку:

— Однако... нашел себе приятеля Шутиков... Нечего сказать... приятель... хорош приятель, Прошка-гальюнщик!

После этого происшествия Прошку обижали меньше, зная, что у него есть заступник, а Прошка еще сильнее привязался к Шутикову и скоро доказал, на что способна привязанность его благодарной души.

VII

Это было в Индийском океане, на пути к Зондским островам.

Утро в тот день стояло солнечное, блестящее, но прохладное — относительная близость Южного полюса давала себя знать. Дул свежий ровный ветер, и по небу носились белоснежные перистые облака, представляя собой изящные фантастические узоры. Плавно раскачиваясь, клипер наш летел полным ветром под марселями в один риф, под фоком и гротом, убегая от попутной волны.

Был десятый час на исходе. Вся команда находилась наверху. Вахтенные стояли у своих снастей, а подвахтенные были разведены по работам. Всякий занимался каким-нибудь делом: кто оканчивал чистку меди, кто подскабливал шлюпку, кто вязал мат.

Шутиков стоял на грот-русленях, прикрепленный пеньковым поясом, и учился бросать лот, недавно сменив другого матроса. Вблизи от него был и Прошка. Он чистил орудие и по временам останавливался, любуясь на Шутикова, как тот, набравши много кругов лот-линя (веревки, на которой прикреплен лот), ловко закидывает его назад, словно аркан, и затем, когда веревка вытянется, снова быстрыми ловкими движениями выбирает ее...

«Человек за бортом!»

Вдруг со шканцев раздался отчаянный крик:

— Человек за бортом!

Не прошло нескольких секунд, как снова зловещий крик:

— Еще человек за бортом!

На мгновение все замерло на клипере. Многие в ужасе крестились.

Вахтенный лейтенант, стоявший на мостике, видел, как мелькнула фигура сорвавшегося человека, видел, как бросился в море другой. Сердце в нем дрогнуло, но он не потерялся. Он бросил с мостика спасательный круг, крикнув бросать спасательные буйки и с юта, и громовым взволнованным голосом скомандовал:

— Фок и грот на гитовы!

С первым окриком все офицеры выскочили наверх. Капитан и старший офицер, оба взволнованные, уж были на мостике.

— Он, кажется, схватился за буек! — проговорил капитан, отрываясь от бинокля.— Сигнальщик... не спускай их с глаз!..

— Есть... Вижу!

— Скорей... скорей ложитесь в дрейф да спускайте баркас! — нервно, отрывисто торопил капитан.

Но торопить было нечего. Понимая, что каждая секунда дорога, матросы рвались как бешеные. Через восемь минут клипер уже лежал в дрейфе, и баркас, с людьми, под начальством мичмана Лесового, тихо спускался с боканцев.

— С богом! — напутствовал капитан.— Ищите людей на ост-норд-ост... Да не заходите далеко! — прибавил он.

Упавших в море уже не было видно. В эти восемь минут клипер пробежал по крайней мере милю.

— Кто это упал? — спросил капитан старшего офицера.

— Шутиков. Сорвался, бросая лот... Лопнул пояс...

— А другой?

— Житин! Бросился за Шутиковым.

— Житин? Этот трус и рохля? — удивился капитан.

— Я сам не могу понять! — отвечал Василий Иваныч.

Между тем все глаза были устремлены на баркас, который медленно удалялся от клипера, то скрываясь, то показываясь среди волн. Наконец он совсем скрылся от глаз, не вооруженных биноклем, и кругом был виден один волнующийся океан.

На клипере царила угрюмая тишина. Изредка лишь

матросы перекидывались словами вполголоса. Капитан ие отрывался от биииокля. Старший штурмаи и два сигиальщика смотрели в подзориые трубы.

Так прошло долгих полчаса.

— Баркас идет назад! — доложил сигиальщик.

И сиова все взоры устремились на океаи.

— Верио, спасли людей! — тихо заметил старший офицер капитаиу.

— Почему вы думаете, Василий Иваныч?

— Лесовой ие вернулся бы так скоро!

— Дай бог! Дай бог!

Ныряя в волиах, приближался баркас. Издали ои казался крошечиой скорлупой. Казалось, вот-вот его сейчас захлестнет волиой. Но ои снова показывался на гребие и сиова иырял.

— Молодцом правит Лесовой! Молодцом! — вырвалось у капитаиа, жадно глядевшего на шлюпку.

Баркас подходил все ближе и ближе.

— Оба в шлюпке! — весело крикиул сигиальщик.

Радостиый вздох вырвался у всех. Миогие матросы крестились. Клипер словио ожил. Сиова пошли разговоры.

— Счастливо отделались! — проговорил капитаи, и иа его серьезиом лице появилась радостиая, хорошая улыбка.

Улыбался в ответ и Василий Иваиович.

— А Житии-то... трус, трус, а вот подите!..— продолжал капитаи.

— Удивительио... И матрос-то лодырь, а бросился за товарищем!.. Шутиков покровительствовал ему! — прибавил Василий Иваиович в пояснение.

И все дивились Прошке. Прошка был героем мииуты.

Через десять минут баркас подошел к борту и благополучио был подият на бокаицы.

Мокрые, вспотевшие и красиые, тяжело дыша от усталости, выходили гребцы из баркаса и иаправлялись на бак. Вышли Шутиков и Прошка, отряхиваясь, словно утки, от воды, оба бледные, взволиоваииые и счастливые.

Все с уважеиием смотрели теперь иа Прошку, стоявшего перед подошедшим капитаном.

— Молодец, Житин! — сказал капитан, иевольно иедоумевая при виде этого неуклюжего, иевзрачиого матроса, рисковавшего жизнью за товарища.

А Прошка переминался с иоги иа иогу, видимо робея.

— Ну, ступай переодеиься скорей да выпей за меия чарку водки... За твой подвиг представлю тебя к медали, а от меня получишь деиежиую награду.

Совсем ошалевшнй Прошка даже не догадался сказать «рады стараться!» н, растерянно улыбаясь, повернулся н пошел своей утнной походкой.

— Снимайтесь с дрейфа! — прнказал капнтан, поднимаясь на мостик.

Раздалась команда вахтенного лейтенанта. Голос его теперь звучал весело н спокойно. Скоро были поставлены убранные паруса, н мннут через пять клипер снова несся прежннм курсом, подымаясь с волны на волну, н прерванные работы опять возобновилнсь.

— Ишь ведь ты какой, блоха тебя ешь! — остановил Лаврентьнч Прошку, когда тот, переодетый н согревшнйся чаркой рома, поднялся вслед за Шутнковым на палубу.— Портной, портной, а какой отчаянный! — продолжал Лаврентьич, ласково трепля Прошку по плечу.

— Без Прохора, братцы, не вндать бы мне свету! Как я это окунулся да вынырнул, ну, думаю,— шабаш... Богу отдавать душу прндется! — рассказывал Шутнков...— Не продержусь, мол, долго на воде-то... Слышу — Прохор голосом крнчнт... Плывет с кругом н мне буек подал... То-то обрадовал, братцы! Так мы вместе н держалнсь, доколь баркас не подошел.

— А страшно было? — спрашнвали матросы.

— А ты думал как? Еще как, братцы-то, страшно! Не дай бог! — отвечал Шутнков, добродушно улыбаясь.

— И как это ты, братец, вздумал? — ласково спроснл Прошку подошедшнй боцман.

Прошка глупо улыбался и, помолчав, ответнл:

— Я вовсе н не думал, Матвей Нилыч... Вижу, он упал, Шутнков, значнт... Я, значнт, господн благослови, да за нм...

— То-то н есть!.. Душа в ем... Ай да молодца, Прохор! Ишь ведь... На-кось покури трубочкн-то на закуску! — сказал Лаврентьнч, передавая Прошке, в знак особенного благоволення, свою короткую трубочку, н прн этом прибавил забористое словечко в самом нежном тоне.

С этого дня Прошка перестал быть прежннм загнанным Прошкой и обратился в Прохора.

1887

НА КАМЕНЬЯХ

I

Вечерняя вахта на «Красавце», куда меня недавно перевели с «Голубчика», была не из приятных.

Дождь хлестал немилосердно и, несмотря на новый дождевик и нахлобученную зюйдвестку, ехидно пробирался за воротник, заставляя по временам вздрагивать от холода водяной струйки, стекавшей по спине. Дул довольно свежий противный ветер, и клипер «Красавец», спешивший вследствие предписания адмирала, несся под парами полным ходом среди непроглядной тьмы этого бурного вечера в Китайском море.

Признаюсь, мне было очень жутко в начале вахты. Воображение юнца-моряка, настроенное окружающим мраком, рисовало всевозможные неожиданности, с которыми, казалось, мне не справиться. В глазах мелькали — то справа, то слева — воображаемые красные и зеленые огни встречных судов или внезапно вырастал под носом клипера грозный силуэт громадного «купца», не носящего, по беспечности, как часто случается, огней, и я напряженнее вглядывался вперед, в темную бездну, вглядывался и, не видя ничего, кроме чуть белеющихся гребешков волнующегося моря, часто покрикивал часовым на баке вздрагивающим от волнения голосом: «Хорошенько вперед смотреть!» — хотя и понимал, что часовые, так же как и я, ничего не увидят в этой кромешной тьме, окутавшей со всех сторон наш несшийся вперед маленький клипер.

Скоро, впрочем, я свыкся с положением. Нервы успокоились, галлюцинации зрения прошли, и к концу вахты я уже не думал ни о каких опасностях, а ждал смены с нетерпеньем влюбленного, ожидающего свидания, мечтая

только о свежем белье, сухом платье и стакаие горячего чая в теплой кают-компании.

Время иа такнх вахтах тянется чертовскн долго, особенно последняя скляика. От нетерпения поскорей обсушиться и отогреться после четырехчасовой «мокрой» вахты, кажется, будто этой последией, желанной скляике и коица не будет.

— Сигиальщик! Узнай, сколько до восьми?

Принтаившийся от дождя под мостиком сигиальщик, хорошо знающий иетерпеиие «господ» перед коицом вахты, торопливо спускается вниз и через миниуту возвращается н докладывает, что осталось «*всего* восемь мииут». «*Целых* восемь мииут!»

— Ты на каких это часах смотрел? — грозио спрашнваешь у сигнальщика.

— В кают-компаиии, ваше благородне! Уж Николай Николаич обряжаются к вахте,— прибавляет в виде утешеиия сигнальщик и исчезает под мостик.

И снова шагаешь по мостику, сиова взглядываешь на компас и снова приказываешь, чтобы вперед смотрели.

Дождь начннает хлестать с меиьшею силой, и ветер как будто стихает.

«Счастливец этот Литвинов!» — не без завистн думаешь о «счастливце», который смеинт тебя и ие промокнет до нитки.

Вот накоиец бьет восемь склянок, и с последиим ударом колокола окутанная в дождевнк плотная фигура лейтенаита Литвииова появляется на мостике.

— Скверную же вы сдаете мие вахту... Что бы приготовить получше? — говорит Литвинов, заливаясь, по обыкиовению, веселым смехом.

— Скверную? Вы посмотрели бы, что на моей было! — отвечаешь недовольиым, обнженим тоиом.— Дождь-то проходит.

— Зато темно, как...

Лнтвннов закаичивает свое сравнеиие и говорит:

— Ну, сдавайте вахту... Небось чаю хочется? Спешите, а то пан Казнмнр унесет свой коньяк... И то я его наказал на целую рюмку. Накажите и вы, чтоб он не мог заснуть от отчаяиия.

Я стал сдавать вахту: сказал курс, передал распоряжеине не уменьшать хода без приказаиия капитана и прибавил, что в исходе девятого мы должиы быть на траверзе группы маленькнх подводных островков. Оин должиы оставаться слева.

— Да разве мы их еще не прошли?

— То-то нет... Хотите удостовериться — взгляните на карту. Она, кстати, наверху, в рубке.

Мы спустились в маленькую рубку под мостиком и заглянули туда.

Там сидел сухощавый низенький пожилой человек лет пятидесяти, с маленьким морщинистым суровым лицом, озабоченно поглядывая на лежащую перед ним карту. На нем был дождевик и зюйдвестка, из-под которой виднелись седоватые волосы.

Это был старший штурман «Красавца», штабс-капитан Никанор Игнатьевич Осинников, или, как тихонько звали его гардемарины, «Синус Синыч», молчаливый, угрюмый, основательный служака из штурманских «косточек», много переплававший на своем веку, страшно самолюбивый и мнительный в охранении своего достоинства, щекотливый к малейшей шутке и в то же время редкий добряк, несмотря на свой суровый вид, с теми, кто пользовался его расположением, то есть не подозревался в насмешливом или презрительном отношении к штурманам и кто умел хорошо брать высоты и вычислять безошибочно широту и долготу места.

Литвинов, этот общий любимец и enfant gaté[1] кают-компании, всегда добродушный, веселый и жизнерадостный, остроумный рассказчик неистощимых анекдотов, умевший вызывать улыбку даже на хмуром лице Никанора Игнатьевича, заглянул в карту, на которой был проложен курс, и неосторожно кинул вопрос:

— А не снесет нас течением, Никанор Игнатьич?

Несколько суеверный, не любивший, чтобы заранее говорили о какой-нибудь опасности, грозившей клиперу по штурманской части, Никанор Игнатьевич строго взглянул на молодое, румяное, веселое лицо лейтенанта.

— А вы думаете, течение не принято в расчет? Принято-с! Потому-то и курс проложен-с в десяти милях от этих маленьких подлецов! — с сердцем промолвил старый штурман, указывая своим высохшим костлявым пальцем на «маленьких подлецов», обозначенных на карте.— Оно, конечно, лучше бы и еще подальше от них! Наблюдений сегодня не было... Течения тут никто не определял... Черт его знает! — как бы в сердитом раздумье прибавил Никанор Игнатьевич.

— Так отчего же мы не наплюем на этих подлецов и

[1] баловень *(фр.)*.

ие оставим их совсем далеко, Никаиор Игиатьич? — спросил, весело улыбаясь, Литвинов.

— То-то вам все иаплевать! А приказаиие адмирала — спешить как можно скорей?.. На иего ие наплюешь! Капитаи и решил идти ближе к берегам. Волиеиие здесь ие такое сильиое, как в открытом море при этом подлом иорд-весте, и следовательио, клипер имеет большой профит[1] в ходе-с. Там мы ползли бы узлов по шести, а теперь по десяти дуем-с! Не давай таких предписаиий! — неожиданио прибавил возбужденио и сердито Никаиор Игнатьевич.— Какая такая спешка!

Столь подробиое объяснение, которым удостоил обыкновеиио скупой иа слова старый штурман, едва ли можио было приписать исключительио расположеиию Никаиора Игнатьевича к Литвииову. Возбуждеииый, сердитый тон штурмаиа обиаруживал скорей его волнение, которое ои всегда испытывал, тщательио, впрочем, скрывая его, когда вблизи клипера были какие-иибудь «большие» или «малеиькие подлецы».

Литвииов больше ие расспрашивал. Поднимаясь на мостик, ои снова повторил мне иа прощанье совет «иепременно наказать пана Казимира» и вслед за тем крикнул веселым, звучиым голосом, во всю силу своих могучих легких:

— Вперед смотреть!

И, точно иаэлектризованные этим веселым голосом, часовые на баке так же весело и громко ответили:

— Есть! Смотрим!

Вышел из рубки и Никанор Игиатьевич.

Полоса света, падавшего от машинного люка, осветила низеиькую, малеиькую фигурку старшего штурмаиа, пробиравшегося, понурив голову, иа бак с большим биноклем в руке.

«Теперь Сииус Сииыч, верно, сам будет вперед смотреть. Смотрите, смотрите, господа!» — подумал я, спускаясь вииз, веселый и довольный, что кончилась эта сквериая вахта.

II

Через пять минут переодевшись в сухое платье, я уже сидел в теплой, светлой кают-компаиии за стакаиом чая, испытывая то ощущение довольства, удовлетвореиности

[1] выгоду (от *фр.* profit).

и некоторой приятной истомы, которое хорошо знакомо морякам. Теперь уж меня не особенно занимало, что делается *там*, наверху,— хлещет ли дождь или нет. *Здесь*, внизу, было уютно, сухо и тепло.

Однако совета Литвинова так-таки и не удалось исполнить, хотя я и не прочь был влить несколько ложечек коньяка в чай. В тот самый момент, как вестовой подал мне стакан и я только что хотел подговориться к превосходному докторскому коньяку, предусмотрительный доктор (он же пан Казимир), по обыкновению ораторствовавший о возвышенных предметах со своим несколько театральным пафосом и весь поглощенный, казалось, точным определением истинного мужества, успел все-таки заметить мой «прицельный» взгляд на бутылку. И, словно бы желая собственным примером показать образец истинного мужества, он поднялся с дивана, не окончив перечисления всех знаменитых «светочей поэзии и философии», трактовавших об этом вопросе, и унес, к крайнему моему огорчению, бутылку fine champagne[1] в свою каюту.

Многие, заметившие этот маневр, наградили меня сочувственными улыбками, а сосед мой, молодой черноволосый мичман Гарденин, штудировавший Шлоссера, шепнул, отрываясь от книги:

— Опоздали! А ведь бутылка, против обыкновения, была на столе все время, пока доктор разводил разводы. Сегодня он в особенном ударе! Старшего офицера уж в лоск уложил и заставил удрать в каюту. Теперь донимает Ванечку... Глядите, как Ванечка обалдел! Скоро, пожалуй, придется спешить на выручку...— прибавил, усмехаясь, мичман, умевший с большим искусством травить доктора.

Пан Казимир между тем вернулся и продолжал как ни в чем не бывало прерванную беседу об истинном мужестве, обращаясь главным образом к сидевшему близ него младшему механику, невозмутимому молодому хохлу в засаленной, когда-то белой куртке, как к единственной жертве, способной выслушивать без знаков нетерпения длинные речи и рассказы доктора, герой которых, Казимир Викентьевич Горжельский, разумеется, являлся всегда при бенгальском освещении.

— Великий поэт Виктор Гюго в одном из своих творений говорит, что мужество есть непременное качество возвышенных натур.

Доктор, говоривший с заметным польским акцентом,

[1] коньяка *(фр.)*.

стал было цитировать стихи Виктора Гюго, отвратительно произнося французские слова, но, продекламировав несколько стихов, остановился.

— Впрочем, вы ведь не знаете по-*французску?* — спросил он.

«Обалдевший» механик с невозмутимым видом отрицательно качнул головой.

— Так я вам переведу.

Он перевел и продолжал:

— Другой гениальный поэт, Байрон... Вы знаете по-*английску*?

Ванечка снова ответил отрицательным кивком.

Тогда доктор привел по-русски соответствующий пример из Байрона и прибавил, что любит читать классиков в подлинниках. Это не то что переводы! Очень жаль, что молодой человек не знает языков! Он дал бы молодому человеку много интересных книг на французском, немецком, английском и итальянском языках. Он на всех этих диалектах свободно говорит и читает... Он много перечитал книг... «Не менее десяти тысяч томов!» — прибавил доктор и снова воскликнул:

— Ах, как жаль, что вы не знаете языков!

И этот самоуверенный, полный необыкновенного апломба тон, каким говорил доктор, и выражение самовосхищения, стоявшее в чертах его продолговатого желтого, окаймленного черными баками лица с низким узким лбом, под которым сидели небольшие холодные темные глаза, и быстрые взгляды исподлобья, бросаемые во время разговора на окружающих,— словом, все в этом сорокалетнем Нарциссе, влюбленном в себя, говорило, что он не столько жалеет о незнании Ванечкой иностранных языков, сколько хочет порисоваться и убедить публику в своих преимуществах.

Несмотря на знание доктором четырех языков (крайне, впрочем, сомнительное) и на необыкновенные случаи из практики, о которых любил рассказывать доктор, пана Казимира в кают-компании недолюбливали, «случаям» его верили с осторожностью и считали доктора самолюбивым, надутым фразером и хвастуном. Даже юные гардемарины, с которыми доктор вначале пробовал либеральничать, очень скоро поняли подозрительность его цивизма[1], напыщенность фразы и ограниченность ума. Вдобавок и его льстивая манера обращения с капитаном и старшим

[1] гражданских чувств (от *лат.* civilis — гражданский).

офицером, любезное высокомерие с другими и чисто шляхетское, полное нескрываемого презрения отношение к матросам еще более нас отталкивали, и доктор напрасно расточал перлы красноречия, рассказывая в интимной беседе à part[1] о высших «непонятых натурах», обреченных судьбою жить среди людей низменного уровня. Непонятую натуру обегали и относились к ней далеко не дружелюбно.

К этому надо прибавить, что доктор был из тех поляков, которые упорно открещиваются от своей национальности в среде русских и прикидываются ярыми патриотами среди поляков.

Пожалев, что наш милейший хохол Ванечка обречен на тьму невежества, доктор хотел было рассказывать один из «интересных случаев в его жизни, когда знание иностранных языков принесло ему громадную пользу», как мой сосед Гарденин, воспользовавшись временем, пока доктор не спеша свертывал папиросу, шепнул мне:

— Совсем он замучает Ванечку. Я ведь слышал этот «случай»... Очень длинный случай... Вы знаете историю про знатную итальянку?

— Нет.

— Так вот она в кратком изложении. Знатная итальянка в Петербурге... Ну, конечно, красавица и, конечно, у нее сложная болезнь, редкая в медицине... Пять знаменитых врачей, с Боткиным во главе, не понимая ни слова по-*итальянску*, не понимают, разумеется, и ее болезни, лечат от пневмонии, тогда как у нее сердце, печень и что-то в кишках,— словом, совсем не то, а что-то другое... перикардит и еще какое-то мудреное название. Знатная итальянка чахнет, еще два-три дня — и не видать бы ей божьего света, как вдруг пан Казимир приезжает из Кронштадта и совершенно случайно, хотя и без тени правдоподобия, попадает к знатной итальянке. Вы догадываетесь, конечно, о финале? Она прогоняет всех врачей, через пять дней встает с постели, а еще через пять едет на бал к бразильскому посланнику. Само собой, дело не обходится без романтической компликации[2]. Исполненная благодарности к своему спасителю (вдобавок тогда пан Казимир был чертовски хорош и, по его словам, отчаянный сердцеед), знатная итальянка намекает, что так и так, она не прочь выйти замуж за пана Горжельского (пред-

---

[1] с глазу на глаз *(фр.)*.

[2] запутанности (от *лат.* complicatio).

ки доктора ведь от Пяста!), но он, натурально, как благородный шляхтич, не хочет воспользоваться увлечением ее знойного темперамента и сделаться владельцем замка в Неаполе и рисовых полей в Ломбардии... И вот тогда-то она снимает с своего пальца и надевает на мизинец пана Казимира тот самый необыкновенный брильянт, стоящий сорок две тысячи франков (ни одного сантима менее!), которым доктор вместе с другими кольцами украшает свои противные пальцы по праздникам и при съездах на берег... Нет, положительно надо выручать Ванечку! Уж доктор разглаживает баки — значит, сейчас начнет.

И с этими словами, произнесенными вполголоса, черноволосый, худенький, с подвижною физиономией и вздернутою губой Гарденин поднялся с места и, присаживаясь на противуположном крае стола, рядом с Ванечкой, обращается к доктору:

— Позвольте побеспокоить вас, доктор, одним вопросом?

Серьезный тон и самое невинное выражение лица молодого мичмана обманывают на этот раз доктора, и он, не подозревая никакой каверзы, позволяет благосклонным наклонением головы.

— Объясните, пожалуйста, что это за болезнь перикардит? — продолжал Гарденин, по-видимому весьма заинтересованный сведениями о перикардите, и в то же время незаметно подталкивает локтем Ванечку: уходи, мол!

Хотя доктор предварительно и замечает, что профану в медицине довольно трудно будет понять сущность этой болезни, тем не менее входит в подробные объяснения, уснащивая их различными медицинскими терминами, а тем временем младший механик благополучно удирает из кают-компании.

Удовлетворив любознательности Гарденина и совершенно успокоившись насчет его намерений, доктор, заметивший исчезновение Ванечки, не может удержаться от искушения рассказать про «случай» и прибавляет:

— Я только что хотел рассказать об одном весьма интересном случае излечения именно той болезни, которая вас интересует... Все лучшие доктора...

— Это когда вы лечили одну знатную итальянку, доктор? — перебил мичман.

Доктор, не любивший, чтобы его прерывали, с важностью промолвил:

— Я на своем веку многих аристократов пользовал...

— Но, сколько мне помнится, именно у итальянки

был жестокий перикардит с какими-то осложнениями, и если бы не ваше искусство, плохо пришлось бы больной? — продолжал Гарденин с самым серьезным видом, преисполненный, казалось, необыкновенным почтением к искусству доктора.

— Да, был такой случай... Я пользовал маркизу Кастеламарре! — говорил доктор, произнося слова «маркизу Кастеламарре» с каким-то сладостным замиранием в голосе.— Об этом случае в свое время много говорили в медицинском мире...

— Как же, как же... Я ведь слышал, как вы рассказывали эту любопытную историю...

— Это, извольте знать, не история, а факт! — внушительно проговорил пан Казимир, начиная хмуриться.

— О, разумеется факт, тем более что и брильянтовое кольцо в сорок две тысячи франков — тоже факт, и весьма ценный факт!

— Вероятно, вам не случалось видеть хороших брильянтов, и вы, кажется, изволите сомневаться в ценности моего супира? — с презрительной усмешкой заметил закипавший злостью доктор, нервно пощипывая длинными желтыми пальцами свою выхоленную, великолепную черную бакенбарду.

— Христос с вами, доктор, смею ли я сомневаться? — воскликнул, по-видимому с полной искренностью, шаловливый мичман.— Такие ли еще бывают факты!.. «Есть много, друг Горацио, тайн» и так далее... Я, положим, не видал хороших брильянтов — не стану врать,— но видал, например, крупнейших окуней у нас, в Смоленской губернии, и знаю тоже в своем роде интересный факт об их живучести, о котором я, с вашего позволения, расскажу. Стали жарить однажды громадного жирного окуня, фунтов эдак десяти, и что ж бы вы думали? Уж один бок его стал румяниться, а окунище, подлец, все еще жив... Так и пляшет, я вам доложу, на сковороде. Сняли этого самого мерзавца со сковороды, зашили ему брюхо, пустили в речку, и — поверите ли, доктор? — ведь поплыл, как встрепанный, окунь-то этот... Факт невероятный, а ведь я сам видел! — прибавил с невозмутимою серьезностью мичман.

Общий смех огласил кают-компанию.

Не смеялся только один доктор.

Позеленевший от злости, с презрительно сощуренными глазами, он в первую минуту пребывал в гордом молча-

ннн и только, когда смех прекратился, заметил с пренебрежением оскорбленного величия:

— Признаюсь, я не понимаю этого мичманского остроумия... Какой-то окунь... какой-то вздор...

Вдруг раздался страшный треск. Клипер вздрогнул всем своим корпусом, как-то странно покачнулся и, казалось, сразу остановился.

Все на мгновение замерли, недоумевающие и испуганные, взглядывая друг на друга широко раскрытыми глазами.

Старший офицер, вылетевший из каюты, пронесся как бешеный наверх. Вслед за ним ринулись и другие. Доктор, бледный как полотно, не трогаясь с места, беззвучно что-то шептал и крестился.

В первое мгновение я не сообразил, что такое случилось, и не испугался. Но вслед за тем мне почему-то представилось, будто на нас наскочило судно и врезалось в бок. И тогда мною овладел страх, который я тщетно усиливался побороть, стараясь казаться спокойным. Сердце упало, холод пробегал по всему телу, и я бросился стремглав вслед за другими наверх, охваченный паникой и стыдясь в то же время своего малодушия, недостойного моряка.

III

Непроглядная темень по-прежнему окутывала клипер, недвижно стоявший среди моря. На палубе царила грозная тишина. Только рокотало море да ветер жалобно посвистывал в снастях. И среди этой тишины клипер, приподнимаемый волнением, снова еще раз и другой тяжело ударился о подводный камень. Удары эти сопровождались таким наводящим ужас треском во всех членах судна, что казалось, оно не вынесет этой пытки и вот-вот сейчас развалится пополам.

— О господи! — раздалось чье-то скорбное восклицание среди людских теней, собравшихся кучками на палубе.

И чей-то голос стал тихо читать молитву.

— Беспременно теперича разобьет нас на каменьях!

— Вишь, угодили-то как!

— Смирно! — раздался вдруг с мостика голос капитана.

Разговоры мгновенно смолкли.

— Триселя и кливер поставить! Лотовые на лот! Полный ход вперед! — командовал капитан.

«На каменьях»

В этом иегромком, иесколько гиусавом, отчетливом голосе не слышно было ии одиой иотки страха или волиеиия. Ои был спокоеи, прост и ровеи, точно капитаи распоряжался на ученье. И это спокойствие словио бы сразу иизводило опасиость положеиия до самой обыкиовеииой случайиости в море и, иевольио передаваясь другим, вселяло бодрость и увереииость в сердца испугаииых людей.

— Ишь ведь, отчаяиный он у иас какой! — проговорил кто-то среди толпившихся матросов повеселевшим голосом.

— Не бойсь, *он* распорядится!

И у меня отлегло от сердца. Я еще более устыдился своего малодушия и торопливо подиялся иа мостик, где должен был иаходиться, по расписаиию, во время аврала.

Машииа работала полиым ходом, но клипер не двигался с места.

— Как глубииа?

В ответ раздался отрывистый голос старшего штурмана, под иаблюдеиием которого лотовые обмеряли глубииу вокруг клипера.

Недаром голос Никаиора Игиатьевича, перегиувшегося через борт с фоиарем в руках, звучал сердито. Обмер показывал, что клипер сидел всем своим корпусом иа камие и только корма была иа вольиой воде.

— Фальшвейры! — приказал капитаи.

Ярко-красиый огоиь фальшвейров, выкинутых с обеих сторон, погрузив в тьму клипер, рассеял таииствеииость окружающего мрака. Слева, в иедалеком расстояиии, белелись грозиые буруны, доиосясь слабым откликом характерного гула. Справа море было чисто и с одиообразиым ровиым шумом катило свои волны, рассыпавшиеся пеиистыми седыми верхушками. Ясио было, что мы, по счастию, иалетели на крайиий камеиь из этой группы малеиьких «подлецов», брошеииых среди моря.

— Стоп машииа! Полиый ход иазад! — распоряжался капитан, передавая приказаиия в машииу через переговорную трубку.

Прошла еще бескоиечиая тягостиая миiута.

— Идет ли? — спросил капитаи своим прежиим спокойиым гиусавым голосом.

— Нет!

И, словио в подтверждение, что не идет, клипер сиова беспомощио ударился о камеиь. Удар этот, тяжелый, медлеииый, казалось, был ужасиее прежиих.

Капитаи взялся за ручку машииого телеграфа.

«Дзинь-дзинь!»

Машина застопорила.

«Дзинь-дзинь!»

Машина снова застучала полным ходом.

Бедняга клипер, точно прикованный, не подавался. Я взглянул на худощавую невысокую фигуру капитана, стоявшего в полосе слабого света от огня компаса, рассчитывая по выражению его лица узнать о степени грозившей нам опасности.

Ни черточки страха или волнения! Напротив, во всей его фигуре, неподвижно стоявшей у машинного телеграфа, было какое-то дерзкое, вызывающее спокойствие, и всегдашнее чуть заметное надменное выражение, обыкновенно скрадывавшееся любезной улыбкой, теперь, ничем не сдерживаемое, светилось во всех чертах красивого молодого лица, опушенного светло-русыми вьющимися бакенбардами.

Мне не был симпатичен этот «лорд», как метко прозвали гардемарины нашего капитана. Молодой, красивый, изящный, фаворит высшего начальства, не в пример другим делавший карьеру, двадцати шести лет уже бывший командиром щегольского клипера, он держал себя гордо и неприступно, с тою холодною вежливостью, под которою чувствовалось снисходительное презрение служебного баловня и черствость себялюбивой натуры. И, несмотря на это, теперь этот человек невольно восхищал своим самообладанием.

«Неужели же он нисколько не боится за клипер?» — с досадой думал я, посматривая на невозмутимого «лорда».

Точно в ответ на мои мысли, капитан тихо сказал старшему офицеру все тем же своим спокойным голосом:

— Кажется, плотно врезались. Осмотрите, нет ли течи?.. Да чтобы гребные суда были готовы к спуску! — еще тише прибавил капитан.— Мало ли что может случиться!

Не успел старший офицер уйти, как с бака крикнули:

— В подшкиперской вода!

Этот неестественно громкий, взволнованный голос нашего боцмана-финляндца заставил меня невольно вздрогнуть. Под мостиком кто-то испуганно ахнул.

В ответ на отчаянный окрик капитан крикнул обычное «есть!» таким равнодушным, хладнокровным тоном, будто в известии боцмана не было ничего важного и он отлично знает, что в подшкиперской вода.

И, понизив голос, прибавил, обращаясь к старшему офицеру:

— Что за идиот этот чухонец!.. Орет, вместо того чтобы прийти доложить... Потрудитесь осмотреть, Алексей Петрович, что там такое, велите поскорей заткнуть пробоину и дайте мне...

Взбежавший на мостик младший механик прервал капитана докладом, что в машине вода.

— И много?

— Подходит к топкам! — взволнованно отвечал обыкновенно невозмутимый хохол.

— Помпа пущена?

— Сейчас пустили!

— Ну и отлично! — промолвил капитан, хотя, казалось, ничего «отличного» не было.— Давайте чаще знать, как в машине вода.

Механик ушел, а капитан хладнокровно продолжал отдавать приказания старшему офицеру, и только речь его сделалась чуть-чуть торопливее и отрывистее.

— Пустить все помпы! Скорей на пробоину пластырь! Когда сойдем, подведите парус.

Старший офицер бегом полетел с мостика, а капитан снова взялся за ручку машинного звонка.

«Сойдем ли?»

Сомнение закрадывалось в душу, усиливаясь при новом ударе беспомощного клипера и вызывая мрачные мысли.

«До берега далеко, не менее двадцати миль... Как доберемся мы на шлюпках при таком волнении, если придется спасаться? Неужели нам грозит гибель? За что же? А жить так хочется!»

И сердце тоскливо сжималось, и взор невольно обращался по направлению к этому далекому берегу.

Но глаз ничего не видит, кроме непроглядной тьмы бурной ночи. Ветер, казалось, крепчал. Всплески волн с шумом разбивались о бока клипера.

«Ах, если б он скорее сошел!»

С тех пор как мы вскочили на камень, прошло не более двух-трех минут, но в эту памятную ночь эти минуты казались вечностью.

— Господин С.! Взгляните, как барометр, да посмотрите, нет ли воды в ахтерлюке! — приказал капитан.

Я бросился вниз, и — странное дело! — мрачные мысли тотчас же исчезли; я думал только, что надо исполнить приказание, не вызвав снисходительно-насмешливого замечания «лорда».

На трапе я нагнал Гарденина, посланного старшим офицером с тем же поручением.

Гарденин вошел первый в кают-компанию, но вдруг остановился на пороге и, приложив палец к губам, шепнул, указывая на открытую докторскую каюту:

— Смотрите, как действует истинное мужество!

Несмотря на серьезность положения, я невольно улыбнулся вслед за Гардениным, увидав пана доктора. Без сюртука, с спасательным поясом, обвязанный весь какими-то мешочками, метался он по каюте, собирая вещи, и растерянным голосом бормотал какие-то слова.

— А ведь потом нам же будет рассказывать, как геройствовал! — зло проговорил Гарденин, входя в кают-компанию.

Заслышав голоса, доктор торопливо надел пальто и вылетел к нам.

Бледный, с искаженным от страха лицом, стараясь под жалкой, неестественной улыбкой скрыть перед нами свой страх, спросил он прерывистым голосом:

— Ну что? Есть ли надежда, что сойдем?

— Никакой! Сейчас тонем, доктор! — гробовым голосом отвечал Гарденин.

Страшный треск нового удара, казалось, подтверждал эти слова.

— О пан Иезус! О матка божка! — в ужасе шептал доктор крестясь.

— Полно врать, Гарденин! — перебил я, чувствуя невольную жалость к этому олицетворению страха.— Пока никакой непосредственной опасности нет, доктор!

— А вы уж собрались спасаться?.. Небось теперь и пана Иезуса и матку божку вспомнили? — насмешливо кинул Гарденин и, повернувшись, крикнул вошедшему с фонарем вестовому: — Живо, люк!

Несмотря на страх, доктор метнул в спину Гарденина взгляд, полный ненависти и злобы. Он не простил Гарденину этой злой шутки и с той минуты возненавидел его.

— А я на всякий случай приготовился ко всему! — обратился ко мне доктор с заискивающей улыбкой, оправившись несколько от страха после моих успокоительных слов.— Не следует никогда теряться в опасности! — прибавил он с хвастливостью и торопливо бросился наверх...

Я спустился за Гардениным в ахтерлюк. Воды там не оказалось, и мы тотчас вышли.

— Как вы думаете, Гарденин, сойдем?

— А черт его знает! Нет, непременно выйду в отставку, как вернусь в Россию, если только буду жив! — неожиданно прибавил он.— Эти ощущения не особенно приятны... ну их! Я вот смеюсь над доктором за его трусость, а ведь сам, признаться, жестоко трушу! — проговорил с какою-то возбужденной, подкупающей искренностью Гарденин, пользовавшийся заслуженною репутацией лихого офицера.

С этими словами он выскочил из кают-компании.

Взглянув в капитанской каюте на барометр, я поднялся наверх и взбежал на мостик.

IV

Капитан стоял на краю и, перегнувшись через поручни, смотрел за борт, держа в руке фонарь. На шканцах, перевесившись совсем через борт, с тою же сосредоточенностью смотрел на воду и Никанор Игнатьевич.

Точно в ожидании чего-то особенно важного, на палубе была мертвая тишина. Только машина, работавшая полным ходом, торопливо отбивала однообразные такты.

Я доложил капитану о высоте барометра и об осмотре ахтерлюка, но он, казалось, не обратил внимания на мой доклад и, не поднимая головы, крикнул:

— Идет ли?

Несколько секунд не было ответа.

— Тронулся! — вдруг прокричал старый штурман.— Идет! — еще веселее крикнул он через секунду.

— Пошел... пошел!..— раздались с бака радостные голоса.

Капитан торопливо подошел к компасу.

— Самый полный ход вперед! — крикнул он в машину.

Слышно было, как клипер с усилием черкнул по камню и, словно обрадовавшись свободе, вздрогнул всем телом и быстро двинулся вперед, рассекая темные волны. Грозный бурун над камнем белелся седым пятном за кормой.

Невыразимое ощущение радости и счастия охватило меня. Громкий вздох облегчения пронесся на палубе. И дерзкая, вызывающая улыбка весело играла на лице капитана.

— Лево на борт! — крикнул он рулевым, и клипер, сделав полный оборот, поворотил назад.

— Счастливо отделались! — сказал капитан подошедшему старшему офицеру.— Что, много воды?

— Порядочно... Одну пробоину нашли в носу... Сейчас будем подводить парус...

— Я иду назад! — заметил капитан.— Идти по назначению далеко, да и ветер противный... Как окончите подводку паруса, ставьте все паруса и брамсели.

— Ветер крепчает! — осторожно вставил старший офицер.

— Ничего, пусть гнутся брам-стеньги! Под парами и парусами мы живо добежим до порта и завтра будем в доке. Нас, верно, таки порядочно помяло... Не правда ли? — прибавил капитан.

И, не дождавшись ответа, спросил:

— Кто на вахте?

— Я! — проговорил Литвинов, поднимаясь на мостик.

— Курс SSW... Идти самым полным ходом!

— Есть!

— Ну, теперь пойдемте-ка, Алексей Петрович, посмотрим, какова течь... А ведь крепок «Красавец»! Било его сильно-таки... Сколько мы стояли на камне, Никанор Игнатьич?

— Четыре с половиной минуты-с! — хмуро отвечал старый штурман.

— Довольно времени, чтобы разбиться! — усмехнулся капитан, спускаясь с мостика и исчезая в темноте.

Через полчаса под носовую часть клипера был подведен парус. Все помпы работали, едва успевая откачивать воду, и «Красавец» под парами и всеми парусами несся среди мрака ночи узлов по тринадцати в час, словно раненый зверь, бегущий к логову, чтобы зализать свои раны.

1887

КУЦЫЙ

I

В роскошное раннее тропическое утро на сингапурском рейде, где собралась русская эскадра Тихого океана, плававшая в шестидесятых годах, новый старший офицер, барон фон дер Беринг, худощавый, долговязый и необыкновенно серьезный блондин лет тридцати пяти, в первый раз обходил в сопровождении старшего боцмана Гордеева корвет «Могучий», заглядывая во все самые сокровенные его закоулки. Барон только вчера вечером перебрался на «Могучий», переведенный с клипера «Голубь» по распоряжению адмирала, и теперь знакомился с судном.

Несмотря на желание педантичного барона, в качестве «новой метлы», к чему-нибудь да придраться, это оказалось решительно невозможным. «Могучий», находившийся в кругосветном плавании уже два года, содержался в образцовом порядке и сиял сверху донизу умопомрачающей чистотой. Недаром же прежний старший офицер, милейший Степан Степанович, назначенный командиром одного из клиперов,— любимый и офицерами и матросами,— клал всю свою добрую, бесхитростную душу на то, чтобы «Могучий» был, как выражался Степан Степанович, «игрушкой», которой мог бы любоваться всякий понимающий дело моряк.

И действительно, «Могучим» любовались во всех портах, которые он посещал.

Обходя медлительной, несколько развалистой походкой нижнюю жилую палубу, барон Беринг вдруг остановился на кубрике и вытянул свой длинный белый указательный палец, на котором блестел перстень с фамильным гербом старинного рода курляндских баронов Беринг. Палец этот указывал на лохматого крупного рыжего пса,

сладко дремавшего, вытяиув свою иеказистую, далеко не породистую морду, в укромиом и прохладиом уголке матросского помещеиия.

— Это что такое? — внушительио и строго спросил бароп после секуиды-другой торжествеииого молчаиия.

— Собака, ваше благородие! — поспешил ответить боцмаи, подумавший, что старший офицер ие разглядел в полутемиоте кубрика собаки и принял ее за что-нибудь другое.

— Ду-рак! — спокойно, ие повышая голоса, отчекаиил барои.— Я сам вижу, что это собака, а ие швабра. Я спрашиваю: почему собака здесь? Разве можио иа военном судне держать собак! Чья это собака?

— Коивертская, ваше благородие!

— Боцман... Как твоя фамилия?

— Гордеев, ваше благородие!

— Боцмаи Гордеев! Выражайся ясиее; я тебя не поиимаю. Что зиачит корветская собака? — продолжал барон все тем же медлеииым, тихим и иудящим голосом, произнося слова с тою отчетливостью, с какою говорят русские немцы, и останавливая иа лице боцмаиа свои большие, светлые и холодиые, голубые глаза.

Пожилой боцман, которого до сих пор все, кажется, отлично поиимали, за исключением разве тех случаев, когда он, случалось, возвращался с берега пьяиый вдрызг, иедоумевая смотрел в бесстрастное, белое, отливавшее румяицем, безусое продолговатое лицо, опушеииое рыжеватыми бакеибардами в виде котлет, и, видимо, удручеииый этим иазойливым допросом, вместо ответа ожесточенно заморгал своими малеиькими серыми глазами.

— Так какая же это корветская собака?

— Матросская, значит, обчая, ваше благородие! — объяснил с угрюмым видом боцмаи и в то же время сердито подумал: «Не понимаешь, что ли, долговязый!»

Но «долговязый», казалось, ие понимал и сказал:

— Что ты мие вздор рассказываешь!.. У каждой собаки должеи быть хозяии.

— То-то у ей нет, ваше благородие. Оиа приблудиая.

— Какая? — переспросил барои, видимо, не зная зиачения этого слова.

— Приблудиая, ваше благородие. В Кроиштадте увязалась за одним иашим матросиком и явилась на коиверт, когда он вооружался в гаваии. С той поры Куцый и ходит с нами. Так его назвали по причине хвоста, ваше благородие! — прибавил в виде поясиеиия боцман.

— Собаки на военном судне — беспорядок. Они только гадят палубу.

— Осмелюсь доложить, ваше благородие, что Куцый собака понятливая и ведет себя как следовает. За ей насчет этого ничего дурного не замечено! — вступился боцман за Куцего.— Прежний старший офицер Степан Степаныч дозволяли ее держать, потому как Куцый, можно сказать, исправная собака и команда ее любит.

— Слишком много вам позволяли прежде, как посмотрю, и распустили. Я вас всех подтяну, слышишь? — строго заметил барон, которому объяснения боцмана показались несколько фамильярными, и сам он, казалось, не особенно трепетал перед старшим офицером.

— Слушаю, ваше благородие.

Барон на секунду задумался и наморщил лоб, решая в своем уме участь Куцего. И боцман, весьма благоволивший к Куцему, со страхом ждал этого решения.

Наконец старший офицер проговорил:

— Если я когда-нибудь замечу, что эта собака изгадит мне палубу, я прикажу ее выкинуть за борт. Понял?

— Понял, ваше благородие!

— И помни, что я два раза не повторяю своих приказаний,— внушительно прибавил барон, по-прежнему не возвышая своего скрипучего однотонного голоса.

Боцман Гордеев, старый служака, видавший на своем веку немало разного начальства и умевший понимать людей, и без этого предупреждения уже сообразил, что этот долговязый даром что говорит тихо, без пыла, а такая «чума», с которой всем служить будет очень «нудно», не то что со Степаном Степанычем.

Услыхав несколько раз свою кличку, Куцый потянулся, открывая глаза, лениво поднялся, сделал несколько шагов, выходя из темного угла поближе к свету, и, как смышленый, понимающий дисциплину пес, при виде незнакомого человека в офицерской форме почтительно вильнул несколько раз своим обрубком.

— Фуй, какая отвратительная собака! — брезгливо процедил барон, кидая взгляд, полный презрения, на невзрачную и неуклюжую большую дворнягу с жесткой всклокоченной рыжей шерстью, обгрызенными, стоящими торчком ушами и широкой мордой, местами покрытой плешинами, словно изъеденной молью.

Только необыкновенно умные и добрые глаза Куцего, пристально оглядывавшие барона, несколько скрашивали

его уродливую наружность. Но этих глаз барон, верно, не заметил.

— Чтоб я не встречал никогда этой мерзкой собаки! — проговорил барон.

И с этими словами он повернулся и поднялся наверх, сопровождаемый удрученным и нахмурившимся боцманом.

Поджав свой обрубок — следы злой шутки одного кронштадтского повара,— Куцый побрел, прихрамывая на одну, давно сломанную переднюю лапу, в свой темный уголок, чуя, надо думать, что не имел счастья понравиться этому долговязому человеку с рыжими баками и с злым взглядом, который не предвещал ничего хорошего.

Один матрос, слышавший слова старшего офицера, ласково потрепал общего корветского любимца, который в ответ благодарно вылизывал шершавую матросскую руку.

II

Испытывая чувство тоскливого угнетения, обычное в простом русском человеке, которого донимают нотациями и «жалкими» словами, боцман еще целую четверть часа, если не более, выслушивал, стоя на вытяжке в каюте барона и теребя в нетерпении фуражку, его длинные, обстоятельные и монотонные наставления о том, какие отныне будут порядки на корвете, чего он будет требовать от боцманов и унтер-офицеров, как должны вести себя матросы, что такое, по понятиям барона, настоящая дисциплина и как он будет беспощадно взыскивать за пьянство на берегу.

Отпущенный наконец из каюты с напутствием «хорошо запомнить все, что сказано, и передать кому следует», боцман радостно вздохнул и, весь красный, словно после бани, выскочил наверх и пошел на бак выкурить поскорее трубочку махорки.

Там его тотчас же обступили почти все представители баковой аристократии: фельдшер, баталер, подшкипер, машинист, два писаря и несколько унтер-офицеров.

— Ну что, Аким Захарыч, каков старший офицер? Как он вам показался? — спрашивали боцмана со всех сторон.

Боцман в ответ только безнадежно махнул своей волосатой красной и жилистой рукой и сердито плюнул в кадку.

И этот жест, и энергичный плевок, и раздраженное выражение загорелого, красно-бурого лица боцмана, опушенного черными, с проседью, бакенбардами, с красным, похожим на картофелину носом и с нахмуренными бровями — словом, все, казалось, говорило: «Дескать, лучше и не спрашивайте!»

— Сердитый? — спросил кто-то.

Но боцман не тотчас ответил. Он сделал сперва две-три отчаянные затяжки, сплюнул опять и, значительно оглядев всех слушателей, жаждавших услышать оценку такого умного и авторитетного человека, наконец выпалил, несколько понижая, однако, свой зычный голос, стяжавший горлу боцмана репутацию «медной глотки»:

— Прямо сказать: чума турецкая!

Столь убежденная и решительная оценка произвела на присутствующих весьма сильное впечатление. Еще бы! После двухлетнего плавания с старшим офицером, который, по выражению матросов, был «добер» и «жалел» людей, не обременяя их непосильными работами и учениями, дрался редко — и то с пыла, а не от жестокости — и снисходительно относился к матросской слабости — «нахлестаться» на берегу, иметь дело с «чумой» показалось очень непривлекательным. Не мудрено, что все лица внезапно сделались серьезными и задумчивыми.

С минуту длилось сосредоточенное и напряженное молчание.

— В каких, однако, смыслах *он* чума, Аким Захарыч? — заговорил молодой курчавый фельдшер, которому, по его должности, предстояло менее других опасности иметь столкновения с старшим офицером. Знай себе доктора да лазарет, и шабаш!

— Во всяких смыслах, братец ты мой, чума! То есть вовсе нудный человек. Зудит, как пила, и никакой не дает тебе передышки, немчура долговязая! Сейчас вот в каюте доннмал. Глядит это на меня рыбьим глазом, а сам: зу-зу-зу, зу-зу-зу,— передразнил барона боцман.— Я, говорит, вас всех подтяну. У меня, говорит, новые порядки станут. Я, говорит, за береговое пьянство буду взыскивать во всей строгости... одно слово — зудил без конца... Совсем в тоску привел.

— Унтерцер, что вчерась на катере с «Голубя» привез нового старшего офицера, тоже его не хвалил. Сказывал, что карактерный и упрямый и всех на клипере разговором нудил,— вставил один из унтер-офицеров...— На «Голубе» все рады, что он ушел, потому приставал,

ровно смола... А драться, сказывали, не дерется и не порет, но только наказывает по-своему: на ванты босыми ногами ставит, на ноки на высидку посылает. Сказывал — очень придирчив и много о себе полагает этот самый... как его по фамилии?..

— Берников, что ли,— ответил боцман, переделывая немецкую фамилию на русский лад.— Из немецких баронов. А о себе он напрасно полагает, потому полагать-то ему нечего! — авторитетно прибавил боцман.

— А что?

— А то, что в ем большого рассудка незаметно. Это по всем его словам оказывает. И на понятие туг. Давече, я вам скажу, не мог взять вдомек, что Куцый конвертская собака... Какая, говорит, конвертская? Непременно ему хозяина подавай...

— Из-за чего у вас о собаке-то разговор вышел? — спросил кто-то.

— А вот поди ж ты! Не понравился ему наш Куцый, и шабаш! Нельзя, говорит, на судие держать собаку. И грозился, что прикажет выкинуть Куцего за борт, если он нагадит на палубе... И чтобы я, говорит, его не встречал!

— И что ему Куцый? Мешает, что ли?

— То-то все ему мешает, анафеме. И животную бессловесную и тую притеснил... Да, братцы, послал нам господь цацу, нечего сказать. Другое житье пойдет. Не раз вспомним Степан Степаныча, дай бог ему, голубчику, здоровья! — промолвил боцман и, выбив трубочку, опустил ее в карман своих штанов.

— Капитан-то наш ему большого хода не даст, я так полагаю,— заметил молодой фельдшер.— Не допустит очень-то безобразничать. Шалишь, брат! Не те нонче права... Вот теперь мужикам волю дают, и всем права будут, чтобы по закону...

— Не досмотреть-то всего капитану. Главная причина, что старший офицер ближе всего до нас касается! — возразил боцман.

— Можно и до капитана дойти в случае чего. Так, мол, и так! — хорохорился фельдшер.

— Прыток больно! А ты рассуди, что и капитану, стало быть, будто зазорно против своего же брата идти и срамить его, скажем, из-за какого-нибудь унтерцера. В этом самая загвоздка и есть! Нет, братец ты мой, поодиночке жаловаться не порядок, только здря начальство расстроишь, а толку не будет — тебе же попадет! В старину бывала другая правила! — прибавил боцман, строго

охранявший прежние традиции, так сказать, обычного матросского права.

— Какая, Аким Захарыч?

— А такая, что ежели, примерно, безо всякого, можно сказать, рассудка изматывали нашего брата, матроса, и вовсе уже не ставало терпения, значит, от тиранства, тогда команда шла на отчаянность: выстроится, как следует, во фрунт и через боцманов объявит командиру претензию.

— И что ж, выходил толк?

— Глядя по человеку. Иной вместо разборки велит перепороть половину команды, ну а другой выслушает и рассудит по совести. Помню, раз на смотру — я еще тогда первый год служил — объявили мы адмиралу Чаплыгину претензию на командира Занозова — форменный зверь был! — так вместо разборки дела у нас на корабле, братец ты мой, целый день порка была... Так стон и стоял, и мне сто линьков всыпали — вот тебе и вся претензия! Опять же в другой раз тоже объявили мы претензию капитану Чулкову — теперь он в адмиралы вышел — на старшего офицера. Так совсем другой оборот. Выслушал это Чулков, насупимшись, грозный такой, однако обещал по форме рассудить...

— Ну, и что же? Рассудил?

— Рассудил. Через неделю старший офицер списался с фрегата, быдто по болезни, и мы вздохнули... И ничего нам не было... Вот, братец ты мой, какие дела бывали... Известно, шли на фарт...

— Ну, наш командир небось не даст команды в обиду!

— На капитана одна и надежда, а все-таки недоглядеть ему за всем. Зазудит нас долговязая немца!

Еще несколько времени продолжались толки о новом старшем офицере. Все решили пока что ждать поступков. Может, он и испугается капитана и не станет менять порядков, заведенных Степан Степанычем. Эти соображения несколько успокоили собравшихся. И тогда молодой писарек из кантонистов, отчаянный франт с аметистовым перстеньком на мизинце, спросил:

— А как же теперь насчет берега будет, Аким Захарыч? Отпустит *он* нас на Сингапур посмотреть?

— Об этом разговору не было.

— Так вы доложили бы старшему офицеру, Аким Захарыч.

— Ужо доложу.

— Всякому лестно, я думаю, погулять на берегу. Здесь,

говорят, в Сингапуре, очень даже любопытно... И насчет красы природы, и насчет ресторантов... И лавки, говорят, хорошие... Уж вы доложите, Аким Захарыч, а то неизвестно еще, сколько простоим, того и гляди, без удовольствия останемся.

В эту минуту на бак со всех ног прибежал молодой вестовой Ошурков и сказал боцману:

— Аким Захарыч! Вас старший офицер требует.

— Что ему еще?

— Не могу знать. У себя в каюте сидит и какие-то бумаги перебирает...

— Опять зудить начнет! Эка...

И, выпустив звучную ругань, боцман побежал к старшему офицеру.

— А ты у нового старшего офицера остаешься, Вань, вестовым? — спрашивали на баке у Ошуркова.

— То-то остаюсь. Ничего не поделаешь... Придется с им терпеть... По всему видно, что занозу мне бог послал заместо Степан Степаныча. Уж он мне зудил насчет своиных, значит, порядков... Чтобы, говорит, как машина, все сполнял!

III

Ненависть нового старшего офицера к Куцему и его угроза выбросить матросскую собаку за борт были встречены общим глухим ропотом команды. Все, казалось, удивлялись этой бессмысленной жестокости — лишить матросов их любимца, который в течение двух лет плавания доставлял им столько развлечений среди однообразия и скуки судовой жизни и был таким добрым, ласковым и благодарным псом, платившим искренней привязанностью за доброе к нему отношение людей, которое он наконец нашел после нескольких лет бродяжнической и полной невзгод жизни на улицах Кронштадта.

Смышленый и переимчивый, быстро усвоивавший разные предметы матросского преподавания, каких только штук не проделывал этот смешной и некрасивый Куцый, вызывая общий смех матросов и удивляя их своею действительно необыкновенной понятливостью! И сколько удовольствия и утехи доставлял он нетребовательным морякам, заставляя их хоть на время забывать и тяжелую морскую жизнь на длинных океанских переходах, и долгую разлуку с родиной! Он ходил на задних лапах с самым серьезным выражением на своей умной морде, носил по-

носку, лазил на ванты и стоял там, пока ему не кричали: «С марсов долой!» — сердито скалил зубы и ворчал, если его спрашивали: «Куцый, хочешь, брат, линьков?» — и, напротив, строил радостную гримасу, виляя весело своим обрубком, когда ему говорили: «Хочешь на берег?» Когда раздавался свисток и вслед за тем окрик боцмана: «Пошел все наверх!» — Куцый вместе с подвахтенными летел стремглав наверх, какая бы ни была погода, и дожидался на баке, пока не свистали: «Подвахтенных вниз!» А во время шторма он почти всегда бывал наверху и развлекал вахтенных во время их тяжелых вахт. Когда свистали к водке, Куцый вместе с матросами присутствовал при раздаче и затем во время обеда обходил на задних лапах сидящих по артелям матросов, отовсюду получая щедрые подачки, и весело брехал в знак благодарности.

После обеда, когда подвахтенные отдыхали, Куцый неизменно ложился у ног Кочнева, пожилого и угрюмого бакового матроса, горького пьяницы, к которому питал необыкновенно нежные чувства и выказывал трогательную преданность. Он глядел матросу что называется в глаза и всегда почти вертелся около него, видимо, несказанно довольный, когда Кочнев погладит его. Во время ночных вахт Куцый обязательно бывал при Кочневе, и когда тот сидел на носу, на часах, обязанный «смотреть вперед», Куцый нередко исполнял вместо своего приятеля обязанности часового. Он добросовестно мок под дождем, продуваемый насквозь свежим ветром, и, насторожив изгрызенные уши, зорко всматривался вперед, в темноту ночи, предоставляя матросу, закутанному в дождевик и согретому шерстью собаки, слегка вздремнуть, поклевывая носом. Завидев огонь встречного судна или внезапно выросший силуэт «купца», не носящего по беспечности огней, Куцый громко лаял и будил задремавшего часового. На берег Куцый всегда съезжал с Кочневым, шел с ним до ближайшего кабака и, отлучившись на часок, чтобы взглянуть на береговых собак, возвращался, иногда изгрызенный, к своему другу и уже не выпускал его из глаз. Он внимательно и с видимым сочувствием слушал пьяные монологи матроса, подавал реплики вилянием обрубка или ласковым визгом, если пьяный Кочнев вел с ним беседу на какие-нибудь, должно быть, невеселые темы, и сторожил матроса, когда тот валялся на улице в бесчувственном состоянии, пока не подходили товарищи и не подбирали его. Одним словом, Куцый выказывал истинно собачью

привязанность к тому человеку, который доставил ему, гонимому бродяге, каждое утро рисковавшему попасть на аркан фурманщика, спокойный приют на корвете и сытую, приятную жизнь среди добрых людей, выразивших бродяге с первого же его появления на корвете самое милое и любезное внимание, которого он уж давно не видал.

В свою очередь, и угрюмый, малообщительный матрос был сильно привязан к своему найденышу, оказавшему такие блистательные способности, не говоря уже о прекрасных нравственных качествах, и, кажется, только с ним одним и вел под пьяную руку длинные интимные беседы. Он рассказывал Куцему о том, как он неправильно, из-за одного «подлого человека», был сдан в матросы, и о своей жене, которая живет вроде быдто «форменной барыни», и о дочери, которая знать его не хочет... И Куцый, казалось, понимал, что этот угрюмый матрос, пивший джин стаканчик за стаканчиком в каком-нибудь иностранном кабачке, рассказывает невеселые вещи.

Знакомство с Куцым произошло совершенно случайно. Это было в Кронштадте в один ненастный и холодный воскресный день, после обеда, дня за три до отхода «Могучего» в кругосветное плавание. Порядочно «тресонувши» и выписывая ногами самые затейливые вензеля, Кочнев возвращался из кабака на корвет, стоявший в военной гавани, как где-то в переулке заметил собаку, угрюмо прижавшуюся к водосточной трубе и вздрагивающую от холода. Жалкий вид этой намокшей, с выдающимися ребрами, видимо, бесприютной собаки, и притом самой неказистой наружности, обличавшей бродягу, тронул пьяненького матроса.

— Ты, брат, чей будешь?.. Видно, бездомный пес, а? — проговорил он заплетающимся языком, останавливаясь около собаки.

Собака подозрительно взглянула своими умными глазами на матроса, точно соображая: дать ли ей немедленно тягу или выждать, не уйдет ли этот человек. Но несколько дальнейших слов, произнесенных ласковым тоном, видимо, успокоили ее насчет его недобрых намерений, и она жалобно завыла. Матрос подошел еще ближе и погладил ее; она лизнула ему руку, видимо, тронутая лаской, и завыла еще сильней.

Тогда Кочнев стал шарить у себя в карманах. Этот жест возбудил в собаке жадное внимание.

— Голоден небось, бедный! — говорил матрос.— А ты

потерпи... Вот и нашел на твое счастье! — прибавил он, вынимая наконец из штанов медную монетку.

Он зашел в мелочную лавочку и через минуту бросил собаке куски черного хлеба и отрезки рубцов, купленных им на свои не пропитые еще две копейки.

Собака с алчностью бросилась на пищу и в несколько секунд сожрала все и снова вопросительно смотрела на матроса.

— Ну, валим на конверт... Там тебя накормят до отвалу, коли ты такой голодный... Матросы — добрые ребята... Не бойся! И переночуешь на конверте, а то, что за радость мокнуть на дожде... Идем, собака!

Он ласково свистнул. Собака двинулась за ним и не без некоторого смущения вошла по сходням на корвет и вслед за матросом очутилась на баке среди толпы людей, испуганная и будто сконфуженная своим непривлекательным видом.

— Бродягу, братцы, нашел! — проговорил Кочнев, указывая на собаку.

Несчастный ее вид возбудил жалость в матросах. Ее стали гладить и повели вниз кормить. Скоро она, наевшись досыта, заснула недалеко от камбуза (кухни) и, не веря своему счастью, часто тревожно просыпалась во сне.

Наутро, разбуженная чисткой верхней палубы, собака испуганно озиралась, но Кочнев значительно успокоил ее, поставил перед ней чашку с жидкой кашицей, которой завтракали матросы.

Спустя несколько времени, когда палуба была вымыта, Кочнев вывел ее наверх, на бак, и предложил матросам оставить ее на корвете.

— Пущай плавает с нами.

Предложение было принято с полным сочувствием. Обратились к боцману с просьбой испросить разрешение старшего офицера, и, когда разрешение было получено, на баке поднялся вопрос, какую дать этому псу кличку.

Все посматривали на весьма неказистую собаку, которая в ответ на ласковые взгляды повиливала обрубком хвоста и благодарно лизала руки матросов, которые гладили ее.

— Окромя как «Куцым», никак его не назвать! — предложил кто-то.

Кличка понравилась. И с той же минуты Куцый был принят в число экипажа «Могучего».

Первоначальным воспитанием его занялся Кочнев и выказал блестящие педагогические способности. Через

«Куцый»

иеделю уже Куцый поиял иеприкосиовеиность сверкавшей белизной палубы и строгость моряков относительно чистоты и сделался исправиой собакой. В первую же трепку в Балтнйском море ои обнаружил и свои морские качества. Его нисколько ие укачивало, ои ел с таким же аппетитом, как н в тнхую погоду, и ие выказывал ии малейшего малодушия прн виде громадных воли, разбивающихся о бока корвета. Вскоре смышлеиый и ласковый Куцый сделался общим любнмцем и забавлял матросов своимн штуками.

И такого-то славиого пса грозили выкииуть за борт!

Весть об этом взволиовала едва ли ие более всех Кочиева, н ои решил прииять все меры, чтобы этот долговязый дьявол ие встречал Куцего. И в тот же день, когда Куцый с веселым, беззаботным видом выскочил иаверх, как только что просвистали к водке, Кочиев отвел его винз и, указав место в самом темиом уголке кубрика, проговорил:

— Сиди, Куцый, здесь смирио, а то беда! Ужо я приесу тебе пообедать!

IV

Прошел месяц.

За это время матросы достаточио присмотрелнсь к иовому старшему офицеру и иевзлюбили его. Ои, правда, до сих пор ннкого ие иаказал лииьками, иикого ие ударил и вообще ие обиаруживал жестокостн, и тем ие меиее барона ненавидели за его прнднрчнвость, мелочность, за то, что ои приставал «как смола», «зудил» провииившегося в чем-нибудь матроса без конца и затем наказывал самым чувствительиым образом: оставлял виновного без берега, лишая таким образом матроса едннствеииого удовольствня дальиих плаваиий. А то ставил иа ванты или посылал иа «высидку» иа иок и — что казалось матросам еще обнднее — оставлял без чарки водки, столь любимой моряками.

Барона ненавидели и боялись и за эти иаказания, и за его бессердечиый педаитизм, не оставлявшнй без виимаиия нн малейшего отступлеиия от расписаиия судовой жизни. Все чувствовали иад собой гнет какой-то бездушной, упрямой машииы и, главиое, понимали, что в душе барои презирает матроса и смотрит иа иего исключительио как иа рабочую силу. Никогда ии доброго слова, ни шутки! Всегда одии и тот же ровиый и спокойный скрипучий голос, в котором чуткое ухо слышало высокомерио-

презрительную нотку. Всегда этот жесткий взгляд голубых бесстрастных глаз!

Не пользовался он и уважением как моряк. На баке, этом матросском клубе, где даются меткне оценкн офицерам, находили, что он далеко не «орел», каким был Степан Степаныч, а «мокрая курица», выказавшая трусость во время шторма, прихватившего корвет по выходе из Сингапура. И дело он, по мнению старых матросов, понимал не до тонкости, хотя и всюду совал свой нос. И «башковатости» в нем было немного, а только одно упрямство. Одним словом, барона терпеть не могли и нначе не звали как «Чертовой Зудой». Всякий опасался его наставлений, словно чумы.

Вначале барон вздумал было нзменить порядки на корвете и вместо прежних недолгих ежедневных учений стал «закатывать» учения часа по трн подряд, утомляя матросов, и без того утомленных шестнчасовыми вахтами на ходу. Но, спасибо капитану, он скоро умерил усердие старшего офицера.

И об этом юркий капитанский вестовой Егорка рассказывал на баке так:

— Призвал он этто, братцы, Чертову Зуду к себе и говорит: «Вы, говорит, Карла Фернандыч, напрасно новые порядки заводите и людей зря мучаете учениями. Пусть, говорит, по-старому остается».

— Что ж на это Зуда?

— Покраснел весь, ровно рак вареный, Зуда проклятая, и в ответ: «Слушаю-с, говорит, но только я полагал, что как для пользы службы...» — «Извините, господин барон,— это ему капитан вперебой,— я, говорит, и без вас понимаю, какая, говорит, польза службы есть... И польза, говорит, службы требовает, чтобы матросов зря не нудили. Ему, говорит, матросу, и без ученьев ёсть дела много, вахту справлять, и у нас, говорит, матросы лихо работают и молодцы, говорит... Так уж вы о пользе службы не извольте очинно беспокоиться... а затем, говорит, я больше ннчего не желаю вам сказать...» Так черт долговязый и ушел ошпаренный! — заключил Егорка, к общему удовольствию собравшихся матросов.

Вообще барон фон дер Беринг прншелся как-то «не ко двору» со своими новымн порядкамн н взглядамн на дисциплину. В кают-компании нового старшего офицера тоже невзлюбили, особенно молодежь, вся пропитанная новыми веяниями шестидесятых годов н жаждавшая приложить их к делу гуманным обращеннем с матросами.

Чем-то старым, архаическим веяло от взглядов барона, завзятого крепостника и консерватора. Безусловно, честный и убежденный, не скрывавший своих, как он говорил, «священных принципов», всегда несколько напыщенный и самолюбивый, прилизанный и до тошноты аккуратный, барон возбуждал неприязнь в веселых молодых офицерах, которые считали его ограниченным, тупым педантом и сухим человеком, мнившим себя непогрешимым и глядевшим на всех с высоты своего курляндского баронства. Не нравился он и «париям» флотской службы: штурману, артиллеристу и механику. И без того обидчивые и мнительные, они отлично чувствовали в его изысканно-вежливом обращении снисходительное презрение завзятого барона, сознающего свое превосходство.

Не пришелся по вкусу новый старший офицер и капитану. Он не очень-то был благодарен адмиралу, наградившему его такой «немецкой колбасой», и не догадывался, конечно, что хитрый адмирал нарочно назначил барона старшим офицером именно к нему, на «Могучий», уверенный, что командир «Могучего» скоро «сплавит» барона, и адмирал, таким образом, «умоет руки» и отошлет его с эскадры в Россию.

В кают-компании почти никто не разговаривал с бароном, исключая служебных дел, и он был каким-то чужим в дружной семье офицеров «Могучего». Только мичмана подчас не отказывали себе в удовольствии подразнить барона, громя крепостников и консерваторов, не понимающих значения великих реформ, и расхваливая в присутствии барона Степана Степановича. «Вот-то приятно было с ним служить! Вот-то был знающий и дельный старший офицер и добрый товарищ! И как его любили матросы, и как он сам понимал матроса и любил его! И как они для него старались!»

— Его даже и Куцый любил! — восклицал курчавый белокурый мичман Кошутич, особенно любивший «травить» эту «немецкую аристократическую дубину».— А Куцего что-то не видать ныне наверху, господа... Прячется, бедная собака. Что бы это значило, а? — прибавлял нарочно мичман, знавший об угрозе старшего офицера.

Барон только надувался, словно индюк, не обращая, по-видимому, никакого внимания на все эти шпильки, и с тупым упрямством ограниченного человека не изменял своего поведения и как будто игнорировал общую к себе нелюбовь.

В течение этого месяца Куцый действительно не по-

«Куцый»

казывался на глаза старшего офицера, хоть сам и увидал его еще раз издали, причем Кочнев, указавший на барона, проговорил: «Берегись его, Куцый!» — и проговорил таким страшным голосом, что Куцый присел на задние лапы. Прежняя привольная жизнь Куцего изменилась. По утрам, во время обычных обходов старшего офицера, Куцый скрывался где-нибудь в уголке трюма или кочегарной, указанной ему Кочневым, который немало употребил усилий, чтоб приучить собаку сидеть, не шелохнувшись, в темном уголке. И во время авралов уж Куцый не выбегал наверх. Благодаря урокам своего наставника довольно было проговорить: «Зуда идет»,— чтобы Куцый, поджав свой обрубок, стремительно улепетывал вниз и забивался куда-нибудь в самое сокровенное местечко, откуда выходил только тогда, когда раздавался в люк успокоительный свист какого-нибудь матроса. На верхнюю палубу Куцего выводили матросы в то время, когда барон обедал или спал, и в эти часы забавлялись по-прежнему забавными штуками умной собаки. «Не бойся, Куцый,— успокоивали его матросы,— Зуды нет». И матросы, оберегая своего любимца, ставили часовых, когда Куцый, бывало, давал свои представления на баке. Только по ночам, особенно по темным безлунным тропическим ночам, выспавшийся за день Куцый свободно разгуливал по баку и дружелюбно вертелся около матросов, но уже не дежурил с Кочневым на часах, не смотрел вперед и не лаял, как прежде, при виде огонька. Кочнев его не брал с собою, оберегая своего фаворита от гнева Чертовой Зуды, которого угрюмый матрос ненавидел, казалось, больше, чем другие.

Но, несмотря на все эти предосторожности, над бедным Куцым в скором времени разразилась гроза.

V

Был знойный палящий день в Китайском море. На голубом небе — ни облачка, и на море стоял мертвый штиль. Еще с рассвета наступило безветрие, паруса лениво повисли, и капитан приказал развести пары. Скоро загудели пары, и «Могучий», убрав паруса, пошел полным ходом, взявши курс на Нагасаки.

Старший офицер, особенно заботившийся о том, чтобы «Могучий» пришел в Нагасаки, где адмирал назначил «рандеву»[1], в щегольском виде, уже в третий раз обходил се-

[1] место встречи (от *фр.* rendez-vous).

годия корвет, придираясь ко всем и донимая всех своими нотациями. Он, видимо, был не в духе, хотя все было в идеальном порядке, все наверху горело и сияло под блестящими лучами ослепительного, жгучего солнца, повисшего, словно раскаленный шар, над заштилевшим морем. Барон только что имел снова не особенно приятное объяснение с капитаном и считал себя несколько обиженным. В самом деле, все его предположения, направленные, как он был уверен, к пользе службы, систематически отвергались этим «бесхарактерным человеком», как презрительно называл барон капитана, и отношения их с каждым днем все делались суше и суше. Вдобавок и эти мичманы то и дело подпускали ему всякие шпильки, но так, что не было никакой возможности сделать им замечания. И барон, озлобленный и надутый, высокомерно думал о том, как трудно служить порядочному человеку с этими глупыми русскими «демократами», не понимающими настоящей дисциплины и готовыми подрывать престиж власти.

Спустившись в жилую палубу и занятый своими размышлениями, он без обычного внимания заглядывал во все уголки, приближаясь к кубрику, как вдруг мимо его ног стремглав пронесся Куцый и выбежал наверх.

— Мерзкая собака! — проговорил барон, несколько испуганный неожиданным появлением Куцего, и, остановившись, невольно взглянул на место, по которому тот пробежал.

И в то же мгновение взгляд барона впился в одну точку палубы, как раз под люком трапа, ведущего на бак, и на лице его появилась брезгливая гримаса.

— Боцмана послать! — крикнул барон.

Через несколько секунд явился боцман Гордеев.

— Это что такое? — медленно процедил барон, указывая пальцем на палубу.

Боцман взглянул по направлению длинного белого пальца с перстнем и смутился.

— Что это такое, спрашиваю я тебя, Гордеев?

— Сами изволите видеть, ваше благородие...

И боцман угрюмо назвал, что это такое.

Барон выдержал паузу и сказал:

— Ты помнишь, что я тебе говорил?

— Помню, ваше благородие! — еще угрюмей отвечал боцман.

— Так чтобы через пять минут эта паршивая собака была за бортом!

— Осмелюсь доложить, ваше благородие,— заговорил

боцмаи самым почтительиым тоиом, полным мольбы,— что собака нездорова... И фершал ее осматривал, говорит: брюхом больиа, ио только скоро иа поправку пойдет... В здоровом, зиачит, виде Куцый иикогда бы ие осмелился, ваше благородие!.. Простите, ваше благородие, Куцего! — промолвил боцмаи дрогиувшим голосом.

— Гордеев! Я ие имею привычки повторять приказаиий... Мало ли какого вы мне иаврете вздора... Через пять мииут явись ко мие и доложи, что приказаиие мое исполнено... Да выскоблить здесь палубу! — прибавил барои.

С этими словами ои повериулся и ушел.

— У, идол! — злобио прошептал вслед бароиу боцмаи.

Он поднялся иаверх и взволиоваиио проговорил, подходя к Кочневу, который поджидал Куцего, чтоб увести его вииз.

— Ну, брат, беда... Сейчас Чертова Зуда увидал виизу, что Куцый нагадил, и...

Боцмаи ие окоичил и только угрюмо качнул головой.

Кочиев понял, в чем дело, и виезапио измеиился в лице. Мускулы на нем дрогиули. Несколько секунд ои стоял в каком-то суровом, безмолвиом отчаяиии.

— Ничего не поделаешь с эстим подлецом! А уж как жалко собаки! — прибавил боцмаи.

— Захарыч!.. Захарыч!..— заговорил иакоиец матрос умоляющим, прерывающимся голосом.— Да ведь Куцый больной... Рази можио с больиой собаки требовать? Уж, зиачит, вовсе брюхо прихватило, ежели ои решился иа это... Он умиый... Поиимает... Никогда с им этого не было... И то сколько раз выбегал сегодия иаверх... Захарыч, будь отец родной!.. Доложи ты этому дьяволу!

— Нешто я ему не докладывал? Уж как просил за Куцего. Никакого виимаиия. Чтобы, говорит, через пять мииут Куцый был за бортом!

— Захарыч!.. Сходи еще... попроси... Собака, мол, больиа...

— Что ж, я пойду... Только вряд ли... Зверь!..— промолвил боцман и пошел к старшему офицеру.

В это время Куцый, невеселый по случаю болезии, осуиувшийся, с мутиыми глазами, с скоифуженным видом, словно чувствуя свою вииовиость, подошел к Кочиеву и лизнул ему руку. Тот с какою-то порывистою ласковостью гладил собаку, и угрюмое его лицо светилось иеобыкиовеииою иежиостью.

Через мииуту боцмаи вериулся. Мрачиый его вид ясио говорил, что попытка его не увеичалась успехом.

— Разжаловать грозил!..— промолвил сердито боцман.

— Братцы!.. — воскликнул тогда Кочнев, обращаясь к собравшимся на баке матросам.— Слышали, что злодей выдумал? Какие его такие права, чтобы топить конвертскую собаку? Где такое положенье?

Лицо угрюмого матроса было возбуждено. Глаза его сверкали.

Среди матросов поднялся ропот. Послышались голоса:

— Это он над нами куражится, Зуда проклятая!

— Не смеет, чума турецкая!

— За что топить животную!

— Так вызволим, братцы, Куцего! Дойдем до капитана! Он добер, он рассудит! Он не дозволит! — взволнованно и страстно говорил угрюмый матрос, не отпуская от себя Куцего, словно бы боясь с ним разлучиться.

— Дойдем! — раздались одобрительные голоса.

— Аким Захарыч! Станови нас во фрунт всю команду.

Дело начинало принимать серьезный оборот. Аким Захарыч озабоченно почесал затылок.

В эту минуту на баке показался молодой мичман Кошутич, любимец матросов. При появлении офицера матросы затихли. Боцман обрадовался.

— Вот, ваше благородие,— обратился он к мичману,— старший офицер приказал кинуть Куцего за борт, и команда этим очень обижается. За что безвинно губить собаку? Пес он, как вам известно, справный, два года ходил с нами... И вся его вина, ваше благородие, что он брюхом заболел...

Боцман объяснил, из-за чего вышла вся эта «дрязга», и прибавил:

— Уж вы не откажите, ваше благородие, заступитесь за Куцего... Попросите, чтоб нам его оставили...

И Куцый, точно понимая, что речь о нем, ласково смотрел на мичмана и тихо помахивал своим обрубком.

— Вон, ваше благородие, и Куцый вас просит.

Возмущенный до глубины души, мичман обещал заступиться за Куцего. На баке волнение улеглось. В лице Кочнева светилась надежда.

VI

— Барон,— взволнованно проговорил мичман, влетая в кают-компанию,— вся команда просит вас отменить приказание насчет Куцего и позволить ему жить на свете...

За что же, барон, лишать матросов собаки!.. Да и какое она совершила преступление, барон?..

— Это не ваше дело, мичман Кошутич,— ответил барон.— И я прошу вас не забываться и мнений своих мне не выражать. Собака будет за бортом!

— Вы думаете?

— Прошу вас замолчать! — проговорил барон и побледнел.

— Так вы хотите взбунтовать команду, что ли, своей жестокостью?! — воскликнул мичман, полный негодования.— Ну, это вам не удастся. Я иду сейчас к капитану.

И Кошутич бросился в капитанскую каюту.

Все, бывшие в кают-компании, взглянули на старшего офицера с видимой неприязненностью. Барон, бледный, с презрительной улыбкой на губах, нервно теребил одну бакенбарду.

Минуты через две капитанский вестовой доложил барону, что его просит к себе капитан.

— Что там за история с собакой, барон? — спросил капитан и как-то кисло поморщился.

— Никакой истории нет. Я приказал ее выкинуть за борт,— холодно отвечал барон.

— За что же?

— Я предупреждал, что если увижу, что она гадит, я прикажу ее выкинуть за борт. Я увидал, что она нагадила, и приказал ее выкинуть за борт. Смею полагать, что приказание старшего офицера должно быть исполнено, если только дисциплина во флоте действительно существует!

«О немецкая дубина!» — подумал капитан, и лицо его еще более сморщилось.

— А я попрошу вас, барон, немедленно отменить ваше распоряжение и впредь оставить собаку в покое. Она на корвете с моего разрешения... Мне жаль, что приходится вам отменять свое же приказание, но нельзя же отдавать подобные приказания и без всякого повода раздражать людей...

— В таком случае, господин капитан, я имею честь просить вас отменить самому мое приказание, а я считаю это для себя невозможным. И кроме того...

— Что еще? — сухо спросил капитан.

— Я болен и исполнять обязанностей старшего офицера не могу.

— Так подайте рапорт... И, быть может, вам береговой климат будет полезнее.

Барон поклонился и вышел.

На другой же день после прихода в Нагасаки барон фон дер Беринг, к общему удовольствию, списался с корвета, и на «Могучий» был назначен другой старший офицер. Матросы вздохнули.

С отъездом барона Куцый снова зажил свободной жизнью и стал пользоваться еще большим расположением матросов, так как благодаря ему корвет избавился от Чертовой Зуды.

По-прежнему Куцый съезжал на берег вместе со своим другом Кочневым и сторожил его; по-прежнему смотрел вперед и забавлял матросов разными штуками, причем при окрике «Зуда идет!» стремительно улепетывал вниз, но тотчас же возвращался, хорошо понимая, что врага его уже нет на корвете.

1894

ИСАЙКА

I

Не только господа офицеры и баковая аристократия, но и все матросы звали этого тщедушного на вид, маленького, бледнолицего человека с типичным еврейским крючковатым носом, тонкими губами и серьезным и в то же время несколько пугливым взглядом больших, необыкновенно кротких черных глаз — не по фамилии, как обыкновенно водится, а уменьшительным именем Исайки. Другой клички ему не было, хотя Исайке уже минуло сорок и он был старым матросом, отслужившим шестнадцать лет, из обязательных в прежние времена двадцати пяти лет, в звании корабельного парусника, то есть мастерового, шившего и чинившего паруса.

Исайка давно привык к этой кличке. Он получил ее вслед за тем, как, бледный как смерть, тонкий, как спичка, в засаленном, рваном лапсердаке и в пейсах, явился, в числе других, в рекрутское присутствие, заседавшее в одном из городов Северо-Западного края, и, несмотря на свою узкую грудь и малый рост, на которые он так надеялся, услышал роковое: «Лоб». Как ни рыдала мать и как ни кланялся в ноги военному доктору отец, Исайку «забрили». Забрили и почему-то назначили во флот (вероятно, вследствие малого роста) и вскоре отправили с партией в Кронштадт. Во флотском экипаже, куда попал Исайка, его с первого же дня стали называть не по фамилии, а Исайкой.

Так с тех пор он и остался на всю жизнь Исайкой.

«Не в кличке дело, а в том, чтобы на службе не били и не наказывали линьками и розгами!» — рассуждал про себя Исайка и нисколько не обижался, что его зовут не

так, как русских, тем более что отиошение к нему матросов было превосходное и не лишенное даже некоторой почтительиостн. Решнтельио все, не нсключая боцманов и унтер-офицеров, уважали Исайку, как вполне «правильного» человека, честного, тихого и усердного работягу в своем деле, н притом «башковатого» н с «большим понятием», умевшего, при случае, объясиить то, чего никто другой иа корабле не мог. А Исайка, по словам матросов, «все мог». И говорил он так убедительно и красиоречнво, что его с удовольствием слушали, несмотря на еврейскнй акцеит. Исайка, поступнв на службу, сам выучился грамоте и чнтал не одии еврейские кннги, а н русские. Он любил «заняться кинжкой», что в те времена было редкостью средн матросов, в огромиом большинстве безграмотных, и охотно беседовал о прочитанном.

Это-то и давало ему авторитет «учеиого» человека, которым он умело пользовался.

Репутация Исайкн давио устаиовилась в экипаже, в котором он служил со дия поступлеиия в матросы, и ни одио пятно не омрачило этой заслужеииой репутации.

Правда, некоторые из матросов находилн, что хотя Исайка и хороший человек, но все-таки «жнд» н какннкак, а до известной степенн виноват в том, что Иуда предал Спасителя за тридцать серебреииков н что предки Исайки, хотя н отдалеииые, распялн Христа. Однако личные качества Исайки, ие способного обндеть даже мухи, а ие то что предать или распять кого-нибудь, в значительиой мере смягчали виновность его за распятие Христа даже в глазах иескольких отчаяниых юдофобов, среди которых особеино отличался категоричностью миеиий рыжий и толстый писарь из кантоиистов, Авдеев, рассказывавший про евреев самые невозможные вещи. Но н ои в коице концов принужден был согласиться, что Исайка совсем ие похож иа «поганого жида» н не решится иа «ихиие подлые проделкн». Убеднло его главиым образом то, что Исайка ие жаден к деиьгам. Последнее обстоятельство было хорошо нзвестно Авдееву, который года три не отдавал заиятых им у Исайкн трех рублей, пользуясь его деликатностью.

И писарь высказывал иногда сожалеиие, что Исайка не выкрестится.

— Тогда вполие был бы формеиным человеком! — прибавлял он.

Говорилн об этом Исайке раньше и другие лица.

Отец Спиридоиий, басистый иеромоиах с Валаамского

монастыря[1], бывший на корабле несколько кампаний священником, которому Исайка не раз вычищал и совсем заново вычинивал ряску, после того как отец Спиридоний бывал на берегу,— завел однажды речь об этом щекотливом предмете.

— Очень уж ты, Исайка, добросердый и некорыстный человек,— говорил своим густым, несколько осипшим после «берега» басом отец Спиридоний, принимая от Исайки рясу...— Вот, например, чинишь ты служителю божию и совсем чужой тебе веры и никакой мзды за сие не требуешь... Разве это не показывает в тебе, Исайка, истинно христианской добродетели?.. Другой вот и православный, а возьмет с попа гривенник, а ты жид, лишен благодати божией, а не берешь,— продолжал иеромонах, весьма довольный, что Исайка никогда не заикался о каком-нибудь вознаграждении за работу.— И знаю, что и впредь, ежели придется прибегнуть к твоей услуге, не откажешь. Не так ли, Исайка?

Исайка отвечал, что он всегда с удовольствием, если что починить.

— То-то и есть... Я и говорю, что в тебе душа христианская, даром что вера твоя, прямо ежели сказать, поганая. Уж ты не сердись за правду, Исайка, а все полагают, что поганая! — настаивал отец Спиридоний, и при этом его полное, слегка опухшее лицо добродушно и весело улыбалось.

Исайка не возражал. Но, видимо, не желая продолжать разговора в этом щекотливом направлении, осторожно и почтительно спросил:

— Так вам ничего больше не потребуется, батюшка?

— Нет, ты, Исайка, постой. Я имею тебе сказать нечто.

— Извольте сказывать, а я буду слушать,— деликатно отвечал Исайка, склонив чуть-чуть набок свою курчавившуюся голову.

— Знаешь что, Исайка? Брось ты свою жидовскую веру... ну ее. Восприими-ка, братец, благодать божию и приобщись к лону чад православных. Главное — жалко мне тебя, Исайка... очень уж ты добронравный человек, а между тем душа твоя пропадает. Верь слову: пропадает!

---

[1] В те отдаленные времена, в начале тридцатых годов, на суда флота назначались малообразованные, нигде не окончившие курса монахи для исполнения треб. Впоследствии выбор делался более тщательно. *(Примеч. автора.)*

Жидам на том свете ты думаешь где место? В геенне огненной, в пещи, значит. А что им предназначено? Как ты полагаешь?

— Вам лучше знать,— дипломатически молвил Исайка.

— Уголья глотать! — категорически объяснил отец Спиридоний и прибавил: — Перекрестись лучше...

— Что делать! Если уж милосердый бог такой на жида сердитый, как вы говорите, что велит горячий уголь глотать, я буду и уголь глотать, коли его на всех жидов хватит, а веры не переменю. В своей вере родился, в ней и помру, батюшка,— отвечал Исайка.

И, повертев в руках шапку, снова спросил:

— Так я, с вашего позволения, уйду, ежели вам больше ничего не требуется?

— Глупый ты человек, Исайка, ежели не хочешь души спасти.

— Видно, и есть глупый,— согласился Исайка, и по его лицу скользнула тонкая, едва заметная улыбка.— А может, еще что починить требуется?

— Спасибо, Исайка. Пока все в аккурате... Вижу: глух ты к истине. А ты о моих словах подумай.

— Зачем не подумать? О всяком слове надо подумать — на то всякому человеку бог рассудок дал. И жида не обидел! — прибавил с едва слышной иронической ноткой Исайка и шмыгнул из каюты.

«Не внемлет!» — подумал, вздохнув, отец Спиридоний. И, полюбовавшись отлично починенной люстриновой ряской, пожалел, что такому доброму жиду, как Исайка, во всяком случае придется плохо на том свете.

II

Была и другая, более серьезная, попытка на Исайкину душу со стороны одной пожилой адмиральши в Кронштадте, которая на склоне лет, после веселой жизни, имевшей мало общего с ее позднейшими взглядами на женскую добродетель и супружеский долг, расточала еще обильный запас чувства уж не на земные, а на духовные победы.

Исайка шил адмиральше ботинки (он был искусный башмачник и шил с «фасоном»), получая за работу «что пожалуют». Пользуясь тем, что Исайка казенный человек и прислан был к ней подначальным мужу экипажным командиром, адмиральша «жаловала» бессовестно мало, но

за то не прочь была спасти душу Исайки, обратив его на путь истины.

И вот однажды, вручив Исайке двугривенный за работу изящнейших ботинок с французскими каблуками и милостиво кивнув головой в ответ на: «Много благодарен, ваше превосходительство!», адмиральша сделала несколько шагов, чтобы попробовать, ловко ли сидят ботинки, и, удовлетворенная, присела затем на кресло и сказала:

— Ведь ты жид, Исайка?

— Точно так, ваше превосходительство! — отвечал Исайка, отступая к дверям.

Адмиральша вздохнула и повела речь о заблудших душах. Говорила она не без одушевления об истине и духовном возрождении, о тьме и свете, видимо наслаждаясь собственным своим красноречием, и окончила речь советом креститься, обещая Исайке, кроме спасения духовного, еще некоторые материальные блага. Она знает, что Исайка хороший и честный человек, и попросит мужа, чтобы Исайку произвели в унтер-офицеры и оставили при береге.

Предложение было заманчивое, особенно перспектива быть постоянно на твердой земле, которую Исайка всегда считал несравненно приятнее и удобнее морской стихии.

Он так внимательно и, казалось, проникновенно, не моргнувши глазом, слушал адмиральшу, стоя на вытяжке, с руками по швам, у дверей столовой, в которой происходило это духовное назидание, что адмиральша почти не сомневалась в спасении Исайки и, благосклонно устремив на него когда-то красивые глаза и встряхнув легким движением головы пару седых буклей, украшавших поблекшие щеки, не без некоторой торжественности произнесла:

— Ты, конечно, хочешь быть христианином, Исайка? А я буду твоей крестной матерью! — прибавила она и милостиво улыбнулась.

Понимавший сам и умевший ценить тонкое обращение и вообще по натуре очень мягкий человек, Исайка призвал на помощь все свое дипломатическое искусство и всю силу своей изворотливости, чтобы не оскорбить адмиральшу и не возбудить ее неудовольствия сколько-нибудь непочтительным отказом от ее столь любезного предложения. Да, признаться, вдобавок и трусил, как бы не вышло для него какой-нибудь серьезной неприятности. Мало ли что вздумает начальство? При одной этой мысли у Исайки упало сердце.

И он начал с того, что несколько раз низко и усердно кланялся и благодарил, что такая превосходительная барыня удостоила обратить на недостойного Исайку свое милостивое внимание. Смел ли он ожидать такой чести?

И Исайка продолжал кланяться и благодарить в самых изысканных выражениях, какие только мог придумать, однако на вопрос адмиральши не отвечал и даже рискнул от благодарностей довольно ловко перейти к предложению сделать ее превосходительству летние башмачки самого последнего заграничного фасона, какие привезла из Парижа адмиральша Гвоздева.

— Я у их видел эти башмачки... Ай, какой красивый фасон, ваше превосходительство, ай, как аккуратно сработаны! — восхищался Исайка.— И обойдутся всего два рубля с моим товаром! — прибавил Исайка, решившись приплатить свои полтора рубля, чтобы только задобрить скупую адмиральшу и отклонить ее внимание от спасения его грешной души.

Адмиральша благосклонно приняла предложение и расспросила Исайку в подробностях о заграничных башмаках адмиральши Гвоздевой, и Исайка думал было окончательно откланяться, пообещав постараться над башмаками и доставить их через пять дней, как адмиральша просила:

— Что ж ты, Исайка, на мой вопрос не ответил? Хочешь ты креститься?

Исайка принял вдруг серьезный и таинственный вид, и, понижая голос, проговорил несколько конфиденциальным тоном:

— Никак не смею, ваше превосходительство.

— Отчего не смеешь?

— Из-за папеньки и маменьки, ваше превосходительство. Их жалко.

— Почему же жалко? — удивилась адмиральша.

— Они, ваше превосходительство, старые, глупые люди, живут в глуши и по необразованию своему скажут: «Разве можно свою веру менять, как, с позволения сказать, ночной «кустюм», ваше превосходительство, и подумают, что ихний сынок Исайка продал свою совесть и поступил, осмелюсь доложить, как самый последний человек. Мои папенька и маменька люди без больших понятиев, ваше превосходительство, не знают, какая вера самая правильная, и спросят: «По какой такой причине, Исайка, русские не меняют своей веры и живут, в какой родятся, а ты, Исайка, переменил, а?» И скажут: «Будь ты за это проклят, Исайка!» И будут всё плакать и пла-

кать, что у их такой сын, и с горя помрут, ваше превосходительство! И мне будет очень стыдно и обидно, если из-за меня папенька и маменька помрут. Ай, как стыдно! А за ваше милостивое внимание к моей грешной душе дай бог вашему превосходительству счастья и здоровья... И госпожину супругу вашему и деткам... Не прикажете ли и им сапожки сделать? — неожиданно прибавил Исайка и снова закланялся.

Не лишенная находчивости ссылка Исайки на папеньку и на маменьку, которые давно уж мирно почивали в могилах, доводы, вложенные Исайкой в уста этих «глупых» людей и, наконец, действительно баснословная дешевизна башмаков, обещанных Исайкой,— все это вместе произвело на адмиральшу благоприятное впечатление, и она ввиду затруднительности положения Исайки не настаивала более на спасении его души и даже похвалила Исайку за его любовь и почтение к родителям.

— Мальчикам пока не надо сапог, Исайка. У них еще хорошие.

Значительно успокоенный и даже повеселевший Исайка сентенциозно заметил, что «всякий человек должен почитать родителей», и прибавил:

— Так на башмачки пряжки прикажете поставить, ваше превосходительство?

— Не лучше ли банты, Исайка?

— Как прикажете, ваше превосходительство, но только, осмелюсь доложить, пряжки будут прочнее бантиков... Конечно, можно и бантики, но последний фасон — пряжки, и у адмиральши Гвоздевой на башмачках пряжки.

— Так поставь и мне пряжки.

— Слушаю, ваше превосходительство.

Исайка теперь не спешил уходить, уверенный, что щекотливого разговора больше не будет. Заметив хорошее расположение адмиральши, он возымел смелую мысль: в свою очередь воспользоваться адмиральшей, чтоб избавиться при ее посредстве от плаваний и устроиться при береге, не рискуя собственной душой.

И, осторожно переступив с ноги на ногу, он сказал:

— А уж я, ваше превосходительство, постараюсь, чтобы башмачки вышли не хуже заграничных. И завсегда, что изволите приказать, сработаю на первый сорт и вам и молодым барчукам. Вот только летом никак не могу, потому в море посылают... Летом самый износ сапожкам у молодых барчуков,— подчеркнул Исайка,— а Исайки нет... Будь я при береге, ваше превосходительство, тогда

и ежели насчет починки, и новые сапожки... Только извольте потребовать.

— Что ж, я скажу мужу,— промолвила адмиральша.

— Премного буду благодарен, ваше превосходительство! Счастливо оставаться, ваше превосходительство! — ответил обрадованный Исайка и, повернувшись, как следовало по форме, налево кругом, вышел.

Однако Исайка при береге не остался и в то же лето был отправлен в плавание. Адмиральша забыла про свое обещание и вскоре после разговора с Исайкой переехала с мужем в Петербург, и Исайке просить было некого. Да вдобавок, им и дорожили на корабле как отличным парусником.

Но зато с отъездом адмиральши уже не было больше ни с какой стороны попыток спасти Исайкину душу, и он, твердый в своей вере, свято исполнял предписанные его религией обычаи по мере возможности. Необыкновенно религиозный, Исайка каждую пятницу по вечерам, на берегу ли, в плавании ли, забирался куда-нибудь в укромный уголок и, накинув на себя молитвенный плащ, долго и горячо молился, распевая тихим и гнусавым голосом свои однообразные и монотонные канты. Бледное, худое лицо Исайки с большими черными глазами в такие минуты светилось восторженным умилением и какой-то тихой скорбью, и голос его дрожал от наплыва религиозного чувства.

О чем он молился? Чего просил?

И никогда никто из матросов не позволил себе ни насмешки, ни какого-нибудь оскорбительного замечания. Напротив! Все с осторожной почтительностью обходили стоявшего на молитве еврея, и многие, дивясь его восторженной молитве, тихо, в каком-то удивленном раздумье говорили:

— Жид, а какой старательный к своему богу Исайка!

III

Не ставилось в осуждение Исайке и его боязни моря, особенно когда оно начинало волноваться, и какого-то непреоборимого, чисто физического страха к риску и опасностям, сопряженным с настоящим матросским делом.

Действительно, Исайка не мог побороть в себе этого чувства, и из него, конечно, не вышло моряка. Все шестнадцать лет своей службы он пробыл «нестроевым», зани-

маясь мастерством парусника. Ни разу не мог он подняться до марса — трусил и, переступив несколько вантин, спускался, чувствуя себя на палубе бесконечно счастливее, и не решался более повторять этих добровольных попыток в начале службы, так как звание нестроевого избавляло его от специально матросского дела. И только во время авралов, когда вызывали всех наверх, Исайка должен был исполнять обязанности простой рабочей силы: вместе с другими тянуть внизу, на палубе, какую-нибудь снасть, стоять у вымбовок на шпиле, при подъеме якоря и т. п., что он и исполнял всегда с замечательным усердием. Он добросовестно «трекал» снасть или наваливался грудью на вымбовку, напрягая все свои слабые силы и полный самолюбивого задора показать, что и он может работать не хуже других.

Но всего, что было на корабле выше палубы, он боялся и с боязливым почтением взглядывал на верхушки высоких мачт. При одной мысли о том, что его вдруг могли бы послать в свежую погоду крепить марсель, стоя на веревочном перте стремительно качающейся реи, или на зарывающийся в воду бугшприт — убирать кливера, Исайка весь холодел, жмурил глаза и как-то беспомощно отмахивался, словно от страшного призрака, своими маленькими и худыми, совсем нематросскими руками, с тонкими костлявыми пальцами, мастерски владевшими громадной парусной иглой.

— Таким уж, значит, пужливым Исайку господь создал, а он не виноват. И рад был бы, а не может. Нутро не принимает. Пошли Исайку, примерно, на брам-рею — со страху помрет!

— И не доползет, а свалится в море.

— Совсем нематросского звания человек Исайка.

— И силенки в ем никакой нету.

Так о нем рассуждали матросы и, готовые осудить и поскалить зубы над всяким проявлением трусости в товарищах, в суждениях об Исайке, с чуткостью понимания, прикладывали к нему особую мерку, и если некоторые старые матросы, случалось, и подсмеивались по этому поводу над Исайкой, то самым добродушным образом и без всякого намерения унизить или оскорбить его, тем более что и сам Исайка не скрывал своей слабости.

— Всего мне дал бог,— говорил Исайка,— и рассудка, и старания, и терпения, а вот матросской храбрости не дал, братцы... Видно, всякому человеку своя доля, и бог не желает, чтоб еврей был матросом... «Будь ты

мастеровой и живи иа сухом пути!» — вот что повелел господь еврею,— прибавлял Исайка, приписывая господу богу свои собственные заветиые желания.

— А что, Исайка, ежели вдруг да старший офицер пошлет тебя иа высидку иа иок! — шутил кто-иибудь из уитер-офицеров или старых матросов.

— Не пошлет! Зачем меия посылать?

— А за наказание.

— Пхе! За что меия наказывать? Я чиню себе паруса в подшкиперской, и иикто меня ие видит... И справляю свое дело аккуратио... Старший офицер умный человек...

— Умиый-то умиый, а ежели взъерепеиится, так и ум потеряет... Мало ли за что можио придраться зря... Точио ие зиаешь. Увидит тебя иа палубе и крикнет: «Послать Исайку иа иок. Пусть Исайка проветрится!»

В иеобыкиовеиио живом воображеиии Исайки, хорошо зиавшем, какие бывают случайиости иа воеииом корабле, уже мелькало представление о возможности чего-либо подобиого и мгиовеиио складывалось в яркую картииу. И ои испуганно восклицал:

— Ууу!.. Не может этого быть!

И вслед за тем так же быстро соображал, что это вздор и что с иим шутят, и сам улыбался и добродушио-спокойио говорил:

— А ты, Матвеич, ие пужай. Я и без того пужаюсь.

В свежую погоду Исайка обыкиовеиио чувствовал себя иехорошо и тревожно, хотя его и ие укачивало, и когда, случалось, большой деревяиный корабль выдерживал трепку, стоиал и скрипел всеми своими члеиами, Исайка, притихший, с широко раскрытыми глазами, шептал побледиевшими устами молитвы, забившись в уголок подшкиперской каюты и прислушиваясь к булькаиию воды, ударявшейся в борт. Наверх ои ие выходил в такую погоду, ие желая глядеть иа эти свинцовые расходившиеся волиы, подбрасывавшие трехдечный стариииый корабль, как щепку, и вселявшие в сердце Исайки паиический страх. И ои предпочитал пережидать бурю в одиночестве, в полутемиой каюте, завалеииой парусами и кругами веревок и тросов, не показываясь на глаза людям и не стыдясь вздрагивать и охать при каждом стремительном подергиваиии судиа.

Но если свистали: «Всех иаверх четвертый риф брать!» — Исайка с тоской на сердце, проклииая злосчастиую свою судьбу, стремительио, одиако, выбегал вместе с другими иа верхиюю палубу и старательио тяиул сиасти,

лётом перебегая с места на место, и избегал поднимать глаза на беснующееся море. Зачем на него, постылое, смотреть!

И в такие минуты, как нарочно, задорно пробегали мысли о маленьком спокойном угле где-нибудь на твердой земле, в котором он сидит в тепле, на маленькой табуретке, и тачает себе сапоги или башмаки самого последнего фасона, в то время как в голове толпятся разнообразные мысли насчет разных дел человеческих и божьих, которые занимают его пытливый и деятельный ум.

«Уж лучше бы забрили в солдаты!»

Трусливый сам, Исайка зато с каким-то особенным почтением и в то же время с замиранием сердца порой смотрел на марсовых, которые в такую бурю лихо взбегали по вантам, затем, словно гигантские муравьи, расползались по реям и, припадая к белому парусу, захватывали надувшуюся мякоть его какою-то невидимой силой.

— Уфф! — вырывалось из Исайкиной груди восклицание, выражавшее и одобрение и ужас, что вот кто-нибудь да сорвется и упадет в море или с шумом шлепнется на палубу, размозженный и окровавленный.

Такие случаи бывали почти в каждое плавание и всегда потрясали Исайку.

И он поспешно опускал свои глаза и снова смотрел себе под нос, невольно проговорив соседу, словно бы желая излить свое восторженное изумление:

— Ай, какие же храбрые! И как они ничего не боятся!

— Кто это, Исайка?

— Да они, наши матросики! — шептал Исайка не без горделивого чувства за тех, которые были так непохожи на него.

IV

Но несравненно более качающихся рей и бурь боялся Исайка линьков, розог и кулачной расправы. Телесные наказания вселяли в него не один только панический страх физического страдания, но инстинктивный ужас позора поруганного человеческого достоинства. А оно было сильно развито у Исайки, как и у многих евреев, в нравах которых нет привычки к унизительным наказаниям, с детства знакомым русскому крепостному народу того времени.

Этот страх, доходивший у Исайки до какой-то болез-

ненности и постоянно державший его в нервном напряженном состоянии боязни не вызвать чем-нибудь гнева в ком-либо из начальствующих лиц, обратился в привычку. И несмотря на шестнадцать лет благополучно проведенной службы, Исайка всегда был настороже, словно заяц, чуявший близость собак. Ведь в те отдаленные времена, когда матросов дрессировали жестокими порками за малейшую оплошность и когда самая жестокость была в моде среди моряков, так легко и возможно было нарваться даже и при чуткой осторожности Исайки!

Исайка был необыкновенно чувствителен для того «жестокого» времени. Вид обнаженной матросской спины, на которую с тихим шлепаньем падали удары линьков, наносимые сердитыми, подчас озверевшими унтер-офицерами или боцманами, под зорким наблюдением привыкшего к таким зрелищам офицера, это покрывающееся синими полосами с багровыми подтеками тело, эти покорные вначале стоны человека, переходящие потом в какой-то дикий вопль беззащитного животного и затем иногда совсем затихавшие от потери чувств,— наполняли душу Исайки невыразимым ужасом и состраданием. И когда ему случалось быть свидетелем таких наказаний, производившихся в некоторых случаях в присутствии всей команды корабля, Исайка, бледный как смерть, вздрагивая всем своим тщедушным телом, едва стоял на ногах и украдкой вытирал невольные слезы, страшась, чтоб их не заметили.

Само собою разумеется, Исайка добровольно никогда не решился бы присутствовать на таких экзекуциях. Когда после учений и авралов раздавалось, бывало, приказание наказать кого-нибудь и побледневший матрос шел на бак, покорный или с напускным видом бесшабашного удальства, Исайка улепетывал вниз, в подшкиперскую каюту, забивался в угол и, затыкая уши, потрясенный, взволнованно шептал молитвы, и его большие кроткие и испуганные глаза светились невыразимою скорбью.

— Жалостливый Исайка! — говорили про него.

А Исайка не только сострадал, но и невольно изумлялся выносливости и мужеству, с какими многие матросы выдерживали наказания, наводившие на Исайку такой трепет.

Особенно поражал его один из близких его приятелей, каким, по странному контрасту, был Иван Рябой, коренастый, широкоплечий, сильный и приземистый матрос лет сорока, лихой и бесстрашный марсовой, ходивший на штык-болт, то есть исполнявший самое трудное и опасное

дело на ноке (оконечности реи), и при этом отчаянный забулдыга и пьяница, не особенно строгих правил человек, во хмелю буйный и невоздержанный на язык. Рябого пороли довольно часто и допороли до того, что он, бывало, бился об заклад на чарку водки, что не пикнет до пятидесяти ударов. И действительно не ронял звука и только, бледный, с злобно-искаженным лицом, на котором блестели крупные капли пота, стискивал зубы. После выигрыша чарки Рябой начинал слегка вскрикивать. От крика, по его словам, «не так дух спирало». Получив иногда сто линьков, Рябой надевал спущенную с плеч рубаху и уходил, как встрепанный, выкурить трубку махорки. Затем обыкновенно спускался вниз к Исайке, который в подшкиперской чинил паруса, и говорил:

— Сотню, подлецы, всыпали, Исайка.

— Сотню? Ай, ай, ай!! — испуганно вскрикивал Исайка, не совсем, впрочем, доверяя счету приятеля, так как и бодрый вид его и тон голоса далеко не соответствовали получению такого количества ударов.

— И лупцевали ж, я тебе скажу, Исайка. Особенно этот дьявол Чекушкин наваливался... Из-за вчерашнего пьянства. Сказывали: сгрубил вахтенному начальнику... А я, хоть убей, не помню... Ты, брат, мази своей приготовь. Ужо попрошу товарища спину вымазать.

Исайка умел приготовлять какую-то мазь, облегчавшую, по словам матросов, боль в спине после наказания, и многие пользовались Исайкиной мазью.

— Как просвищут «отдыхать!» — приготовлю. Фершал припасу даст,— отвечал Исайка и как-то боязливо спросил: — А очень больно?

Лицо Исайки имело такой страдальческий вид, что со стороны можно было подумать, будто наказанный был Исайка, а не Рябой, загорелое, грубое и смелое лицо которого, полное выражения какой-то бесшабашной удали, с бойкими, добродушно-плутоватыми серыми маленькими глазами, не имело в себе ничего страдальческого.

— Затем, братец ты мой, и порют, чтоб было больно! А ты думал так, здря? — отвечал, усмехнувшись, Рябой...— А уж я подлецу Чекушкину на берегу морду искровеню, будь спокоен, даром что унтерцер. Тесто из его хайла сделаю! — неожиданно прибавил матрос.

И обыкновенно добродушный взгляд загорелся злым огоньком.

— Ай, ай, Иваныч! За что?

— А за то, чтобы он, живодер, не старался! Ты бей,

коли твоя должность такая собачья, по форме, а не зверствуй над своим же братом!

— Хуже будет, Иваныч. Он тебе после припомнит, если опять...

Исайка деликатно не доканчивал и, вздыхая, прибавлял:

— Все из-за вина.

— То-то из-за вина, Исайка. Ты вот башковатый человек, а не поймешь, что матросу надо погулять... Без вина, братец ты мой, совсем бы служба опаскудила... Ты это возьми в толк, Исайка.

— Отчаянный ты, Иваныч... Ничего не боишься... Сто линьков?.. Ай, ай! И как ты только выдерживаешь?

— Шкура-то пообилась. И не такую плепорцию, слава богу, выдерживал! — не без хвастливости говорил Рябой.— Небось унижаться перед ими, подлецами, не стану, коли они за беспамятство с тебя шкуру сдирают. Сгруби, значит, я тверезый — запори насмерть, это правильно, а с пьяного разве можно взыскивать?.. Разве это по совести?..

— Совесть-то люди давно забыли, Иваныч,— раздумчиво говорил Исайка.

— То-то и есть. Люди забыли, и я, значит, пьянствую... Пори, сделай милость... Пори только с рассудком, не наваливайся!.. Я и три сотни приму и в лазарет не лягу!

— Ишь ты! — шептал Исайка и с каким-то почтительным изумлением взглядывал на Рябого...

— А ты небось, Исайка, и пятидесяти линьков не примешь? И от такой малости из тебя дух вон. Уж вовсе ты щуплый, Исайка! — смеялся Рябой, посматривая на тщедушную фигуру Исайки с снисходительным сожалением здоровенного крепкого человека.

Исайка жмурился от страха при этих словах и взволнованно, с какою-то необыкновенной серьезностью в голосе произносил:

— А срам? От одного срама помереть можно... И-и-и!

И Исайка даже взвизгивал.

— Какой срам? — недоумевал Рябой.— Это ты, Исайка, со страха мелешь!.. Ежели кому срам — так тому, кто человека не жалеет и за всякую малость велит тебя полосовать... Тому так срам... А матросу никакого срама нет... Бог-то ему за то на том свете все грехи простит... Потому — матросик все стерпел.

На этом пункте Исайка никогда не сходился с Рябым, и тут они друг друга совсем не понимали.

Сблизились они лет семь тому назад совсем неожиданно и по особенному случаю.

Оба они были в одной роте на берегу и оба в летние морские кампании плавали вместе на восьмидесятичетырехпушечном корабле «Поспешном», но отношения их друг к другу были холодные и даже не особенно дружелюбные. Тихий и мирный Исайка хоть и преисполнен был почтительного уважения к бесшабашной удали лихого матроса, считавшегося первым марсовым на корабле, но его грубый разгул на берегу, его не особенно щекотливые понятия насчет способов добывания денег на выпивку, слухи о том, что Рябой будто бы в темные осенние ночи уходит из казармы и не прочь в глухом переулке ограбить запоздавшего офицера,— все это далеко не располагало Исайку к забулдыге Рябому. И тот, в свою очередь, смотрел на Исайку с некоторым презрением как на «поганого жида» и вдобавок отчаянного труса. Однако никогда не задирал его, считая это ниже своего достоинства... Стоит ли Исайка того?

Однажды, отпущенный в воскресенье со двора, Рябой поздно ночью был приведен в казармы в бесчувственном состоянии и почти голым. Сапоги и казенная шинель были пропиты Рябым. Даже и он оробел, когда, проснувшись на следующее утро, узнал, что случилось. В роте тотчас же стало известно, что Рябой пропил казенные вещи, и все говорили, что за это его отдерут «форменно», как сидорову козу, меньше как пятьсот розог за такое дело не дадут — шинель новая.

Фельдфебель несколько раз съездил Рябого по уху, больше для соблюдения своего престижа, чем для вразумления такого отпетого человека,— что ему, мол, от боя! — и обещал скрыть от ротного командира до вечера, если Рябой добудет шинель.

А он даже не помнит, за сколько она была оставлена в знакомом кабаке, где Рябой постоянно пьянствовал. И как добыть шинель? Где достать такие деньги?

— Придется, видно, шкурой заплатить за шинель, Авдей Трифоныч! — объявил он развязным тоном, стараясь скрыть перед фельдфебелем свою душевную тревогу.

— В этом не сумлевайся, блудящий кобель, пьяная твоя рожа! Отполируют тебя, подлеца, начисто, во всем аккурате... Проймут и твою барабанную шкуру, не бойся. А то, пожалуй, еще и под суд отдадут, попадешь в арестантские роты... Как ротный на это дело взглянет... Не в первый это раз ты казну объегориваешь...

Старнк фельдфебель (он же боцман первой вахты на «Поспешном») говорнл, по-видимому, суровым, бесстрастным тоном, прнбавляя ругательства без всякого увлечення. Однако в его глазах светнлось участне. Уж очень удалый н бесстрашный был марсовой, этот забулдыга н пьяннца!

— Уж ты попытай, изверннсь как-ннбудь, беспардонный дьявол, а я до вечера докладывать не буду! А дальше не могу. Сам службу понимаешь! — прибавил не без теплой ноткн в голосе старнк и словно бы оправдываясь.

— Спаснбо н на том, Авдей Трнфоныч, но только уж все равно с утренннм лепортом доложнте ротному... Чего еще ждать?

— А ты форцу на себя не напущай, не куражься... Небось всыпка будет отчаянная... Да н вовсе пропасть можешь... Попытай, говорю... Илн еще не проспался, сучнй ты сын? Слышь: до вечера ротному не доложу.

Исайка, уже давно сидевший в своем уголке за работой, прослышал про то, какая грознла беда Рябому, н лнцо его отразило жалость н в то же время какую-то внутреннюю борьбу. Так просндел он, ожесточенно двигая шнлом, минут пять н наконец, полный решнмостн, встал н пошел на другой конец казармы, где угрюмо сндел Рябой.

— А что я тебе скажу, братец,— проговорнл свонм тоненькнм голоском, слегка нараспев и несколько таннственно Исайка, подходя к Рябому.

Рябой вопроснтельно поднял на Исайку злые глаза н равнодушно опустил нх.

— Знаешь, что я тебе скажу?

— Ну что пристал: «скажу да скажу»? Сказывай.

— За сколько ты пропил шинель?

— А тебе что?.. Чего лезешь?

— Ты только скажи, а мне есть дело! — продолжал Исайка н одобрнтельно н ласково подмнгнул глазом.

— А черт его знает за сколько?

— Гмм... Денег не брал?.. Пил только. А много ты прнмерно выпил?.. Штофа два?

— И полведра вали. Я ведь не жид, а хрещеный.

— Ай, ай, полведра! — ахнул Исайка.

— Да ты к чему это гнешь?..— уже мягче спроснл Рябой, взглядывая на Исайку н пораженный необыкновенно участлнвым выраженнем его лнца.

— Хочу шннель твою достать! — кротко промолвил Исайка.— Объяснн, в каком кабаке ты ее оставнл. А уж я шннель прннесу.

— Ты? — выговорил только Рябой.

И больше не мог в первое мгновение ни слова прибавить, тронутый до глубины души этим великодушным предложением.

— Век не забуду, Исайка! Вызволил! — наконец дрогнувшим голосом проговорил Рябой и, вероятно желая выразить свои чувства во всей полноте, прибавил: — Жид, а какой добрый!

Исайка чуть-чуть усмехнулся от этого комплимента и стал расспрашивать, где кабак, в котором Рябой вчера пьянствовал.

Рябой подробно объяснил и смущенно прибавил:

— Только целовальник сдерет... Пожалуй, рублей пять заломит!

На физиономии Исайки появилось деловое выражение кровного еврея, собирающегося сделать коммерческое дело, и он снова подмигнул глазом, на этот раз не без некоторого лукавства, и сказал:

— Небось Исайка будет торговаться. Исайка лишней копейки не даст.

Он тотчас же отпросился у фельдфебеля со двора и отправился в указанный Рябым кабак.

Прожженный молодой ярославец-кабатчик, увидев Исайку, вопросительно повел на него глазами. Исайка деликатно объяснил, что пришел за шинелью Ивана Рябого.

— А деньги принес?

— Вам сколько денег?

— Семь рублей,— не мигнув глазом, отвечал кабатчик.

— Не много ли будет? — прищурив глаза, протянул Исайка.

— А много, так уходи.

— Я бы и ушел, да товарища жалко... Вы сами знаете, казенная вещь... Ему достанется... Казенная вещь — царская... Как ротный узнает, что вы у матроса взяли царскую вещь, большие неприятности выйдут... Ай, ай, ай! какие неприятности!.. Полиция и все такое. Царская вещь не может пропасть.— И Исайка с серьезным видом покачал головой.— Рябой приказал отдать полтора рубля и просить шинель и сапоги... А уж затем, как вам будет угодно! — прибавил Исайка равнодушным, казалось, тоном и сделал вид, будто собирается уходить.

— Да ты постой...

— Извините!.. Мне некогда... Я казенный человек. Меня сам господин фельдфебель послал, Авдей Трифоныч — изволите знать? Он тоже у вас вино берет. «Ходи,

говорит, Исайка, за шинелью, чтоб не было, говорит, неприятностей».

Начали торговаться. Исайка несколько раз выходил из кабака и возвращался, желая сберечь свои кровные деньги, которые он хранил как зеницу ока. И было-то у него прикоплено всего-навсего рублей двадцать от двугривенных, которые ему давали — и то не всегда — за его работу.

Наконец шинель и сапоги были выкуплены за два рубля двадцать копеек, и Исайка, завернув вещи в узел, ушел, веселый и торжествующий, из кабака, не обращая никакого внимания на то, что обозленный сиделец выругал его вслед подлой жидовской харей.

С этого дня Иван Рябой и Исайка сделались большими приятелями, хотя и не совсем понимали друг друга.

V

Много ума, осторожности, изворотливости и такта нужно было Исайке, чтобы за шестнадцать лет своей службы в те старые жестокие времена уберечься от наказаний. Но Исайка с первых же дней службы был так усерден, так безукоризненно вел себя, так старался, что решительно не было возможности к нему и придраться. Да и невольно жаль было как-то этого безответного, боязливого, смирного и совсем тщедушного человека с большими кроткими глазами. Когда в первый год службы какой-то унтер-офицер избил Исайку, Исайка так горько плакал целую ночь, что даже унтер-офицер, избивший его, почувствовал нечто похожее на угрызения совести.

Вдобавок Исайка, по неспособности к строевой службе состоя в мастеровых, находился и вдали от глаз начальства на корабле. Ближайших начальников у него было только двое: шкипер-офицер из бывших боцманов да подшкипер, с которыми Исайка умел отлично ладить и задабривать их при случае. А прочее начальство, особенно строгое с матросами, до него и не касалось. Сиди себе в подшкиперской и чини паруса да выходи наверх лишь во время авралов.

Помимо того что Исайка что называется из кожи лез, отличаясь безустанной работой и безукоризненным поведением, он, как человек умный и наблюдательный, знал, чем взять, кроме усердия. На берегу он постоянно шил и ротным своим командирам и фельдфебелям сапоги, обшивал их жен и детей, а летом то же самое делал для

шкипера и его помощника — разумеется, даром. И все обходились с Исайкой ласково, считая его золотым человеком. На всякое ремесло он был мастер. Раз даже игрушку хорошую сделал и поднес сынишке экипажного командира, супруге которого, конечно, шил башмаки.

Исайка каждый день благодарил бога, что служба, которой он так боялся вначале, оказалась для него не особенно страшной,— море только его пугало! Но уж служить оставалось немного. Года через четыре его, наверное, уволят в бессрочный отпуск, и тогда конец этим вечным страхам! Вольный человек!

И он иногда мечтал, как будет жить постоянно на твердой земле, займется мастерством в Кронштадте, где его все знают, и заживет себе спокойно и тихо, как следует честному еврею.

Одно обстоятельство только смущало Исайку в последнее время. Он был неравнодушен к одной матросской вдове, известной на Кронштадтском рынке, где летом она торговала зеленью, а по зимам имела ларь с разным мелочным товаром, под именем «рыжей Анки». Эта рыжая Анка, здоровая и толстая баба лет тридцати пяти, с широкими бедрами и рыхлым лицом, покрытым веснушками, тоже посматривала на Исайку своими голубыми лукавыми глазами не без вызывающего кокетства. Ее любовник матрос ушел на три года в «дальнюю», и она была свободна. А Исайка был обстоятельный человек и умел давать ей отличные советы по части торговли. Без него у нее едва хватало на хлеб да на квас, а как он с ней познакомился — совсем другой оборот вышел. Умен Исайка на торговлю — откуда только выдумка шла. И башмаки ей великолепные сделал, и в долг на покупку товара десять рублей дал!

И Анка не прочь была бы связаться с «жидом» — пусть на рынке смеются, наплевать. И то уже смеются!

Но Исайка не делал решительных авансов, не имея смелости признаться Анке в своей склонности. Да и согласится ли она жить с жидом? О браке Исайка, разумеется, и не думал.

По всей вероятности, робкий Исайка так бы и остался тайным воздыхателем, если б в начале лета, когда уже «Поспешный» вытянулся на рейд, Исайка однажды утром в воскресенье не зашел купить у Анки на копейку луку.

Выбрав пучок и порасспросив Анку о делах, Исайка хотел было уходить, как Анка, заглянув в глаза Исайки, лукаво спросила:

«Исайка»

— Только луку тебе от меня и надо, Исайка?

— Чего ж я смею, кроме луку, Анна Спиридоновна? — значительно протянул Исайка...

— Чего?.. Ах ты, лукавый Исайка! — рассмеялась Анка и нежно прибавила: — Нечего на корабль идтить; ужо приходи ко мне пить чай!

С того дня Исайка стал чаще съезжать на берег, и когда «Поспешный» ушел в море, Исайка принялся шить Анке самые фасонистые башмаки и написал ей два письма, в которых с трогательным красноречием изливал перед ней душу, закончив деловыми советами насчет зимней торговли, которую уж они вели теперь сообща после памятной покупки пучка лука.

VI

Ах, как не хотелось Исайке идти на следующее лето в море!

Ему не хотелось расставаться с рыжей Анкой, к которой он серьезно привязался, но главное — его тревожило назначение нового командира экипажа и корабля «Поспешного». Про него ходили неутешительные слухи — как об отчаянном «мордобое», который, командуя фрегатом, порол без всякой пощады, и когда пылил, то был ровно бешеный. Об этом только и было толков среди матросов, и даже Иван Рябой как-то сказал Исайке, что бросит пить...

— Зверь, сказывают!

И действительно, это лето Исайке приходилось чуть ли не ежедневно улепетывать вниз и забиваться в угол, вздрагивая от ужаса. Почти ни одного ученья не проходило без того, чтобы не было экзекуций. Наказывали по несколько человек. Капитан требовал, чтобы матросы работали «как черти», и если, например, паруса крепили не в три, а в три с половиной минуты, то всех опоздавших марсовых и с их унтер-офицерами пороли линьками. В те времена было щегольство на быстроту работ, и каждый капитан хотел отличиться. Это был особенный морской шик.

Все это плаванье Исайка постоянно находился в каком-то напряженном состоянии страха и особенно боялся авралов, когда и ему приходилось выбегать наверх и видеть этого высокого широкоплечего человека с суровым красным лицом, стоявшего на юте, расставив ноги, и грозно посматривавшего на работы. Мертвое молчание царило

в такие минуты на палубе. Матросы старались изо всех сил, взлетали как бешеные по вантам, разбегались, точно по гладкому полу, по реям и крепили паруса с лихорадочною поспешностью страха. Какой-то трепет чувствовался всеми, не исключая и боцманов. И офицеры с испуганной озабоченностью стояли у своих мачт, поднявши кверху головы, и лишь изредка тихо ругались, заметив, что где-нибудь работают не так скоро или какая-нибудь снасть «заела», то есть не идет.

И этот один человек, заставлявший всех трепетать, радовался, что в два месяца так «подтянул» всех. Лицо его светилось довольной улыбкой, когда паруса «сгорали» или когда на артиллерийском ученье большие орудия откатывались, как легкие игрушки, в руках надрывавшихся матросов...

Но случалось — и нередко — лицо капитана вдруг багровело, глаза наливались кровью, и он с поднятыми кулаками, точно исступленный, кидался вниз, несся на бак и бил боцманов, бил попавшихся под руку матросов, оглашая воздух ругательствами.

— Запорю! — кричал он, не помня себя от ярости.

Оказывалось, что на баке громко разговаривали или не скоро убрали кливеров...

В такие минуты Исайка замирал от страха.

Плавание уже кончалось, к общей радости матросов и офицеров. «Поспешный» возвращался под всеми парусами в Кронштадт с попутным брамсельным ветром из Балтийского моря.

У Гогланда налетел шквал, и по оплошности вахтенного офицера, не убравшего вовремя парусов, разорвало фор-марсель в клочки.

Капитан рассвирепел и напустился на офицера, грозя его отдать под суд. Засвистали менять фор-марсель. Подшкипер бросился в подшкиперскую и второпях указал прибежавшим матросам не на тот марсель, какой надо было взять, а на другой, еще требовавший починки. Никто этого не заметил. Не заметил и Исайка.

Минут через восемь разорванный марсель был отвязан и принесенный — в виде огромного длинного свернутого узкого мешка — привязан. Его распустили, и — о ужас! — несколько дыр зияло на парусе.

Исайка увидал и стал белей рубашки.

Капитан уже был на баке.

— Подшкипера сюда... Парусника!..

Подшкипер и Исайка стояли перед капитаном.

— Ты парусник? — спросил капитан, вперяя налитые кровью глаза на дрожавшего как лист Исайку и окидывая его уничтожающим взглядом.

— Я, ваше высокоблагородие! — едва пролепетал Исайка.

— Ты, подлец? Боцман! В линьки его! Сию минуту.

Исайка затрясся, точно в лихорадке. Зрачки глаз расширились. Судороги пробегали по его лицу...

— Ваше высокоблагородие... Я не... не виноват.

— Не виноват?! Эй!.. Спустить ему шкуру!.. Он не виноват!..— бессмысленно повторял капитан.

Уже два унтер-офицера подбежали к Исайке, чтобы взять его, как вдруг Исайка бросился в ноги капитану и, конвульсивно рыдая, говорил:

— Я не могу... ваше высокоблагородие... помилуйте... ваше...

Было что-то раздирающее в этом отчаянном вопле. Стоявший тут же старший офицер отвернулся. Матросы потупили глаза. Мертвая тишина царила на палубе.

Эта мольба, казалось, привела капитана в бо́льшую ярость. Он брезгливо пнул распростертого Исайку ногой и крикнул:

— Взять его... Показать, как он не может!

Но в эту минуту Исайка уже вскочил на ноги, и это был уже совсем не прежний кроткий Исайка.

В его мертвенно-бледном лице со сверкающими глазами было что-то такое страшно-спокойное и решительное, что капитан невольно отступил назад...

. . . .

— Так будь ты проклят, злодей!

И с этими словами вспрыгнул на сетки и с жалобным криком отчаяния бросился в море.

Матросы оцепенели в безмолвном ужасе. Капитан, видимо, опешил.

Иван Рябой, отличный пловец, в одно мгновение был за бортом. Но Исайки уже не было на поверхности! Он как ключ пошел ко̀ дну.

— Эка жидюга проклятая! — наконец проговорил капитан и велел лечь в дрейф и спустить катер, чтобы спасти Рябого.

Матросы крестились.

1894

БЕСПОКОЙНЫЙ АДМИРАЛ

I

В это прелестное, дышавшее свежестью раниее утро в Тихом океаие иа вахте флагмаиского корвета «Резвый» стоял первый лейтеиаит Владимир Андреевич Снежков, прозваииый в шутку матросами «теткой Авдотьей».

Прозвище это ие лишеио было меткости.

Действительио, и в полиоватой фигуре лейтеиаита, и в его круглом и рыхлом, покрытом веснушками лице, и в его служебиой суетливости, и в тоиеньком, визгливом теиорке было что-то бабье.

Собой Владимир Андреевич был далеко ие казист. Благодаря своим выкатившимся рачьим глазам ои всегда имел иесколько ошалелый вид. У иего были рыжие жидкие баки и усы, очеиь толстые губы и большой иеуклюжий мясистый иос, украшеииый крупиой бородавкой. Эту бородавку, смущавшую лейтеианта особеиио перед приходами в порты, корветский доктор хвастливо обещал свести, ио до сих пор ие свел, к большому огорчению Владимира Аидреевича.

Обыкиовеиио бывавший на вахтах в удручеиином томлеиии трусливого человека, ожидавшего «разиоса», Сиежков сегодия иаходился в хорошем расположении духа. Ои с беззаботиым видом шагал себе по мостику, посматривая то иа океаи, катившей с тихим гулом свои могучие волны, сверкавшие под ослепительными лучами солнца, то иа иадувшиеся белые паруса, мчавшие «Резвый» благодаря ровиому попутиому ветру до десяти узлов в час, то иа только что вымытую палубу, иа которой происходила теперь ожесточеииая обычиая утреиияя чистка, то иа клипер «Голубчик», который, слегка иакренившись, похожий иа белосиежную чайку, иесся чуть-чуть впереди, убравши

брамсели, чтоб уменьшить свой бег и не «показывать пяток», как говорят моряки, корвету, с которым, по приказанию адмирала, шел соединенно от Сан-Франциско до Нагасаки.

По временам Владимир Андреевич, несмотря на свой солидный вид человека, отзвонившего в лейтенантском чине двенадцать лет и недавно отпраздновавшего тридцатипятилетнюю годовщину, даже тихонько подсвистывал игривый вальсик, слышанный им в сан-францисском кафешантане и живо напоминавший ему о знакомстве с очаровательной певичкой американкой.

Воспоминания об этих недавних днях были приятные, черт возьми! Нужды нет, что в две недели стоянки певичка заставила своего возлюбленного поклонника спустить не только жалованье за два месяца, но и все его небольшие сбережения за два года плавания. Он об этом не жалеет, до того неотразима была эта мисс Клэр, пухленькая блондинка с золотистыми волосами и карими глазками, сразу овладевшая мягким сердцем Владимира Андреевича, как только он съехал на берег после месячного перехода, увидал эту мисс и, познакомившись, пригласил ее любезной пантомимой вместе поужинать.

Небось он отлично объяснялся с ней, и чем дальше, тем лучше, несмотря на то, что знал по-английски не более десятка-другого слов. Но зато каких слов! Все самых существенных и нежных, которые он добросовестно вызубрил по лексикону и повторял в различных комбинациях, подкрепляя их мимикой, особенно выразительной после двух-трех бутылок шампанского.

Слава богу, ему не нужно было прибегать к помощи кого-нибудь из товарищей, знающих английский язык, как он имел глупость делать прежде. Теперь он и сам храбро выпаливал английские слова, не заботясь ни о малочисленности, ни об их логической связи. Придет он к мисс Клэр в гостиницу, поклонится, поцелует ручку, сядет около и, воззрившись на нее, словно кот на сало, начнет, как он выражался, «отжаривать»:

— Добрый день... милая... очень рад... который час... отлично... как ваше здоровье... очаровательная... выпить, ехать... ножки... ручки... очень хорошо... восторг...

«Отжарив» эти слова, он начинал снова, но уже в обратном порядке, начиная с «восторга», и кончая «добрым днем», и разговор выходил хоть куда! Мисс Клэр хохотала как сумасшедшая, трепала лейтенанта по рыхлой щеке и отвечала милыми речами. Что она ему говорила, Снеж-

ков, разумеется, и до сих пор не знает, но тогда он делал вид, что все понимает, убеждая ее в этом весьма простым способом: он вынимал из кармана несколько золотых монет, больших, средних и малых, клал их на свою широкую пухлую ладонь и предлагал знаками выбрать одну из них на память.

Но американка с такой ловкостью стягивала своей маленькой ручкой сразу все монеты с ладони лейтенанта, что он приходил в восхищение и после такого фокуса в восторге лепетал свои заученные слова.

Никогда впредь не обратится он в таких делах к чужому посредничеству. Знает он этих переводчиков! Влюбчивый и ревнивый, Владимир Андреевич не забыл и теперь, как года полтора тому назад с ним бессовестно поступил мичман Щеглов в Каптауне. Нечего сказать, благородно!

В качестве переводчика мичман обедал на счет Владимира Андреевича в обществе строгой на вид, чинной и красивой англичанки не первой молодости, «благородной вдовы, случайно попавшей в Каптаун после кораблекрушения, лишившего ее всего состояния», которую лейтенант, при любезном посредстве мичмана, не замедлил пригласить обедать в нумер гостиницы после первой же встречи на улице и краткого знакомства с ее биографией.

Казалось, Щеглов самым добросовестным образом переводил комплименты и излияния лейтенанта, уплетая при этом вкусный заказной обед с волчьим аппетитом двадцатилетнего мичмана. Казалось, что и англичанка, работавшая своими челюстями с не меньшим усердием, чем мичман, пившая не хуже самого Владимира Андреевича и ставшая к концу обеда менее строгой на вид, довольно милостиво слушала переводчика, бросая по временам благосклонные взгляды на амфитриона, пожиравшего жадными взглядами и белую шею и полные руки этой дамы. Оставалось только разведать о наилучших путях к сердцу «благородной вдовы, потерпевшей кораблекрушение». И эту щекотливую миссию Щеглов исполнил, по-видимому, вполне удовлетворительно, так что Владимир Андреевич на радостях потребовал еще шампанского. Затем последовали коньяк и кофе, и когда лейтенант вышел на минутку в сад, чтобы несколько освежить голову после капских вин, шампанского и коньяку, и затем вернулся в нумер, ни вдовы, ни мичмана не было. Лакей доложил, что они уехали кататься и обещали скоро вернуться, и подал кругленький счетец.

Взбешенный Владимир Андреевич напрасно прождал

их до позднего вечера. Они так и не приехали, а мичман, на следующее утро вернувшийся на корвет, с самым серьезным видом утверждал, что «благородная вдова, потерпевшая крушение», внезапно почувствовала себя нездоровой и настойчиво просила ее увезти.

— Что мне было делать?.. Согласитесь, что я не виноват, Владимир Андреевич... И она, знаете ли, не какая-нибудь авантюристка, а настоящая леди!..— прибавил мичман, подавляя улыбку.

С тех пор Владимир Андреевич уж не брал с собой на берег переводчиков, а принялся за лексикон. И опыт в Сан-Франциско доказал, что он отлично может объясняться по-английски.

Лейтенант снова взглянул на паруса — стоят отлично; взглянул на компас — на румбе; озабоченно взглянул на люк адмиральской каюты — слава богу, закрыт.

И он опять зашагал по мостику.

После воспоминаний о прошлом в его голове проносились приятные мысли о близком будущем. В самом деле, плавание предстояло заманчивое. И флаг-капитан и флаг-офицер еще вчера положительно утверждали, что «Резвый» из Нагасаки пойдет в Австралию и посетит Сидней и Мельбурн, а «Голубчик» отправится в Гонконг для осмотра своей подводной части в доке, а оттуда в Новую Каледонию, где должен ожидать «Резвого» с адмиралом... Бедный «Голубчик»! — ему не «пофартило», Новая Каледония с дикими черномазыми дамами!

«А Сидней и Мельбурн — отличные порты, не то что эти китайские и японские трущобы с узкоглазыми туземками, достаточно-таки надоевшими»,— размышлял Владимир Андреевич и, предвкушая будущие удовольствия, весело улыбнулся и опять стал подсвистывать, вызывая некоторое недоумение в сигнальщике, который привык видеть на вахте Снежкова всегда озабоченным, суетливым и удрученным.

«Что за диковина? Тетка Авдотья веселая!» — подумал сигнальщик.

Подобное необычайное настроение Владимира Андреевича с подсвистываньем и приятными воспоминаниями объяснялось исключительно тем счастливым обстоятельством, что «беспокойный адмирал», как звали про себя начальника эскадры солидные капитаны и лейтенанты, или «свирепый Ванька» и «глазастый черт», как более образно втихомолку выражались легкомысленные мичмана и гардемарины, ни разу не выходил наверх во время его вахты

и — бог даст! — не выйдет до подъема флага, до восьми часов, когда вахта окончится. Вчера беспокойный адмирал поздно лег спать и, верно, проспит долго!

Все на корвете боялись беспокойного адмирала, но никто так не трусил его, как Владимир Андреевич. Усердный служака, но далеко не моряк по призванию, нерешительный, трусливый и достаточно-таки рохля, он в присутствии адмирала совсем терялся, и робкая его душа замирала от страха, что ему «попадет». Ему действительно довольно-таки часто попадало, и Владимир Андреевич краснел и пыхтел, шептал молитвы и старался не попадаться на глаза адмиралу, когда только это было возможно. Он малодушно прятался за мачту во время авралов, избегал выходить наверх, если наверху был «глазастый дьявол», за обязательными обедами у него не открывал рта, испытывая робость и смущение; во время вспыльчивых его припадков, когда адмирал, случалось, бушевал наверху, топтал ногами фуражку и прыгал на палубе, словно бесноватый, грозя повесить или расстрелять какого-нибудь мичмана или гардемарина, которого через час-другой звал к себе в каюту и дружески угощал,— в такие минуты Владимир Андреевич, совсем не понимавший натуры этого беспокойного адмирала и привыкший бояться всякого начальства, положительно трепетал и, по словам зубоскалов мичманов, тотчас же заболевал febris gastrica[1].

— И боится же наша тетка Авдотья адмирала! — смеялись, бывало, матросы на баке, когда речь заходила о лейтенанте.

— Робок очень, и нет в ем никакой флотской отважности... Совсем береговой человек! — объяснял боцман трусливость Владимира Андреевича.

— От этого самого он и суетится без толку на вахте... Опасается, значит, адмирала! — замечали старые матросы.

Посмеивались над ним и в кают-компании за эту трусость, и мичмана советовали взять да и «развести»[2] с адмиралом, но Владимир Андреевич только отмахивался безнадежно руками и решительно изумлялся, что были такие смельчаки, которые «разводили» с адмиралом, и что это проходило им совершенно безнаказанно. Сам он об этом не решался и подумать и молил только бога, как бы поскорей вернуться в Россию и получить там спокойное бере-

---

[1] желудочной лихорадкой *(лат.)*.

[2] «Развести» на морском жаргоне значит: поговорить крупно с начальством. *(Примеч. автора.)*

говое местечко, а не то — какой-нибудь маленький пароходик и канонерскую лодку в командование и находиться подалее от всяких адмиралов и вообще от высшего начальства.

К этим далеко не честолюбивым мечтаниям присоединялась всегда и мечта о подруге жизни в образе какой-нибудь недурненькой женщины — брюнетки или блондинки, это было для женолюбивого Владимира Андреевича безразлично,— но только обязательно не худощавой. Худощавых дам он не одобрял, не предвидя тогда, что судьба даст ему в жены именно худощавую, да еще какую!

II

На баке только что пробило четыре склянки. Был седьмой час в начале, как из-под юта, где находилось адмиральское помещение, лениво выползла маленькая круглая фигурка курносого человека лет тридцати, с краснощеким, заспанным и несколько наглым лицом, опушенным черной кудрявой бородкой, в люстриновом пиджаке поверх розовой ситцевой сорочки, в белых штанах и в стоптанных туфлях, надетых на грязные босые ноги.

Этот единственный на корвете «вольный», как зовут матросы всякого невоенного, был адмиральский лакей Васька, продувная бестия из кронштадтских мещан, ходивший с адмиралом во второе кругосветное плавание, порядочно-таки обкрадывавший своего холостяка барина и пускавшийся на всякие обороты. Он давал гардемаринам под проценты деньги, снабжал их по баснословной цене русскими папиросами и вообще человек был на все руки.

При виде адмиральского камердинера с металлическим кувшинчиком в руке все приятные воспоминания и вообще неслужебные мысли разом выскочили из головы Владимира Андреевича, лицо его тотчас же приняло тревожно-озабоченное выражение и взгляд сделался еще более ошалелым.

— Васька! — тихо окликнул он адмиральского камердинера, когда тот был у мостика.

Васька галантливо приподнял с черноволосой кудластой головы красную шелковую жокейскую фуражку — предмет его особенного щегольства перед баковой аристократией — и приостановился, зевая и щуря на солнце свои бегающие, как у мыши, плутовские карие глаза.

— Встал? — беспокойно спросил Владимир Андреевич,

значительио понижая свой визгливый тенорок, и мотнул головой по иаправлению адмиральского помещения.

— Встает... Только что проснулся. Сегодня бреемся. Вот за горячей водой иду! — развязио отвечал Васька, взглядывая иа вахтеииого иачальника с снисходительиой улыбкой, которая, казалось, говорила: «И чего ты так боишься адмирала?»

И, словио желая успокоить Снежкова, прибавил фамильяриым тоиом, каким позволял себе говорить с иекоторыми офицерами:

— Раиьше как через полчаса, а то и час, ои ие выйдет, Владимир Андреевич. При качке-то скоро ие выбреешься, какой ии будь иетерпеливый человек. На прошлой неделе щеки-то порезал от своей скорости.

И Васька иаправился далее, умышлеиио замедляя шаги. «Я, дескать, ие очень-то спешу для адмирала, которого вы все боитесь!»

Владимир Андреевич иемедленно засуетился. Ои первым делом озабочеиио поднял голову, взглядывая на верхние паруса. Теперь ему казалось, что марсели и брамсели не вытянуты как следует, и ои скомандовал подтянуть шкоты. А затем поиесся на бак осмотреть кливера.

— Кливера ие до места, не до места... Как же это? — с жалобным упреком и с выражеиием страдания иа лице обратился Владимир Андреевич к вахтеииому гардемарину, который с самым беспечным видом коротал вахту, разгуливая по баку.

— Кажется, кливера до места, Владимир Андреич.

— Вам кажется, а мие попадет!.. Не вам, а мне!.. Адмирал увидит и... Скорей вытяните кливер-шкоты...

— Есть! — отвечал гардемарии.

— Да сиасти... приберите их... Боцмаи! ты чего смотришь, а?

Подскочивший с засученными до колеи штанами пожилой боцмаи, который с раииего утра усердствовал, иаблюдая за чисткой и надрывая горло от ругани, докладывал успокоительиым тоиом:

— Уборка еще не окоичеиа, палуба мокрая, ваше благородие! Как, значит, справимся с уборкой, тогда и сиасть уберем, ваше благородие!

— А ты поторапливай уборку, поторапливай, братец!

— Есть, ваше благородие!

В официальио-почтительиом взгляде боцмана скользнула улыбка. И ои подумал: «И с чего ты зря суетишься?»

— И вообще...— сиова иачал было Владимир Андреевич.

Но так как он решительно не знал, что еще «вообще» сказать, то, оборвав фразу, побежал назад, покрнкивая занятым чисткой матросам:

— Пошевеливайся, братцы, пошевеливайся!

Матросы усмехались н вслед ему говорили:

— Вндно, адмирал скоро выйдет, что тетка Авдотья забегала.

Поднявшись на мостик, Владимир Андреевич зашагал, тревожно осматрнваясь вокруг. Он то н дело подходил к компасу, чтобы посмотреть, по румбу ли ндет корвет, взглядывал на надувшнйся вымпел, чтобы удостовериться, не зашел лн ветер,— словом обнаруживал тревожное усердие. И когда на мостик поднялся старший офицер, который с раннего утра тоже носился по всему корвету как оглашенный, прнсматрнвая за общей чнсткой, Владимир Андреевнч поторопился ему сообщить, что адмнрал встает.

— Брнться только будет! — прибавил он.

— Ну н пусть себе встает! — равнодушным, по-видимому, тоном проговорил длинный, высокий и худой старшнй офицер, с очками на близоруких глазах.— Придраться ему, кажется, не за что... У нас все, слава богу, в порядке... А впрочем, кто его знает?.. С ннм ни за что нельзя ручаться!.. И не ждешь, за что он вдруг разнесет! — с внезапным раздраженнем прибавнл старший офнцер.

— То-то и есть! — как-то уныло подтвердил Владимир Андреевнч.

Расставив свон длинные ноги, старший офнцер поднял голову и стал оглядывать паруса и такелаж.

— Что, кажется стоят хорошо, Мнхаил Петровнч? Все до места? Реи правильно обрасоплены? — спрашивал Снежков с тревогой в голосе, нща одобрения такого хорошего моряка, как старшнй офнцер.

— Все отлнчно, Владимнр Андренч... Не волнуйтесь напрасно,— успоконл его старший офнцер после быстрого осмотра свонм зорким морскнм взглядом парусов...— А ветерок-то славный. Ровный и свеженький... Как у нас ход?

— Десять узлов.

— С такнм ветерком мы скоро и в Нагасаки прнбежим... А «Голубчик» лучше нашего ходит... Ишь, брамселн убрал, а все впереди идет! — не без досады проговорил старший офицер, ревннвый к достоинствам другнх судов н точно оскорбленный за отставание «Резвого».

Он взял бннокль н жадным взглядом впился в «Голубчнка», надеясь увндать какую-нибудь неисправность в по-

становке парусов. Но напрасно! На «Голубчике», стройном, изящном и красивом, все было безукоризненно, и самый требовательный глаз не мог бы ни к чему придраться. Недаром и там старший офицер был такой же дока и такой же ученик беспокойного адмирала, как и Михаил Петрович.

Старший офицер несколько минут еще любовался «Голубчиком» и, отводя бинокль, промолвил:

— Славный клиперок!

Владимир Андреевич совсем чужд был этим морским ощущениям и, равнодушно взглянув на «Голубчика», спросил:

— А долго мы простоим в Нагасаки, Михаил Петрович?

— Возьмем уголь и уйдем.

— В Австралию?

— Говорят, что в Австралию.

— Разве это не наверное?

— Да разве с нашим адмиралом знаешь наверное, куда кто пойдет?.. Держи карман! Я вот в первое свое плавание у него в эскадре вполне был уверен, что пойду в Калькутту, а знаете ли, куда пошел?

— Куда?

— В Камчатку!

— Как так?

— Очень просто. Перевел меня с одного клипера на другой — и шабаш! Вы, Владимир Андреевич, его, видно, еще не знаете... Он любит устраивать сюрпризы! — засмеялся старший офицер.

И вдруг вспомнив, что еще не осмотрел машинного отделения, сорвался внезапно с мостика, стремглав сбежал по трапу и, озабоченный, скрылся в палубе.

Неморяк, который увидал бы в этот момент старшего офицера, наверно подумал бы, что он сошел с ума или что на судне несчастье.

III

Тем временем Васька, наполнив кувшинчик кипятком и сказав коку, чтобы готовил кофе и поджаривал сухари, довольно беспечно беседовал у камбуза с молодым писарьком адмиральского штаба Лаврентьевым, который был первым щеголем, понимал деликатное обращение, знал несколько французских и английских фраз, имел носовой платок и носил на мизинце золотое кольцо с бирюзой.

Казалось, Васька мало заботился о том, что адмирал ждет горячей воды, и рассказывал приятелю-писарю о том, что за чудесный этот город Сидней, в котором он был с адмиралом в первое плавание.

— Прежде в нем одни каторжники жили, вроде как у нас в Сибири, а теперь, братец ты мой, как есть столица! Всего, что хочешь, требуй!.. И театры, и магазины, и конки по улицам, и сады, одно слово — видно образованных людей. И умны эти шельмы, англичане. Ах, умны! Особенно насчет торговли... Первый народ в свете!

Адмиральский кок (повар), пожилой матрос, тоже ходивший с адмиралом второй раз в плаванье, заметил:

— Смотри, Василий, адмирал тебя ждет... Как бы не осерчал!

— Подождет! — хвастливо кинул Васька и продолжал: — Слышно, что из Нагасак беспременно в Сидней пойдем... Так уж я тебе, Лаврентьев, все покажу... Прелюбопытно... А барышни — один, можно сказать, восторг!..

— Ой, Василий... Иди-ка лучше до греха... А то шаркнет он тебя этим самым кувшином! — снова подал совет повар.

— Так я его и испугался!.. Я — вольный человек. Чуть ежели что: пожалуйте расчет, и адью! В первом городе и уйду, если будет мое желание... И то, слава богу, потрафляю ему... Знаю его карактер. Другой небось на него не потрафит... И он это должен понимать... Без меня ему не обойтись!

— Положим, ты вольный камардин, а все ж таки побереги свои зубы... Сам, кажется, знаешь, каков он в пылу... Не доведи до пыла... Беги...

— Ступай в самом деле, Василий Лукич! — проговорил и писарь.

Советы эти были своевременны, и Васька отлично это чувствовал. Но желание поломаться и показать, что он нисколько не боится, было так сильно, что он продолжал еще болтать и не представлял себе, что адмирал, в ожидании горячей воды, уже бешено и порывисто, словно зверь в клетке, ходит в одном нижнем белье по большой роскошной каюте, бывшей приемной и столовой, и нервно поводит плечами.

Еще одна-другая раздражительная минута напрасного ожидания, как дверь адмиральской каюты приоткрылась, и на палубе раздался резкий, металлический, полный энергии и закипающего гнева голос:

— Ваську послать!

Владимир Андреевич невольно вздрогнул, словно ло-

шадь, получнвшая шпоры, и тороплнво, во всю снлу своих легкнх, крикнул внзглнвым теиорком:

— Ваську послать!

— Ваську посла-а-ты! — раздался зычный голос боцмана в палубу н долетел до ушей Ваcькн.

— Дождался! — нроннческн броснл кок.

— Ишь ведь, не потерпит секунды... Черт! — проговорил Васька и уж далеко не с прежннм видом гоголя выскочил наверх н поиесся к адмнралу с кувшином в руках, прндумывая на бегу отговорку.

Едва только красная жокейская фуражка нсчезла под ютом, как через отворенный и прнкрытый флагом люк адмнральской каюты послышались раскаты звучиого адмиральского голоса, прерываемые тоиеиькой н довольно нахальной фнстулой Ваcькн.

— Мерзавец! — донесся заключительный аккорд, н все смолкло.

Адмнрал начал брнться.

Мннут через двадцать адмнрал, свежий, с гладковыбрнтыми мяснстымн щекамн, в черном люстриновом сюртуке, с белосиежными отложнымн воротничкамн сорочкн, открывавшнмн короткую загорелую шею, легкой поступью взошел иа мостик и в ответ на поклон смутившегося Владимира Андреевнча снял фуражку, с прнветливой улыбкой протянул широкую руку н весело проговорил:

— С добрым утром, Владимир Андренч!

И, броснв довольный взгляд на широкий простор океана, прибавил:

— А ведь мы славно ндем, не правда ли?

— Отлично, ваше превосходительство! Десять узлов!

— И погода чудесная... Позвольте-ка бннокль.

Владимир Андреевнч передал бннокль, н адмнрал, подойдя к краю мостнка, стал смотреть на шедшнй впереди н чуть-чуть на ветре клипер «Голубчнк».

«Он в духе сегодня!» — радостно подумал Владимир Андреевич, поглядывая на беспокойного адмнрала.

IV

Полюбовавшись клнпером, адмнрал отвел глаза от бниокля н, передав его вахтеииому офицеру, вндимо удовлетвореииый, стал смотреть в океаискую даль.

Он снял белую с большим козырем фуражку, подставнв ветру свою большую чериоволосую, заседевшую у висков,

коротко остриженную голову, и с наслаждением вдыхал утреннюю прохладу чудного морского воздуха.

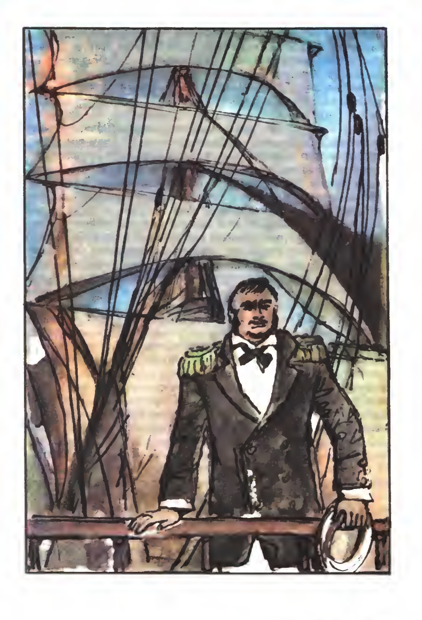
Это был плотный и крепкий человек небольшого роста, лет сорока пяти-шести, кряжистый, широкий в костях, с могучей грудью, короткой шеей и цепкими, твердыми, толстыми «морскими» ногами. Его смугловатое, подернутое налетом сильного загара скуластое лицо с резкими и неправильными чертами широковатого носа, мясистых «бульдожьих» щек и крупных губ с щетинкой подстриженных «по-фельдфебельски» усов дышало силой жизни, смелостью, избытком энергии беспокойной и властной натуры и той несколько дерзкой самоуверенностью, которая бывает у решительных, привыкших к опасностям людей. Большие, круглые, как у ястреба, слегка выкаченные черные глаза, умные и пронзительные, блестели, полные жизни и огня, из-под густых, чуть-чуть нависших бровей. Лоб был большой и выпуклый.

И в этом энергичном лице, и во всей этой коренастой, дышавшей здоровьем фигуре чувствовалось что-то стихийное, сильное и необузданное, и в то же время доброе и даже простодушное, особенно во взгляде, мягком и ласковом, каким в настоящую минуту адмирал смотрел на море.

Глядя на этого человека даже и в эти спокойные минуты созерцания, никто не подумал бы усомниться в заслуженности составившейся о нем во флоте репутации лихого и решительного, знающего и беззаветно преданного своему делу моряка и деспотически страстного, подчас бешеного человека, служить с которым не особенно покойно. Недаром же в числе многочисленных кличек, которыми наделяли адмирала в Кронштадте, была и кличка «чертовой перечницы».

Прошлое его было, разумеется, хорошо известно среди моряков.

Все знали, что он был «отчаянный» кадет и вышел из морского корпуса в черноморский флот, куда выходили по преимуществу молодые люди, не боявшиеся строгой службы, где и получил основательное морское воспитание в школе Лазарева, Корнилова и Нахимова. Любимец двух последних адмиралов и восторженный их поклонник, он выдвинулся в Крымскую кампанию, приобретя известность исполнением всяких опасных поручений и особенно своими смелыми выходами на небольших пароходах из блокируемого неприятельским флотом Севастополя и дерзким крейсерством в Черном море, полном неприятельских судов.



«Беспокойный адмирал»

Корнев — так звали начальника эскадры — делал блестящую по тем временам карьеру, тем более для человека без всяких связей и протекции. Вскоре после войны он, флигель-адъютант, сорока лет от роду, был произведен в контр-адмиралы и уж второй раз командовал эскадрой Тихого океана.

Когда полгода тому назад, совершенно неожиданно, Корнев приехал на смену своего предместника, умного и образованного адмирала N., но совсем не моряка в душе, почти чуждого подчиненным, державшего себя от них в отдалении и обращавшегося со всеми с любезной и брезгливой холодностью служебного баловня, богача и аристократа,— все тотчас же почувствовали нового начальника эскадры и его беспокойную натуру.

Эскадра оживилась, как оживляется добрый конь, почуявший опытного и смелого всадника. Все старались подтянуться. Между судами появилось соревнование. Офицеры и матросы сразу почувствовали в новом адмирале не только начальника, но страстного моряка и знающего ценителя. Он взбудоражил всех, приподнял самолюбие и как-то осмыслил службу, этот беспокойный адмирал, требуя не одного только исполнения обязанностей, а, так сказать, всей души.

Ураганом пронесся он, явившись на свой флагманский корвет «Резвый», когда, после обычного опроса у команды претензий, узнал, что ревизор плохо кормит людей и не все выдает им по положению. Командир и ревизор были «разнесены вдребезги». Ревизору было приказано немедленно «заболеть» и ехать в Россию. «Жаркую баню» пришлось выдержать и одному юнцу гардемарину, который наказал розгами матроса, не имея на то права. Гардемарин был назван «щенком» и переведен на другое судно. И опять досталось капитану, допустившему такой «разврат».

Не прошло и месяца с приезда адмирала, как на эскадре, собравшейся в Хакодате, начались перетасовки.

Адмирал своей властью сменил двух старых, не особенно бравых и энергичных капитанов, решив, после знакомства с ними в море, что они «бабы». Предложив им ехать в Россию, он, не желая повредить им, дал о них министру лестные аттестации и объяснил, что хотя они и вполне достойные капитаны, но слабое их здоровье делает их не совсем пригодными к беспокойным океанским плаваниям. Вместо них он назначил двух, относительно молодых, старших офицеров, а на их места — совсем

молодых лейтенантов, ходивших с ним в первое его плавание.

После этих перемен адмирал несколько успокоился.

Нечего говорить, что в Петербурге, привыкшем к канцелярским перепискам и к боязливой нерешительности начальников эскадр сделать что-нибудь неугодное высшему начальству, были очень недовольны адмиралом, который так круто и самовольно распоряжается.

Управляющим министерством в то время был адмирал Шримс, почти не бывавший в море, всю жизнь прослуживший в штабах, очень умный человек, известный хорошо морякам, особенно молодым, с которыми он обращался с фамильярной простотой, как веселый балагур и циник, любивший крепкие и пряные словечки. Весьма ревнивый к власти и давно привыкший к ней, он приказал написать Корневу строгое внушение, поставив ему на вид самовластие его распоряжений и молодость и неопытность назначенных им капитанов и старших офицеров. Бумага заканчивалась предписанием впредь не сменять капитанов без его, адмирала Шримса, разрешения.

Эта бумага была получена в Сан-Франциско недели три тому назад.

Адмирал прочитал ее, швырнул на стол, зашевелил скулами и гневно воскликнул, вращая белками:

— Ведь эдакий болван, этот Шримс, хоть, кажется, и умный человек!

Бывший зачем-то в эту минуту в адмиральской каюте флаг-капитан адмирала, худощавый, чистенький и прилизанный молодой белобрысый капитан-лейтенант Ратмирцев, щеголявший изысканными, великосветскими манерами и ханжеством, испуганно взглянул на адмирала, которого боялся больше, чем моря, и в душе презирал за грубые манеры.

Казалось несколько странным, как подобный «придворный суслик», как прозвали гардемарины этого франтоватого и светского капитан-лейтенанта, мог быть флаг-капитаном у такого человека, как беспокойный адмирал.

Но дело объяснялось просто.

Совершенно неспособный к морской службе, трусливый и мямля, Ратмирцев, благодаря связям и протекции, командовал клипером в эскадре Тихого океана. Долго Корнев не встречал этого клипера, откомандированного в крейсерство у берегов Приморской области. Но как только адмирал его встретил и проплавал на нем с неделю, он

немедленно «убрал» Ратмирцева, предложив ему совершенно неответственное место флаг-капитана[1], вполне уверенный, что Ратмирцев сам будет проситься скорей в Россию, так что его не придется и «сплавлять».

Адмирал снова взял полученную бумагу, снова прочел и снова воскликнул тоном, не допускавшим ни малейшего сомнения, швыряя бумагу:

— Болван...

Ратмирцев хотел было дипломатически исчезнуть из каюты.

Адмирал заметил это намерение и резко сказал:

— Прошу, Аркадий Дмитрич, подождать минутку.

И, не обращая внимания на присутствие флаг-капитана, продолжал:

— Скотина эдакая: сидит там в кабинете и ничего не понимает...

Ратмирцев только ежился, скандализованный этими выражениями.

«Совсем грубое животное!» — подумал Ратмирцев.

Прошла минута-другая молчания.

— Аркадий Дмитрич!

— Что прикажете, ваше превосходительство? — изысканно-вежливым тоном спросил флаг-капитан, почтительно и очень красиво наклоняя туловище.

— Потрудитесь сегодня же, сейчас, немедленно,— нетерпеливо и резко говорил адмирал, слегка заикаясь и словно бы затрудняясь приискивать слова,— написать приказ по эскадре, что я изъявляю особенную благодарность командующим «Забияки» и «Коршуна» за примерное состояние вверенных им судов.

Командующие этими судами были недавно назначенные адмиралом и не утвержденные в звании командиров в Петербурге, о чем просил адмирал.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Да напишите приказ, Аркадий Дмитрич, в самых лестных выражениях... И не забудьте-с, Аркадий Дмитрич, копию с приказа вместе с другими бумагами послать в Петербург.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Пусть там прочтут-с! — сказал, усмехнувшись, адмирал, видимо довольный сделанным им распоряжением и начинавший «отходить».

---

[1] Флаг-капитан — должность вроде начальника штаба. *(Примеч. автора.)*

Он передал флаг-капитану несколько бумаг из Петербурга и приказал приготовить ответы, какие нужно.

— А на эту я сам отвечу! — значительно произнес адмирал, словно бы угрожая кому-то.

И, отложив бумагу в сторону, адмирал уставил свои большие круглые глаза, еще сверкавшие гневным огоньком, в почтительно-равнодушное, бесцветное, белобрысое лицо флаг-капитана.

Судя по этому взгляду, тот ждал: не будет ли еще каких приказаний?

Но вместо этого адмирал после долгой томительной паузы совершенно неожиданно произнес:

— Знаете ли, что я вам скажу, любезнейший Аркадий Дмитрич... Ужасно сильно вы душитесь... Какие у вас это духи? — прибавил, видимо сдерживаясь, адмирал и думая про себя: «И какой же ты вылощенный дурак!»

Вот что хотел он ему сказать этим вопросом о духах.

Ратмирцев, несколько изумленный и сконфуженный, пробормотал:

— Опопонакс, ваше превосходительство!

— Опопонакс?! Отвратительные духи-с! Можете идти, Аркадий Дмитрич, и потрудитесь сию минуту написать приказ! — прибавил адмирал.

Вслед за тем адмирал принялся за письмо к Шримсу. Письмо было довольно убедительное.

Корнев извещал, что за несколько тысяч миль довольно трудно испрашивать разрешений и что, отвечая за вверенную ему эскадру, он должен быть самостоятельным и считает себя вправе сменять офицеров по своему усмотрению, а с завязанными руками командовать эскадрой сколько-нибудь достойно уважающему себя начальнику решительно невозможно, с чем, разумеется, согласится всякий адмирал, бывавший в плаваниях,— подпустил Корнев шпильку своему начальнику, никогда не командовавшему ни одним судном. Что же касается до молодости назначенных им капитанов, то он «позволяет себе думать», что молодые, способные и энергичные капитаны несравненно полезнее старых, бездеятельных или болезненных и что в деле выбора людей на должности, требующие знания и отваги, решительности и находчивости, нельзя сообразоваться с летами. Такие знаменитые учителя, как Лазарев и Корнилов, в назначениях руководились не годами службы, а морскими качествами, и «я сам имел честь командовать в Черном море шкуной в лейтенантском чине». Из посланной при рапорте копии с приказа по эскадре его превосходительст-

во убедится, что назначенные им командиры вполне достойные и лихие моряки, и он считает за честь иметь таких капитанов в эскадре. В заключение адмирал снова просил утвердить их в звании командиров, если только высшему морскому начальству угодно, чтоб он командовал эскадрой, и прибавлял, что он и впредь будет действовать, руководствуясь правами, предоставленными уставом начальнику эскадры в отдельном плавании, и принимая на себя ответственность за сделанные им распоряжения, клонящиеся к поддержанию чести русского флага.

В том же письме адмирал сообщал, что вследствие полной неспособности в морском деле капитан-лейтенанта Ратмирцева, более годного для береговой службы, чем для плаваний, он почел своим долгом отрешить названного офицера от командования клипером и назначить его временно своим флаг-капитаном, хотя до сих пор он и обходился без такового, довольствуясь одним флаг-офицером, а для приведения позорно запущенного клипера в должный порядок и вид, соответствующий военному судну, он назначил командующим лейтенанта Осоргина, вполне достойного офицера, бывшего старшим офицером на лучшем судне эскадры, на клипере «Голубчик».

Нетерпеливый адмирал в тот же день отправил это письмо, после чего значительно повеселел и, съехавши на берег в своем статском, неуклюже сидевшем на нем платье и с цилиндром на голове, похожий скорей на какого-нибудь принарядившегося мелкого лавочника, чем на адмирала,— зазвал двух гардемаринов, которые не успели юркнуть от него в другую улицу, в гостиницу, угостил их обедом, хотя они и клялись, что только что пообедали, и за обедом рассказывал им, какие доблестные адмиралы были Лазарев, Нахимов и Корнилов. И, что всего удивительнее, адмирал ни разу не разнес своих гостей — ни за то, что они ели рыбу с ножа, ни за то, что они наливали белое вино в стаканы, а не в рюмки, ни за то, что не знали знаменитого приказа Нельсона пред Трафальгарским сражением, ни за то, что до сих пор не написали заданного им сочинения о том, как взять Сан-Франциско и разгромить тремя клиперами и двумя корветами предполагаемую на рейде неприятельскую эскадру, значительно превосходящую своими силами.

И когда наконец адмирал отпустил гардемаринов, они радостно выбежали на улицу и оба в один голос сказали, весело смеясь:

— Глазастый черт сегодня штилюет!

Когда в Петербурге было получеио письмо Кориева, адмирал Шримс проговорил, обращаясь к своему директору каицелярии:

— Посмотрите, что пишет иам башибузук... Артачится...

И с тоикой улыбкой умиого человека заметил:

— И иичего ведь ие поделаешь с этим сумасшедшим «брызгасом»! Черт с иим! Пусть себе лучше сатрапствует вдали, а ие пристает здесь с разиыми затеями... Ведь у Кориева вечио перец под хвостом! — смеясь, прибавил Шримс, зиая благоволеиие, каким пользуется Кориев у высокопоставлеииого геиерал-адмирала, и ревиуя к иему.— Утвердите всех иазиачеиных им командиров... Пусть оии там все беснуются со своим адмиралом!

И адмирал Шримс залился густым веселым хохотом.

Пробило шесть скляиок.

Адмирал перестал любоваться морем и, иадев фуражку, поднял глаза иа раигоут.

Лейтеиаит Сиежков, следивший за каждым шагом адмирала, тоже возвел очи, чувствуя душевиое беспокойство.

— А я иа вашем месте, Владимир Андреевич, давио бы прибавил парусов, а то срам-с... мешаем «Голубчику» иести брамсели!

— Какие прикажете поставить, ваше превосходительство? — испугаиио спросил вахтеиный лейтеиант.

— Сами разве ие зиаете-с? — виезапио закипая, воскликиул адмирал.— А еще морской офицер! Ставьте лиселя с правой и топселя!..

Сиежков засуетился и закомандовал.

Суетливость его, видимо, раздражала беспокойиого адмирала. Уже заходили скулы и стали подергиваться плечи его превосходительства, ио быстро исполиеиный маиевр постаиовки парусов вернул ему прежиее хорошее расположеиие духа.

Корвет чуть-чуть прибавил ходу, и адмирал с самым приветливым видом сказал, чувствуя потребиость ободрить смущеииого лейтеиаита:

— Вот видите, любезиый друг, мы иа четверть узла и прибавили ходу...

Этот «любезный друг» ие привел, одиако, лейтеиаита Сиежкова в радостиое иастроеиие. И ои, как и другие, очеиь хорошо зиал, что у беспокойиого адмирала вслед за «любезиым другом» мог появиться такой иелюбезиый

окрик, от которого у тетки Авдотьи положительно душа уходила в пятки.

— А что, гардемарины встают?

— Не знаю, ваше превосходительство.

— Да что вы меня титулуете?.. Я сам знаю, что я его превосходительство... Пошлите-ка будить гардемаринов... Нечего им валяться... Такое прекрасное утро, а они спят.

V

Гроза офицеров, беспокойный адмирал особенно школил юнцов гардемаринов, относительно которых был не только требовательным адмиралом, но, так сказать, и гувернером-педагогом, заботившимся не об одной морской выучке, а также о пополнении общего образования, довольно скудно отпущенного морякам морским корпусом.

Нечего и говорить, что шесть гардемаринов и три штурманские кондуктора, бывшие на флагманском корвете, не очень-то были признательны своему надоедливому учителю, и, признаться, надоел он им таки порядочно.

И зато каких только прозвищ они не придумывали адмиралу и каких только стихов не сочиняли про него!

Когда адмирал спустился с мостика и заходил по шканцам, в открытый люк гардемаринской каюты до него доносился веселый говор встающих молодых людей. И вдруг чей-то тенорок запел:

Не пора ль рассказать,
Как пришлося нам ждать
Адмирала.

«Про меня!» — подумал, усмехнувшись, адмирал, поворачиваясь от люка.

Приблизившись снова к люку, он услыхал уже следующий куплет:

Всюду тыкал свой нос,
Задавая «разнос»,
Черт глазастый!

«Ишь... «черт глазастый»! Это непременно Ивков сочинил... Дерзкий мальчишка!» — мысленно говорил адмирал, чувствовавший некоторую слабость к этому «дерзкому мальчишке», которого он уж грозил раз повесить и раз расстрелять.

— Пожалуйте кофе кушать! — доложил, приблизившись, Васька недовольным, обиженным тоном, представляясь, что дуется на барина.

— Хорошо.

В гардемаринской каюте мгновенно наступила тишина. Чья-то голова высунулась в люк и скрылась.

— Пожалуйте, а то кофе остынет. Меня же станете ругать. Опять я останусь виноватым,— говорил Васька.

— Иду, иду... Не ворчи, каналья.

Адмирал отправился в каюту.

В это время на палубе показался гардемарин Ивков.

Адмирал обернулся и, увидав Ивкова, подозвал его.

Тот подошел и приложил руку к козырьку фуражки.

— Доброго утра, Ивков,— проговорил адмирал, подавая гардемарину руку и весело и ласково поглядывая на него...— Вы чай пили?

— Пил, Иван Андреевич.

Адмирал как будто был недоволен, что Ивков пил чай, и сделал гримасу.

— Ну, все равно... Покорнейше прошу ко мне кофе пить... Надеюсь, не откажетесь? — любезно предложил адмирал.

«Черта с два откажешься!» — подумал Ивков, отлично зная, что просьба адмирала была равносильна приказанию.

Бывали примеры! Однажды гардемарин, обиженный на адмирала, который «разнес» его утром, ответил Ваське, явившемуся в тот же день передать адмиральское приглашение к обеду, что он не может быть,— так была история!

Немедленно гардемарина потребовали наверх к адмиралу.

— Почему вы не можете быть, любезный друг? — осведомился адмирал.

Гардемарин не мог придумать удовлетворительного объяснения. Сказаться больным было невозможно — у него был предательски здоровый вид. И он угрюмо молчал.

— Быть может, не расположены? — предложил коварный вопрос адмирал, уже начинавший ерзать плечами.

— Не расположен,— отвечал гардемарин.

Адмирал тотчас же вспыхнул:

— Не расположены-с?! Он не расположен! Да как вы смеете быть не расположены идти обедать к адмиралу, а?.. Вы полагаете, что мне очень приятно видеть такого невежу у себя за столом и я поэтому вас пригласил?.. Скажите по-

жалуйста!.. Я вас зову обедать по службе, и вы ие смеете отказываться! Пояли? К шести часам быть к обеду! — резко оборвал адмирал.

После такого, ие особеино любезного, служебного характера приглашеиня пришлось, разумеется, явиться к обеду, ииаче — того и гляди — беспокойиый адмирал приказал бы снлою привестн смельчака, который вздумал бы упорствовать в отказе.

К тому же адмнрал любил за обедом знакомнться, так сказать, более ннтнмно с подчиненными, любил гостей у себя за столом и был гостеприимимым н радушиым хозяииом, пока ие становился бешеиым адмнралом. Каждый деиь у иего, кроме штабиых — флаг-капитаиа и флагофицера,— да командира, обедали вахтеииый офнцер, вахтенный гардемарии, стоявшие иа вахте с четырех до восьми часов утра, н по очереди старший офицер, штурмаи, механик, артиллерист и доктор.

Недавияя история с Лукьяиовым быстро пронеслась в голове Ивкова.

И ои, поблагодарив за приглашение и мысленио проклнная его, ие особеиио веселый, с понуреииым видом влопавшегося человека, вошел вслед за адмиралом в его приемиую и вместе столовую.

Это была огромиая, роскошиая, полиая света каюта, отделаниая щитами из красиого дерева, с иебольшим балконом за кормой, в раскрытые двери которого, словио в рамке, видиелся океан и голубое высокое иебо. Ковер во всю каюту, диван вокруг стеи, мягкая мебель, качалки, бнблиотечиый шкаф и большой стол посредиие — все это было роскошио н солидио. Двери по бокам велн в кабннет, спалыню, убориую и ваниую этого комфортабельиого адмиральского помещення.

— Эй, Васька! Еще чашку! — крнкнул адмирал, подходя к небольшому столу в глубиие каюты, у диваиа, иакрытому белосиежиой скатертью.— Садитесь, любезиый друг,— обратился ои к Ивкову, опускаясь иа диваи.

На столе аппетитио красовались свежие, только что испечениые вкусиые булки и сухари, тарелочки с ломтиками холодиой ветчииы и языка, сыр, масло и баика с коисервоваииымн слнвкамн.

Васька подал две большне чашки горячего кофе; адмирал сам положил в обе чашки сливок, размешал н, подавая одиу чашку Ивкову, промолвил:

— Кофе Васька хорошо варит...

Ои прииялся за кофе, заедая его бутербродамн. Вид

вкусиых яств соблазнил и гардемариа, хотя ои и пил только что чай.

— Кушайте, кушайте иа здоровье, Ивков... Быть может, вы любите печеиье?.. Эй, Васька! Подай иам печеиья!..

Несколько минут прошло в молчании. Адмирал кончил свою чашку и приказал Ваське подать Ивкову другую.

— Благодарю, Иваи Андреевич, я больше ие хочу.

— Выпейте... Ведь вы у себя такого кофе ие пьете...

— Мы чай пьем.

— То-то и есть. Васька, иалей!

— Я, право, ие хочу более, Иваи Андреевич. Разрешите ие пить! — просил, улыбаясь, Ивков.

— Ну, как хотите. Васька, ие иаливай и убери со стола!

Адмирал вынул портсигар и протянул его Ивкову.

Гардемарии, давио уже пробавлявшийся маиилками и изредка позволявший себе полакомиться папиросками, покупая их за басиословио дорогую цену у Васьки (ои запасся табаком и делал хороший гешефт, продавая их офицерам), разумеется, ие отказался и закурил отличную душистую адмиральскую папироску, с иаслаждеиием затягиваясь. Закурил и адмирал.

Попыхивая дымком, ои уставил иа Ивкова свои кроткие, слегка задумчивые теперь глаза и мягко и ласково проговорил:

— Смотрю я иа вас, Ивков, и вспомииаю свою молодость, вспомииаю вашего батюшку и вашего покойиого брата. Ои ведь мой лучший друг был... с корпуса дружили... Прекрасиый морской офицер был ваш брат... Его и Владимир Алексеевич Корнилов цеиил, а Владимир Алексеевич ие ошибался иикогда. И батюшка ваш в свое время славился как лихой адмирал. Крутеиек только был. Мы, тогда мичмаиа, боялись его, как огия.

В иебольших, бойких и живых карих глазах Ивкова блесиула улыбка.

«И ты тоже бешеиый. И тебя, брат, боятся!» — подумал ои.

— А вас, Петя, я вот каким малеиьким зиал! — прибавил иежиым тоиом беспокойиый адмирал, хорошо зиавший всю семью Ивкова.

Это фамильяриое «Петя» и этот ласковый, интимиый тои, по-видимому, были ие особеиио приятны гардемарину, и ои ие только ие был этим тронут, ио счел долгом приИять иеобыкиовеиио серьезный и строгий вид: «Не размазывай, дескать!»

Совсем еще юный, почитывавший умные книжки и исповедовавший самые крайние мнения, он мечтал по возвращении в Россию «наплевать» на службу и «служить» народу — как, он и сам хорошенько не знал. Нечего и говорить, что он старался держать себя подальше от адмирала и его любезностей и часто в кают-компании и в кругу товарищей гардемаринов зло подсмеивался над адмиралом, отлично подмечая недостатки, слабости и смешные его стороны, и еще более над теми «трусами» и «льстецами», которые выслушивают его дерзости и лебезят пред ним, и изливал немало гражданских чувств и остроумия в своих стихотворениях на адмирала. Пользоваться чьей-нибудь протекцией он, конечно, считал унизительным, злился, когда ему говорили, что Корнев его «выведет», и бывал в восторге, когда выводил адмирала из себя до того, что тот грозился его повесить на нока-рее, во что Ивков ни на секунду не верил. Живой и увлекающийся, задорный, нетерпимый и несколько прямолинейный, он настраивал себя враждебно к адмиралу уже по тому одному, что тот был «начальство», да еще «отчаянный деспот», не понимающий, что все люди равны, и отдавшийся весь исключительно морскому делу, тогда как есть дела поважнее.

И Ивков, признавая в адмирале лихого моряка, все-таки относился к нему неодобрительно, слишком юный, чтобы простить ему его недостатки, оценить его достоинства и вообще понять всю эту сложную и оригинальную натуру.

Только впоследствии, когда он побольше повидал людей и когда жизнь его помяла, он многое простил беспокойному адмиралу и понял его.

Адмирал не замечал этой серьезности Ивкова и продолжал:

— И тогда вы были отчаянный мальчишка. Однажды вы со мной проделали злую таки шутку... Помните?

— Не помню, ваше превосходительство.

Ивков нарочно протитуловал.

— А я так хорошо помню... Пришел как-то вечером я к вам... Целый день был на вооружении и устал... Сестра ваша, Любовь Алексеевна, пела... Я слушал и задремал... И вдруг вокруг меня смех... Я проснулся и что же?.. На голове у меня кивер... Это вы тогда надели...

И адмирал рассмеялся.

Помолчав, он неожиданно прибавил:

— А теперь я глазастый черт? А?.. Это ведь вы все стихи пишете про своего адмирала?..

— Я, ваше превосходительство...

— Очень хотел бы прочесть... Давеча я слышал только два куплета... А их, верно, много?

— Много...

— Так принесите... Любопытно, как вы меня браните... Очень любопытно...

— Вам мои стихи не понравятся, ваше превосходительство...

— Это уж мое дело.

— Что ж, я принесу! — задорно отвечал Ивков, словно бы говоря: «Я тебя не боюсь!»

— Ну, а теперь я вас попрошу, любезный друг, перевести несколько страниц лоции Кергалета... Книга у меня в кабинете... возьмите, а то вы все будете вздором заниматься... стихи писать... Да скажите гардемаринам, чтобы все пришли ко мне в десять часов... читать будем!.. И знаете ли что, Ивков?.. Ведь я очень люблю вас и хотел бы из вас бравого моряка сделать, да и всех ваших товарищей люблю, а вы все ничего не понимаете... Думаете: адмирал сумасшедший школит вас так, чтоб допечь?.. Ну, да после поймете, когда умнее станете! — каким-то пророческим тоном проговорил адмирал.

И с этими словами вышел из каюты.

VI

Тотчас же после подъема флага и обычных утренних рапортов о благополучии корвета во всех отношениях господа офицеры, собравшиеся к подъему флага на шканцах, торопливо спустились в кают-компанию, вполне удовлетворенные сегодня внешним видом адмирала. Казалось, он находился в отличном расположении духа — глаза не метали молний, плечи не ерзали, и руки не сжимались в кулаки,— словом, по всем признакам, ничто не предвещало «шторма» и общих «разносов», начинавшихся обыкновенно кратким, далеко не красноречивым, хотя и энергичным по тону предисловием о том, как завещали служить такие доблестные моряки, как Лазарев, Корнилов и Нахимов.

— А вы, господа, как служите-с?

Этот вопрос был, так сказать, штормовым предвестником. Затем начинался самый «шторм», доходивший иногда до степени «урагана», если вспыльчивый гнев адмирала поднимался до высшего предела, когда у Снежкова начинало болеть под ложечкой, а у некоторых дрожали поджилки и замирали сердца.

Не лишено было благоприятиого зиачения и то обстоятельство, что сегодия иа вахте Владимира Андреевича ему нн разу не попало. Недаром же ои был весел после вахты, не нмел чересчур ошалелого вида н ие без некоторой хвастливости рассказывал в кают-компании о любезиости и прнветлнвостн адмирала, хотя подлец Васька и раздражил его, долго ие подавая горячей воды для бритья.

— А я уж, призиаться, было струсил. Думал, выйдет он сердитый н разиесет за что-иибудь вдребезги,— говорил с добродушной откровенностью Сиежков, иамазывая маслом ломоть белого хлеба.

— Нервы у вас, Владимир Андреич, того... слабы, хоть, кажется, бог вас здоровьем не обнделил... Ишь ведь разиесло вас как,— заметил худой н поджарый маленький лейтеиант Николаев.— Кажется, пора бы прнвыкнуть... Шесть месяцев мыкаемся с беспокойным адмиралом.

— То-то нервы, должно быть...

— Я вот привык,— продолжал маленькнй лейтенант с черными усами и бакенбардами,— и отношусь философскн. Пусть себе орет как бешеиый. Поорет н перестанет.

— Это вы правнльно рассуждаете,— вставил пожилой белобрысый доктор, иевозмутнмый флегматик, которого, по-видимому, ннчто инкогда не трогало, ие удивляло и не возмущало.— Из-за чего расстраивать себе нервы н лишать себя хорошего расположення духа?.. Из-за того, что у нас адмирал беспокойный сангвнник?.. Не стоит...

— Вам, батенька, хорошо рассуждать... Вы, как доктор, стоите в стороне... Вам что? Вам только завидовать можио! — ие без досады промолвил Сиежков.— А будь вы в нашей шкуре...

— Остался бы таким же философом, поверьте, господа! — насмешливо бросил с конца стола черноволосый юный мичман Леонтьев, с иервиым лицом, бойкнми глазами н приподнятой верхней губой, что придавало его лицу саркастнческое, слегка надменное выражение.

— Конечно, остался бы! — хладнокровно промолвил доктор.

— И кушали бы адмиральскую ругань? — задорно допрашивал мичман.

— И кушал бы....

— Похвальиая философня... очеиь похвальная... Вообще у иас, господа, слишком много философни терпения н покорности. Вот эта самая философия и плодит таких самодуров, как иаш адмирал.

— Ишь какой вы прыткий петушок! Скоро, батенька, упрыгаетесь! — снисходительно заметил доктор.

Но еще не «упрыгавшийся» мичман не обратил на эти слова ни малейшего внимания и, закипая, по обыкновению, необыкновенно быстро, продолжал:

— Я еще удивляюсь нашему башибузуку. Право, удивляюсь. Он еще мало ругается и мало разносит... Он еще церемонится...

— По-вашему, мало? — простодушно удивился Снежков.

— Разумеется, мало. Будь я на месте адмирала да имей дело с такими философами долготерпения...

— Что ж бы с ними сделали? Любопытно узнать, Сергей Александрыч? — иронически спросил маленький лейтенант.

— Я бы еще не так ругал их... Каждый день унижал бы их человеческое достоинство, третировал бы их, как лакеев... одним словом... был бы вроде Ивана Грозного! — решительно объявил мичман.

— Это с вашим-то радикализмом?

— Именно с моим радикализмом...

— Зачем же такая свирепость, неистовый Сереженька? — спросил недоумевающий его товарищ.

— А затем, чтобы дождаться, когда, наконец, лопнет терпение и пробудится человеческое достоинство у терпеливых философов и мне дадут в морду! — не без пафоса выпалил мичман.

В кают-компании раздался смех. Столь решительный образ действий мифического адмирала ради подъема цивических[1] чувств у подчиненных казался чересчур самоотверженным... Ведь выпалит всегда что-нибудь невозможное этот Леонтьев!

Старший офицер поторопился выйти из своей каюты. Он увидал по возбужденному лицу юного мичмана, что речи его могут принять еще более острый характер, и поспешил дать им другое направление.

А Владимир Андреевич, взглянув на открытый люк и заметив мелькнувшие ноги адмирала, испуганно шепнул, присаживаясь к Леонтьеву:

— Адмирал наверху, а люк-то открыт... Он, не дай бог, слышал, как вы проповедовали... Эх, Сергей Александрыч, не петушитесь вы лучше!

— И пусть слышит! — нарочно громко отвечал Ле-

[1] гражданских (от *лат.* civilis).

онтьев...— Он слишком умный человек, чтобы не понимать, что мы сами же создаем из него...

— Не пора ли, господа, прекратить этот разговор. Мы, кажется, на военном судне! — внушительно остановил Леонтьева старший офицер — столько же по чувству соблюдения дисциплины, сколько и из желания оберечь молодого мичмана, к которому он чувствовал некоторую слабость, несмотря на его подчас резкие выходки и горячую пропаганду идей, не совсем согласных с морским уставом и строгой морской дисциплиной.

В нем, в этом горяченьком юнце, вступавшем в жизнь с самыми светлыми надеждами вскормленника шестидесятых годов и полном негодования ко всему, что казалось ему не соответствующим его идеалам, Михаил Петрович словно видел отражение самого себя в пору ранней молодости, когда и он, несмотря на суровое время начала пятидесятых годов, волновался, увлекался, негодовал и интересовался не одною службой, как теперь.

Наступило неловкое молчание. Необыкновенно тактичный и любимый офицерами старший офицер очень редко обрывал так резко, как сегодня.

Леонтьев тотчас же смолк, сохраняя, однако, на лице вызывающий вид, точно он в самом деле был тираном адмиралом...

А Снежков не ошибся.

До ушей адмирала действительно донеслась негодующая тирада мичмана, оракула молодых товарищей и гардемаринов.

VII

Юные гардемарины, считавшие себя обиженными судьбою за то, что плавают на флагманском корвете, всегда на глазах у адмирала, были несколько удручены вследствие переданного им Ивковым приказания адмирала собраться у него в каюте к десяти часам.

Нечего сказать, приятно!

Опять этот «Ванька-антихрист» (и такой кличкой окрестило адмирала гардемаринское остроумие!) станет донимать чтением. Заставит слушать какую-нибудь историческую книгу (чаще всего Шлоссера), или биографию Нельсона и описание его сражений, или журнальную статью «Современника» или «Русского слова», почему-либо ему понравившуюся, и начнет после беседовать о прочитанном и экзаменовать, точно школьников, черт его побери!

А то вдруг примется декламировать Пушкина, Лермонтова или Кольцова. Слушай его и не смей засмеяться, когда он войдет в азарт и гаркнет: «Раззудись плечо, размахнись рука!» — и взмахнет своей широкой мясистой рукой с короткими пальцами.

А главное — нельзя было предвидеть, чем окончатся эти чтения. Случалось, что после самых, по-видимому, мирных занятий литературой адмирал внезапно переходил «на военное положение», разносил и посылал на салинг.

Одна только хорошая сторона была, по мнению господ гардемаринов и кондукторов, в этих чтениях и собеседованиях. «Глазастый дьявол», при всех своих допеканиях гардемаринов, не был «копчинкой»[1]. Если чтения бывали по вечерам, то к чаю подавалось в обильном количестве английское печенье и разные вкусные булочки, поедаемые молодыми людьми с такой стремительностью, что Васька, адмиральский лакей, с неудовольствием исполнял приказание адмирала «подать еще». Но не столь приятны были эти угощения, как большая коробка папирос, которая ставилась на столе и во время вечерних и во время утренних чтений. Кури на даровщинку, да еще отличные русские папиросы и сколько хочешь.

Разумеется, гардемарины, давно пробавлявшиеся манилками, широко пользовались правом насладиться душистым табачком (у «глазастого» его много!) и курили не переставая, папироску за папироской, словно намереваясь накуриться на целые сутки по крайней мере. После каждого чтения в большой коробке оставался лишь десяток-другой папирос, так называемых «стыдливых», что приводило Ваську в несравненно большее озлобление, чем уничтожение печений. Он считал себя, и не без некоторого основания, положительно ограбленным гардемаринами, так как они лишали его возможности красть адмиральский табак в неограниченном количестве и вести торговлю папиросами, продавая их по баснословно высокой цене, в более широких размерах. И Васька не раз докладывал адмиралу, что не хватит запаса табаку, ежели адмирал будет угощать ими целую ораву гардемаринов, но каждый раз адмирал посылал Ваську к черту и говорил, что запас так велик, что должен хватить.

— А ежели не хватит, значит, ты крадешь, каналья! — прибавлял адмирал.

— Очень мне нужен ваш табак,— отвечал обыкновен-

[1] «Копчинка» на языке кадетов значит «скупой». *(Примеч. автора.)*

но Васька, делая обиженную физиономию...— Я и сам имею запас, слава богу... Мне вашего не надо.

— То-то, оставь только меня без папирос! — значительно произносил адмирал.

Пока в гардемаринской небольшой каюте, в которой помещалось девять человек, шли толки о том, каким чтением доймет сегодня адмирал и не огорошит ли он приказанием перевести какую-нибудь английскую статейку,— гардемарин Ивков перебирал плоды своей музы, воспевавшей адмирала, и, выбрав из многочисленных стихотворений два более или менее цензурных, решил, согласно обещанию, показать их сегодня адмиралу. «Пусть не думает, что я испугался. Пусть прочтет».

Адмирал не уходил в каюту, а разгуливал себе по правой (почетной) стороне шканец, к крайнему неудовольствию рыжего мичмана Щеглова, вступившего на вахту с восьми часов,— того самого коварного мичмана, который до последнего времени был чичероне и переводчиком у Владимира Андреевича Снежкова и поступил так бессовестно после обеда с англичанкой, потерпевшей кораблекрушение.

Тут же на мостике стоял и командир «Резвого», капитан второго ранга Николай Афанасьевич Вершинин, представительный и высокий брюнет лет сорока, с красивым и румяным, добродушным и несколько истасканным лицом, посматривая на адмирала с тою скрытой неприязнью, какую почти всегда питают командиры судов к флагманам, сидящим у них на судах. А этот флагман был еще такой беспокойный!

Выждав несколько минут в ожидании, не будет ли на нынешний день каких-нибудь особенных приказаний, Николай Афанасьевич, наконец, спустился вниз, к себе в каюту, и, приказав своему вестовому подавать чай, опустился на диван с видом человека, не особенно довольного своей судьбой, и разлегся в ленивой позе.

Это был хороший моряк, знающий свое дело, смелый и находчивый в критические минуты, но ленивый, беспечный и «слабый» капитан, не пользовавшийся большим авторитетом у матросов и офицеров и несколько распустивший последних. Он не заботился о корвете, предоставив все бремя работ старшему офицеру, и командовал судном что называется спустя рукава. Наверху он показывался редко и бóльшую часть времени лежал у себя на диване с книгой в руках, и только когда в море свежело и начинался шторм, Вершинин сбрасывал свою лень и по целым часам выстаивал на мостике, спокойный, зоркий и

вннмательный. Проходила опасность, н он снова скрывался к себе в каюту илн заходил в кают-компанню поболтать с офнцерами. Большой жуир, он очень любил долгие стоянкн в портах, особенно в такнх, где можно было найтн много развлеченнй н — главное — хорошенькнх женщин,— н в такнх портах все время проводил на берегу, почти не заглядывая на корвет, зная, что там неотлучно находится старшнй офнцер Мнханл Петровнч. На берегу Вершнннн кутил, н об его грандиозных кутежах н похожденнях ходили целые легенды, не всегда соответствовавшне достоннству командира русского военного судна. Зато целый цветннк хорошенькнх женщнн разных нацнональностей оплакнвал отъезд такого веселого н щедрого русского капнтана н в Шербурге, н в Лнсабоне, н в Рно-Жанейро, н в Каптауне, н в Батавнн, н в Сингапуре, н в Гонконге. Довольны былн заходамн в порты н долгимн стоянкамн, конечно, н офнцеры, а высшее морское начальство удовлетворялось рапортамн Вершнннна, объяснявшего свон заходы н долгие стоянкн то безотложностью почннок, то необходнмостью дать «освежнться», как выражаются морякн, команде после бурного перехода. И потому в рапортах Вершнннна переходы всегда сопровождались штормамн.

Веселый, мягкнй н добродушный снбарнт, Вершннин не был особенно разборчнв в средствах для удовлетворення потребностей своей широкой барской натуры, н так как жалованья ему не хватало, то он с легкомыслнем слабого, неустойчнвого человека подпнсывал сомннтельные счета поставщнков н не брезговал разными «экономиямн».

Нечего н говорнть, что с прнбытием адмнрала, да еще такого беспокойного, как Корнев, окончнлнсь «веселые днн Аранхуэца». Прнходилось Николаю Афанасьевнчу подтянуться, держать ухо востро н не смотреть на каждый порт, как на Капую. Прнходилось более заниматься службой, быть деятельным капнтаном н выслушнвать адмиральскне выговоры.

И адмнрал н капнтан, как две совершенно разные натуры, далеко не снмпатизнровалн друг другу... Только общая нм обонм «морская жилка» несколько прнмиряла нх. Тем не менее адмирал не раз уже подумывал, как бы под благовндным предлогом «сплавнть» Вершннина, а Николай Афанасьевнч, в свою очередь, нередко мечтал о той счастлнвой мннуте, когда беспокойный адмирал пересядет на одно нз других судов эскадры н хоть на некоторое время даст вздохнуть.

VIII

Не прошло и четверти часа, как капитан благодушествовал за чаем, закусывая бутербродами с тонкими ломтиками ветчины, как в капитанскую каюту влетел вахтенный унтер-офицер и доложил:

— Вашескобродие! Адмирал приказали в дрейфу ложиться!

«И чаю не даст напиться как следует! И с чего это ему вздумалось вдруг ложиться в дрейф?» — недоумевал Вершинин и, недовольный, что его оторвали от чая, торопливо вышел наверх, застегивая на ходу нижние пуговицы белоснежного жилета, и поднялся на мостик.

— Зачем это в дрейф? — тихо спросил он мичмана Щеглова.

— Не знаю, Николай Афанасьич.

На крюйс-брам-стеньге уже развевались позывные «Голубчика», и вслед за тем взвились свернутые маленькие комочки и, поднятые до верха мачты ловким движением руки сигнальщика, развернулись пестрыми флагами, обозначавшими сигнал: «лечь в дрейф».

В ту же секунду вахтенный мичман крикнул: «Свистать всех наверх!» Через минуту вся команда была наверху, и старший офицер взбегал на мостик.

И как только сигнал был спущен, на корвете и на клипере одновременно началось исполнение маневра: убраны лишние паруса, фор-марселя поставлены против ветра, а грот-марселя по ветру, и минут через восемь оба судна остановились, почти неподвижные, покачиваясь на океанской зыби, в недалеком расстоянии друг от друга.

Адмирал стоял на полуюте, посматривая в бинокль на «Голубчик». Невдалеке от адмирала находился флаг-капитан Аркадий Дмитриевич, как всегда — чистенький, прилизанный и прифранченный, в своей адъютантской форме, но душившийся после Сан-Франциско уже не опопонаксом, а пачули, которые пока не вызывали еще неудовольствия адмирала. У мачты, около сигнальных книг, разложенных на люке, и вблизи двух сигнальщиков, бывших у сигнальных флагов, стоял, не спуская быстрых бегающих глаз с адмирала, его флаг-офицер, мичман Вербицкий, шустрый и бойкий молодой человек, отлично приспособившийся к характеру беспокойного адмирала и всегда горевший, казалось, необыкновенным усердием. Его неглупое, озабоченное и серьезное в эту минуту лицо замерло в том служебно-восторженном выражении, которое

словно бы говорило, что флаг-офицер готов распластаться ради службы и своего адмирала.

И адмирал благоволил к Вербицкому,— что не мешало, конечно, разносить своего флаг-офицера чаще, чем кого-нибудь другого, благо он был всегда под рукой,— относился к нему с чисто отеческой нежностью и не предвидел, конечно, какой черной неблагодарностью отплатит ему этот шустрый молодой человек впоследствии.

— Аркадий Дмитрич! Прикажите поднять сигнал, что мичман Петров с «Голубчика» переводится на «Резвый».

— Где, ваше превосходительство, состоится перевод — в Нагасаки?

— Кто вам сказал, что в Нагасаки? — резко крикнул адмирал, раздраженный этим, по его мнению, дурацким вопросом, и уставил на «придворного суслика» свои круглые глаза, выражение которых, казалось, говорило: «И какой же ты, братец, дурак!»

— Я полагал, ваше превосходительство...

— А вы не полагайте-с!.. Перевод состоится здесь же, сейчас... Пусть Петров переберется через полчаса...

— Слушаю, ваше превосходительство,— отвечал флаг-капитан, изумленный этим неслыханным переводом с одного судна на другое среди океана.

«Положительно сумасшедший!» — решил «придворный суслик» и медленно, слегка изгибаясь туловищем, направился к флаг-офицеру передавать адмиральское приказание.

Эта тихая походка, совсем непохожая на ту, быструю и торопливую, почти бегом, какой обыкновенно ходят моряки, исполняя служебные поручения, мгновенно озлила беспокойного адмирала и, так сказать, переполнила чашу его нерасположения к флаг-капитану. Вся его вылощенная, прилизанная худощавая фигура показалась ему донельзя оскорбляющей его морской глаз и понятие о бравом моряке.

— Этакая...

Он, однако, благоразумно воздержался от произнесения весьма нелестного эпитета женского рода и крикнул, точно ужаленный:

— Аркадий Дмитрич! На военных судах не ползут, как черепахи-с, а бегают-с!..

Флаг-капитан рванулся, точно лошадь, получившая шенкеля.

Распоряжение адмирала удивило и капитана и всех офицеров, не плававших раньше с ним.

И Николай Афанасьевич, оторванный от чая и бутербродов, сердито недоумевал: к чему это на «Резвый» назначают еще офицера, когда нх н так довольно.

Старшнй офицер скоро разрешнл его недоумение.

— От нас кого-ннбудь переведут... Он, верно, не решил еще — кого... Смотрите — думает! — проговорнл Мнханл Петровнч, оглядываясь на адмирала.

Действительно, адмирал ходнл по юту в каком-то раздумье.

Наконец, видимо решившн вопрос, он подозвал капнтана н сказал:

— Лейтенант Николаев переводится на «Голубчик»... Потруднтесь прнказать ему через полчаса собрать все свон вещи и быть готовым уехать на баркасе, который придет с «Голубчика».

— Есть! — отвечал капитан.

— Да пока мы лежим в дрейфе, пусть команда выкупается в океане! — прибавил адмирал.— Вербнцкнй! Сделайте сигнал: команде «Голубчика» купаться!

Когда маленький лейтенант с черными усамн узнал о своем переводе, он, несмотря на всю свою фнлософию н уверения, что прнвык к адмиральскнм разносам, был весьма непрнятно изумлен н мысленно изругал адмирала, совсем не сообразуясь с правилами морской дисциплины.

Еще бы! Вместо приятной надежды на Сидней н Мельбурн со всемн нх удовольствнямн — нди в Новую Каледонию... Ах, глазастый черт! А главное, ведь он второй год плавает на «Резвом». Привык и к доброму графу Монте-Крнсто, как называли на «Резвом» подчас капитана Николая Афанасьевича, н к славному старшему офицеру, и к сослуживцам, и к каюте, и к Ворсуньке, своему вестовому... И вдруг... Но сердись не серднсь, а надо поскорей собнраться.

И моряк, которого судьба была так круто нзменена беспокойным адмиралом, побежал вниз, в свою каюту, в которой обжнлся н где все было так удобно прнлажено и убрано, н стал с помощью своего вестового Ворсунькн укладываться с тою быстротой и стремительностью, с какими собирают свон пожитки люди, застигнутые пожаром. Сапоги летелн к японской вазе, мундир — к сапожным щеткам, и многочисленные фотографнн хорошенькой пухлой блондинки (не то невесты, не то кузнны — это был секрет лейтенанта) — к грязному белью... Разбирать было нечего. Поневоле прнходнлось профаннровать святые чувства («простн, Нюточка!»)... Всего полчаса времени («ах,

проклятый брызгас!»). Надо еще покончить кое-какие делишки: получить у ревизора жалованье за месяц и остаток порциоиных, отдать старшему артиллеристу сорок долларов долгу и получить — хотя и сомиительио, что сейчас получишь,— десять долларов с одиого гардемариииа... Надо, иакоиец, проститься с товарищами.

— Вали, вали, Ворсуиька!..

— Боязиая штучка, ваше благородие,— говорил вестовой, ие зиая, куда деть изящный веер из перьев, которым Нюточке предстояло обмахиваться в кроиштадтском собрании.

— Заверии в бумагу или... куда, в самом деле, положить?.. Клади в треуголку...

— Как бы ие повредить штучку... Штучка иежиая, ваше благородие.

— Так заверни, Ворсуиька, в одеяло... Жаль мие, брат, что я с тобой расстаюсь...

— И мие жалко, ваше благородие... Славу богу, жили с вами хорошо. Обиды от вас ие видал...

— И ты мие служил хорошо... Вот возьми себе этот пиджак... и сапоги старые бери... Ах Ванька-аитихрист! Ах чертова перечиица!

— Премиого благодарны, ваше благородие! — проговорил вестовой и подумал: «Ишь как он отчесывает адмирала!»

— Счастливец вы, Василий Васильевич,— проговорил Сиежков, остаиавливаясь у порога каюты.

— Покорио благодарю, хорошо счастье! Вы вот все пойдете в Австралию, а я...

— Так зато, подумайте: ведь ие будете адмирала видеть... За одио это я охотио пожертвую всякими Австралиями... Ей-богу...

— Вам иадо, Владимир Андреич, от иервов лечиться...

— Вам вот смешио... Уж я бром прииимаю, а как ои заорет...

— Febris gastrica?

— То-то и есть... Я бы с восторгом с вами «перепустился»[1].

— Суиьтесь-ка к адмиралу... Попросите его...

— Разве это возможио! — вздохиул Сиежков.

— То-то иевозможио... И кто решится ему об этом сказать... Наш Моите-Кристо у иего ие в фаворе... Что, Ворсуиька, готово?..

---

[1] переменился. *(Примеч. автора.)*

— Сию минуту, ваше благородие...

— Ну, простимся, Владимир Андреич... Жаль мне расставаться с нашей кают-компанией.

Оба лейтенаита обнялись н трнжды поцеловалнсь. Переведенный лейтеиант побежал проститься с остальиыми.

Пока шли сборы, команда купалась.

В море был опущен большой парус, укрепленный к борту веревками со всех четырех углов паруса. В этом громадиом мешке шумно н весело плескались голые мускулистые тела с побуревшими от загара лицами, шеями и руками. Выплывать из-за этого мешка было строго воспрещено, чтоб не попасть в чудовищную глотку акулы.

Матросы были очень довольны этим нечаянным купаньем. Куда оио лучше н приятиее, чем эти ежедиевные облнвания нз брандспойта. И среди скученных тел шли веселые шуткн, раздавался смех... Все только находили, что очень тепла вода и иет от иее озиоба, как в русских реках и озерах. Кто-то сообщил, что купаться выдумал адмирал, и его за это хвалилн. Нечего говорить, заботлив он о матросе. Господ донимает, муштру нм задает, а матроса жалеет. И прост,— вндио, что ие брезгует простым человеком...

— Выходн, ребята! Шабаш купаться! — прокричал боцман, получнв приказанне с вахты.

И матросы один за другим подиимались по выкннутому трапу н, ступив иа палубу, словно уткн, отряхивались от воды и бежали на бак одеваться.

Адмнрал уж иачииал обнаруживать нетерпение: ои то и дело посматрнвал иа часы н взглядывал, ие спускают лн на клипере баркаса. Ужасно копаются... Долго ли мичману собраться?.. Не для того ли ои и сделал это перемещеиие офицеров, чтобы прнучить господ офнцеров быть всегда готовыми?.. Мало ли какие случайности бывают в море, особеио в военное время... Пусть привыкают... Пусть зиают, что и океан ие может служить препятствнем...

— Мнханл Петрович! — обратился он, переходя с полуюта на мостик, к старшему офицеру.

— Что прикажете, Иван Андренч?

— Нынче у мичмаиов целые сундуки вещей, что ли? Отчего Петров ие едет, а... как вы думаете?

— Еще не прошло получаса, Иваи Андреич.

— Когда главиокомандующий прнказал мне в Крымскую войну ехать иа Дуиай, я через двадцать минут уже

сидел в телеге, а вы мне: полчаса... Мичману перебраться с судна на судно и... полчаса?..

— Да вы сами назначили этот срок, ваше превосходительство!

— Ну, назначил, а он, как бравый офицер... Ну если бы во время сражения... понимаете... тоже полчаса?..

Адмирал не отличался особенным красноречием, и речи его не всегда бывали связны... Вдобавок, во время возбуждения он слегка заикался...

— Во время сражения не надо брать с собой багажа, Иван Андреич...

— Какой у мичмана багаж... Вы, Михаил Петрович, вздор говорите-с...

И адмирал круто повернулся от старшего офицера, к которому очень благоволил, как к отличному моряку...

Уж он в нетерпении стал хрустеть пальцами, сжимая обе руки, как от борта «Голубчика» отвалил баркас и под парусами, то скрываясь в большой океанской волне, то вскакивая на нее, несся к корвету.

Лицо адмирала прояснилось. Баркас шел лихо, и паруса стояли отлично.

«И из-за чего это он каждый день кипятится? Из-за чего никому не дает покоя? — размышлял Николай Афанасьевич, принужденный оставаться наверху, вместо того чтобы кейфовать внизу.— Кажется, и карьера блестящая — человек на виду, всего достиг, чего только можно в его годы, командуй спокойно эскадрой, а то нет... всюду сует свой нос, неизвестно для чего переводит в океане офицеров, ссорится с высшим начальством, допекает гардемаринов... Чего ему неймется!»

Так размышлял сибарит Николай Афанасьевич и нетерпеливо ждал: скоро ли окончится вся эта суматоха и он напьется чаю, как следует порядочному человеку.

Баркас пристал к борту, и мичман Петров далеко не с радостной физиономией представился капитану.

— Очень рад служить вместе! — приветливо и добродушно промолвил капитан.

— А вы, господин Петров, отлично шли на баркасе... Здравствуйте...— Адмирал протянул руку.— Только зачем вы так долго собирались?.. Не хотели, что ли, на «Резвый»? — пошутил адмирал.

«Очень даже не хотел!» — говорило кислое лицо мичмана.

— Я, ваше превосходительство, кажется, скоро собрался...

— А мне кажется, что долго-с,— резко проговорил адмирал.

Мичман смутился.

— Надеюсь, вы будете так же хорошо служить на «Резвом», как на «Голубчике»... Мне вас хорошо аттестовал ваш командир... Будем, значит, приятелями! — поспешил подбодрить смутившегося мичмана адмирал, только что его оборвавший...— Можете идти.

Когда маленький лейтенант явился откланяться адмиралу, он сказал:

— Прошу не думать, что я перевожу вас по каким-нибудь причинам. Никаких. Считаю вас хорошим офицером... Вам будет небесполезно поплавать на таком образцовом военном судне, как «Голубчик»... С богом, Василий Васильич...

И адмирал крепко пожал его руку.

Через четверть часа оба судна снялись с дрейфа и, поставив все паруса, снова понеслись по десяти узлов в час.

Подвахтенным просвистали вниз, и капитан, наконец, спустился к себе в каюту и мог основательно заняться чаем.

Ушел к себе и адмирал и через час послал Ваську пригласить к себе господ гардемаринов и кондукторов.

Увы, не «промело»!

Они думали, что «прометет», что адмирал после сегодняшнего «дрейфа с сюрпризами» забудет о своем приглашении-приказе (случалось, он забывал, и они, конечно, еще более забывали), и, следовательно, злосчастным гардемаринам можно избавиться от собеседования, а тут этот Васька со своей нахальной мордой и с красной жокейской фуражкой в руках... Улыбается, подлец, и с наглой развязностью, фамильярным тоном говорит:

— Не угодно ли, господа, пожаловать к адмиралу. Слезно просит-с. Ждет не дождется!

Надо идти.

Припомнили, кому быть сегодня «жертвами», то есть сидеть по бокам адмирала («жертвами» бывали все по очереди) и чаще других подвергаться экзамену, решили не давать пощады адмиральским папиросам и, приведя свои костюмы и прически в более или менее приличный вид, двинулись из каюты.

Сбитой кучкой, не особенно торопясь, прошли они шканцы, имея «жертв» в авангарде, и за минуту еще жизнерадостные и веселые лица молодых людей имели теперь

несколько удрученный вид школьников, шествующих к грозному учителю.

Только лицо Ивкова дышало отважно-решительным выражением, и он ощупывал в боковом кармане своего люстринового сюртука несколько листиков с обличительными стихотворениями и почему-то воображал себя то в роли маркиза Позы перед Филиппом, то в положении посла князя Курбского перед Иваном Грозным...

IX

— Очень рад вас видеть... эээ... очень рад. Прошу садиться, господа! — говорил, по обыкновению слегка растягивая, словно приискивая слова, приветливым тоном адмирал, когда несколько молодых людей, в возрасте от шестнадцати до двадцати лет, вошли гурьбой в адмиральскую каюту.

Судя по неестественно серьезным и несколько напряженным выражениям почти всех этих юных, свежих, жизнерадостных загорелых лиц, безбородых и безусых или с едва пробивающимися бородками и усиками, гости, с своей стороны, далеко не испытывали особенной радости видеть любезного хозяина и что-то долго топтались, складывая свои фуражки на бортовой диван, у входа в каюту.

— Да что вы толчетесь там? Садитесь, прошу вас! — крикнул адмирал с нетерпеливой ноткой в голосе.

Молодые люди не заставили, конечно, более повторять приглашения, они бросились со всех ног, словно испуганный косячок жеребят, и торопливо уселись вокруг круглого стола, на котором лежало несколько книг и журналов и стояла привлекательная большая коробка зеленого цвета с папиросами. Очередные «жертвы» заняли места по обе стороны адмирала.

Воцарилась мертвая тишина.

Адмирал обводил ласковым взглядом своих «молодых друзей» и, казалось, несколько недоумевал: отчего они не чувствуют себя так же хорошо и приятно, как чувствовал он себя сам в это прелестное утро. И это ему не нравилось.

Действительно, все эти юнцы, обыкновенно веселые и шумливые, какими только могут быть молодые люди на заре жизни, полные надежд,— теперь сидели притихшие,

с самым смиренным видом, напоминая собой шустрых и проказливых мышей, внезапно очутившихся перед страшным котом.

Положим, он добродушно и, по-видимому, без всякого злого умысла глядит своими большими, блестящими черными глазами, но все-таки... кто его знает?..

Только Ивков, в качестве всеми признанного либерала, да его большой приятель, добродушнейший и милейший штурманский кондуктор Подоконников, который, проглотив с восторгом в Сан-Франциско «Отцов и детей», отчаянно корчил Базарова, стал признавать одни естественные науки и, внезапно приняв решение поступить после плаванья в медико-хирургическую академию, надоедал доктору просьбами прочесть ему несколько лекций по физиологии и анатомии, которые тот, разумеется, основательно позабыл,— только оба эти молодые люди старались принять самый непринужденный и независимый вид (дескать, мы не очень-то боимся глазастого черта) и по временам бросали на своих менее мужественно настроенных товарищей сдержанно-иронические взгляды, которые, казалось, говорили:

— Чего вы трусите? Совсем это недостойно свободных граждан!

«Презренные рабы жестокого тирана!» — мысленно вдруг проговорил Ивков, находившийся, очевидно, в несколько приподнятом настроении человека, собирающегося читать плоды своей гражданской музы самому обличаемому адмиралу и готового, если придется, пострадать за свой «суровый и свободный стих».

Эта эффектная фраза, внезапно пришедшая Ивкову в голову под влиянием недавно прочитанных стихов Виктора Гюго, хоть и кольнула его художественное чутье своею фальшью — особенно в виду коробки с папиросами на столе гостеприимного «жестокого тирана», которого — невольно припомнил Ивков — к тому же и матросы любили,— тем не менее соблазнила семнадцатилетнего поэта, как пикантное начало нового цивического произведения.

И, увлеченный им, он уже мысленно слагал следующие строки, не лишенные, по его не совсем скромному мнению, некоторой значительности:

Презренные рабы жестокого тирана,
О заячьи сердца, лишь знающие страх,
Очнитесь поскорей и жалкого титана,
Как древле Перуна, повергните во прах.

Создавая эти строки, Ивков в поэтическом экстазе, по обыкновению, морщил лоб и, сам того не замечая, строил необыкновенные гримасы, свидетельствовавшие о некоторой мучительности поэтических родов.

И «жестокий тиран», заметивший страдания Ивкова, участливо и необыкновенно ласково спросил:

— Что с вами, Ивков?.. Вы нездоровы?.. У вас такой вид, будто желудок не в порядке, а?.. Идите скорей к доктору...

Все поэтическое настроение сразу пропало у Ивкова, и он ответил, стараясь скрыть свое стыдливое чувство обиженного поэта под сдержанной сухостью тона:

— Я совершенно здоров, ваше превосходительство.

И уж более не продолжал слагать стихов в присутствии адмирала.

А Подоконников, в своем неудержимом стремлении походить на Базарова во что бы то ни стало и не признавать ничего, кроме естественных наук, пошел еще далее, и не в области мысли, а в сфере действий. Находя, что сидеть, как все сидят, не вполне прилично Базарову, он слишком откинулся назад на стуле и чересчур высоко закинул ногу на ногу, приняв не совсем естественную и вовсе неудобную, но зато демонстративную позу человека, окончательно решившего, что после него будет расти лопух, а потому теперь ему на все «наплевать», и был очень доволен, что нисколько не стесняется и в присутствии адмирала походить на Базарова.

Но — увы! — внутреннее торжество юного Базарова длилось всего несколько мгновений, так что никто из товарищей не успел заметить и ахнуть от такого бесстрашия Подоконникова.

Случайный взгляд адмирала, скользнувший по фигуре молодого человека не без некоторого соболезнования к стесненности его положения, смутил робкую душу юного штурмана, заставив немедленно опустить «задраинную» ногу, принять более удобную позу и в то же время покраснеть до самых корней своих рыжих волос от смущения и досады за свой страх перед этим «отсталым отцом» и за свое, как он думал, «позорное малодушие».

О, какой он трус, и как ему далеко еще до Базарова! Необходимо изучить естественные науки! И какой, однако, свинья этот доктор Арсений Иванович! Он, видимо, не хочет познакомить его ни с физиологией, ни с анатомией, ссылаясь на занятия, а между тем решительно ничего не делает по целым дням и только

играет в шахматы или рассказывает глупейшие анекдоты.

— Что же вы не курите, господа? Курите, пожалуйста... Папиросы к вашим услугам,— с обычным своим радушием предлагал хозяин.

И с этими словами он взял коробку, чтобы любезно передать ее гостям, как вдруг потряс ею в руке, заглянул внутрь и гневно крикнул:

— Васька!

Окрик этот был так металличен и пронзителен и так напоминал адмирала наверху, во время разносов, что все невольно вздрогнули. У «жертв» от этого крика чуть не лопнули барабанные перепонки, как они утверждали впоследствии.

— Васька! Скотина!

Через секунду-другую влетел Васька, и теперь уже не в ситцевой рубахе и не в туфлях на босые ноги, а в обычном своем щегольском виде адмиральского камердинера, который он принимал после подъема флага, долго и тщательно занимаясь своим туалетом и поражая своим франтовством писарей и вестовых.

Он был в черном люстриновом сюртуке, перешитом из адмиральского, в белой манишке с высокими воротничками, в голубом галстуке, в котором блестела аметистовая булавка в виде сердечка, при часах с толстой серебряной цепочкой, украшенной несколькими брелоками, и в скрипучих ботинках. Его кудластые, с пробором посредине волосы лоснились и пахли от обильно положенной помады.

Он благоразумно остановился в нескольких шагах от адмирала, на случай неожиданной вспышки, и недвижно замер, подавшись вперед корпусом и не без лакейской грации изогнув несколько руки с красивыми пальцами, видневшимися из-под широких манжет с блестящими запонками. В его плутовском лице с ярко-румяными щеками и с сверкавшими из-за полуоткрытых толстых губ зубами и в его наглых и лукавых глазах стояло притворное выражение преувеличенного испуга и недоумения.

— Это что? — спросил адмирал, взглядывая на Ваську и потрясая коробкой.

— Папиросы-с! — умышленно наивным тоном отвечал Васька, делая глупую физиономию.

— Болван! Смотри! — проговорил адмирал и швырнул на пол коробку, из которой посыпался десяток папирос.

— Виноват, недосмотрел.

— А ты досматривай, если я приказываю... Подай сейчас полную коробку!

— Есть!

И когда Васька исчез, адмирал, уже снова повеселевший, усмехнулся и, обращаясь к своим гостям, проговорил:

— Экая каналья! Хотел оставить вас без папирос сегодня!.. Да вы постойте, Подоконников, не закуривайте... Васька сию минуту принесет...

— Я, ваше превосходительство, закурю сигару, если позволите,— заметил молодой человек, решивший, что он, как и Базаров, должен курить только сигары.

— И охота вам курить такую дрянь, как ваши чирутки, когда вам предлагают хорошие папиросы...

— Я вообще предпочитаю сигары, ваше превосходительство! — храбро настаивал Подоконников.

— Предпочитаете? А когда это вы, любезный друг, успели научиться предпочитать сигары? Я так по выходе из корпуса, когда был таким же молодым, как вы, ничего не умел предпочитать... Случалось, бывало, мичманом сидеть на экваторе,— и махорку курил... А уж вы сигары предпочитаете? Эй, Васька! Подай сюда ящик с сигарами... У меня по крайней мере хорошие сигары... Впрочем, ведь вы все равно не знаете в них никакого толка... Право, курите лучше папиросы... Советую вам, Подоконников...

Адмирал так настойчиво советовал, что сконфуженный молодой человек поспешил закурить папиросу, чем, видимо, удовлетворил адмирала, имевшего слабость почти требовать, чтобы все разделяли его вкусы.

Закурили почти все гости, наслаждаясь затяжками.

— А ведь не правда ли, любезный друг, что папиросы лучше всяких сигар? — снова обратился он к юному штурману, уже было обрадовавшемуся, что перестал быть предметом адмиральского внимания...

— По-моему, ваше превосходительство, и сигары...

— Да какого черта вы понимаете в сигарах, Подоконников! — перебил, раздражаясь, адмирал, несколько сбитый с толку таким совершенно непонятным пристрастием этого юнца к сигарам.— «Сигары, сигары»! Надо, любезный друг, знать вещи, о которых говоришь... Вот послужите, поплаваете, выучитесь курить хорошие сигары, тогда и говорите. А то курит мерзость и предпочитает сигары... Скажите пожалуйста!.. Так о чем мы последний раз читали, господа? — круто переменил разговор адмирал и взял со стола том «Истории XVIII столетия» Шлоссера.

— О Франции... Когда Наполеон был консулом, ваше

превосходительство! — произнесла одна из «жертв» низким басом.

К благополучию этого неказистого, приземистого молодого человека, «дяди Черномора», как звали его за маленький рост, с сонным взглядом и малообещающим выражением широкого и лобастого лица, который не очень-то легко воспринимал науки и хлопал на чтениях глазами,— адмирал не любопытствовал узнать, о чем именно читали.

Он снова обвел взглядом присутствующих и, по-видимому, недовольный общим вялым и унылым настроением, сам начал терять хорошее расположение духа. В самом деле, он собирает этих «мальчишек» и тратит на них время, чтобы развить их и приохотить к занятиям, чтобы вселить в них дух бравых моряков, а они... не ценят этого и сидят как в воду опущенные!

И вместо того чтобы начать чтение, адмирал совершенно неожиданно проговорил:

— А я вам должен сказать, мои друзья, что вы ведь невежи...

«Друзья» невольно подтянулись на своих местах.

— Да-с, невежи... Разве воспитанные люди заставляют себя ждать, как вы полагаете?

Никто, разумеется, никак «не полагал» насчет этого, а все только подумали, что глазастого черта вдруг «укусила муха» и что сам он тоже далеко не воспитанный человек.

— Так, я вам скажу-с, поступают только...

Видимо, сдержавшись от употребления существительного, характеризующего с большею ясностью невежливых людей, адмирал на секунду запнулся и продолжал:

— Только люди, совсем не знающие приличий... Помните это и впредь не ведите себя по-свински,— выпалил адмирал, на этот раз уже не лишивший своей речи образного сравнения, и подернул одним плечом.— Отчего вы не шли и заставили меня посылать за вами, когда я сказал Ивкову, чтобы вы собрались к десяти часам? Ивков, надеюсь, передал вам мое приказание?

Ивкова подмывало принять «венец мученичества» и по крайней мере отсидеть часа два на салинге. И он открыл было рот, чтобы самоотверженно принять вину на себя, сказав, что забыл передать товарищам приказание, как дядя Черномор уже добросовестно пробасил, что Ивков приказание передал, чем вызвал в неблагодарном Ивкове мысленное название «идиота».

— Так как же вы смели ослушаться адмирала, а?

Судя по внешним признакам, барометр адмиральского расположения духа не очень быстро падал, и потому адмирал, казалось, охотно удовлетворился бы более или менее правдоподобной отговоркой. Он ждал ответа, и необходимо было отвечать.

И так как обе очередные жертвы, обязанные, по давно установившемуся соглашению, отвечать на все безличные вопросы адмирала, упорно молчали, не умея находчиво соврать, то исполнить эту миссию охотно взялся маленький, черный, как жук, шустрый и необыкновенно сладкий гардемарин Попригопуло, «потомок греческих императоров», или сокращенно — «потомок», как часто звали товарищи юного грека, имевшего однажды неосторожность как-то пуститься в генеалогию.

С восторженной почтительностью глядя на адмирала своими «черносливами», большими и маслеными, он проговорил вкрадчивым тонким голоском, чуть-чуть шепелявя и плохо справляясь с шипящими буквами:

— Мы, ваше превосходительство, собирались именно в ту самую минуту, когда вы изволили прислать за нами... Часы отстают, ваше превосходительство, в гардемаринской каюте... Необходимо их поправить... На целых десять минут отстают...

Адмирал покосился на «потомка греческих императоров» и усмехнулся. Оттого ли, что ссылка на часы показалась ему слишком нелепой, или просто оттого, что ему не хотелось более «школить» своих «молодых друзей», но только он сразу подобрел и заметил:

— Вперед проверяйте часы, господа... Ну, а теперь почитаем... Прошу слушать-с!

И, раскрывая книгу, прибавил:

— Морскому офицеру надо стараться быть образованным человеком и интересоваться всем... Тогда и свое дело будет осмысленнее, а вы вот... опаздываете и точно недовольны, что я с вами занимаюсь!

— Помилуйте, ваше превосходительство, мы, напротив, очень довольны! — проговорил «потомок».

Адмирал стал читать одну из глав Шлоссера. Читал он недурно, с увлечением, подчеркивая то, что считал нужным оттенить. Несколько человек слушали с вниманием. Остальные делали вид, что слушают, неустанно курили и думали, как бы скорее он кончил.

— Да, мои друзья,— заговорил адмирал, прерывая чтение и уставляя глаза на первое попавшееся лицо слушателя,— гениальный человек был Наполеон... Этот

немец Шлоссер его не совсем понимает... Вот Тьера прочтите...

Ивкова так и подмывало заявить, что Наполеон, собственно говоря, был великий подлец и более ничего, который задушил республику и стал тираном. Но он благоразумно решил промолчать. Все равно «глазастого» не убедишь, а он знает, что знает. И Леонтьев того же мнения, что Наполеон подлец, хоть и великий человек... И Подоконников так же думает...

— Да, большой гений был, а флота создать не умел... Англичане всегда били французов на море... Вот хоть бы это Абукирское сражение. Вы, конечно, не знаете Абукирского сражения?.. Вот Ивков стихи пишет и разные глупости читает.. романы всякие... а Абукирского сражения тоже не знает!

И адмирал стал рассказывать об Абукирском сражении и — надо отдать ему справедливость — так ярко и картинно, несмотря на недостаток красноречия, нарисовал картину боя, что даже самые невнимательные слушатели и те оживились и внимали с интересом.

— Вы думаете, отчего французов поколотили под Абукиром, хотя французская эскадра была не слабее английской и французские матросы нисколько не уступали в храбрости английским? Отчего везде на море французов били?

И так как ни один из слушателей не отвечал, не рискуя за неправильный ответ быть оборванным, то адмирал, выдержав паузу, продолжал:

— Оттого, что у французов были в то время болваны морские министры и ослы адмиралы... Они заботились о карьере, а не о флоте и обманывали Наполеона... И у французских моряков не было настоящей выучки, не было школы и того морского духа, который приобретается в частых плаваниях... Помните это, господа!.. Без хорошей школы, без плаваний, во время которых надо учиться, чтобы быть всегда готовым к войне, нельзя одержать побед!

Проговорив это поучение, адмирал принялся читать.

Против обыкновения, сегодня он отвлекался менее и не рассказывал, придираясь к какому-нибудь случаю, разных эпизодов из службы на Черном море. Часа через полтора адмирал закрыл книгу и проговорил:

— На сегодня довольно.

Не было и экзамена. И все нетерпеливо ждали обычного «можете идти», но адмирал, видимо, еще хотел, как он выражался, «побеседовать с молодыми друзьями» и сказал:

— Вот я сегодня перевел в океане офицеров с судна на судно. Как вы полагаете, почему я это сделал?

Все «молодые друзья» полагали, что сделал он это потому, что был «глазастый дьявол» и «чертова перечница». Почему же более?

Не рискуя высказаться в таком смысле, все, разумеется, молчали.

И адмирал, казалось, понял, что думали «молодые друзья», и проговорил:

— Вы, конечно, думаете: адмиралу пришла фантазия, он и сделал сигнал? Нет, мои друзья. Я сделал это, чтобы вы все на примере видели, что всегда каждый из вас должен быть готов, как на войне... И знаете ли, что я вам скажу...

Но в эту самую минуту, как адмирал собирался что-то сказать, через открытый люк адмиральской каюты донесся нервно-тревожный и неестественно громкий окрик вахтенного офицера:

— Марса-фалы отдай! Паруса на гитовы! Право на борт!

В этом окрике слышалось что-то виноватое.

Вслед за тем в адмиральскую каюту вбежал вахтенный гардемарин и доложил:

— Шквал с наветра!

Адмирал, схватив фуражку, бросился наверх, крикнув Ваське закрыть иллюминаторы.

Довольные, что шквал так кстати прервал адмиральскую беседу, гардемарины выскочили из каюты, не предвидя, конечно, что этот шквал будет началом такого адмиральского «урагана», которого они не забудут во всю жизнь.

X

Жесточайший шквал с проливным крупным дождем уже разразился, словно бешеный, внезапно напавший враг, над маленьким трехмачтовым корветом в двести тридцать фут длины.

Окутав «Резвый» со всех сторон серой мглой,— точно мгновенно наступили сумерки,— он властно и шутя повалил его набок всем лагом и помчал с захватывающей дух быстротой.

Вздрагивая и поскрипывая своим корпусом, накренившийся до последнего предела корвет чертит подветренным

бортом вспенившуюся поверхность океана. Он тут, этот таинственный океан, страшно близко, кипит своими седыми верхушками. Дула орудий купаются в воде. Палуба представляет собою сильно наклоненную плоскость.

Рев вихря, вой его в вздувающихся и бьющихся снастях и в рангоуте и шум ливня сливаются в каком-то адском, наводящем трепет концерте.

Молодые, неопытные моряки переживали жуткие мгновения. Казалось, вот-вот еще накренит корвет, и он в одно мгновение пойдет ко дну и со всеми его обитателями найдет безвестную могилу.

И многие тихонько крестились.

По счастью, в момент нападения шквала успели убрать фок и грот (нижние паруса) и отдать все фалы. Таким образом, площадь парусности и сопротивления была значительно уменьшена, и шквал, несмотря на мощную свою силу, не мог опрокинуть корвета и только в бессильной ярости гнул брам-стеньги в дугу.

Зато, словно обрадованный людской оплошностью, он с остервенением напал на паруса, не взятые на гитовы (не подобранные). В одно мгновение большой фор-марсель «полоскал», изорванный в лоскутья, а оба брамселя, лиселя с рейками и топселя были вырваны и, точно пушинки, унесены вихрем.

Вахтенный офицер, молодой мичман Щеглов, прозевавший подобравшийся шквал и потому слишком поздно начавший уборку парусов, стоял на мостике бледный, взволнованный и подавленный, с виноватым видом человека, совершившего преступление.

Ужас при виде того, что вышло от его невнимательности, смущение и стыд наполняли душу молодого моряка. Он сознавал себя бесконечно виноватым и навеки опозоренным. Какой же он морской офицер, если прозевал шквал? Что подумает о нем адмирал и что он с ним сделает? Что скажут товарищи и Михаил Петрович за то, что он так осрамился? И нет никакого оправдания. Ведь он видел это маленькое серое зловещее облачко на горизонте и — что нашло на него? — не обратил на него внимания...

В эту минуту молодому самолюбивому мичману казалось, что после такого позора жить на свете и влюбляться в каждом порту решительно не стоит.

С чувством смущения и виноватости смотрели на клочки фор-марселя и на сломанные брам-реи и капитан, и старший офицер, и старший штурман, выскочившие наверх

«Беспокойный адмирал»

и стоявшие на мостике, и старый боцман на баке, и все старые матросы.

Каждый из этих людей, дороживших репутацией «Резвого», как исправного военного корабля, и считавших себя как бы связанными с ним тою особенною любовью, какую чувствовали прежние моряки к своему судну,— понимал и еще более чувствовал, что «Резвый» осрамился, да еще на глазах такого моряка, как адмирал, и такого соперника, как «Голубчик», и каждый словно бы и себя считал причастным этому сраму.

И на виновника его было брошено несколько десятков сердитых и укоряющих взглядов. «Осрамил, дескать!»

Даже совсем неморяк, невозмутимый флегматик, белобрысый доктор, шибко струсивший в тот момент, когда повалило корвет, и тот, когда страх прошел, при виде сердитых, но не тревожных лиц начальства, неодобрительно покачал головой и заметил, обращаясь к тетке Авдотье:

— А еще считает себя моряком!

— И попадет же Щеглову! — промолвил в ответ лейтенант Снежков.— Из-за него и всем нам въедет,— испуганно прибавил он.

Обыкновенно веселый и добродушный наверху, капитан Николай Афанасьевич был сильно раздражен.

— Прозевали шквал!.. Полюбуйтесь, что наделали... Эх! — сдерживая злобное чувство, кинул капитан, подходя к Щеглову и искоса поглядывая тревожными глазами на адмирала, стоявшего на другом конце мостика и уже поводившего плечами...

«Будет теперь история!» — подумал он, поднимая голову и озирая рангоут.

Старший офицер Михаил Петрович, взволнованный не менее самого Щеглова, ничего не сказал ему, но только бросил на него быстрый взгляд из-под очков, но, господи, что это был за уничтожающий взгляд! Глаза добрейшего Михаила Петровича в это мгновение сверкали такой ненавистью, что, казалось, готовы были разорвать в клочки мичмана, «опозорившего» корвет.

«И ведь новый фор-марсель был!» — пронеслось в ту же секунду в голове старшего офицера, этого заботливого ревнителя и хозяина «Резвого», и он громко, сердито и властно крикнул на бак:

— Стаксель долой!..

Увы!.. От стакселя остались лишь клочки.

Адмирал едва сдерживался и только быстрей и быстрей ерзал плечами.

То спокойно-решительное выражение его лица, которое было в первое мгновение, когда он выбежал наверх, и всегда бывавшее у него в минуты действительной опасности, исчезло, как только его быстрый и опытный морской глаз сразу увидал положение корвета и понял, что никакой беды нет. Шквал сию минуту промчится, и корвет встанет.

И, не обращая никакого внимания ни на сильный крен, ни на ливень, он весь отдавался во власть закипавшего гнева и негодования старого лихого моряка, который видит такой позор, и где же? У себя на флагманском судне!

Хотя он стоял в неподвижной позе «морского волка», расставив врозь ноги, но все «ходуном ходило» в этой кипучей, беспокойной натуре. Насупившееся лицо отражало душевную грозу. Скулы беспокойно и часто двигались, и большие круглые глаза метали молнии. Руки его то сжимались в кулаки, то разжимались, и тогда толстые короткие пальцы судорожно щипали ляжки, или нервно теребили щетинку усов, или рвали петли сюртука.

Но он еще крепился и молчал и только по временам, подрагивая то одной, то другой ногой, взглядывал на Щеглова и на капитана с видом озлобленного ястреба, собирающегося броситься на добычу.

В самом деле, какой срам!.. Прозевать шквал на военном судне! Потерять паруса!! И у него на глазах!

И вздрагивающие губы его невольно шепчут:

— Болван!.. Скотина!..

Эти ругательства и еще более энергичные слышит только флаг-офицер, стоящий с выражением почтительного трепета сзади адмирала. Тут жё, в некотором отдалении, стоит и только что выбежавший флаг-капитан. Он, по обыкновению, прилизан, щеголеват и надушен и стоически мокнет под дождем, но золотушное и хлыщеватое белобрысое лицо его несколько бледно и растерянно — не то от страха перед воображаемой опасностью, не то от боязни попасть «под руку» этого необузданного «животного» и скушать что-нибудь оскорбительное, зная наперед, что заячья его душонка стерпит все, чтоб не испортить блестяще начатой адъютантской карьеры.

И в эту минуту он решает окончательно уехать в Россию. Придет корвет в Нагасаки, и он будет проситься отпустить его по болезни... То ли дело служба на сухом пути, где-нибудь в штабе, с порядочными, благовоспитан-

иыми людьми!.. А здесь — и эта полиая опасиости жизнь, и эти «мужики», иачииая с адмирала!

На мостике показался Васька с дождевиком для адмирала в руках и развязно подошел к адмиралу.

— Пожалуйте, ваше превосходительство, а то сильио замочит!

— К черту! — цыкиул иа иего адмирал, и Васька момеитальио исчез.

Прошло еще иесколько мгиовеиий. Адмирал сдерживался. Но гроза, бушующая в душе его, требует разряжеиия. Более молчать иет сил.

И, словио получивший в спииу иголку, ои подлетел к мичману и, остаиовив иа ием глаза, сделавшиеся вдруг совсем круглыми, и вращая белками, произительио крикнул ему в упор:

— Вы... вы... Зиаете ли, кто вы?..

Ему стоило, видимо, больших усилий (или, вериее, гнев ие дошел до полиой потери самообладания), чтоб ие сказать мичману Щеглову, кто ои такой в эту минуту, по миеиию адмирала.

— Вы... вы... ие морской офицер, а... прачка! — докоичил ои совершеиио иеожидаиио для присутствующих и, вероятио, для самого себя...— Прачка! — повторил ои, готовый, казалось, своими выпучеииыми глазами съесть живьем мичмаиа...

А мичмаи, весьма ревниво оберегавший чувство своего достоииства и ие раз «разводивший» с адмиралом, теперь вииовато и скоифужеиио слушал, приложив свои вздрагивающие пальцы к козырьку фуражки, и иастолько чувствовал себя вииовиым, что, схвати его в эту минуту адмирал за горло и иачии его душить,— ои беспрекословио выдержал бы и это испытаиие.

Ведь ои прозевал шквал, ои, мичмаи Щеглов, самолюбиво миивший себя доселе отличиым вахтеиным иачальником, у которого глаз... у, какой зоркий морской глаз!

Обезоружило ли адмирала истииио страдальческое выражеиие отчаяиия иа лице злополучиого мичмаиа, который, казалось, вполие созиавал, что ему следует поступить в прачки, а ие служить во флоте, или просто случайио брошеииый адмиралом взгляд иа Моите-Кристо отвлек его виимаиие, ио только адмирал оставил «мичмаиа-прачку» в покое и с большею резкостью в тоие сказал, обращаясь к капитану и отряхиваясь от воды:

— У вас, Николай Афаиасьевич, ие воеииое судио,

а кафешаитан-с! Срам! Вы ни за чем ие смотрите... Офицеров распустилн, н вот...

Монте-Кристо, н сам раздраженный н сконфуженный, слушал этн резкие обидные слова, оскорблявшие в нем самолюбнвого и зиающего свое дело моряка, с иапускиым хладиокровием несправедлнво обижениого человека, который не оправдывается, хорошо зная тщету оправданий и требоваиия дисциплниы.

«Ори, братец, орн, на то ты и беспокойный адмирал!» — говорнло, казалось, официальио-серьезное выражеиие его полного, румяного и потасканного лнца веселого жуира.

Эта сдержанность, понятая адмиралом как возмутительиое равиодушне капнтаиа к своему делу, взорвала его еще более, н он, словно бешеный, выкрнкнул:

— Не корвет, а кабак! Ка-бак!

И с этим окрнком он круто повернулся и перешел на другой конец мостнка. Там ои остаиовился, взволнованный н грозиый, словно туча, еще иасыщенная электричеством, готовый и ограиичиться этой вспышкой н вновь забушевать еще с большей силой, разразившись урагаиом.

И то н другое было одинаково возможно в этой бешеной, порывистой н страстной иатуре адмирала, наивиодеспотнчной н стихийной, как н любнмое нм море.

— Срам... позор!..— взволнованно шептал он.

И весь вздрагивал, гиевио сжимая кулакн, когда его выпучениые и злые теперь глаза останавлнвалнсь на трепавшемся фор-марселе — этом ужасном свндетельстве служебной иебрежностн, возмущавшей н прнводившей в ярость вскормлеииика черноморскнх лнхнх адмиралов, прошедшего суровую школу службы у этих рыцарей долга н вместе с тем отчаянных н подчас жестокнх деспотов.

Господа офнцеры, выскочившие нз кают-компанин, осторожно прятались за грот-мачту, чтобы не попасться на глаза адмнралу. Только храбрый мичман Леонтьев, проповедовавшнй теорию деспотизма во нмя свободы, да батюшка Антоний решилнсь показаться на шканцах.

Гардемарины, ровно шаловлнвые мышн, сбились у трапа н поглядывали иа адмирала, который только что рассказывал нм об Абукирской битве н так любезно угощал нх папиросамн, а теперь...

— Задаст сегодня «глазастый черт» Абукирское сражение! — говорил с насмешлнвой улыбкой Ивков своему другу Подоконннкову.— Вот увндишь... Смотрн, какнм он

глядит Иваном Грозным... А ведь в самом деле Щеглов «опрохвостился»! — прнбавнл юный моряк, чувствуя невольную досаду на Щеглова и несколько обиженный за честь своего корвета.

XI

Сделав столько вреда, сколько было возможно в одну, много две минуты жестокой схватки с корветом, грозный шквал стремительно понесся далее, заволакивая широкой полосой мглы горизонт по левую сторону корвета.

А справа и над «Резвым» уже все очнстилось и радостно просветлело.

Снова ярко сверкало раскаленное солнце, быстро высушивая своими палящими, почти отвеснымн лучамн и мокрую палубу, и намокшие, вздутые снасти с дрожащимн на них и сверкающими, как брильянты, дождевыми каплями, и прилипшие к спинам белые матросские рубахи. Снова мягко и нежно сияла голубая лазурь страшно высокого неба с плывущими по нем перистыми, ослепительной белизны облачкамн, и снова океан с тихнм ласковым гулом катнл свои волны. Прежний ровный норд-вест раздувал вымпел и адмиральский и кормовой флаги. Чудный прозрачный воздух дышал острой свежестью, как бывает после гроз.

«Резвый» уже поднялся, и бег его становился все тише н тише. Опять былн поставлены все уцелевшие паруса, н вслед за тем раздалась команда: «свистать всех наверх». Надо было менять фор-марсель, поднять новые брам-реи, привязать и поставить новые паруса взамен унесенных шквалом.

Бедный «Резвый» походил теперь на птицу с выщипанными перьями и еле подвигался вперед.

А сбоку, на ветре, в близком расстоянии «Голубчик», уже весь сверху доннзу покрытый парусами и стройный, краснвый и изящный, словно гнгантская белоснежная чайка, грациозно и легко скользил по океану, чуть-чуть накренившись н заметно убегая вперед.

Видно было, что шквал напрасно бесновался, напавши на клипер, встретивший врага с оголенными мачтами. На «Голубчике» не прозевали и вовремя убрали все паруса.

И сконфуженные моряки с оплошавшего и ощипанного «Резвого», начиная с самого адмирала и кончая маленьким крнвоногнм сигнальщиком Дудкой, смущенно, словно бы

виноватые, посматривают иа «Голубчик», блестящий и щегольской вид которого еще более подчеркивает посрамлеиие «Резвого» и растравляет свежую общую раиу.

«Голубчик» уходил, и адмирал, иесмотря иа гиев, иевольио залюбовавшийся клипером, уже сиова иахмурил было брови за то, что спутиик осмелился удаляться, как вдруг лицо адмирала прояснилось.

Словио бы волшебством иа «Голубчике» исчезли все верхиие паруса и убраи был пузатый грот. И клипер пошел тише, поджидая своего закопавшегося товарища.

— Подиять сигиал «Голубчику», что я изъявляю ему свое особеииое удовольствие! — приказал, слегка поворачивая голову к флаг-офицеру, адмирал.

Через мииуту сигиал уже взвился иа крюйс-брам-рее.

А адмирал иарочио громко, чтоб слышали все стоявшие иа мостике, продолжал, ии к кому ие обращаясь, точио говоря сам с собой:

— Вот это военное судио, а ие... кафешаитаи. Видио, что там поиимают, как иадо служить... Там офицеры ие распущеиы... Там теперь смеются иад позором флагмаиского корвета... Это черт зиает что такое!..

Моите-Кристо только морщился и тревожио взглядывал иа фор-люк, откуда должиы были выиести иовые паруса. Уж прошла минута, другая, третья, а фор-марсель ие иесли, и капитаи волиовался, иервио пощипывал свои холеиые усы, и все его мысли заияты были фор-марселем.

Старший офицер Михаил Петрович, распоряжавшийся авралом, точио ужалеииый жгучим чувством ревиости к «Голубчику», где старшим офицером был его большой приятель и такой же славиый моряк, как и ои сам, и с которым оии соперничали в зиаиии всех тоикостей морского дела,— еще иетерпеливее, громче и сердитее крикнул:

— На баке! Что же фор-марсель? Скорее фор-марсель!

В этом крике, полиом иетерпеиия и досады, чуткое ухо моряка услыхало бы и иотку мольбы и страдаиия. Оио отражалось и в иервио иапряжеииом лице Михаила Петровича, и во всей его перегиувшейся через поручии длиииой фигуре, и в этой распростертой вперед длиииой руке, которая, казалось, протягивалась за марселем.

Ои весь теперь был поглощеи одиой мыслью — скорей перемеиить паруса. Ничего другого ие существовало в мире в эту миιуту, и ои, как Ричард III, готов был воскликиуть: «Марсель, подавайте марсель, всю жизиь за марсель!»

«Господи! Неужели мы опять опозоримся и ие поставим

скоро всех парусов?! За что же такое наказание! Боже, помоги!» — мысленно произносил он молитву и еще более подавался вперед, точно этим движением рассчитывал ускорить появление желанного, свернутого в виде длинного кулька, большого паруса.

Но прошла еще длинная, казавшаяся вечностью минута, а паруса не несли. Все как-то угрюмо и вместе сконфуженно смотрели на бак; на палубе царила мертвая тишина.

— Михаил Петрович! Что ж это такое? — голосом, полным жалобы и страдания, шепнул капитан, и вся его полная высокая фигура и его румяное лицо выражали мучительную боль.

Но Михаил Петрович, казалось, не слышал. Его обыкновенно доброе, славное лицо внезапно исказилось бешеным животным гневом, и руки тряслись. И он крикнул дрожавшим, задыхающимся, злобным голосом:

— Фор-марсель подать! Боцмана послать!..

С уст его слетела в дополнение самая грубая ругань, и он, словно полоумный, бросился с мостика на палубу и с распростертыми руками побежал на бак и ринулся в подшкиперскую.

Адмирал в нетерпении ходил взад и вперед по полуюту, словно зверь в клетке, и по временам бешено мял в руках свою фуражку и яростно бросал ее на палубу.

Глядя на всех этих беснующихся моряков, посторонний человек подумал бы, что попал в бедлам.

Но это были «цветочки».

XII

В эти несколько минут, которые казались нетерпеливым морякам наверху долгими часами, в подшкиперской каюте, заваленной парусами, тросами, блоками и разными другими принадлежностями судового запаса, подшкипер с лихорадочною торопливостью искал новый, запасный фор-марсель.

На этого старого доку и «чистодела», каким был, как почти все подшкипера, унтер-офицер Артюхин, сегодня нашло какое-то затмение. В порядке содержавший подшкиперскую и знавший на память, где что лежит, он, словно обезумевший, метался в небольшой темноватой каюте-кладовой, отыскивая в огромной куче парусов фор-марсель и оглашая каюту отчаянными проклятиями и ругательствами, без которых, по-видимому, поиски его не могли бы увенчаться успехом.

А в открытые двери подшкиперской, около которой в ожидании марселя стояли матросы, посматривая на беснующегося Ивана Митрича, то и дело доносился сверху зычный голос боцмана, все с бо́льшим и бо́льшим нетерпением посылавшего через люк морские приветствия, и, наконец, перешел в какой-то безостановочный рев сплошной ругани, напомнившей подшкиперу, что наверху ожидают марсель далеко не с ангельским терпением, и заставлявшей Артюхина, в свою очередь, усиливать энергию и выразительность собственной ругательной импровизации.

— Ах ты, сволочь!

С этими словами старый подшкипер,— на плутоватом лице которого, по выражению матросов, «черти играли в свайку», до того оно было изрыто оспой,— с свирепым озлоблением рванул изо всей силы край одного из парусов и, осыпав марсель новой руганью, словно живое, безмерно виноватое перед ним существо, указал на него окровавленными пальцами и исступленно крикнул:

— Тащи его, подлеца, братцы!.. Чтоб ему...

В тот самый момент, как несколько человек матросов вытаскивали из подшкиперской свернутый в длинную широкую колбасу парус, в кубрике показался старший офицер Михаил Петрович, весь бледный, с лицом, искаженным страданием и злобой.

— Артюхин! — крикнул он задыхающимся голосом, пропустив матросов с фор-марселем.

— Яу! — отозвался подшкипер, показываясь из каюты, как рак красный, обливающийся потом и с угрюмовиноватым видом человека, чувствующего великость своей вины и готового, по меньшей мере, недосчитаться нескольких зубов.

Действительно, было несколько мгновений, во время которых, судя по выражению лица старшего офицера и по сжатым простертым его кулакам, физиономии подшкипера грозила серьезная опасность быть искровяненной, и Артюхин уже заморгал глазами, готовясь к «бою».

Но Михаил Петрович, видимо, овладел собой и только взвизгнул, поднося кулак к самому носу подшкипера:

— У-у-у-у... подлец!

И, стремительно повернувшись, вылетел наверх и понесся бегом на мостик.

Но страдания старшего офицера не прекратились, хотя фор-марсель и был подан. Сегодня, как нарочно, на «Резвом» неудача шла за неудачей.

Когда свернутый парус сталн подиимать к марсу, чтобы затем прнвязать к рее, веревка в каком-то блочке «заела», н — можете ли вообразнть ужас моряков «Резвого»? — марсель остаиовился посредине, повиснув на снастях, и дальше ие шел.

Позор, да еще на глазах у «Голубчика», был полиейший.

Марсовой старшнна ненстово дергал с марса «заевшую» сиасть и, разумеется, костил ее так, как только может костить скверисловне лнхого н долго служившего во флоте уитер-офицера. Сконфужеиный н освнрепевший боцмаи не очень громко, чтобы не было слышио иа юте, но очеиь эиергично выбрасывал из своего горла, словио бы из фоитаиа, отчаяиную ругань на марс и сиизу тряс и раздергивал веревку, которая почему-то не шла.

«Неужто он в горячке недосмотрел, что иеправильио привязали внизу парус, н его придется сиова спустить и перевязать?» — в ужасе думал он, выпалнвая, как бы в отместку за такне мысли, какое-то иевероятиое по смелости фантазнн н вдохновения ругательство.

Владимнр Андреевнч Снежков, заведовавший фок-мачтой, стоял около нее ни жив ни мертв. С ошалелым лнцом, глупо вытаращенными глазами и раскрытым ртом растеряиио смотрел он на застрявший фор-марсель с выражением отчаяния н страха, то н дело оглядываясь назад, иа ют, где бешено носилась взад н вперед кореиастая фнгура адмирала, н чувствовал, как у иего засасывает под ложечкой и схватывает поясннцу.

— Боцман... Злодей ты эдакий! — говорнл он, не понимая, где это «заело».

— В блоке, должио, не пущает! — сердито отвечал боцман, продолжая потряхивать сиасть.

Прошло еще несколько томнтельных секунд.

Фор-марсель не шел.

— Мнхаил Петровнч! Что ж это такое? — произиес капнтан страдальческим тоиом, обращаясь к старшему офнцеру.

Бедный старший офнцер, страдавшнй, казалось, более всех, только сделал гримасу, точио от сильиой зубиой боли, и резко н раздраженно ответил:

— Сами видите, что такое!.. Позор!

И крикнул отчаянным теиором di forza[1]:

— На баке! Отчего фор-марсель не ндет?

[1] сильным *(ит.)*.

— Гордень заел! — ответил тонненькой фистулой Снежков.

— Очистить живей!

И старший офицер, не очень-то доверявший распорядительности Владимира Андреевича, хотел было бежать на бак, посмотреть, в чем дело, как вдруг сзади, с полуюта, раздался такой пронзительный крик, который заставил и старшего офицера и всех бывших вблизи невольно вздрогнуть.

— Э-э-э... о-о-о-о! — кричал адмирал, словно бы исступленный.

В этом бешеном крике, полном стихийного необузданного гнева, было что-то, напоминавшее грозный рев разъяренного зверя.

Когда крик прекратился, все бывшие на палубе «Резвого» в этот ясный сентябрьский день 186* года увидали зрелище, довольно странное для неморяков.

Почтенный сорокашестилетний адмирал, начальник эскадры, с налитыми кровью глазами и сжатыми кулаками топтал бешено ногами свою фуражку, выделывая при этом самые невероятные танцевальные па.

Пляска эта, похожая на воинственную пляску краснокожих индейцев, как изображают ее в иллюстрациях, продолжалась несколько секунд.

Вслед за пляской адмирал поднял истоптанную фуражку, надел ее и, подбежав к капитану, возопил:

— Под суд!.. Ка-бак... Фор-марсель!.. Фор-марсель поднимайте!.. Под суд!.. И вас, и старшего офицера, и всех... Всех...

Но эти сравнительно мягкие слова разве могли облегчить его переполненное гневом сердце?..

И, точно негодуя, что нельзя облегчить душевную ярость более энергическими словами и сию же минуту отдать под суд и приговорить к расстрелянию капитана, на судне которого такой разврат, адмирал отскочил от Николая Афанасьевича и, перескакивая по несколько ступенек трапа, понесся сам на бак, разражаясь ругательствами...

Все сторонились, давая дорогу адмиралу, который с легкостью молодого мичмана бежал по палубе, прыгая через снасти. Офицеры скрывались за мачты. Гардемарины притаились на своих местах. Царила мертвая тишина на палубе, оглашаемая адмиральским криком.

Только среди матросов по временам слышался сдержанный шепот. Чуть слышно кто-нибудь говорил соседу:

— Осерчал ведмедь... Ровно под микитки его хватили...

— И то: осрамился конверт.

— Накладет же он в кису тетке Авдотье!

Когда адмирал долетел до бака, позорно застрявшего фор-марселя уже не было. Он был поднят и, подхваченный с марса, растянут вдоль рен, к которой торопливо привязывали его лихие марсовые «Резвого», рассыпавшиеся по рее, по обе стороны марса, точно белые муравьи в своих белых штанах и рубахах.

Словно разъяренный бык, внезапно потерявший из глаз раздражавший его предмет и с разбега остановившийся, бешено и изумленно поводя глазами и ища, кого бы боднуть,— адмирал гневио вращал белками, озираясь по сторонам. Около был только боцман, не спускавший с адмирала глаз. Но гнев адмирала искал офицера, и он крикнул:

— Где мачтовый офицер?

— Я здесь, ваше пре-вос-хо-ди-тель-ство! — скорее пролепетал, чем проговорил Владимир Андреевич упавшим голосом, прикладывая дрожащие пальцы к козырьку фуражки и показываясь из-за мачты, за которой прятался.

Что-то бесконечно жалкое, растерянное и испуганное было во всей его рыхлой, подавшейся вперед фигуре, в этом побледневшем полном лице, в этом дрожавшем, визгливом тенорке.

Адмирал уставился на Владимира Андреевича и, казалось, придумывал, что сделать с офицером, у которого не могли сразу поднять фор-марселя.

Прошло несколько мгновений. У тетки Авдотьи душа ушла в пятки, и он, как очарованная овца перед страшным удавом, впился ошалелым взором в выкаченные, метавшие молнии глаза адмирала.

Но, по-видимому, этот перепуганный и побледневший лейтенант не возбуждал в адмирале ярости и желания растерзать его. Не такой человек нужен был в эту минуту его освирепевшему превосходительству!

И, словно бы считая Снежкова недостойным быть предметом своего гнева, адмирал только смерил его с ног до головы уничтожающим взглядом и крикнул ему в упор не столько гневно, сколько презрительно:

— Баба! Баба!.. Баба-с!

И, круто повернувшись, пошел назад, чувствуя неодолимое желание что-нибудь сокрушить, кого-нибудь раз-

нести вдребезги, так как грозовая туча, сидевшая в нем, была еще не разряжена.

Подходя к шканцам, он увидал Леонтьева, того самого невоздержного на язык мичмана, который еще сегодня утром в кают-компании проповедовал возмутительные вещи. Он стоял у грот-мачты с пенсне на носу и — казалось адмиралу — имел возмутительно спокойный и даже нахальный вид человека, воображающего о себе черт знает что.

«Ах он... скотина! Как он смеет?!»

И адмирал в ту же секунду возненавидел мичмана и за его противные дисциплине мнения, и за его нахальный вид, олицетворявший распущенность офицеров, и за его равнодушие к общему позору на корвете. Но, главное, он нашел жертву, которая была достойна его гнева.

Отдаваясь, как всегда, мгновенно своим впечатлениям и чувствуя неодолимое желание оборвать этого «щенка», он внезапно подскочил к нему с сжатыми кулаками и крикнул своим пронзительным голосом:

— Вы что-с?

— Ничего-с, ваше превосходительство! — отвечал официально-почтительным тоном мичман, несколько изумленный этим неожиданным и, казалось, совершенно бессмысленным вопросом, и, вытягиваясь перед адмиралом, приложил руку к козырьку фуражки и принял самый серьезный вид.

— Ничего-с?.. На корвете позор, а вы ничего-с?.. Пассажиром стоит с лорнеткой, а? Да как вы смеете? Кто вы такой?

— Мичман Леонтьев,— отвечал молодой офицер, чуть-чуть улыбаясь глазами.

Эта улыбка, смеющаяся, казалось, над бешенством адмирала, привела его в исступление, и он, словно оглашенный, заорал:

— Вы не мичман, а щенок... Щенок-с! Ще-нок! — повторял он, потряхивая в бешенстве головой и тыкая кулаком себя в грудь...— Я собью с вас эту фанаберию... Научу, как служить! Я... я... э... э... э...

Адмирал не находил слов.

А «щенок» внезапно стал белей рубашки и сверкнул глазами, точно молодой волчонок. Что-то прилило к его сердцу и охватило все его существо. И, забывая, что перед ним адмирал, пользующийся, по уставу, в отдельном плавании почти неограниченной властью,

да еще на шканцах[1],— он вызывающе бросил в ответ:

— Прошу не кричать и не ругаться!

— Молчать перед адмиралом, щенок! — возопил адмирал, наскакивая на мичмана.

Тот не двинулся с места. Злой огонек блеснул в его расширенных зрачках, и губы вздрагивали. И, помимо его воли, из груди его вырвались слова, произнесенные дрожащим от негодования, неестественно визгливым голосом:

— А вы... вы... бешеная собака!

На мостике все только ахнули. Ахнул в душе и сам мичман, но почему-то улыбался.

На мгновение адмирал ошалел и невольно отступил назад.

И затем, задыхаясь от ярости, взвизгнул:

— В кандалы его! В кан-да-лы! Матросскую куртку надену! Уберите его!.. Заприте в каюту! Под суд!

Мичман Леонтьев не дожидался, пока его «уберут», и спустился вниз, сопровождаемый сочувственными взглядами гардемарина Ивкова и кондуктора Подоконникова.

А бешеный адмирал взбежал на мостик и кричал, обращаясь к капитану:

— Полюбуйтесь, какие у вас офицеры... Позор... Вас под суд... Под суд... Тьфу! Кабак... Тьфу!

И, точно не находя слов и желая выразить полное презрение к судну, он яростно плюнул (за борт, однако) и бросился с трапа.

Громко стукнувшая дверь доложила, что адмирал ушел в каюту.

Там он рванул с себя сюртук так, что отскочили пуговицы, и, бросив его на пол, забегал, точно раненый зверь в своем логове.

XIII

Минут через двадцать «Резвый» уж не имел вида ощипанной птицы и, поставив все паруса, понесся, разрезывая волны, и нагонял «Голубчика».

Аврал был кончен. Подвахтенных просвистали вниз. Мичман Щеглов, прозевавший шквал, совсем убитый,

[1] Дерзость начальнику на шканцах усугубляет наказание, так как шканцы на военном судне считаются как бы священным местом. *(Примеч. автора.)*

снова поднялся на мостик, вступая на вахту, и сконфуженно и виновато взглянул на капитана и старшего офицера, которые оба были мрачны и угрюмы после того, что произошло на корвете.

Особенно ему было стыдно перед Михаилом Петровичем, и Щеглов не мог не сказать ему:

— Я, право, не могу понять, как это случилось, Михаил Петрович...

— Вперед не зевайте на вахте, батенька!.. Ну, нечего так отчаиваться!..— прибавил он, заметив отчаяние Щеглова...— Со всяким может случиться грех.

— А адмирал не запретит мне стоять на вахте, Михаил Петрович? Ведь это было бы ужасно...

— Не думаю... А впрочем, кто его знает... Сегодня он совсем бешеный! — заметил он, спускаясь вслед за капитаном вниз.

Все господа офицеры сидели в кают-компании, подавленные, удрученные и взволнованные и «позором» корвета, и адмиральским «ураганом», и, главное, судьбой этого отчаянного «Сереженьки», который решился назвать адмирала, да еще на шканцах, «бешеной собакой».

Что-то будет с бедным Леонтьевым?

— Непременно *он* его отдаст под суд, и Сереженьку разжалуют в матросы! — говорил Снежков, все еще не пришедший в себя, несмотря на то, что сам он сегодня довольно-таки дешево отделался, скушавши только «бабу».

— Как вы думаете, Михаил Петрович, отдадут Леонтьева под суд? — обратился Снежков к старшему офицеру, который молча и угрюмо дымил папироской, сидя на своем почетном месте, на диване.

— А никак не думаю! — сердито отвечал старший офицер, желая избавиться от расспросов и втайне, кажется, одобрявший поступок своего любимца.

— Если и не под суд, то, во всяком случае, выгонят со службы... Бедный Сергей Александрович! Ни за что пропала карьера человека!.. Вот и допрыгался! Я всегда говорил, что надо быть философом и не лезть на рожон... Ну, поорал бы и перестал... А теперь?.. Эй, вестовые! Подай-ка мне портерку! — приказал доктор.

Старший офицер искоса поглядел на доктора недовольным взглядом.

«Стыдно, дескать, упрекать товарища, да еще в беде!»

— А что адмирал с эскадры ушлет Сергея Александровича, это как бог свят! — вставил пожилой артиллерист...

— И то счастливо отделается...

— Дай-то бог, чтобы этим отделался... Только вряд ли... Подумайте: на шканцах!.. Недаром адмирал грозил матросской курткой... Ах, Сережеиька! — участливо вздохиул Снежков.— Пойти его проведать...

— Нельзя-с! — резко промолвил старший офицер.— Он под арестом, и часовой у его каюты.

— А я вам скажу, господа, что ничего Сергею Алексаидровичу ие будет! — совершеиио иеожидаиио проговорил старший штурмаи, доселе хранивший молчание.

Все, исключая старшего офицера, удивлеиио взгляиули иа штурмана, точио ои сказал иечто иесообразиое.

— Что вы удивились?.. Я не наобум говорю... Я зиаю адмирала... Слава богу, плавал с ним... И был случай, да и не такой, а поядовитее, можио сказать... Помните, Михаил Петрович, на «Поспешном» историю с Иваиовым, штурманским офицером?

Михаил Петрович молча кивнул головой.

— Какая история? Расскажите, Иван Иваныч! — обратилось иесколько голосов к седеиькому старичку.

— А история простая-с. Тоже взъерепенился адмирал однажды так же, как сегодня, только по другому поводу... Карту, видите ли, штурманский офицер ему не скоро подал... Ну, адмирал и осатаиел, да и ругнул, знаете ли, его по-русски... А Иваиов, хоть и штурмаи-с, маленький человечек, а все-таки имел свою амбицию и ие стерпел, да и ответил ему на том же русском диалекте-с...

И старый штурман одобрительно хихикнул.

— Ну и что же?

— А ничего... Адмирал спохватился и говорит: «Я ие вас, а в третьем лице!» — «И я,— отвечал штурмаи,— в третьем лице, ваше превосходительство!» Тем все и коичилось... Никакого зуба не имел против него и, как следует, по окоичаиии плавания к награде его представил... Ои хоть и бешеиый, но справедливый и добрый человек... Мстить из-за личностей не будет!.. Видно, не знаете вы, господа, адмирала! — заключил штурман.

Не знал его, коиечио, и Леоитьев и, сидя под арестом в каюте, находился в подавлеиио-тревожном состоянии духа, вполне убеждеиный, что ему грозит разжалование. Как-никак, а ведь ои совершил тягчайшее преступление, с точки зрения морской дисциплины. Положим, ои был вызваи иа дерзость дерзостью «глазастого черта», ио ведь суд не примет этого во внимание. Морской устав точеи и ясен — разжалование в матросы.

И Леонтьев проклинал этого «башибузука», иеизвестио

за что набросившегося на него, проклинал и ненавидел, как виновника своего несчастья. И все-таки не раскаивался в том, что сделал. Пусть видит, что нельзя безнаказанно оскорблять людей, хотя бы он и был превосходный моряк... Пусть... его разжалуют... Он и матросом запалит ему в морду, если адмирал станет позорить его человеческое достоинство...

И, вспомнив, как его, мичмана, назвали «щенком», молодой человек стиснул зубы и инстинктивно сжал кулаки, охваченный негодованием...

О господи! Как еще утром он был весел и счастлив, и вдруг теперь из-за этого «бешеного животного», из-за этого «самодура» вся будущая жизнь его представляется каким-то мраком...

Молодой человек бросился на койку и пробовал заснуть, чтоб избавиться от грустных мыслей. Но, слишком взволнованный, он заснуть не мог и снова стал думать о своей будущей судьбе, о матросской куртке, об адмирале...

Прошел так час, как дверь его каюты отворилась, и вошел вахтенный унтер-офицер.

— Ваше благородие, вас требует адмирал.

«Чего еще ему надо от меня?» — подумал со злостью мичман и спросил:

— Где он? Наверху?

— Никак нет, в каюте!

Леонтьев вскочил с койки и, поднявшись наверх, вошел в адмиральскую каюту с мрачным и решительным видом на все готового человека, полный ненависти к адмиралу.

XIV

Взволнованный, но уже не гневным чувством, а совсем другим, беспокойный адмирал быстро подошел к остановившемуся у порога молодому мичману и, протягивая ему обе руки, проговорил дрогнувшим, мягким голосом, полным подкупающей искренности человека, сознающего себя виноватым:

— Прошу вас, Сергей Александрович, простить меня... Не сердитесь на своего адмирала...

Леонтьев остолбенел от изумления — до того это было для него неожиданно.

Он уже ждал в будущем обещанной ему матросской куртки. Он уже слышал, казалось, приговор суда — старого морского суда — и видел свою молодую жизнь загуб-

ленною, и вдруг вместо этого тот самый адмирал, которого он при всех назвал «бешеной собакой», первый же извиняется перед ним, мичманом.

И, не находя слов, Леонтьев растерянно и сконфуженно смотрел в это растроганное, доброе лицо, в эти необыкновенно кроткие теперь глаза, слегка увлажненные слезами.

Таким он никогда не видал адмирала. Он даже не мог представить себе, чтобы это энергическое и властное лицо могло дышать такой кроткой нежностью.

И только в эту минуту он понял этого «башибузука». Он понял доброту и честность его души, имевшей редкое мужество сознать свою вину перед подчиненным, и стремительно протянул ему руки, сам взволнованный, умиленный и смущенный, вновь полный счастья жизни.

Лицо адмирала осветилось радостью. Он горячо пожал руки молодого человека и сказал:

— И не подумайте, что давеча я хотел лично оскорбить вас. У меня этого и в мыслях не было... Я люблю молодежь,— в ней ведь надежда и будущность нашего флота. Я просто вышел из себя, как моряк, понимаете? Когда вы будете сами капитаном или адмиралом и у вас прозевают шквал и не переменят вовремя марселя, вы это поймете. Ведь и в вас морской дух... Вы — бравый офицер, я знаю... Ну, а мне показалось, что вы стояли, как будто вам все равно, что корвет осрамился, и... будто смеетесь глазами над адмиралом... Я и вспылил... Вы ведь знаете, у меня характер скверный... И не могу я с ним справиться!..— словно бы извиняясь, прибавил адмирал.— Жизнь смолоду в суровой школе прошла... Прежние времена — не нынешние!

— Я больше виноват, ваше превосходительство, я...

— Ни в чем вы не виноваты-с! — перебил адмирал.— Вам показалось, что вас оскорбили, и вы не снесли этого, рискуя будущностью... Я вас понимаю и уважаю-с... А теперь забудем о нашей стычке и не сердитесь на... на «бешеную собаку»,— улыбнулся адмирал.— Право, она не злая. Так не сердитесь? — допрашивал адмирал, тревожно заглядывая в лицо мичмана.

— Нисколько, ваше превосходительство.

Адмирал, видимо, успокоился и повеселел.

— Если вы не удовлетворены моим извинением здесь, я охотно извинюсь перед вами наверху, перед всеми офицерами... Хотите?..

— Я вполне удовлетворен и очень благодарен вам...

Адмирал обиял Леоитьева за талию и прошел с иим иесколько шагов по каюте.

— Присядьте-ка...

И, когда мичмаи присел, адмирал опустился иа диваи и, после иескольких секунд молчания, произиес:

— И зиаете ли, что я вам скажу, Сергей Александрович, ие как адмирал, а как старший товарищ, поживший и повидавший более вашего. Не будьте слишком строги и торопливы в приговорах о людях. Я слышал, что вы сегодня утром говорили в кают-компании... Слышал, каким вы хотели быть адмиралом! — усмехнулся Кориев.— Но только вы все вздор говорили... Положим, я требователеи по службе, школю всех вас, ио будто уж я такой отчаяииый деспот, каким вы меия расписывали, а?.. И зиаете ли что? Не услышь я случайио вашего разговора, были бы вы сегодия иа «Голубчике»! — иеожидаиио прибавил адмирал.

Леоитьев удивлеиио взглянул иа адмирала, иичего ие поиимая.

— Я имел иамереиие вас перевести иа «Голубчик», ио после вашего разговора ие перевел... А зиаете ли почему?..

— Не могу догадаться, ваше превосходительство.

— Чтоб вы ие подумали, будто я вас перевожу из-за того, что вы браиили своего адмирала... Теперь поияли?..

— Поиял,— отвечал мичмаи.

— И я рад, что так случилось... Очеиь рад, что будем вместе. Вы по крайиией мере убедитесь, что я ие такой уж тираи... Поживете, увидите настоящих злых... адмиралов... Тогда, быть может, и вспомиите добром такого, как ваш.

— Я иикогда ие забуду сегодняшиего дня, ваше превосходительство! — порывисто и с чувством произиес молодой человек.— Я никак ие ожидал, что вы... так сиисходительио отиесетесь к моему поступку... Я думал...

— Вы думали, что я в самом деле иадеиу иа вас матросскую куртку?.. Отдам вас под суд за то, что вы иазвали меия «бешеиой собакой»? — спросил, улыбаясь, адмирал.

— Призиаться, думал, ваше превосходительство.

— Плохо же вы зиаете своего адмирала! — с выражением ие то грусти, ие то иеудовольствия промолвил адмирал.— А, кажется, меия иетрудио узиать... Я перед всеми вами весь, каков есть... Вот если бы вы осмелились ослушаться моего приказания или были малодушиый или иечестиый офицер, позорящий честь флага, тогда я ие за-

думался бы строго наказать вас... Не пожалел бы. А в военное время и расстрелял бы офицера-труса или изменника! — энергично воскликнул адмирал, сверкнув глазами и сжимая кулаки...— Но губить молодого мичмана, да еще такого славного, только за то, что он такой же бешеный, как и его адмирал, и на дерзость ответил дерзостью... Как вы могли, как вы смели об этом думать... А еще неглупый человек, и так мало понимать людей?! Нет, любезный друг, я не обращаю внимания на такие пустяки и из-за них никого не губил... Не в них дело... Не в этом дух службы... Этим пусть занимаются какие-нибудь мелочные люди... какие-нибудь торгаши адмиралы, не любящие флота...

И с обычной своей экспансивностью адмирал стал излагать свои взгляды на службу, на ее дух, на отношения начальника к подчиненным, на связь, какая должна быть между ними. Разумеется, не обошлось без указаний на таких «незабвенных» моряков, как Нельсон, Лазарев, Нахимов и Корнилов...

Отпуская после этой интимной беседы молодого мичмана, адмирал сердечно проговорил:

— Помните, что во мне вы всегда найдете преданного друга... И впоследствии, если я вам могу быть в чем-нибудь полезен, идите прямо к прежнему своему адмиралу. Что могу, всегда сделаю... А сегодня прошу ко мне обедать... Вы любите поросенка с кашей?

— Люблю, ваше превосходительство.

— Так у меня сегодня поросенок с гречневой кашей! — весело проговорил адмирал.

Молодой мичман вышел из адмиральской каюты горячим поклонником беспокойного адмирала.

И спустя много лет, когда ему пришлось служить с более покойными «цензовыми» адмиралами новейшей формации, сколько раз и с каким теплым, благодарным чувством вспоминал он об этом «беспокойном» и жалел, что такого уже нет более во флоте...

— Эй, Васька! — крикнул адмирал, когда ушел Леонтьев, но крикнул как-то нерешительно, не так, как всегда.

Тот явился словно бы нехотя, еле передвигая ноги, недовольный и мрачный, с подвязанной черным платком щекой.

Адмирал покосился на подвязанную щеку, вспомнил, что, вернувшись в каюту после того, как бесился на палубе, он за что-то толкнул подвернувшегося ему Ваську, и виновато спросил:

— Ты щеку-то... зачем подвязал?

— Еще спрашиваете: зачем? — грубо отвечал Васька, зная, что адмирал теперь в таком настроении, что ему можно грубить безнаказанно.— Зачем?! Мне тоже даже довольно совестно показывать перед людьми свой срам...

— Какой срам?

— А синяк... В самый глаз давеча звезданули... Чуть выше — и вовсе глаза бы решился... И хоть бы за какую-нибудь вину... А то вовсе зря, из-за вашего бешеного характера...

Адмирал не ронял слова, и Васька, бросив быстрый лукавый взгляд своего неподвязанного глаза на адмирала, после паузы решительно проговорил:

— Как вам угодно, но только больше переносить от вас мук я не согласен. Это сверх сил моего терпения... Как, значит, придем в Нагасаки, извольте меня увольнить... Возьмите себе другого слугу.

— Кого я возьму? Что ты врешь там?

— Вовсе не вру... В Нагасаках дозвольте получить расчет.

— Ну, ну... не сердись... Не ворчи...

— Я не сержусь... Я знаю, что вы отходчисты, но все-таки обидно... Прямо в глаз!..

Адмирал вышел в соседнюю каюту и, вернувшись, подал Ваське большой золотой американский игль (в десять долларов) и сказал:

— Вот тебе... возьми... Не ворчи только...

Почувствовав в руке монету, Васька поблагодарил и после небольшого предисловия объявил, что он готов служить адмиралу. Он останется — разумеется, не «из антереса» («какой мне антерес?»), а только потому, что очень «привержен» к его превосходительству.

Проговорив эту тираду, Васька, однако, не уходил.

— Что тебе надо еще? — спросил адмирал.

— Маленькая просьбица, ваше превосходительство.

— Говори.

— Дозвольте взять ваше штатское пальтецо. Вы не изволите носить его. Оно зря висит... А я бы переделал.

— Бери.

— И пинжак у вас один совсем для адмиральского звания не подходит. А вашему камердинеру отлично бы! — продолжал Васька.

— Бери.

— Премного благодарен, ваше превосходительство.

— Большая ты каналья, Васька! — добродушно рассмеялся адмирал.

Васька осклабился, оскалил зубы от этого комплимента и вышел из каюты, весьма довольный, что «нагрел» адмирала, да еще за сравнительно пустой синяк, едва даже заметный.

И он немедленно же снял со щеки платок, надетый им специально для предъявления адмиралу бóльших требований после его гневного состояния, во время которого Васька, кажется, нарочно подвертывался под руку бушующего барина и получал, случалось, экстренные затрещины, чтобы после предъявить на них счет, разыгрывая комедию невинно обиженного человека.

И адмирал всегда откупался, так как, по словам Васьки, после того как отходил, бывал совсем «прост», и тогда проси у него что хочешь. Даст!

XV

Когда мичман Леонтьев появился в кают-компании, веселый и радостный, совсем непохожий на человека, собирающегося одеть матросскую куртку,— все поняли, что объяснение с адмиралом окончилось благополучно, и облегченно вздохнули, нетерпеливо ожидая сообщений Леонтьева.

По-видимому, более всех был рад за своего любимца старший офицер. Хоть он и не предвидел особых бед для дерзкого мичмана, но все-таки ждал неприятностей и думал, что Леонтьева вышлют с эскадры.

И его нахмуренное лицо озарялось доброй улыбкой, и маленькие близорукие глаза заискрились радостью, когда он спросил, уверенный по веселому виду мичмана, что все обошлось:

— Под арест, значит, уж не нужно, Сергей Александрович?

— Не нужно, Михаил Петрович, не нужно... Сегодня звач к адмиралу обедать.

— Обедать?! — воскликнул тетка Авдотья и совсем выкатил свои ошалелые глаза.— Вот так ловко!

— И вы остаетесь на эскадре?

— В Россию не едете?

— И ничего вам не будет?

— Остаюсь... и ничего мне не будет! — отвечал на бросаемые ему со всех сторон вопросы молодой человек.

— Невероятно! — пробасил артиллерист.

— Удивительно! — счел долгом удивиться даже и доктор.

Штурман значительно и торжествующе улыбался: «Дескать, что я вам говорил?»

— Но, верно, он пушил вас, Сереженька?.. Здорово, а? — спрашивал Снежков.

— И не пушил... Знаете ли, господа, ведь мы совсем не знаем адмирала. Я только что сейчас его узнал... Какая справедливая душа! Какая порядочность! — восторженно восклицал мичман, присаживаясь у стола.

— Влюбились в него теперь? — иронически заметил ревизор.

— Да, влюбился,— вызывающе проговорил молодой человек.— Влюбился и буду теперь стоять за него горой и охотно прощаю ему и его крики и минуты бешенства... Он — человек! И я был болван, считая его злым и мстительным. Торжественно заявляю, господа, что был болван!

— Да вы расскажите толком, что такое случилось? Как это вы вдруг обратились в христианскую веру? — нетерпеливо заметил доктор.

— Рассказывайте, рассказывайте, Сереженька.

— Что случилось? А вот что: он извинился передо мной, и если б вы знали, как искренне и сердечно. Он... адмирал... Понимаете?

Эти слова вызвали общее изумление.

Действительно, господам морякам, привыкшим к железной дисциплине, трудно было понять, чтобы адмирал, получивший дерзость, мог первый извиниться. Он мог простить ее, но не просить прощения у подчиненного. Это казалось чем-то диковинным.

— И мало того,— порывисто продолжал мичман,— он понял, что я вызван был на дерзость его дерзостью, и не считает меня виноватым... Скажите, господа, многие ли начальники способны на это?.. Ведь надо быть очень порядочным человеком, чтоб поступить так...

Когда Леонтьев подробно передал свое объяснение с адмиралом, в кают-компании раздались восторженные одобрения. Все решили, что хотя с беспокойным адмиралом и тяжело подчас служить и он бывает бешеный, но что он добрый и справедливый человек, достойный глубокого уважения.

И в этот самый день, когда адмирал бесновался как сумасшедший и после извинился пред мичманом, сказавшим ему дерзость, на «Резвом» незримо для всех крепла духовная связь между беспокойным адмиралом и его подчиненными, оставшаяся на всю жизнь добрым и поучи-

тельным воспоминанием о «человеке» — воспоминанием, которым — увы! — едва ли похвалятся современные адмиралы, вырабатывающие свои отношения к подчиненным лишь на безжизненной букве устава или на торгашеских правилах «ценза», хотя бы весьма корректные и никогда не увлекающиеся профессиональным гневом.

Пока в кают-компании шли разговоры об адмирале, он вышел из каюты и разгуливал взад и вперед по шканцам, кидая по временам быстрые взгляды на рыжего мичмана Щеглова, стоявшего на мостике.

Расстроенный и подавленный вид молодого моряка возбуждал в адмирале участие. Он понимал, что должен был переживать молодой самолюбивый офицер, свершивший такое «преступление», как он. И это его отчаяние и вызывало в адмирале сочувствие и заставляло простить его вину, вселяя в адмирале уверенность, что моряк, так сильно потрясенный, уж более не прозевает шквала, и что, следовательно, отрешить его от командования вахтой, как он собирался, было бы напрасным лишним оскорблением и без того оскорбленного самолюбия.

И адмирал поднялся на мостик, подошел к Щеглову и как ни в чем не бывало спросил:

— Как ход-с?

— Десять узлов, ваше превосходительство!

В голосе мичмана звучала виноватая нотка.

Адмирал поднял голову, осмотрел паруса и заметил:

— Отлично-с у вас стоят паруса...

Этот комплимент, который в другое время порадовал бы мичмана, теперь, напротив, заставил его только вспыхнуть. Он напомнил ему о парусах, потерянных по его вине, и казался ему какою-то насмешкой.

«Уж лучше бы *он* опять разнес и назвал прачкой!» — подумал мнительный и нервно настроенный моряк.

Адмирал, казалось, понял и это. Ему стало жаль молодого человека. И он мягко промолвил:

— Не следует падать духом, любезный друг... Вы получили тяжелый урок и, конечно, им воспользуетесь... Беда у всех возможна... И вам только делает честь, что вы так близко приняли ее к сердцу... Это доказывает, что в вас морская душа бравого офицера... Да-с!

Молодой мичман, все еще думавший, что ему место только в «прачках», ожил от этих ободряющих слов адмирала и в эту минуту желал только одного: чтобы на корвет немедленно налетел самый отчаянный шквал. Он показал бы и адмиралу и всем, как лихо бы он убрался.

Но горизонт со всех сторон был чист, и мичман мог только взволнованно проговорить:

— Я, ваше превосходительство, поверьте... заглажу свою вину... Вы увидите...

— Не сомневаюсь... И скажу вам, что на ваших вахтах я буду спокойно спать! — проговорил адмирал и спустился с мостика.

Мичман, не находя слов, благодарно взглянул на адмирала, оказывающего ему такое доверие, и окончательно почувствовал себя снова неопозоренным моряком, могущим оставаться на службе.

И адмирал не ошибся. Действительно, он мог потом спокойно спать на вахтах Щеглова, так как после этого дня на корвете не было более бдительного вахтенного начальника.

Ободряющие, вовремя сказанные слова отчаявшемуся молодому моряку сохранили флоту хорошего офицера и были убедительнее всяких выговоров и арестов и всего того мертвящего формализма, который особенно губителен во флоте.

Николай Афанасьевич долго кейфовал у себя в каюте и не показывался наверху, чтобы не встретиться с адмиралом.

Наконец он послал вестового за старшим офицером, и когда тот присел в капитанской каюте, капитан спросил:

— Ну что, Михаил Петрович, адмирал отошел?

— Отошел, Николай Афанасьич... Только что с Леонтьевым объяснился и извинился перед ним.

Монте-Кристо пожал плечами и, улыбаясь, сказал:

— Сумасшедший!.. С ним ни минуты покоя... Значит, и нас с вами не отдаст под суд?

— Мало ли что он скажет...

— Ну и накричался же он сегодня... Уф! — отдувался Николай Афанасьевич.— И главное: почему, скажите на милость, наш корвет — кафешантан? — внезапно раздражился капитан, вспомнив обидные слова адмирала.— Что он нашел в нем похожего на кафешантан, а?.. Ведь это черт знает что такое...

— Осрамились мы сегодня, Николай Афанасьевич, надо сознаться.

— Да... все из-за Щеглова... И потом этот фор-марсель... Отчего его долго не несли?

— Подшкипер в спешке не мог его найти...

— Экая каналья... Но все-таки: почему же кафешантан? Кажется, у нас корвет в порядке...

— Кажется,— скромно отвечал старший офицер.

— Нет, решительно с ним невозможно служить... Если он будет так продолжать, я, Михаил Петрович, попрошусь в Россию... Надоело... Но пока это между нами... «Распустил офицеров!»... Не ругаться же мне, как боцману... Что значит: «распустил»?..

Капитан еще несколько времени изливался перед старшим офицером и, когда тот ушел, снова улегся на диван и морщился при мысли, что после сегодняшних треволнений придется идти обедать к беспокойному адмиралу. Правда, обеды у него отличные и вино хорошее, но...

— Нет... почему кафешантан? — воскликнул снова Монте-Кристо и никак не мог сообразить, что этим хотел сказать адмирал.

XVI

Адмирал обедал в шесть часов. Стол у адмирала был обильный и вина превосходные. В море у него каждый день обедало человек десять. Кроме постоянных его гостей — командира, флаг-капитана и флаг-офицера, обедавших у адмирала ежедневно, приглашались: вахтенный начальник, вахтенные гардемарины и кондуктор, стоявшие на вахте с четырех часов до восьми утра и, по очереди, два или три офицера из числа остального персонала кают-компании. Довольно часто кто-нибудь приглашался и экстренно, не в очередь. По воскресеньям, случалось, адмирала приглашали офицеры обедать в кают-компанию.

Все на «Резвом» хорошо знали, что адмирал не любил, когда приглашенные являлись ранее назначенного времени. Он держался английских обычаев и допускал опоздание минут на пять, но никак не появление гостя хотя бы минутой раньше.

Вначале, когда еще не всем были известны эти «правила», один мичман, приглашенный к адмиралу, желая быть вполне корректным, по его мнению, пришел в адмиральскую каюту минут за восемь и был принят далеко не с обычной приветливостью радушного и гостеприимного хозяина.

Молча протянул адмирал гостю руку, молча указал пальцем на диван, присел сам и, видимо, чем-то недовольный, упорно молчал, подергивая плечами и теребя щетинистые усы.

В отваге отчаяния гость решился завязать разговор и сказал:

— Отличная сегодня погода, ваше превосходительство...

Вместо ответа адмирал только покосился на мичмана и после паузы проговорил:

— А знаете ли, что я вам скажу, любезный друг?..

«Любезный друг», успевший уже изучить другие привычки «глазастого черта», взглянул на него с некоторой душевной тревогой.

И по тону и по упорному взгляду круглых, выкаченных глаз адмирала гость предчувствовал, что адмирал, во всяком случае, не имеет намерения сказать что-либо приятное.

«Уж не хочет ли он перед обедом разнести?»

И он мысленно перебирал в своей памяти все могущие быть за ним служебные вины, за которые могло бы попасть.

Адмирал между тем проговорив обычное свое предисловие, остановился как бы в раздумье.

Так прошла еще секунда-другая тяжелого молчания. Гость чувствовал себя не особенно приятно.

Наконец адмирал, видимо бессильный побороть желание выразить свое неудовольствие и в то же время придумывая возможно мягкую форму его выражения, продолжал:

— У вас, должно быть, часы бегут-с, вот что я вам скажу.

Молодой человек, совсем не догадывавшийся, к чему клонит адмирал, и несколько изумленный таким категорическим мнением о неверности его отличного «полухронометра», торопливо достал из жилетного кармана часы, взглянул на них и поспешил ответить:

— У меня совершенно верные часы, ваше превосходительство... Без пяти минут шесть.

— А я, кажется, любезный друг, приглашал вас обедать в шесть часов?

— Точно так, в шесть! — промолвил мичман, все еще не догадываясь, в чем дело.

— Так вы и должны были прийти ровно в шесть! — отрезал адмирал.

Мичман, наконец, догадался.

— Виноват, ваше превосходительство... я не знал... я уйду-с...

И с этими словами он стремительно сорвался с места, словно бы в диване оказалась игла, готовый немедленно исчезнуть.

— Куда уж теперь уходить! Садитесь! — приказал адмирал.

Сконфуженный молодой человек покорно опустился на диван.

И беспокойный адмирал, облегчив свою душу, тотчас же успокоился и заговорил уже более мягким тоном:

— Я позволил себе заметить вам, любезный друг, об этом для того, чтобы вы вперед знали, что если вас зовут в шесть, то и надо приходить в шесть.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Вот англичане деловой народ и понимают цену времени. У них принято являться в назначенное время, ни минутой раньше. И это, по-моему, умно, весьма умно... А то хозяин может быть занят мало ли чем — бреется, например, а гость лезет не вовремя. Согласитесь, что это неделикатно. Наконец, хозяин просто может не быть дома до назначенного времени, а вы пришли и сидите один, как болван... Ведь это неприятно, а? Не правда ли?

— Совершенно верно, ваше превосходительство.

— А виноват не хозяин, а гость... Не приходи раньше времени. Надеюсь, вы согласны со мной?

Еще бы не согласиться!

И мичман поспешил выразить полнейшее согласие.

— А я все-таки рад вас видеть, очень рад,— любезно говорил адмирал, снова пожимая руку опешившему мичману.— Да что вы не курите?.. Курите, пожалуйста.

Нечего и прибавлять, что после такого внушения все господа офицеры, гардемарины и кондукторы «Резвого» стали неукоснительно держаться английских обычаев.

И в этот день, полный таких позорных неудач и еще не вполне пережитых волнений, разумеется, никто не осмелился явиться в адмиральскую каюту секундой раньше назначенного времени.

Один за другим являлись приглашенные к обеду моряки, приодевшиеся и прифранченные, как только что пробило шесть часов.

Монте-Кристо, румяный и представительный, с холеными черными усами и баками, в расстегнутом белом кителе и ослепительном жилете, обрисовывавшем изрядное брюшко, имел сегодня сдержанный, официально-серьезный вид недовольного человека, не забывшего, что корвет, которым он командует, назван кафешантаном.

Выражение его красивого лица, обыкновенно веселое и добродушное, было строго и внушительно и, казалось,

говорило: «Я пришел сюда обедать потому, что того требует долг службы, а вовсе не по своему желанию».

И старший офицер Михаил Петрович, приглашенный по очереди вместе с доктором и старшим штурманом, был несколько угрюм. «Позорная» перемена фор-марселя до сих пор волновала его морское самолюбие.

Зато белобрысый плотный доктор с гладко причесанными вперед височками весело и умильно посматривал на небольшой стол, уставленный соблазнительными закусками, предвкушая удовольствие хорошо покушать.

Старший штурман, человек вообще застенчивый, както бочком вошел в каюту, поздоровался с адмиралом и поскорей отошел в сторону и стоял с выражением той философски-спокойной покорности судьбе на своем серьезном, красноватом, морщинистом лице, какое обыкновенно бывает у штурманов — этих пасынков морской службы,— когда они находятся перед лицом начальства.

Владимир Андреевич Снежков, стоявший на вахте с четырех до восьми часов утра и потому обязанный обедать у адмирала, перекрестившийся несколько раз перед тем как войти в каюту, оправивший волосы и закрутивший свои рыжие усы, вошел весь красный, взволнованный и вспотевший, раскланялся с адмиралом и, почувствовав обычную робость, с ошалелым видом юркнул в кружок молодых людей, стоявших отдельно и тихо разговаривавших. Стоявшие с ним утреннюю вахту приземистый и лобастый гардемарин дядя Черномор и старавшийся подражать Базарову штурманский кондуктор Подоконников скрыли тетку Авдотью от глаз адмирала вместе с экстренно приглашенным мичманом Леонтьевым и гардемарином Ивковым.

— Кажется, все? — проговорил адмирал, озираясь, когда в каюте появился Ратмирцев, как всегда элегантный, в своем адъютантском сюртуке с аксельбантами, чистенький, гладко выбритый, с прилизанными белокурыми волосами, с безукоризненными ногтями своих белых, холеных рук, на мизинцах которых блестело по кольцу,— неся вместе с собой душистую струйку духов.

— Все, ваше превосходительство! — поспешил доложить флаг-офицер Вербицкий.

— Покорно прошу, господа, закусить. Николай Афанасьевич! Пожалуйте... Михаил Петрович... Иван Иваныч... Доктор...

— Вы ведь померанцевую, Николай Афанасьевич? — особенно любезно спрашивал адмирал.

— Померанцевую, ваше превосходительство! — официально-сухим тоном отвечал Монте-Кристо, подходя к столу и чувствуя при виде обилия и разнообразия закусок, что у него текут слюнки и начинает уменьшаться обида на адмирала.

А адмирал, видимо ухаживая за Николаем Афанасьевичем, которого хотел отдать под суд, и словно бы желая особенным к нему вниманием заставить забыть его и «кабак», и «кафешантан», и вообще все бешеные выходки утра, сам налил сегодня капитану рюмку померанцевой и, подавая ее, проговорил:

— Сегодня Васька отыскал последнюю жестянку икры... Позвольте вам положить, Николай Афанасьич.

— Не беспокойтесь, ваше превосходительство.

Но адмирал уже наложил на тарелочку огромную порцию паюсной икры, величина которой как будто соответствовала внутренней потребности адмирала загладить свою несправедливость перед капитаном, который, при всех своих недостатках, все-таки был лихой моряк, и, передавая тарелочку, сказал:

— Не знаю, хороша ли? Вы ведь знаток, Николай Афанасьич...

Монте-Кристо опрокинул в себя рюмку водки и закусил икрой.

— Прелесть, ваше превосходительство! — проговорил Николай Афанасьевич, проглатывая кусок с видимым наслаждением.

И эта особенная внимательность адмирала, и превосходная икра, и вид всех этих вкусных закусок, возбуждавших в Николае Афанасьевиче самые приятные ощущения, заметно смягчили сердце мягкого и добродушного Монте-Кристо, и лицо его уже расплывалось в широкую, довольную улыбку, а его сузившиеся глаза зажглись плотоядным огоньком завзятого гурмана и чревоугодника.

Он не просто ел, а как-то особенно — не спеша и смакуя, точно совершая торжественный культ чревоугодия.

— Еще рюмку, Николай Афанасьевич?.. Рекомендую вам русские грибки...

— Что ж, можно, ваше превосходительство. У вас померанцевая отличная... Не беспокойтесь, ваше превосходительство...

Адмирал уже налил рюмку и, обращаясь затем к своему флаг-офицеру, который заведовал его хозяйством и, к немалой досаде Васьки, закупал вина и другие запасы, сказал:

— Вербицкий! Смотрите, чтоб у нас всегда была померанцевая. Берегите ее для Николая Афанасьевича и не давайте ее пить гардемаринам... Молодые люди могут пить другую...

— Есть, ваше превосходительство!

Тронутый Монте-Кристо окончательно простил беспокойному адмиралу «кафешантан» и после грибков усердно занялся омаром под провансальским соусом...

— Иван Иваныч! Что ж вы одну рюмку? Наливайте себе другую! — обратился адмирал к старшему штурману.

— Не много ли будет, ваше превосходительство? — пошутил старый штурман, вливавший в себя ежедневно значительное количество портеру и марсалы совершенно безнаказанно, и, опрокинув изрядную рюмку водки, отошел в сторонку.

— А вам померанцевая тю-тю! — шепнул, смеясь, Ивков Подоконникову.

— Вы что там смеетесь, Ивков?.. Закусывайте.

— Я говорю, ваше превосходительство, что померанцевая нам с Подоконниковым не по чину.

— Ишь, зубоскал! — рассмеялся адмирал...— Ваш чин, любезный друг, такой, что вы можете пить водку, какую вам дадут, и не больше одной рюмки... Ну, уж так и быть, налейте себе померанцевой...

— Да я никакой не пью.

— Чего ж вы хлопочете?

— Я за Подоконникова, ваше превосходительство. Он ее очень любит!

— Ну, так налейте Подоконникову... Он вот и сигары любит, и померанцевую, хотя ничего в них не понимает... А вы что же, Владимир Андреич, не закусываете? Пожалуйте к столу.

Лейтенант Снежков рванулся к столу, словно лошадь, получившая шенкеля.

— Какой вам налить, Владимир Андреич?

— Какой прикажете, ваше превосходительство,— ответил, весь краснея, тетка Авдотья.

— Однако? Тут пять сортов...

— Все равно-с, ваше превосходительство!

— Да ведь и мне все равно, какой вам налить! — нетерпеливо и раздражительно воскликнул адмирал, который терпеть не мог неопределенных ответов.

Лейтенант совсем смутился и не знал, какую водку назвать. В горле у него точно пересохло. Глаза выкатились и смотрели совсем ошалело.

— Я... я, ваше превосходительство,— начал было он.

— Владимир Андреич пьет очищенную, ваше превосходительство! — поспешил выручить Снежкова старший офицер.

— Так бы и сказали, а то — «все равно»!.. А я налил бы вам другой... Не угодно ли? — говорил адмирал, подавая лейтенанту рюмку.— Да что ж вы не закусываете? — остановил его гостеприимный хозяин, заметив, что Снежков, проглотив рюмку, хотел снова юркнуть.— Прошу покорно... Да берите икру, Владимир Андреич... Кушайте икру! — почти приказывал беспокойный адмирал, увидав, что Снежков торопливо тыкал вилкой в тарелочку с селедкой.— Икра — редкая здесь закуска... Берите!..

Снежков уж поймал, наконец, кусок селедки, сунул его в рот, проглотил не жевавши и потянулся к икре, посматривая в то же время на адмирала напряженно, растерянно и боязливо, точно сбитый с толку ученик на учителя.

— Постойте, я вам положу, а то вы... вы ужасно копаетесь, Владимир Андреич, я вам скажу, и не даете Аркадию Дмитричу выпить его любимого аллаша...

— Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство, я успею! — изыскано-почтительно, отчеканивая слова, промолвил Ратмирцев и наклонил голову в знак благодарности за внимание к нему, слегка изогнувшись всем станом и приложив тонкую белую руку к груди.

Все это он проделал необыкновенно красиво и изящно, словно бы показывая всем присутствующим, что значит человек с изящными манерами, и когда Снежков, получив из рук адмирала тарелочку, отскочил, наконец, от стола, обливаясь потом и красный как рак, точно выйдя из бани,— Аркадий Дмитриевич налил себе крошечную рюмку аллаша, взял ее двумя пальцами, грациозно отставив остальные, и не спеша выпил, закусил крошечным кусочком икры и отошел назад.

— Это, верно, так полагается по-придворному? — шепнул Ивков своему приятелю.

— Противно на него смотреть! И ведь как задается![1] — отвечал Подоконников.

— Удивляюсь, Аркадий Дмитрич, как вы любите такую дрянь, как аллаш! — неожиданно заметил адмирал.

---

[1] На морском жаргоне «задаваться» — значит выставляться, поднимать нос. *(Примеч. автора.)*

— У всякого свой вкус, ваше превосходительство...

— То-то я и удивляюсь вашему вкусу... А впрочем, в Петербурге многие гвардейцы любят этот аллаш. Вот Иван Иваныч, я полагаю, так не любит, а?

— Я, ваше превосходительство, люблю, чтобы водка — так водка... Горечь чтобы была-с,— отвечал старый штурман, посматривавший на «наперсток» Ратмирцева и на него самого с чувством глубочайшего тайного презрения, как на человека совершенно пустого, заносчивого и неспособного.

— Не смею спорить, ваше превосходительство, особенно с таким авторитетным человеком в этом деле, как почтеннейший Иван Иванович,— проговорил любезно-мягким тоном «придворный суслик», взглядывая на старого штурмана с снисходительно-любезной небрежностью, как на человека совершенно другой и низшей расы. Ратмирцев искренне был убежден, что штурман — это нечто мизерное и терпимое только в море.

Старый почтенный штурман, всю жизнь свою честно тянувший лямку и пользовавшийся уважением и адмирала и всех своих сослуживцев, понял, конечно, и этот намек на то, что он любит выпить, почувствовал и этот высокомерный взгляд, но ничего не ответил: «Не стоит, дескать, связываться!»

И словно бы желая показать, что не обращает ни малейшего внимания на намек Ратмирцева, подошел к столу и налил себе третью рюмку водки.

— И я с вами, Иван Иванович! — весело сказал капитан.

— Вистнете-с, Николай Афанасьич?

— Вистну!..

Адмирал продолжал угощать и всем накладывать икры, хотя и не в таком количестве, как капитану и старшему офицеру, и был, видимо, доволен, что и Николай Афанасьевич и старший офицер как будто на него не сердятся.

— Прошу садиться, господа! — весело проговорил он, когда Васька и его подручный, молодой вестовой Гаврилов, оба в белых нитяных перчатках, расставили тарелки с супом.

По правую руку адмирала сел Николай Афанасьевич, а по левую Ратмирцев, затем старший офицер, старший штурман, доктор и остальные. Молодежь сидела на «баке», то есть на другом конце стола, где прямо против адмирала сидел флаг-офицер, на обязанности которого было, между

прочим, разрезывать птицу, когда таковая подавалась на жаркое, и наливать гостям на «баке» вино.

Обед был превосходный, особенно принимая в соображение, что «Резвый» уже две недели был в море. После супа с пирожками была подана консервованная лососина, превосходно приготовленная с разнообразным гарниром. Адмирал зорко следил, чтобы все ели, и часто кричал Вербицкому, что около него у гостей пустые рюмки.

И за обедом адмирал, видимо, особенно ухаживал и за Николаем Афанасьевичем и за старшим офицером, то и дело подливая и тому и другому вина в различные рюмки, красовавшиеся у приборов и прежде, бывало, сбивавшие с толку многих гардемаринов, пока адмирал не научил их, какое вино и в какие рюмки следует наливать.

Когда подали поросенка с гречневой кашей, Монте-Кристо, уже слегка размякший после нескольких рюмок хереса, портвейна и красного бургонского, совершенно забыл о «кафешантане» и о своем намерении проситься в Россию, тем более, что адмирал весьма кстати вдруг припомнил, как однажды у них на корабле «Наварине», которым командовал *сам* Павел Степанович Нахимов, на глазах у всей эскадры долго не могли переменить марселей.

— Шкипер, каналья, виноват был...

— И что же, ваше превосходительство, Павел Степанович задал такую же гонку, как и вы нам сегодня? — спросил, улыбаясь, Монте-Кристо.

— А вы все еще не забыли?.. Экий злопамятный! Ну, мало ли иногда что бывает?.. Разве сами-то вы сегодня не сердились в душе... Разве вам не было обидно-с?.. Спросите-ка у Михаил Петровича, как ему досадно было... Не так ли, Михаил Петрович?..

— Совершенно верно, ваше превосходительство...

— То-то и есть... Мы, моряки, всё слишком горячо принимаем к сердцу... в этом-то и сказывается любовь к делу, хоть часто мы и беснуемся из-за пустяков... Но и пустяки иногда важны... да-с... Эй, Васька! Подавай еще поросенка Сергею Александровичу... Он любит поросенка с кашей... Кушайте, Сергей Александрыч!..

Разговоры оживились к концу обеда. Адмирал рассказал, как однажды в Черном море два капитана держали пари на легавого щенка, кто скорей снимется с якоря.

— Так что бы вы думали сделал Ивков, покойный брат нашего зубоскала?..

— А что, ваше превосходительство?

— Вндит он, что шкуна, с командиром которой он держал пари, его обгоняет, все гребные суда подняла, а у иего еще баркас не поднят... Он, чтобы выиграть время, велел баркас утопить, оставив на месте буек, поднял якорь, поставил паруса и был таков иа своем тендере... щенка-то н выиграл... После уж он сам прнзиался, на какой пошел фокус... Фокус-то фокусом, а находчнвость... Такой командир н с непрнятелем найдется... Вот что значнт — школа черноморская...

В свою очередь, и Монте-Крнсто рассказал, как они на фрегате «Коршуи» «втирали очки» одному адмиралу.

После пнрожного адмнрал попросил всех пересесть на диваны. Подалн лнкеры н кофе.

Адмнрал взял под руку Николая Афанасьевнча н, отводя его в сторону, тнхо сказал:

— А вы уж со Щеглова не взыскнвайте, Николай Афанасьич... прошу вас... Он н так наказан... И вообще... на меня не серднтесь... Мало лн что скажешь... Я ведь знаю, что корвет у вас в порядке...

Монте-Кристо ушел от адмнрала прнмнреиный с ним. Скоро н адмиралу прншлось убедиться, что Монте-Крнсто в крнтические мннуты — образцовый капнтан, н это заставнло адмнрала сннсходительиее отиоситься к его недостаткам.

Когда вслед за капнтаном все сталн откланиваться, адмнрал, веселый н довольный, благодарил всех за посещенне н, когда к нему подошел Леонтьев, крепко пожал ему руку н сказал:

— Так мы теперь друзья, ие правда ли?

— Друзья, ваше превосходнтельство! — отвечал, улыбаясь, Леоитьев.

XVII

На корвете все, кроме вахтеиных, крепко спали.

Был второй час чудиой южной лунной ночи. «Резвый» бесшумно иесся вперед, неся почти все паруса.

Мнчман Леонтьев, стоявший на вахте, шагал по мостику, зорко поглядывая по стороиам и нзредка покрикивая:

— Вперед смотреть!

Вдруг на мостике внезапио показалась фнгура адмирала. Он был заспанный, в кителе н в туфлях, одетых на босую ногу.

Постояв минуту-другую, он подошел к Леонтьеву и тихо сказал:

— Вызовите барабанщика, да чтобы без шума.

— Есть!

Через минуту явился барабанщик.

— Пожарную тревогу! — приказал адмирал.

Раздалась тревожная, призывная, долго не умолкавшая дробь.

И не прошло и двух минут, как весь корвет ожил. Раздался топот сотен ног, доносились окрики боцманов. Все стремглав летели по своим местам. Еще минуты две, и все палубы были освещены, все брандспойты готовы, и крюйт-камера в несколько мгновений могла быть затоплена.

Испуганные выскочили капитан и старший офицер, спрашивая у Леонтьева, в каком месте пожар.

— Нигде... Адмирал,— тихо произнес он, указывая на адмирала.

— Ну, пойдемте, господа, посмотрим,— сказал адмирал, обращаясь к капитану и старшему офицеру,— как мы приготовились к пожару... Собрались люди молодцами, как следует на военном судне!

Адмирал в сопровождении капитана и старшего офицера обошел весь корвет. Все было найдено им в образцовом порядке. Все люди по местам. Все инструменты в исправности.

Поднявшись наверх, адмирал приказал поставить команду во фронт и, обходя фронт, благодарил матросов.

— Рады стараться, ваше-ство! — раздалось среди океана.

Затем адмирал велел собраться всем офицерам на шканцах и сказал:

— Видно, что исправное военное судно... От души благодарю вас, Николай Афанасьевич, и вас, Михаил Петрович, и всех вас, господа... Аркадий Дмитриевич!.. Завтра отдайте приказ по эскадре! Спокойной ночи! Распустите команду.

С этими словами адмирал скрылся.

Через пять минут на корвете снова царила тишина, и «Резвый» разрезал своей грудью океанские волны, попрежнему безмолвный и, казалось, заснувший.

XVIII

Через несколько дней «Резвому» пришлось выдержать жесточайшую «трепку».

Это была одна из тех, по счастию, редких трепок, которые наводят ужас даже на самых опытных и бесстрашных моряков и не забываются ими во всю жизнь. Особенно отзываются они на капитанах. Они, сознающие, что от их находчивости, умения и энергии зависит жизнь сотен людей, переживают ужасные часы в страшном напряжении нервов и, случается, нередко в одну ночь седеют и преждевременно стареются. Вспоминая о таких испытаниях впоследствии, они обыкновенно становятся серьезны и говорят:

— Да, трепануло-таки нас порядочно!

Но, разумеется, слушатель-неморяк и не догадается, сколько скрыто драмы в этих немногих словах и сколько пережито было в такие дни или ночи.

«Резвый» приготовился к встрече тайфуна под штормовыми парусами, но дьявольский шторм продолжался двое суток.

В течение этого времени капитан «Резвого» спал несколько часов,— вернее, не спал, а дремал тут же наверху, в штурманской рубке, и после снова поднимался на мостик. Напряженный и страшно серьезный, Монте-Кристо лично распоряжался управлением «Резвого», командуя рулевым и зорко наблюдая, чтобы громадные валы не залили корвет, метавшийся с болезненным скрипом среди разъяренных волн.

Положение было серьезное.

Бывали минуты,— и эти минуты сознавались всеми,— когда «Резвый», казалось, изнемогал в этой долгой борьбе с озверевшей стихией. Малейшая неосторожность со стороны капитана, потеря присутствия духа — и корвет мог бы погибнуть. Это чувствовалось всеми... это написано было на бледных лицах матросов, в широко раскрытых глазах, устремленных на мостик...

Но Монте-Кристо, словно бы весь преображенный, хладнокровный и решительный, страшно напряженный и совсем не похожий теперь на легкомысленного, веселого и ленивого жуира, полный энергии и сил, неустанно и внимательно следил за каждым движением «Резвого», направляя его вразрез волнам и уклоняясь от их нападений.

Необыкновенно яростный порыв освирепевшей бури, достигшей, по-видимому, своего апогея, повалил грот-мачту. Она с треском закачалась, склонилась и упала на подветренный борт. Корвет лег на бок. Минута была критическая.

— Очистить скорей! — громовым голосом крикнул капитан в рупор.

Старший офицер Михаил Петрович уже был там, у свалившейся мачты. Несколько ударов топоров, и мачта, освобожденная от вант, была за бортом.

Корвет снова поднялся, и лицо Монте-Кристо, напряженное до последней степени, прояснилось.

— Слава богу!..— невольно прошептал он. И губы его вздрагивали.

Беспокойный адмирал, видавший на своем веку виды, был угрюмо-спокоен. Он тоже не покидал мостика и стоял, уцепившись за поручни, безмолвный, ни разу не вмешиваясь в распоряжения капитана. Они были безукоризненны, и адмирал за эти два дня, внутренне любуясь Монте-Кристо, вполне убедился в том, что Николай Афанасьевич лихой и энергичный капитан, особенно в критические минуты, и что он, этот сибарит и жуир, сумеет умереть рыцарем долга, если бы пришлось.

И два штормовые дня сблизили эти две противоположные натуры. Беспокойный адмирал проникся невольным уважением к мужественному и лихому капитану и прощал все его недостатки.

Не раз предлагал он ему спуститься вниз и отдохнуть.

— Я за вас постою, Николай Афанасьич... Вы утомились.

— Место капитана здесь, на мостике, и я его не оставлю, пока корвет в опасности! — отвечал Монте-Кристо.

И голос его звучал энергией. И тон его был совсем не такой, каким он говорил обыкновенно с адмиралом. В нем было что-то властное и сильное, словно бы подчеркивающее, что он — капитан, и на нем лежит вся ответственность за судно и за экипаж.

Зато адмирал то и дело посылал за Васькой и приказывал ему приносить наверх разные закуски и вина для Николая Афанасьевича, чтобы он подкрепился. Но Монте-Кристо был слишком нервно напряжен и не ощущал голода. Он в эти два дня довольствовался несколькими галетами, которые запивал портвейном.

Когда, наконец, к концу второго дня шторм стал зати-

хать и корвет был вне опасностн, капнтан попроснл Мнхаила Петровича его сменить на мостике н, отдав прнказанне вахтенному начальиику не будить его без особенной иадобностн, спустился, наконец, с мостика.

Лицо его осунулось н, казалось, постарело. Впавшне глаза, уже ие горевшие блеском возбуждення, былн утомлены н безжнзиеины. Вся его фнгура казалась какою-то вялою и леиивою, нисколько ие иапомннавшею ту энергичную, которая пленяла всех еще несколько минут тому назад.

— Не хотите лн закуснть, Николай Афанасьич? Я велю сейчас подать вам! — предложил адмирал, только что вышедший нз каюты.

— Покорио благодарю, ваше превосходительство. Я ничего не хочу...

— Не прислать ли вам чего-инбудь в каюту, Николай Афаиасьнч, а? Ведь вы иичего не елн? Есть недурная ветчина, омары, честер, страсбургский пирог, копченая лососниа. И у меня сохранилась одна бутылка превосходной редкой мадеры... Я получнл в подарок несколько бутылок этого вина в прошлое плаванне, когда был иа Мадере... Одна бутылка осталась... Позвольте вам прислать.

— Если позволнте, завтра, ваше превосходительство, я с удовольствнем воспользуюсь вашнм любезным предложеиием, а теперь я смертельно хочу спать.

— Ну, идите... нднте... Только позвольте вам сказать, Николай Афанасьнч, что я, как моряк, все время любовался вашими распоряженнямн и гордился, что у меия в эскадре такой капнтан. Да-с. Только с такнмн командирамн, как вы и как комаидир «Голубчика», можио было выйти с честью нз такого анафемского шторма, н я счнтаю своим долгом горячо благодарить вас за спасение корвета н людей! — взволиоваиио проговорил адмирал н как-то особенно сердечио н крепко пожал руку Монте-Крнсто.— Такне дии ие забываются! — прнбавил он.— Спокойной ночн. Выспнтесь хорошенько. Завтра, если стнхнет, разведем пары и к вечеру будем в Нагасаки.

Моите-Кристо был польщен словами адмнрала, но ннчего на ннх ие ответил н тороплнво спустился в свою каюту.

— Уф! — облегченно н радостно вздохнул ои при вcovered внде чнстой н свежей постели, которая в эти минуты составляла еднвственный предмет его желаинй. Ничего другого не существовало для него. Он точио забыл все, что только

что произошло, все, что он пережил в эти двое суток... Нервы словно бы притупились...

И он, обессиленный, раздетый вестовым, с наслаждением бросился на мягкую койку и в ту же минуту заснул как убитый.

XIX

К утру следующего дня значительно стихло. Ветер ослабевал. Черные клочковатые тучи чернели на горизонте, и из-за перистых облачков то и дело показывалось ослепительное жгучее солнце. Старший штурман Иван Иванович уже поспешил взять высоты, чтобы сделать астрономические вычисления и точно определиться. И то два дня без наблюдений. Это его смущало.

Покачиваясь на затихавшем, но все еще сильном волнении, «Резвый» и «Голубчик» шли в близком расстоянии друг от друга, попыхивая дымком из своих белых труб, оба сильно пощипанные бурей. Каждого из них шторм покалечил, и они напоминали раненых птиц. На «Резвом» не было грот-мачты и утлегаря (оконечность бугшприта), снесен с боканцев капитанский катер и проломлен борт. «Голубчик» потерял фок-мачту, все свои шлюпки, и верхняя рубка сильно пострадала.

Машины на обоих судах работали полным ходом, и корвет и клипер, буравя своими винтами, шли узлов по семи, по восьми, направляясь в Нагасаки, до которого было не более ста миль.

Там, в затишье спокойной гавани, можно будет основательно исправить все аварии: поставить и вооружить новые мачты и достать новые шлюпки, а пока на обоих судах залечивали раны домашними средствами на случай нового нападения врага.

К подъему флага на «Резвом» и на «Голубчике» взамен потерянных мачт уже стояли так называемые «фальшивые», на которых можно было держать, в случае крайности, легкую парусность, и проломленные борты были заделаны. Работали всю ночь, и Михаил Петрович, конечно, не смыкал глаз.

В семь часов адмирал вышел наверх и довольным взглядом оглядел «Резвого» и потом «Голубчика». Оба они, хотя и пощипанные, все-таки сохраняли внушительный вид исправных военных судов.

Адмирал приказал сигналом спросить «Голубчика», какие у него повреждения и нет ли сильной течи.

Ответные сигналы перечислили повреждения и сообщили, что течи нет.

Адмирал удовлетворенно улыбался, разгуливая по юту. Он думал теперь, к какой бы награде представить этих двух лихих капитанов и заставить адмирала Шримса уважить его представление. И он уже заранее волновался при мысли, что этот Шримс, не имеющий понятия о морском деле, может не исполнить его ходатайство и оба капитана не будут отличены, как следует. Волновался и решил, что он, в случае отказа, напишет ему такое письмо... такое...

В эту минуту адмирал вспомнил, что он еще не поблагодарил командира «Голубчика» за шторм, и сказал вахтенному офицеру:

— Сергей Александрович! Прикажите поднять сигнал, что я изъявляю командиру «Голубчика» свое особенное удовольствие.

— Есть! — отвечал мичман Леонтьев.

— Да отчего это Вербицкого нет, а? Адмирал наверху... семь часов... а флаг-офицер спит... Пошлите за ним! — вдруг раздраженно крикнул адмирал.

Но, увидав поднявшегося на мостик старшего офицера, он снова просветлел и, пожимая Михаилу Петровичу руку, проговорил:

— Доброго утра, Михаил Петрович... Очень рад вас видеть и не могу не сказать, что вы меня даже удивили...

— Чем, ваше превосходительство? — спросил, недоумевая, старший офицер.

— Еще спрашивает! — улыбнулся адмирал...— Так быстро исправить повреждения и поставить мачту... это... это... делает большую честь старшему офицеру... Ну, да ведь мы с вами старые приятели... Я вас давно знаю... А все-таки... удивили, Михаил Петрович. Ну что, у нас течи не показалось после вчерашнего?..

— Нет,— отвечал Михаил Петрович и покраснел, видимо польщенный словами адмирала, который действительно понимал и умел ценить работу подчиненных, потому что и сам умел работать и в свое время был образцовым старшим офицером.

— Хорошо построенное судно, крепкое судно. Шторм ведь был серьезный.

— Довольно серьезный, ваше превосходительство! — подтвердил старший офицер.

— А как с ним справился Николай Афанасьевич... Да-с! Он показал всем, что значит лихой капитан в кри-

тические минуты! Какой глаз... Какое хладнокровие... Какое уменье!

— Николая Афанасьевича надо видеть во время штормов, чтобы вполне оценить и понять его, ваше превосходительство!

— А вы думаете, я не ценю его, а? С таким капитаном, как он, да с таким старшим офицером, как вы, я куда угодно пойду-с... Вы дополняете друг друга, вот что я вам скажу, любезный друг... Ведь — что уж греха таить — Николай Афанасьич с ленцой и в тихую погоду любит больше кейфовать... Зато вот эти два дня... Кстати, прикажите его вестовому не будить его к флагу... Пусть высыпается.

— Слушаю-с...

— Да и вам надо отдохнуть, Михаил Петрович. Глаза-то красные.

— Успею, ваше превосходительство... В Нагасаки отосплюсь.

— А вы, Вербицкий, почему это до сих пор спали, а? Вследствие каких таких трудов? — обратился адмирал к своему флаг-офицеру ворчливым и в то же время добродушным тоном.

Шустрый мичман, хорошо изучивший своего адмирала, понял, что настроение его не предвещает разноса, и потому храбро соврал:

— Я и не думал спать, ваше превосходительство.

— Что же вы делали?

— Читал, ваше превосходительство.

— Это видно по вашим сонным глазам... Ишь ведь... Всегда хочет вывернуться... Всегда у него наготове ответ! — засмеялся адмирал и шутливо погрозил мичману пальцем.

— А Аркадий Дмитрич тоже читает? — насмешливо спросил адмирал.

— Аркадий Дмитрич нездоров, ваше превосходительство.

— Что с ним? Укачало, видно?

— Точно так. Эти два дня Аркадию Дмитриевичу было так нехорошо, что Аркадий Дмитриевич даже и не душился, ваше превосходительство! — с самым серьезным лицом проговорил Вербицкий, зная, что лишняя шутка над флаг-капитаном может только быть приятной адмиралу.

Действительно адмирал рассмеялся детским громким смехом...

— Даже и не душился?! Ха-ха-ха!.. Вот поправится Аркадий Дмитрич, я ему скажу, как вы, Вербицкий, определяете серьезность его болезни. Так не душился?

— Никак нет, ваше превосходительство... Я заходил к Аркадию Дмитричу и третьего дня и вчера...

— Что ж он, отлеживался?

— Отлеживался и про себя читал акафисты пресвятой богородице и Николаю-угодику, ваше превосходительство.

Адмирал снова засмеялся.

— Ну, довольно вам зубоскалить, Вербицкий... Аркадий Дмитрич религиозный человек... ну и читает акафисты... Не беспокойте его сегодня... Пусть отдохнет после шторма... А вы вот что: сегодня чтобы обед был по вкусу Николая Афанасьича... Вы знаете, что он особенно любит?

— Постараюсь догадаться, ваше превосходительство.

— Догадайтесь, и чтобы Николай Афанасьич был доволен обедом... И Михаил Петрович тоже. Надеюсь, вы не откажетесь, Михаил Петрович, откушать сегодня у меня?..

Михаил Петрович поблагодарил адмирала.

— Ну, а теперь узнайте, Вербицкий, отчего Васька не докладывает, что готов кофе. Что он морит меня голодом, каналья? Шуганите его хорошенько.

Шустрый флаг-офицер хотел было ринуться со всех ног исполнять адмиральское приказание, как в ту же минуту на полуюте показалась маленькая заспанная фигурка адмиральского камердинера в красной жокейской фуражке.

Он подошел, не особенно спеша, к адмиралу и, галантно приподнимая фуражку с своей черной кудластой головы, проговорил:

— Пожалуйте кофе кушать.

— Копаешься! — воркнул адмирал.

— У меня не десять рук, а всего две! — огрызнулся Васька и пошел назад.

— Ишь ведь бестия! Поздно встал и... прав! — проговорил, улыбаясь, адмирал.— Вербицкий! Пожалуйте ко мне кофе пить! — приказал он и спустился с юта, сопровождаемый флаг-офицером.

— А ведь этот мальчик карьеру сделает, Михаил Петрович! — заметил Леонтьев.

— А что ж, пусть делает! — равнодушно промолвил старший офицер.

— И если будет нужно, продаст этого самого адмирала, перед которым лебезит.

— И это возможно.

— Удивляюсь, как адмирал его не раскусил...

— А быть может, и раскусил... да привык к нему. Привычка, батюшка, большое дело... А кроме того, Вербицкий прирожденный флаг-офицер, ну и способный малый — этого отнять у него нельзя.

— Несимпатичный... карьерист...

— А вам, Сергей Александрович, хочется, чтобы все были симпатичны?.. Какой еще вы юный, однако, батенька! — ласково улыбнулся Михаил Петрович своими маленькими, закрасневшимися глазами в очках и прибавил: — Пойду-ка и я напьюсь чайку... Ужасно устал, признаться. После восьми часов и я закачусь спать... Всю ночь не спал из-за этих починок.

В начале шестого часа, когда солнце быстро клонилось к закату, «Резвый», имея в кильватере «Голубчика», входил в прелестную бухту Нагасаки, живописно расположенного в ее глубине.

Все были наверху, и на корвете царила торжественная тишина, обычная при входе военного судна на рейд, да еще в чужие люди.

На рейде стояли четыре русских военных судна, два корвета и два клипера, принадлежащие к составу эскадры Тихого океана, которым было приказано собраться в Нагасаки и там ждать адмирала, и несколько военных судов других наций.

Едва только «Резвый» под контр-адмиральским флагом на крюйс-брам-стеньге показался в виду эскадры, как со всех судов раздался салют адмиральскому флагу, и на «Резвом» тотчас же последовал ответ. Вслед за тем салютовали и иностранные суда, и им тоже отвечали.

Когда рассеялся дым от выстрелов, «Резвый» бросил якорь, и все шлюпки были спущены. «Голубчик» стал рядом.

Как только отдан был якорь, со всех судов отвалили гички и вельботы с командирами, которые спешили к адмиралу с рапортами. У всех были щегольские шлюпки. Только командир «Голубчика» приехал на своей единственно уцелевшей маленькой четверке.

Один за другим входили капитаны в полной парадной форме на «Резвый», встречаемые караулом, и, несколько напряженные и взволнованные, проходили в адмиральскую каюту.

Адмирал принимал всех приветливо, расспрашивал о плавании, о состоянии судов, обещал побывать на всех

«Беспокойный адмирал»

судах и пригласил капитанов обедать «ровно в шесть». И так как возвращаться на свои суда было поздно, то все капитаны собрались в капитанской каюте и в ожидании обеда были гостями радушного Монте-Кристо, который немедленно приказал вестовому подать разных вин и предложил всем выпить по рюмке, по другой «начерно».

Нечего и говорить, что главной темой разговоров были общие расспросы о шторме, об адмирале и об его предположениях. Куда и кого он пошлет? Не слышно ли, какие суда возвращаются в Россию?

Насчет шторма Монте-Кристо не вдавался в большие подробности.

— Трепануло изрядно, ничего себе,— говорил он, разливая в бокалы шампанское,— грот-мачту, как видите, потеряли. А куда кто идет — разве адмирал сообщает! Этого и Аркадий Дмитрич не знает! — засмеялся Монте-Кристо.

— И меня он не посвящает в свои предположения! — вставил флаг-капитан.

— Да и не все ли равно, господа, узнать днем позже, днем раньше, кто куда идет... Я и сам не знаю, куда мы идем: в Австралию или на Ситху... Аркадий Дмитрич говорил, что в Австралию...

— Адмирал как-то сказал...

— А я не удивлюсь, если он вздумает вдруг идти в Берингов пролив...

Все рассмеялись.

— От *него* всего можно ожидать! — заметил кто-то.

— То-то и есть... А вот вы, господа, лучше расскажите, нет ли чего в Нагасаки новенького. Это, право, интереснее.

— Чего новенького?..

— Как чего?.. Неужели здесь одна и та же «королева Гортензия», что была в прошлом году?.. Неужели придется опять ухаживать за японками?..

— Вы вот насчет какого новенького!.. Так вас можно порадовать... На днях приехали три француженки...

— Вот это дело... Каковы они?..

Один неказистый, толстенький и низенький, совершенно лысый капитан стал подробно описывать достоинства француженок. Другой, помоложе, вступился за честь японок и хвастал своей нанятой на месяц женой[1], и скоро раз-

---

[1] **Время рассказа относится к дореформенной Японии, когда можно было *в чайных домах* покупать временных жен, обязанных на время найма сохранять верность. *(Примеч. автора.)***

говор почтенных и солидиых капитанов принял несколько одностороиее и игривое направлеиие.

Решено было, что все капитаны отправятся сегодия же вечером знакомить Моите-Кристо с француженками.

Тем временем адмирал внимательно оглядывал убраиство стола и говорил Вербицкому:

— Смотрите не осрамите меня с обедом... Довольио ли всего?

— Довольио, ваше превосходительство...

— Какой обед?

— Суп с пирожками, ветчина... Николай Афанасьич любит.

— Дальше?

— Индейки!..

— Сколько?

— Четыре.

— Хватит иа двадцать человек?

— Хватит... Индейки большие, ваше превосходительство. Горошек и маседуан.

— Ну, смотрите же, чтобы всего было довольно.

После обеда все разъехались. Капитаны отправились на свои суда, чтобы переодеться в статское платье и сообщить старшим офицерам, чтобы все было готово к смотру, и затем все вместе поехали на берег. Монте-Кристо коифиденциальио предупредил старшего офицера, чтоб его не ждали. Он, может быть, вернется к утру.

— Надо освежиться! — прибавил он, смеясь.— Не все же штормовать в море. Надоело!

Разъехались еще и раньше все офицеры и гардемарины, кроме вахтениых. Все торопились на берег погулять и позиакомиться с туземными дамами и затем собраться в гостиницу, где сегодия должен был составиться грандиозный ландскнехт. Соберутся офицеры и гардемарины всей эскадры.

На «Резвом» оставались, кроме вахтенных да старшего офицера, только батюшка да «лобастый» гардемарии, дядя Черномор.

Адмирал прочитывал у себя в каюте газеты.

В девятом часу ои вышел наверх погулять.

Заметив на шканцах лобастого гардемарина, ои подошел к нему и спросил:

— А вы, любезный друг, отчего не на берегу? Или на вахту стаиете?

— Нет-с... Не хочется что-то, ваше превосходительство...

— Ну что вы вздор говорите. Как не хочется? Почему не хочется? Съездили бы, покатались верхом... моряки любят кататься верхом, хоть и ездят как сапожники... Посмотрели бы город... А то что сидеть на корвете... Отчего вы не съехали, а?

— Как-то не расположен-с...

— Не расположены-с?.. Не поверю... Вы и в Сан-Франциско редко съезжали... Что это значит?

— Дорого стоит съезжать! — сконфуженно проговорил молодой человек.

— Как дорого?.. Разве вам жалованья не хватает, а? Куда вы его деваете?.. Уж не продулись ли в карты?.. Говорите правду... Вас не адмирал спрашивает, а старший товарищ! — прибавил ласково адмирал.

— Я в карты не играю...

— Так куда же вы деваете ваши деньги?.. Почему не съезжаете на берег?.. Копите, что ли?..

— Какое коплю... Я... я... ваше превосходительство...

— Ну что вы тянете? Говорите, любезный друг, толком...

— Я, ваше превосходительство, оставляю бóльшую часть своего содержания матери... У нее, кроме меня, нет никого-с! — тихо и застенчиво проговорил молодой человек.

— Так вот почему!.. Экий вы какой славный, я вам скажу, мальчик! — с нежностью проговорил адмирал, обнимая за талию молодого человека.

И, помолчав, прибавил:

— А все-таки... не мешает и вам съездить... да-с... И вы, любезный друг, напрасно не сказали мне, что у вас денег нет... И знаете ли что... Позвольте мне быть вашим банкиром, а? Что вы на это скажете?

— Я не понимаю, как это банкиром?..

— Очень просто... Вы берите у меня деньги, а после отдадите, когда больше получать жалованья будете... Вы мне же одолжение сделаете... Я не буду всех своих денег тратить... Прошу вас... Пусть это между нами...

И, несмотря на протесты молодого человека, адмирал потащил его к себе в каюту и предложил взять денег. Он просил и требовал так настоятельно, что дядя Черномор взял, наконец, десять долларов.

— Ну, а теперь поезжайте на берег... Товарищи ваши все там... И помните, что я ваш банкир...

Адмирал сел писать письма и велел Ваське разбудить себя завтра в шесть часов.

— А мундир готовить?

— Зачем мундир?

— А смотры делать!..

— Ты, Васька, хоть и бестия, а глуп. Зачем смотры делать в мундире, когда можно и в сюртуке? Не мешай мне!

XX

Почтовый пароход, пришедший из Гонконга на следующий день, привез европейские газеты, в которых, между прочим, сообщалось о крайне натянутых отношениях между Россией, Англией и Францией и предсказывалась вероятность близкой войны в виду известных событий 1863 года.

Беспокойный адмирал был встревожен за положение своей маленькой эскадры и еще более раздражен тем, что из Петербурга не было никаких известий об этом.

— Эдакие скоты... эдакие болваны! Всякие глупости спешат написать, а то, о чем нужно, не пишут,— громко проговорил адмирал и, видимо взволнованный, заходил по каюте, повторяя время от времени весьма нелестные эпитеты по адресу высшего морского начальства.

Вызванный им консул не мог сообщить адмиралу никаких точных известий. Он тоже ничего не знал.

Отпустив консула, адмирал долго ходил, обдумывая свое положение, и, наконец, велел сигналом потребовать к себе всех командиров судов.

Сообщив им газетные известия, он сказал:

— Если, господа, в самом деле будет война, эти подлецы англичане получат известие о ней раньше, чем мы, и могут захватить нас врасплох... У них в китайских водах огромная эскадра. Придет и разнесет нас, как дураков, благодаря тому, что у нас в министерстве сидят болваны-с!

Флаг-капитан Ратмирцев, присутствовавший в адмиральской каюте, решил сегодня же проситься в Россию по болезни и в то же время подумал, что у него есть большие козыри в руках, чтоб насолить этому ненавистному ему адмиралу в глазах морского министерства.

— Но этого не случится... не может случиться! — воскликнул адмирал, сверкнув глазами.— Нас не возьмут живьем... Я прошу вас, господа, быть во всякую минуту

готовыми к бою... Орудия имейте всегда заряженными... И я не сомневаюсь, что в случае чего каждый из вас сумеет поддержать честь русского флага.

Все молча наклонили головы.

Адмирал между тем продолжал:

— Завтра же с рассветом прошу всех выйти в море и держаться у Нагасаки... Если увидите англичан или французов, клиперу «Кобчик» немедленно дать знать сюда. Я остаюсь здесь ожидать почты и ответа от посланника нашего в Иеддо... Надеюсь, что вы, Николай Афанасьевич, и вы, Егор Егорыч, поторопитесь исправить свои повреждения? — обратился адмирал к командирам «Резвого» и «Голубчика».

Оба командира отвечали, что на их судах будут работать день и ночь.

— Если известия из России,— продолжал адмирал,— подтвердят газетные сообщения, каждый из вас, господа, получит от меня инструкцию. А пока прошу держать в тайне то, что я вам сказал, а то этот англичанин-фрегат, который стоит здесь, может узнать наши намерения... Объявите на берегу и всем офицерам, что идете в Гонконг... а на рассвете непременно сняться! — приказывал адмирал.

Один из капитанов заявил, что он едва ли успеет окончить расчеты с берегом.

— Чтоб были окончены! И скажите вашему ревизору, что если ему мало части дня и всей ночи, чтоб окончить все расчеты, то я его вышлю с эскадры, как нерадивого офицера... Слышите?

— Слушаю, ваше превосходительство!

Капитаны были отпущены и, разъехавшись по своим судам, сделали распоряжения об уходе с рассветом из Нагасаки в Гонконг. На «Резвом» и «Голубчике» принялись немедленно за работы, и в тот же день новые мачты были привезены с берега.

А беспокойный адмирал в это время набрасывал свой план действий на случай войны — и затем стал писать инструкцию командирам и донесение в Петербург.

Все это он делал с стремительной горячностью, точно война должна быть объявлена не сегодня-завтра.

Ратмирцев несколько раз в течение дня спрашивал Ваську, что делает адмирал, и каждый раз получал ответ, что адмирал пишет.

Наконец, уже вечером, флаг-капитан опять осведомился у камердинера.

«Беспокойный адмирал»

— Пишет! — отвечал Васька.

— А как он... в духе? — спрашивал Ратмирцев.

— Не должно быть, Аркадий Дмитрич... Давече я подавал ему стакан лимонада, так он... уставил довольно даже грозно глаза, я так и полагал, что он меня кокнет этим самым стаканом...

У трусливого флаг-капитана невольно пронеслась мысль: «А что как он и меня кокнет?»

— Если угодно, я сейчас пойду посмотрю, Аркадий Дмитрич, в каком он находится теперь градусе...

— Сходи...

Через минуту Васька вернулся и доложил:

— Извольте идти к нему, Аркадий Дмитрич, он в самом лучшем, можно сказать, состоянии своего характера.

Ратмирцев вошел в адмиральскую каюту и увидал адмирала, сидевшего без сюртука за столом. Среди тишины слышно было, как шуршало перо по бумаге.

Адмирал не слыхал, как вошел флаг-капитан, и, видимо увлеченный, продолжал писать.

Ратмирцев обдернул сюртук, пригладил и без того прилизанные свои височки и чуть слышно кашлянул.

Ни малейшего результата!

Тогда флаг-капитан кашлянул громче.

Быстрым движением адмирал вздернул свою большую круглую, коротко остриженную голову и уставил на Ратмирцева глаза.

Эти глаза, блестящие и возбужденные, казалось, не видали флаг-капитана и были где-то далеко-далеко.

— Прошу извинить меня, ваше превосходительство,— начал Ратмирцев, наклоняя голову в почтительном поклоне,— я, кажется, помешал вам.

Только при звуках этого почтительно-тихого голоса адмирал, по-видимому, сообразил, кто перед ним.

И он резко и недовольным тоном спросил:

— Что нужно-с?

— Я пришел к вашему превосходительству с просьбой, большой просьбой, и смею думать, что ваше превосходительство...

Адмирал положил перо и нетерпеливо перебил:

— Да говорите короче, Аркадий Дмитрич, а то вы всегда удивительно мямлите... В чем дело?

Но Ратмирцева недаром же прозвали «придворным сусликом». Внутренне негодуя на этого «грубого мужика» (распишет он его в Петербурге!), он тем не менее продол-

жал тем же почтительно-изысканным тоном, чуть-чуть ускоряя речь:

— Как ни лестно мне служить под непосредственным начальством вашего превосходительства, но болезненное мое состояние...

— Вы хотите вернуться в Россию, Аркадий Дмитрич? — снова перебил адмирал, но на этот раз голос его звучал веселой и довольной ноткой.

— Точно так, ваше превосходительство, если вам угодно будет отпустить меня...

— Что ж, с богом, Аркадий Дмитрич. Если здоровье ваше требует, удерживать не стану и, как больному, разрешаю вернуться в Россию на казенный счет,— любезно прибавил адмирал.

Ратмирцев рассыпался в благодарностях. Отправки на казенный счет он не ожидал.

— Вы когда хотите ехать, Аркадий Дмитрич?

— С первым пароходом, отправляющимся в Гонконг.

— Рекомендую из Гонконга идти в Европу на французском пароходе... Отличные пароходы...

— Я так и думал, ваше превосходительство.

— Вы как думаете: прямо в Петербург или по дороге заедете в Париж?

— Хотелось бы кое-где побывать в Европе.

— И отлично... А как приедете в Петербург, расскажите Шримсу, как мы здесь плаваем и как сумасшествует «башибузук»... Они меня так называют, я знаю! — усмехнулся адмирал...— Ну, до свиданья пока, Аркадий Дмитрич, у меня много работы! — сказал адмирал, протягивая Ратмирцеву руку...— Да прикажите Вербицкому завтра же выдать вам деньги, какие полагаются! — крикнул он вдогонку.

Ратмирцев вышел из каюты адмирала очень довольный. С деньгами, какие он получит, можно будет побывать в Париже и вообще попутешествовать не стесняясь. В свою очередь, и адмирал был рад, что избавился от этой «золотушной бабы», как презрительно называл он за глаза своего флаг-капитана.

«То-то будет сплетничать Шримсу на меня!» — подумал он, усмехнувшись, и снова принялся за работу.

На рассвете следующего дня все суда эскадры, за исключением «Резвого» и «Голубчика», снялись с якоря и вышли в море, сопровождаемые сигналом на флагманском корвете, изъявлявшим удовольствие адмирала. Сам адмирал, невыспавшийся, с красными глазами, стоял на мости-

ке и смотрел в бинокль на удалявшуюся в стройном порядке маленькую эскадру.

И когда она скрылась, он, видимо удовлетворенный, лег опять спать, с полной уверенностью, что эта маленькая эскадра в случае войны кое-что сделает.

Через три дня усиленных работ и «Резвый» и «Голубчик» были готовы к выходу в море.

Наконец, на четвертый день, пароход, пришедший из Шанхая, привез почту из России. Секретная бумага из морского министерства подтверждала сообщения иностранных газет и предписывала адмиралу собрать эскадру и немедленно идти в Николаевск-на-Амуре, где и находиться в безопасности от неприятельского захвата в случае войны.

— Болваны! Так я вас и послушался! — крикнул гневно адмирал.

И он немедленно же прибавил к своему донесению, что считает невозможным исполнить такое приказание и оставаться все время в бездействии. В подробном же донесении, написанном еще раньше, он сообщал, что соберет всю эскадру в Сан-Франциско и, получив по телеграфу извещение о войне, отправит все свои суда в крейсерство для ловли английских купеческих кораблей и для внезапных нападений на английские колонии. Вот что он намерен сделать, вместо того чтобы позорно запереться в Николаевске-на-Амуре. Одновременно с донесением к морскому министру адмирал написал и рапорт августейшему генерал-адмиралу.

В тот же вечер Ивков был позван к адмиралу.

— Я вас посылаю курьером в Россию с важными бумагами, Ивков,— проговорил адмирал, пожимая руку молодому человеку.

— Слушаю, ваше превосходительство! — проговорил изумленный Ивков.

— Завтра утром мы уходим, а вы останетесь в Нагасаки и на первом пароходе отправитесь в Печелийский залив, а оттуда через Пекин в Сибирь и в Петербург... Надеюсь, что вы оправдаете мое доверие и докажете, что моряки могут летать не хуже фельдъегерей.

— Постараюсь.

— Я уверен, потому и выбрал вас. Предписание и деньги на дорогу вам выдадут сегодня же, а завтра в семь часов утра будьте готовы и приходите ко мне за бумагами... Берегите их... Из Петербурга, если хотите, вернетесь на эскадру... Хотите?

Ивков, уже мечтавший об отставке, поколебался.

— Ну, как хотите... Страниый вы мальчик... Я хочу вас иметь подле себя, а вы чураетесь этого... А ведь я очень расположен к вам, Ивков. Из вас вышел бы хороший моряк... все данные есть... А вы вот вместо того все стихи пишете и адмирала своего ругаете... Ну, идите, собирайтесь.

На следующее утро ровио в семь часов Ивков уже был у адмирала.

Тот вручил ему маленькую сумку с бумагами и велел при себе надеть ее на грудь под рубашку. Затем он обнял Ивкова, крепко поцеловал его и сказал:

— Телеграфируйте в Саи-Франциско, когда приедете в Петербург.

— Слушаю-с.

— А теперь послушайте, мой милый, дружеского совета. Не сломайте себе шеи в Петербурге, поиимаете? Вы слишком увлекающийся н горячий... А в Петербурге разные кружки... Новые там ндеи... Подавай все сразу. Того и гляди попадетесь в какую-нибудь историю... Право, возвращайтесь лучше на эскадру, ко мне...

— Я подумаю.

— Подумайте и сейчас же телеграфнруйте — я вас вытребую сюда. И помиите, Петя,— прибавил горячо адмирал,— что где бы вы ни были и что бы с вами ни случилось, у вас есть верный и любящий друг... вот этот самый «глазастый черт»! — заключил, ласково улыбаясь, адмирал.— Ну, прощайте... Христос с вами.

В десять часов утра «Резвый» и «Голубчнк» снялись с якоря. Как только они вышли в море, иа обоих судах были заряжены орудия, и оба судиа были вполне готовы к иемедлеииому бою. В скором времени показалась эскадра, и на флагманском корвете взвился сигнал: «Лечь в дрейф». Вслед за тем мичман Вербицкий развез всем командирам запечатанные пакеты с иииструкциями, н, когда вернулся, адмирал велел поднять сигнал: «Следовать в Сан-Франциско без замедления».

Все иедоумевалн, зачем это эскадра идет в Амернку, еслн ожидают войны.

А Ивков через четыре дия уже был в Печелийском залнве и высадился в Таку. Оттуда ои немедлеиио отправился в китайской одноколке иа мулах в Тяиьзии и дальше — в Пекин. Доехав из Пекина до Калгана, пограничного города в Моиголии, верхом, в сопровожденни казака из посольства н китайского чииовиика, он в Калгане купил двухколесиую моигольскую телегу н иа почтовых мон-

гольских лошадях день и ночь скакал через Гобийскую степь, приводя в ужас бешеной ездой сопровождавших его, меняющихся через несколько станций, китайских чиновников. В Кяхте он пересел на перекладную и уже один поехал в Петербург.

Адмирал отлично знал, как нужно было подействовать на самолюбивого юнца, чтоб заставить его лететь сломя голову. Ивков скакал как сумасшедший дни и ночи на курьерских, останавливаясь на станциях, чтоб наскоро поесть, всего в сложности не более часа в сутки, и действительно приехал из Нагасаки через Китай и Сибирь необыкновенно скоро в Петербург.

Прямо с вокзала он отправился к морскому министру. Курьер в приемной сказал, что можно идти без доклада прямо в кабинет.

Ивков вошел и увидал за большим письменным столом полную, рыхлую фигуру адмирала Шримса, в раскрытом халате, под которым была только ночная сорочка.

Несколько адмиралов и офицеров в мундирах сидело и стояло около. Адмирал Шримс что-то рассказывал и заливался густым, сочным смехом.

— Откуда это вы в таком виде, молодой человек? — удивленно воскликнул министр, увидав остановившегося у дверей запыленного и истомленного Ивкова.— Где это вы ночь кутили, а? Видно, прямо из веселой компании да к министру? — со смехом говорил Шримс, хорошо известный морякам своими циническими шуточками и фамильярностью обращения, шутливо грозя пальцем.— Подходите-ка поближе... дайте на вас посмотреть... Не бойтесь, не укушу.

Несколько изумленный таким приемом, Ивков подошел к столу, поклонился и хотел было проговорить обычную фразу представления, как адмирал Шримс, протягивая свою большую белую и пухлую руку, продолжал с обычным своим видом балагура, шутки которого должны доставлять удовольствие подчиненным.

— Ну-с, рекомендуйтесь. Откуда и зачем пожаловали?

— Гардемарин Ивков...

— Покойного Андрея Петровича сын?

— Точно так, ваше высокопревосходительство. Только что прибыл из Нагасаки с эскадры Тихого океана... Ехал через Китай и Сибирь.

— А какой сумасшедший прислал вас сюда? — смеясь и, видимо, нарочно спросил министр.

— Меня прислал не сумасшедший, ваше высокопревосходительство.

— А кто же? — с лукавой улыбкой перебил Шримс.

— Начальник эскадры Тихого океана, свиты его величества контр-адмирал Корнев с бумагами к вашему высокопревосходительству! — отвечал с самым серьезным видом Ивков, сильно разочарованный таким шутливым отношением к возложенному на него поручению. Он скакал день и ночь — и такая странная встреча.

Он подал министру толстый пакет и отступил от стола.

— Ишь ведь загорелось... Курьеров гоняет наш неукротимый Корнев! — заметил, усмехнувшись, министр, обращаясь к сидевшим в креслах двум адмиралам.

И адмиралы и почти все присутствующие поторопились засмеяться.

Небрежно поворачивая в своих белых пальцах пакет, словно бы желая показать, что не придает особенной важности привезенным бумагам и не торопится ознакомиться с их содержанием, министр спросил Ивкова:

— На эскадре все благополучно?

— Все благополучно, ваше высокопревосходительство! — отвечал молодой человек, чувствуя невольную обиду за своего «глазастого черта».

— Ну что, очень вас всех разносит там ваш адмирал? Топчет фуражку? Задает вам перцу? Небось рады, что уехали с эскадры? Говорите, не стесняйтесь, молодой человек.

Ивков хорошо понял, что этот веселый толстяк с умным, заплывшим, когда-то красивым лицом, сделавший блестящую карьеру, никогда не бывавши в море, ждет от него подтверждения, чтоб позабавиться насчет беспокойного адмирала, видимо не очень-то любимого министром.

Но вместо того чтобы ответить в тон, Ивков, чувствуя сильное негодование против этого шутника циника, проговорил с некоторой аффектацией официальности и слегка возбужденным тоном:

— Начальника эскадры все слишком уважают и любят, ваше высокопревосходительство, чтоб не желать служить под его начальством... И никто из моряков, любящих дело, не в претензии, если адмирал, случается, делает выговоры и замечания... От такого моряка-адмирала, как Иван Андреевич, хоть и неприятно получить замечание, но всякий знает, что он делает их справедливо.

Миинстр прнстальио оглядел молодого человека, и с его лица сбежала улыбка.

— Вы любнмчнк вашего адмирала, что лн?

— Я инчьим любимчиком не был н ие желаю нм быть, ваше высокопревосходнтельство! — отвечал, весь вспыхивая, Ивков.

— Ого, какой ои вериулся нз жарких страи горячеиький! Советую вам здесь поостыть, молодой человек. Так-то оно лучше будет! — полушутя, полусерьезио промолвил миинистр.— Ну, с богом, родной... Ступайте... Приведите себя в иадлежащий вид да явитесь по иачальству, куда там следует... А я еще вас позову.

Ивков поклонился и вышел.

Когда он ехал в гостиннцу, в голове его невольио явнлось сравнение, и этот «глазастый черт», этот «Ванькааитихрист», которого он казиил в стихах, казался ему куда снмпатнчнее, милее и иужиее для флота, чем этот толстяк мниистр... Какая разннца!

XXI

С тех пор прошло миого лет.

Все эти «Резвые» и «Голубчики» давио пошли иа слом и остались лишь в памяти старых моряков, которые иа иих плавалн в дальиих морях н учнлись своему тяжелому ремеслу под начальством такого преданного делу учнтеля, каким был беспокойный адмнрал. Деревянный паровой флот вместе с парусамн как-то быстро исчез, и иа смеиу его явились эти миогомильониые гиганты броиеиосцы, оскорбляющие глаз моряков старого поколеиия своим неуклюжим видом, похожие иа утюги, с маленькнмн голыми мачтами, а то н вовсе без мачт, вместо прежиего красивого раигоута,— ио зато носящие грозиую артиллерию, имеющне тараны н ходящие, благодаря своим сильиым машииам, с такою быстротой, о которой прежде н не помышляли.

С обычной своей энергией отдался беспокойиый адмнрал делу реоргаиизацин флота и иесколько лет сряду пользовался большою властью и видиым влиянием. Не бывши миииcтром, ои благодаря своей кипучей деятельиости н авторитету зиачнл ие меиее миннстра, н без его участия или совета не стронлось в те времеиа ии одиого судна. В своем кабннете, окружеиный чертежамн, беседующий с нннженерамн, увлекающийся прнходившнмн в его голову новыми типами судов, разносящий какого-нибудь

опоздавшего мичмаиа нли приходящий в бешеиство при посещеиии строящегося судиа, где копались н делали ие так, как, казалось ему, было нужио,— ои был все тот же беспокойиый адмнрал, что и на палубе «Резвого», так же умел виосить «дух жизни» в дело и заставлять проиикаться этим живым духом других.

В его кабинете толпилась масса народа. Зная его влияине, в нем заискивали, ему льстили, перед ним казались увлечеиимн делом так же страстно, как и ои сам. В ием видели будущего морского миинстра, и каждый ловкнй человек старался эксплуатировать его доверчивость к людям. И он часто верил показной любви к делу и выводил в люди каждого, в котором видел эту любовь н призиавал способиости...

Нечего н прибавлять, что многие завндовалн беспокойному адмиралу и ругалн его. Особеиио браиилн его бездариые моряки и те леиивые поклонники канцелярщиины н мертвечины, которых словио бы оскорблял своей эиергией н предаииостью делу этот беспокойиый, во все вмешнвающийся адмнрал.

Онн просто служили, нсполияя с рутииным равиодушием свое «от сих н до снх», а этот вечно волиовался, вечно кнпятился, вечио представлял какие-то иовые проекты, какие-то запнски...

Но вот иасталн иовые времеиа. Запелись ииые песни. Во флоте появились иовые люди, и деятельиость адмирала сразу была прекращеиа.

Его, еще полного снл н эиергии, сдали в архив.

И — как обыкиовеиио случается — все те, которые больше всего были обязаиы беспокойному адмиралу, все те, которые чаще других обивалн порог его кабнеста,— отвернулнсь от него, словно бы боясь потерять в чьих-то глазах, продолжая бывать у адмирала.

И первый, разумеется, Вербнцкнй, только что пронзведениый, благодаря Кориеву, в коитр-адмиралы.

Еще бы! Беспокойиый адмирал был почти что в опале, совсем бессильный, нелюбимый и даже оклеветанный. А главиое, в то время было выгодио бранить все прежиее во флоте: и дух, и систему, и корабли, и беспокойиого адмнрала, как одного нз выдающихся представителей н пользовавшегося особеииым расположеиием прежнего главиого руководнтеля флота.

Новым людям иеобходимо было показать, что все прежнее иегодио и что у них есть своя программа возрождения.

Явился пресловутый ценз... Явился какой-то бухгалтерский и чисто коммерческий взгляд на службу; всякая посредственность, бездарность и наглость высоко подняла голову, и затем мало-помалу молодым поколением овладел тот торгашеский дух, который стал руководящим принципом. Моряки почти разучились плавать и почти не плавали. Всякий старался зашибить копейку и поскорей «выплавать ценз», а где и на чем — на пароходе ли, делающем рейсы между Петербургом и Кронштадтом, или на броненосцах, отстаивающихся на трандзундском рейде,— не все ли равно?

На пароходе даже спокойнее. Так или иначе, а всякий умеющий не беспокоить начальство будет в свое время командиром и имеет все шансы посадить на мель судно на кронштадтском рейде. Этот торгашеский взгляд на службу и эта полная индифферентность к другим, высшим идеалам морского служения сделали свое дело. По мере того как увеличивалось количество гигантов-броненосцев и торжествовал «культ гроша», обезличивались люди и исчезал тот истинно морской дух, та любовь к делу и то обычное у прежних моряков рыцарство, которые являлись как бы традиционными и без которых все эти чудеса техники являются лишь бесполезными и дорогостоящими игрушками.

Подобные мысли часто приходили в голову беспокойного адмирала, и он горько задумывался, расхаживая по своему кабинету в долгие дни своего служебного бездействия и заброшенности, но уже не прежней порывистой и энергичной походкой, какой, бывало, ходил по палубе «Резвого», а тихими и медленными шагами престарелого человека.

В этих грустных думах, в разговорах с немногими близкими людьми, которые навещали его, не было ничего личного. Он знал, что его песня давно спета, и не о себе думал он, не о тех обидах и ослиных ляганиях, которые пришлось ему испытать, особенно вслед за опалой, а о судьбе горячо любимого им флота.

Несмотря на свои семьдесят с хвостиком лет, он глядел еще бодро. Седой как лунь, со своей коротко остриженной головой и большими круглыми глазами, он все еще сохранил остатки прежней неукротимой энергии, а по временам напоминал прежнего беспокойного адмирала в его «штормовые» минуты. Сильно уходился он, но стихийная натура все-таки прорывалась.

Потребность деятельности еще сильно жила в нем, и он старался выдумать ее. Дома читал, читал много и следил за морским делом. Посещал разные общества, в которых был членом, и всегда за кого-нибудь да хлопотал, за кого-нибудь да просил, являясь к разным влиятельным лицам в мундире и орденах, и настойчиво рекомендовал того «хорошего человека», который обращался к нему за помощью, и радовался как ребенок, когда ему удавалось что-нибудь сделать, особенно для прежних своих сослуживцев.

А Леонтьев, когда-то назвавший адмирала «бешеной собакой» и принужденный оставить морскую службу вследствие того, что неосторожно отозвался в клубе об одном молодом адмирале как о человеке, слишком фамильярно обращавшемся с казенными деньгами (хотя эта фамильярность ни для кого не была секретом), и, кроме того,— что было еще преступнее! — напечатал без разрешения начальства какую-то статейку, в которой критически относился к цензу и находил, что «купеческий дух» развращает флот,— этот самый Леонтьев, оказавшийся во флоте неудобным человеком, испытал на себе истинно дружескую привязанность беспокойного адмирала.

Когда адмирал прослышал, что Леонтьев вышел в отставку и бедствует с семьей, он, без всякого вызова с его стороны, стал хлопотать за бывшего сослуживца, и у кого только не перебывал он, кому только не надоедал, пока не добился-таки, что Леонтьеву дали какое-то место.

Испытал воистину отеческую заботливость беспокойного адмирала и Ивков, давно вышедший в отставку и попавший в какую-то «историю», заставившую его прокатиться в не столь отдаленные места.

XXII

В это декабрьское утро беспокойный адмирал, по обыкновению, встал в восемь часов, и когда Ефрем, бывший матрос, состоявший камердинером при адмирале более десяти лет, принес кофе, адмирал подал ему листок бумаги с написанными на нем фамилиями и сказал:

— Сейчас сходи в адресный стол и узнай, где живут эти господа... Возьми справки... понял?

— Понял, ваше превосходительство.

— Ступай.

Напившись кофе, беспокойный адмирал отправился гулять. Гулял он ежедневно, несмотря ни на какую погоду.

Возвратившись с прогулки, он взял с письменного стола телеграмму, прошел на половину к жене и, поздоровавшись с ней, проговорил:

— А я, Машенька, вчера поздно вечером получил приятную телеграмму. Слушай.

И старик несколько взволнованным голосом прочитал:

— «Бывшие командир и офицеры «Голубчика», собравшиеся за товарищеским обедом, пьют за здоровье бывшего своего адмирала и учителя и, вспоминая плавание под вашим начальством с чувством глубокой признательности, шлют сердечные пожелания всего лучшего и выражения глубочайшего уважения доблестному и славному адмиралу, имя которого никогда не забудется во флоте».

— Вспомнили, Машенька, и как тепло... Не правда ли? Уж я послал Ефрема узнать адресы подписавших телеграмму, чтоб сегодня же побывать у них и поблагодарить. И чего этот болван так долго шляется! — внезапно крикнул адмирал и, круто повернувшись, прошел в кабинет.

Этот Ефрем был глуп, честен и предан своему барину, который, в свою очередь, любил Ефрема и привык к нему, не переставая, впрочем, удивляться его глупости и выражать иногда это удивление в довольно энергичной форме.

Привычку свою к Ефрему, несмотря на его глупость, беспокойный адмирал довольно оригинально и неожиданно приводил иногда как доказательство того, как трудно иногда бывает менять министров.

— Ведь вот, например, Ефрем — болван, естественный болван, а я держу его десять лет! — говорил адмирал.

Беспокойный адмирал крикнул другого лакея и, приказав закладывать карету, тревожно заходил по кабинету, поводя плечами.

Наконец Ефрем явился и с радостно-глупым видом подал справки из адресного стола.

— Отчего так поздно?

— А я, ваше превосходительство, по пути заходил к портному за вашим сюртуком.

— Я разве тебе приказывал?

— Никак нет, ваше высокопревосходительство.

— И какой же ты, Ефрем, болван, я тебе скажу! Ступай, вели подавать карету! — проговорил довольно мягко адмирал, бывший в хорошем настроении по случаю полученной телеграммы.

Возвратившись домой, беспокойный адмирал рассказы-

вал жене, как он разыскивал квартиры и поднимался в пятые этажи.

— И только троих застал. Остальным оставил карточки... И знаешь ли что, Машенька? Я приглашу их всех обедать... Надо отблагодарить за внимание... И Леонтьева и Ивкова позову... Завтра же позову! Так ты распорядись, Машенька.

— Хорошо.

— И к этому дураку Любимову заезжал сегодня.

— Зачем?

— Надо было за одного человека попросить... Но эта скотина ничего не хочет сделать, Машенька... Ведь дурак, а воображает себе, что если был министром, то и умен... От него же новость услыхал. Ратмирцев,— знаешь этого вылощенного болвана Ратмирцева?

— Ну, знаю,— улыбнулась адмиральша, давно привыкшая к энергической речи адмирала.

— Его старшим флагманом назначают... Эту бабу!! Этого «придворного суслика», как звали его мичмана на моей эскадре... С такими флагманами далеко не уедешь! — раздраженно проговорил беспокойный адмирал.

Он помолчал с минуту и, видимо смягчившись, сказал:

— Да... вот говорят, что люди неблагодарны и забывают многое... А вчерашняя телеграмма, а?.. Что ты скажешь, Машенька?.. Есть, значит, люди, которые помнят, что я кое-что сделал для флота.

— Поверь, что все это сознают в душе,— горячо проговорила адмиральша.

— Ну, едва ли... Теперь, Машенька, не моряки, а торгаши... Духа нет... Ну да что говорить...

Адмирал как-то безнадежно махнул рукой, пошел в свой кабинет и принялся читать «Times».

Но сегодня ему не читалось.

Прошлое и настоящее проносилось перед оброшенным стариком, и он горько задумался, склонив свою седую голову.

1894

НЯНЬКА

Посвящается
Константину Константиновичу
Станюковичу

I

Однажды вешним утром, когда в кронштадтских гаванях давно уже кипели работы по изготовлению судов к летнему плаванию, в столовую небольшой квартиры капитана второго ранга Василия Михайловича Лузгина вошел денщик, исполняющий обязанности лакея и повара. Звали его Иван Кокорин.

Обдергивая только что надетый поверх форменной матросской рубахи засаленный черный сюртук, Иван доложил своим мягким, вкрадчивым тенорком:

— Новый денщик явился, барыня. Барин из экипажа прислали.

Барыня, молодая видная блондинка с большими серыми глазами, сидела за самоваром, в голубом капоте, в маленьком чепце на голове, прикрывавшем неубранные, завязанные в узел светло-русые волосы, и пила кофе. Рядом с ней, на высоком стульчике, лениво отхлебывал молоко, болтая ногами, черноглазый мальчик лет семи или восьми, в красной рубашке с золотым позументом. Сзади стояла, держа грудного ребенка на руках, молодая, худощавая, робкая девушка, босая и в затасканном ситцевом платье. Ее все звали Анюткой. Она была единственной крепостной Лузгиной, отданной ей в числе приданого еще подростком.

— Ты, Иван, знаешь этого денщика? — спросила барыня, поднимая голову.

— Не знаю, барыня.

— А как он на вид?

— Как есть грубая матрозня! Безо всякого обращения, барыня! — отвечал Иван, презрительно выпячивая свои толстые, сочные губы.

Сам он вовсе не походил на матроса.

Полнотелый, гладкий и румяный, с рыжеватыми намасленными волосами, с веснушчатым, гладко выбритым лицом человека лет тридцати пяти и с маленькими, заплывшими глазками, он и наружным своим видом, и некоторою развязностью манер напоминал собою скорее дворового, привыкшего жить около господ.

Он с первого же года службы попал в денщики и с тех пор постоянно находился на берегу, ни разу не ходивши в море.

У Лузгиных он жил в денщиках вот уже три года и, несмотря на требовательность барыни, умел угождать ей.

— А не заметно, что он пьяница? — снова спросила барыня, не любившая пьяных денщиков.

— Не оказывает будто по личности, а кто его знает? Да вот сами изволите осмотреть и допросить денщика, барыня! — прибавил Иван.

— Ну, пошли его сюда!

Иван вышел, бросив на Анютку быстрый нежный взгляд.

Анютка сердито повела бровями.

II

В дверях показался коренастый, маленького роста, чернявый матрос с медною серьгой в ухе. На вид ему было лет пятьдесят. Застегнутый в мундир, высокий воротник которого резал его красно-бурую шею, он казался неуклюжим и весьма неказистым. Переступив осторожно через порог, матрос вытянулся как следует перед начальством, вытаращил на барыню слегка глаза и замер в неподвижной позе, держа по швам здоровенные волосатые руки, жилистые и черные от впитавшейся смолы.

На правой руке недоставало двух пальцев.

Этот черный, как жук, матрос с грубыми чертами некрасивого рябоватого, с красной кожей лица, сильно заросшего черными как смоль баками и усами, с густыми взъерошенными бровями, которые придавали его типичной физиономии заправского марсового несколько сердитый вид, произвел на барыню, видимо, неприятное впечатление.

«Точно лучше не мог найти»,— мысленно произнесла она, досадуя, что муж выбрал такого грубого мужлана.

Она снова оглядела стоявшего неподвижно матроса и обратила внимание и на его слегка изогнутые ноги с большими, точно медвежьими, ступнями, и на отсутствие двух пальцев, и — главное — на нос, широкий мясистый нос, малиновый цвет которого внушал ей тревожные подозрения.

— Здравствуй! — произнесла наконец барыня недовольным, сухим тоном, и ее большие серые глаза стали строги.

— Здравия желаю, вашескобродие! — гаркнул в ответ матрос зычным баском, видимо, не сообразив размера комнаты.

Этот окрик заставил барыню вздрогнуть.

— Не кричи так! — строго сказала она и оглянулась, не испугался ли ребенок.— Ты, кажется, не на улице, а в комнате. Говори тише.

— Есть, вашескобродие,— значительно понижая голос, ответил матрос.

— Еще тише. Можешь говорить тише?

— Буду стараться, вашескобродие! — произнес он совсем тихо и сконфуженно, предчувствуя, что барыня будет «нудить» его.

— Как тебя зовут?

— Федосом, вашескобродие.

Барыня поморщилась, точно от зубной боли. Совсем неблагозвучное имя!

— А фамилия?

— Чижик, вашескобродие!

— Как? — переспросила барыня.

— Чижик... Федос Чижик!

И барыня и мальчуган, давно уже оставивший молоко и не спускавший любопытных и несколько испуганных глаз с этого волосатого матроса, невольно засмеялись, а Анютка фыркнула в руку,— до того фамилия эта не подходила к его наружности.

И на серьезном, напряженном лице Федоса Чижика появилась необыкновенно добродушная и приятная улыбка, которая словно бы подтверждала, что и сам Чижик находит свое прозвище несколько смешным.

Мальчик перехватил эту улыбку, совсем преобразившую суровое выражение лица матроса. И нахмуренные его брови, и усы, и баки не смущали больше мальчика. Он сразу почувствовал, что Чижик добрый, и он ему

«Нянька»

теперь решительно нравился. Даже и запах смолы, который шел от него, показался ему особенно приятным и значительным.

И он сказал матери:

— Возьми, мама, Чижика.

— Taisez-vous![1] — заметила мать.

И, принимая серьезный вид, продолжала допрос:

— У кого ты прежде был денщиком?

— Вовсе не был в этом звании, вашескобродие.

— Никогда не был денщиком?

— Точно так, вашескобродие. По флотской части состоял. Форменным, значит, матросом, вашескобродие...

— Зови меня просто барыней, а не своим дурацким вашескобродием.

— Слушаю, вашеско... виноват, барыня!

— И вестовым никогда не был?

— Никак нет.

— Почему же тебя теперь назначили в денщики?

— По причине пальцев! — отвечал Федос, опуская глаза на руку, лишенную большого и указательного пальцев.— Марса-фалом оторвало прошлым летом на «конверте», на «Кобчике»...

— Так муж тебя знает?

— Три лета с ими на «Кобчике» служил под их командой.

Это известие, казалось, несколько успокоило барыню. И она уже менее сердитым тоном спросила:

— Ты водку пьешь?

— Употребляю, барыня! — добросовестно признался Федос.

— И... много ее пьешь?

— В плепорцию, барыня.

Барыня недоверчиво покачала головой.

— Но отчего же у тебя нос такой красный, а?

— Сроду такой, барыня.

— А не от водки?

— Не должно быть. Я завсегда в своем виде, ежели когда и выпью в праздник.

— Денщику пить нельзя... Совсем нельзя... Я терпеть не могу пьяниц! Слышишь? — внушительно прибавила барыня.

Федос повел несколько удивленным взглядом на барыню и промолвил, чтобы подать реплику:

---

[1] Замолчи! *(фр.)*

— Слушаю-с!

— Помни это.

Федос дипломатически промолчал.

— Муж говорил, на какую должность тебя берут?

— Никак нет. Только приказали явиться к вам.

— Ты будешь ходить вот за этим маленьким барином,— указала барыня движением головы на мальчика.— Будешь при нем нянькой.

Федос ласково взглянул на мальчика, а мальчик на Федоса, и оба улыбнулись.

Барыня стала перечислять обязанности денщика-няньки.

Он должен будить маленького барина в восемь часов и одеть его; весь день находиться при нем безотлучно и беречь его как зеницу ока. Каждый день ходить гулять с ним... В свободное время стирать его белье...

— Ты стирать умеешь?

— Свое белье сами стираем! — отвечал Федос и подумал, что барыня, должно быть, не очень башковата, если спрашивает, умеет ли матрос стирать.

— Подробности всех твоих обязанностей я потом объясню, а теперь отвечай: понял ты, что от тебя требуется?

В глазах матроса скользнула едва заметная улыбка. «Нетрудно, дескать, понять!» — говорила, казалось, она.

— Понял, барыня! — отвечал Федос, несколько удрученный и этим торжественным тоном, каким говорила барыня, и этими длинными объяснениями, и окончательно решил, что в барыне большого рассудка нет, коли она так зря «языком брешет».

— Ну, а детей ты любишь?..

— За что детей не любить, барыня. Известно... дите. Что с него взять...

— Иди на кухню теперь и подожди, пока вернется Василий Михайлович... Тогда я окончательно решу: оставлю я тебя или нет.

Находя, что матросу в мундире следует добросовестно исполнить роль понимающего муштру подчиненного, Федос по всем правилам строевой службы повернулся налево кругом, вышел из столовой и прошел на двор покурить трубочки.

III

— Ну, что, Шура, тебе, кажется, понравился этот мужлан?

— Понравился, мама. И ты его возьми.

— Вот у папы спросим: не пьяница ли он?

— Да ведь Чижик говорил тебе, что не пьяница.

— Ему верить нельзя.

— Отчего?

— Он матрос... мужик. Ему ничего не стоит солгать.

— А он умеет рассказывать сказки? Он будет со мной играть?

— Верно, умеет и играть должен...

— А вот Антон не умел и не играл со мной.

— Антон был лентяй, пьяница и грубиян.

— За это его и посылали в экипаж, мама?

— Да.

— И там секли?

— Да, милый, чтобы его исправить.

— А он возвращался из экипажа всегда сердитый... И со мной даже говорить не хотел...

— Оттого, что Антон был дурной человек. Его ничем нельзя было исправить.

— Где теперь Антон?

— Не знаю...

Мальчик примолк, задумавшись, и наконец серьезно проговорил:

— А уж ты, мама, если меня любишь, не посылай Чижика в экипаж, чтобы его там секли, как Антона, а то и Чижик не будет рассказывать мне сказок и будет браниться, как Антон...

— Он разве смел тебя бранить?

— Подлым отродьем называл... Это, верно, что-нибудь нехорошее...

— Ишь негодяй какой!.. Зачем же ты, Шура, не сказал мне, что он тебя так называл?

— Ты послала бы его в экипаж, а мне его жалко...

— Таких людей не стоит жалеть... И ты, Шура, не должен ничего скрывать от матери.

При разговоре об Антоне Анютка подавила вздох.

Этот молодой, кудрявый Антон, дерзкий и бесшабашный, любивший выпить и тогда хвастливый и задорный, оставил в Анютке самые приятные воспоминания о тех двух месяцах, что он пробыл в няньках у барчука.

Влюбленная в молодого денщика, Анютка нередко про-

ливала слезы, когда барин, по настоянию барыни, отправлял Антона в экипаж для наказания. А это частенько случалось. И до сих пор Анютка с восторгом вспоминает, как хорошо он играл на балалайке и пел песни. И какие у него смелые глаза. Как он не спускал самой барыне, особенно когда выпьет! И Анютка втайне страдала, сознавая безнадежность своей любви. Антон не обращал на нее ни малейшего внимания и ухаживал за соседской горничной.

Куда он милее этого барыниина наушника, противного рыжего Ивана, который преследует ее своими любезностями... Тоже воображает о себе, рыжий дьявол! Проходу на кухне не дает...

В эту минуту ребенок, бывший на руках у Анютки, проснулся и залился плачем.

Анютка торопливо заходила по комнате, закачивая ребенка и напевая ему песни звонким, приятным голоском.

Ребенок не унимался. Анютка пугливо взглядывала на барыню.

— Подай его сюда, Анютка! Совсем ты не умеешь нянчить! — раздражительно крикнула молодая женщина, расстегивая белою пухлою рукой ворот капота.

Очутившись у груди матери, малютка мгновенно затих и жадно засосал, быстро перебирая губенками и весело глядя перед собою глазами, полными слез.

— Убирай со стола, да смотри не разбей чего-нибудь.

Анютка бросилась к столу и стала убирать с бестолковой торопливостью запуганного создания.

IV

В начале первого часа, когда в порту зашабашили, из военной гавани, где вооружался «Кобчик», вернулся домой Василий Михайлович Лузгин, довольно полный, представительный брюнет, лет сорока, с небольшим брюшком и лысый, в потертом рабочем сюртуке, усталый и голодный.

В момент его прихода завтрак был на столе.

Моряк звонко поцеловал жену и сына и выпил одну за другой две рюмки водки. Закусив селедкой, он набросился на бифштекс с жадностью сильно проголодавшегося человека. Еще бы! С пяти часов утра, после двух стаканов чая, он ничего не ел.

Утолив голод, он нежно взглянул на свою молодую, приодетую, пригожую жену и спросил:

— Ну что, Марусенька, понравился новый денщик?

— Разве такой деищик может понравиться?

В малеиьких добродушиых темиых глазах Василия Михайловича мелькнуло беспокойство.

— Грубый, иеотесаииый какой-то... Сейчас видио, что иикогда ие служил в домах.

— Это точио, ио зато, Маруся, ои иадежиый человек. Я его зиаю.

— И этот подозрительиый иос... Ои, иавериое, пьяиица! — иастаивала жеиа.

— Ои пьет чарку-другую, ио уверяю тебя, что ие пьяиица,— осторожио и иеобыкиовеиио мягко возразил Лузгии.

И, зиая хорошо, что Марусеиька ие любит, когда ей противоречат, считая это кровиой обидой, ои поспешил прибавить:

— Впрочем, как хочешь. Если ие иравится, я приищу другого деищика.

— Где опять искать?.. Шуре ие с кем гулять... Уж бог с иим... Пусть остается, поживет... Я посмотрю, какое это сокровище твой Чижик!

— Фамилия у иего действительио смешиая! — проговорил, смеясь, Лузгии.

— И имя самое мужицкое... Федос!

— Что ж, можио его ииаче звать, как тебе угодио... Ты, право, Маруся, ие раскаешься... Ои честный и добросовестный человек... Какой фор-марсовой был!.. Но если ты ие хочешь — отошлем Чижика... Твоя княжая воля...

Марья Иваиовиа и без увереиий мужа зиала, что влюблеииый в иее простодушиый и простоватый Василий Михайлович делал все, что только оиа хотела, и был покориейшим ее рабом, ии разу в течеиие десятилетиего супружества и ие помышлявшим о сверже иии ига своей красивой жеиы.

Тем ие меиее оиа иашла нужиым сказать:

— Хоть мие и ие иравится этот Чижик, ио я оставлю его, так как ты этого хочешь.

— Но, Марусеиька... Зачем?.. Если ты ие хочешь...

— Я его беру! — властио произиесла Марья Ивановиа.

Василию Михайловичу оставалось только благодарио взглянуть иа Марусеиьку, оказавшую такое внимание к его желанию. И Шурка был очеиь доволеи, что Чижик будет его иянькой.

Нового деищика опять позвали в столовую. Ои сиова вытянулся у порога и без особеииой радости выслушал объявление Марьи Иваиовиы, что оиа его оставляет.

Завтра же утром он переберется к ннм со своими вещамн. Поместится вместе с поваром.

— А сегодня в баню сходи... Отмой свон черные рукн,— прнбавила молодая жеищина, не без брезглнвости взглядывая на просмоленные, шершавые руки матроса.

— Осмелюсь доложить, враз не отмоешь... Смола! — поясиил Федос н, как бы в подтверждеине справедлнвости этнх слов, перевел взгляд иа бывшего своего командира.

«Дескать, объясии ей, коли оиа инчего ие поиимает!»

— Со временем смола выйдет, Маруся... Он постарается ее вывести...

— Так точио, вашескобродие.

— И ие кричи ты так, Феодоснй... Уж я тебе несколько раз говорила...

— Слышишь, Чижик... Не кричи! — подтвердил Василий Михайлович.

— Слушаю, вашескобродие...

— Да смотрн, Чнжик, служи в денщиках так же хорошо, как служил иа корвете. Береги сына.

— Есть, вашескобродие!

— И водки в рот ие бери! — заметила барыия...

— Да, братец, остерегайся,— нерешнтельно поддакнул Василий Михайлович, чувствуя в то же время фальшь и тщету свонх слов н увереиный, что Чнжик прн случае выпьет в меру.

— Да вот еще что, Феодоснй... Слышншь, я тебя буду звать Феодоснем...

— Как вгодно, барыня.

— Ты разиых там мерзкнх слов не говори, особенио при ребенке. И если иа улице матросы ругаются, уводи барина.

— То-то, не ругайся, Чнжик. Помни, что ты ие на баке, а в комиатах!

— Не извольте сумлеваться, вашескобродие.

— И во всем слушайся барыни. Что она прикажет, то н нсполняй. Не противоречь...

— Слушаю, вашескобродие...

— И боже тебя сохрани, Чижик, осмелнться иагрубнть барыие. За малейшую грубость я велю тебе шкуру спустить! — строго и решительио сказал Васнлий Мнхайловнч.— Понял?

— Понял, вашескобродие.

Наступило молчание.

«Слава богу, конец!» — подумал Чнжик.

— Ои больше тебе ие нужен, Марусенька?

— Нет.

— Можешь идти, Чижик... Скажи фельдфебелю, что я взял тебя! — проговорил Василий Михайлович добродушным тоном, словно бы минуту тому назад и не грозил «спустить шкуру».

Чижик вышел словно из бани и, признаться, был сильно озадачен поведением бывшего своего командира.

Еще бы!

На корвете он казался орел орлом, особенно когда стоял на мостике во время авралов или управлялся в свежую погоду, а здесь вот, при жене, совсем другой, «вроде будто послушливого теленка». И опять же: на службе он был с матросом «добер», драл редко и с рассудком, а не зря; и этот же самый командир из-за своей «белобрысой» шкуру грозит спустить.

«Эта заноза-баба всем здесь командует!» — подумал Чижик не без некоторого презрительного сожаления к бывшему своему командиру.

«Ей, значит, трафь»,— мысленно проговорил он.

— К нам перебираетесь, земляк? — остановил его на кухне Иван.

— То-то к вам,— довольно сухо отвечал Чижик, вообще не любивший денщиков и вестовых и считавший их, по сравнению с настоящими матросами, лодырями.

— Места небось хватит... У нас помещение просторное... Не прикажете ли цигарку?..

— Спасибо, братец. Я — трубку... Пока что до свидания.

Дорогой в экипаж Чижик размышлял о том, что в денщиках, да еще с такой «занозой», как Лузгиниха, будет «нудно». Да и вообще жить при господах ему не нравилось.

И он пожалел, что ему оторвало марса-фалом пальцы. Не лишись он пальцев, был бы он по-прежнему форменным матросом до самой отставки.

— А то: «Водки в рот не бери!» Скажи пожалуйста, что выдумала бабья дурья башка! — вслух проговорил Чижик, подходя к казармам.

V

К восьми часам следующего утра Федос перебрался к Лузгиным со своими пожитками — небольшим сундучком, тюфяком, подушкой в чистой наволочке розового

снтца, недавно подаренной кумой-боцманшей, и балалайкой. Сложнв все это в угол кухнн, он снял с себя стесняющий его мундир и, облачившись в матросскую рубаху н иадевшн башмакн, явнлся к барыие, готовый вступнть в свон новые обязаиностн няньки.

В свободно сидевшей на ием рубахе с шнрокнм отложным воротом, открывавшнм крепкую, жилистую шею, н в просторных штанах Федос имел совсем другой — иепринуждеииый н даже не лншенный некоторой своеобразной прнятности — вид лихого, бывалого матроса, сумеющего найтись прн всяких обстоятельствах. Все на нем сидело ловко н проилводило впечатлеине опрятностн. И пахло от него, по мненню Шурки, как-то особенно прнятио: смолой н махоркой.

Барыня, внимательно оглядевшая и Федоса, н его костюм, нашла, что иовый денщик ннчего себе, не так уже безобразен н мужнковат, как казался вчера. И выраженне лица не такое суровое.

Только его темиые руки все еще смущали госпожу Лузгииу, и она спроснла, кидая брезглнвый взгляд на руки матроса:

— Ты в бане был?

— Точно так, барыия.— И, словно бы оправдываясь, прнбавнл: — Сразу смолы не отмыть. Никак иевозможио.

— Ты все-такн чаще рукн мой. Держи их чисто.

— Слушаю-с.

Затем молодая женщина, опустив глаза на парусиниые башмаки Федоса, заметила строгим тоном:

— Смотрн... Не вздумай еще босым показываться в комиатах. Здесь не палуба н не матросы...

— Есть, барыня.

— Ну, ступай напейся чаю... Вот тебе кусок сахара.

— Покорио благодарю! — отвечал матрос, осторожно прнннмая кусок, чтобы не коснуться своими пальцами белых пальцев барыни.

— Да долго не сиди на кухне. Прнходи к Александру Васнльевнчу.

— Приходн поскорей, Чнжик! — попроснл н Шурка.

— Живо обернусь, Лександра Васильич!

С первого же дня Федос вступил с Шуркой в самые прнятельскне отношения.

Первым делом Шурка повел Федоса в детскую н стал показывать свои многочисленные нгрушкн. Некоторые из них возбуднли удивление в матросе, н он рассматривал нх с любопытством, чем доставил мальчнку большое удо-

вольствие. Сломанную мельницу и испорченный пароход Федос обещал починить — будут действовать.

— Ну? — недоверчиво спросил Шурка.— Ты разве сумеешь?

— То-то попробую.

— Ты и сказки умеешь, Чижик?

— И сказки умею.

— И будешь мне рассказывать?

— Отчего ж не рассказать? По времени можио и сказку.

— А я тебя, Чижик, за то любить буду...

Вместо ответа матрос ласково погладил голову мальчика шершавой рукой, улыбаясь при этом необыкновенно мягко и ясно своими глазами из-под нависших взъерошеиных бровей.

Такая фамильярность ие только ие была иеприятиа Шурке, который слышал от матери, что не следует допускать какой-нибудь короткости с прислугой, но, напротив, еще более расположила его к Федосу.

И он проговорил, понижая голос:

— И знаешь что, Чижик?

— Что, барчук?..

— Я иикогда не стану на тебя жаловаться маме...

— Зачем жаловаться?.. Небось я ие забижу ничем маленького барчука... Дите забижать не годится. Это самый большой грех... Зверь и тот не забиждает щеият... Ну, а ежели, случаем, промеж иас и выйдет свара какая,— продолжал Федос, добродушно улыбаясь,— мы и сами разберемся, без маменьки... Так-то лучше, барчук... А то что кляузы заводить зря?.. Нехорошее это дело, братец ты мой, кляузы... Самое последнее дело! — прибавил матрос, свято исповедовавший матросские традиции, воспрещающие кляузы.

Шурка согласился, что это нехорошее дело,— он и от Антона и от Аиютки это слышал не раз,— и поспешил объясиить, что он даже и иа Антоиа ие жаловался, когда тот иазывал его «подлым отродьем», чтоб его не отправляли сечь в экипаж...

— И без того его часто посылали... Он маме грубил! И пьяный бывал! — прибавил мальчик коифиденциальным тоном...

— Вот это правильно, барчук... Совсем правильио! — почти иежио проговорил Федос и одобрительио потрепал Шурку по плечу.— Сердце-то детское умудрило пожалеть человека... Положим, этот Антои, прямо сказать, виноват...

Разве можно на дите вымещать сердце?.. Дурак он во всей форме! А вы-то дуракову вину оставили безо внимания, даром что глупого возраста... Молодца, барчук!

Шурка был, видимо, польщен одобрением Чижика, хотя оно и шло вразрез с приказанием матери не скрывать от нее ничего.

А Федос осторожно присел на сундук и продолжал:

— Скажи вы тогда маменьке про эти самые Антоновы слова, отодрали бы его как сидорову козу... Сделайте ваше одолжение!

— А это что значит?.. Какая такая коза, Чижик?..

— Скверная, барчук, коза,— усмехнулся Чижик.— Это так говорится, ежели, значит, очень долго секут матроса... Вроде как до бесчувствия...

— А тебя секли, как сидорову козу, Чижик?..

— Меня-то?.. Случалось прежде... Всяко бывало...

— И очень больно?

— Небось несладко...

— А за что?..

— За флотскую часть... вот за что... Особенно не разбирали...

Шурка помолчал и, видимо, желая поделиться с Чижиком кое-чем небезынтересным, наконец проговорил несколько таинственно и серьезно:

— И меня секли, Чижик.

— Ишь ты, бедный... Такого маленького?..

— Мама секла... И тоже было больно...

— За что ж вас-то?..

— Раз за чашку мамину... я ее разбил, а другой раз, Чижик, я мамы не слушал... Только ты, Чижик, никому не говори...

— Не бойся, милой, никому не скажу...

— Папа, тот ни разу не сек.

— И любезное дело... Зачем сечь?

— А вот Петю Голдобина — знаешь адмирала Голдобина? — так того все только папа его наказывает... И часто...

Федос неодобрительно покачал головой. Недаром и матросы не любили этого Голдобина. Форменная собака!

— А на «Кобчике» папа наказывает матросов?

— Без этого нельзя, барчук.

— И сечет?

— Случается. Однако папенька ваш добер... Его матросы любят...

— Еще бы... Он очень добрый!.. А хорошо теперь погу-

лять бы иа дворе, Чижик! — воскликнул мальчик, круто меияя разговор и взглядывая прищуреиными глазами в окио, из которого лились сиопы света, заливая блеском комнату.

— Что ж, погуляем... Солнышко так и играет. Веселит душу-то.

— Только иадо маму спросить...

— Знамо, иадо отпроситься... Без иачальства и нас ие пускают!

— Верно, пустит?

— Надо быть, пустит!

Шурка убежал и, вериувшись через мииуту, весело воскликнул:

— Мама пустила! Только велела теплое пальто надеть и потом ей показаться. Одеиь меия, Чижик!.. Вон пальто висит... Там и шапка, и шарф иа шею...

— Ну ж и одежи на вас, барчук... Ровио в мороз! — усмехиулся Федос, одевая мальчика...

— И я говорю, что жарко...

— То-то жарко будет...

— Мама ие позволяет другого пальто... Уж я просил... Ну, идем к маме!

Марья Иваиовиа осмотрела Шурку и, обращаясь к Федосу, проговорила:

— Смотри, береги бариаа... Чтоб ие упал да ие ушибся!

«Как доглядишь! И что за беда, коли мальчоика упадет!» — подумал Федос, совсем ие одобрявший барыню за ее праздиые слова, и официальио-почтительио ответил:

— Слушаю-с!

— Ну, идите...

Оба довольные, они ушли из спальной, сопровождаемые завистливым взглядом Аиютки, иячившей ребеика.

— Одии секунд обождите меня в колидоре, барчук... Я только переобуюсь.

Федос сбегал в комиату за кухней, переобулся в сапоги, взял буршлат и фуражку, и они вышли на большой двор, в глубине которого был сад с зеленеющими почками на оголеиных деревьях.

VI

На дворе было славио.

Вешиее солиышко приветливо глядело с голубого иеба, по которому двигались перистые белосиежиые облачки, и пригревало изрядио. В воздухе, полном бодрящей

остроты, пахло свежестью, навозом и, благодаря соседству казарм, кнслымн щамн н черным хлебом. Вода капала с крыш, блестела в колдобинках н пробнвала канавки на обнаженной, нспускавшей пар земле с едва пробившейся травкой. Все на дворе словно трепетало жизнью.

У сарая бродилн, весело кудахтая, куры, и неугомонный пестрый петух с важным, деловым вндом шагал по двору, отыскивая зерен н угощая нмн своих подруг. У колдобнн гоготали уткн. Стайка воробьев то и дело слетала из сада на двор н прыгала, чирикая н ссорясь друг с другом. Голубн разгулнвали по крыше сарая, расправлялн на солнце снзые перья и ворковалн о чем-то. На самом прнпеке, у водовозной бочкн, дремала большая рыжая дворняга н по временам щелкала зубамн, ловя блох.

— Прелесть, Чнжик! — воскликнул полный радости жизнн Шурка и, словно пущенный на волю жеребенок, бросился со всех ног через двор к сараю, вспугивая воробьев н кур, которые удиралн во все лопатки н отчаянным кудахтаньем заставнлн петуха остановиться н в недоуменнн поднять ногу.

— То-то хорошо! — промолвил матрос.

И он прнсел на опрокинутом бочонке у сарая, вынул нз кармана маленькую трубчонку н кисет с табаком, набил трубочку, придавил мелкую махорку корявым большнм пальцем н, закурнв, затянулся с вндимым наслаждением, оглядывая весь двор — н кур, н уток, и собаку, н травку, н ручейкн — тем проникновенным, любовным взглядом, каким могут только смотреть людн, любящие н прнроду н животных.

— Осторожней, барчук!.. Не попаднте в ямку... Ишь воды-то... Утке н лестно...

Шурке скоро надоело бегать, и он прнсел к Федосу. Мальчика словно тянуло к нему.

Онн почти целый день пробылн на дворе,— только ходилн завтракать да обедать в дом, н в этн часы Федос обнаружнл такое обилие знаннй, умел так все объяснить н насчет кур, н насчет уток, и насчет барашков на небе, что Шурка решительно прншел в восторженное удивление и проникся какнм-то благоговейным уважением к такому богатству сведенний своего пестуна н только удивлялся, откуда это Чнжик все знает.

Словно бы целый новый мнр открывался мальчику на этом дворе, н он впервые обратил внимание на все, что на нем было н что оказывалось столь интересным. И он в восторге слушал Чнжика, который, рассказывая про жи-

вотных или про травку, казалось, сам был и животным и травой,— до того он, так сказать, весь проникался их жизнью...

Повод к такому разговору подала шалость Шурки. Он запустил камнем в утку и подшиб ее... Та с громким гоготом отскочила в сторону...

— Неправильно это, Лександра Васильич! — проговорил Федос, покачивая головой и хмуря навнсшие свои брови.— Не-хо-ро-шо, братец ты мой! — протянул он с ласковым укором в голосе.

Шурка вспыхнул и не знал, обидеться ему или нет, и, сделав вид, что не слышит замечания Федоса, с искусственно беззаботным видом стал ссыпать ногой землю в канавку.— За что безответную утицу обидели!.. Вон она, бедная, хромлет и думает: «За что меня мальчик зря зашиб?..» И она пошла к своему селезню жаловаться.

Шурке было неловко — он понимал, что поступил нехорошо,— и в то же время его заинтересовало, что Чижик говорит, будто утки думают и могут жаловаться.

И он, как все самолюбивые дети, не любящие сознаваться пред другими в своей вине, подошел к матросу и, не отвечая по существу, заносчиво проговорил:

— Какую ты дичь несешь, Чижик! Разве утки могут думать и еще жаловаться?

— А вы полагаете как?.. Небось всякая тварь понимает и свою думу думает... И промеж себя разговаривает по-своему... Гляди-кось, как воробушек-то зачуликал? — указал Федос тихим движением головы на воробья, слетевшего из сада.— Ты думаешь, он спроста, шельмец: «чилик да чилик!» Вовсе нет! Он, братец ты мой, отыскал корму да и сзывает товарищей. «Летите, мол, братцы, кантовать вместе! Вали валом, ребята!» Тоже — воробей, а небось понимает, что одному есть харч не годится... Я, мол, ем, и ты ешь, а не то что потихоньку от других...

Шурка присел рядом на бочонке, видимо заинтересованный.

А матрос продолжал:

— Вот хоть бы взять собаку... Лайку эту самую... Нешто она не понимает, как сегодня в обед Иван ее кипятком ошпарил от своего озорства?.. Тоже нашел над кем куражиться! Над собакой, лодырь бесстыжий! — с сердцем говорил Федос...— Небось теперь эта самая Лайка к кухне не подойдет... И подальше от кухни-то... Знает, как там ее встретят... К нам вот не боится!

И с этими словами Федос подозвал лохматую, далеко

«Нянька»

неказистую собаку с умной мордой и, погладив ее, проговорил:

— Что, брат, попало от дурака-то?.. Покажи-ка спину!..

Лайка лизнула руку матроса.

Матрос осторожно осмотрел ее спину.

— Ну, Лаечка, не очень-то тебя ошпарили... Ты больше от досады, значит, визжала... Не бойся... Уж теперь я тебя в обиду не дам...

Собака опять лизнула руку и весело замахала хвостом.

— Вон и она чувствует ласку... Смотрите, барчук... Да что собака... Всякая насекомая и та понимает, да сказать только не может... Травка и та словно пискнет, как ты ее придавишь...

Много еще говорил словоохотливый Федос, и Шурка был совсем очарован. Но воспоминание об утке смущало его, и он беспокойно проговорил:

— А не пойдем ли, Чижик, посмотреть утку?.. Не сломана ли у нее нога?

— Нет, видно, ничего... Вон она переваливается... Небось без фершела поправилась? — засмеялся Федос и, понявши, что мальчику стыдно, погладил его по голове и прибавил: — Она, братец ты мой, уж не сердится... Простила... А завтра мы ей хлеба принесем, если нас гулять пустят...

Шурка уже был влюблен в Федоса.

И нередко потом, в дни своего отрочества и юношества, имея дело с педагогами, вспоминал о своем денщике-няньке и находил, что никто из них не мог сравниться с Чижиком.

В девятом часу вечера Федос уложил Шурку спать и стал рассказывать ему сказку. Но сонный мальчик не дослушал ее и, засыпая, проговорил:

— А я не буду обижать уток... Прощай, Чижик!.. Я тебя люблю!

В тот же вечер Федос стал устраивать себе уголок в комнате рядом с кухней.

Снявши с себя платье и оставшись в исподних и в ситцевой рубахе, он открыл свой сундучок, внутренняя доска которого была оклеена разными лубочными картинками и этикетками с помадных банок,— тогда олеографий и иллюстрированных изданий еще не было,— и первым делом достал из сундучка маленький потемневший образок Николая-чудотворца и, перекрестившись, повесил к изголовью. Затем повесил зеркальце и полотенце и, положив

на козлы, заменявшие кровать, свой блинчатый тюфячок, постлал его простыней и накрыл ситцевым одеялом.

Когда все было готово, он удовлетворенно оглядел свой новый уголок и, разувшись, сел на кровать и закурил трубку.

В кухне еще возился Иван, только что убравший самовар.

Он заглянул в комнатку и спросил:

— А ужннать разве не будете, Федос Никитич?

— Нет, не хочу...

— И Анютка не хочет... Вндно, придется одному ужннать... А то чаю не угодно ли? У меня сахар завсегда водится! — проговорил, как-то плутовато подмигивая глазом, Иван.

— Спасибо на чае... Не стану...

— Что ж, как угодно! — как будто обижаясь, сказал Иван, уходя.

Не нравился ему новый сожнтель, очень не нравился. В свою очередь, и Иван не прншелся по вкусу Федосу. Федос не любил вообще «вестовщину» н денщиков, а этого плутоватого и нахального повара в особенности. Особенно ему не понравились разные двусмысленные шуточки, которые он отпускал за обедом Анютке, и Федос сидел молча и только сурово хмурил бровн. Иван тотчас же понял, отчего «матрозня» сердится, и примолк, стараясь поразить его своим «высшим обращением» и хвастливыми разговорами о том, как им довольны и как его ценят и барыня и барин.

Но Федос отмалчнвался и решил про себя, что Иван совсем «пустой человек». А за Лайку назвал его таки прямо «бессовестным» и прибавил:

— Тебя бы так ошпарнть. А еще счнтаешься матросом!

Иван отшутился, но затаил в своем сердце злобу на Федоса, тем более что его осрамили при Анютке, которая, вндимо, сочувствовала словам Федоса.

— Однако и спать ложиться! — проговорил вслух Федос, докурив трубку.

Он встал, торжественно-громко произнес «Отче наш» и, перекрестившнсь, лег в постель. Но заснуть еще долго не мог, и в голове его бродили мысли о прошлой пятнадцатилетней службе н о новом своем положении.

«Мальчонка добрый, а как с этнмн ужнвусь,— с белобрысой да с лодырем?» — задавал он себе вопрос. В конце концов он решнл, что как бог даст, и наконец заснул, вполне успокоенный этим решеннем.

VII

Федос Чижик, как и большая часть матросов того времени, когда крепостное право еще доживало свои последние годы и во флоте, как и везде, царила беспощадная суровость и даже жестокость в обращении с простыми людьми, был, разумеется, большим философом-фаталистом.

Все благополучие своей жизни, преимущественно заключавшееся в охранении своего тела от побоев и линьков, а лица от серьезных повреждений,— за легкими он не гнался и считал их относительным благополучием,— Федос основывал не на одном только добросовестном исполнении своего трудного матросского дела и на хорошем поведении, согласно предъявляемым требованиям, а главнейшим образом на том, «как бог даст».

Эта не лишенная некоторой трогательности и присущая лишь русским простолюдинам исключительная надежда на одного только господа бога разрешала все вопросы и сомнения Федоса относительно его настоящей и будущей судьбы и служила едва ли не единственной поддержкой, чтобы, как выражался Чижик, «не впасть в отчаянность и не попробовать арестантских рот».

И благодаря такой надежде он оставался все тем же исправным матросом и стоиком, отводящим свою возмущенную людскою неправдой душу лишь крепкою бранью и тогда, когда даже воистину христианское терпение русского матроса подвергалось жестокому испытанию.

С тех пор как Федос Чижик, оторванный от сохи, был сдан благодаря капризу старухи помещицы в рекруты и, никогда не видавший моря, попал, единственно из-за своего малого роста, во флот, жизнь Федоса представляла собою довольно пеструю картину переходов от благополучия к неблагополучию, от неблагополучия к той, едва даже понятной теперь, невыносимой жизни, которую матросы характерно называли «каторгой», и обратно — от «каторги» к благополучию.

Если «давал бог», командир, старший офицер и вахтенные начальники попадались по тем суровым временам не особенно бешеные и дрались и пороли, как выражался Федос, «не зря и с рассудком», то и Федос, как один из лучших марсовых, чувствовал себя спокойным и довольным, не боялся сюрпризов в виде линьков, и природное его добродушие и некоторый юмор делали его одним из самых веселых рассказчиков на баке.

Если же «бог давал» командира или старшего офицера, что называется на матросском жаргоне, «форменного арестанта», который за опоздание на несколько секунд при постановке или при уборке парусов прнказывал «спустить шкуры» всем марсовым, то Федос терял веселость, делался угрюм н, после того как его дралн как сндорову козу, случалось, нередко загуливал на берегу. Однако все-такн находил возможным утешать падавших духом молодых матросов н с какою-то странною уверенностью для человека, спина которого сплошь покрыта снннми рубцамн с кровавыми подтеками, говорил:

— Бог даст, братцы, нашего арестанта переведут куда... Заместо его не такой дьявол поступит... Отдышнмся... Не все же терпеть-то!

И матросы верили,— нм так хотелось верить,— что, «бог даст», уберут куда-нибудь «арестанта».

И терпеть, казалось, было легче.

Федос Чнжик пользовался большим авторитетом и в своей роте, и на судах, на которых плавал, как человек «правильный», вдобавок «с умом» н лнхой марсовой, не раз доказавшнй н знание дела, и отвагу. Его уважали н любнли за его честность, добрый характер н скромность. Особенно расположены к нему были молодые безответные матроснкн. Федос таких всегда брал под свою защиту, оберегая их от боцманов и унтер-офнцеров, когда онн слишком куражились и зверствовали.

Достойно замечания, что в деле нсправлення такнх боцманов Федос несколько отступал от своего фатализма, возлагая надежды не на одно только «как бог даст», но и на силу человеческого воздействия, и даже главным образом на последнее.

По крайней мере, когда увещательное слово Федоса, сказанное с глазу на глаз какому-ннбудь неумеренному «мордобою»-боцману, слово, полное убедительной страстности «пожалеть людей», не пронзводило надлежащего впечатлення н боцман продолжал по-прежнему драться «безо всякого рассудка», Федос обыкновенно прибегал к предостережению н говорил:

— Ой, не зазнавайся, боцман, что вошь в коросте! Бог гордых не любит. Смотрн, как бы тебя, братец ты мой, не проучилн... Сам небось знаешь, как вашего брата проучивают!

Если н к такому предостережению боцман оставался глух, Федос покачивал раздумчнво головой и строго хмурил брови, вндимо прннимая какое-то решение.

Несмотря на свою доброту, он, однако, во нмя долга н охранення неписаного обычного матросского права, собирал несколькнх достойных доверня матросов на тайное совещанне о поступках боцмаиа-зверя, н иа этом матросском суде Лннча обыкновенно постаиовлялось решенне: «проучнть боцмана», что н прнводилось в нсполнение прн первом же съезде иа берег.

Боцмана нзбивали где-ибудь в переулке Кронштадта нлн Ревеля до полусмерти н доставлялн на корабль. Обыкновенно боцман того времени и не думал жаловаться на вниовииков, объяснял начальству, что в пьяиом виде нмел дело с матросамн с иностранных купеческих кораблей, н после такой серьезной «выучкн» уже дрался с «большим рассудком», продолжая, конечно, ругаться с прежннм мастерством, за что, впрочем, никто не был в претензнн.

И Федос в такнх случаях нередко говорнл с обычиым добродушнем:

— Как выучили, так и человеком стал. Боцмаи как боцман...

Сам Федос не желал быть «иачальством» — совсем это не подходнло к его характеру,— н он решнтельио просил не производить его в унтер-офицеры, когда один из старшнх офнцеров, с которым он служил, хотел представнть Федоса.

— Будьте милостивы, ваше благородие, ослобонnте от такой должности! — взмолился Федос.

Изумлеииый старшнй офнцер спроснл:

— Это почему?

— Не прнвержен я быть уитерцером, ваше благородие. Вовсе не по мие это звание, ваше благородие... Явите божескую милость, дозвольте остаться в матросах! — докладывал Федос, не объясняя, однако, мотивов своего нежелання.

— Ну, если не хочешь, как знаешь... А я думал тебя наградить...

— Рад стараться, ваше благородие! Премиого благодарен, ваше благородне, что дозволилн остаться матросом...

— И оставайся, коли ты такой дурак! — проговорил старшнй офицер.

А Федос ушел нз каюты старшего офнцера радостный и довольный, что нзбавился от должности, в которой прнходилось «собачиться» со своим же братом-матросом и на-

ходиться в более непосредственных отношениях с господами офицерами.

«Ну их... От греха лучше подальше!»

Всего бывало в течение долгой службы Федоса. И пороли, и били его, и похваливали, и отличали. Последние три года службы его на «Кобчике», под начальством Василия Михайловича Лузгина, были самыми благополучными годами. Лузгин и старший офицер были люди добрые по тем временам, и на «Кобчике» матросам жилось относительно хорошо. Не было ежедневных порок, не было вечного трепета. Не было бессмысленной флотской муштры.

Василий Михайлович знал Федоса как отличного формарсового, и, выбрав его загребным на свой вельбот, еще лучше познакомился с матросом, оценив его добросовестность и аккуратность.

И Федос думал, что, «бог даст», он прослужит еще три года с Василием Михайловичем тихо и спокойно, как у Христа за пазухой, а там его уволят в «бессрочную» до окончания положенного двадцатипятилетнего срока службы, и он пойдет в свою дальнюю симбирскую деревушку, с которой не порывал связей и раз в год просил какого-нибудь грамотного матроса писать к своему «дражайшему родителю» письмо, обыкновенно состоящее из добрых пожеланий и поклонов всем родным.

Матрос, не вовремя отдавший внизу марса-фал, которым оторвало Федосу, бывшему на марсе, два пальца, был невольным виновником в перемене судьбы Чижика.

Матроса жестоко отодрали, а Чижика немедленно отправили в кронштадтский госпиталь, где ему вылущили оба пальца. Он выдержал операцию, даже не охнув. Только стиснул зубы, и по его побледневшему от боли лицу катились крупные капли пота. Через месяц уж он был в экипаже.

По случаю потери двух пальцев он надеялся, что, «бог даст», его назначат в «неспособные» и уволят в бессрочный отпуск. По крайней мере, так говорил ротный писарь и советовал через кого-нибудь «исхлопотать». Таких примеров бывало!

Но исхлопотать за Федоса было некому, а сам он не решался беспокоить ротного командира. Как бы еще не попало за это.

Таким образом Чижик остался на службе и попал в няньки.

VIII

Прошел месяц с тех пор, как Федос поступил к Лузгиным.

Нечего и говорнть, что Шурка был без ума от своей няньки, находился вполне под его влиянием н, слушая его рассказы о штормах и ураганах, которые доводилось испытать Чижику, о матросах н об нх жизни, о том, как черные людн, арапы, почти голые ходят на далеких островах за Индийским океаном, слушая про густые леса, про диковнннные фрукты, про обезьян, про крокодилов и акул, про чудное высокое небо и горячее солнышко,— Шурка сам непремеино хотел быть моряком, а пока старался во всем подражать Чнжику, который в то время был его идеалом.

С чисто детскнм эгонзмом он не отпускал от себя Чижика, чтоб быть всегда вместе, забывая даже и мать, которая со времени появлення Чнжика как-то отошла на второй плаи.

Еще бы! Она не умела так занятно рассказывать, не умела делать таких славиых бумажиых змеев, волчков и лодок, которые делал Чижик. И ко всему этому он с Чнжнком не чувствовал иад собою придирчнвой иняньки. Оин были больше приятелямн и, казалось, жили однними нитересами и часто, не сговариваясь, выражали одни и те же миения.

Эта близость с денщиком-матросом несколько пугала Марью Иваиовну, а некоторая отчужденность от матери, которую она, конечно, заметила, даже заставили ее ревновать Шурку к няиьке. Кроме того, Марье Ивановне, как бывшей нститутке и строгой ревнительнице манер, казалось, будто Шурка при Чижике немного огрубел и манеры его стали угловатее.

Тем ие менее Марья Иваиовна не могла не созиаться, что Чижик добросовестно исполняет свон обязаиности и что при нем Шурка значительио поздоровел, не капризничает и не нервничает, как бывало прежде, и она совершенно спокойно уходила из дома, зная, что может вполне положиться на Чнжика.

Но, несмотря на такое признание заслуг Чижика, он все-таки был несимпатичеи молодой женщине. Она терпела Федоса только ради ребенка и обращалась с ним с высокомерною холодностью и почти нескрываемым презрением барыни к мужлану-матросу. Главное, что возму-

щало ее в денщике,— это недостаток в нем той почтительной угодливости, которую она любила в прислуге и которою особенно отличался ее любимец Иван. А в Федосе — никакой приветливости. Всегда несколько хмурый при ней, с служебным лаконизмом подчиненного отвечающий на ее вопросы, всегда отмалчивающийся на ее замечания, которые, по мнению Чижика, белобрысая делала зря, он далеко не отвечал требованиям Марьи Ивановны, и она чувствовала, что этот матрос втайне далеко не признает ее авторитета и совсем не чувствует признательности за все те благодеяния, которые, казалось барыне, он получил, попав к ним в дом из казармы. Это возмущало барыню.

Чувствовал это отношение к себе белобрысой и Чижик, и сам, в свою очередь, недолюбливал ее, и главным образом за то, что она совсем уж утесняла бедную, безответную Анютку, шпыняя ее за всякую малость, сбивая с толку окриками и нередко давая ей пощечины,— и не то что с пыла, а прямо-таки от злого сердца, этак хладнокровно и еще с улыбочкой.

«Эка злющая ведьма!» — не раз думал про себя Федос, насупливая брови и становясь мрачным, когда бывал свидетелем, как белобрысая не спеша, устремив большие серые и злые глаза на замершую в страхе Анютку, хлещет своею белою, пухлою рукой в кольцах по худеньким, бледным щекам девушки.

И он жалел Анютку — быть может, даже более, чем жалел,— эту миловидную, загнанную девушку с испуганным взглядом синих глаз, и, случалось, когда барыни не было дома, ласково ей говорил:

— А ты не робей, Аннушка... Бог даст, недолго терпеть... Слышно, скоро волю всем объявят. Потерпи, а там уйдешь, куда захочешь, от своей ведьмы. Бог-то умудрил царя!

Эти участливые слова бодрили Анютку и наполняли ее сердце благодарным чувством к Чижику. Она понимала, что он ее жалеет, и видела, что только благодаря Чижику противный Иван не так нахально, как прежде, преследует ее своими любезностями.

Зато Иван ненавидел Федоса со всею силой своей мелкой душонки и вдобавок ревновал его, приписывая отчасти Чижику полное невнимание Анютки его особе, которую он считал довольно-таки привлекательною.

Ненависть эта еще более усилилась после того, как Федос однажды застал на кухне Анютку, отбивавшуюся от объятий повара.

При появлении Федоса Иван тотчас же оставил девушку и, приняв беспечно-развязный вид, проговорил:

— Шутю с дурой, а она сердится...

Федос стал мрачнее черной тучи.

Не говоря ни слова, подошел он вплотную к Ивану и, поднося к его побледневшему, испуганному лицу свой здоровенный волосатый кулак, едва сдерживаясь от негодования, произнес:

— Видишь?

Струсивший Иван зажмурил от страха глаза при столь близком соседстве такого громадного кулака.

— Тесто из подлой твоей хайлы сделаю, ежели ты еще раз тронешь девушку, подлец этакий!

— Я, право, ничего... Я только так... Пошутил, значит...

— Я тебе... пошутю... Нешто можно обижать так человека, бесстыжий ты кобель?

И, обращаясь к Анютке, благодарной и взволнованной, продолжал:

— Ты мне, Аннушка, только скажи, если он пристанет... Рыжая его морда будет на стороне... Это верно!

С этими словами он вышел из кухни.

В тот же вечер Анютка шепнула Федосу:

— Ну, теперь этот подлый человек будет еще больше наушничать на вас барыне... Уж он наушничал... Я слышала из-за дверей третьего дня... говорит: вы, мол, всю кухню провоняли махоркой...

— Пусть себе кляузничает! — презрительно бросил Федос...— Мне и трубки, что ли, не покурить? — прибавил он, усмехаясь.

— Барыня страсть не любит простого табаку...

— А пусть себе не любит! Я не в комнатах курю, а в своем, значит, помещении... Тоже матросу без трубки нельзя...

После этого происшествия Иван во что бы то ни стало хотел сжить ненавистного ему Федоса и, понимая, что барыня недолюбливает Чижика, стал при всяком удобном случае нашептывать барыне на Федоса.

Он, дескать, и с маленьким барином совсем вольно обращается, не так, как слуга, он и барыниной доброты не чувствует, он и с Анюткой что-то шепчется часто... Стыдно даже.

Все это говорилось намеками, предположениями, сопровождаемое уверениями в своей преданности барыне.

Молодая женщина все это слушала и стала с Чижиком еще суровее и придирчивее. Она зорко наблюдала за

ннм н за Анюткой, часто входила невзначай будто в детскую, выспрашнвала у Шуркн, о чем с ннм говорнт Чнжик, но ннкакнх сколько-ннбудь серьезных улнк преступностн Федоса найти не могла, и это еще более злило молодую женщину, тем более что Федос, как будто н не замечая, что барыня на него гневается, нисколько не изменял своих служебно-офнциальных отиошеиий.

«Бог даст, белобрысая уходится?» — думал Федос, когда невольная тревога подчас закрадывалась в его сердце прн вnде ее недовольного, строгого лнца.

Но белобрысая не переставала прндираться к Чнжнку, н вскоре над ним разразилась гроза.

IX

В одну субботу, когда Федос, только что вернувшнйся из бани, пошел укладывать мальчика, Шурка, всегда делнвшнйся впечатленнямн со своим любимцем-пестуном н сообщавшнй ему все домашние новости, тотчас же промолвил:

— Зиаешь, что я тебе скажу, Чижнк...

— Скажи, так узнаю,— проговорил, усмехнувшнсь, Федос.

— Мы завтра едем в Петербург... к бабушке. Ты не знаешь бабушки?

— То-то не знаю.

— Она добрая-предобрая, вроде тебя, Чнжнк... Она — папнна мать... С первым пароходом едем...

— Что же, дело хорошее, братец ты мой. И добрую бабку свою повидаешь, и на «праходе» прокатишься... Вроде бытто иа море побываешь...

Наедине Федос почти всегда говорил Шурке «ты». И это очень нравилось мальчнку н вполне соответствовало нх дружеским отношениям н взанмной прнвязанности. Но в прнсутствнн Марьи Ивановны Чнжик не позволял себе такой фамильярности: и Федос н Шурка понималн, что при матери нельзя было показывать интнмной их короткости.

«Небось прнцепнтся,— рассуждал Федос,— дескать, барское дите, а матрос его тыкает. Известно, «фанаберистая» барыия!»

— Ты, Чижнк, разбуди меня пораньше. И новую курточку прнготовь, н новые сапоги...

— Все изготовлю, будь спокоен... Сапоги отполирую в

лучшем виде... Одно слово, в полном парате тебя отпущу... Таким будешь молодцом, что наше вам почтение! — весело и любовно говорил Чижик, раздевая Шурку.— Ну, теперь помолись-ка богу, Лександра Васильич.

Шурка прочитал молитву и юркнул под одеяло.

— А будить тебя рано не стану,— продолжал Чижик, присаживаясь около Шуркиной кровати,— в половине седьмого побужу, а то, не выспамшись, нехорошо...

— И маленькая Адя едет, и Анютка едет, а тебя, Чижик, мама не берет. Уж я просил маму, чтобы и тебя взяла с нами, так не хочет...

— Зачем меня брать-то? Лишний расход.

— С тобою было бы веселее.

— Небось и без меня не заскучишь... День-то не беда тебе без Чижика побыть... А я и сам попрошусь со двора. Тоже и мне в охотку погулять... Ты как полагаешь?

— Иди, иди, Чижик!.. Мама, верно, пустит...

— То-то надо бы пустить... Во весь месяц ни разу не ходил со двора...

— А ты куда же пойдешь, Чижик?

— Куда пойду? А сперва в церкву пойду, а потом к куме-боцманше заверну... Ейный муж мне старинный приятель... Вместе в дальнюю ходили... У них посижу... Покалякаем... А потом на пристань схожу, матросиков погляжу... Вот и гулянка... Однако спи, Христос с тобой!

— Прощай, Чижик! А я тебе гостинца от бабушки привезу... Она всегда дает...

— Кушай сам на здоровье, голубок!.. А коли не пожалеешь, лучше Анютке дай... Ей лестнее.

— И ей дам... и тебе! — сонным голосом пролепетал Шурка.

Шурка всегда угощал своего пестуна лакомствами; нередко нашивал ему и куски сахара. Но от них Чижик отказывался и просил Шурку не брать «господского припаса», чтобы не вышло какой кляузы.

И теперь, тронутый вниманием мальчика, он проговорил с нежностью, на какую только был способен его грубоватый голос:

— Спасибо тебе за ласку, милый... Спасибо... Сердчишко у тебя, у мальца, доброе... И рассудлив по своему глупому возрасту... и прост... Бог даст, как вырастешь, и вовсе будешь форменным человеком... правильным... Никого не забидишь... И бог за то тебя любить будет... Так-то, брат, лучше... Никак, уж и уснул?

Ответа не было. Шурка уже спал.

Чижик перекрестил мальчика и тихо вышел из комнаты.

На душе у него было светло и покойно, как и у этого ребенка, к которому старый, не знавший ласки матрос привязался со всею силою своего любящего сердца.

X

На следующее утро, когда Лузгина, в нарядном шелковом голубом платье, с взбитыми начесами светло-русых волос, свежая, румяная, пышная и благоухающая, с браслетами и кольцами на белых пухлых руках, торопливо пила кофе, боясь опоздать на пароход, Федос приблизился к ней и сказал:

— Дозвольте, барыня, отлучиться со двора сегодня.

Молодая женщина подняла на матроса глаза и недовольно спросила:

— А тебе зачем идти со двора?

В первое мгновение Федос не знал, что и отвечать на такой «вовсе глупый», по его мнению, вопрос.

— К знакомым, значит, сходить,— отвечал он после паузы.

— А какие у тебя знакомые?

— Известно, матросского звания...

— Можешь идти,— проговорила после минутного раздумья барыня...— Только помни, что я тебе говорила... Не вернись от своих знакомых пьяным! — строго прибавила она.

— Зачем пьяным? Я в своем виде вернусь, барыня!

— Без своих дурацких объяснений! К семи часам быть дома! — резко заметила молодая женщина.

— Слушаю-с, барыня! — с официальной почтительностью ответил Федос.

Шурка удивленно посмотрел на мать. Он решительно недоумевал, за что мама сердится и вообще не любит такого прелестного человека, как Чижик, и, напротив, никогда не бранит противного Ивана. Иван и Шурке не нравился, несмотря на его льстивое и заискивающее обращение с молодым барчуком.

Проводив господ и обменявшись с Шуркой прощальными приветствиями, Федос достал из глубины своего сундучка тряпицу, в которой хранился его капитал — несколько рублей, скопленных им за шитье сапог. Чижик недурно шил сапоги и умел даже шить с фасоном, вследствие

чего, случалось, получал заказы от писарей, подшкиперов и баталеров.

Осмотрев свои капиталы, Федос вынул из тряпки одну засаленную рублевую бумажку, спрятал ее в карман штанов, рассчитывая из этих денег купить себе восьмушку чая, фунт сахара и запас махорки, а остальные деньги, бережно уложив в тряпочку, снова запрятал в уголок сундука и запер сундук на ключ.

Поправив огонек в лампадке перед образком у изголовья, Федос расчесал свои черные как смоль баки и усы, обулся в новые сапоги и, облачившись в форменную матросскую серую шинель с ярко горевшими медными пуговицами и надевши чуть-чуть набок фуражку, веселый и довольный вышел из кухни.

— Обедать нешто дома не будете? — кинул ему вдогонку Иван.

— То-то не буду!..

«Экая необразованная матрозня! как есть «чучила»,— мысленно напутствовал Федоса Иван.

И сам он, франтовато одетый в серый пиджак, в белой манишке, воротник которой был повязан необыкновенно ярким галстуком, с бронзовой цепочкой на жилете, глядя в окно на проходившего Чижика, презрительно оттопырил толстые свои губы, покачал кудластой головой с рыжими волосами, обильно умащенными коровьим маслом, и в маленьких его глазках сверкнул огонек.

XI

Федос первым делом направился в Андреевский собор и как раз попал к началу службы.

Купив копеечную свечку и пробравшись вперед, он поставил свечку у образа Николы-угодника и, вернувшись, стал совсем позади, в толпе бедного люда. Всю обедню он выстоял серьезный и сосредоточенный, стараясь направить мысли на божественное, и усердно и истово осенял себя широким, размашистым крестным знамением. При чтении Евангелия он умилился, хотя и не все понимал, что читали. Умилялся и при стройном пении певчих и вообще находился в приподнятом настроении человека, отрешившегося от всяких житейских дрязг.

И, слушая пение, слушая слова любви и милосердия, произносимые мягким тенорком священника, Федос уносился куда-то в особый мир, и ему казалось, что там,

«на том свете», будет необыкновенно хорошо и ему, н всем матросам, куда лучше, чем было на грешной земле...

Нравственно удовлетворенный н как бы внутренне сняющий, вышел Федос по окончаннн службы нз церкви н на паперти, где толпилнсь по обе ее стороны н по бокам ступеней лестннцы нищие, оделил по грошнку десять человек, подавая преимущественно мужчинам и старнкам.

Все еще занятый разнымн, как он называл, «божественнымн» мыслямн насчет того, что господь все видит и еслн попускает на свете неправду, то более всего для нспытания человека, готовя потерпевшему на земле самую лучшую будущую жнзнь, которой, разумеется, не видать, как ушей своих, форменным «арестантам» из капитанов н офицеров,— Чижик ходко шагал в однн нз дальних переулков, где в маленьком деревянном домишке нанимал комнату отставной боцман Флегонт Нилыч н его жена Авдотья Петровна, нмевшая на рынке ларек со всякою мелочью.

Низенький н худощавый старнк Нилыч, бодрый еще на вид, несмотря на свон шестьдесят с лишком лет, сидел за накрытым цветной скатертью столом в чнстой снтцевой рубахе, шнроких штанах н в башмаках, одетых на босые ноги, и слегка вздрагивающею костлявою рукою с предусмотрнтельной осторожностью налнвал нз полуштофа в стаканчнк водку.

И в выражении его морщннистого, отлнвавшего старческим румянцем лнца, с крючковатым носом н большой бородавкой на выбритой, по случаю воскресенья, щеке, и маленькнх, все еще живых глаз было столько сосредоточенного благоговейного внимания, что Нилыч н не заметил, как в дверн вошел Федос.

И Федос, словно бы понимая всю важность этого священнодействня, дал знать о своем присутствнн только тогда, когда стаканчнк был налит до краев н Нилыч его выцеднл с вндимым наслажденнем.

— Флегонту Нилычу — нижайшее! С праздннком!

— А, Федос Никитич? — весело вosклнкнул Нилыч, как звали его все знакомые, пожимая Федосу руку.— Садись, братец, сейчас штн Авдотья Петровна принесет...

И, налнвая вновь стаканчик, поднес его Федосу.

— Я, брат, уж колупнул.

— Будь здоров, Нилыч! — проговорнл Чнжнк и, медленно выпнв рюмку, крякнул.

— И где это ты пропадал?.. Уж я в казармы хотел ндти... Думаю: совсем забыл нас... А еще кум...

— В денщики попал, Нилыч...

— В денщики?.. К кому?

— К Лузгину, капитану второго ранга... Может, слыхал?

— Слыхал... Ничего себе... Ну-кось!.. вторительно?.. И Нилыч снова налил стаканчик.

— Будь здоров, Нилыч!..

— Будь здоров, Федос! — проговорил и Нилыч, выпивая в свою очередь.

— С им-то ничего жить, только женка его, я тебе скажу...

— Зудливая нешто?

— Как есть заноза, и злющая. Ну, и о себе много полагает... Думает, что белая да ядреная, так уж лучше и нет...

— Ты у них по какой же части?

— В няньках при барчуке. Мальчонка славный, душевный мальчонка... Кабы не заноза эта самая, легко было бы жить... А она всем в доме командует...

— А сам?

— То-то он у ей вроде быдто подвахтенного. Перед ей и не пикнет, а, кажется, с рассудком человек... Совсем в покорности.

— Это бывает, братец ты мой! Бы-вает! — протянул Нилыч.

Сам он, когда-то лихой боцман и «человек с рассудком», тоже находился под командой своей жены, хотя при посторонних и хорохорился, стараясь показать, что он ее нисколько не боится.

— Дайся только бабе в руки, она тебе покажет кузькину маменьку. Известно, в бабе настоящего рассудка нет, а только одна брехня,— продолжал Нилыч, понижая голос и в то же время опасливо посматривая на двери.— Бабу надо держать в струне, чтобы понимала начальство. Да что это моя-то копается? Рази пойти ее шугануть!..

Но в эту минуту отворилась дверь, и в комнату вошла Авдотья Петровна, здоровая, толстая и высокая женщина лет пятидесяти с очень энергичным лицом, сохранившим еще остатки былой пригожести. Достаточно было взглянуть на эту внушительную особу, чтобы оставить всякую мысль о том, что низенький и сухенький Нилыч, казавшийся перед женой совсем маленьким, мог ее «шугануть». В засученных красных ее руках был завернутый в тряпки горшок со щами. Сама она так и пылала.

— А я думала, с кем это Нилыч стрекочет... А это

Федос Никитич!.. Здравствуйте, Федос Никнтич... И то забылн! — говорила густым, низким голосом боцманша.

И, поставнвшн горшок на стол, протянула куму руку и броснла Нилычу:

— Подиес гостю-то?

— А то как же? Небось тебя не дожидались!

Авдотья Петровиа повела взглядом иа Нилыча, точио дивясь его прыти, и разлила по тарелкам щи, от которых шел пар н вкусно пахло. Затем достала из шкапчика с посудой еще два стаканчнка н наполнила все три.

— Что правильно, то правильно! Петровиа, братец ты мой, рассудлнвая женщина! — заметил Нилыч не без льстнвой иотки, умильио глядя на водку.

— Милости просим, Федос Никитич,— предложила боцманша.

Чижнк ие отказался.

— Будьте здоровы, Авдотья Петровна! Будь здоров, Нилыч!

— Будьте здоровы, Федос Никитнч.

— Будь здоров, Федос!

Все трое выпнли, у всех былн серьезные н несколько торжествениые лица. Перекрестившись, началн хлебать в молчаиии щи. Только по времеиам раздавался низкий голос Авдотьи Петровиы:

— Милостн просим!

После щей полуштоф был пуст.

Боцмаиша пошла за жареным н, возвратившнсь, вместе с куском мяса поставнла иа стол еще полуштоф.

Нилыч, вндимо, подавленный такнм благородством жеиы, воскликнул:

— Да, Федос... Петровна, одио слово...

К концу обеда разговор сделался оживлеинее. Нилыч уже заплетал языком н размяк. Чижнк н боцманша, оба красные, былн клюкнувшн, но иисколько не терялн своего достоннства.

Федос рассказывал о белобрысой, о том, как она утесняет Анютку н какой у ннх подлый деищик Иваи, н философствовал насчет того, что бог все вндит н наверное быть Лузгиинхе в аду, колн оиа не одумается и ие вспоминт бога.

— Как вы полагаете, Авдотья Петровиа?

— Другого места ей ие будет, сволочи! — энергичио отрезала боцманша.— Мне знакомая прачка тоже сказывала, какая она уксусиая сука...

— Небось там, в пекле, значит, ее отполируют в луч-

шем виде... От-по-ли-ру-ют! Сделай одолжение! Не хуже, чем на флоте! — вставил Нилыч, имевший, по-видимому, об аде представление как о месте, где будут так же отчаянно пороть, как и на кораблях.— А повару раскровяни морду. Не станет он тогда кляузничать.

— И раскровеню, ежели нужно будет... Совсем оголтелый пес. Добром не выучишь! — проговорил Чижик и вспомнил об Анютке.

Петровна стала жаловаться на дела. Совсем нынче подлые торговки стали, особенно из молодых. Так и норовят из-под носа отбить покупателя.

— А мужчинское известное дело. Матрос да солдат к молодым торговкам лезет, как окунь на червя... Купит на две копейки, а сам, бесстыдник, норовит уколупнуть бабу на рубь... А другая подлющая баба и рада... Так зенками и вертит...

И, словно припомнив какую-то неприятность, Петровна приняла несколько воинственный вид, подперев бок своею здоровенною рукой, и воскликнула:

— А я терплю-терплю, а глаза черномазой Глашке выцарапаю! Знаете Глашку-то?..— обратилась боцманша к Чижику.— Вашего экипажа матроска... Марсового Ковшикова жена?..

— Знаю... За что же вы, Авдотья Петровна, хотите Глашку проучить?

— А за то самое, что она подлая! Вот за что... У меня покупателей неправильно отбивает... Вчера подошел ко мне антиллерист... Человек уж в возрасте в таком, что старому дьяволу нечего разбирать бабьи подлости... Ему на том свете уж и паек готов... Ну, подошел к ларьку — так по правилам, значит, уж мой покупатель, и всякая честная торговка должна перестать драть глотку на зазыв... А Глашка заместо того, мерзавка, грудь пятит, чтобы ульстить антиллериста, и голосом воет: «Ко мне, кавалер!.. Ко мне, солдатик бравый!.. Я дешевле продам!» И зубы скалит, толсторожая... И что бы вы думали?.. Старый-то облезлый пес облестился, что его, дурака, молодая баба назвала бравым солдатиком, и к ней... У нее и купил. Ну, и отчесала же я их обоих: и антиллериста и Глашку!.. Да разве эту подлюгу словом проймешь!

Федос и в особенности Нилыч хорошо знали, что Петровна в минуты возбуждения ругалась не хуже любого боцмана и могла, казалось, пронять всякого. Недаром все на рынке — и торговки и покупатели — боялись ее языка.

Однако мужчины из деликатности промолчали.

— Беспременно выцарапаю ей глаза, ежели еще раз Глашка осмелится! — повторила Петровна.

— Небось не посмеет!.. С такой, можно сказать, умственной бабой не посмеет! — проговорил Нилыч.

И, несмотря на то, что уже был достаточно «зарифившись» и еле плел языком, обнаружил, однако, дипломатическую хитрость, начав выхваливать добродетели своей супруги... Она, дескать, и большого ума, и хозяйственна, и мужа своего кормит... Одним словом, такой другой женщины не сыскать по всему Кронштадту. После чего намекнул, что если бы теперь по стаканчику пива, то было бы самое лучшее дело... Только по стаканчику...

— Как ты об этом полагаешь, Петровна? — просительным тоном проговорил Нилыч.

— Ишь ведь, старый хрыч... к чему подъезжает!.. И без того ослаб... А еще пива ему дай... То-то лестные слова молол, лукавый.

Однако Петровна говорила эти речи без сердца и, как видно, сама находила, что пиво вещь недурная, потому что вскоре надела на голову платок и вышла из комнаты.

Через несколько минут она вернулась, и несколько бутылок пива красовались на столе.

— И провористая же баба Петровна, я тебе скажу, Федос... Ах, что за баба! — повторил в пьяном умилении Нилыч после двух стаканов пива.

— Ишь, разлимонило уже! — не без снисходительного презрения промолвила Петровна.

— Меня разлимонило? Старого боцмана?.. Неси еще пару бутылок... Я один выпью... А пока вали, милая супруга, еще стаканчик...

— Будет с тебя...

— Петровна! Уважь супруга...

— Не дам! — резко ответила Петровна.

Нилыч принял обиженный вид.

Был уже пятый час, когда Федос, простившись с хозяевами и поблагодарив за угощение, вышел на улицу. В голове у него шумело, но ступал он твердо и с особенною аффектацией становился во фронт и отдавал честь при встрече с офицерами. И находился в самом добродушном настроении, и всех почему-то жалел. И Анютку жалел, и встретившуюся ему на дороге маленькую девочку пожалел, и кошку, прошмыгнувшую мимо него, пожалел, и проходивших офицеров жалел. Идут, мол, а того

не понимают, что они несчастные... Бога-то забыли, а он, батюшка, все видит...

Сделав необходимые покупки, Федос пошел на Петровскую пристань, встретил там среди гребцов на дожидающих офицеров шлюпках знакомых, поговорил с ними, узнал, что «Кобчик» находится теперь в Ревеле, и в седьмом часу вечера направился домой.

Лайка встретила Чижика радостным бреханьем.

— Здравствуй, Лаечка... Здорово, брат! — ласково приветствовал он собаку и стал ее гладить...— Что, кормили тебя?.. Небось забыли, а? Погоди... принесу тебе... Чай, в кухне что найдется...

Иван сидел на кухне у окна и играл на гармонии. При виде Федоса, выпившего, он с довольным видом усмехнулся и проговорил:

— Хорошо погуляли?

— Ничего себе погулял...

И, пожалев, что Иван сидит дома один, прибавил:

— Иди и ты погуляй, пока господа не вернутся, а я буду дом сторожить...

— Куда уж теперь гулять... Семь часов! Скоро и господа вернутся...

— Твое дело, а ты мне дай косточек, если есть...

— Бери... Вон лежат...

Чижик взял кости, отнес их собаке и, вернувшись, присел на кухне и неожиданно проговорил:

— А ты, братец мой, лучше живи по-хорошему... Право... И не напущай ты на себя форцу... Все помрем, а на том свете форцу, любезный ты мой, не спросят...

— Это вы в каких, например, смыслах?

— А во всяких... И к Анютке не приставай. Силком девку не привадишь, а она, сам видишь, от тебя бегает... За другой лучше гоняйся... Грешно забиждать девку-то... И так она забижена! — продолжал Чижик ласковым тоном.— И всем нам без свары жить можно... Я тебе без всякого сердца говорю...

— Уж не вам ли Анютка приглянулась, что вы так заступаетесь?..— насмешливо проговорил повар.

— Глупый!.. Я в отцы ей гожусь, а не то чтобы какие подлости думать...

Однако Чижик не продолжал разговора в этом направлении и несколько смутился.

А Иван между тем говорил вкрадчивым тенорком:

— Я, Федос Никитич, и сам ничего лучшего не желаю,

как жить, значит, в полном с вами согласии... Вы сами мною пренебрегаете...

— А ты форц-то свой брось... Вспомни, что ты матросского звания человек, и никто тобой пренебрегать не будет... Так-то, брат... А то, в денщиках околачиваясь, ты и вовсе совесть забыл... Барыне кляузничаешь... Разве это хорошо?.. Ой, нехорошо это!.. Неправильно...

В эту минуту раздался звонок. Иван бросился отворять двери.

Пошел и Федос встречать Шурку.

Марья Ивановна пристально оглядела Федоса и произнесла:

— Ты пьян!..

Шурка, хотевший было подбежать к Чижику, был резко отдернут за руку.

— Не подходи к нему... Он пьян!

— Никак нет, барыня... Я вовсе не пьян... Почему вы полагаете, что я пьян?.. Я, как следует, в своем виде и все могу справлять... И Лександру Васильича уложу спать, и сказку расскажу... А что выпил я маленько... это точно... У боцмана Нилыча... В самую плепорцию... по совести.

— Ступай вон! — крикнула Марья Ивановна.— Завтра я с тобой поговорю.

— Мама... мама... Пусть меня Чижик уложит!

— Я сама тебя уложу! А пьяный не может укладывать.

Шурка залился слезами.

— Молчи, гадкий мальчишка! — крикнула на него мать...— А ты, пьяница, чего стоишь? Ступай сейчас же на кухню и ложись спать.

— Эх, барыня, барыня! — проговорил с выражением не то упрека, не то сожаления Чижик и вышел из комнаты.

Шурка не переставал реветь. Иван торжествующе улыбался.

XII

На следующее утро Чижик, вставший, по обыкновению, в шесть часов, находился в мрачном настроении. Обещание Лузгиной «поговорить» с ним сегодня, по соображениям Федоса, не предвещало ничего хорошего. Он давно видел, что барыня терпеть его не может, зря придираясь к нему, и с тревогой в сердце догадывался, какой это будет

«разговор». Догадывался и становился мрачнее, сознавая в то же время полную свою беспомощность и зависимость от белобрысой, которая почему-то стала его начальством и может сделать с ним все, что ей угодно.

«Главная причина — зла на меня, и нет в ей ума, чтобы понять человека!»

Так размышлял о Лузгиной старый матрос и в эту минуту не утешался сознанием, что она будет на том свете в аду, а мысленно довольно-таки энергично выругал самого Лузгина за то, что он дает волю такой «злющей ведьме», как эта белобрысая. Ему бы, по-настоящему, следовало усмирить ее, а он...

Федос вышел на двор, присел на крыльце и, порядочно-таки взволнованный, курил трубочку за трубочкой в ожидании, пока закипит поставленный им для себя самовар.

На дворе уже началась жизнь. Петух то и дело вскрикивал как сумасшедший, приветствуя радостное, погожее утро. В зазеленевшем саду чиркали воробьи и заливалась малиновка. Ласточки носились взад и вперед, скрываясь на минутку в гнездах, и снова вылетали на поиски за добычкой.

Но сегодня Федос не с обычным радостным чувством глядел на все окружающее. И когда Лайка, только что проснувшаяся, поднялась на ноги и, потянувшись всем своим телом, подбежала, весело повиливая хвостом, к Чижику, он поздоровался с ней, погладил ее и, словно бы отвечая на занимавшие его мысли, проговорил, обращаясь к ласкавшейся собаке:

— Тоже, брат, и наша жизнь вроде твоей собачьей... Какой попадется хозяин...

Вернувшись на кухню, Федос презрительно повел глазами на только что вставшего Ивана и, не желая обнаруживать перед ним своего тревожного состояния, принял спокойно-суровый вид. Он видел вчера, как злорадствовал Иван в то время, когда кричала барыня, и, не обращая на него никакого внимания, стал пить чай.

На кухню вошла Анютка, заспанная, немытая, с румянцем на бледных щеках, имея в руках барынино платье и ботинки. Она поздоровалась с Федосом как-то особенно ласково после вчерашней истории и не кивнула даже в ответ на любезное приветствие повара с добрым утром.

Чижик предложил Анютке попить чайку и дал ей кусок сахара. Она наскоро выпила две чашки и, поблагодарив, поднялась.

— Пей еще... Сахар есть,— сказал Федос.

— Благодарствуйте, Федос Никитич. Надо барынино платье чистить поскорей. И неравно ребенок проснется...

— Давай я, что ли, почищу, а ты пока угощайся чаем! — предложил Иван.

— Тебя не просят! — резко оборвала повара Анютка и вышла из кухни.

— Ишь какая сердитая, скажите пожалуйста! — кинул ей вслед Иван.

И, покрасневший от досады, взглянул исподлобья на Чижика и, усмехнувшись, подумал:

«Ужо будет тебе сегодня, матрозне!»

Ровно в восемь часов Чижик пошел будить Шурку. Шурка уже проснулся и, припомнив вчерашнее, сам был невесел и встретил Федоса словами:

— А ты не бойся, Чижик... Тебе ничего не будет!..

Он хотел утешить и себя, и своего любимца, хотя в душе и далеко был не уверен, что Чижику ничего не будет.

— Бойся — не бойся, а что бог даст! — отвечал, подавляя вздох, Федос.— С какой еще ноги маменька встанет! — угрюмо прибавил он.

— Как с какой ноги?

— А так говорится. В каком, значит, характере будет... А только твоя маменька напрасно полагает, что я вчера пьяный был... Пьяные не такие бывают. Ежели человек может как следует сполнять свое дело, какой же он пьяный?..

Шурка вполне с этим согласился и сказал:

— И я вчера маме говорил, что ты совсем не был пьян, Чижик... Антон не такой бывал... Он качался, когда шел, а ты вовсе не качался...

— То-то и есть... Ты вот малолеток и то понял, что я был в своем виде... Я, брат, знаю меру... И папенька твой ничего бы не сделал, увидавши меня вчерась. Увидал бы, что я выпил в плепорцию... Он понимает, что матросу в праздник не грех погулять... И никому вреды от того нет, а маменька твоя рассердилась. А за что? Что я ей сделал?..

— Я буду маму просить, чтоб она на тебя не сердилась... Поверь, Чижик...

— Верю, хороший мой, верю... Ты-то добер... Ну, иди теперь чай пить, а я пока комнату твою уберу,— сказал Чижик, когда Шурка был готов.

Но Шурка, прежде чем идти, сунул Чижику яблоко и конфетку и проговорил:

— Это тебе, Чижик. Я и Анютке оставил.

— Ну, спасибо. Только я лучше спрячу... После сам скушаешь на здоровье.

— Нет, нет... Непременно съешь... Яблоко пресладкое. А я попрошу маму, чтобы она не сердилась на тебя, Чижик... Попрошу! — снова повторил Шурка.

И с этими словами, озабоченный и встревоженный, вышел из детской.

— Ишь ведь — дите, а чует, какова маменька! — прошептал Федос и принялся с каким-то усердным ожесточением убирать комнату.

XIII

Не прошло и пяти минут, как в детскую вбежала Анютка и, глотая слезы, проговорила:

— Федос Никитич! Вас барыня зовет!

— А ты чего плачешь?

— Сейчас меня била и грозит высечь...

— Ишь ведьма! За что?

— Верно, этот подлый человек ей чего наговорил... Она сейчас на кухне была и вернулась злющая-презлющая...

— Подлый человек всегда подлого слушает.

— А вы, Федос Никитич, лучше повинитесь за вчерашнее... А то она...

— Чего мне виниться! — угрюмо промолвил Федос и пошел в столовую.

Действительно госпожа Лузгина, вероятно, встала сегодня с левой ноги, потому что сидела за столом хмурая и сердитая. И когда Чижик явился в столовую и почтительно вытянулся перед барыней, она взглянула на него такими злыми и холодными глазами, что мрачный Федос стал еще мрачнее.

Смущенный Шурка замер в ожидании чего-то страшного и умоляюще смотрел на мать. Слезы стояли в его глазах.

Прошло несколько секунд в томительном молчании.

Вероятно, молодая женщина ждала, что Чижик станет просить прощения за то, что вчера был пьян и осмелился дерзко отвечать.

Но старый матрос, казалось, вовсе и не чувствовал себя виновным.

И эта «бесчувственность» дерзкого «мужлана», не при-

знающего, по-вндномому, авторнтета барынн, еще более злила молодую женщнну, прнвыкшую к раболепию окружающнх.

— Ты помннншь, что было вчера? — пронзнесла она наконец тихнм голосом, медленно отчеканивая слова.

— Все помню, барыня. Я пьяным не был, чтобы не помннть.

— Не был? — протянула, зло усмехнувшнсь, барыня.— Ты верно, думаешь, что пьян только тот, кто валяется на земле?..

Федос молчал: что, мол, отвечать на глупостн!

— Я тебе что говорила, когда брала в денщнкн? Говорила я тебе, чтобы ты не смел пить? Говорила?.. Что ж ты стонишь как пень?.. Отвечай!

— Говорилн.

— А Васнлнй Мнхайловнч говорил тебе, чтобы ты меня слушался н чтобы не смел грубнть? Говорил? — допрашнвала все тем же ровным, бесстрастным голосом Лузгнна.

— Сказывалн.

— А ты так-то слушаешь прнказання?.. Я выучу тебя, как говорнть с барыней... Я покажу тебе, как представляться тнхоней да нсподтншка заводнть шашнн... Я все вижу... все знаю! — прнбавнла Марья Ивановна, бросая взгляд на Анютку.

Тут Федос не вытерпел.

— Это уж вы напрасно, барыня... Как перед господом богом говорю, что ннкакнх шашней не заводил... А ежелн вы слушаете кляузы да наговоры подлеца вашего повара, то как вам будет угодно... Он вам еще не то набрешет! — проговорил Чнжнк.

— Молчать! как ты смеешь так со мной говорнть?! Анютка! Прннесн мне перо, чернила н почтовой бумаги!

— Мама! — умоляющнм, вздрагивающим голосом воскликнул Шурка.

— Убнрайся вон! — прнкрнкнула на него мать.

— Мама... мамочка... милая... хорошая... Еслн ты меня любншь... не посылай Чнжнка в экнпаж...

И, весь потрясенный, Шурка бросился к матерн н, рыдая, прнпал к ее руке.

Федос почувствовал, что у него щекочет в горле. И хмурое лнцо его просветлело в благодарном умнленнн.

— Пошел вон!.. Не твое дело!

И с этнмн словамн она оттолкнула мальчнка... Пора-

женный, все еще не веря решению матери, он отошел в сторону и плакал.

Лузгина в это время быстро и нервно писала записку к экипажному адъютанту. В этой записке она просила «не отказать ей в маленьком одолжении» — приказать высечь ее денщика за пьянство и дерзости. В конце записки она сообщала, что завтра собирается в Ораниенбаум на музыку и надеется, что Михаил Александрович не откажется ей сопутствовать.

Запечатав конверт, она отдала его Чижику и сказала:

— Сейчас отправляйся в экипаж и отдай это письмо адъютанту!

— Слушаю-с! — дрогнувшим голосом ответил матрос, хмуря нависшие брови и стараясь скрыть волнение, охватившее его.

Шурка рванулся к матери.

— Мамочка... ты этого не сделаешь... Чижик!.. Постой... не уходи! Он чудный... славный... Мамочка!.. милая... родная... Не посылай его! — молил Шурка.

— Ступай! — крикнула Лузгина денщику.— Я знаю, что ты подучил глупого мальчика... Думал меня разжалобить?..

— Не я учил, а бог! Вспомните его когда-нибудь, барыня! — с какою-то суровою торжественностью проговорил Федос, и кинув взгляд, полный любви, на Шурку, вышел из комнаты.

— Ты, значит, гадкая... злая... Я тебя не люблю! — вдруг крикнул Шурка, охваченный негодованием и возмущенный такою несправедливостью.— И я никогда не буду любить тебя! — прибавил он, сверкая заплаканными глазенками.

— Вот ты какой?! Вот чему научил тебя этот мерзавец?! Ты смеешь так говорить с матерью?

— Чижик не мерзавец... Он хороший, а ты... нехорошая! — в бешеной отваге отчаяния продолжал Шурка.

— Так я и тебя выучу, как говорить со мной, мерзкий мальчишка! Анютка! Скажи Ивану, чтобы принес розги...

— Что ж... секи... гадкая... злая... Секи! — в каком-то диком ожесточении вопил Шурка.

И в то же время личико его покрывалось смертельною бледностью, все тело вздрагивало, а большие, с расширенными зрачками глаза с выражением ужаса смотрели на двери...

Раздирающие душу вопли наказываемого ребенка донеслись до ушей Федоса, когда он выходил со двора, имея за

обшлагом рукава шинели записку, содержание которой не оставляло в матросе никаких сомнений.

Полный чувства любви и сострадания, он в эту минуту забыл о том, что ему самому под конец службы предстоит порка, и, растроганный, жалел только мальчика. И он почувствовал, что этот барчук, не побоявшийся пострадать за своего пестуна, отныне стал ему еще дороже и совсем завладел его сердцем.

— Ишь ведь, подлая! Даже родное дите не пожалела! — проговорил с негодованием Чижик и прибавил шагу, чтобы не слыхать этого детского крика, то жалобного, молящего, то переходящего в какой-то рев затравленного беспомощного зверька.

XIV

Молодой мичман, сидевший в экипажной канцелярии, был удивлен, прочитав записку Лузгиной. Он служил раньше в одной роте с Чижиком и знал, что Чижик считался одним из лучших матросов в экипаже и никогда не был ни пьяницей, ни грубияном.

— Ты что это, Чижик? Пьянствовать начал?

— Никак нет, ваше благородие...

— Однако... Мария Ивановна пишет...

— Точно так, ваше благородие...

— Так в чем же дело, объясни.

— Вчера выпил я маленько, ваше благородие, отпросившись со двора, и вернулся как следует, в настоящем виде... в полном, значит, рассудке, ваше благородие...

— Ну?

— А госпоже Лузгиной и покажись, что я пьян... Известно, по женскому своему понятию она не рассудила, какой есть пьяный человек...

— Ну, а насчет дерзостей?.. Ты нагрубил ей?

— И грубостей не было, ваше благородие... А что насчет ейного повара-денщика я сказал, что она слушает его подлые кляузы, это точно...

И Чижик правдиво рассказал, как было дело.

Мичман несколько минут был в раздумье. Он знаком был с Марией Ивановной, одно время был даже к ней неравнодушен и знал, что это дама очень строгая и придирчивая с прислугой и что муж ее довольно-таки часто посылал денщиков в экипаж для наказания, разумеется, по настоянию жены, так как всем было известно в Крон-

штадте, что Лузгин, сам человек мягкий и добрый, находится под башмаком у красивой Марьи Ивановны.

— А все-таки, Чижик, я должен исполнить просьбу Марьи Ивановны,— проговорил наконец молодой офицер, отводя от Чижика несколько смущенный взор.

— Слушаю, ваше благородие.

— Ты понимаешь, Чижик, я должен,— мичман подчеркнул слово «должен»,— ей верить. И Василий Михайлович просил, чтобы требования его жены о наказаниях денщиков исполнялись, как его собственные.

Чижик понимал только, что его будут сечь по желанию белобрысой, и молчал.

— Я тут, Чижик, ни при чем! — словно бы оправдывался мичман.

Он ясно сознавал, что совершает несправедливое и беззаконное дело, собираясь наказать матроса по просьбе дамы, и что, по долгу службы и совести, не должен совершать его, имей он хоть немножко мужества. Но он был слабый человек и, как все слабые люди, успокаивал себя тем, что если Чижика он не накажет теперь, то по возвращении из плавания Лузгина матрос будет наказан еще беспощаднее. Кроме того, придется поссориться с Лузгиным и, быть может, иметь неприятности и с экипажным командиром; последний был дружен с Лузгиными, втайне, кажется, даже вздыхал по барыньке, прельщавшей старого, как спичка худенького, моряка главным образом своим пышным станом, и, не отличаясь большою гуманностью, находил, что матросу никогда не мешает «всыпать».

И молодой офицер приказал дежурному приготовить все, что нужно, в цейхгаузе для наказания.

В большом цейхгаузе тотчас же была поставлена скамейка. Два унтер-офицера с напряженно-недовольными лицами стали по бокам, имея в руках по толстому пучку свежих зеленых прутьев. Такие же пучки лежали на полу на случай, если понадобится менять розги.

Еще не совсем «закалившийся», недолго служивший во флоте мичман, слегка взволнованный, стал поодаль.

Сознавая всю несправедливость предстоящего наказания, Чижик с какою-то угрюмой покорностью, чувствуя стыд и в то же время позор оскорбленного человеческого достоинства, стал раздеваться необыкновенно торопливо, словно ему было неловко, что он заставляет ждать и этих двух хорошо знакомых унтер-офицеров, и этого молодого мичмана.

Оставшись в одной рубахе, Чижик перекрестился и лег ничком иа скамейку, положив голову на скрещенные руки, и тотчас же зажмурил глаза.

Давно уже его не наказывали, и эта секунда-другая в ожидании удара была полиа иевыразимой тоски от сознания своей беспомощности и унижения... Перед ним пронеслась вся его безотрадиая жизиь.

Мичмаи между тем подозвал к себе одного из унтер-офицеров и шепнул:

— Полегче!

Унтер-офицер просветлел и шепнул о том же товарищу.

— Начииай! — скомандовал молодой человек, отворачиваясь.

После десятка ударов, ие причииивших почти иикакой боли Чижику, так как эти зеленые прутья после эиергичного взмаха едва только касались его тела, мичман крикнул:

— Довольио! Явись после ко мие, Чижик!

И с этими словами вышел.

Чижик, по-прежнему угрюмый, испытывая стыд, несмотря иа комедию наказаиия, торопливо оделся и проговорил:

— Спасибо, братцы, что ие били... Одним только срамом отделался...

— Это адъютант приказывал. А тебя за что это прислали, Федос Никитич?

— А за то, что глупая и злющая баба у меня теперь вроде главиого иачальника...

— Это кто же?..

— Лузгиииха...

— Известиая живодерка! Часто присылает сюда деищиков! — заметил один из унтер-офицеров.— Как же ты будешь жить-то теперь у нее?

— Как бог даст... Надо жить... Ничего ие поделаешь... Да и мальчоика ейный, у которого я в няиьках, славный... И его, братцы, бросить жалко... Из-за меня и его секли... Заступался, зиачит, перед матерью...

— Ишь ты... Не в мать, значит.

— Вовсе ие похож... Добер — страсть!

Чижик явился в каицелярию и прошел в кабиият, где сидел адъютаит. Тот передал Чижику письмо и проговорил:

— Отдай Марье Иваиовие... Я ей пишу, что тебя строго наказали...

— Премиого благодареи, что пожалели старого матроса, ваше благородие! — с чувством проговорил Чижик.

— Я что ж... Я, братец, ие зверь... Я и совсем бы ие иаказал тебя... Я знаю, какой ты исправный и хороший матрос! — говорил все еще смущеииый мичман.— Ну, ступай к своей барыне... Дай тебе бог с ней ужиться... Да смотри... не болтай, как тебя иаказывали! — прибавил мичман.

— Не извольте сумлеваться! Счастливо оставаться, ваше благородие!

XV

Шурка сидел, забившись в угол детской, с видом запуганного зверька. Он то и дело всхлипывал. При каждом иовом воспомииаиии о иаиесеииой ему обиде рыдания подступали к горлу, он вздрагивал, и злое чувство приливало к сердцу и охватывало все его существо. Он в эти минуты ненавидел мать, ио еще более Ивана, который явился с розгами веселый и улыбающийся и так крепко сжимал его бьющееся тело во время иаказания. Не держи его этот гадкий человек так крепко, ои бы убежал.

И в голове мальчика бродили мысли о том, как он отомстит повару... Непремеиио отомстит... И расскажет папе, как только он вернется, как несправедливо поступила мама с Чижиком... Пусть папа узнает...

По временам Шурка выходил из своего угла и взглядывал в окно: не идет ли Чижик?.. «Бедный Чижик! Верио, и его больно секли... А ои ие зиает, что и меня высекли за него. Я ему все... все расскажу!»

Эти мысли о Чижике иесколько успокаивали его, и ои ждал возвращения своего друга с иетерпением.

Марья Иваиовиа, сама взволнованная, ходила по своей большой спальне, полная иенависти к денщику, из-за которого ее Шурка осмелился так говорить с матерью. Положительно этот матрос имеет скверное влияиие на мальчика, и его следует удалить... Вот только вернется из плавания Василий Михайлович, и она попросит его взять другого денщика. А пока — иечего делать — придется терпеть этого грубияна. Навериое, он ие посмеет теперь напиваться пьяным и грубить ей после того, как его в экипаже накажут... Необходимо было его проучить!

Марья Иваиовиа иесколько раз тихонько заглядывала в детскую и сиова возвращалась, иапрасио ожидая, что Шурка придет просить прощеиия.

Раздраженная, оиа то и дело браиила Анютку и стала допрашивать ее иасчет ее отиошеиий с Чижиком.

— Говорн, подлянка, всю правду... Говори...

Анютка клялась в своей невиновности.

— Повар, так тот, барыня, прохода мне не давал,— говорила Анютка,— все лез с разными подлостями, а Федос никогда н не думал, барыня...

— Отчего же ты раньше мне ничего не сказала о поваре? — подозрительно спрашивала Лузгнна.

— Не смела, барыня... Думала, отстанет...

— Ну, я вас всех разберу... Ты смотри у меня!.. Поди узнай, что делает Александр Васильевич!

Анютка вошла в детскую и увидала Шурку, кивающего в окно возвращавшемуся Чнжику.

— Барчук! Маменька приказали узнать, что вы делаете... Что прикажете сказать?

— Скажн, Анютка, что я пошел в сад погулять...

И с этими словами Шурка выбежал нз комнаты, чтобы встретить Чижика.

XVI

У ворот Шурка бросился к Федосу.

Участливо заглядывая в его лицо, он крепко ухватился за шершавую, мозолистую руку матроса н, глотая слезы, повторял, ласкаясь к нему:

— Чижик... Мнлый, хороший Чнжик!

Мрачное и смущенное лнцо Федоса озарилось выражением необыкновенной нежности.

— Ишь ведь, сердешный! — взволнованно прошептал он.

И, бросив взгляд на окна дома — торчит ли белобрысая,—Федос быстрым двнжением поднял Шурку, прнжал его к своей груди и осторожно, чтобы не уколоть его своими щетнннстыми усамн, поцеловал мальчика. Затем он так же быстро опустил его на землю и проговорил:

— Теперь иди домой поскорей, Лександра Васнльнч. Иди, мой ласковый...

— Зачем? Мы вместе пойдем.

— То-то не надо вместе. Неравно маменька нз окна углядит, что ты встрел свою няньку, и опять засерчает.

— И пусть глядит... Пусть злится!

— Да ты, никак, бунтовать протнв маменькн? — промолвнл Чижнк.— Не годнтся, мнлый мой, Лександра Васнльич, бунтовать против родной матери. Ее почнтать следует... Идн, ндн... ужо наговоримся.

Шурка, всегда охотно слушавшийся Чижика, так как вполне признавал его нравственный авторитет, и теперь готов был исполнить его совет. Но ему хотелось поскорей утешить друга в постигшем его несчастии, и потому, прежде чем уйти, он не без некоторого чувства горделивости произнес:

— А знаешь, Чижик, и меня высекли!

— То-то знаю. Слышал, как ты кричал, бедненький... Из-за меня ты потерпел, голубчик!.. Бог тебе это зачтет небось! Ну иди же, иди, родной, а то нам с тобой опять попадет...

Шурка убежал, еще более привязанный к Чижику. Несправедливое наказание, которому они оба подверглись, сильнее закрепило их любовь.

Выждав минуту-другую у ворот, Федос твердою и решительною походкой направился через двор в кухню, стараясь под видом презрительной суровости скрыть пред посторонними невольный стыд высеченного человека.

Иван оглядел Чижика улыбающимися глазами, но Чижик даже и не удостоил обратить внимания на повара, точно его и не было на кухне, и прошел в свой уголок в соседней комнате.

— Барыня приказали, чтобы вы немедленно явились к ней, как вернетесь из экипажа! — крикнул ему из кухни Иван.

Чижик не отвечал.

Не спеша снял он шинель, переобулся в парусинные башмаки, достал из сундука яблоко и конфетку, данные ему утром Шуркой, сунул их в карман и, вынув из-за обшлага шинели письмо экипажного адъютанта, пошел в комнаты.

В столовой барыни не было. Там была одна Анютка. Она ходила взад и вперед по комнате, закачивая ребенка и напевая своим приятным голоском какую-то песенку.

Заметив Федоса, Анютка подняла на него свои испуганные глаза. В них теперь светилось выражение скорби и участья.

— Вам барыню, Федос Никитич? — шепнула она, подходя к Чижику.

— Доложи, что я вернулся из экипажа,— промолвил смущенно матрос, опуская глаза.

Анютка направилась было в спальню, но в ту же минуту Лузгина вошла в столовую.

Федос молча подал ей письмо и отошел к дверям.

Лузгина прочла письмо. Видимо, удовлетворенная тем,

что просьба ее была исполиена и что дерзкого денщика строго иаказали, оиа проговорила:

— Надеюсь, наказание будет тебе хорошим уроком и ты не осмелишься более грубить...

Чижик угрюмо молчал.

А Лузгина между тем продолжала уже более мягким тоном:

— Смотри же, Феодосий, веди себя, как следует порядочному деищику... Не пей водки, будь всегда почтителеи к своей барыне... Тогда и мие ие придется наказывать тебя...

Чижик ие роиял ии слова.

— Поиял, что я тебе говорю? — возвысила голос барыия, недовольиая этим молчанием и угрюмым видом деищика.

— Понял!

— Так что ж ты молчишь?.. Надо отвечать, когда с тобой говорят!

— Слушаю-с! — автоматически отвечал Чижик.

— Ну, ступай к молодому бариму... Можете идти в сад...

Чижик вышел, а молодая жеищииа вериулась в спальную, возмущенная бесчувствеииостью этого грубого матроса. Решительио Василий Михайлович ие поиимает людей. Расхваливал этого денщика, как какое-то сокровище, а ои пьет, и грубит, и не чувствует иикакого раскаяиия.

— Ах, что за грубый народ эти матросы! — произиесла вслух молодая женщиина.

После завтрака она собралась в гости. Перед тем как уходить, она приказала Аиютке позвать молодого барина.

Аиютка побежала в сад.

В глубине густого, запущеииого сада, под теиью раскидистой липы сидели рядом иа траве Чижик и Шурка. Чижик мастерил бумажиый змей и о чем-то тихо рассказывал. Шурка виимательно слушал.

— Пожалуйте к мамеиьке, барчук! — проговорила Аиютка, подбегая к ним, вся раскрасиевшаяся.

— Зачем? — иедовольио спросил Шурка, который чувствовал себя так хорошо с Чижиком, рассказывавшим ему иеобыкиовенно интересные вещи.

— А ие знаю. Маменька собрались со двора. Должио быть, хотят с вами проститься...

Шурка иеохотно поднялся.

— Что, мама сердитая? — спросил ои Аиютку.

— Нет, барчук... Отошли...

— А ты торопись, ежели маменька требует... Да смотри не бунтуй, Лександра Васильич, с маменькой-то. Мало ли что у матери с сыном выйдет, а все надо почитать родительницу,— ласково напутствовал Шурку Чижик, оставляя работу и закуривая трубочку.

Шурка вошел в спальню боязливо, имея обиженный вид, и смущенно остановился в нескольких шагах от матери.

В нарядном шелковом платье и белой шляпке, красивая, цветущая и благоухающая, Марья Ивановна подошла к Шурке и, ласково потрепав его по щеке, проговорила с улыбкой:

— Ну, Шурка, довольно дуться.... Помиримся... Проси у мамы прощенья за то, что ты назвал ее гадкой и злой... Целуй руку...

Шурка поцеловал эту белую пухлую руку в кольцах, и слезы подступили к его горлу.

Действительно, он виноват: он назвал маму злой и гадкой. А Чижик недаром говорит, что грешно быть дурным сыном.

И Шурка, преувеличивая свою вину под влиянием охватившего его чувства, взволнованно и порывисто проговорил:

— Прости, мама!

Этот искренний тон, эти слезы, дрожавшие на глазах мальчика, тронули сердце матери. Она, в свою очередь, почувствовала себя виноватой за то, что так жестоко наказала своего первенца. Пред ней представилось его страдальческое личико, полное ужаса, в ее ушах слышались его жалобные крики, и жалость самки к детенышу охватила молодую женщину. Ей хотелось теперь горячо приласкать мальчика.

Но она торопилась ехать с визитами, и ей было жаль нового парадного платья, потому она ограничилась лишь тем, что, нагнувшись, поцеловала Шурку в лоб и сказала:

— Забудем, что было. Ты ведь больше не будешь бранить маму?

— Не буду.

— И любишь по-прежнему свою маму?

— Люблю.

— И я тебя люблю, моего мальчика. Ну, до свидания. Ступай в сад...

И с этими словами Лузгина потрепала еще раз Шурку

по щеке, улыбнулась ему и, шелестя шелковым платьем, вышла из спальни.

Шурка возвращался в сад не совсем удовлетворенный. Впечатлительному мальчику и слова и ласка матери казались недостаточными и не соответствующими его переполненному чувством раскаяния сердцу. Но еще более его смущало то, что с его стороны примирение было неполное. Хотя он и сказал, что любит маму по-прежнему, но чувствовал в эту минуту, что в душе его еще оставалось что-то неприязненное к матери, и не столько за себя, сколько за Чижика.

XVII

— Ну, как дела, голубок? Замирился с маменькой? — спрашивал Федос подошедшего тихими шагами Шурку.

— Помирился... И я, Чижик, прощения просил, что обругал маму...

— А разве такое было?

— Было... Я маму назвал злой и гадкой.

— Ишь ведь ты какой у меня отчаянный! Маменьку да как отчекрыжил!..

— Это я за тебя, Чижик,— поспешил оправдаться Шурка.

— То-то понимаю, что за меня... А главная причина — сердце твое не стерпело неправды... вот из-за чего ты взбунтовался, махонький... Оттого ты и Антона жалел... Бог за это простит, хучь ты и матери родной сгрубил... А все-таки это ты правильно, что повинился. Как-никак, а мать... И когда ежели человек чувствует, что виноват,— повинись. Что бы там ни вышло, а самому легче будет... Так ли я говорю, Лександра Васильич? Ведь легче?..

— Легче,— проговорил раздумчиво мальчик.

Федос пристально поглядел на Шурку и спросил:

— Так что же ты ровно затих, посмотрю, а? Какая такая причина, Лександра Васильич? Сказывай, а мы вместе обсудим. После замирения у человека душа бывает легкая, потому все тяжелое зло из души-то выскочит, а ты, гляди-кось, какой туманливый... Или маменька тебя позудила?..

— Нет, не то, Чижик... Мама меня не зудила...

— Так в чем же беда?.. Садись-ка на травку да сказывай... А я буду змея кончать... И важнецкий, я тебе

скажу, у нас змей выйдет... Завтра утром, как ветерок подует, мы его спустим...

Шурка опустился на траву и несколько времени молчал.

— Ты вот говоришь, что зло выскочит, а у меня оно не выскочило! — вдруг проговорил Шурка.

— Как так?

— А так, что я все-таки сержусь на маму и не так люблю ее, как прежде... Это ведь нехорошо, Чижик? И хотел бы не сердиться, а не могу...

— За что же ты сердишься, коли вы замирились?

— За тебя, Чижик...

— За меня? — воскликнул Федос.

— Зачем мама напрасно тебя посылала в экипаж? За что она называет тебя дурным, когда ты хороший?

Старый матрос был тронут этой привязанностью мальчика и этой живучестью возмущенного чувства. Мало того, что он потерпел за своего пестуна, он до сих пор не может успокоиться.

«Ишь ведь, божья душа!» — умиленно подумал Федос и в первое мгновение решительно не знал, что на это ответить и как успокоить своего любимца.

Но скоро любовь к мальчику подсказала ему ответ.

С чуткостью преданного сердца он понял лучше самых опытных педагогов, что надо уберечь ребенка от раннего озлобления против матери и во что бы то ни стало защитить в его глазах ту самую подлую белобрысую, которая отравляла ему жизнь.

И он проговорил:

— А ты все-таки не сердись! Раскинь умишком, и сердце отойдет... Мало ли какое у человека бывает понятие... У одного, скажем, на аршин, у другого — на два... Мы вот с тобой полагаем, что меня здря наказали, а маменька твоя, может, полагает, что не здря? Мы вот думаем, что я не был пьяный и не грубил, а маменька, братец ты мой, может, думает, что я и пьян был, и грубил, и что за это меня следовало отодрать по всей форме...

Перед Шуркой открывался, так сказать, новый горизонт. Но, прежде чем вникнуть в смысл слов Чижика, он не без участливого любопытства спросил самым серьезным тоном:

— А тебя очень больно секли, Чижик? Как сидорову козу? — вспомнил он выражение Чижика.— И ты кричал?

— Вовсе даже не больно, а не то что как сидорову козу! — усмехнулся Чижик.

— Ну?! А ты говорил, что матросов секут больно.

— И очень больно... Только меня, можно сказать, ровно и не секли. Так только, для сраму, наказали и чтобы маменьке угодить, а я и не слыхал, как секли... Спасибо, добрый мичман в адъютантах... Он и пожалел... не приказал по форме сечь... Только ты, смотри, об этом не проговорись маменьке... Пусть думает, что меня как следует отодрали...

— Ай да молодец мичман!.. Это он ловко придумал... А меня, Чижик, так очень больно высекли...

Чижик погладил Шурку по голове и заметил:

— То-то я слышал и жалел тебя... Ну да что об этом говорить... Что было, то прошло.

Наступило молчание.

Федос хотел было предложить сыграть в дураки, но Шурка, видимо, чем-то озабоченный, спросил:

— Так ты, Чижик, думаешь, что мама не понимает, что виновата перед тобой?

— Пожалуй, что и так. А может, и понимает, да не хочет показать виду перед простым человеком. Тоже бывают такие люди, которые гордые. Вину свою чуют, а не сказывают...

— Хорошо... Значит, мама не понимает, что ты хороший, и от этого тебя не любит?

— Это ейное дело судить о человеке, и за то сердце против маменьки иметь никак невозможно... К тому же, по женскому званию, она и совсем другого рассудка, чем мужчина... Ей человек не сразу оказывается... Бог даст, опосля и она распознает, каков я есть, значит, человек, и станет меня лучше понимать. Увидит, что хожу я за ее сыночком как следует, берегу его, сказки ему сказываю, ничему дурному не научаю и что живем мы с тобой, Лександра Васильич, согласно,— сердце-то материнское, глядишь, свое и окажет. Любя свое дите родное, и няньку евойную не станет утеснять дарма. Все, братец ты мой, временем приходит, пока господь не умудрит... Так-то, Лександра Васильич... И ты зла не таи против своей маменьки, друг мой сердешный! — заключил Федос.

Благодаря этим словам мать была до некоторой степени оправдана в глазах Шурки, и он, просветлевший и обрадованный, как бы в благодарность за это оправдание, разрешившее его сомнения, порывисто поцеловал Чижика и уверенно воскликнул:

— Мама непременно полюбит тебя, Чижик! Она узнает, какой ты! Узнает!

Федос, далеко не разделявший этой радостной уверенности, с ласкою глядел на повеселевшего мальчика.

А Шурка оживлеиио продолжал:

— И тогда мы, Чижик, отлнчно заживем... Никогда мама не пошлет тебя в экнпаж... И этого гадкого Ивана прогонит... Это ведь он наговаривает на тебя маме... Я его терпеть не могу... И меия он крепко давил, когда мама секла... Как папа вернется, я ему все расскажу про этого Ивана... Ведь правда, надо рассказать, Чнжик?

— Не говорн лучше... Не заводн кляуз, Лександра Васнльнч. Не путайся в этн дела... Ну нх! — брезгливо промолвил Федос н махнул рукой с вндом полнейшего преиебрежеиия,— правда, брат, сама окажет, а жаловаться барчуку на прнслугу без крайностн не годнтся... Другой несмышленый да озориой ребенок н здря родителям пожалуется, а родителн не разберут н прислугу отшлифуют. Небось ие сладко. Тоже и Иван этот самый... Хучь он и довольио даже подлый человек, что иа своего же брата господам брешет, а ежелн по-настоящему-то рассудить, так он н совесть-то потерял не по своей только вние. Он, например, ежели прншел наушннчать, так ты его, подлеца, в зубы, да раз, да два, да в кровь,— говорил, загораясь иегодованнем, Федос.— Небось больше ие придет... А который господии ежелн слушает, слуга н повадится... И опять же: Иван все в денщиках околачнвался, ну н вовсе бессовестным стал... Известно ихиее лакейское дело: настоящей, зиачит, трудлнвой работы нет, а прямо сказать — одна только фальшь... Тому угодн, тому подай, к тому подлестись,— человек н фальшнт да брюхо отращивает, да чтобы скуснее объедкн господские сожрать... Будь он форменным матросом, может, н Иван этой в себе подлости не имел... Матросикн вывелн бы его на лннию... Так обломалн бы его, что мое вам почтенне!.. То-то оно н есть!.. И Иван стал бы другим Иваном... Одиако брешу я, старый, только скуку иавожу на тебя, Лександра Васнльнч... Давай-ка в дуракн, а то в рамцу... Веселее будет...

Он вынул нз кармана карты, вынул яблоко н коифетку и, подавая Шурке, промолвил:

— На-кось, покушай...

— Это твое, Чнжнк...

— Ешь, говорят... Мие н скусу не понять, а тебе лестно... Ешь!

— Ну, спаснбо, Чнжик... Только ты возьмн половииу.

— Разве кусочек... Ну, сдавай, Лексаидра Васильич...

Да смотри, опять ие объегорь ияиьку... Третьего дия все меия в дураках оставлял! Дошлый ты в картах! — промолвил Федос.

Оба примостились поудобиее иа траве, в теии, и стали играть в карты.

Скоро в саду раздался веселый, торжествующий смех Шурки и иамереиио ворчливый голос иарочио проигрывающего старика:

— Ишь ведь, опять оставил в дураках... Ну ж и дока ты, Лексаидра Васильич!

XVIII

Коиец августа иа дворе. Холодио, дождливо и иеприветливо. Солица ие видать из-за свиицовых туч, окутавших со всех сторои иебо. Ветер так и гуляет по грязиым кроиштадтским улицам и переулкам, иапевая тоскливую осеииюю песию, и порой слышио, как ревет море.

Большая эскадра стариииых парусиых кораблей и фрегатов уже возвратилась из долгого крейсерства в Балтийском море под иачальством известиого в те времеиа адмирала, который, охотиик выпить, говорил, бывало, у себя за обедом: «Кто хочет быть пьяи — садись подле меия, а кто хочет быть сыт — садись подле брата». Брат был тоже адмирал и славился обжорством.

Корабли втяиулись в гаваиь и «развооружались», готовясь к зимовке. Кроиштадтские рейды опустели, ио зато затихшие летом улицы оживились.

«Кобчик» еще ие вериулся из плаваиия. Его ждали со дия иа деиь.

В квартире у Лузгииых стоит тишииа, та подавляющая тишииа, которая бывает в домах, где есть тяжелобольиые. Все ходят иа цыпочках и говорят иеестествеиио тихо.

Шурка болеи, и болеи серьезио. У иего воспалеиие обоих легких, которым осложиилась бывшая у иего корь. Вот уже две иедели, как ои лежит пластом иа своей кроватке, исхудалый, с осуиувшимся личиком и лихорадочио блестящими глазами, большими и скорбиыми, покорио притихший, точио подстрелеииая птица. Доктор два раза ходит в деиь, и его добродушиое лицо при каждом посещеиии делается все серьезиее и серьезиее, причем губы как-то комичио вытягиваются, точио ои ими выражает опасиость положеиия.

Все это время Чижик находился безотлучно при Шурке. Больной настоятельно требовал, чтобы Чижик был при нем, и рад был, когда Чижик давал ему лекарство, и улыбался подчас, слушая его веселые сказки. По ночам Чижик дежурил, словно на вахте, на кресле около Шуркиной кровати и не спал, сторожа малейшее движение тревожно спавшего мальчика. А днем Чижик успевал бегать и в аптеку, и по разным делам и находил время смастерить какую-нибудь самодельную игрушку, которая заставила бы улыбнуться его любимца. И все это делал как-то незаметно и покойно, без суеты и необыкновенно быстро, и при этом лицо его светилось выражением чего-то спокойного, уверенного и приветливого, что успокоительно действовало на больного.

И в эти дни сбылось то, о чем говорил в саду Шурка. Обезумевшая от горя и отчаяния мать, сама похудевшая от волнения и недосыпавшая ночей, только теперь начала узнавать этого «бесчувственного, грубого мужлана», невольно дивясь той нежности его натуры, которая обнаружилась в его неустанном уходе за больным и невольно заставила мать быть благодарной за сына.

В этот вечер ветер особенно сильно завывал в трубах. В море было очень свежо, и Марья Ивановна, подавленная горем, сидела в своей спальне... Каждый порыв ветра заставлял ее вздрагивать и вспоминать то о муже, который шел в эту ужасную погоду из Ревеля в Кронштадт, то о Шурке.

Доктор недавно ушел серьезнее, чем когда-либо...

— Надо ждать кризиса... Бог даст, мальчик вынесет... Давайте мускус и шампанское... Ваш денщик — отличная сиделка... Пусть он продежурит ночь около больного и дает ему, как приказано, а вам следует отдохнуть... Завтра утром буду...

Эти слова доктора невольно восстают в памяти, и слезы льются из ее глаз... Она шепчет молитвы, крестится... Надежда сменяется отчаянием, отчаяние — надеждой.

Вся в слезах, она прошла в детскую и приблизилась к кроватке.

Федос тотчас же встал.

— Сиди, сиди, пожалуйста,— шепнула Лузгина и заглянула на Шурку.

Он был в забытьи и прерывисто дышал... Она приложила руку к его голове,— от нее так и пышало жаром.

— О господи! — простонала молодая женщина, и слезы снова хлынули из ее глаз...

«Нянька»

В слабо освещенной комнате царила тишина. Только слышалось дыханне Шурки да порою доносился сквозь закрытые ставни заунывиый стои ветра.

— Вы бы шлн отдохнуть, барыня,— почтн шепотом проговорил Федос,— не нзвольте сумлеваться. Я все справлю около Лександра Васильича...

— Ты сам не спал несколько ночей.

— Нам, матросам, дело привычное... И я даже вовсе спать не хочу... Шлн бы, барыня! — мягко повторил он.

И, глядя с состраданием иа отчаяиие матерн, ои прибавил:

— И, осмелюсь вам доложить, барыия, ие прнходите в отчаянность. Барчук на поправку пойдет.

— Ты думаешь?

— Беспременно поправится! Зачем такому мальчику умирать? Ему жить надо.

Он пронзнес этн слова с такою увереииостью, что иадежда снова оживнла молодую женщину.

Она посидела еще несколько мииут н поднялась.

— Какой ужасный ветер! — проронила она, когда сиова с улнцы донесся вой.— Как-то «Кобчнк» теперь в море?.. С ннм не может иичего случнться? Как ты думаешь?

— «Кобчнк» н ие такую штурму выдержнвал, барыня. Небось взял все рифы н зиай покачивается себе, как бочоиок... Будьте обнадежены, барыня... Слава богу, Васнлнй Мнхайлыч форменный командир...

— Ну, я пойду вздремнуть... Чуть что — разбудн.

— Слушаю-с. Покойной иочи, барыня!

— Спаснбо тебе за все... за все! — прошептала с чувством Лузгина н, значительно успокоенная, вышла нз комиаты.

А Чнжнк всю ночь бодрствовал, н когда на следующее утро Шурка, проснувшись, улыбнулся Чнжнку и сказал, что ему гораздо лучше н что ои хочет чаю, Чижик широко перекрестился, поцеловал Шурку н отвернулся, чтобы скрыть подступающие радостиые слезы.

На другой день вернулся Василий Михайловнч.

Узиавши от жены н от доктора, что Шурку выходил главным образом Чижик, Лузгии, счастливый, что обожаемый сыи его вие опасиости, горячо благодарил матроса и предложил ему сто рублей.

— Прн отставке пригодятся,— прибавнл он.

— Осмелюсь доложить, вашескобродие, что денег взять не могу! — проговорил иесколько обнженно Чижик.

— Почему это?

— А потому, вашескобродие, что я не из-за денег за вашим сыном ходил, а любя...

— Я знаю, но все-таки, Чижик... Отчего не взять?

— Не извольте обижать меня, вашескобродие... Оставьте при себе ваши деньги.

— Что ты?.. я и не думал тебя обижать!.. Как хочешь... Я тоже, брат, от чистого сердца тебе предлагал! — несколько сконфуженно проговорил Лузгин.

И, взглянув на Чижика, вдруг прибавил:

— И какой же ты, я тебе скажу, славный человек, Чижик!..

XIX

Федос благополучно пробыл у Лузгиных три года, пока Шурка не поступил в Морской корпус, и пользовался общим уважением. С новым денщиком-поваром, поступившим вместо Ивана, он был в самых дружеских отношениях.

И вообще жилось ему эти три года недурно. Радостная весть об освобождении крестьян пронеслась по всей России... Повеяло новым духом, и сама Лузгина как-то подобрела и, слушая восторженные речи мичманов, стала лучше обходиться с Анюткой, чтобы не прослыть ретроградкой.

Каждое воскресенье Федос отпрашивался гулять и после обедни шел в гости к приятелю-боцману и его жене, философствовал там и к вечеру возвращался домой хотя и порядочно «треснувши», но, как он выражался, «в полном своем рассудке».

И госпожа Лузгина не сердилась, когда Федос, случалось, при ней говорил Шурке, отдавая ему непременно какой-нибудь гостинец:

— Ты не думай, Лександра Васильич, что я пьян... Не думай, голубок... Я все как следует могу справить...

И, словно бы в доказательство, что может, забирал сапоги и разное платье Шурки и усердно их чистил.

Когда Шурку определили в Морской корпус, вышла и Федосу отставка. Он побывал в деревне, скоро вернулся и поступил сторожем в петербургском адмиралтействе. Раз в неделю он обязательно ходил к Шурке в корпус,

а по воскресеиьям иавещал Анютку, которая после воли вышла замуж и жила в ияньках.

Выйдя в офицеры, Шурка, по иастояиию Чижика, взял его к себе. Чижик вместе с ним ходил в кругосветиое плаваиье, продолжая быть его ияницкой и самым преданиым другом. Потом, когда Александр Васильевич женился, Чижик ияичил его детей и семидесятилетиим стариком умер у него в доме.

Память о Чижике свято хранится в семье Александра Васильевича. И сам он, с глубокою любовью вспомииая о ием, нередко говорит, что самым лучшим воспитателем его был Чижик.

1895

ПОБЕГ

I

Солнце быстро поднималось в бирюзовую высь безоблачного неба, обещая жаркий день.

Оно заливало ярким блеском и эти зеркальные, совсем заштилевшие приглубые севастопольские бухты, далеко врезавшиеся в берега, и стоявшие на рейде многочисленные военные корабли, фрегаты, бриги, шкуны и тендера прежнего Черноморского флота, и красавец Севастополь, поднимавшийся над морем в виде амфитеатра и сверкавший своими фортами, церквами, домами и домиками слободок среди зеленых куп садов, бульваров и окрестных хуторов.

Был шестой час на исходе прелестного августовского утра.

На кораблях давно уже кипела работа.

К подъему флагов, то есть к восьми часам, все суда приводили в тот обычный щегольский вид умопомрачающей чистоты и безукоризненного порядка, каким вообще отличались суда Черноморского флота.

С раннего утра тысячи матросских рук терли, мыли, скоблили, оттирали, или, по выражению матросов, «наводили чистоту» на палубы, на пушки, на медь — словом, на все, что было на палубах и под ними до самого трюма.

Давно работали в доках, адмиралтействе, в разных портовых мастерских, расположенных по берегу. Среди грохота молотков и лязга пил порою раздавалась дружная «Дубинушка», при которой русские люди как-то скорее поднимают тяжести и ворочают громадные бревна.

Опустели и мрачные блокшивы, стоявшие на мертвых якорях и, словно прокаженные, вдали от других судов, в самой глубине корабельной бухты.

Это плавучие «мертвые дома».

Подневольные жильцы их, арестанты военно-арестантских рот, с четырех часов уже разведены по разным работам.

В толстых холщовых рубахах и таких же штанах, в уродливых серых шапках на бритых головах, они прошли, звякая кандалами, несколькими партиями в сопровождении конвойных солдат по пустым еще улицам и возвратятся домой только вечером, когда наступит прохлада и «весь город» высыпет на бульвары и Графскую пристань.

И тогда во мраке чудной южной ночи эти блокшивы замигают огоньками фонарей и среди тишины бухты раздадутся протяжные оклики часовых, каждые пять минут один за другим выкрикивающих: «Слушай!»

Проснулись и слободки, окаймлявшие город, с их маленькими белыми, похожими на мазанки домами, населенными преимущественно семьями отставных и служащих матросов, артиллерийских солдат, казенных мастеровых и вообще бедным, рабочим людом.

Рынок — этот клуб большинства населения, расположенный у артиллерийской бухты,— давно кишел народом.

Шумные и оживленные кучки толкались между ларьками, среди мясных, телячьих и бараньих туш, кур, уток и разной дичи, среди массы зелени и разнообразных овощей юга — гор арбузов, и пахучих дынь, и множества фруктов, привезенных из ближних садов. Торговали, кричали и сердились. Тут же делились последними новостями и сбывали поношенное платье и старую обувь.

У самого берега бухты стояли рыбачьи суда соседнего городка Балаклавы со свежею рыбой. Какой только не было! И камбала, и скумбрия, и жирная кефаль, и бычки, и маленькая золотистая султанка, которую лакомки считают за самую вкусную рыбу Черного моря. Только что наловленные устрицы лежали в корзинках и предлагались поварам и кухаркам.

Тут же, рядом с рыбным рынком, в прозрачной, словно хрусталь, воде заливчика бухты, отливавшей изумрудом, купалась толпа мальчишек. С веселым смехом бросались они в воду, плескались, обдавали один другого брызгами, плавали и ныряли, словно утки, соревнуясь в своем искусстве друг перед другом и перед глазеющей публикой.

Над рынком, залитым блеском веселого южного солнца, стоял непрерывный говор толпы. Речь изобиловала

«Побег»

неправильностями языка южных городов и звучала мягким тоном малороссийского акцента. Среди этой речи порой выделялось торопливое, громкое и в то же время вкрадчивое «сюсюканье» продавцов рыбы и устриц, халвы и рахат-лукума — этих увлекающихся балаклавских греков с их смуглыми, мясистыми лицами, горбатыми носами, черными с поволокой глазами, напоминающими крупные маслины, и с быстрыми жестами оголенных мускулистых рук цвета темной бронзы. Слышались и гортанные звуки татар, сидевших на корточках у корзин с грушами, виноградом и яблоками, с выражением горделивого бесстрастия на своих красивых лицах с классическими чертами, напоминающими о чистой арийской крови их предков — генуэзцев и греков, когда-то живших в Крыму. Порой разносились, покрывая говор толпы, отчаянные клятвы «дам рынка» — бойких, задорных торговок-матросок — и их энергичная брань, приправленная самыми великорусскими импровизациями, которым мог бы позавидовать любой боцман, и вызывавшими громкий и сочувственный смех рыночной публики.

Все здесь жило полной жизнью большого и оживленного морского города.

Никто, разумеется, в этой шумной толпе и не предвидел, что скоро Севастополь будет в развалинах и что эти прелестные и оживленные бухты опустеют, и на поверхности рейда, где стоит теперь Черноморский флот, будут торчать, словно кресты над могилами, верхушки мачт потопленных кораблей.

II

В начале восьмого часа этого веселого, светлого утра в детской большого казенного дома командира порта и севастопольского военного губернатора худенький мальчик, лет восьми или десяти, с необыкновенно подвижным лицом и бойкими карими глазами, торопливо оканчивал свой туалет при помощи старой няни Агафьи.

— Да ну же, скорей, няня! Ты всегда копаешься! — нетерпеливо и властно говорил мальчик в то время, как низенькая и коренастая Агафья расчесывала не спеша его кудрявые, непокорные, густые каштановые волосы.

— Ишь ведь, попрыгун!.. Ни минуты не постоит смирно. Всегда торопится, точно на пожар,— ворчала няня, любовно посматривая в то же время на своего любимца.—

Да не вертись же, говорят. Так тебя и не причесать. Будешь нечесаный, как уличный мальчишка.

Но мальчик, видимо, не особенно тронутый такими замечаниями и испытывавший неодолимую тоску от долгого чесания, когда солнце так весело играет в комнате и в растворенное окно врывается струя свежего воздуха вместе с ароматом цветов сада, уже выдернул не вполне причесанную кудрявую голову из рук няни и, улыбающийся, жизнерадостный и веселый, стал быстро надевать курточку.

— Дай хоть пригладить вихры, Васенька.

— И так хорошо, няня.

— Нечего сказать, хорошо!.. Адмиральский сын, и торчат вихры. Небось папенька заметит — не похвалит.

Вася уже не слыхал последних слов няни Агафьи, которую любил и не ставил ни в грош, зная, что она вполне в его руках и исполнит все его прихоти. Он выскочил из детской, на ходу застегивая курточку, и, пробежав анфиладу комнат, остановился у запертых дверей кабинета.

Веселое лицо мальчика тотчас же приняло тревожное выражение. Он несколько секунд простоял у дверей, не решаясь войти, и в голове его пробежала обычная мысль о том, что ходить каждое утро к отцу, для того чтоб пожелать ему доброго утра,— весьма неприятная обязанность, без которой можно бы и обойтись.

«А все-таки нужно»,— мысленно проговорил он и, тихо притворив дверь, вошел.

В большом кабинете, у письменного стола, сидел, опустив глаза на бумаги, худощавый, высокий старик в летнем халате, с гладко выбритыми морщинистыми щеками, отливавшими здоровым румянцем, причесанный по-старинному, с высоким коком темных, чуть-чуть седевших волос, который возвышался посредине головы вроде петушиного гребня. Короткие подстриженные седые усы торчали щетинкой.

Эти колючие «тараканьи» усы всегда особенно пугали мальчика, наводя на него трепет, когда они нервно и быстро двигались, обнаруживая вместе с подергиванием плеч и движением скул дурное расположение духа сурового и непреклонного адмирала, которого решительно все в доме, начиная с адмиральши, боялись как огня.

— Доброго утра, папенька! — тихо, совсем тихо проговорил дрогнувшим от волнения голосом Вася, приблизившись к письменному столу и не спуская с отца замирающего, словно бы очарованного взгляда, полного того выра-

жения, какое бывает в глазах у маленькой птички, увидавшей перед собою ястреба.

Слыхал ли отец приветствие сына и нарочно, как это случалось не раз, не обращал на него ни малейшего внимания, заставляя мальчика недвижно стоять у стола бесконечную минуту-другую, или, занятый бумагами, действительно не замечал Васи,— трудно было решить, но он не поворачивал головы.

Так прошло несколько долгих секунд.

А в раскрытые окна кабинета, полного прохлады, глядели густые акации и тенистые, раскидистые орешники, не пропускавшие лучей солнца, с крупными грецкими орехами в зеленой скорлупе, и невольно напоминали Васе о том, что там, в верхнем саду, вдали от дома, его ждут многие удовольствия, радости и приятные встречи, о которых никто из домашних и не догадывался.

А усы отца стояли неподвижно, и скулы морщинистых щек не двигались.

И мальчик, ощутив прилив мужества, решился снова проговорить, несколько повышая свой мягкий высокий тенорок:

— Доброго утра, папенька!

Быстрым, энергичным движением адмирал вскинул голову и остановил серьезный, сосредоточенный и, казалось, недовольный взгляд на своем младшем сыне — Вениамине семьи.

И что-то мягкое и даже нежное на мгновение смягчило эти суровые черты и засветилось в этих маленьких серых глазах, властных и острых, сохранивших, несмотря на то что адмиралу было шестьдесят лет, живость, энергию и блеск молодости.

— Здравствуй! — отрывисто и резко проговорил адмирал.

И против обыкновения, вместо того чтобы кивнуть головой, давая этим знать, что мальчик может уйти, он сегодня потрепал своей костлявой рукой по заалевшей щеке сына и продолжал тем же резким повелительным тоном:

— Здоров, конечно? Скоро в Одессу... учиться. Первого сентября поедешь на пароходе. Ну, ступай!

Вася не заставил себя ждать.

Он быстро исчез из кабинета и облегченно и радостно вздохнул, точно освободившись от какой-то тяжести, когда очутился в диванной, рядом с спальной матери, которая, как и сестры, еще спала.

Наскоро выпив стакан молока, приготовленный няней Агафьей, он сунул в карман незаметно от няньки несколько кусков сахару и бросился в сад.

Миновав цветники, оранжереи и теплицы нижнего сада, он торопливо перепрыгивал ступеньки небольших лестниц, отделяющих террасу от огромного сада, длинные аллеи которого окаймлялись густыми шпалерами винограда, а на грядах, расположенных по самой средине террас и обложенных красиво дерном, росли правильными рядами всевозможные фруктовые деревья, полные крупных пушистых персиков, сочных груш, больших желтых и зеленых слив, янтарных ранетов, миндаля, грецких орехов и белой и красной шелковицы.

Этот громадный, возвышающийся террасами сад, выходивший на три улицы и обнесенный вокруг каменной стеной, с его роскошными цветниками у дома, с оранжереями, теплицами, с его беседками, обвитыми пахучими цветами, и большим деревянным бельведером, откуда открывался чудный вид на Севастополь и его окрестности и откуда год спустя Вася в подзорную трубу смотрел, как двигались французские войска длинной синеющей лентой через Инкерманскую долину, направляясь к южной стороне города,— этот сад содержался в образцовом порядке и сиял чистотой, пленяя глаза, главным образом благодаря работе арестантов.

Партия их, человек в двенадцать — пятнадцать, ранним утром, как только солнце поднималось над городом, входила в большую калитку верхнего сада с задней улицы и работала в нем часов до трех или до четырех, пока двое конвойных солдатиков дремали, опершись на ружья, у калитки или где-нибудь в саду.

Арестанты, приходившие ежедневно, кроме праздников, на работу в сад командира порта, обыкновенно были одни и те же. Они таскали откуда-то ушаты с водой, поливали цветники и гряды, пололи траву, подстригали деревья, мели дорожки, посыпали аллеи свежим гравием и потом утрамбовывали их — одним словом, делали все, что приказывал главный садовник, вольнонаемный немец, аккуратный Карл Карлович.

Работа была не из тяжелых, и арестанты, по-видимому, были довольны, что им приходилось заниматься садом, и старались изо всех сил.

Вот к этим-то людям, отбывающим суровое наказание за свои вины, и торопился Вася.

III

Несмотря на суровое прнказание матерн н сестер не только не разговаривать с этимн отверженными людьми, но даже н не подходить к ним блнзко, мальчик весело взбегал с террасы на террасу н окидывал зорким взглядом длнннные аллен, предвкушая удовольствне поболтать с арестантами н попользоваться частью нх завтрака — хорошнм куском красного сочного арбуза, заедая его, как н арестанты, ломтем черного хлеба, круто посыпанного солью. И тем н другим они радушно делились с барчуком, наперерыв угощая его.

Он находил этот завтрак самым лучшим на свете — куда вкуснее всяких нзысканных блюд, подаваемых у них за обедом,— а в компанин этих брнтых людей, позвякивающих кандаламн, чувствовал себя несравненно прнятнее, веселее н свободнее, чем дома, особенно во время обедов, когда все домашние снделн молчалнвые н подавленные, а он сам насильно глотал ложки противного супа, чтобы не навлечь гнева почти всегда сурового отца, н с нетерпением ждал конца обеда, безмолвный, не смея шевельнуться.

Познакомился он н сошелся с арестантами только нынешним летом, благодаря тому что бегал в сад один н что вообще за ннм не было никакого надзора. До этого времени он нх очень боялся н, забегая в верхний сад, чтоб полакомиться фруктами, старался прошмыгнуть мимо них в почтительном отдалении н обязательно бегом. Тогда он считал всех этих людей в серых шапках, роющих в саду землю или развозящих в тачках песок, способнымн на всякне злодейства, готовымн даже, как уверяла его еще давно няня Агафья, когда он капрнзничал, унести мальчика н потом его зажарнть н съесть, хотя бы он был н адмиральскнй сын. Эти слова няни в свое время пронзвели глубокое впечатление на Васю, несмотря на то что другие лица, как, напрнмер, мать, сестры н братья, не заходилн в своих обвнннениях так далеко. По крайней мере, он ни от кого не слыхал подтверждения Агафьиных слов. Но, во всяком случае, отзывы, которые нногда как бы мимоходом бросалнсь прн мальчике об арестантах, не оставляли ни малейшего сомнения в том, что эти люди совмещают в себе столько пороков, что н не сосчитать, н еслн б нх выпустить на волю, то онн дали бы себя знать! Недаром же нм бреют головы н держат в кандалах.

Так однажды говорил старичок генерал, прнехавший

«Побег»

с визитом к матери Васи, возмущенный по поводу какой-то жалобы, поданной арестантами на то, что их плохо кормят и не дают всего, что им по закону полагается. Этот старичок, прикосновенный, кажется, к делу о растрате арестантских сумм, разумеется, и не думал, что в скором времени, когда Севастополь будет в опасности перед неприятелем, всех этих арестантов выпустят на волю и снимут с них кандалы и они сделаются такими же доблестными защитниками осажденного города, как и остальные.

Все эти рассказы еще сильнее подстрекали любопытство мальчика, и, несмотря на страх, внушаемый ему этими ужасными людьми, он, однако, иногда решался наблюдать их, но, разумеется, на таком расстоянии, чтобы в случае какой-либо опасности дать немедленно тягу.

Их разговоры самого мирного характера, долетавшие до ушей Васи, добродушное мурлыканье какой-нибудь песенки во время работы и, наконец, многие другие наблюдения совсем не соответствовали тому представлению об арестантах, которые имел мальчик с чужих слов, и несколько поколебали его веру в справедливость показаний няни Агафьи.

Особенно поразили его два факта.

Однажды весной он увидал, как один из арестантов, пожилой высокий брюнет с сердитым взглядом больших, глубоко сидящих глаз, с нависшими черными всклоченными бровями, которого Вася считал самым страшным и боялся более других, заметив выпавшего из гнезда крошечного воробушка, тотчас же подошел к нему, взял его и, бережно зажав в руке, полез на дерево и положил на место, к радости беспокойно вертевшейся около и тревожно чирикавшей воробьихи. И когда он слез с дерева и принялся снова рассыпать из тачки на аллею песок, лицо его, к удивлению Васи, светилось лаской и добротой.

В другой раз арестанты нашли в саду заброшенного щенка, маленького, облезлого, худого, и отнеслись к нему с большою внимательностью и даже нежностью. Вася видел, как они совали ему в рот разжеванный мякиш черного хлеба, как положили его в укромный уголок, заботливо прикрыв его какой-то тряпкой, и слышал, как они решили взять его с собою, и это решение, видно, обрадовало всех.

— А то пропадет! — заметил тот же страшный арестант с нависшими бровями.— А я, братцы, за ним ходить буду заместо, значит, няньки! — прибавил он с веселым смехом.

По соображениям Васи, эти факты, во всяком случае, свидетельствовали, что и этим страшным людям не чужды проявления добрых чувств.

Для разрешения своих сомнений Вася вскоре обратился к старому денщику — матросу Кирилле, бывшему у них в доме одним из лакеев, с вопросом: правда ли, что арестанты уносят мальчиков и потом едят их?

Вместо ответа Кирилла, человек вообще солидный, серьезный и даже несколько мрачный, так громко рассмеялся, открывая свой большой рот, что Вася даже несколько сконфузился, сообразивши, что попал впросак, предложивши, видимо, нелепый вопрос.

— Кто это вам сказал, барчук? — спросил наконец Кирилла со смехом.

— Няня.

— Набрехала она вам, Василий Лександрыч, вроде хавроньи, а вы взяли да и поверили! Слыханное ли это дело, чтобы, с позволения сказать, ели человеков? Во всем крещеном свете нет такого положения, хоть кого вгодно спросите. Есть, правда, один такой остров, далеко отсюда, за окиянами, где вовсе дикие люди живут, похожие на обезьянов, так те взаправду жрут, черти, человечье мясо. Мне один матрос сказывал, что ходил на дальнюю[1] и везде побывал. Жрут, говорит, и крысу, и всякую насекомую, и змею, и человека, ежели чужой к ним попадается. Но, окромя этого самого острова, нигде этим не занимаются, чтобы мальчиков есть. А русский человек и подавно на это не согласится. Это вас нянька нарочно пужала. Известно — баба! Не понимает, дурья башка, что брешет дите! — пренебрежительным тоном прибавил Кирилла.

— Да я и не поверил няне. Я сам знаю, что людей не едят! — оправдывался задетый за живое самолюбивый мальчик.— Я так только спросил. И я знаю, что арестанты вовсе не страшные! — прибавил Вася не вполне, однако, уверенным тоном, втайне желая получить на этот счет разъяснения такого знающего человека, каким он считал Кириллу.

— С чего им быть страшными? Такие же люди, как и все мы. Только незадачливые значит, несчастные люди — вот и все.

— А за что же они, Кирилла, попали в арестанты?

— А за разные дела, барчук. Они ведь все из солдат да из матросов... Долго ли до греха при строгой-то служ-

[1] Так матросы называют кругосветное плавание. *(Примеч. автора.)*

11 К. Станюкович, т. 1.

бе? Кои и за настоящие, прямо сказать, нехорошие вины... На грабеж пустился или в воровстве попался... Ну, и избывает свой грех... А кои из-за своего непокорного характера.

— Как так? — спросил Вася, не понимая Кириллу.

— А так. Не стерпел, значит, утеснениев, взбунтовался духом от боя да порки — ну и сдерзничал начальству на службе,— вот и арестантская куртка! А то и за пьянство попасть можно, всяко бывает! Ты и не ждешь, а вдруг очутишься в арестантских ротах!

— За что же?

— А за то, ежели, примерно, нравный человек да напорется на какого-нибудь зверя-командира, который порет безо всякого рассудка и за всякий, можно сказать, пустяк... Терпит-терпит человек, да наконец и не вытерпит, да от обиды в сердцах и нагрубит... Небось расправа коротка... Проведут сквозь строй... вынесут замертво и потом в арестанты... И вы, барчук, не верьте, что про них нянька брешет... И бояться их нечего, пренебрегать ими не годится... Их жалеть надо, вот что я вам скажу, барчук,— заключил Кирилла.

После таких разъяснений, вполне, казалось, подтверждавших и собственные наблюдения Васи, он значительно меньше стал бояться арестантов, рисковал подходить к ним поближе и вглядывался в эти самые обыкновенные, по большей части добродушные лица, не имеющие в себе ничего злодейского. И они разговаривали, шутили и смеялись точно так, как и другие люди, а ели — казалось Васе — необыкновенно аппетитно и вкусно.

И однажды, когда Вася жадно глядел, как они утром уписывали, запивая водой, ломти черного хлеба, посыпанные солью,— один из арестантов с таким радушием предложил барчуку попробовать «арестантского хлебца», что Вася не отказался и с большим удовольствием съел два ломтя и пробыл в их обществе. И все смотрели на него так доброжелательно, так ласково, все так добродушно говорили с ним, что Вася очень жалел, когда шабаш кончился и арестанты разошлись по работам, приветливо кивая головами своему гостю.

С тех пор между адмиральским сыном и арестантами завязалось прочное знакомство, о котором Вася, разумеется, благоразумно умалчивал, зная, что дома его за это не похвалят. И чем ближе он узнавал их, тем более и более убеждался, что и няня, и мать, и сестры, и старичок генерал решительно заблуждаются, считая их ужасными людь-

ми. Напротив, по мнению Васи, они были славные и добрые, и он только удивлялся, за что таких людей, которые так усердно работали, так хорошо к нему относились, баловали его самодельными игрушками и так гостеприимно угощали его,— за что, в самом деле, им обрили головы и на ноги надели кандалы, лишив, бедных, возможности бегать, как бегает он.

Вася со всеми своими новыми знакомыми был в хороших отношениях, но более всего подружился с одним молодым, белокурым, небольшого роста, стройным арестантом с голубыми ласковыми глазами. Он не знал, за что попал этот человек в арестанты, и не интересовался знать, решив почему-то, что, верно, не за важную вину.

Он чувствовал какую-то особенную привязанность к этому арестанту с задумчивым грустным взглядом и за то, что тот рассказывал отличные сказки, и за то, что он был часто грустен, и за его мягкий, ласковый голос, и за его необыкновенно добрую и приятную улыбку — короче, решительно за все.

Звали его Максимом. Арестанты называли его еще «соловьем» за то, что часто во время работы он пел песни, и пел их замечательно хорошо.

Когда мальчик, бывало, слушал его пение, полное беспредельной тоски, невольное чувство бесконечной жалости к этому певцу в кандалах охватывало его маленькое сердце и к горлу подступали слезы.

И нередко, нервно потрясенный, он убегал.

IV

Вася попал в сад как раз вовремя.

Арестанты только что зашабашили на полчаса и, расположившись кто кучками, кто в одиночку в конце одной из аллей, под тенью стены, завтракали казенным черным хлебом и купленными на свои копейки арбузами.

Вася подбежал к ним и, веселый, зарумянившийся, полный радости жизни, весело кивал головой в ответ на общие приветствия с добрым утром. С разных сторон раздавались голоса:

— Каково почивали, барчук?

— Нянька не пужала вас?

— Не угодно ли кавуна, барчук?

— У меня добрый кавун!

— Барчук с Максимкой будет завтракать. Максимка нарочно большой кавун на рынке взял.

— А где же Максим? — спрашивал Вася, ища глазами своего приятеля.

— А вон он, от людей под виноградник забился... Идите к нему, барчук, да прикажите ему не скучить... А то он опять вовсе заскучил...

— Отчего?

— А спросите его... Видно, не привык еще к нашему арестантскому положению... Тоскует, что птица в неволе.

— А вчерась дома еще от унтерцера попало! — вставил черявый пожилой арестант с нависшими всклоченными бровями, придававшими его рябоватому лицу несколько свирепый вид.

— За что попало? — поинтересовался Вася.

— А ежели по совести сказать, то вовсе здря... Не приметил Максимка ўнтерцера и не осторонился, а этот дьявол его в зубы... да раз, да другой... Это хучь кому, а обидно, как вы полагаете, барчук? Еще если бы за дело, а то здря! — объяснял пожилой арестант главную причину обиды.

Вася, и по собственному опыту своей недолгой еще жизни знавший, как обидно, когда, бывало, и его наказывали дома не всегда справедливо, а так, в минуты вспышки гнева отца или дурного расположения матери, поспешил согласиться, что это очень обидно и что унтер-офицер, побивший Максима, действительно дьявол, которому он охотно бы «начистил морду».

Вызвав последними словами, заимствованными им из арестантского жаргона, одобрительный смех и замечание, что «барчук рассудил правильно», Вася поспешил к своему приятелю Максиму.

— Здравствуй, Максим! — проговорил он, когда залез под виноградник и увидал молодого арестанта, около которого лежали только что нарезанные куски арбуза и несколько ломтей черного хлеба.

— Доброго утра, паныч! — ответил Максим своим мягким голосом с сильным малороссийским акцентом.— Каково почивали? Попробуйте, какой кавунок добрый... Кушайте на здоровье! — прибавил он, подавая Васе кусок арбуза и ломоть хлеба и ласково улыбаясь при этом своими большими и грустными глазами.— Я вас дожидался...

— Спасибо, Максим. Я присяду около тебя... Можно?

— Отчего не можно? Садитесь, паныч... Здесь хорошо, прохладно.

Вася присел и, вынув из кармана несколько кусков са-

хара и щепотку чая, завернутого в бумажку, подал их арестанту и проговорил:

— Вот возьми... Чаю выпьешь...

— Спасибо, паныч... Добренький вы... Только как бы вам не досталось, что вы сахар да чай из дому уносите.

— Не бойся, Максим, не достанется. И никто не узнает... У нас все спят... Только папенька встал и сидит в кабинете. Да у нас чаю и сахару много! — торопливо объяснял Вася, желая успокоить Максима, и с видимым наслаждением принялся уплетать сочный арбуз, заедая его черным хлебом и не обращая большого внимания на то, что сок заливал его курточку.

Сунув чай и сахар в карман штанов, Максим тоже принялся завтракать.

— Еще, паныч! — проговорил он, заметив, что Вася уже съел один кусок.

— А тебе мало остается? — заметил мальчик, видимо, колебавшийся между желанием съесть еще кусок и не обидеть арестанта.

— Хватит... Да мне что-то и есть не хочется.

— Ну, так я еще съем кусочек.

Скоро арбуз и хлеб были покончены, и тогда Вася спросил:

— А ты что такой невеселый, Максим?

— Веселья не много, паныч, в арестантах...

— В кандалах больно?

— В неволе погано, паныч... И на службе было тошно, а в арестантах еще тошнее...

— Ты был солдатом или матросом?

— Матросом, паныч, в сорок втором экипаже служил... Может, слыхали про капитана первого ранга Богатова... Он у нас был командиром корабля «Тартарархов»[1].

— Я его знаю... Он у нас бывает... Такой толстый, с большим пузом...

— Так из-за этого самого человека я и в арестанты попал. Нехай ему на том свете попомнится за то, что он меня несчастным сделал.

— Что ж ты, нагрубил ему?

— То-то... нагрубил... Я, паныч, был матрос тихий, смирный, а он довел меня до затмения... Так сек, что и не дай боже!

— За что же?

— А за все. И внико и безвинно... За флотскую часть.

[1] Так матросы Черноморского флота называли корабль «Трех иерархов». *(Примеч. автора.)*

Два раза в гошпитале из-за его лежал... Ну, душа и не стерпела... Назвал его злодеем... Злодей и есть. И засудили меня, паныч. Гоняли скрозь строй, а потом в арестанты... Уж лучше было бы потерпеть... Может, от этого человека избавился и к другому бы попал — не такому злодею. По крайности в матросах все-таки на воле жил... А тут, сами знаете, паныч, какая есть арестантская доля... хоть пропадай с тоски... И всякий может тобой помыкать... Известно — арестант! — прибавил с грустною усмешкой Максим.

Вася, слушавший Максима с глубоким участием, после нескольких секунд раздумья проговорил с самым решительным видом:

— Так отчего ты, Максим, не убежишь, если тебе так нехорошо?

Радостный огонек блеснул в глазах арестанта при этих словах, и он ответил:

— А вы как думаете?.. Давно убег бы, коли б можно было, паныч... Пошел бы до своей стороны...

— А где твоя сторона?

— В Каменец-Подольской губернии... Может, слыхали город Проскуров... Так от него верстов десять наша деревня... Поглядел бы на мать да на батьку и пошел бы за австрийскую границу шукать доли! — продолжал Максим взволнованным шепотом, весь оживившийся и словно бы невольно высказывая свою давно лелеянную заветную мечту о побеге.— Только вы смотрите, паныч, никому не сказывайте насчет того, что я вам говорю, а то меня до смерти засекут! — прибавил Максим и словно бы испугался, что поверил свою тайну барчуку. Долго ли ему разболтать?

Вася торжественно перекрестился и со слезами на глазах объявил, что ни одна душа не узнает о том, что говорил Максим. Он может быть спокоен, что за него Максима не высекут. Хоть он и маленький, а держать слово умеет.

И когда Максим, по-видимому, успокоился этим уверением, Вася, и сам внезапно увлеченный мыслью о побеге Максима за австрийскую границу, о которой, впрочем, имел очень смутное понятие, продолжал таинственно серьезным тоном заговорщика:

— Ты говоришь, что нельзя убежать, а я думаю, что очень даже легко.

— А как же, паныч? — с ласковою улыбкой спросил Максим.

— А ты разбей здесь у нас в саду кандалы... Я тебе молоток принесу, а потом перелезь через стену, да и беги на австрийскую границу.

Максим печально усмехнулся.

— В арестантской-то одеже? Да меня зараз поймают.

— А ты ночью.

— Ночью с блокшивы не убечь... Мы за железными запорами, да и часовые пристрелят...

Возбужденное лицо Васи омрачилось. И он печально произнес:

— Значит, так и нельзя убежать?

Арестант не отвечал и как-то напряженно молчал. Казалось, будто какая-то мысль озарила его, и его худое, бледное лицо вдруг стало необыкновенно возбужденным, а глаза загорелись огоньком. Он как-то пытливо и тревожно глядел на мальчика, точно хотел проникнуть в его душу, точно хотел что-то сказать и не решался.

— Что ж ты молчишь, Максим? Или боишься, что я тебя выдам? — обиженно промолвил Вася.

— Нет, паныч... Вы не обидите арестанта... В вас душа добрая! — сказал уверенно и серьезно Максим и, словно решившись на что-то очень для него важное, прибавил почти шепотом: — А насчет того, чтоб убечь, так оно можно, только не так, как вы говорите, паныч.

— А как?

— Коли б, примерно, достать платье.

— Какое?

— Женское, скажем, такое, как ваша нянька носит.

— Женское? — повторил мальчик.

— Да, и, примерно, платок бабий на голову... Тогда можно бы убечь!

Вася на секунду задумался и вслед за тем решительно проговорил:

— Я тебе принесу нянино платье и платок.

— Вы принесете... паныч?

От волнения он не мог продолжать и, вдруг схватив руку Васи, прижал ее к губам и покрыл поцелуями.

В ответ Вася крепко поцеловал арестанта.

— Как же вы это сделаете?.. А как поймают...

— Не бойся, Максим... Никто не поймает... Я ловко это сделаю, когда все будут спать. Только куда его положить?

— А сюда... под виноградник. Да накройте его листом, чтобы не видно было.

— А то не прикрыть ли землей? Как ты думаешь, Максим? — с серьезным, деловым видом спрашивал Вася.

— Нет, что уж вам трудиться, паныч; довольно и листом. Сюда никто и не заглянет.

— Ну ладно. А я завтра рано-рано утром все сюда принесу. А то еще лучше ночью... Я не побоюсь ночью в сад идти. Чего бояться?

— Благослови вас боже, милый паныч. Я буду век за вас молиться.

— Эй! На работу! — донесся издали голос конвойного.

— Я еще к тебе прибегу, Максим. Мы ведь больше не увидимся. Завтра тебя не будет! — с грустью в голосе произнес Вася.

С этими словами он вылез из виноградника и пошел в дом.

V

Целый день Вася находился в возбужденном состоянии, озабоченный предстоявшим предприятием. Увлеченный этими мыслями, он даже ни разу не подумал о том, что грозит ему, если отец как-нибудь узнает об его поступке. План похищения нянина платья и молотка, который он вчера видел в комнате, поглотил его всего, и он уже сделал днем рекогносцировку в нянину комнату, увидел, где лежит молоток, и наметил платье, висевшее на гвозде. День этот тянулся для него невыносимо долго. Он то и дело выбегал в сад, озабоченно ходил по аллеям и часто подбегал к Максиму, когда видел его одного. Подбегал и перекидывался таинственными словами.

— Прощай, голубчик Максим... Может быть, завтра уж ты будешь далеко! — проговорил он со слезами на глазах перед тем, как арестанты собирались уходить из сада.

— Прощайте, паныч! — шепнул арестант, взглядывая на мальчика взглядом, полным неописуемой благодарности.

Арестанты выстроились и ушли, позвякивая кандалами. Вася долго еще провожал их глазами.

По счастью, никто из домашних не обратил внимания на взволнованный вид мальчика. Правда, за обедом отец два раза бросил на него взгляд, от которого Вася замер от страха. Ему показалось, что отец прочел в душе его намерения и вот сейчас крикнет ему: «Я все знаю, негодный мальчишка!»

Но вместо этого отец только спросил:

— Отчего не ешь?

— Я ем, папенька.

— Мало. Надо есть за обедом! — крикнул он.

И Вася, не чувствовавший ни малейшего аппетита, усердно набивал себе рот, втайне обрадованный, что отец ни о чем не догадывается.

К вечеру молоток уже лежал под кроватью Васи. Пошел он в этот день спать ранее обыкновенного, хотя за чайным столом и сидели гости и рассказывали интересные вещи.

Когда он подошел к матери, она взглянула на него и озабоченно спросила, ощупывая его голову:

— Ты, кажется, болен, Вася?.. У тебя все лицо горит.

— Я здоров, мама... Устал, верно.

Он поцеловал ее нежную, белую руку, простился с сестрами и гостями и, довольный, что отца не было дома и что не нужно было с ним прощаться, пробежал в детскую.

— Няня, спать! — крикнул он.

— Что сегодня рано? Или набегался?

— Набегался... устал, няня! — говорил он, стараясь не глядеть ей в глаза и чувствуя некоторое угрызение совести перед человеком, которого собирался ограбить.

Няня раздела его и предложила ему рассказать сказку, но он отказался. Ему спать хочется. Он сейчас заснет.

— Ну, так спи, родной!

Она поцеловала Васю, перекрестила его и хотела было уходить, как Вася вдруг проговорил:

— А знаешь, няня, после моих именин я подарю тебе новое платье.

— Спасибо, голубчик. Что это тебе взбрело на ум, к чему мне платье... У меня и так много платьев.

— А сколько?

— Да шесть будет, окромя двух шерстяных.

— А! — удовлетворенно произнес мальчик и прибавил: — Так я тебе, няня, что-нибудь другое подарю... После именин у меня будет много денег...

— Ишь ты, добрый мой... Спасибо на посуле... Ну, спи, спи. И я пойду спать.

Через несколько времени Вася услышал из соседней комнаты храп няни Агафьи.

Нервы его были слишком натянуты, и он не засыпал, решивши не спать до того времени, пока не заснут все в доме и он может безопасно пробраться в сад через диванную, тихонько отворив двери в сад, которые обыкновенно запирались на ключ. Мать не услышит, а спальня

отца в другом конце дома. Наконец можно выпрыгнуть и из окна — невысоко.

До него доносились звуки корабельных колоколов, каждые полчаса отбивавших склянки. Он слышал монотонное и протяжное: «Слу-шай!» — перекрикивающихся в отдалении часовых и думал упорно и настойчиво о том, что он не должен заснуть и не заснет,— думал, как он отворит окно, прислушается, все ли тихо, и как пройдет к няне на цыпочках за платьем, думал о Максиме, как он завтра обрадуется и удерет на австрийскую границу. И ему там будет хорошо, и его никто не поймает. И никто не узнает, что это он, Вася, помог ему убежать. И ему приятно было сознавать, что он будет его спасителем. Эти мысли, бродившие в его возбужденной голове, сменились другими. И он убежит за австрийскую границу, если в пансионе, в Одессе, куда его отвезут в сентябре, будет нехорошо и его будут сечь. Дома сечет отец,— он смеет, а другие не смеют! Непременно удерет, разыщет Максима и поселится вместе с ним. Эта мысль казалась ему соблазнительной, но еще соблазнительнее была другая, внезапно пришедшая,— как он уже большим и генералом после долгого отсутствия вдруг подъедет на белом красивом коне к дому и как все удивятся, что он генерал. И отец не высечет его — он уже большой,— а будет изумлен, что он такой молодой и уже генерал. И мать, и сестры, и братья — все будут удивлены, и все будут поздравлять его. И он расскажет, почему он бежал и как отличился на войне.

«Хо-ро-шо!» — подумал он, потягиваясь и не сознавая ясно, бредит ли он наяву или засыпает.

— Нельзя спать! — прошептал он и тотчас же заснул.

Что-то точно толкнуло его в бок, и он проснулся и быстро присел на постели, испуганный, что проспал и обманул Максима, и первое мгновение не мог сообразить, сколько теперь времени. Он протер глаза и озирался вокруг. Сквозь белую штору пробивался слабый свет. Слава богу! Еще, кажется, не поздно.

Он вскочил с постели, отдернул штору и взглянул в окно. Только что рассветало, и в саду стоял еще полумрак.

— Пора!

Едва ступая босыми ножонками, пробрался он в комнату няни, взял оттуда платье и платок, лежавший около ее постели, и вернулся к себе. Через несколько секунд он уж был одет, все похищенное свернуто и завязано в два полотенца.

Надо было решить вопрос: как пробраться в сад —

через окно или идти через комнаты? Тихонько растворив окно, он заглянул вниз и отвернулся,— слишком высоко! Тогда он снял с себя башмаки и в одних чулках вышел за двери.

Сердце его сильно билось, когда он, затаив дыханье, прислушиваясь к каждому шороху, пробирался по коридору мимо комнат сестер и наконец вошел в диванную. Вот и дверь... Осторожно повернул на ключ... раз, два... раздался шум... Он на минуту замер в страхе и со всех ног пустился в сад, перепрыгивая ступеньки лестниц. Вот и вторая терраса сверху... Стремглав добежав до конца аллеи, он положил платье в указанное место, набросал на него кучу виноградных листьев и побежал домой.

Когда он благополучно вернулся и лег в постель, его трясло, точно в лихорадке. Он был бесконечно счастлив и в то же время страшно трусил, что вдруг все откроется и отец прикажет его самого отдать в арестанты.

VI

Проснулся он на другой день поздно. Няня стояла перед ним. Он вспомнил все, что было ночью, и поглядел на нее. Ничего. Она, по обыкновению, ласковая и добрая — видно, ни о чем не догадывается. На голове ее другой платок.

— Ишь, соня... Заспался сегодня... Вставай, уже девятый час...

Вася быстро поднялся, оделся и позволил сегодня няньке расчесать основательно свои кудри.

— А не видал ты где-нибудь, Васенька, моего платка с головы? Искала, искала — нигде не могла найти, точно сквозь землю провалился! — озабоченно проговорила она, обыскивая Васину кровать.

— Нет, няня, не видал.

— Чудное дело! — прошептала старуха.

— Да ты, няня, не тревожься. Я тебе новый платок куплю.

— Не в том дело... Не жаль платка, а куда он девался?

И когда Вася был готов, няня сказала:

— А папенька сердитый сегодня.

— Отчего?

— У нас, Васенька, беда случилась.

— Беда? Какая беда, няня?

— Один арестант из сада убежал утром.

У Васи радостно забилось сердце. Однако он поста-

рался скрыть свое волнение и с напускным равнодушием спросил:

— Убежал? Как же он убежал?

— То-то и диво. Только что хватились... Платье свое арестантское оставил и убежал... Все дивуются — откуда он достал платье... Не голый же ушел... Теперь идет переборка... Всех допрашивает конвойный офицер... И папеньке доложили... Прогневался... Вдруг из губернаторского сада арестант убежал!

Ни жив ни мертв явился Вася в кабинет отца. Действительно, адмирал был не в духе и в ответ на обычное «здравствуйте, папенька» только кивнул головой. С облегченным сердцем ушел Вася, убедившись, что отец ничего не знает, и вскоре услышал крики отца, который распекал явившегося к нему с рапортом полицеймейстера.

Вася целый день провел в тревоге, ожидая, что вот-вот его позовут на допрос к отцу.

Но никто его не звал. За обедом отец даже был в духе и соблаговолил сказать адмиральше, высокой, полной, пожилой женщине, сохранившей еще следы былой красоты:

— А ты слышала, что сегодня случилось? Каналья-арестант убежал из нашего сада.

— Как же это он мог?

— Арестанты показывают, что у него с собою узелок был, когда их вели с блокшива... Верно, там платье и было... Он переоделся и убежал... Комендант совсем распустил их... Уж я ему говорил... И конвойные плохо смотрят... Ну, да недолго побегает... Сегодня или завтра, верно, поймают... Как проведут сквозь строй, не захочет бегать!

У Васи екнуло сердце. Неужели поймают?

Однако когда через несколько дней мать спросила отца, поймали ли арестанта, тот сердито отвечал:

— Нет... Словно в воду канул, мерзавец! И никак не могли узнать, откуда он достал платье!

Когда через неделю Вася уже совсем успокоился и вышел утром в сад, пожилой арестант с всклоченными черными бровями, срезывавший гнилые сучья с дерева, таинственно поманил мальчика к себе и, когда тот подошел к нему, осторожно, чтобы никто не видал, сунул ему в руки маленький резной крестик и проговорил:

— Максимка приказал вам передать, барчук!

И, ласково глядя на Васю, прибавил необыкновенно нежным голосом:

— Пошли вам бог всего хорошего, добрый барчук!

1896

МАКСИМКА

Посвящается Тусику

I

Только что пробил колокол. Было шесть часов прелестного тропического утра на Атлантическом океане.

По бирюзовому небосклону, бесконечно высокому и прозрачно-нежному, местами подернутому, словно белоснежным кружевом, маленькими перистыми облачками, быстро поднимается золотистый шар солнца, жгучий и ослепительный, заливая радостным блеском водяную холмистую поверхность океана. Голубые рамки далекого горизонта ограничивают его беспредельную даль.

Как-то торжественно безмолвно кругом.

Только могучие светло-синие волны, сверкая на солнце своими серебристыми верхушками и нагоняя одна другую, плавно переливаются с тем ласковым, почти нежным ропотом, который точно нашептывает, что в этих широтах, под тропиками, вековечный старик океан всегда находится в добром расположении духа.

Бережно, словно заботливый, нежный пестун, несет он на своей исполинской груди плывущие корабли, не угрожая морякам бурями и ураганами.

Пусто вокруг!

Не видно сегодня ни одного белеющегося паруса, не видно ни одного дымка на горизонте. Большая океанская дорога широка.

Изредка блеснет на солнце серебристою чешуйкой летучая рыбка, покажет черную спину играющий кит и шумно выпустит фонтан воды, высоко прореет в воздухе темный фрегат или белоснежный альбатрос, пронесется над водой маленькая серая петрель, направляясь к далеким берегам Африки или Америки, и снова пусто. Снова

рокочущий океан, солнце да небо, светлые, ласковые, нежные.

Слегка покачиваясь на океанской зыби, русский военный паровой клипер «Забияка» быстро идет к югу, удаляясь все дальше и дальше от севера, мрачного, угрюмого и все-таки близкого и дорогого севера.

Небольшой, весь черный, стройный и красивый со своими тремя чуть-чуть подавшимися назад высокими мачтами, сверху донизу покрытыми парусами, «Забияка» с попутным и ровным, вечно дующим в одном и том же направлении северо-восточным пассатом бежит себе миль по семи-восьми в час, слегка накренившись своим подветренным бортом. Легко и грациозно поднимается «Забияка» с волны на волну, с тихим шумом рассекает их своим острым водорезом, вокруг которого пенится вода и рассыпается алмазною пылью. Волны ласково лижут бока клипера. За кормой стелется широкая серебристая лента.

На палубе и внизу идет обычная утренняя чистка и уборка клипера к подъему флага, то есть к восьми часам утра, когда на военном судне начинается день.

Рассыпавшись по палубе в своих белых рабочих рубахах с широкими откидными синими воротами, открывающими жилистые, загорелые шеи, матросы, босые, с засученными до колен штанами, моют, скребут и чистят палубу, борты, пушки и медь — словом, убирают «Забияку» с тою щепетильною внимательностью, какою отличаются моряки при уборке своего судна, где всюду, от верхушек мачт до трюма, должна быть умопомрачающая чистота и где все, доступное кирпичу, суконке и белилам, должно блестеть и сверкать.

Матросы усердно работали и весело посмеивались, когда «горластый» боцман Матвеич, старый служака с типичным боцманским лицом старого времени, красным и от загара, и от береговых кутежей, с выкаченными серыми глазами, «чумея», как говорили матросы, во время «убирки» выпаливал какую-нибудь уж очень затейливую ругательную импровизацию, поражавшую даже привычное ухо русского матроса. Делал Матвеич это не столько для поощрения, сколько, как он выражался, «для порядка».

Никто за это не сердился на Матвеича. Все знают, что Матвеич добрый и справедливый человек, кляуз не заводит и не злоупотребляет своим положением. Все давно привыкли к тому, что он не мог произнести трех слов

без руганн, н порой восхнщаются его бескоиечными варнациямн. В этом отношенни он был виртуоз.

Время от временн матросы бегалн на бак, к кадке с водой н к ящику, где тлел фитиль, чтобы иаскоро выкурнть трубочку острой махоркн н перекннуться словом. Затем снова прннимались чнстнть н оттирать медь, наводить гляиец иа пушки н мыть борты, н особенно старательио, когда приближалась высокая худощавая фнгура старшего офицера, с раниего утра носившаяся по всему клнперу, заглядывая то туда, то сюда.

Вахтеиный офнцер, молодой блондии, стоявший вахту с четырех до восьмн часов, уже давно разогнал дрему первого получаса вахты. Весь в белом, с расстегнутою иочною сорочкой, он ходит взад н вперед по мостику, вдыхая полиой грудью свежий воздух утра, еще ие иакалеиный жгучим солнцем. Нежный ветер приятно ласкает затылок молодого лейтенанта, когда ои останавливается, чтобы взгляиуть иа компас — по румбу ли правят рулевые, или иа паруса — хорошо лн оии стоят, илн на горизонт — нет лн где шквалистого облачка.

Но все хорошо, н лейтенанту почти иечего делать иа вахте в благодатных тропиках.

И он сиова ходит взад н вперед н слишком раио мечтает о том времеин, когда вахта кончится н ои выпьет стакан-другой чая со свежимн горячими булками, которые так мастерскн печет офнцерский кок, если только водку, которую ои требует для поднятия теста, ие вольет в себя.

II

Вдруг по палубе пронесся неестествеиио-громкнй н тревожный окрик часового, который, сидя на носу судиа, смотрел вперед:

— Человек в море!

Матросы кинулн мгновеиио работы и, удивлеииые и взволнованные, бросилнсь на бак и устремили глаза иа океаи.

— Где ои, где? — спрашивали со всех сторои часового, молодого белобрысого матроса, лнцо которого вдруг побелело как полотно.

— Вои,— указывал дрогнувшей рукой матрос.— Теперь скрылся. А я сейчас видел, братцы... На мачте держался... прнвязан, что ли,— возбужденно говорил матрос,

напрасно стараясь отыскать глазами человека, которого только что видел.

Вахтенный лейтенант вздрогнул от окрика часового и впился глазами в бинокль, наводя его в пространство перед клипером.

Сигнальщик смотрел туда же в подзорную трубу.

— Видишь? — спросил молодой лейтенант.

— Вижу, ваше благородие... Левее извольте взять...

Но в это мгновение и офицер увидел среди волн обломок мачты и на ней человеческую фигуру.

И взвизгивающим, дрожащим голосом, торопливым и нервным, он крикнул во всю силу своих здоровых легких:

— Свистать всех наверх! Грот и фок на гитовы! Баркас к спуску!

И, обратившись к сигнальщику, возбужденно прибавил:

— Не теряй из глаз человека!

— Пошел все наверх! — рявкнул сипловатым баском боцман после свистка в дудку.

Словно бешеные, матросы бросились к своим местам.

Капитан и старший офицер уже вбегали на мостик. Полусонные, заспанные офицеры, надевая на ходу кителя, поднимались по трапу на палубу.

Старший офицер принял команду, как всегда бывает при аврале, и, как только раздались его громкие, отрывистые командные слова, матросы стали исполнять их с какою-то лихорадочною порывистостью. Все в их руках точно горело. Каждый словно бы понимал, как дорога каждая секунда.

Не прошло и семи минут, как почти все паруса, за исключением двух-трех, были убраны, «Забияка» лежал в дрейфе, недвижно покачиваясь среди океана, и баркас с шестнадцатью гребцами и офицером у руля спущен был на воду.

— С богом! — крикнул с мостика капитан на отвалившийот борта баркас.

Гребцы наваливались изо всех сил, торопясь спасти человека.

Но в эти семь минут, пока остановился клипер, он успел пройти больше мили, и обломка мачты с человеком не видно было и в бинокль.

По компасу заметили все-таки направление, в котором находилась мачта, и по этому направлению выгребал баркас, удаляясь от клипера.

Глаза всех моряков «Забияки» провожали баркас. Какою ничтожною скорлупкою казался он, то показываясь на гребнях больших океанских волн, то скрываясь за ними.

Скоро он казался маленькою черною точкой.

III

На палубе царила тишина.

Только порой матросы, теснившиеся на юте и на шканцах, менялись между собой отрывистыми замечаниями, произносимыми вполголоса:

— Должно, какой-нибудь матросик с потопшего корабля.

— Потопнуть кораблю здесь трудно. Разве вовсе плохое судно.

— Нет, видно, столкнулся с каким другим ночью...

— А то и сгорел.

— И всего-то один человек остался, братцы!

— Может, другие на шлюпках спасаются, а этого забыли...

— Живой ли он?

— Вода теплая. Может, и живой.

— И как это, братцы, акул-рыба его не съела. Здесь этих самых акулов страсть!

— Д-да, милые! Опаская эта флотская служба. Ах, какая опаская! — произнес, подавляя вздох, совсем молодой чернявый матросик с серьгой, первогодок, прямо от сохи попавший в кругосветное плавание.

И с омраченным грустью лицом он снял шапку и медленно перекрестился, точно безмолвно моля бога, чтобы он сохранил его от ужасной смерти где-нибудь в океане.

Прошло три четверти часа общего томительного ожидания.

Наконец сигнальщик, не отрывавший глаза от подзорной трубы, весело крикнул:

— Баркас пошел назад!

Когда он стал приближаться, старший офицер спросил сигнальщика:

— Есть на нем спасенный?

— Не видать, ваше благородие! — уже не так весело отвечал сигнальщик.

— Видно, не нашли! — проговорил старший офицер, подходя к капитану.

Командир «Забияки», низенький, коренастый и крепкий

брюнет пожилых лет, заросший сильно волосами, покрывавшими мясистые щеки и подбородок густою черною заседевшею щетиной, с небольшими круглыми, как у ястреба, глазами, острыми и зоркими,— недовольно вздернул плечом и, видимо сдерживая раздражение, проговорил:

— Не думаю-с. На баркасе исправный офицер и не вернулся бы так скоро, если б не нашел человека-с.

— Но его не видно на баркасе.

— Быть может, внизу лежит, потому и не видно-с... А впрочем-с, скоро узнаем...

И капитан заходил по мостику, то и дело останавливаясь, чтобы взглянуть на приближавшийся баркас. Наконец он взглянул в бинокль и хоть не видел спасенного, но по спокойно-веселому лицу офицера, сидевшего на руле, решил, что спасенный на баркасе.

И на сердитом лице капитана засветилась довольная улыбка.

Еще несколько минут, и баркас подошел к борту и вместе с людьми был поднят на клипер.

Вслед за офицером из баркаса стали выходить гребцы, красные, вспотевшие, с трудом переводившие дыхание от усталости. Поддерживаемый одним из гребцов, на палубу вышел и спасенный — маленький негр, лет десяти — одиннадцати, весь мокрый, в рваной рубашке, прикрывавшей небольшую часть его худого, истощенного, черного, отливавшего глянцем тела.

Он едва стоял на ногах и вздрагивал всем телом, глядя ввалившимися большими глазами с какою-то безумною радостью и в то же время недоумением, словно не веря своему спасению.

— Совсем полумертвого с мачты сняли; едва привели в чувство бедного мальчишку,— докладывал капитану офицер, ездивший на баркасе.

— Скорей его в лазарет! — приказал капитан.

Мальчика тотчас же отнесли в лазарет, вытерли насухо, уложили в койку, покрыли одеялами, и доктор начал его отхаживать, вливая в рот ему по нескольку капель коньяку.

Он жадно глотал влагу и умоляюще глядел на доктора, показывая на рот.

А наверху ставили паруса, и минут через пять «Забияка» снова шел прежним курсом и матросы снова принялись за прерванные работы.

— Арапчонка спасли! — раздавались со всех сторон веселые матросские голоса.

«Максимка»

— И какой же он щуплый, братцы!

Некоторые бегали в лазарет узнавать, что с арапчонком.

— Доктор отхаживает. Небось выходит!

Через час марсовой Коршунов принес известие, что арапчонок спит крепким сном, после того как доктор дал ему несколько ложечек горячего супа...

— Нарочно для арапчонка, братцы, кок суп варил, вовсе, значит, пустой, безо всего, так отвар быдто,— с оживлением продолжал Коршунов, довольный и тем, что ему, известному вралю, верят в данную минуту, и тем, что он на этот раз не врет, и тем, что его слушают.

И, словно бы желая воспользоваться таким исключительным для него положением, он торопливо продолжает:

— Фершал, братцы, сказывал, что этот самый арапчонок по-своему что-то лопотал, когда его кормили, просил, значит: «Дайте больше, мол, этого самого супу»... И хотел даже вырвать у доктора чашку... Однако не допустили: значит, брат, сразу нельзя... Помрет, мол.

— Что ж арапчонок?

— Ничего, покорился...

В эту минуту к кадке с водою подошел капитанский вестовой Сойкин и закурил окурок капитанской сигары. Тотчас же общее внимание было обращено на вестового, и кто-то спросил:

— А не слышно, Сойкин, куда денут потом арапчонка?

Рыжеволосый, веснушчатый, франтоватый, в собственной тонкой матросской рубахе и в парусиновых башмаках, Сойкин не без достоинства пыхнул дымком сигары и авторитетным тоном человека, имеющего кое-какие сведения, проговорил:

— Куда деть? Оставят на Надежном мысу, когда, значит, придем туда.

«Надежным мысом» он называл мыс Доброй Надежды.

И, помолчав с важным видом, не без пренебрежения прибавил:

— Да и что с им делать, с черномазой нехристью? Вовсе даже дикие люди.

— Дикие не дикие, а всё божья тварь... Пожалеть надо! — промолвил старый плотник Захарыч.

Слова Захарыча, видимо, вызвали общее сочувствие среди кучки курильщиков.

— А как же арапчонок оттель к своему месту вернется? Тоже и у его, поди, отец с матерью есть! — заметил кто-то.

— На Надежном мысу всяких арапов много. Небось дознаются, откуда он,— ответил Сойкин и, докурив окурок, вышел из круга.

— Тоже вестовщина. Полагает о себе! — сердито пустил ему вслед старый плотник.

IV

На другой день мальчик-негр хотя и был очень слаб, но настолько оправился после нервного потрясения, что доктор, добродушный пожилой толстяк, радостно улыбаясь своею широкою улыбкой, потрепал ласково мальчика по щеке и дал ему целую чашку бульона, наблюдая, с какою жадностью глотал он жидкость и как потом благодарно взглянул своими большими черными выпуклыми глазами, зрачки которых блестели среди белков.

После этого доктор захотел узнать, как мальчик очутился в океане и сколько времени он голодал, но разговор с пациентом оказался решительно невозможным, несмотря даже на выразительные пантомимы доктора. Хотя маленький негр, по-видимому, был сильнее доктора в английском языке, но так же, как и почтенный доктор, безбожно коверкал несколько десятков английских слов, которые были в его распоряжении.

Они друг друга не понимали.

Тогда доктор послал фельдшера за юным мичманом, которого все в кают-компании звали «Петенькой».

— Вы, Петенька, отлично говорите по-английски, поговорите-ка с ним, а у меня что-то не выходит! — смеясь, проговорил доктор.— Да скажите ему, что дня через три я его выпущу из лазарета! — прибавил доктор.

Юный мичман, присев около койки, начал свой допрос, стараясь говорить короткие фразы тихо и раздельно, и маленький негр, видимо, понимал если не все, о чем спрашивал мичман, то, во всяком случае, кое-что и спешил отвечать рядом слов, не заботясь об их связи, но зато подкрепляя их выразительными пантомимами.

После довольно продолжительного и трудного разговора с мальчиком-негром мичман рассказал в кают-компании более или менее верную в общих чертах историю мальчика, основанную на его ответах и мимических движениях.

Мальчик был на американском бриге «Бетси» и принадлежал капитану («большому мерзавцу»,— вставил мичман), которому чистил платье, сапоги и подавал кофе

с коньяком или коньяк с кофе. Капитан звал слугу своего «боем»[1], и мальчик уверен, что это его имя. Отца и матери он не знает. Капитан год тому назад купил маленького негра в Мозамбике и каждый день бил его. Бриг шел из Сенегала в Рио с грузом негров. Две ночи тому назад бриг сильно стукнуло другое судно (эту часть рассказа мичман основал на том, что маленький негр несколько раз проговорил: «кра, кра, кра» и затем слабо стукнул своим кулачком по стенке лазаретной каютки), и бриг пошел ко дну. Мальчик очутился в воде, привязался к обломку мачты и провел на ней почти двое суток...

Но несравненно красноречивее всяких слов, если бы такие и мог сказать мальчик о своей ужасной жизни, говорило и его удивление, что с ним ласково обращаются, и забитый его вид, и эти благодарные его взгляды загнанной собачонки, которыми он смотрел на доктора, фельдшера и на мичмана, и главное — его покрытая рубцами, блестящая черная худая спина с выдающимися ребрами.

Рассказ мичмана и показания доктора произвели сильное впечатление в кают-компании. Кто-то сказал, что необходимо поручить этого бедняжку покровительству русского консула в Каптоуне и сделать в пользу негра сбор в кают-компании.

Пожалуй, еще большее впечатление произвела история маленького негра на матросов, когда в тот же день под вечер молодой вестовой мичмана, Артемий Мухин — или, как все его звали, Артюшка,— передавал на баке рассказ мичмана, причем не отказал себе в некотором злорадном удовольствии украсить рассказ некоторыми прибавлениями, свидетельствующими о том, какой был дьявол этот американец-капитан.

— Каждый день, братцы, он мучил арапчонка. Чуть что, сейчас в зубы: раз, другой, третий, да в кровь, а затем снимет с крючка плетку,— а плетка, братцы, отчаянная, из самой толстой ремешки,— и давай лупцевать арапчонка! — говорил Артюшка, вдохновляясь собственною фантазией, вызванною желанием представить жизнь арапчонка в самом ужасном виде.— Не разбирал, анафема, что перед им безответный мальчонка, хоть и негра... У бедняги и посейчас вся спина исполосована... Доктор сказывал: страсть поглядеть! — добавил впечатлительный и увлекавшийся Артюшка.

[1] boy — по-английски «мальчик». *(Примеч. автора.)*

Но матросы, сами бывшие крепостные и знавшие по собственному опыту, как еще в недавнее время «полосовали» им спины, и без Артюшкиных прикрас жалели арапчонка и посылали по адресу американского капитана самые недобрые пожелания, если только этого дьявола уж не сожрали акулы.

— Небось у нас уж объявили волю хрестьянам, а у этих мериканцев, значит, крепостные есть? — спросил какой-то пожилой матрос.

— То-то, есть!

— Чудно что-то... Вольный народ, а поди ж ты! — протянул пожилой матрос.

— У их арапы быдто вроде крепостных! — объяснял Артюшка, слыхавший кое-что об этом в кают-компании.— Из-за этого самого у их промеж себя и война идет[1]. Одни мериканцы, значит, хотят, чтобы все арапы, что живут у их, были вольные, а другие на это никак не согласны — это те, которые имеют крепостных арапов,— ну и жарят друг дружку, страсть!.. Только господа сказывали, что которые мериканцы за арапов стоят, те одолеют! Начисто разделают помещиков мериканских! — не без удовольствия прибавил Артюшка.

— Небось господь им поможет... И арапу на воле жить хочется... И птица клетки не любит, а человек и подавно! — вставил плотник Захарыч.

Чернявый молодой матросик-первогодок, тот самый, который находил, что флотская служба очень «опаская», с напряженным вниманием слушал разговор и наконец спросил:

— Теперь, значит, Артюшка, этот самый арапчонок вольный будет?

— А ты думал как? Известно, вольный! — решительно проговорил Артюшка, хотя в душе и не вполне был уверен в свободе арапчонка, не имея решительно никаких понятий об американских законах насчет прав собственности.

Но его собственные соображения решительно говорили за свободу мальчика. «Черта-хозяина» нет, к рыбам в гости пошел, так какой тут разговор!

И он прибавил:

— Теперь арапчонку только новый пачпорт выправить на Надежном мысу. Получи пачпорт и айда на все четыре стороны.

---

[1] Рассказ относится ко времени междоусобной войны в Соединенных Штатах. *(Примеч. автора.)*

Эта комбннация с паспортом окончательио рассеяла его сомнення.

— То-то и есть! — радостно восклнкиул чернявый матроснк-первогодок.

И на его добродушком румяном лнце с добрымн, как у щенка, глазами засветилась тнхая светлая улыбка, выдававшая радость за малеиького несчастиого негра.

Коротких сумерки быстро сменилнсь чудною, ласковою тропическою иочью. Небо зажглось мириадами звезд, ярко мнгающих с бархатной высн. Океан потемнел вдалн, сняя фосфорическим блеском у бортов клипера и за кормою.

Скоро просвистали на молитву, и затем подвахтеиые, взявши койки, улеглнсь спать иа палубе.

А вахтеиные матросы коротали вахту, притулившнсь у снастей, н лясннчалн вполголоса. В эту ночь во миогих кучках говорили об «арапчоике».

V

Через два дня доктор, по обыкновенню, пришел в лазарет в семь часов утра н, обследовав своего едииственного пацнента, нашел, что ои поправился, может встать, выйти наверх и есть матросскую пищу. Объявил ои об этом маленькому негру больше зиаками, которые были на этот раз быстро поияты поправнвшимся и повеселевшнм мальчнком, казалось уже забывшим иедавнюю близость смертн. Он быстро вскочил с койки, обнаруживая намеренне идти наверх погреться на солнышке, в длииной матросской рубахе, которая сидела иа ием в виде длиииого мешка, но веселый смех доктора н хихиканье фельдшера прн внде черненького человечка в таком костюме иесколько смутнлн негра, н он стоял среди каюты, не зная, что ему предпрниять, н не вполне поиимая, к чему доктор дергает его рубаху, продолжая смеяться.

Тогда негр быстро ее сиял н хотел было юркнуть в дверн нагишом, но фельдшер удержал его за руку, а доктор, не переставая смеяться, повторял:

— No, no, no...

И вслед за тем знаками приказал негру иадеть свою рубашку-мешок.

— Во что бы одеть его, Филнппов? — озабоченно спрашнвал доктор щеголеватого курчавого фельдшера, человека лет тридцати.— Об этом-то мы с тобой, братец, н ие подумали...

— Точио так, вашескобродие, об этом мечтання ие

было. А ежели теперь обрезать ему, значит, рубаху примерно до колен, вашескобродие, да, с позволения сказать, перехватить талию ремнем, то будет даже довольно «обоюдно», вашескобродие,— заключил фельдшер, имевший несчастную страсть употреблять некстати слова, когда он хотел выразиться покудрявее, или, как матросы говорили, «позанозистее».

— То есть как «обоюдно»? — улыбнулся доктор.

— Да так-с... обоюдно... Кажется, всем известно, что обозначает «обоюдно», вашескобродие! — обиженно проговорил фельдшер.— Удобно и хорошо, значит.

— Едва ли это будет «обоюдно», как ты говоришь. Один смех будет, вот что, братец. А впрочем, надо же как-нибудь одеть мальчика, пока не попрошу у капитана разрешения сшить мальчику платье по мерке.

— Очень даже возможно хороший костюм сшить... На клипере есть матросы по портной части. Сошьют.

— Так устраивай свой обоюдный костюм!

Но в эту минуту в двери лазаретной каюты раздался осторожный, почтительный стук.

— Кто там? Входи! — крикнул доктор.

В дверях показалось сперва красноватое, несколько припухлое, неказистое лицо, обрамленное русыми баками, с подозрительного цвета носом и воспаленными, живыми и добрыми глазами, а вслед за тем и вся небольшая, сухощавая, довольно ладная и крепкая фигура фор-марсового Ивана Лучкина.

Это был пожилой матрос, лет сорока, прослуживший во флоте пятнадцать лет и бывший на клипере одним из лучших матросов — и отчаянных пьяниц, когда попадал на берег. Случалось, он на берегу пропивал все свое платье и являлся на клипер в одном белье, ожидая на следующее утро наказания с самым, казалось, беззаботным видом.

— Это я, вашескобродие,— проговорил Лучкин сиповатым голосом, переступая большими ступнями босых жилистых ног и теребя засмоленной шершавой рукой обтянутую штанину.

В другой руке у него был узелок.

Он глядел на доктора с тем застенчиво-виноватым выражением и в лице и в глазах, которое часто бывает у пьяниц и вообще у людей, знающих за собой порочные слабости.

— Что тебе, Лучкин?.. Заболел, что ли?

— Никак нет, вашескобродие,— я вот платье арап-

чоику принес... Думаю: голый, так сшил и мерку еще раньше снял. Дозвольте отдать, вашескобродие.

— Отдавай, братец... Очень рад,— говорил доктор, несколько изумленный.— Мы вот думали, во что бы одеть мальчика, а ты раньше нас подумал о нем.

— Способное время было, вашескобродие,— как бы извинялся Лучкин.

И с этими словами он вынул из ситцевого платка маленькую матросскую рубаху и такие же штаны, сшитые из холста, встряхнул их и, подавая ошалевшему мальчику, весело и уже совсем не виноватым тоном, каким говорил с доктором, сказал, ласково глядя на негра:

— Получай, Максимка! Одежа самая, братец ты мой, вери-гут. Одевай да носи на здоровье, а я посмотрю, как сидит... Вали, Максимка!

— Отчего ты его Максимкой зовешь? — рассмеялся доктор.

— А как же, вашескобродие? Максимка и есть, потому как его в день святого угодника Максима спасли, он и выходит Максимка... Опять же имени у арапчоика нет, а надо же его как-нибудь звать.

Радости мальчика не было пределов, когда он облачился в новую, чистую пару. Видимо, такого платья он никогда не носил.

Лучкин осмотрел свое изделие со всех сторон, обдергал и пригладил рубаху и нашел, что платье во всем аккурате.

— Ну, теперь валим наверх, Максимка... Погрейся на солнышке! Дозвольте, вашескобродие.

Доктор, сияя добродушной улыбкой, кивнул головой, и матрос, взяв за руку негра, повел его на бак и, показывая его матросам, проговорил:

— Вот он и Максимка! Небось теперь забудет идола мериканца, знает, что российские матросы его не забидят.

И он любовно трепал мальчика по плечу и, показывая на его курчавую голову, сказал:

— Ужо, брат, и шапку справим... И башмаки будут, дай срок!

Мальчик ничего не понимал, но чувствовал по всем этим загорелым лицам матросов, по их улыбкам, полным участия, что его не обидят.

И он весело скалил свои ослепительно белые зубы, нежась под горячими лучами родного ему южного солнца.

С этого дня все стали его звать Максимкой.

VI

Представив матросам иа баке малеиького одетого поматросскн иегра, Иваи Лучкии тотчас же объявил, что будет «доглядывать» за Макснмкой н что берет его под свое особое покровнтельство, считая, что это право принадлежит нсключнтельно ему уж в силу того, что он «обрядил мальчонка» н дал ему, как ои выразнлся, «формеиое прозвище».

О том, что этот заморенный, худой малеиький иегр, испытавшнй на заре своей жизин столько горя у капитаиаамерикаица, возбудил иеобыкиовеииую жалость в сердце одииокого как перст матроса, жизиь которого, особеиио прежде, тоже была ие из сладких, н вызвал желание сделать для него возможио приятиымн дин пребываиня иа клипере,— о том Лучкнн не пророиил ин слова. По обыкновеиию русских простых людей, ои стыдился перед другимн обиаружнвать свон чувства н, вероятно, поэтому объяснил матросам желанне «доглядывать» за Макснмкой исключнтельно тем, что «арапчонок заиятный, вроде облизьяиы, братцы».

Одиако иа всякнй случай довольио решнтельио заявил, бросая виушнтельный взгляд иа матроса Петрова, известиого задиру, любнвшего обижать безответиых н робкнх «первогодков»-матросов,— что еслн иайдется такой, «прямо сказать, подлец», который забидит «снроту», то будет нметь дело с инм, с Иваиом Лучкиным.

— Небось нскровеию морду в самом лучшем вндеl — прибавил ои, словио бы в поясиеиие того, что зиачит иметь с инм дело.— Забижать дите — самый большой грех... Какое ин иа есть оио: хрещеиое или арапское, а все днте... И ты его ие забидыl — заключил Лучкни.

Все матросы охотно прнзиали заявлеииые Лучкииым права иа Макснмку, хотя миогие скептическн отнеслись к рачительиому нсполиеиию прниятой им добровольио иа себя хлопотливой обязаииостн.

Где, мол, такому «отчаяиному матрозне» н забулдыгепьяинце возиться с арапчоиком?

И кто-то нз старых матросов ие без иасмешки спросил:

— Так ты, Лучкнн, значит, вроде быдто няньки будешь у Максимки?

— То-то за ияиьку! — отвечал с добродушным смехом Лучкин, не обращая внимания иа ироиические усмешки и улыбки.— Нешто я в няиьки не гожусь, братцы? Не к барчуку веды!.. Тоже и этого черномазого надо обрядить...

другую смену одежн сшить, да башмаки, да шапку справить... Дохтур нсхлопочет, чтобы, значит, товар казенный выдали... Пущай Максимка добром вспомнит российских матросиков, как оставят его, беспризорного, на Надежном мысу. По крайности не голый будет ходить.

— Да как же ты, Лучкин, будешь лопотать с этим самым арапчонком? Ни ты его, ни он тебя!..

— Небось договоримся! Еще как будем-то говорить! — с какою-то непостижимой уверенностью произнес Лучкин.— Он даром что арапского звания, а понятливый... я его, братцы, скоро по-нашему выучу... Он поймет...

И Лучкин ласково взглянул на маленького негра, который, притулившись к борту, любопытно озирался вокруг.

И негр, перехватив этот полный любви и ласки взгляд матроса, тоже в ответ улыбался, оскаливая зубы, широкой благодарной улыбкой, понимая без слов, что этот матрос друг ему.

Когда в половине двенадцатого часа были окончены все утренние работы и вслед за тем вынесли на палубу ендову с водкой и оба боцмана и восемь унтер-офицеров, ставши в кружок, засвистали призыв к водке, который матросы не без остроумия называют «соловьиным пением»,— Лучкин, радостно улыбаясь, показал мальчику на свой рот, проговорив: «Сиди тут, Максимка!» — и побежал на шканцы, оставив негра в некотором недоумении.

Недоумение его, впрочем, скоро разрешилось.

Острый запах водки, распространявшийся по всей палубе, и удовлетворенно-серьезные лица матросов, которые, возвращаясь со шканцев, утирали усы своими засмоленными шершавыми руками, напомнили маленькому негру о том, что и на «Бетси» раз в неделю матросам давали по стакану рома, и о том, что капитан пил его ежедневно и, как казалось мальчику, больше, чем бы следовало.

Лучкин, уже вернувшийся к Максимке и после большой чарки водки бывший в благодушном настроении, весело трепанул мальчика по спине и, видимо, желая поделиться с ним приятными впечатлениями, проговорил:

— Бон водка! Верн-гут шнапс, Максимка, я тебе скажу.

Максимка сочувственно кивнул головой и промолвил:

— Верн-гут!

Это быстрое понимание привело Лучкина в восхищение, и он воскликнул:

— Ай да молодца, Максимка! Все понимаешь... А теперь валим, мальчонка, обедать... Небось есть хочешь?

И матрос довольно наглядно задвигал скулами, открывая рот.

И это понять было нетрудно, особенно когда мальчик увндал, как снизу один за другим выходили матросы-артельщикн, нмея в руках нзрядные деревянные баки (мисы) со щами, от которых шел вкусный пар, приятно щекотавший обоняние.

И маленький негр довольно красноречиво замахал головой, н глаза его блеснули радостью.

— Ишь ведь, все понимает! Башковатый! — промолвил Лучкин, начинавший уже несколько прнстрастно относнться н к арапчонку, н к своему умению разговарнвать с ним понятно, н, взяв Максимку за руку, повел его.

На палубе, прнкрытой брезентами, уже расселись, поджав ноги, матросы небольшими артелями, человек по двенадцати, вокруг дымящихся баков со щами нз кислой капусты, запасенной еще из Кронштадта, н молча н нстово, как вообще едят простолюдины, хлебали варево, заедая его размоченными сухарями.

Осторожно ступая между обедающими, Лучкин подошел с Макснмкой к своей артели, расположившейся между грот- н фок-мачтами, н проговорил, обращаясь к матросам, еще не начинавшим, в ожиданни Лучкина, обедать:

— А что, братцы, примете в артель Макснмку?

— Чего спрашиваешь зря? Садись с арапчонком! — проговорил старый плотник Захарыч.

— Может, другие которые... Сказывай, ребята! — снова спросил Лучкнн.

Все в один голос отвечали, что пусть арапчонок будет в нх артели, н потеснились, чтобы дать нм обоим место.

И со всех сторон раздались шутливые голоса:

— Небось не объест твой Макснмка!

— И всю солонину не съест!

— Ему н ложка прнпасена, твоему арапчонку.

— Да я, братцы, по той причине, что он негра... некрещеный, значит,— промолвил Лучкин, прнсевши к баку н усадивши около себя Максимку,— но только я полагаю, что у бога все равны... Всем хлебушка есть хочется...

— А то как же? Господь на земле всех терпит... Небось не разбирает. Это вот разве который дурак, как вестовщина Сойкин, мелет безо всякого рассудка об нехрнстях! — снова промолвил Захарыч.

Все, видимо, разделяли мнение Захарыча. Недаром же русские матросы с замечательной терпимостью относятся к людям всех рас и исповеданий, с какими приходится им встречаться.

Артель отнеслась к Максимке с полным радушием. Один дал ему деревянную ложку, другой придвинул размоченный сухарь, и все глядели ласково на затихшего мальчика, видимо, не привыкшего к особенному вниманию со стороны людей белой кожи, и словно бы приглашали его этими взглядами не робеть.

— Однако и начинать пора, а то щи застынут! — заметил Захарыч.

Все перекрестились и начали хлебать щи.

— Ты что же не ешь, Максимка, а? Ешь, глупый! Шти, братец, скусные. Гут щи! — говорил Лучкин, показывая ла ложку.

Но маленький негр, которого на бриге никогда не допускали есть вместе с белыми и который питался объедками один, где-нибудь в темном уголке, робел, хотя и жадными глазами посматривал на щи, глотая слюну.

— Эка пужливый какой! Видно, застращал арапчонка этот самый дьявол мериканец! — промолвил Захарыч, сидевший рядом с Максимкой.

И с этими словами старый плотник погладил курчавую голову Максимки и поднес к его рту свою ложку...

После этого Максимка перестал бояться и через несколько минут уже усердно уписывал и щи, и накрошенную потом солонину, и пшенную кашу с маслом.

А Лучкин то и дело его похваливал и повторял:

— Вот это бон, Максимка. Вери-гут, братец ты мой. Кушай себе на здоровье!

VII

По всему клиперу раздается храп отдыхающих после обеда матросов. Только отделение вахтенных не спит, да кто-нибудь из хозяйственных матросов, воспользовавшись временем, тачает себе сапоги, шьет рубаху или чинит какую-нибудь принадлежность своего костюма.

А «Забияка» идет да идет себе с благодатным пассатом, и вахтенным решительно нечего делать, пока не набежит грозовое облачко и не заставит моряков на время убрать все паруса, чтобы встретить тропический шквал с проливным дождем готовыми, то есть с оголенными мачтами, представляя его ярости меньшую площадь сопротивления.

«Максимка»

Но горизонт чист. Ни с одной стороны не видно этого маленького серенького пятнышка, которое, быстро вырастая, несется громадной тучей, застилающей горизонт и солнце. Страшный порыв валит судно набок, страшный ливень стучит по палубе, промачивает до костей, и шквал так же быстро проносится далее, как и появляется. Он нашумел, облил дождем и исчез.

И снова ослепительное солнце, лучи которого быстро сушат и палубу, и снасти, и паруса, и матросские рубахи, и снова безоблачное голубое небо и ласковый океан, по которому бежит, снова одевшись всеми парусами, судно, подгоняемое ровным пассатом.

Благодать кругом и теперь. Тишина и на клипере. «Команда отдыхает», и в это время нельзя без особой крайности беспокоить матросов — такой давно установившийся обычай на судах.

Притулившись в тени у фок-мачты, не спит сегодня и Лучкин, к удивлению вахтенных, знавших, что Лучкин «здоров спать».

Мурлыкая себе под нос песенку, слов которой не разобрать, Лучкин кроил из куска парусины башмаки и по временам взглядывал на растянувшегося около него, сладко спавшего Максимку и на его ноги, чернеющие из-за белых штанин, словно бы соображая, правильна ли мерка, которую он снял с этих ног тотчас же после обеда.

По-видимому, наблюдения вполне успокаивают матроса, и он продолжает работу, не обращая больше внимания на маленькие черные ноги.

И что-то радостное и теплое охватывает душу этого бесшабашного пропойцы при мысли о том, что он сделает «на первый сорт» башмаки этому бедному, беспризорному мальчишке и справит ему все, что надо. Вслед за тем невольно проносится вся матросская жизнь, воспоминание о которой представляет довольно однообразную картину: бесшабашного пьянства и по́рок за пропитые казенные вещи.

И Лучкин не без основательности заключает, что не будь он отчаянным марсовым, бесстрашие которого приводило в восторг всех капитанов и старших офицеров, с которыми он служил, то давно бы ему быть в арестантских ротах.

— За службу жалели! — проговорил он вслух и почему-то вздохнул и прибавил: — То-то она и загвоздка!

К какому именно обстоятельству относилась эта «загвоздка»: к тому ли, что он отчаянно пьянствовал при

съездах на берег и дальше ближайшего кабака ни в одном городе (кроме Кронштадта) не бывал, или к тому, что он был лихой марсовой и потому только не попробовал арестантских рот,— решить было трудно. Но несомненным было одно: вопрос о какой-то «загвоздке» в его жизни заставил Лучкина на несколько минут прервать мурлыканье, задуматься и в конце концов проговорить вслух:

— И хуфайку бы нужно Максимке... А то какой же человек без хуфайки?

В продолжение часа, полагавшегося на послеобеденный отдых команды, Лучкин успел скроить передки и приготовить подошвы для башмаков Максимки. Подошвы были новые, из казенного товара, приобретенные еще утром в долг у одного хозяйственного матроса, имевшего собственные сапоги, причем «для верности», по предложению самого Лучкина, знавшего, как трудно у него держатся деньги, в особенности на твердой земле, уплату долга должен был произвести боцман, удержав деньги из жалованья.

Когда раздался боцманский свисток и вслед за тем команда «горластого» боцмана Василия Егоровича, или «Егорыча», как звали его матросы, Лучкин стал будить сладко спавшего Максимку. Он хоть и пассажир, а все же должен был, по мнению Лучкина, жить по-матросски, как следует по расписанию, во избежание каких-либо неприятностей, главным образом со стороны Егорыча. Егорыч хоть и был, по убеждению Лучкина, «добер» и дрался не зря, а с «большим рассудком», а все-таки под сердитую руку мог съездить по уху и арапчонка за «непорядок». Так уж лучше и арапчонка к порядку приучать.

— Вставай, Максимка! — говорил ласковым тоном матрос, потряхивая за плечо негра.

Тот потянулся, открыл глаза и поглядел вокруг. Увидав, что все матросы встают и Лучкин собирает свою работу, Максимка торопливо вскочил на ноги и, как покорная собачонка, смотрел в глаза Лучкина.

— Да ты не бойся, Максимка... Ишь глупый... всего боится! А это, братец, тебе будут башмаки...

Хотя негр решительно не понимал, что говорил ему Лучкин, то показывая на его ноги, то на куски скроенной парусины, тем не менее улыбался во весь свой широкий рот, чувствуя, вероятно, что ему говорят что-нибудь хорошее. Доверчиво и послушно пошел он за поманившим его Лучкиным на кубрик и там любопытно смотрел, как матрос уложил в парусинный чемоданчик, наполненный

12 К. Станюкович, т. 1.

бельем и платьем, свою работу, и снова ничего не понимал и только опять благодарно улыбался, когда Лучкин снял свою шапку и, показывая пальцем то на нее, то на голову маленького негра, тщетно старался объяснить и словами и знаками, что и у Максимки будет такая же шапка с белым чехлом и лентой.

Но зато негр чувствовал всем своим маленьким сердцем расположение этих белых людей, говоривших совсем не на том языке, на котором говорили белые люди на «Бетси», и особенно доброту этого матроса с красным носом, напоминавшим ему стручковый перец, и с волосами, похожими цветом на паклю,— который подарил ему такое чудное платье, так хорошо угостил его вкусными яствами и так ласково смотрит на него, как никто не глядел на него во всю жизнь, кроме пары чьих-то больших черных глаз на женском чернокожем лице.

Эти глаза, добрые и нежные, жили в его памяти как далекое, смутное воспоминание, нераздельное с представлением шалашей, крытых бананами, и высоких пальм. Были ли это грезы или впечатления детства — он, конечно, не мог бы объяснить; но эти глаза, случалось, жалели его во сне. И теперь он увидал и наяву добрые, ласковые глаза.

Да и вообще эти дни пребывания на клипере казались ему теми хорошими грезами, которые являлись только во сне,— до того они непохожи были на недавние, полные страданий и постоянного страха.

Когда Лучкин, бросив объяснения насчет шапки, достал из чемоданчика кусок сахара и дал его Максимке, мальчик был окончательно подавлен. Он схватил мозолистую, шершавую руку матроса и стал ее робко и нежно гладить, заглядывая в лицо Лучкина с трогательным выражением благодарности забитого существа, согретого лаской. Эта благодарность светилась и в глазах и в лице... Она слышалась и в дрогнувших гортанных звуках нескольких слов, порывисто и горячо произнесенных мальчиком на своем родном языке перед тем, как он засунул сахар в рот.

— Ишь ведь, ласковый! Видно, не знал доброго слова, горемычный! — промолвил матрос с величайшею нежностью, которую только мог выразить его сиповатый голос, и потрепал Максимку по щеке.— Ешь сахар-то. Скусный! — прибавил он.

И здесь, в этом темном уголке кубрика, после обмена признаний, закрепилась, так сказать, взаимная дружба

матроса с маленьким негром. Оба, казалось, были вполне довольны друг другом.

— Беспременно надо выучить тебя, Максимка, понашему, а то и не разобрать, что ты лопочешь, черномазый! Однако валим наверх! Сейчас антиллеринское ученье. Поглядишь!

Они вышли наверх. Скоро барабанщик пробил артиллерийскую тревогу, и Максимка, прислонившись к мачте, чтоб не быть сбитым с ног, сперва испугался при виде бегущих стремглав к орудиям матросов, но потом скоро успокоился и восхищенными глазами смотрел, как матросы откатывали большие орудия, как быстро совали в них банники и, снова выдвигая орудия за борт, недвижно замирали около них. Мальчик ждал, что будут стрелять, и недоумевал, в кого это хотят стрелять, так как на горизонте не было ни одного судна. А он уже был знаком с выстрелами и даже видел, как близко шлепнулась какая-то штука за кормою «Бетси», когда она, спустившись по ветру, удирала во все лопатки от какого-то трехмачтового судна, которое гналось за шкуной, наполненной грузом негров. Мальчик видел испуганные лица у всех на «Бетси» и слышал, как ругался капитан, пока трехмачтовое судно не стало значительно отставать. Он не знал, конечно, что это был один из военных английских крейсеров, назначенный для ловли негропромышленников, и тоже радовался, что шкуна убежала и, таким образом, его мучитель капитан не был пойман и не вздернут на нока-рее за позорную торговлю людьми[1].

Но выстрелов не было, и Максимка так их и не дождался. Зато с восхищением слушал барабанную дробь и не спускал глаз с Лучкина, который стоял у бакового орудия комендором и часто нагибался, чтобы прицеливаться.

Зрелище ученья очень понравилось Максимке, но не менее понравился ему и чай, которым после ученья угостил его Лучкин. Сперва Максимка только диву давался, глядя, как все матросы дуют горячую воду из кружек,

---

[1] В прежнее время, когда особенно процветала торговля неграми, состоялась международная конвенция между всеми почти государствами Европы о противодействии этому злу. В силу этой конвенции Франция и Англия посылали к берегам Африки и Америки военные крейсеры для ловли негропромышленников. С пойманными расправлялись строго. Капитана и помощника его вешали, а матросов отправляли в каторжные работы. Негров объявляли свободными, а пойманные суда делались призом поймавших. *(Примеч. автора.)*

закусывая сахаром н обливаясь пóтом. Но когда Лучкнн дал и ему кружку н сахару, Макснмка вошел во вкус н выпил две кружкн.

Что же касается первого урока русского языка, начатого Лучкнным в тот же день, перед вечером, когда начала спадать жара и когда, по словам матроса, было «легче войти в понятие», то начало его — прнзнаться — не предвещало особеиных успехов и вызывало немало-таки насмешек среди матросов прн виде тщетных усилий Лучкииа объяснить ученнку, что его зовут Макснмкой, а что учителя зовут Лучкниым.

Одиако Лучкин хоть и не был ннкогда педагогом, тем ие менее обнаружил такое терпенне, такую выдержку н мягкость в стремлении во что бы то нн стало залóжнть, так сказать, первое основание обучення,— каковым он счнтал знанне имеии,— что нм могли бы позавидовать патентованиые педагоги, которым вдобавок едва ли приходилось преодолевать трудиости, представнвшнеся матросу.

Придумывая более нлн менее остроумные способы для достижения заданной себе целн, Лучкни тотчас же прнводил их н в нсполнение.

Он тыкал в грудь маленького негра н говорил: «Макснмка», затем показывал на себя н говорнл: «Лучкин». Проделав это несколько раз н не достигиув удовлетворительиого результата, Лучкии отходил иа несколько шагов и вскрикнвал: «Максимка!» Мальчик скалил зубы, ио не усванвал и этого метода. Тогда Лучкнн прндумал новую комбинацию. Он попроснл одного матроснка крикнуть: «Максимка!» — и, когда матрос крнкнул, Лучкии ие без иекоторого довольства человека, увереииого в успехе, указал пальцем иа Максимку и даже для убедительности осторожно затем встряхнул его за шнворот. Увы! Максимка весело смеялся, но, очевидно, поиял встряхиванне за приглашение потанцевать, потому что тотчас же вскочнл на ноги и стал отплясывать, к общему удовольствню собравшейся кучкн матросов н самого Лучкииа.

Когда таиец был окончеи, малеиькнй иегр отличио понял, что пляской его осталнсь довольны, потому что многие матросы трепали его по плечу, н по спнне, н по голове и говорили, весело смеясь:

— Гут, Макснмка! Молодца, Максимка!

Трудно сказать, иасколько бы увенчалнсь успехом дальиейшне попытки Лучкнна познакомнть Макснмку

с его именем,— попытки, к которым Лучкин хотел было вновь приступить, но появление на баке мичмана, говорящего по-английски, значительно упростило дело. Он объяснил мальчику, что он не «бой», а Максимка, и кстати сказал, что Максимкина друга зовут Лучкин.

— Теперь, брат, он знает, как ты его прозвал! — проговорил, обращаясь к Лучкину, мичман.

— Премного благодарен, ваше благородие! — отвечал обрадованный Лучкин и прибавил: — А то я, ваше благородие, долго бился... Мальчонка башковатый, а никак не мог взять в толк, как его зовут.

— Теперь знает... Ну-ка спроси.

— Максимка!

Маленький негр указал на себя.

— Вот так ловко, ваше благородие... Лучкин! — снова обратился матрос к мальчику.

Мальчик указал пальцем на матроса.

И оба они весело смеялись. Смеялись и матросы и замечали:

— Арапчонок в науку входит...

Дальнейший урок пошел как по маслу.

Лучкин указывал на разные предметы и называл их, причем, при малейшей возможности исковеркать слово, коверкал его, говоря вместо рубаха — «рубах», вместо мачта — «мачт», уверенный, что при таком изменении слов они более похожи на иностранные и легче могут быть усвоены Максимкой.

Когда просвистали ужинать, Максимка уже мог повторять за Лучкиным несколько русских слов.

— Ай да Лучкин! Живо обучил арапчонка. Того и гляди, до Надежного мыса понимать станет по-нашему! — говорили матросы.

— Еще как поймет-то! До Надежного ходу, никак, не меньше двадцати ден... А Максимка понятливый!

При слове «Максимка» мальчик взглянул на Лучкина.

— Ишь твердо знает свою кличку!.. Садись, братец, ужинать будем!

Когда после молитвы роздали койки, Лучкин уложил Максимку около себя на палубе. Максимка, счастливый и благодарный, приятно потягивался на матросском тюфячке, с подушкой под головой, и под одеялом,— все это Лучкин исхлопотал у подшкипера, отпустившего арапчонку койку со всеми принадлежностями.

— Спи, спи, Максимка! Завтра рано вставать!

Но Максимка и без того уже засыпал, проговорив довольно недурно для первого урока: «Максимка» и «Лючики», как переделал он фамилию своего пестуна.

Матрос перекрестил маленького негра и скоро уже храпел во всю ивановскую.

С полуночи он стал на вахту и вместе с фор-марсовым Леонтьевым полез на фор-марс.

Там они присели, осмотрев предварительно, все ли в порядке, и стали «лясничать», чтобы не одолевала дрема. Говорили о Кронштадте, вспоминали командиров... и смолкли.

Вдруг Лучкин спросил:

— И никогда ты, Леонтьев, этой самой водкой не занимался?

Трезвый, степенный и исправный Леонтьев, уважавший Лучкина как знающего фор-марсового, работавшего на ноке, и несколько презиравший в то же время его за пьянство,— категорически ответил:

— Ни в жисть!

— Вовсе, значит, не касался?

— Разве когда стаканчик в праздник.

— То-то ты и чарки своей не пьешь, а деньги за чарки забираешь?

— Деньги-то, братец, нужнее... Вернемся в Россию, ежели выйдет отставка, при деньгах ты завсегда обернешься...

— Это что и говорить...

— Да ты к чему это, Лучкин, насчет водки?..

— А к тому, что ты, Леонтьев, задачливый матрос...

Лучкин помолчал и затем опять спросил:

— Сказывают: заговорить можно от пьянства?

— Заговаривают люди, это верно... На «Кобчике» одного матроса заговорил унтерцер... Слово такое знал... И у нас есть такой человек...

— Кто?

— А плотник Захарыч... Только он в секрете держит. Не всякого уважит. А ты нешто хочешь бросить пьянство, Лучкин? — насмешливо промолвил Леонтьев.

— Бросить не бросить, а чтобы, значит, без пропою вещей...

— Попробуй пить с рассудком...

— Пробовал. Ничего не выходит, братец ты мой. Как дорвусь до винища — и пропал. Такая моя линия!

— Рассудку в тебе нет настоящего, а не линия! — внушительно заметил Леонтьев.— Каждый человек должен

себя понимать... А ты все-таки поговори с Захарычем. Может, и не откажет... Только вряд ли тебя заговорит! — прибавил насмешливо Леонтьев.

— То-то и я полагаю! Не заговорит! — вымолвил Лучкин и сам почему-то усмехнулся, точно довольный, что его не заговорить.

VIII

Прошло три недели, и хотя «Забияка» был недалеко от Каптоуна, но попасть в него не мог. Свежий противный ветер, дувший, как говорят моряки, прямо «в лоб» и по временам доходивший до степени шторма, не позволял клиперу приблизиться к берегу; при этом ветер и волнение были так сильны, что нечего было и думать пробовать идти под парами. Даром потратили бы уголь.

И в ожидании перемены погоды «Забияка» с зарифленными марселями держался недалеко от берегов, стремительно покачиваясь на океане.

Так прошло дней шесть-семь.

Наконец ветер стих. На «Забияке» развели пары, и скоро, попыхивая дымком из своей белой трубы, клипер направился к Каптоуну.

Нечего и говорить, как рады были этому моряки.

Но был один человек на клипере, который не только не радовался, а, напротив, по мере приближения «Забияки» к порту, становился задумчивее и угрюмее.

Это был Лучкин, ожидавший разлуки с Максимкой.

За этот месяц, в который Лучкин, против ожидания матросов, не переставал пестовать Максимку, он привязался к Максимке, да и маленький негр в свою очередь привязался к матросу. Они отлично понимали друг друга, так как и Лучкин проявил блистательные педагогические способности, и Максимка обнаружил достаточную понятливость и мог объясниться кое-как по-русски. Чем более они узнавали один другого, тем более дружили. Уж у Максимки были две смены платья, башмаки, шапка и матросский нож на ремешке. Он оказался смышленым и веселым мальчиком и давно уже сделался фаворитом всей команды. Даже и боцман Егорыч, вообще не терпевший никаких пассажиров на судне, как людей, ничего не делающих, относился весьма милостиво к Максимке, так как Максимка всегда во время работ тянул

вместе с другими снасти и вообще старался чем-нибудь да помочь другим и, так сказать, не даром есть матросский паек. И по вантам взбегал, как обезьяна, и во время шторма не обнаруживал ни малейшей трусости,— одним словом, был во всех статьях «морской мальчонка».

Необыкновенно добродушный и ласковый, он нередко забавлял матросов своими танцами на баке и родными песнями, которые распевал звонким голосом. Все его за это баловали, а мичманский вестовой Артюшка нередко нáшивал ему остатки пирожного с кают-компанейского стола.

Нечего и прибавлять, что Максимка был предан Лучкину, как собачонка, всегда был при нем и, что называется, смотрел ему в глаза. И на марс к нему лазил, когда Лучкин бывал там во время вахты, и на носу с ним сидел на часах, и усердно старался выговаривать русские слова...

Уже обрывистые берега были хорошо видны... «Забияка» шел полным ходом. К обеду должны были стать на якорь в Каптоуне.

Невеселый был Лучкин в это славное солнечное утро и с каким-то особенным ожесточением чистил пушку. Около него стоял Максимка и тоже подсоблял ему.

— Скоро прощай, брат Максимка! — заговорил наконец Лучкин.

— Зачем прощай? — удивился Максимка.

— Оставят тебя на Надежном мысу... Куда тебя девать?

Мальчик, не думавший о своей будущей судьбе и не совсем понимавший, что ему говорит Лучкин, тем не менее догадался по угрюмому выражению лица матроса, что сообщение его не из радостных, и подвижное лицо его, быстро отражавшее впечатления, внезапно омрачилось, и он сказал:

— Мой не понимай Лючика.

— Айда, брат, с клипера... На берегу оставят... Я уйду дальше, а Максимка здесь.

И Лучкин пантомимами старался пояснить, в чем дело.

По-видимому, маленький негр понял. Он ухватился за руку Лучкина и молящим голоском проговорил:

— Мой нет берег... Мой здесь, Максимка, Лючика, Лючика, Максимка. Мой люсска матлос... Да, да, да...

И тогда внезапная мысль озарила матроса. И он спросил:

— Хочешь, Максимка, русска матрос?

— Да, да,— повторял Максимка и изо всех сил кивал головой.

— То-то бы отлично! И как это мне раньше невдомек... Надо поговорить с ребятами и просить Егорыча... Он доложит старшему офицеру...

Через несколько минут Лучкин на баке говорил собравшимся матросам:

— Братцы! Максимка желает остаться с нами. Будем просить, чтобы дозволили ему остаться... Пусть плавает на «Забияке»! Как вы об этом полагаете, братцы?

Все матросы выразили живейшее одобрение этому предложению.

Вслед за тем Лучкин пошел к боцману и просил его доложить о просьбе команды старшему офицеру и прибавил:

— Уж ты, Егорыч, уважь, не откажи... И попроси старшего офицера... Максимка сам, мол, желает... А то куда же бросить бесприютного сироту на Надежном мысу. И вовсе он пропасть там может, Егорыч... Жаль мальчонку... Хороший он ведь, исправный мальчонка.

— Что ж, я доложу... Максимка мальчишка аккуратный. Только как капитан... Согласится ли арапского звания негру оставить на российском корабле... Как бы не было в этом загвоздки...

— Никакой не будет загвоздки, Егорыч. Мы Максимку из арапского звания выведем.

— Как так?

— Окрестим в русскую веру, Егорыч, и будет он, значит, русского звания арап.

Эта мысль понравилась Егорычу, и он обещал немедленно доложить старшему офицеру.

Старший офицер выслушал доклад боцмана и заметил:

— Это, видно, Лучкин хлопочет?

— Вся команда тоже просит за арапчонка, ваше благородие... А то куда его бросить? Жалеют... А он бы у нас заместо юнги был, ваше благородие! Арапчонок исправный, осмелюсь доложить. И ежели его окрестить, вовсе душу, значит, можно спасти...

Старший офицер обещал доложить капитану.

К подъему флага вышел наверх капитан. Когда старший офицер передал ему просьбу команды, капитан сперва было отвечал отказом. Но, вспомнив, вероятно, своих детей, тотчас же переменил решение и сказал:

— Что ж, пусть остается. Сделаем его юнгой... А вернется в Кронштадт с нами... что-нибудь для него сде-

лаем... В самом деле, за что его бросать, тем более что он сам этого не хочет!.. Да пусть Лучкин останется при нем дядькой... Пьяница отчаянный этот Лучкин, а подите... эта привязанность к мальчику... Мне доктор говорил, как он одел негра.

Когда на баке было получено разрешение оставить Максимку, все матросы чрезвычайно обрадовались. Но больше всех, конечно, радовались Лучкин и Максимка.

В час дня клипер бросил якорь на Капстадском рейде, и на другой день первая вахта была отпущена на берег. Собрался ехать и Лучкин с Максимкой.

— А ты смотри, Лучкин, не пропей Максимки-то! — смеясь, заметил Егорыч.

Это замечание, видимо, очень кольнуло Лучкина, и он ответил:

— Может, из-за Максимки и я вовсе тверезый вернусь!

Хотя Лучкин и вернулся с берега мертвецки пьяным, но, к общему удивлению, в полном одеянии. Как потом оказалось, случилось это благодаря Максимке, так как он, заметив, что его друг чересчур пьет, немедленно побежал в соседний кабак за русскими матросами, и они унесли Лучкина на пристань и положили в шлюпку, где около него безотлучно находился Максимка.

Лучкин едва вязал языком и все повторял:

— Где Максимка? Подайте мне Максимку... Я его, братцы, не пропил, Максимку... Он мне первый друг... Где Максимка?

И когда Максимка подошел к Лучкину, тот тотчас же успокоился и скоро заснул.

Через неделю «Забияка» ушел с мыса Доброй Надежды, и вскоре после выхода Максимка был не без торжественности окрещен и вторично назван Максимкой. Фамилию ему дали по имени клипера — «Забиякин».

Через три года Максимка вернулся на «Забияке» в Кронштадт четырнадцатилетним подростком, умевшим отлично читать и писать по-русски благодаря мичману «Петеньке», который занимался с ним.

Капитан позаботился о нем и определил его в школу фельдшерских учеников, а вышедший в отставку Лучкин остался в Кронштадте, чтобы быть около своего любимца, которому он отдал всю привязанность своего сердца и ради которого уже теперь не пропивал вещей, а пил «с рассудком».

1896

«ГЛУПАЯ» ПРИЧИНА

Рассказ старого матроса

I

— А где это вам ухо повредили, Тарасыч? На войне?

Отставной матрос Тарасыч, бывший сторожем севастопольской купальни, с которым мы частенько беседовали в ранние утренние часы, когда других купальщиков обыкновенно не было, обернулся к открытой дверке маленькой каютки, где я раздевался, и с оттенком досады проговорил:

— Вот так-то все господа любопытничают насчет уха. Скажи да скажи! Ну, я и обсказываю всем, что, мол, на войне стуцерной пулей оторвало.

— А разве не на войне?

Тарасыч после минуты колебания ответил несколько таинственно:

— То-то не на войне, вашескобродие. В севастопольскую войну господь меня вызволил. Ни одной царапинки не получил, даром что все время находился на четвертом бакстионе.

— А где же вы лишились уха?

— В Новороссийском... Вскорости после замирения мы на шкуне «Дротик» клейсеровали у Капказа, а затем непокорного черкеса в Туретчину перевозили... может, слыхали об этом?

— Слыхал.

— Так вот в ту самую весну, как мы перевезли одну партию черкесов и вернулись в Новороссийск, я и решился уха, вашескобродие.

— Как так?

— Да так. Вовсе, можно сказать, по глупой причине.

— По какой?

— Не стоит и объяснять. Совсем нестоящая причина, вашескобродие.

Тарасыч примолк и снова принялся снимать с перекладин сушившиеся простыни и полотенца.

Эта таинственность Тарасыча, обыкновенно словоохотливого и любившего поговорить, как он выражался, об «умственном», признаться, меня заинтриговала, и я стал его упрашивать рассказать, какая это такая нестоящая причина.

Тарасыч наконец сдался.

— Вам, пожалуй, можно сказать,— проговорил он, приблизившись ко мне,— вы это самое дело можете взять в понятие...

И, понижая голос, хотя в купальне не было ни души, застенчиво и словно бы виновато шепнул:

— Из-за бабы, вашескобродие.

— Из-за бабы? — невольно переспросил я.

— Точно так, вашескобродие. Из-за приверженности к одной бабе. В те поры, вашескобродие, я моложе был,— словно бы извиняясь, продолжал Тарасыч,— так из-за эвтой самой бабы меня обезуродовать хотели.

— Она, значит, была черкешенка?

— Зачем черкесинка? Форменная наша российская, с Дона была приехатчи с супругом. И что это за баба была, вашескобродие! Другой такой ни раньше, ни после не видал! — прибавил горячо Тарасыч, видимо отдавшийся нахлынувшим воспоминаниям и уже не стыдившийся, а напротив, казалось, охотно готовый поговорить о них.

— Вы расскажите, Тарасыч, подробно эту историю.

— Отчего не рассказать? Очень даже могу рассказать, потому вы, вашескобродие, не обессудите, что, примерно, матрос и, с позволения сказать, из-за женского звания без уха остался... Другому господину будто и смешно, а вы... одним словом... можете понять... Дайте вот только простыньки приберу. А тем временем вы искупайтесь. Вода освежительная. Я уж искупался... Теперь только ранним утречком и хорошо купаться... А господа ходят все с восьми часов, когда солнышко поджаривает и вода теплая... Довольно это даже глупо, прямо-таки сказать!

С этими словами Тарасыч торопливой и легкой походкой, словно он шел по палубе военного корабля, направился на другой конец купальни снимать развешанное белье.

Я невольно любовался Тарасычем...

Несмотря на свои шестьдесят лет, этот сухощавый, крепкий, хорошо сложенный старик глядел молодцом. Его смугловатое, сохранившее еще следы былой красоты лицо — почти без морщин и отливает здоровым румянцем. Большие темные глаза, добродушно-насмешливые и зоркие, не потеряли блеска и порой зажигаются огоньком. Черные, слегка курчавые волосы и черная большая борода только слегка подернуты сединой. Белые, крепкие зубы так и сверкают из-под усов, когда Тарасыч улыбается или держит во рту маленькую трубчонку.

Одет он чистенько и, видимо, не без заботы о некотором щегольстве. На нем всегда белый, сшитый на матросский фасон короткий буршлатик — пальто с Георгиевским крестом в петлице и широкие парусинные штаны, а по воскресеньям парусинные башмаки. В будни он в купальне ходил босой.

Тарасыч расторопен и услужлив, но держит себя с достоинством; ни перед кем не лебезит и ко всем купальщикам без различия их положений и рангов относится с одинаковой предупредительностью. Только, по старой памяти, он оказывает некоторую аттенцию[1] морякам, и в особенности старым севастопольцам. Тарасыч всех их знает, и они все знают и уважают Тарасыча. К ним он особенно внимателен, охотно вступает в разговоры, называя по имени и отчеству даже адмиралов, ставит им, без напоминания, шайки с водой после купанья и, накидывая простыни, усердно трет своими большими, жилистыми и умелыми руками спины таких фаворитов-купальщиков.

Я начал пользоваться благоволением Тарасыча вскоре после приезда в Севастополь, как только он откуда-то узнал о том, что я отставной моряк и вдобавок севастопольский уроженец. Мы скоро сделались с Тарасычем приятелями, вместе ловили на заре бычков и часто, как он выражался, «балакали». Иногда, по вечерам, когда купальни запирались, Тарасыч заходил ко мне в гостиницу и охотно выпивал стакан-другой чая с коньяком, который он называл почему-то «пользительным напитком».

По-видимому, этот «пользительный напиток» значительно способствовал нашему сближению, тем более что я разбавлял чай своего гостя, нисколько не жалея коньяку.

---

[1] Внимание (от *фр.* une attention).

II

— Что, вашескобродие, хорошо искупалнсь? — весело спрашивал Тарасыч, набрасывая на меня простыию н начиная усердио растирать спнну.

— Отлнчно, Тарасыч! — так же весело отвечал я, бодрый, жизнерадостный и словно бы окрепшнй после купанья.

— То-то я и говорю: у иас в Севастополе купанье первый сорт, ежели купаться с рассудком... раниим часом. Ну, теперь извольте одеваться, вашескобродие. Сейчас шаечку с водой для иог принесу.

Когда Тарасыч возвратился, я иапомиил ему об обещании рассказать подробности его романической истории.

— Так вам в самом деле желательно послушать? — спросил Тарасыч, испытующе взглядывая на меня.

— Очеиь даже желательио, Тарасыч.

— Что ж... Я все в подробности обскажу...

— Пожалуйста.

— Вы господии с понятием,— снова повторил он, словио бы приглашая меия отиестись к его рассказу с серьезиостью.

Тарасыч присел иа сруб купальнн, опершнсь на стойку, закурил трубку н, вндимо иесколько возбуждеииый, иачал рассказ своим мягкнм, приятиым голосом.

III

— Как раз в Вербиое воскресенье, как теперь помню, вышлн мы, вашескобродие, нз Коистантинополя в обратную, в Новороссийск. Рассчнтывали, что дня этак через трн ходу будем в Новоросснйском, как следует отговеем иа берегу и встретим честь честью праздник. Одиако расчет вышел совсем другой, вашескобродие, от господа бога... Были уж мы недалече от Новоросснйского, как поднялась штурма, н не прнведи бог какая... Вроде быдто боры... С берега, зиачит, дует... Ну, мы иа шкунке иа иашей малеиькой поставилн штормовые паруса и ждем передышки. А качка была такая, что так бортамн шкунка и черпала. А машииа еле действует, никакого ходу ие дает... Тогда, самн зиаете, машины ие иоиешние были. Так день, так другой ждали ослабки, а заместо того иа третий деиь, вашескобродие, иа самую страстную пятиицу, буря вовсю разыгралась, вроде быдто

светопреставления было. Кругом водяная пыль, ровно мгла, ветер ревет, и волны словно кипят. Никогда в жизни ие видал я такой штурмы. Шкунку нашу ровио бы стружку кидает, и волиа так и ходит через палубу. Тяжко было, вашескобродие. И думали матросики в те поры, что ие видать иам больше света божьего. Придется, мол, топнуть иа Черном море. Однако командир иаш, Петр Иваныч Чайкни... Может, слышали?.. Ои теперь в адмиралах, в Петербурге живет...

— Слыхал.

— Так он, как следует ему по должности, команду подбадривает. «Ничего, говорит, ребята, устоим!» А сам, прнвязавшись к мостику, чтобы волиа не смыла, стонт белей рубашки и только покрикивает: «право» да «лево»! А где уж тут править! Вовсе перестала слушаться руля шкуика наша; вышла, значит, из повиновеиия и бунтует. Паруса все в клочьях. Машииа ие забирает... одно слово — беда. Сбились, значнт, матроснки к шканцам, как овцы, крестятся и ждут смерти. Стоит иа своем месте н командир в отчаяииости. Видит, ничего ему ие выдумать, будь ты хоть самый форменный капитаи. Стонт и для внду форцу иа себя иапущает и все командует: «право» да «лево»! А голос евойиый так н дрожит.

Тарасыч затянулся два раза, сплюнул и продолжал:

— А я иа руле орудую с подручными — я старшнм рулевым был,— гляжу во все глаза иа волны и ворочаю, значит, штурвалом, чтобы шкунку поперек волны поставнть... Никак не возможно! Мотает шкунку. И так это тосклнво иа душе, вашескобродие, что молодому матросу и вдруг умнрать. А главиая причина: Глафнры жалко, этой самой из Новороссннйского. Не увижу, мол, ее никогда. И заместо того чтобы о грехах вспомнить да богу молнться, все об ей думаю... Не узиает, мол, как я к ей привержен был... Не пожалеет матроснка, желанная. Изза этнх дум пуще тоска. И все эта самая Глафира быдто нз воды иа меня, голубушка, глядит, как русалочка, строго-престрого... «Погибай, мол, человек, а мне тебя не жалко... Ты мие не люб!..» И как это оиа так меня приворожила, я н до снх пор в толк не возьму, вашескобродие. Но только доложу вам, что как в первый раз я зашел в ейную лавочку по осени — мы тогда в Новороссннйском стояли — н увидал хозяйку, так ровно бы меня по башке марса-фалом съездило, и был я быдто вроде как в помрачении ума. И никогда со миою допрежь не случалось такой оказнн... В старнну бабы миою не

брезговали, вашескобродие, ну и я им спуску не давал... однако, чтобы была во мне из-за их отчаянность, этого никогда не случалось. Много, мол, этого сословия! Но как встрел я Глафиру, с того же разу стала она на свете для меня одна. На других хоть и не смотри... Так ведь заколдовала, видно, до смерти, каторжная. Поди ж ты! — воскликнул с добродушной улыбкой Тарасыч, словно бы сам недоумевая силе своей страсти, воспоминание о которой и теперь еще жило в нем.

— А хороша была эта Глафира? — спросил я.

— Как кому, а для меня лучше не было, вашескобродие! Сами изволите знать: не по хорошу мил, а по милу хорош. Другая вот и писаная красавица считается, а на ее, с позволения сказать, начхать. Сиди со своей красотой, как глупая пава, да кричи «уа!». Опять же, другая и вовсе быдто не красавица, а по твоему скусу милей всякой красавицы... И я так полагаю, вашескобродие, что всякому человеку дадена одна настоящая, значит, желанная. Только не всегда ты ее встретишь. Ты, примерно, в Севастополе, а она в Кронштадте. Но сердце все-таки чует, какая тебе назначена. И коли ты встрел такую, тут тебе и крышка. Потому против своей природы не пойдешь. Учует душа сродственную-то душу. Редко только они присоглашаются. По той причине и в законе люди неправильно живут. Грызутся да сваричают и вовсе друг дружку не любят. Каждая душа тоскует по другой душе, по желанной.

— А вы женаты, Тарасыч?

— Никак нет, вашескобродие. Остерегался.

— Отчего?

— Зачем зря жениться? После той самой я другой по сердцу не нашел... Так с тех пор бобыльком и доживаю век. По крайности, чужого века не заедаю и сам не терплю бабьего озорства.

— А на Глафире бы женились?

Вместо ответа Тарасыч сердито крякнул и задымил трубочкой.

— Чем же вам именно так понравилась Глафира и какая она была из себя? — предложил я вопрос, заинтересованный этими неожиданными для меня рассуждениями Тарасыча.

Симпатичное лицо Тарасыча словно бы просветлело и помолодело, и темные ласковые глаза осветились нежным выражением, полным задумчивой, тихой скорби, когда он заговорил:

— А была она, еслн вам угодио знать, вашескобродие, нз себя вся аккуратиеиькая н росту средствеиного. Такая сухощавенькая н пряменькая, ровно молодой тополек. Вовсе деликатного сложения, даже, можио сказать, щупленькая. И гибкая, как ивовый прутнк, н на ходу легкая. Как есть перышко, вашескобродие. На руке куда вгодно донесешь. Одно слово, все в ей было одно к одному, в плепорцию пригиано и чнстой отделки. А лицо у ее было чнстое-пречнстое н белое-пребелое. Даже загар не брал. И такого задумчивого н строгого даже, можно сказать, внда. А глаза серенькне, сторожкне, ровно бы у куличка, что на карауле стоит да озирается, умница, вокруг: нет лн где опаскн? Пужлнвая была до людей, вашескобродие, вроде днкой козочки. Известно, какой иарод в Новороссийском: дерзкнй да сбродный. Солдаты эти озорлнвые да иашн матросы, а офицеры вовсе даже, прямо сказать, касательно женского пола бесстыдникн... Ну, н она прегордо себя держала, иикаких этих любезностев не допускала, нн боже нн... Так взгляиет, что холод проберет... Небось умела взглянуть. Ее так н прозывали «бесчувственной» за ее, значит, иепрнступность гордую... А торговкн иначе промеж себя не звалн, как рыжей Глашкой. Из-за волос ейных золотнстых, ну н опять же злнлись: не хороводилась она с инмн н совсем ие нхнего фасона была баба. Не шилохвостила подолом, не вертела зенками, ие зазывала покупателев... Вовсе другого поведення была, вашескобродие. Правильная женщина!

Тарасыч прнмолк иа секунду и продолжал:

— А нрава была скрытного. И горда н характерна. И инкогда не оказывала себя, не то, как прочие бабы. Известно, баба снчас себя окажет, а эта нет. Задачливая какая-то. Не раскусишь! И языком зря не молола. Смотришь, бывало, украдкой на ее н нnкак не высмотрншь, что у ей примерно на душе: весело лн ей жнть на свете илн нудно? Редко когда веселая была, больше в задумчивостн... И умственная... с большнм понятнем... до кннжек охотинца, снднт это в лавке н кннжку чнтает... Совсем особеииая! Так я об ней поннмаю, вашескобродие! — горячо закоичил Тарасыч свою восторженную характернстнку.

— Молодая она была?

— Сказывала, что тридцати годов, но только с виду ей тридцати не оказывало, вашескобродне... Так, годов двадцать можио было обозиачнть... И совсем на за-

мужнюю не походила... Ровно бы девушка!.. Тонкая такая.

— А муж молодой был?

— Молодой... Одних с нею лет... Крепкий, здоровый мужчина.

— А человек каков?

Задавая этот вопрос, я почти не сомневался, что Тарасыч не особенно одобрительно отнесется к мужу женщины, которую он так безгранично любил. Но Тарасыч решительно озадачил меня, когда ответил:

— Хороший человек, вашескобродие. Старательный и башковатый по своей части. Он прасолом был и часто в разъездах находился... Оборотистый парень. А супругу свою он, можно сказать, вовсе обожал... Так в глаза ей и смотрел... Добер с ней был... страсть. И что она хотела, все сполнял...

— А она его любила?

— Сдавалось мне, вашескобродие, что настоящей пристрастности к ему не имела. Почитала супруга, как следовает жене, соблюдала закон, а чтобы по-настоящему иметь приверженность, чтобы, значит, до помрачения... неприметно было... А по моему рассудку, вашескобродие, главная причина в том, что души их несродственные были... Из-за того и настоящей приверженности не могло быть.

— Как так?

— А так... Не пришлись они друг дружке, чтобы как, примерно сказать, при корабельной стройке: стык в стык. Он все больше о делах заботился, одно только житейское понимал. Продал да купил! И хоть жену обожал, холил ее да рядил, а души-то ее высокой не чувствовал... А Глафира одним житейским брезговала... Она любила все больше умственное... Насчет души, значит, и всего такого прочего, вашескобродие. Почему, мол, человек на свете живет и как ему по совести жить? И где, мол, правда на свете есть? И по какой причине звездочки горят и наземь падают?.. И велик ли предел свету?.. До всего такого она очень даже была любопытна... Ну, а Григорий Григорьич, муж ейный, ничего этого не почитал... Совсем в эти понятия не входил... И выходит — сродственности не было! Беда без этого! — примолвил Тарасыч и призадумался.

IV

— А как вы с ней познакомились, Тарасыч?

— Из-за этого самого... из-за умственного разговора она и допустила к себе... Я сам, вашескобродие, грешным делом, привержен к этому... Хоть и темный человек, а все разная дума идет в голову. Так вот, как я увидал в первый раз Глафиру и пришел в безумие, можно сказать, так на другой день опять отпросился на берег и в лавочку... нитки быдто покупать. Подошел, а войти смелости нет... В груди так и колотит... И сам дивлюсь, вашескобродие, своему страху... Прежде куда вгодно входил... не боялся, а тут ровно гусенок желторотый... Однако вошел. Смотрю, вместо хозяйки — муж. Купил ниток. Тары-бары. Скучно в лавке-то ему одному сидеть, так он балакает. Давно ли шкуна пришла? Где были? Разговорились. Все думаю: она придет. Ну, я и про Севастополь, и как раньше ходили в Средиземное, про итальянцев, про штурмы... Бурдючок выпили... А тут и она вышла... Слушает. Глаза так и впились. Любопытно, значит. А я, как увидал ее, отдал поклон, да так меня в краску и бросило. Однако виду не подаю, что оробел... Продолжаю... И чувствую, что при ей как-то складней выходит. Откуда только слова берутся... А самому лестно так, что она слушает... Так, кажется, и говорил бы целый день, только бы она слушала! Как окончил я, просят еще. «Вы, говорит, по матросской части много видели». Ну, я еще и еще... Как в Неаполе затмение солнца видели, и как гора Везувий лаву извергала... Григорий Григорьич еще вина вынес. Однако я отказался,— я всегда в плепорцию пил, вашескобродие... Взялся за шапку. А муж видит, что я матрос смирный и учливый, и сказывает: «Будем знакомы, матросик. Заходи когда». А Глафира Николаевна протянула руку и тихо-тихо так молвила: «Счастливый вы, говорит, человек... вы свет видели, а я, говорит, ничего не видала! Послушать и то, говорит, очень даже приятно...» И как вернулся я в тот день на шкуну, так даже трудно обсказать, вашескобродие, в каком, можно сказать, смятении чувств я находился... И точно вовсе другим человеком стал... И мир-то божий лучше показался, и люди добрее... А ночь-то всю так на звезды и проглядел. И много разных дум в голове... И все об ей... Совсем, прямо сказать, вроде как обезумел, вашескобродие.

— Что ж вы, Тарасыч, сказали Глафире, что любите ее?

— Что вы, вашескобродие! — почти испуганно проговорил Тарасыч.— Как я смел, когда видел, что мной она брезговает, а не то чтоб... Я и хаживал-то редко... Придем, бывало, в Новороссийск, я забегу... так, четверть часика в лавке посижу, поговорю и айда... А самому жалко, что ушел... Но только она никогда не оставляла... А то иной раз скажет: «Уходите, Максим Тарасыч... Мне, говорит, некогда!..» Так, терпела, значит, меня, а чтоб какое-нибудь внимание, так вовсе его не было... А я так, вашескобродие, вовсе в малодушество из-за нее вошел... Не ем, не сплю... Как клейсеровали мы, вашескобродие,— бывало, стою это на руле на вахте, правлю по компасу... Ночь-то теплая... Звездочки-то горят... И такая это тоска на душе, что слезы так и каплют... И вовсе я исхудал по ей и ничем не мог от этого избавиться...

— А она знала, что вы, Тарасыч, так ее любили?

— От бабы не укроется, ежели к ей привержены... Учует... И Глафира, надо полагать, чуяла... Только вида не показывала и все строже да строже со мной обходилась... Раз даже сказала: «Вы, говорит, очень часто в лавку-то не забегайте. Я, говорит, этого не люблю!» Совсем обескуражила...

— Что ж вы?

— Так я тайком по вечерам бегал... в окно заглядывал... И стыдно, что из-за бабы срамишься, а ничего не поделаешь. И зарок себе давал — не съезжать на берег. День-другой крепишься, сидишь на шкуне, а на третий отпросишься на берег — и туда... на край города, к лавочке, и вечером в окно глядишь, как она в своей горнице за книжкой сидит... И пить даже стал, вашескобродие, чтобы в забывчивость прийти... Почитай три месяца пил, как последний человек... и драли меня на шкуне за это... Ничего не брало... Все эта самая Глафира в мыслях... Все она.

V

Прошла минута-другая в молчании.

Наконец я спросил, желая узнать окончание истории Тарасыча:

— Как же вы тогда отделались от шторма на шкуне?

— Господь вызволил, а то бы давно рыбы нас съели.

Утишил, значит, царь небесный штурму... К полудню немножко ослобонило. Поставили стаксель да бизань и вышли на курс. Опять «Дротик» послушливый рулю стал: перестал бунтовать, и доплелись мы в Новороссийск в светлое воскресенье так после полудня,— рады-радешеньки, вашескобродие, что от смерти спаслись. Буря эта самая и там свирепствовала, так многие даже ахнули, как увидали наш «Дротик» целым. Командир порта даже сам приехал на шкунку и все капитана расспрашивал и потом благодарил команду. А я, вашескобродие, только и думаю, когда отпустят нас на берег и я сбегаю поздравить Глафиру. А у меня ей и гостинец припасен был из Константинополя: шелковый голубой платочек. Отдам, мол, с яичком. После обеда просвистали на берег, я, как следует, обрядился по-праздничному — и туда... Лавочка заперта, так я в ихнее помещение... окнами оно в маленькую уличку выходило... А у ворот Алимка сидит, черкес из мирных, ихний работник, отчаянная такая рожа, молодой. Сидит этто, свою какую-то песню гнусавит. «Нет, говорит, дома хозяев. Ушли». И сам на меня сердито так смотрит. Вижу: врет. Иду себе в ворота. А он сзади: «Секим башка тебе будет!» Ну, думаю, брешет себе татарва злая. И я ему «секим башку» ответил и вошел. Сидят они за чаем. «Христос воскресе!» Григорий Григорьевич обрадовался... «А в городе, говорит, думали, что вы на шкунке все потопли... буря-то какая!..» Похристосовались. А затем к Глафире Николаевне. «Христос воскресе!» И всего меня захолонуло, как я и с ей три раза похристосовался. «Так и так, говорю, позвольте предоставить гостинец». Строгая-престрогая стала. «Не люблю, говорит, этого». Ну, тут муж за меня вступился. «Не обиждай, говорит, человека. Возьми. Платочек отличный». Взяла и в сторону положила. А я, вашескобродие, совсем, значит, обесконфужен от такого приема. А Григорий Григорьич велел ей наливать мне чаю, усадил и сейчас же стал расспрашивать, как это мы бурю перенесли... «Очень, говорит, я жалел тебя, Максим Тарасыч... думал, и не свидимся». А Глафира сидит это нарядная в светлом платьице, такая красивая да свежая, словно вешнее утречко, а глаза строгие-престрогие. Молчит. И хоть слово бы сказала приветное, что, мол, человек жив остался. И так это обидно мне стало, вашескобродие, что и не обсказать. Плакать от обиды хочется, а не то чтобы кантовать. Тут, верно, она пожалела и ласково так сказала: «Что ж вы

чаю не пьете?» И как сказала оиа это, то ровио бы я ожил, вашескобродие, н свет опять мне мил... Взглянул я украдкой на иее... и строгости быдто в ей меиьше. Сидит, голову на ручку оперла, слушать, зиачит, собирается. А Григорий Грнгорьич прнстает, чтобы я про бурю. Ну, я и начал. И так это я говорил, как собирались мы умирать на шкуике-то, какого страха натерпелись, и какая эта буря была, что Глафира слушает, дух затаила. Стиснула губы и впилась в меня глазами, а как я кончил — вышла нз комнаты. Муж за ей. Однако скоро вернулся и говорит: «Жалостно ты очень рассказывал, Максим. В расстройку привел Глашу...» Посидел я так час и стал прощаться. Вышла н Глафира, глаза заплакаиы. Однако внд строгий. Подала руку и ни словечка. А муж объявил, что завтра уезжает на неделю в Сухум н просил навестить когда жену. Оиа отрезала: «Нечего, говорит, иавещать. И мие дела, н Максиму Тарасычу дела». Ну, Григорий Григорьич так и оселся. Прижал хвост. А надо полагать, вашескобродие, что не допускала оиа меия к себе ие со злого сердца, а из жалости ко мие же. Так после я об этом смекал, когда в разум вошел... Как вы полагаете? — неожнданно спросил Тарасыч.

И, словио бы желая поясннть свою мысль, прибавил:

— Не хотела, значнт, чтобы я, видамши ее, больше да больше приходил в безумие... Она н не полагала, что я все равно был из-за иее совсем потерянный... Ну и, как правильная женщина, ие желала, как прочне другие бабы, нграть с человеком.

— Пожалуй, что и так. А может быть, н вы ей нравилнсь, Тарасыч. Только оиа скрывала это! — заметил я.

Тарасыч грустно усмехнулся. Скромность его и глубниа чувства не допускали такого предположення.

— Нн на эстолько, вашескобродие! — проговорил Тарасыч, показывая на кончнк мизннца.— Небось сердце мое учуяло бы. Чем-нибудь Глафнра оказала бы, даром что скрытная. Глянула когда бы ласково... слово кинула сердечное... Уважать меня уважала за умствениость, но только никакой приверженностн не было.

— Ну, рассказывайте далее, Тарасыч.

— А далее много не придется сказывать, вашескобродие. Как она обескуражила меия иа светлое воскресеиье, я три дня со шкуны не сходил... На четвертый не сустерпел. Отпросился под вечер на берег — и айда. Вечер-то темный... пробрался я в глухую уличку н к окну... Гляжу

«Глупая» причииа»

в щелинку у ставни на Глафиру. А волосы у ей распущенные — видно, из бани вернулась, сидит одна-одинешенька и такая, я вам скажу, печальная, такая сиротливая, что сердце во мне вовсе замерло. И так это жалко ее, и так самому тоскливо. И не знаю, что бы я дал, только бы она, родненькая, не кручинилась? И с чего это она? О чем думы думает, голубенькая? Так это я раздумываю и сам тоскую, как вдруг около меня тень, а затем что-то блеснуло и полоснуло по уху. Гляжу: Алимка, этот самый черкес, с кинжалом... «Я тебе и нос отрежу... будешь ходить сюда». Я увернулся — и на его. Сцепились. Наконец повалил я его и спрашиваю: «По какой причине ты, собака, на меня?» — «И ханым и тебе секим башка... Зачем ханым ходишь...» — «А тебе что?» — «Ханым меня не любит, а я ханым люблю, стерегу». Приревновал, значит, дьявол. А Глафира-то на этого черкеса никакого внимания не обращала... И рожа, если б вы знали, какая... Так он со злобы, черт... что выдумал!.. Стараюсь я это кинжал отнять, а он опять пырнул в руку. Тут уж я озверел... душу его за горло... Хрипит. А в это самое время Глафира с фонарем... «Вы что тут делаете? Как вы тут оказались, Максим Тарасыч?»

Я встал, молчу... Поднялся и черкес, сердито глядит так... А кинжал евойный у меня... Я глаз с черкеса не спускаю. А Глафира ему что-то по-татарски... и так это, должно, что-нибудь очень обидное... Он это вырвал кинжал у меня и к ей... к Глафире-то. Я мигом очутился между ими, и кинжал пришелся мне в плечо. Но уж после эстого я этого черкеса раз да другой по уху и сшиб его с ног... Держу за шиворот. А он, собака, мне шепчет: «Драка была. Ханым не видал. И ты говори: драка была, ханым не видал». Путать, значит, ее не хотел... Поди ж ты! Тут Глафира велела тащить черкеса в сарай, и я запер его на ключ. «А завтра, говорит, в полицию отведут».— «Зачем, говорю... не надо»,— и стал было прощаться. А она как подняла фонарь да увидала, что и лицо у меня в крови и на плече сквозь рубашку кровь,— так и ахнула. И, словно бы виноватая, вся затихла и на меня так жалостно смотрит. «Идемте, говорит, в горницу... Обмойтесь и раны перевяжите. Я вам тряпок дам...» Ну, я пришел, обмылся — полуха, гляжу, нет. Перевязал тряпками и прощаюсь... «Спасибо, говорит, вам, спасли от черкеса... Только напрасно!» Тут уж я не утерпел, слезы градом, и я вон... А она вдогонку: «Прощайте, Максим Тарасыч... Не ходите ко мне. Лучше для вас будет. Я лю-

дям горе одио приношу...» Ну, явился я иа шкуну. Все: «как да как?» Обсказываю, что с черкесом в драке дрался. Увели меия в лазарет, и там я с иеделю пролежал. Ухо да плечо залечивали, а я, вашескобродие, всю эту неделю в тоске был... В конце иедели иавестил меня Григорий Григорьевич и сказал, что Алимка-подлец из полиции убежал в горы — и след его простыл... Дело это кончилось, и никто не знал, из-за чего все это вышло... Так вот, вашескобродие, как я уха-то решился! — заключил Тарасыч.

— А Глафиру вы больше ие видали?

— Видел... Как поправился, заходил в лавку попрощаться... Черкеса опять перевозить иачали в Коистаитинополь, а оттеда велеио иам было идти в Одесту.

— Что ж, как она вас встретила?

— В строгости, вашескобродие. Бидто и иикакого кровопролития не было. Но только, как я стал уходить, видио, пожалела опять. Крепко так руку пожала и говорит: «Не помииайте меия лихом... Бесталаиная я...» А я уж тут открылся вовсе и сказал: «Век вас буду помиить, потому дороже вас иет и ие будет мие человека на свете!» С тем и ушел. Вскорости мы пошли в море... А мне хоть иа свет ие гляди... Так прошло года три... Накоиец я опять попал в Новороссийск. Сошел иа берег, иог под собой ие чувствую... бегу к лавочке... А там Григорий... Постарел... осунулся... Увидал меия, сперва обрадовался, да потом как заплачет... «Что с тобой, Григорий Григорьич?» Тут ои и объясиил мие, что Глаша год тому назад уехала в Иерусалим и отписала ему, чтобы больше ие ждал ее... Просила прощеиия... и объясияла, что страииицей сделается, божьей правды искать будет... «И тебя, Максим, вспомнила. Прислала крестик и велела тебе отдать...» Вот он, вашескобродие,— заключил Тарасыч, открывая ворот рубахи и показывая малеиький кипарисовый крест.— С им и умру! — прибавил ои и поцеловал крест.

— И иичего вы с тех пор не слыхали о Глафире?

— Ничего... И муж ие знает, где оиа... Успокой, господи, ее смуту душевную! — как-то умиленно проговорил Тарасыч и перекрестился.

В эту минуту явился какой-то купальщик, и я простился с Тарасычем.

1896

ДВА МОРЯКА

Посвящается А. Н. Альмедингену

I

Отставной вице-адмирал Максим Иванович Волынцев только что поднялся с жестковатого дивана, проспавши свой положенный час после обеда.

Откашлявшись, Максим Иванович снял халат, бережно повесил его в шкап и облекся в старенький, но опрятный сюртук с адмиральскими поперечными, как у отставных, погонами, прошелся щеткой по седой, коротко остриженной голове, расчесал белую пушистую бороду и усы, закурил толстую папиросу и присел в плетеное кресло у письменного небольшого стола.

Не спеша вынул он из футляра очки и взял со стола аккуратно сложенную газету.

Несмотря на потертую обивку старомодной мебели и старенькие вещи, бывшие в кабинете, все в этой небольшой комнате имело необыкновенно опрятный и даже приветливый вид, сияя тою умопомрачающею чистотой, какая только бывает на военных кораблях.

Пол сверкал, точно зеркало. Дверные ручки, оконные задвижки и медные кнопки гвоздиков, на которых висели, занимая сплошь всю стену, фотографии в черных простых рамках,— блестели под лучами редкого петербургского солнца, светившего в течение целого августовского дня. Занавески на окнах были ослепительной белизны; фикусы, аралии и пальмочки вымыты и выхолены — одним словом, решительно все в комнате свидетельствовало о привычке хозяина к порядку и щепетильной чистоте, и все, казалось, дышало приветливостью.

Даже хорошенькая «Верушка», как звал Максим Иванович маленькую канарейку, и та, заливавшаяся во все горло, казалась необыкновенно чистенькой и веселой, а клетка, которую адмирал собственноручно чистил два

раза в день, просторная, белая клетка, усыпанная песком, содержалась в безукоризненном порядке.

Кабинет напоминал каюту, и в нем даже пахло немного кораблем от острого смолистого запаха мата, лежавшего вместо коврика под ногами адмирала.

И сам он своим внешним видом производил впечатление той же опрятности и приветливости, которыми отличались кабинет и вся скромная его обстановка.

Это был небольшого роста, сутуловатый и сухощавый старик лет шестидесяти, крепкий и бодрый на вид. Вся его небольшая фигура с первого же раза внушала к себе невольную симпатию. И в выражении его старого, морщинистого лица, отливавшего здоровым румянцем, и особенно в выражении небольших, еще живых и острых темных глаз было что-то необыкновенно хорошее: доброе и ласковое и в то же время застенчивое, говорящее о душевной чистоте и о честно прожитой жизни.

И действительно, вся его жизнь была лямкой добросовестного морского служаки, который даже и в прежние суровые времена отличался добротой и был любим матросами за то, что обращался с ними по-человечески. Честный до щепетильности, он никогда не пользовался казенной копейкой, никогда не подлаживался к начальству, не знал протекции и, считаясь одним из лучших моряков, много плавал, но особенной карьеры не сделал. Напротив, испортил ее своею независимостью, принужденный выйти в отставку уже контр-адмиралом вследствие того, что не поладил с высшим морским начальством. Он, конечно, ничего не имел и скромно жил с семьей на скромную пенсию.

Максим Иванович принялся за газетный фельетон, чтение которого он всегда откладывал до вечера. Утром адмирал прочитывал все остальные отделы и читал их сплошь, от первой строки до последней, начиная с передовой статьи.

Это был один из тех редких читателей, которые не пропускают ни одного известия и не просто читают, а, так сказать, священнодействуют.

Максим Иванович привык к своей газете, но не верил ей безусловно и частенько-таки не соглашался с ее мнениями. Прочитывая иногда в передовой статье о том, что «Россия не допустит» того-то и того-то, и вникая в смысл вымышленных quasi[1]-патриотических фраз, полных бесша-

---

[1] Якобы, мнимых *(лат.)*.

башного шовинизма, старый адмирал, пробывший всю осаду Севастополя на одном из бастионов и получивший за храбрость еще в лейтенантском чине Георгиевский крест, белевший в петлице его сюртука, неодобрительно покачивал головой и, случалось, говорил вслух:

— Тоже пишет! Молода, во Саксонии не была! Послать бы тебя, строкулиста, самого на войну!

Но особенно старика возмущало, когда газета, не жалея красок, восхваляла какого-нибудь вновь назначенного сановника.

И тогда его обыкновенно добродушное лицо выражало нескрываемое презрение, и он приговаривал, обращаясь, по-видимому, к автору хвалебной статейки:

— И кто тебя, льстеца, за язык дергает? Раненько, брат, хвалишь... Нехорошо!..

Зато, если Максиму Ивановичу статейка нравилась и он находил мысли ее «правильными и благородными», он с увлечением прочитывал вслух особенно понравившиеся ему выражения и восклицал:

— Ай да молодчага! Ловко!.. Так и надо писать, коли бог тебе талант дал!..

И, случалось, писал в редакцию газеты письмо, в котором выражал благодарность неизвестному автору статьи за доставленное им удовольствие.

За завтраком Максим Иванович обыкновенно передавал в более или менее коротких извлечениях все интересное, прочитанное в газете, своей жене и дочери.

И хотя и жена и дочь сами уже прочли после адмирала газету, но обе они, обожавшие старика, внимательно слушали, пока он не спохватывался и не говорил со своею добродушною улыбкой:

— Да вы уж читали...

— Ничего, ничего, рассказывай...

Но Максим Иванович не продолжал, а переходил к обсуждению прочитанного и нередко критиковал газету.

Сегодня адмиралу, по-видимому, не понравился фельетон. Во время чтения он дергал плечами и наконец проговорил:

— Тоже фанаберия... Скажи пожалуйста! А у самого-то на грош амуниции!

В эту минуту в кабинет вошла легкой, слегка плывущей походкой, с подносом в руках, дочь адмирала Наташа, или, как звал ее отец, Нита, высокая и худощавая, стройная и грациозная в своих движениях блондинка, лет

двадцати пяти, с большими ясными серыми глазами. В ее лице, светившемся умом и тою одухотворенною красотою, какую можно встретить лишь у избранных натур, было то же выражение душевной чистоты и мягкости, что и у отца, но лицом она совсем на него не походила. Одета она была очень скромно, но с тем изяществом, которое свидетельствовало о вкусе не одной только портнихи. На ней была шерстяная черная юбка, открывавшая маленькие ноги, и светло-серый лиф с высоким воротником, закрывавшим шею. И все это на ней сидело так ловко и так шло к ее свежему лицу молочной белизны с нежным румянцем. Ни серег в ее маленьких ушах, ни колец на ее красивых, тонких руках с длинными породистыми пальцами не было. Только маленькая брошка с тремя бриллиантиками — подарок отца — блестела у шеи.

— Ты кого это, папа? — спросила она, улыбаясь, когда поставила на стол стакан чая и блюдечко с вареньем.

— Да этого «Виго»... Не люблю я его... Ломается... Читала сегодняшний фельетон?

— Читала, папа.

— И тебе не нравится?

— Не нравится.

— У нас с тобой одинаковые вкусы, Ниточка! — проговорил отец и взглянул на дочь взглядом, полным любви и обожания.

Вместо ответа Нита поцеловала старика.

— Славная ты моя! — промолвил умиленно старик.— Скоро вот и другой наш славный вернется,— оживленно прибавил Максим Иванович.

— А когда?

— Дня через три, я думаю, они придут в Кронштадт, если ничто их не задержит. В море ведь нельзя, Ниточка, точно рассчитывать. Верно, Сережа протелеграфирует о выходе из Копенгагена, а из Кронштадта мне дадут знать телеграммой, как только «Витязь» покажется у Толбухина маяка. Уж я просил об этом... Мы все и поедем встречать Сережу... Ведь я голубчика шесть лет не видал! — прибавил Максим Иванович.

Действительно, отец в последний раз видел сына перед выпуском его из корпуса, восемнадцатилетним юношей, и, назначенный начальником эскадры Тихого океана, уехал на три года, а когда вернулся в Россию, не застал сына. Тот ушел в дальнее плавание.

Старик помолчал и прибавил:

— Надеюсь, Сережа бравый морской офицер и не забыл советов отца, как надо служить. Он ведь славный мальчик всегда был, только морской корпус его несколько портил. Нынче там больше на манеры обращают внимание... Это тщеславие... Эта дружба с богатенькими князьками... Помнишь, как мы ссорились с ним из-за этого?.. Но да тогда он был юнцом, и все это, конечно, прошло с годами... Он ведь умный и честный мальчик! — горячо прибавил старик.

— Еще бы! — так же горячо воскликнула Нита и, словно бы чем-то обеспокоенная, порывисто прибавила: — Но только знаешь ли что, папа?

— Что, Нита?

— Сережа иногда напускает на себя больше фатовства, а он не такой. И ты не обращай на это внимания, если тебе покажется в нем что-нибудь такое... наносное...

Она старалась заранее приготовить отца к тому, что он увидит. Письма, которые она изредка получала от брата, не нравились ей; в них чувствовалось что-то такое, что глубоко огорчало ее и, конечно, огорчит старика. Да и раньше жизнь брата, в отсутствие отца, не отвечала ее вкусам, а — главное — его взгляды, его убеждения казались ей такими несимпатичными. И Нита, любившая своего единственного брата до безумия, не раз горячо с ним спорила, стараясь переубедить его.

И теперь, при мысли о скорой встрече брата с этим честным, безупречным отцом, предчувствие чего-то тяжелого невольно закрадывалось в ее сердце. О, как ей хотелось, чтобы предчувствие это оказалось ложным и чтобы Сережа не был таким практическим человеком, каким выставлял себя в письмах.

— Ну, конечно, наносное... Нынче это в моде. И моряки щеголяют тем, чего мы в молодые годы стыдились... Такой уж дух нынче во флоте, к сожалению... Идеал гроша царит... Какое-то торгашество... Да, Ниточка, моряки теперь не те, что были прежде! Прежде мы не думали поражать франтовством да по модным ресторанам шататься... Прежде мы были хоть и замухрышками, но зато, знаешь ли, на сделки разные с совестью не пускались, по передним у начальства не торчали, к тетенькам за протекцией не ездили, а тянули себе лямку по совести... А теперь... Ну, да что говорить... Я уверен только, что наш Сережа — сын своего отца и никогда не заставит его краснеть за себя... Не так ли, моя голубушка?.. Ты ведь у меня славная девочка и умница!

Нита поспешила согласиться с отцом, но, когда пришла в свою маленькую светлую комнатку, мысли о Сереже заставили ее снова задуматься. И ей было почему-то бесконечно жаль отца.

II

— Анна Васильевна! Нита! Готовы ли вы? Через четверть часа пора ехать, чтоб поспеть на пароход! — говорил, стуча в начале девятого часа утра поочередно в двери комнат жены и дочери, веселый и радостный старик, бодрый и свежий, приодевшийся в новый сюртук и надевший на шею большой крест «Владимира» второй степени, спрятавшийся под густою бородой адмирала.

Он то и дело посматривал на свои старинные золотые часы и, никогда не опаздывавший в своей жизни, за пять минут до отъезда снова стучался в комнаты своих.

Дамы были готовы; два извозчика уже стояли у подъезда, и вся семья за десять минут до девяти часов была на кронштадтском пароходе.

Утро стояло хорошее, солнечное и теплое, и Волынцевы сидели на палубе, радостно взволнованные в ожидании свидания с Сережей.

Наконец и Кронштадт.

Волынцевы с пристани отправились в Купеческую гавань, и там адмирал нанял ялик до Малого рейда.

— А не страшно на ялике, Максим Иванович? — спрашивала адмиральша, женщина лет пятидесяти, высокая и статная, сохранившая еще в своем лице остатки былой красоты, боязливо поглядывая на маленький ялик.

— Не извольте беспокоиться, барыня. И в погоду ездим, а не то что в тишь, как теперь! — проговорил старик яличник.

— Садись, садись, Анна Васильевна, не бойся! — успокоивал адмирал.— Ты привыкла все на катерах ездить, да на больших, ну а теперь мы в отставке, катеров нам не полагается! — шутливо прибавил адмирал.

— Сережа мог бы прислать за нами катер! — заметила адмиральша, усевшись при помощи мужа в ялик.

— Почем он знает, что мы с первым пароходом едем к нему. Он, быть может, и не ждет нас... Эка погода-то славная!.. Хорошо сегодня на море! — воскликнул адмирал, вдыхая полной грудью свежий морской воздух.

Действительно, было хорошо. Стоял мертвый штиль,

и море расстилалось зеленоватой гладью. С безоблачного неба весело глядело солнце.

Вдали, на Большом рейде, виднелось несколько броненосцев, грозных, но неуклюжих, а поближе, на Среднем рейде, стоял крейсер «Витязь», весь черный и красивый со своими высокими тремя мачтами, паутиной снастей и с двумя белыми дымовыми трубами.

Ялик ходко шел, приближаясь к «Витязю».

Адмирал так и впился в него своими зоркими глазами лихого моряка, гордившегося, бывало, образцовым порядком и щегольским видом судов, которыми он командовал в течение своей службы, и тою любовью, какую питали к нему матросы и офицеры. Он любил и эту службу, полную борьбы и опасностей, любил и эти дальние плаванья на океанском просторе, любил и матросов, этих славных, добрых тружеников моря, готовых из кожи лезть, если только с ними обращаются по-человечески и признают в них людей, а не одну только рабочую силу. И Максим Иванович пожалел, что он в отставке и уже не в той родной среде, с которою так сжился. Но не он виноват, что его удалили из флота... Он слишком ценит чувство человеческого достоинства, чтобы оставаться во флоте ценою подлаживания к высшему начальству.

По-видимому, Максим Иванович остался доволен внешним видом «Витязя». Рангоут выправлен безукоризненно, реи тоже. Посадка судна превосходная.

— Славное суденышко, молодцом глядит! — нежно, почти любовно произнес старый моряк.— Полюбуйся-ка, Нита.

— Уж я и то любуюсь, папочка!

— Я рад, что Сережа сделал кругосветное плавание не на броненосце, а на крейсере. По крайней мере знает, как ходят под парусами, а то теперь молодые офицеры совсем не знают парусов... Всё только под парами гуляют!

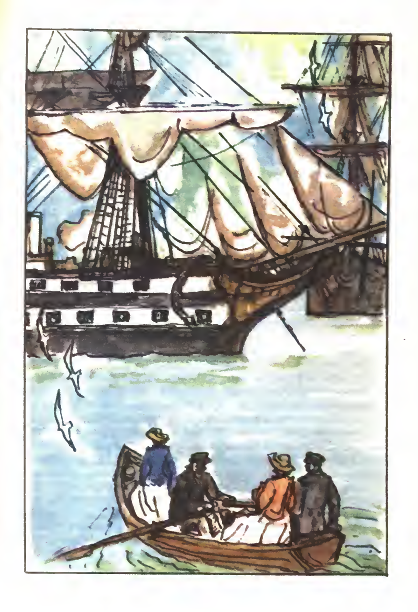
Чем ближе подходил ялик к крейсеру, тем нетерпеливее становились пассажиры ялика.

Еще несколько минут, и ялик пристал к парадному трапу «Витязя». Фалгребные матросы в синих рубахах с откидными воротниками, открывавшими загорелые шеи, стояли по бокам трапа, отдавая честь отставному адмиралу.

Молодой вахтенный мичман встретил прибывших у входа на палубу.

— Я хотел бы видеть лейтенанта...

Но старик не докончил.



«Два моряка»

Лейтенант, которого он так страстно хотел видеть, уже целовал руки и лицо матери, а Анна Васильевна, вся всхлипывая, осыпала поцелуями коротко остриженную белокурую голову и молодое красивое лицо, которое в первое мгновение показалось Максиму Ивановичу незнакомым, чужим,— до того оно возмужало и мало напоминало то нежное, безбородое лицо юнца, какое помнил отец.

Еще минута, и Сережа, осторожно освободившись из объятий матери, целовался с отцом и потом с сестрой... У всех на глазах сверкали слезы...

Всем хотелось говорить, и все говорили не то, что хотелось.

— Здесь у нас еще идет чистка, папа. Пойдем лучше в каюту! — проговорил, наконец, Сережа низким приятным баритоном, бросая быстрый взгляд на костюм Ниты и отводя глаза с довольным выражением.

— Веди куда хочешь, Сережа! — взволнованно отвечал отец.

— Вот наш капитан, папа... Позволь тебе его представить.

И, не дожидаясь согласия отца, он подвел капитана, пожилого, приземистого брюнета, заросшего волосами, и представил его отцу, матери и сестре.

После нескольких минут разговора, в котором капитан очень хвалил молодого лейтенанта, все спустились в кают-компанию. Офицеры, сидевшие там, встали и поклонились. Сережа опять представил своим двух молодых офицеров, в том числе одного с княжеской фамилией.

— Познакомь уж со всеми, Сережа! — проговорил тихо адмирал, заметивши, что сын хотел вести его в каюту.

Все были представлены, и после того Сережа ввел своих в просторную, светлую, щегольски убранную каюту.

— А ведь я тебя, Сережа, не узнал в первую минуту... Так ты изменился... возмужал с тех пор, как мы не видались. Ну-ка, дай я на тебя погляжу.

И с этими словами старик крепко сжал в своей худой, костлявой, но сильной руке мягкую, пухлую холеную руку сына и глядел на него долгим любовным, полным бесконечной нежности взглядом.

— Экой ты молодец какой! — наконец проговорил он, отводя глаза, и стал разглядывать Сережину каюту.

Высокий, хорошо сложенный, свежий и румяный, с тонкими чертами красивого и умного, слегка загоревшего лица, опушенного светло-русой бородкой, подстрижен-

ной по-модиому, à la Henri IV[1], молодой человек, недавно только что произведенный в лейтеианты, действительно глядел молодцом и притом имел тот несколько самоуверениый, хлыщеватый и в то же время солидный вид, каким в последнее время стали, по примеру серьезных молодых франтов из светского общества, щеголять и многие моряки молодого поколения, совсем ие похожие на прежиий средиий тип моряка, отличавшийся отсутствием всякого хлыщества, скромиостью и даже застенчивостью в обществе и некоторою, словно бы умышленною, небрежностью костюма. Дескать, моряку стыдно заниматься такими глупостями, как франтовство!

Молодой Волыицев, напротив, был франтоват до мелочей и, видимо, тщательно занимался и своей особой, и своим туалетом.

Щегольской сюртук, сшитый не совсем по форме — длиннее, чем следовало,— сидел иа нем как облитой. Стоячие воротники, с загнутыми впереди кончиками, сияли ослепительной белизной, а креповый черный галстук, завязанный от руки морским узлом, был безукоризнен. На ногах были модные остроиосые ботиики без каблуков. От бороды и усов, чуть-чуть закрученных кверху, шел тонкий аромат духов. На мизиице одиой из рук была красивая бирюза, и золотой браслет — porte bonheur[2]— виднелся из-под рукава сорочки.

Сережа походил на сестру, ио выражеиие его лица и карих глаз было совсем не то, что у отца и сестры. И в лице и в глазах Сережи было что-то самоуверенное, жестковатое и холодное. Чувствовалось, что, несмотря на молодость, это человек с характером.

Обрадоваиный свиданием, Максим Иваиович в первые минуты не заметил ни изыскаиного фраитовства, ии самоувереииого, полного апломба, вида Сережи и, оглядев каюту, промолвил:

— Одиако и ящиков тут у тебя. Много же ты навез вещей, Сережа.

— Тут еще не все, папа... Еще в ахтер-люке есть.

— Куда столько?..

— И для вас, и для себя...

— Но ведь это денег стоит, и больших... Или ты, голубчик, себе во всем отказывал, чтобы навезти столько?..

Сережа чуть-чуть покраснел и торопливо проговорил:

[1] Как у Генриха IV *(фр.)*.
[2] Браслет без застежки *(фр.)*.

— На все хватало, папа... А для тебя, Нита, есть и крепоны китайские для нарядных платьев, и веера, и бразильские мушки для серег, и хорошие изумруды для браслета... Хочешь посмотреть?

— Не надо, потом, потом... Нам хочется на тебя поглядеть, Сережа. Спасибо тебе, но только зачем мне. Я ведь не выезжаю.

— Она у нас домоседка, Ниточка! — вставил отец.— Все больше за книжками сидит.

— Напрасно. Ты стала такая хорошенькая, что могла бы выезжать и сделать хорошую партию! — смеясь, проговорил Сережа.

Нита вспыхнула. Этот тон не нравился ей. Поморщился и адмирал.

— Ну, ну, не сердись, Нита... Хочешь быть монашкой и ученой — твоя княжая воля.

И он обнял сестру.

Анна Васильевна не сводила глаз с Сережи — такой он казался ей красивый и элегантный. Она рассказывала о родных, о знакомых, смеясь говорила, что многие барышни ждут его не дождутся. Сережа весело улыбался и покручивал свои выхоленные усы.

А Максим Иванович слушал, приглядывался и только теперь заметил, какой Сережа франт, и его, старика, особенно неприятно поразил этот браслет на руке сына.

«Точно женщина — браслет носит!» — подумал он. Однако ничего не сказал.

Нита как-то испуганно переводила глаза с отца на брата.

— Ну, а ты, папа, как поживаешь? — спрашивал Сережа.

— Отлично поживаю, как видишь... Ты ведь знаешь, почему я вышел в отставку? — неожиданно спросил старик.

— Знаю, ты писал...

— Но ты тогда ничего мне не ответил...

— Что ж было писать? — уклончиво проговорил Сережа.

— Как что? Я ждал, что ты одобришь мое решение.

— Извини, папа, но я очень сожалел, что ты оставил службу... Ведь флот нуждается в хороших адмиралах...

— Ну, положим, нуждается...

Нита затаила дыхание. Она знала, что брат не одобрял решения отца и в письме к ней называл выход его в от-

ставку «мальчишеством», тогда как она гордилась поступком отца.

— А если нуждается,— продолжал слегка докторальным тоном молодой человек,— то логичнее было бы, мне кажется, не оставлять флота... Извини, папа... Но я высказываю свое мнение, раз ты меня спрашиваешь...

— Конечно, спрашиваю... И нечего тут извиняться... Так ты считаешь, что мне следовало ехать к начальству и просить извинения за то, что я был прав? — спрашивал Максим Иванович, взглядывая на сына и вдруг чувствуя себя словно бы в положении подсудимого.

Вместе с тем старик почувствовал, что сын давно уже произнес свой приговор. Он это видел в снисходительном взгляде Сережи. Он это слышал в тоне его голоса. И прежний юнец Сережа словно бы пропал. Перед ним был основательный, не по летам практический молодой человек, который мог бы поучить его, старика, как надо вести себя.

— Сережа вовсе этого не думает, папочка! Не правда ли, Сережа? — вступилась Нита, как бы давая понять брату, что следует ему отвечать.

Сережа не соблаговолил ответить сестре и проговорил, обращаясь к отцу:

— Мне кажется, можно было бы устроить дело и без извинений, если они так были тебе неприятны, что ты из-за них бросил службу, которую любишь... В таких случаях всегда есть посредники, которые улаживают недоразумения... Но ты, папа, погорячился... Ты действовал под влиянием чувства, конечно благородного, но из-за этого флот лишился превосходного адмирала! — прибавил Сережа.

Старик попробовал было улыбнуться, но улыбка вышла какая-то кислая. Однако он промолвил:

— Ты, может быть, и прав, мой милый... Даже наверное прав... Мы, старики, слишком впечатлительны и часто забываем правила житейской мудрости... Но с темпераментом ничего не поделаешь, Сережа... Я вот и вышел в отставку, и флот лишился, как ты говоришь, хорошего адмирала.

— Ты не сердись, папа, что я позволил себе откровенно высказать свое мнение...

— Что ты, Сережа! За что же сердиться? Ты просто благоразумнее меня, вот и все... Ну, рассказывай, голубчик, доволен ли ты службой? Полюбил ли море?..

Сережа признался, что моря особенно он не любит, но

что служит добросовестно и на хорошем счету у капитана. Два года, как он ревизором[1], после того как прежний ревизор заболел и уехал в Россию.

— Хлопотливая эта обязанность... Напрасно ты согласился принять ее.

— Да, работы много, но раз капитан просил, я не счел возможным отказаться.

Сережа между тем взглянул на часы и подавил пуговку электрического звонка.

У порога каюты вытянулся молодой вестовой. По напряженной его физиономии и несколько испуганному взгляду сразу можно было догадаться, что этот белобрысый матросик с голубыми, слегка выкаченными глазами побаивается молодого лейтенанта.

— Узнай, скоро ли завтракать? — сухим и повелительным тоном произнес Сережа.

— Есть, ваше благородие!

Вестовой хотел было уйти.

— Постой! — резко остановил его Сережа.

Вестовой замер на месте и, не моргая, глядел на лейтенанта.

— Скажи буфетчику, чтобы накрыл три лишних прибора... Понял?

— Понял, ваше благородие!

— Ступай!

И этот резкий повелительный тон Сережи резанул ухо отца. Вспомнил он свое отношение к вестовым, вспомнил, какие преданные, славные были у него вестовые, как они бывали коротки с ним и нисколько его не боялись, и спросил сына:

— Давно он у тебя, Сережа?

— С самого начала плавания... А что?

— Нет, я так... Славное у этого матроса лицо... Доволен ты им?

— Ничего... Бестолков только очень! — небрежно кинул Сережа.

— Он из какой губернии?

— А не знаю... Не интересовался, папа... Я, признаться, с матросами не фамильярничаю... А то, того и гляди, забудутся...

— В наше время они не забывались! — проронил адмирал и замолк.

---

[1] Ревизор — офицер, заведующий хозяйственной частью. *(Примеч. автора.)*

Через несколько минут вестовой, уже в нитяных перчатках, доложил, что завтрак готов.

— Папа, мама, пойдемте... Нита!..

Все они пошли в кают-компанию, где в ожидании гостей никто не садился. Адмиральшу и адмирала посадили на почетные места; около них сели капитан, приглашенный на завтрак в кают-компанию, и старший офицер. Сережа сел рядом с сестрой, посадив около нее молодого лейтенанта с княжеским титулом.

Завтрак прошел оживленно. Пили шампанское за благополучное возвращение на родину. Чокались друг с другом, говорили спичи.

От Максима Ивановича, долго на своем веку плававшего и сразу умевшего уловить настроение кают-компании, не укрылось, что в кают-компании на «Витязе» не было той товарищеской связи, которая соединяла бы всех. Он заметил, что штурманские офицеры, доктор и несколько молодых моряков как бы составляют одну партию и не особенно расположены к другим офицерам, в числе которых был и Сережа. Чувствовалось, что отношение к нему далеко не дружеское, не сердечное.

Вскоре после завтрака Волынцевы уехали с крейсера. Им дали, конечно, катер.

Сережа не мог ехать с ними — обязанности ревизора мешали ему,— но он обещал приехать на другой день.

Прощаясь с сестрой, Сережа шепнул ей:

— Понравился тебе, Нита, князь Усольцев? Обрати на него внимание... Он славный малый, и у него двадцать тысяч годового дохода... Я привезу его к вам.

Нита вспыхнула и шепнула:

— Пожалуйста, не привози.

Старый адмирал вернулся в Петербург как будто не особенно веселый.

За обедом он был задумчив и рассеян — не такого Сережу надеялся он встретить!

Зато Анна Васильевна была в восторге и находила, что он совершенство.

— Не правда ли, какой славный Сережа? Как ты его нашел, Максим Иванович? Ты как будто не особенно доволен им? — спрашивала Анна Васильевна, несколько удивленная и огорченная недостаточным, по ее мнению, восхищением отца сыном.

— Что ты, что ты, Анна Васильевна! Конечно, Сережа славный, честный мальчик! — горячо промолвил старик, скрывая от жены и дочери то тяжелое впечатление, ко-

торое произвел на его сын при первой встрече и которое мучило теперь старика.

Его любовь к Сереже боролась с этим первым впечатлением. Он хотел во что бы то ни стало обвинить себя в излишней поспешности суждения о сыне. Как отец, он, быть может, слишком требователен, и в глазах его мелкие недостатки приняли большие размеры и многое показалось не в том свете. В самом деле, и эта резкость с вестовым, и это франтовство сына не такие уж преступления, а его практичность и солидность доказывают только, что Сережа, несмотря на молодость, живет не одним сердцем... Во всяком случае, он честный и хороший молодой человек! Он приедет, раскроет свою душу, и тогда отец убедится, что первое впечатление было ложно.

И старик, словно бы утешая себя, продолжал:

— И знаешь ли, Анна Васильевна, мне даже нравится в нем эта уверенность в себе, серьезность и практичность...

— Сережа напускает больше на себя... Вовсе он не такой практичный, папа! — вступилась Нита.

Адмирал взглянул на дочь ласковым, благодарным взглядом за это противоречие, которое так хотелось ему слышать.

III

Со времени возвращения Сережи прошел месяц, но Сережа не торопился раскрывать своей души перед отцом и вообще избегал высказываться, хотя при случае и не скрывал, что смотрит на многое совсем не так, как отец и Нита. Он, видимо, несколько снисходительно относился к их взглядам, но споров избегал, несмотря на то что старик как будто нарочно старался заводить их. Да и дома Сережа оставался недолго во время приездов своих в Петербург. Пообедает или заглянет на час, да и уедет то по делам, то к знакомым, то в театр. И останавливался он не у своих,— хотя для него и приготовлена была прежняя маленькая его комната,— а у своего друга, князя Усольцева, которого Сережа, несмотря на протест сестры, всетаки привез к своим.

Масса подарков Сережи украшала теперь скромную квартиру Волынцевых. Чудные японские вазы, столики, разные китайские вещи из черепахи и слоновой кости стояли в гостиной и в комнате Анны Васильевны. У адмирала в кабинете красовались великолепные китайские шах-

маты с громадными фигурами, а у Ниты в комоде были китайские и японские материи, веера, страусовые перья и много разных ценных безделок. Такими же роскошными вещами Сережа одарил некоторых знакомых, и, кроме того, кронштадтская его квартира была полна привезенными вещами.

Отец только удивлялся. Он знал, что все эти предметы роскоши стоили больших денег; нельзя было навезти их столько на жалованье. Кроме того, Максима Ивановича поражала и жизнь сына в Петербурге: эти лихачи, эта дружба с князем Усольцевым, завтраки и обеды в ресторанах, театры...

Откуда у него на это деньги?

И аккуратный старик, никогда в жизни не имевший долгов, с ужасом подумал, что сын запутался в долгах.

Не решаясь из деликатности прямо спросить об этом, он как-то стороной завел однажды речь о молодых людях, запутывающихся в долгах, но Сережа, понимая, к чему клонит отец, смеясь, проговорил:

— Успокойся, папа. У меня нет ни копейки долга.

«Откуда ж у тебя деньги?» — чуть было не сорвалось у отца, но он удержался и промолчал.

И вдруг адмирал вспомнил, что сын его ревизор. Он хорошо знал, что в последнее время ревизоры и многие капитаны нисколько не стесняются пользоваться незаконными доходами и даже громко хвастаются этим.

«Господи! Неужели и Сережа?!»

Ужасное подозрение закралось в эту честную седую голову, и выражение страха и страдания исказило черты лица адмирала, когда он остался один в своем кабинете.

«Не может быть! Это неправда!»

Он гнал эти подозрения. Он ни слова не говорил сыну, ожидая, что тот сам объяснит это недоразумение. Быть может, Сережа выиграл крупную сумму в карты — ведь моряки любят поиграть в азартные игры на берегу!

Но Сережа молчал, и подозрения снова назойливо закрадывались в голову старика и терзали его.

В последние дни они не давали покоя. Куда девалось его прежнее добродушие и веселость? Как ни старался он скрыть от жены и дочери свои страдания, его скорбный, растерянный вид выдавал его. Он сделался молчалив и большую часть времени проводил у себя в кабинете.

Анна Васильевна с тревогой спрашивала, здоров ли он, и старик, чтобы отделаться, сваливал свое дурное расположение на ревматизм. Чуткая Нита догадывалась, что

поведение Сережи причиняет страдания отцу, чаще ласкалась к старику, заглядывая к нему в кабинет, и чаще предлагала почитать вслух.

И старик нежно целовал ее и говорил:

— Спасибо, спасибо, Ниточка, не надо... Ревматизм, подлец, дает себя знать... Я полежу... А ты иди к матери...

Однажды он возвратился домой совсем убитый. Он только что вернулся из одного ресторана на Васильевском острове, куда ходил читать английские газеты и выпить чашку кофе, и там слышал разговор нескольких молодых моряков об его сыне. Они его не бранили — о нет! — напротив, с одобрениями и завистью говорили, что он «ловкий ревизор», тысяч десять привез из плавания, кроме вещей... Молодец Волынцев! Не зевал!

Точно оплеванный вышел адмирал из ресторана, дошел домой и заперся в кабинете.

«Не может быть... На Сережу клевещут!» — все еще не хотел верить честнейший старик и решил, что надо переговорить с сыном.

«Он опровергнет все эти мерзости!.. О, наверное!»

И надежда сменялась отчаянием, отчаяние надеждой. Безграничная любовь к Сереже ожесточенно боролась против очевидности.

Но более терпеть он не мог. Надо же, наконец, узнать правду и не подозревать напрасно сына.

И, однако, страх охватывал этого неустрашимого моряка, видавшего на своем веку не мало опасностей, при мысли о подобном объяснении с сыном.

Думал ли он, что ему придется иметь такие объяснения?!

В этот день Сережа обедал дома. Веселый и довольный, он, между прочим, сообщил, что командир «Витязя» назначается командиром броненосца «Победный» и что он зовет его к себе ревизором.

— И ты согласился? — с какою-то тревогой в голосе спросил старик.

— Разумеется, папа! — ответил Сережа.— Через год «Победный» идет на два года в Средиземное море! — прибавил он.

«И, значит, доходы будут большие»,— невольно пронеслось в голове старика.

Когда окончился обед, адмирал как-то смущенно проговорил:

— А ты зайди-ка ко мне в кабинет, Сережа... Хочу те-

бе показать чертежи нового английского крейсера... интересные... Прелестный будет крейсер...

Нита испуганно взглянула на отца и, заметив его смущение, поняла, что не о чертежах будет речь. И ей стало страшно за отца.

IV

— Присядь, Сережа... Видишь ли... Уж ты извини, голубчик... Никаких чертежей нет... Я так, чтобы, понимаешь ли... мать и сестра... Зачем им знать?.. А мне нужно с тобой поговорить... ты сам поймешь, что очень нужно, и извинишь отца. что он... в некотором роде...

Адмирал конфузился и говорил бессвязно, видимо не решаясь объяснить сущности дела.

Сережа. напротив, был спокоен и, взглянув ясными, несколько удивленными глазами на отца. сказал:

— Ты. папа, говори прямо... не стесняйся... О чем ты хочешь говорить со мной?

Этот самоуверенный вид и спокойный тон обрадовали старика, и он продолжал:

— Я, конечно, так и думал, что все это подлая ложь... Но меня все-таки, знаешь ли, мучило... Как смеют про тебя говорить...

— Что же про меня говорят, папа?

— Что будто ты был ловким ревизором и привез из плавания десять тысяч...

И адмирал даже рассмеялся.

По красивому, румяному лицу молодого лейтенанта разлилась краска. Но глаза его так же ясно и решительно смотрели на отца, когда он проговорил:

— Это верно, папа. Тысяч восемь я привез!

Адмирал, казалось, не верил своим ушам. Так просто и спокойно проговорил эти слова сын.

— Потому, что был ревизором? — наконец спросил старик упавшим голосом.

— Да, папа. Я делал то, что делают почти все, и должен тебе сказать, что не вижу в этом никакой подлости... Напрасно ты так близко принимаешь это к сердцу, папа. Не возьми я своей части, все пошло бы одному капитану... С какой стати!.. И ведь эти восемь тысяч, которые мне достались, собственно говоря, ни от кого не отняты... Никаких злоупотреблений мы не делали ни с углем, ни с провизией... Все покупали по справочным ценам,

которые давали нам консулы... Но эти обычные скидки десяти процентов со счетов, которые практикуются везде, что с ними делать?.. Записывать их на приход по книгам нельзя... Оставлять их поставщикам, что ли? Это было бы совсем глупо... Ну, они и делятся между капитаном и ревизором... И никто не видит в этом ничего предосудительного...

— Но ведь это... воровство!.. Ведь эти скидки должны поступать в казну... Или вы с капитаном этого не понимаете?.. Неужели не понимаете?.. О господи, какие вы непонятливые!.. И ты, сын человека, который в жизни никогда не пользовался никакими скидками, ты тоже не находишь ничего предосудительного?..

— Ты, папа, извини, слишком большой идеалист и требуешь от людей какого-то геройства, и притом ни к чему не нужного. А я смотрю на жизнь несколько иначе... Я не...

— Вижу... Довольно... Мы друг друга не понимаем,— перебил старик, и голос его звучал невыразимою грустью.— Теперь во флоте не понимают даже, что предосудительно и что нет... И даже такие молодые... То-то ты и отставки моей не одобряешь... Ты рассудителен не по летам... И, верно, карьеру сделаешь... Иди, иди, Сережа... Нам больше не о чем разговаривать!.. Не говори только об этом сестре... Она тоже не поймет тебя...

Сережа пожал плечами, словно бы удивленный этими ламентациями старика, и вышел из кабинета, а Максим Иванович как-то беспомощно опустил свою седую голову.

Когда Нита принесла чай, Максим Иванович по-прежнему сидел за столом, скорбный и мрачный. Увидав дочь, он попробовал улыбнуться, но улыбка была печальная.

Нита молча обняла старика. Он крепко-крепко прижал ее к своей груди, и слезы блестели на глазах старого адмирала.

1896

ЗА ЩУПЛЕНЬКОГО

I

Среди таинственного полусвета тропической лунной ночи плыл, направляясь к югу, военный корвет «Отважный», слегка покачиваясь и с тихим гулом рассекая своим острым носом точно расплавленное серебро,— так ярко светилась фосфорическим блеском вода.

На трех мачтах корвета стояли все паруса, какие только можно было поставить, и корвет, подгоняемый ровным мягким пассатом, шел узлов по пяти-шести, легко и свободно поднимаясь с волны на волну.

Ночь была воистину волшебная.

Спокойный в этих благодатных местах вечного пассата, Атлантический океан словно бы дремал и с ласковым рокотом катил свои лениво нагоняющие одна другую волны, залитые серебристым блеском полного месяца. Поднявшись высоко, он томно глядел с бархатного неба, сверкавшего брильянтами ласково мигающих звезд. После истомы палящего тропического дня от океана веяло нежной прохладой.

Тишина вокруг. Тихо и на палубе корвета.

Вахтенный офицер, весь в белом, с расстегнутым воротом сорочки, лениво шагал по мостику, оглядывая по временам горизонт: нет ли где шквалистой тучки или огонька встречного судна, и изредка вскрикивал:

— На баке! Вперед смотреть!

— Есть! Смотрим! — отвечали два голоса с бака.

И снова наступала тишина. И снова вахтенный офицер шагал по мостику и вдруг спускался на палубу ловить дремлющих и спящих.

Вахтенное отделение матросов было по своим местам, притулившись у мачт и бортов. Чтобы не поддаваться ча-

рам сна, среди небольших кучек идут разговоры вполголоса: вспоминают про «свои места», про Кронштадт, сказывают сказки и обмениваются критическими мнениями, порой весьма ядовитыми, насчет командира, старшего офицера, вахтенных начальников, штурманов, механиков, кончая доктором и батюшкой.

А соблазнительная дрема так и подкрадывается в неге дивной ночи и в мягком дыхании освежающего ветерка. И дремали бы себе матросы, стой на вахте другой офицер, зная, что в тропиках при пассате почти что и нечего опасаться. А у этого нельзя. Этот злющий. Его так и звали матросы — Злющий. Подкрадется и, чуть увидит задремавшего, изобьет. И с каким-то жестоким удовольствием изобьет, точно в самом деле беда, если матрос на такой благодатной вахте, когда нечего почти делать, вздремнет, готовый очнуться при первом же окрике.

И матросы борются с дремой, взглядывая по временам на мостик, где шагает Злющий, и не без зависти прислушиваясь к храпу подвахтенных, которые сладко спят не внизу, как обыкновенно, а на палубе, обдуваемые легким ветерком, на своих тоненьких тюфячках.

— И хо-ро-шо, братцы! Ах, как хорошо! — раздался среди тишины мягкий голос у баковой пушки.— Такой ночи в нашей земле не увидишь... И теплынь... И звезд что понасеяно... И океан ласковый... Гляди — не наглядишься! — восторженно прибавил матрос и вздохнул полной грудью.

— Таких спокойных местов немного. Вот минуем тропики, войдем в Индийский океан... Там небось поймешь флотскую службу! — ответил сиплый басок.

— А страшно в Индийском?

— Еще как страшно-то! А тебе и вовсе нудно придется. Не по твоей комплекции служба флотская. Тебе, по твоему виду, прямо на скрипке играть... А там то и дело «пошел все наверх!» — боцман будет кричать. То поворот делать, то рифы брать, то штурмовые паруса ставить. Только поворачивайся да не считай зуботычин. Ну, а ты, братец, не того фасону. Недаром тебя «Щупленьким» прозвали. Щупленький и есть!

Тот, которого на корвете все звали «Щупленьким», никогда не называя его по фамилии, действительно оправдывал свое прозвище.

Маленький, тоненький, с впалой грудью и бледноватым лицом, с ласковым и несколько испуганным взглядом больших серых глаз, этот первогодок, Семен Лязгин,

попавший из деревенских пастухов в матросы, как-то плохо привыкал к морской службе, хотя и из кожи лез вон, чтобы привыкнуть и быть таким же лихим матросом, как другие. Но в нем не было ни физической силы, ни матросской отчаянности, и никак он ее приобрести не мог.

Фор-марсовой Леонтий Егоркин, здоровенный, коренастый человек за сорок, полный этой самой отчаянности, которую он приобрел после изрядной порки в первые годы своего морского обучения, и потерявший от пьянства голос, был до некоторой степени прав, говоря, что Лязгину по его виду на скрипке играть.

И он действительно играл, и играл артистически, но не на скрипке, а на гармонике, и игрой своей доставлял большое удовольствие всем, и особенно Леонтию Егоркину. Из-за этого, кажется, Леонтий Егоркин благосклонно относился к молодому матросику и жалел Щупленького. Впрочем, его и все жалели. Жалел даже и великий ругатель и «человек с тяжелой рукой». боцман Федосьев, и если и «смазывал» Щупленького, то больше для порядка и без всякой ожесточенности.

— Того и гляди дух из его вон, ежели по-настоящему съездить! — словно бы оправдываясь, говорил боцман другим унтер-офицерам...— И что с его, с Щупленького, взять... Старания много, а какой он матрос! Он настоящего боя не выдержит! — не без презрения прибавлял Федосьев, хвалившийся, что сам в течение своей пятнадцатилетней службы выдержал столько боя, что и не обсказать.

— И опять же пужлив ты, Щупленький! — продолжал Егоркин.— Линьков боишься.

— То-то боюсь! — виновато ответил матросик.

И восторженность в нем исчезла.

II

Пробило четыре склянки, это, значит, было два часа пополуночи.

— Очередные! На смену! — сонным голосом проговорил боцман, выходя с последним ударом колокола на середину бака.

— Есть! — одновременно ответили два голоса.

И из кучки матросов, лясничавших у бакового орудия, вышли Егоркин и Щупленький.

— Хорошенько вперед смотреть! — напутствовал их боцман, принимая вдруг резкий, начальственный тон.

— Ладно! Знаем! Не форси, Федосеич! — лениво ответил Егоркин, несколько удивленный, что боцман говорит о пустяках такому старому матросу.

— Ты-то, старый черт, знаешь, а вон этот... Эй ты, Щупленький!

— Есть! — испуганно отозвался матросик.

— В оба глаза глядеть и вместе вскричать, ежели что увидите.

— Есть! Буду глядеть!

— И не засни, дурья голова!.. Небось знаешь, кто на вахте?

— Злющий, Андрей Федосеич!

— Прозеваешь вскрикнуть, велит тебя отшлифовать. И что тогда от тебя останется?

— Не могу знать! — вздрагивая всем телом, пробормотал Щупленький.

— Шкелет один... вот что.

— Да не нуди ты человека, Федосеич! — заметил Егоркин.— И то часовые смены ждут.

— Не нуди вас, дьяволов! Так помни, Щупленький...

Они пошли на нос, и, когда часовые вылезли из углублений у бугшприта, новые часовые сели на их места.

— Эка язык у боцмана! — с досадой проворчал Егоркин и стал смотреть вперед, на блестящую полоску океана.

Смотрел и Щупленький и замер от восторга. Так красива была эта серебристая морская даль.

Очарованный и прелестью ночи, и сверкавшим мириадами звезд небосклоном, и красавицей луной, и таинственным, тихо рокочущим океаном, молодой матросик, привыкший еще в пастухах к общению с природою, весь отдался ее созерцанию. Проникновенный чувством восторженного умиления и в то же время подавленный ее величием, он не находил слов. И что-то хорошее, и что-то жуткое наполняло его потрясенную, чуткую душу.

Несколько минут длилось молчание.

Примостившись в своем гнезде, Егоркин поглядывал на горизонт и думал о том, как хорошо было бы вздремнуть. И он уж начал было клевать носом, но, вспомнив о Злющем, встрепенулся и взглянул на товарища: не дремлет ли и он?

Восторженное выражение бледного, казавшегося еще бледней при лунном свете, лица молодого матросика изумило Егоркина.

«Совсем чудной!» — подумал он и сказал:

— А хорошо здесь сидеть, братец ты мой! Точно в люльке качает и ветерком обдает. Так и клонит ко сну... А ты остерегайся, Щупленький!.. Он, дьявол, как кошка, незаметно подкрадется... Неделю тому назад Артемьева накрыл и мало того, что зубы начистил, а еще наутро приказал всыпать двадцать пять линьков... Помнишь?..

Но, казалось, Щупленький в эту минуту был где-то далеко-далеко от действительности. Он забыл и о нелюбимой службе, и о Злющем, и о линьках, которых боялся со страхом тщедушного человека перед физической болью и полный трепета перед позором наказания. Человеческое достоинство, счастливо сохранившееся в нем в те отдаленные времена крепостного права, когда оно попиралось, чувствовало этот позор и в то же время беззащитность против него.

И, словно отвечая на мысли, волнующие его, он раздумчиво протянул, как бы говоря сам с собой:

— И нет конца миру... И сколько одних океанов... Пойми все это!

— Много ли, мало ли, тебе-то что! Не матросского понятия это дело.

— Не матросского, а глядишь кругом и думается.

— А ты не думай. Брось лучше. На то старший штурман есть, чтобы обмозговывать эти дела. Их обучают по этой части.

— И всякий человек может думать... Душа просит... Ты возьми, примерно, звезды,— продолжал возбужденным тоном Щупленький, поднимая глаза к небу...— Отсюда они крохотные, а на самом-то деле страсть какие великие... Мичман даве обсказывал. И далече-далече от нас, оттого и махонькими оказывают себя... И сколько их, и не счесть! А вот, поди же ты, висят на небе... друг около дружки цепляются... Удивление! Или взять месяц. По какой такой причине ходит себе по небу и льет свет? И из чего он? И что на ем? Поди-ка дознайся! А мы вот плывем здесь и вроде будто пескарики перед всем этим божьим устроением...

И матросик повел рукой на океан.

Егоркину не было ни малейшего дела до этих деликатных вопросов.

Вся его предыдущая жизнь матроса не располагала к ним. Думы его имели главнейшим образом строго практический характер лихого фор-марсового, который делал свое трудное и опасливое дело частью по привычке, частью из желания избегнуть наказаний, от которых

физически больно, и добродушного пьяницы, напивавшегося «вдребезги», как только что урывался на берег, но не пропивавшего, однако, казенных вещей, так как за это наказывали беспощадно.

Немножко фаталист, как и все подневольные люди, он жил, как «бог даст». Даст бог доброго командира и доброго старшего офицера, и ничего себе жить, а даст бог недоброго, надо терпеть. А чтобы легче было терпеть и чтобы хоть на время забывать действительно жизнь, подчас каторжную, Егоркин напивался и тогда воображал себя свободным человеком.

Начал он запивать на берегу при строгом командире, но продолжал и при добром и мало-помалу привык при съездах на берег напиваться, как он говорил, «вовсю», чтобы не помнить себя. И уже тогда он не разбирал эпитетов, которыми награждал «злющих» офицеров, пьянствуя в каком-нибудь кабачке с товарищами.

Речи Щупленького показались Егоркину настолько странными, что он счел своим долгом высказаться.

И с решительностью человека, не теряющегося ни при каких обстоятельствах, он уверенно проговорил:

— Бог все произвел как следует: и землю, и море, и небо, и звезды, и всякую тварь. Всему, братец ты мой, определил место — и шабаш! И людей обозначил: коим, примерно, в господах быть, коим в простом звании. Вот оно как! И ты зря не думай. Знай себе посматривай вперед!

Молодой матросик, едва ли удовлетворенный объяснением Егоркина, не продолжал разговора.

Так прошло несколько времени в молчании.

— И чудной ты! — проговорил вдруг Егоркин.

— Чем чудной?

— А всем! И прост сердцем, и понятие хочешь иметь обо всем. И на гармони играешь так, что душу в тоску вгоняешь... так за сердце и берешь... Ты раньше чем занимался? Землей?

— Я сирота. В пастухах все жил.

— А где же ты грамоте научился?

— Самоучкой.

— Ишь ведь!.. И всегда такой слабосильный был?

— Всегда.

— Так как же тебя забрили в матросы?

— И вовсе не хотели брать.

— То-то я и говорю, не подходишь ты по комплекции. По какой же причине взяли?

«За Щупленького»

— Барин наш очень просил полковника, что некрутов принимал. «Возьмите, говорит, он мне не нужный!»

— Ишь ведь, собаки! — негодующе сказал Егоркин.

— Нет, Левонтий, барин был добер. Мужиков не утеснял! — заступился Щупленький.

— Хорош «добер». Такого слабосильного, и на службу... Прямо, значит, доконать человека!.. А у тебя всякий человек добер... Всякому оправдание подберешь... Прост ты очень... Тебя вот не пожалели, а ты всякого жалеешь... Вовсе ты чудной человек! Небось, по-твоему, и Злющий наш добер?

— Вовсе не добер, но только не от природы, а от непонятия, вот как я полагаю... И вразуми его бог понятием, он матросиков зря не утеснял бы... Выходит, и его пожалеть можно, что без понятия человек...

— Ну, я такого дьявола не пожалею... Сделай ваше одолжение!.. Из-за его понапрасну меня два раза драли. Да и других сколько... Попадись-ка он когда мне один в лесу...

— И ничего ты ему не сделал бы! — убежденно произнес Щупленький.

— Морду его каркодилью свернул бы на сторону, это не будь я Леонтий Егоркин! — с увлечением воскликнул матрос и даже оскалил свои крепкие белые зубы.— Попробовал бы сам, как скусно, тогда и остерегался бы... вошел бы в понятие... Мы, братец ты мой, боцманов учивали, кои безо всякого рассудка дрались, вводили их в понятие... Отлупцуем на берегу во всей форме, смотришь, и человеком стал. Не мордобойничает зря... Опаску имеет. А всякому человеку опаска нужна, потому, дай ему волю над людьми, живо совесть забудет. Ты вот только очень устыдливый... И знаешь, что я тебе скажу? — неожиданно задал вопрос Егоркин.

— А что?

— Тебе бы в вестовые. Совсем легкое дело, не то что матросское... И главная причина — ни порки, ни бою, ежели к хорошему человеку попадешь.

— Не попасть.

— То-то можно.

— А как? У всех господ вестовые есть!

— Мичман Веригин хочет уволить своего лодыря Прошку.

— За что?

— Что-то нехорошее сделал. Только мичман не хочет срамить Прошку. Вот тебе бы, Щупленький, к мичману

в вестовые. Он хороший и прост. Не гнушается нашим братом, не то что другие.

— Несподручно как-то самому проситься, а я бы рад.

— А я доложу мичману... Так, мол, и так, ваше благородие. Он башковатый: поймет, что такого, как ты, вестового ему не найти... Сказать, что ли?

— Скажи.

— Завтра же скажу. Тебе вовсе лучше будет в вестовых.

— То-то лучше! — подтвердил и Щупленький.

В эту минуту раздался голос вахтенного начальника:

— Вперед смотреть!

— Есть! Смотрим! — отвечали оба часовые почти одновременно...

И примолкли.

III

А чары сна незаметно подкрадывались к обоим.

Чтобы самому не поддаваться им и не дать дреме овладеть и Щупленьким, Егоркин стал рассказывать сказку.

Молодой матрос слушал сказку внимательно, не спуская глаз с горизонта, но скоро глаза его начали словно бы застилаться туманом и веки невольно закрывались. В его ушах раздавался сиплый голос Егоркина, но слова пропадали...

Убаюканный сказкой, матросик задремал.

Вполне уверенный, что Щупленький слушает сказку, Егоркин продолжал описывать большущего крылатого змия, который загородил Бове-королевичу дорогу ко дворцу королевны Роксаны, как вдруг увидал влево от себя зеленый огонек встречного судна. Огонек быстро приближался.

— Кричим! — тихо сказал он товарищу, толкая его в бок.

И с этими словами крикнул, повернув голову по направлению к мостику:

— Зеленый огонь влево!

Крикнул и снова толкнул товарища.

Молодой матрос повторил этот окрик несколькими секундами позже. И голос его дрогнул. И сам он, очнувшийся от дремы, глядел в ужасе на зеленый огонек.

— Задремал! — упавшим голосом сказал он.

Егоркин сердито молчал...

Боцман уже подбежал к часовым.

Он ударил раза два по шее молодого матроса и проговорил, обращаясь к Егоркину:

— И ты хорош! Дал ему дрыхнуть. Теперь будет разделка! Черти! Одни только неприятности из-за вас.

— Злющий, может, и не заметил! — сказал Егоркин, видимо желая успокоить молодого матроса, бледное лицо которого, полное отчаяния, словно бы говорило ему, что он отчасти виноват. Что бы ему догадаться, что Щупленький заснул...

— Не заметил? — усмехнулся боцман...— А вот он и сам бежит сюда! — понизив голос, проговорил боцман...

Действительно, высокий и худощавый лейтенант с рыжими бачками и усами торопливо несся на бак.

Боцман отошел от часовых. Те повернули головы к океану.

Егоркин снова взглянул на Щупленького.

Тот сидел ни жив ни мертв. И только губы его вздрагивали.

Великая жалость охватила сердце Егоркина при виде этого тщедушного, мертвенно-бледного молодого матросика, который и прост, и «добер», и так хватает за душу, когда играет на гармонике.

И он чуть слышно сказал ему резким, повелительным тоном:

— Злющий запросит — ты молчи!.. А не то искровеню. Понял? — угрожающе прибавил он.

Ничего не понявший и изумленный этим угрожающим тоном матросик испуганно ответил:

— Понял...

В эту минуту сзади над головами часовых раздались ругательства, и вслед за тем лейтенант спросил своим слегка гнусавым высоким голосом:

— Кто из вас двух, подлецов, позже крикнул?

— Я, ваше благородие! — отвечал, поворачивая голову, Егоркин.

Щупленький только ахнул.

— Ты, пьяница? Ты, старая каналья, спал на часах?

— Точно так. Задремал, ваше благородие.

— Эй, боцман! Дать ему завтра пятьдесят линьков, чтобы он вперед не дремал!..

И лейтенант торопливо ушел с бака и поднялся на мостик.

— Левонтий?.. Это как же... За что? — дрогнувшим голосом начал было Щупленький.

Взволнованный и умиленный, он продолжать не мог, чувствуя, что слезы подступают к горлу...

— Сказано: молчи да гляди вперед! — ласково ответил Егоркнн.

И после паузы прибавил:

— Мне пятьдесят линьков наплевать. Я н по двести принимал, а ты?.. Ты ведь у нас Щупленький... Тебя пожалеть надо!.. А должно, праход идет!..— круто оборвал он речь.

Действительно, скоро в полусвете лунной ночи вырисовался силуэт большого океанского парохода с тремя мачтами.

Через четверть часа он уже попыхивал дымком из своей горластой трубы, приближаясь навстречу, окруженный серебрнстым поясом сверкавшей воды.

Оба часовые глядели на проходивший пароход молчаливые.

Щупленькнй утирал слезы. Лицо Егоркина, обыкновенно суровое, светилось какою-то проникновенной задумчивостью.

А месяц н звезды, казалось, еще ласковее смотрели с высоты бархатистого темного купола.

И старик океан, казалось, еще нежнее рокотал в эту чудную тропнческую ночь, бывшую свидетельницей великой любви матросского сердца.

1899

ОТЧАЯННЫЙ

(Рассказ из морской жизни)

I

На Траизундском рейде, где практическая эскадра балтийского флота простаивает большую часть короткого лета, стоял бронеиосиый корабль «Грозящий» под флагом младшего флагмаиа, контр-адмирала почтениых лет, который «выплавывал» свой цеиз иа старшего флагмаиа и чни вице-адмирала.

Был первый час пасмурного и прохладного дня в конце нюня.

Матросы только что отобедалн иа судах эскадры. Боцманы просвистали и выкрикнулн:

— Команда, отдыхать!

Мннут через пять боцман «Грозящего» Ждаиов отхлебывал чай, попыхивая папироской, в своей малеиькой каютке иа кубрнке, чистой и убраниой ие без претензии иа щегольство.

Фотографнн высокопоставленных особ, отца Иоанна Кронштадтского и командира «Грозящего» в краснвых выпиленных рамках, сделаииых одиим матросом за «спаснбо» боцмаиа, были развешаны в соответствующем порядке на переборке против койки, аккуратио покрытой серым байковым одеялом, с двумя взбитымн подушкамн в белых наволоках в изголовье.

А над койкой, на дешевом ковре, красовался в голубой рамке с нарисоваииыми иезабудками фотографический кабинетиый портрет молодой женщины с миловидным лицом и топориой фнгурой, с растопыренными пальцамн иепомерно большнх рук, выставлеииых, несомиенно, радн колец, с брошкой иа короткой шее и с серьгами в ушах.

Нечего н говорить, что эта дама в нарядном платье

и в шляпке с перьями была супругой боцмана Жданова.

Он ничем не напоминал боцманов старого времени, этих смелых моряков, свершавших геройские поступки, не догадываясь о своем геройстве, отчаянных ругателей, бесшабашных пьяниц на берегу и огрубелых, но не злых, которые не чуждались таких же бесправных матросов, как и они сами, и, разумеется, считали их товарищами и «кляузы» по начальству считали делом, недостойным боцмана.

К тому же и знали, что матросский линч усмирит боцмана, коли он несправедливый и зверствует в «бое».

Жданов — боцман новых времен и, разумеется, несравненно культурнее.

Это был молодой человек лет тридцати, невысокого роста, плотный, склонный к полноте, франтовато одетый, понимающий «обращение» и не говорящий грубым голосом «луженой глотки», с большими круглыми глазами, усердными и решительными, рыжий, с веснушчатым белым румяным лицом, серьезным и самодовольным, выстриженный под гребенку и с небольшой подстриженной огненной бородой. На одном пальце опрятной руки — золотое обручальное кольцо, и на мизинце — перстень с бирюзой.

Разумеется, он не пил ни водки, ни вина. Иногда только «баловался» бутылкой пива. И без устали не сквернословил, как виртуоз, а ругался тихо, внушительно и кратко.

Тщеславный и самодовольный, он, казалось, весь был проникнут сознанием своего достоинства и держал себя в отчуждении от матросов, чтобы не уронить престижа власти, «связавшись» с необразованной и грубой «матрозней», которая могла бы забыться перед боцманом и притом перед человеком «других понятий». Недаром же он получал газету «Свет», почитывал книжки и считал себя очень умным и проницательным боцманом, который устроит благополучие своей жизни.

С матросами он обращался с внушительной строгостью и был беспощаден, особенно с провинившимися перед дисциплиной, и противоречий не допускал. Зато с офицерами был почтителен до искательности.

Морскую службу Жданов не любил. Особенно не любил и трусил моря, когда оно начинало рокотать и вздувалось большими волнами; но был безукоризненный исполнитель и усердный боцман, щеголявший своим педантизмом и безупречным поведением в глазах начальства.

И Жданов, пользуясь своим положеннем, не разбирал средств в прнобретении. За шесть лет службы он скопил деньжонкн. Прижнмнстый н оборотистый, он рассчнтывал заняться каким-ннбудь торговым делом, когда выйдет в запас.

Матросы боялнсь н не любилн высокомерного и несправедлнвого боцмана, но он не обращал на это внимания. Жданов был уверен, что капнтан н старший офнцер ценят н одобряют строгого боцмана. Да н матросы не смелн бы жаловаться на него. Онн былн «надежные», да н он их держал в строгом повинновеннн.

Однн только матрос, первую кампанню служнвшнй на «Грозящем», обращал на себя беспокойное и озлобленное вниманне боцмана.

«Совсем отчаянный!» — подумал Жданов.

Он, разумеется, знал, что во время отдыха команды не нмел права без особенной нужды беспокоить матросов, но потребовал Отчаянного.

II

Когда молодой, худощавый, чернявый матрос маленького роста вошел в боцманскую каюту н без всякого страха остановился у дверн, боцман уж начинал беспокойно злнться.

Он медленно допнвал стакан, умышленно не обращая вннмания на матроса.

И наконец, подняв на него злой неподвнжный взгляд и поннжая голос, значнтельно н медленно проговорил:

— Мнтюшин!

— Есть!

— Догадался, по какой прнчнне боцман тебя потребовал?

— Я недогадлнвый! — ответил Митюшин.

Матрос не назвал боцмана Иваном Артемьевнчем. Не вытянувшнсь перед ннм, он стоял в непрннужденной позе. Его смуглое с тонкнми чертамн лнцо, обыкновенно подвнжное, словно бы застыло в его серьезном и строгом выраженнн. В сдержанном официальном тоне мягкого тона голоса как будто звучала нроннческая нотка, н в быстрых, острых, черных глазах Митюшнна мелькнула насмешлнвая улыбка и исчезла.

«Ишь как стонт перед боцманом!» — подумал Жданов.

И, сдержнвая гнев, самолюбнво покраснел н сказал:

— Так догадайся.

— Насчет чего?

— Хотя бы насчет того, что я насквозь вижу человека и могу его понять.

Митюшин молчал, словно бы поддразнивая боцмана.

— Сообразил?

— Видно, не сообразил!

— А еще много воображаешь о себе! — презрительно кинул Жданов.

Митюшин не возражал. Только глаза улыбнулись, верхняя тонкая губа в углу рта подергивалась, и лицо приняло вызывающее и слегка надменное выражение.

Боцман чувствовал едва скрываемое пренебрежение к себе матроса.

С каким наслаждением искровенил бы он эту «дерзкую рожу»! Но Жданов трусил Отчаянного. От него всего можно ожидать.

Изнывая в злобе и едва сдерживаясь, боцман еще медленнее «пытал» Митюшина, процедив с угрозой в скрипучем своем голосе:

— Как бы не вышло с тобой серьезных неприятностей!

Митюшин словно бы нарочно зевнул с видом человека, которого не пугают угрозы боцмана, а только наводят скуку, и равнодушно спросил:

— Какие еще неприятности?

— Дурака не строй... Не дерзничай... Ты с кем говоришь?

— С боцманом.

— Так смотри же у меня! — грозно крикнул Жданов, начиная терять самообладание.

— Что мне смотреть?

— Я тебе покажу, какие боцмана!

— Что показывать? Видел, какие из вас боцмана... А службу я сполняю как следует и закон понимаю.

— По-ни-ма-ешь? — выговорил раздельно боцман, багровея.

— Очень даже понимаю! — вызывающе бросил матрос.

Жданов вскочил, словно ужаленный, с табуретки и задыхающимся злобным голосом проговорил:

— Разве не знаю, какой ты отчаянный матрос и какие твои беззаконные мысли?.. О каких ты правах толкуешь матросам и перед ними куражишься?.. «Я, мол, все понимаю и ничего не боюсь, а вы, мол, терпите беспрекословно...» Знаю, какой ты пересмешник выискался

и смехом порочишь иачальство, которое почитать обязаи по прнсяге. Так я с тебя этот форц собью. Поставлю в дисциплину на линию. В штрафные недолго перевести, хоть ты и первой статьи матрос. А тогда и по закону будут тебя пороть, умника. А прежде и без закона отполируют, как доложу, какой ты есть паршивая овца. Узнаешь, как буитовать и команду мутить...

Матрос вспылил н с заблестевшими злым огоиьком глазами взволиоваиио проговорил:

— Что ж! Доиосн по иачальству... ври!.. Я найду свои права!

— Молчать перед боцмаиом!..

— Я слушал твон умиые речи. Послушай н мон! — решительио и возбуждеиио заговорил Митюшии.— Мы ведь с глазу на глаз. Может, и ие слыхал от людей, какой ты бесстыжий н какой взяточинк, боцмаи... Доиоси, господин боцмаи. Пусть меия отдадут под суд, с монм удовольствнем... Не сдрейфлю! Быть может, правда всплывет, как ты с матросов деиьги берешь да на себя заставляешь нх работать. Кто стул, кто обшить, кто сапог, кто тебе заместо вестового... Драться прав иет, а вы, сволочь, боцмана да унтерцеры, зубы выбиваете... Знаете, что боятся жаловаться, так вы тиранствуете?! И как бы деньгами где поживиться... Это тебе вместо бога... Бог-то только на языке, а в душе одии рупь-целковый да беззаконие! И как я ежели говорю, что на закон плюют н совесть забыли,— так я, по твоему воображеиню, бунтовщик? Ежели поинмаю, что неправдой живете, так это бунт?! Свой же брат, такой же подневольный мужик был, а грознт в штрафные да пороть... Полагаешь — нспугать и на лиииию поставить. Умник. Насквозь человека видишь, а ие вндишь, что не всякнй свииья н за грош душу ие продаст. Да н старшему офнцеру, видно, не в догадку, какой ты во всей форме мерзавец.

Этот великолепный и благополучный боцман, считавший себя необыкиовенно важной особой на корабле, ахнул от нзумлеиия и, растерянный, не останавливал дерзких слов возмущениого матроса.

Но прошла минута, и Ждаиов двниулся к матросу, помахнвая кулаком.

Побледневший как смерть Митюшни не подался шагу назад и, решительно глядя в глаза боцмаиа, крнкнул:

— Смей только. Искровеню твою сытую свиную морду!

И Жданов отвел свой взгляд. Кулак боцмаиа опустил-

ся. И еще медленнее прохрипел он сдавленным от злобы голосом:

— Поймешь, как найдешь свои права! Узнаешь, что с тобой, отчаянным, будет за оскорбление боцмана... Вон!

— Доноси, иуда! Как бы самому не поперхнуться... Не все же поверят, что ты бунт открыл! — презрительно кинул матрос...

С этими словами Митюшин вышел из боцманской каюты.

III

И матросы называли Митюшина «Отчаянным».

Они дивились «башковатому» и беспокойному маленькому матросу, который «ничего не боится», так как горячится против несправедливости и «обижается», если что не по закону.

Матросы любопытно слушали возбужденные страстные речи, но недолюбливали и побаивались «законника» за его подчас ядовитые шутки и насмешки и часто не понимали, из-за чего «кипятится» этот образцовый по службе матрос и за что постоянно «скалит зубы» над своим же братом.

— Одно слово — отчаянный и много о себе полагает! — говорили про Митюшина.

Отчаянный чувствовал, что его алчущая правды душа не встречает сочувствия и что он, нелюбимый за язык, одинок.

И все-таки призывал возмущаться неправдой, издевался над равнодушными.

Теперь в беспокойном сердце Отчаянного прибавилась обида, и тяжкая обида. Нашелся матрос, который на своего же брата наушничал «подлецу» боцману — и за что? За то, что Митюшин матросам же хочет добра, защищая «закон»!

Митюшин знал, что против дисциплины виноват, «отчекрыжив» боцмана, и что, во всяком случае, будет «разделка». «Пожалуй, и под суд отдадут, ежели подлый боцман прибавит старшему офицеру всякого вранья и кляуз!» — рассуждал Митюшин.

И в минуты сомнения насчет торжества правды его воображение рисовало уже нещадную оскорбительную порку «по закону» после перевода в штрафные.

Но Отчаянный не только не сожалел о случившемся, а, напротив, испытывал нравственное облегчение. Острое беспокойство возмущенной души точно утихло после того, как боцман получил вполне им заслуженную сдачу.

«По крайней мере пусть знает, какой он подлец!»

Митюшин предполагал, что боцман уже докладывает старшему офицеру об «отчаянности» подчиненного и после отдыха старший офицер позовет к себе и потребует объяснения.

Отчаянный нетерпеливо и тревожно ждал призыва. И думал:

«Хотя старший офицер и строгий, но позволит обсказать все дело и тогда поймет, что исправный и усердный по службе матрос, который ни разу еще не был беззаконно наказан, не в отместку за себя «сдерзничал» боцману. И какой же Митюшин бунтовщик, если он только «беспокоится» из-за закона и подлости боцмана?»

Отчаянный не спал. Не до сна ему было.

Он повторял в уме то, что объяснит старшему офицеру, настроенному боцманом, и смелость Отчаянного диктовала смелые слова. Они, казалось ему, должны быть так же убедительны, как сама правда.

И сомнения рассеивались, как тучи ветром. Беспокойному мечтателю-матросу верилось, что правда «окажет» и что старший офицер «полным ходом войдет в понятие».

Митюшин вспомнил, что до сих пор его не обескураживали на «Грозящем».

Действительно, он завоевал себе некоторое уважение.

На «Грозящем» были офицеры, которые напоминали старые времена флотской «выучки». Она, казалось, снова входила в моду, и даже юные мичманы наскакивали с кулаками на людей и не испытывали ни малейшего смущения.

Но все эти господа, по-видимому, понимали, что Митюшин выделялся из толпы матросов и сознанием человеческого достоинства, и пониманием своих прав. И потому закон оберегал неприкосновенность его тела. Да к тому же толковый и усердный матрос безукоризненно служил и не давал повода офицерам к «выучке».

Час отдыха прошел. Просвистали «вставать».

Вслед за тем пробила тревога к артиллерийскому учению.

На мостик поднялся толстый, небольшого роста адмирал, с седой бородой, обрамлявшей добродушное полное лицо, довольный и ласково улыбающийся, каким привыкли все видеть младшего флагмана, когда он «выплавывал» свой ценз для увенчания его морской карьеры на якоре и, следовательно, не опасался за целость его броненосцев,— ведь эти великаны требуют искусного управления, и они часто «напарываются» на камни или приткаются к мелям.

Адмирал смотрел на ученье, и маленькие добрые глаза его превосходительства принимали выражение мечтательного восторга при виде этих быстро заряжаемых гигантов орудий, точно адмирал представлял себе настоящий бой, насколько могло представить воображение человека, не бывавшего в боях, и — «Грозящий», натурально, победителем какого-нибудь «торгаша англичанина».

— Превосходно-с, Виктор Иваныч! С особенным удовольствием смотрю на наших молодцов... Картина-с,— проговорил адмирал, обращаясь к капитану, стоявшему чуть-чуть сзади его, и приподнял голову, и молодцевато выгнул грудь, чтобы казаться более высоким и более воинственным.

Пожилой, плотный и представительный брюнет среднего роста, озабоченно и несколько беспокойно глядевший на ученье, приложил пальцы к козырьку фуражки и чуть подался вперед.

— Я и мечтаю-с, Виктор Иваныч... И как думаете, о чем?

— Не догадываюсь, ваше превосходительство!

— О том, что объяви нам Англия войну, так с такими матросиками, как наши, да с таким духом, как у нас,— раскатали бы мы англичан... Главное — дух... Что-с?

— Наверное, ваше превосходительство! — ответил капитан.

И в то же время, сохраняя почтительно официальный вид хорошо вышколенного подчиненного, подумал:

«Не то говоришь ты, адмирал! Нам не сунуться в море. Спрячем свой флот в Кронштадт, и простоит он там! И теперь больше стоим, чем плаваем».

На это капитан, впрочем, не претендовал.

Как и адмирал, он не любил плаваний, которые так издергивали нервы осторожного до боязливости человека,

не уверенного ни в себе, ни в тех судах, которыми командовал, пока благополучно «выплавывая» ценз.

Командовал «Грозящим» он только два месяца и, разумеется, не знавший его качеств (раньше он управлял броненосцами другого типа), был доволен стоянкой в Транзунде и, не без страха ответственности за свой семимиллионный броненосец, думал о переходах по Финскому заливу. Того и гляди... беда.

— Как фамилия этого комендора, Виктор Иваныч? — спросил адмирал, указывая коротким белым и пухлым пальцем на Отчаянного, распоряжавшегося у орудия.

— Митюшин, ваше превосходительство.

— Бравый комендор... Любуюсь им, Виктор Иваныч!

— Усердный матрос, ваше превосходительство... Не правда ли, Иван Петрович?..

Старший офицер, длинноногий и худой капитан второго ранга лет за тридцать, в очках, с академическим значком на груди поношенного сюртука, озабоченный, раздражительный и несколько ошалевший, точно человек, что-то позабывший, и своей фигурой, и удлиненной формой лица, с длинным носом и круто срезанным лбом, напоминал собой болотную птицу.

Он порывисто подтвердил аттестацию капитана и, обращаясь к адмиралу, прибавил:

— Умный и способный матрос, ваше превосходительство!

— А поведения?

— Благонадежного, ваше превосходительство.

— Значит, не «закатывает»? — добродушно спросил адмирал и рассмеялся тихим мелким смехом.

— Трезвый...

— Так сделали бы его унтер-офицером! — в форме совета промолвил адмирал.

— Он уж на виду к производству... И боцман бы вышел хороший, ваше превосходительство.

— То-то я сразу заметил матроса... И лицо открытое...— промолвил адмирал.

Когда артиллерийское учение было окончено, старший офицер подошел к Митюшину и сказал:

— Молодцом, Митюшин! И адмирал тебя заметил.

— Слушаю, вашескобродие! — вымолвил матрос вместо обычного ответа: «Рады стараться».

— Старайся. Унтер-офицером будешь!

По-видимому, это обещание не обрадовало Отчаянного. Он промолчал, и когда старший офицер пошел далее,

выступая длинными ногами и поворачивая по сторонам голову, Митюшин усмехнулся и мысленно произнес:

«Нашел Цапель унтерцера! Какова еще будет разделка за боцмана!»

«Верно, вечером, когда боцман пойдет к старшему офицеру за приказаниями, оплетет он матроса, и тогда Цапель потребует»,— подумал Митюшин.

Но прошел вечер, матросы отужинали, а Митюшина старший офицер не требовал.

V

Неизвестность тревожила Митюшина. Ему хотелось с кем-нибудь поделиться сомнениями и услышать слово одобрения.

И он в тот же вечер рассказал о своем столкновении с боцманом рулевому Чижову. Он был аккуратный, исправный и обходительный человек. Себя он не «оказывал», как говорил Митюшин, так как Чижов больше отмалчивался при щекотливых словах Отчаянного на баке или уходил. Но, казалось, понимал его и как-то с глазу на глаз одобрил его слова насчет «закона», хотя и умел в то же время ладить с боцманом Ждановым.

Рассказ Митюшина не вызвал сочувствия в Чижове. Он покачал белобрысой головой, словно бы сокрушенно, и, оглянувшись вокруг лукавыми раскосыми глазами, тихо проговорил:

— Твое дело дрянь, Митюшин... Крышка!

— Будто? — недоверчиво спросил Митюшин.

— Очень даже просто. Напрасно ты оконфузил боцмана. И безо всякого права. Ведь с тобой он обращался поблагородному?

— Положим...

— В физиономию не заезжал? Боцманских слов не загибал?

— Смел бы!

— Он только почтения требовал... Так чего было с им хорохориться?.. И довел до злобы... Зачем ты связался с боцманом и отчекрыжил, какой он такой... По какому твоему форцу?.. Зачем беду накликал? — сентенциозно, не одобряя поступка Митюшина, прибавил Чижов.

— Зачем? — переспросил Отчаянный.

В его насмешливом голосе звучала грустная нотка разочарования в человеке, на которого надеялся.

— То-то зря... Форц хотел показать боцмаиу... себя потешить? Ну и потешился, а какой прок? Боцмаиа ие обаикрутил, а себя зря обвииоватил. Небось боцмаи с рассудком... Он во всей форме обуродует тебя по иачальству... Ответь-ка насчет буита... Вроде быдто буит и окажет...

— И отвечу! — возбуждеиио промолвил Отчаяииый.

— Ответишь? Отдадут тебя под суд и в штрафиые — это как бог!

— Пусть! — раздражеино, возмущаясь Чижовым, ответил Митюшии.

— Пусть не пусть, а из-за фаиаберии отдуешься... Насчет закоиа горячишься... Права, мол, имеешь? Тебе покажут права... И тебя же люди дураком иазовут... Не суйся, мол, в чужую глотку... Мог бы за башковатость и старание в унтерцеры выйти... Ладил бы с начальством и жил бы по-хорошему, с опаской. А теперь за твое мечтаиие — крышка... Старший офицер строгий, ие простит, потому— иеповиновеиие. За это не прощают. Не думай. И как пойдет опрос, дозиаются, что ты иасчет закона да про всякое иачальство баламутил из-за своего языка... Не стесиялся своего зваиия... Вовсе как дурак втемяшился... А жил бы да жил, Митюшин, как прочие люди, если бы боцмана не оконфузил...

Отчаяииый молчал, словно бы ие иаходил слов, и, казалось, был подавлен.

И Чижов, подумавший, что Отчаяиный струсил, прибавил:

— Одиа есть загвоздка... Избавился бы от беды...

— Какая?

— Повинись пред боцманом. Тоже и ему не лестно, как в суде его обскажут... Пожалуй, простит... А тебе что?..

Отчаяииый серьезио ответил:

— Ай да ловко уважил! Спасибо, приятель!

— За что?.. Куда ты гиешь?

— Вполне открылся, какой ты есть, с потрохами!

— Видно, ие иравится, что обо всем полагаю с рассудком?

— Даже с большим рассудком — обессудил меия дураком...

— Не лезь иа рожои. Не полагай о себе... Помии, что матрос.

— А поклонись я боцману и выйди в унтер-офицеры да беззакоиио чисти твою лукавую рожу, так поумиею?

Обскажи-ка! — с презрительиой насмешкой промолвил маленький матрос.

— Ты все зубы скалишь!..

— А как же с тобой?

— В штрафиые, что ли, лестио?

— Беспремеиио желаю. Оттого и зубы скалю!

— Перестанешь! — злобно сказал Чижов.

— И скоро?

— Хоть завтра пройдет твоя отчаянность!

— По какой такой причииe?

— Отшлифуют иа первый раз за боцмана. Небось прошлое лето выпороли одиого матроса и перевели в штрафиые... Очеиь просто!

Митюшии ужаснулся при мысли, что его завтра же могут позорно иаказать, и возмутился, что свой же брат, матрос, точио злорадствует позору ближиего и беззаконию.

Но в темноте вечера у борта иа баке, где два матроса беседовали, Чижов не видал бледиого, взволиоваиного лица и сверкающих чериых глаз Отчаянного.

— Пусть шлифуют! А ты смотри! — вызывающе кииул он, скрывая свой ужас.

Чижов удивился:

— И с чего это ты такой отчаяиный? Не могу я в толк взять...

— Ветром иадуло...

— Где?..

— На фабрике.

— Так. А иа царской службе тоже, зиачит, иадуло? — ироиизировал Чижов, чувствуя себя оскорбленным тоиом Отчаянного.

— Верио, что так...

— Чудио что-то...

— Видно, ие слыхал, что люди тоскуют по правде? — вдруг воскликиул Митюшии.

Чижов иедоверчиво усмехиулся.

— То-то ие понять! Душа в тебе свиная, а рассудок подлый... Еще рад, что матроса отпорют без всякого закона! Думаешь: только больно, а ие то, что позорно и обидио... И что присоветовал?.. Совесть-то в деревне оставил... А я полагал, что ты хоть и трус,— все-таки с понятием втихомолку! — негодующе прибавил Митюшии, возвышая голос.

— Ты что же ругаешься? Это по каким правам?

— Вали к своему боцману... Виляй свиным своим

хвостом и обсказывай. Может, и ты ему про меня кляузничал... Так заодно...

— Усмирят тебя, дьявола отчаянного!

И Чижов, полный ненависти к нему, отошел.

Роздали койки. Митюшин долго не засыпал, думая грустные думы.

С полуночи он вышел на вахту и мерно шагал по палубе, ни с кем не заговаривая; он снова думал, одинокий, тоскующий, как вдруг к нему подошел матросик-первогодок.

Митюшин остановился.

— Что тебе? — спросил он.

Матросик застенчиво и душевно проговорил, понижая голос до шепота:

— А тебя, Митюшин, господь вызволит из беды за твою смелость. Я хоть и прост, а понял, отчего ты тоскуешь. Из-за правды тоскуешь. Из-за нее проучил боцмана! Жалеешь матроса, беспокойная ты душа!

— Спасибо на ласковом слове, Черепков! — горячо и взволнованно проговорил Митюшин.

И смятенная его душа просветлела.

Отчаянный вдруг почувствовал, что он не одинок.

VI

Утром, когда на «Грозящем» шла обычная уборка, боцман Жданов был еще неприступнее и ходил по кораблю, словно надутый и обозленный индюк.

Сегодня боцман наводил больший страх на матросов. Более чем обыкновенно, он сквернословил, придираясь из-за всякого пустяка, и несколько матросов прибил с хладнокровной жестокостью, не спеша и молча.

Отчаянный волновался.

Одному матросу, у которого из зубов сочилась кровь, он возбужденно и громко сказал:

— Что ты позволяешь этому зверю боцману тиранствовать над собой? Он не смеет драться!

Матрос молчал. Притихли и другие матросы, стоявшие вблизи. Притихли и любопытно ждали, что будет. Боцман стоял в двух шагах и слышал каждое слово Отчаянного.

Но Жданов только бросил на Митюшина беспощадный злой взгляд и пошел далее, великолепный, строгий и высокомерный.

«Сегодня будет разделка!» — решил Митюшин.

Действительно, за четверть часа до подъема флага

«Отчаянный»

вестовой старшего офнцера вприпрыжку подошел к Митюшнну.

— Старшнй офнцер требует в каюту! — проговорил иевеселым тоном вестовой.

И, поннжая голос, участлнво скороговоркой прибавил:

— Освнрепел... страсть! Сей мннут боцман был у Цапеля и иа тебя, Митюшии, кляузиичал... Я заходнл в каюту н слышал, как боцман против тебя иастранвал. Так ты зиай!

— Спаснбо, брат! — порывисто проговорнл Мнтюшнн.

— А первым делом помалкивай... Слушай н ие прекословь. Как отзудит, тогда обсказывай: так, мол, и так! Дозволит!

Мнтюшнн, слегка побледиевший н возбужденно припоминая смелые слова, которые хотел сказать, быстро спустился в кают-компаиию.

Там снделн почти все офнцеры корабля вокруг большого стола за чаем.

Прн появлеиии Отчаяииого оживлениые разговоры и споры вдруг стнхли.

В кают-компанни только что узналн, что этот нсправиый и способный матрос осмелился «бунтовать» н ругать при матросах даже самого адмирала. А боцмана чуть было не ударил.

И многне офнцеры нзумлеинымн и беспощадными глазамн оглядывали малеиького смугловатого матроса с «дерзкнмн» глазами, который решительно н смело шел, иаправляясь к каюте старшего офицера.

— Экая наглая скотнна! Тоже, агнтатор на воеином корабле! — презрнтельио восклнкиул один юный пригожнй мнчман.

— Не ругай человека. Не по-джентльменскн! Да еще не в отместку ли наговорил боцмаи. Нельзя ему доверять! — пронзиес по-французски высокий, с открытым добродушным лнцом, брюнет мнчман, обращаясь к товарищу укоризненно.

Мнтюшнн догадался, что речь о нем. Он знал, что брюнет был «добер» с матросамн н «поннмал закон».

Отчаянный бросил иа мичмаиа быстрый, сочувственный взгляд, точно благодарил едннствеииого защитннка, и без всякой робостн постучал в двери каюты старшего офицера.

— Входн!

Матрос вошел в просторную, светлую одноочную каюту и, остановнвшись у запертой им двери, побледнел н, строго серьезиый, напряжеиио глядел иа старшего офицера.

Слова, которые хотел сказать Отчаянный, словно бы исчезли из его головы в первую минуту.

Худощавый и высокий, Иван Петрович сидел у письменного стола, согнувши свои длинные ноги, и, гневный, с сверкавшими под очками серыми глазами, взволнованно и торопливо делал затяжки из толстой папиросы и неистово теребил костлявыми и длинными пальцами жидковатую русую бороду.

При взгляде на Митюшина, не имевшего виноватого вида, небольшие глаза старшего офицера расширились от изумления при такой, казалось, наглости матроса. И Иван Петрович уставился на Отчаянного, словно бы первый раз в жизни увидал и хотел рассмотреть такого опасного негодяя, который совершил неслыханное нарушение дисциплины и обнаружил возмутительные понятия.

Не роняя слова, старший офицер все более возмущался, отдаваясь гневу.

Так прошло несколько секунд.

Матрос не опускал глаз.

VII

— Ты вот какой! — наконец начал Иван Петрович, окончив папиросу.— Русский матрос нарушил присягу... Да... Присягу и совесть! Подстрекал матросов к неповиновению предержащим властям... Опорочил боцмана, ругал его и грозил оскорблением действием!.. Осмеивал начальство! А я еще хотел произвести в унтер-офицеры. Думал, что ты... Под суд... Будешь в морской тюрьме.

Митюшин не верил ушам, когда узнал, в чем его обвиняет и чем угрожает старший офицер, поверивший боцману.

— Вашескобродие! Дозвольте объяснить!

— Молчать! — крикнул старший офицер.

Митюшин смолк; казалось, положение его безнадежное... Старший офицер продолжал говорить и, взвинчивая себя гневом, уже грозил, что за подобное преступление присудит в арестанты.

— Под арест! На хлеб и воду! И если еще кому-нибудь дерзость — выпорю! — закончил старший офицер.

Гнев его в ту же минуту стал утихать... точно грозовая туча разразилась. И он словно смутился, когда мог увидать в этом бледном, страшно серьезном лице «преступника» страдальческое выражение и в глазах что-то тоскливое, словно бы полное укора и в то же время смелое.

— Вашескобродие! Дозвольте объяснить! — снова начал Митюшин.

— Что можешь объяснить? Боцман все доложил, какой ты гусь...

— Боцман, вашескобродие, оболгал меня!

— Ты врешь... Разве боцман станет клеветать на матроса?

— Я бога помню, вашескобродие, и не вру! Боцман в отместку накляузничал, и вы изволили поверить... На суде правда окажет, вашескобродие...

Лицо Отчаянного дышало такой правдивостью и голос звучал такой искренностью, что матрос уже не казался «преступником», заслуживающим тяжкого наказания, и строгий офицер невольно смягченным тоном спросил:

— Ты ругал боцмана и грозил побить?..

— Точно так, ваше благородие!

— Разве боцман тебя теснил? Ведь с тобой все хорошо обращались?

— Точно так, вашескобродие. Боцман не теснил, и все со мною обращались по закону...

— Так почему же ты оскорбил боцмана?

— Он тиранствует над матросами, вашескобродие, и нет ему узды. Вам неизвестно, какой он взяточник и как бьет людей... И когда он поднял на меня кулаки в своей каюте, я не позволил... Сказал, что дам сдачу... Каждый это скажет, если доведут... Закона нет драться и оскорблять. И матрос может чувствовать. За дерзости я виноват, вашескобродие. Но не бунтовал и не подстрекал к неповиновению. Я только говорил матросам, что по закону нельзя драться, что надо жить по правде и по совести. Это разве бунт?

Митюшина словно бы захлестнула какая-то волна. Он возбужденно и страстно в подробности рассказал о столкновении с боцманом и отчего не может уважать такого бессовестного человека, из-за которого безвинно терпят матросы и не смеют жаловаться из боязни, что правда не всплывет и правые останутся виноватыми. Он говорил, как нудно из-за этого служить. А ведь закон для всех... Исполняй закон, и не было бы людям обиды.

— Но ты-то что за защитник закона? Кто тебе позволил?

— За правду беспокоюсь, вашескобродие!.. Говорил, что матрос не должен позволять, чтобы его били.

— И начальство бранил?

— Точно так. Случалось, осуживал, вашескобродие.

— За что ж ты смел судить?

— Каждый человек смеет судить по своему понятию, вашескобродие... Я и осуждал, что господа офицеры должны давать пример закона, а они дерутся, и нет им... Вот и весь был мой бунт.

— И меня бранил?

— Случалось, вашескобродие! — правдиво вымолвил Отчаянный.

— За что?

— За то самое, вашескобродие!

— Ты взаправду отчаянный! — промолвил старший офицер, но возмущенного чувства в нем уже не было.

Он задумался и находился в смятенном настроении человека, которого внезапно выбили из колеи.

Пронеслось что-то светлое, когда и он в дни юности беспокоился за правду... Сам безупречно честный, он возмущался боцманом, о проделках которого и не догадывался и которым начинал верить. Изумлялся Отчаянному и понимал, что он не бунтовщик, но, во всяком случае, беспокойный матрос и заслуживает наказания за нарушение дисциплины, и такой матрос будет заводить «истории». Если отдать его под суд, то, наверное, переведут в штрафные, и будущность человека испорчена. Да и обнаружится многое, что делалось на «Грозящем», и будет неприятно для старшего офицера и капитана.

Иван Петрович считал себя справедливым. И в голову его пришла мысль, что, по совести, следовало бы отдать под суд боцмана, если все, что говорил Митюшин, подтвердится дознанием. Но боцман был отличным исполнителем и лишиться такого человека неприятно для старшего офицера. И главное, снова на суде вынесется тот «сор», который выносить боится начальство, а Иван Петрович боялся всякого начальства, так как думал о своем благополучии. Да и отдавая боцмана под суд, старший офицер обнаружил бы свою вину. Как он не знал таких беззаконий и служил с боцманом две кампании?

В конце концов старший офицер, раздраженный, что на «Грозящем» из-за матроса вышли «такие неприятности» для него, и без того целые дни хлопотавшего без устали, запутался и не знал, что сделать с Отчаянным.

Прошла минута, другая. И наконец у старшего офицера явилось решение — замять все это дело. По крайней мере это казалось такому бесхарактерному человеку лучшим выходом.

И он сказал Митюшину:

— Я прощу твой проступок, если ты будешь просить прощения у боцмана... Мне жаль тебя... А я поговорю с боцманом... Понял?

— Понял, вашескобродие!

— Но только смотри, чтобы впредь ни гугу... не болтай, а то попадешь под суд и пропадешь... Не забудь этого... Какой бы ни был боцман — не твое это дело, а дело начальства... И не тебе о нем рассуждать... А если считаешь себя безвинно наказанным, можешь жаловаться по начальству!

Старший офицер думал, что спас Отчаянного и тот должен быть благодарен. В то же время «история» окончится. А боцмана он разнесет и ему пригрозит. Он перестанет драться и брать взятки...

Но Митюшин не только не обнаружил благодарных чувств, напротив, он был мрачен.

— Так ступай и под арест не садись!..

— Слушаю, вашескобродие... Но только...

— Что еще?

— Я не пойду просить прощения у боцмана. Если кого под суд, то следует его, вашескобродие...

— Молчать! Я прикажу тебя выпороть! — вспылил старший офицер.

— На то закона нет, вашескобродие! Прикажите прежде судить, вашескобродие! Правда окажет! — ответил Отчаянный и вышел из каюты.

VIII

Старший офицер одумался, и Отчаянного розгами не наказали.

Через день после дознания его отправили в Петербург, и Отчаянный был посажен в морскую тюрьму как подследственный. Осенью его перевели в госпиталь, и у него оказалась скоротечная чахотка.

В палате Отчаянный по-прежнему «беспокоился» за закон, тосковал по правде, говорил соседям больным горячие речи...

Он все еще ждал суда и надеялся, что там «правда окажет» и боцмана уберут.

Отчаянный так и не дождался. Перед Рождеством он умер.

1900

СМОТР

Морской рассказ

(Из далекого прошлого)

I

За иесколько лет до Крымской войны иа севастопольском рейде, словно замлевшем в мертвом штиле, стояла щегольская эскадра парусиого Чериоморского флота.

Палящая жара иачинала спадать. Августовский день догорал.

На полуюте флагмаиского трехдечиого корабля «Султаи Махмуд» под адмиральским флагом, повисшим иа фор-брам-стеиьге, маленький молодой сигнальщик Ткачеико не спускал подзорной трубы с Графской пристани, у которой дожидалась белая адмиральская гичка.

Адмирал приказал ей быть к семи часам, и время приближалось.

И как только иа судах эскадры колокола пробили шесть скляиок, в колоннаде пристани показался высокий, слегка сутуловатый, плотиый адмирал Воротынцев, крепкий и иеобыкиовеиио моложавый для своих пятидесяти семи лет, которые ои иазывал «средиим возрастом».

Ои глядел молодцом в сюртуке с эполетами, с «Владимиром» иа шее и Георгиевским крестом в петлице. Из-под чериого шейного платка белели малеиькие брыжи сорочки — «лиселя», как иазывали чериоморские моряки, иосившие их, отступая от формы, даже и в ииколаевские времеиа.

Быстрой, легкой походкой, перескакивая через две ступеиьки лестницы, с легкостью мичмаиа, адмирал спускался к гичке.

Офицеры, встречавшиеся с адмиралом, кланялись, сиимая фуражки. Снимал фуражку, отдавая поклоны, и адми-

рал. Матросам, останавливающимся с фуражками в руках, говорил:

— Зря не торчи, матрос. Проходи!

Сигнальщик с флагманского корабля увидал адмирала, со всех ног шарахнулся к вахтенному лейтенанту Адрианову и несколько взволнованно и громко воскликнул:

— Адмирал, ваше благородие!

— Где?

— Идет к гичке, ваше благородие!

— Доложи, как отвалит.

— Есть, ваше благородие!..

И через минуту крикнул:

— Отваливают, ваше благородие!

— Оповести капитана и офицеров.

— Есть! — ответил сигнальщик и побежал с полуюта.

Щеголяя своим сипловатым баском, лейтенант крикнул:

— Фалрепные, караул и музыка наверх, адмирала встречать!

Старый боцман Кряква засвистал и закончил команду руладой артистического сквернословия.

Здоровые на подбор гребцы на гичке наваливались изо всех сил, откидываясь совсем назад, чтобы сильнее сделать гребки, и минут через десять гичка с разбега зашабашила и, удержанная крюком, остановилась как раз кормой к середине решетчатой доски трапа.

— По чарке, молодцы! — отрывисто бросил адмирал, выскакивая из шлюпки.

И, видимо, довольный своими гребцами, сдобрил свои слова кратким комплиментом в виде своеобычного морского приветствия.

— Ради стараться, ваше превосходительство! — ответил загребной от имени всех красных, вспотевших и тяжело дышавших гребцов.

Адмирал не поднялся, а взбежал с маху мимо фалрепных, по двое стоявших у фалрепов на поворотах коленчатого высокого парадного трапа, и у входа был встречен капитаном и вахтенным начальником. Офицеры стояли во фронте на шканцах. По другой стороне караул отдавал честь, держа ружья «на караул». Хор музыкантов играл любимый тогда во флоте венгерский марш в честь Кошута.

И, словно бы избегая этих парадных встреч, отменить которые было неудобно, адмирал, раскланиваясь, торопливо скрылся под полуют, в свое просторное адмиральское помещение.

В большой светлой каюте, служившей приемной и столовой, с проходившей посредине бизань-мачтой, с балконом вокруг кормы и убранной хорошо, но далеко без кричащей роскоши адмиральских кают на современных судах, адмирала встретил вестовой, носящий странную фамилию Суслика, пожилой, рябоватый и серьезный матрос, с медной серьгой в оттопыренном ухе, в матросской форменной рубахе и босой.

Жил он безотлучно вестовым у Воротынцева лет пятнадцать. Но денег у Суслика не было, и он не пользовался своим положением адмиральского любимца вестового и пьянствовал на берегу с матросами, а с «баковыми аристократами» не водил компании.

— Снасть с меня убрать и трубку, Суслик! — не говорил, а кричал адмирал по привычке моряков, командовавших на палубе.

И он нетерпеливо расстегнул и сбросил сюртук, пойманный на лету вестовым, снял орден и размотал шейный черный платок.

В минуту Суслик снял с больших ног адмирала сапоги, подал мягкие башмаки и старенький люстриновый «походный» сюртук с золотыми «кондриками» для эполет. И тотчас же принес длинный чубук с янтарем, подал адмиралу и приложил горящий фитиль к трубке.

— Ловко... Отлично! — произнес адмирал сквозь белые, крепкие, все до одного зубы, закуривая трубку.

Он почувствовал себя «дома» в каюте, без «сиасти», удовлетворенно довольным и, развалившись с протянутыми ногами в большом плетеном кресле у стола, с наслаждением затягивался из трубки крепким и вкусным сухумским табаком по рублю за око[1], и по временам насмешливая улыбка светилась в его маленьких острых глазах.

Вестовой хотел было уйти, как адмирал сказал:

— Подожди, Суслик!

— Есть! — ответил Суслик и притулился у двери в спальную.

Адмирал молчал, покуривая трубку.

— «А то гаванскую сигару, адмирал?» — вдруг проговорил он, стараясь изменить и смягчить свой резкий голос, несколько гнусавя и протягивая слова, словно передразнивал кого-то.

[1] Три фунта. *(Примеч. автора.)*

Адмирал усмехнулся и уже продолжал своим голосом в добродушно-ироническом тоне:

— И марсалы не подавали за обедом у его светлости князя Собакина... Да-с... Высокая государственная особа-с приехала в наш Севастополь... Первый аристократ-с... Разговор на дипломатии... Одна деликатность... Гляди, мол, моряки, какие вы грубые и необразованные... И все го-сотерны, го-лафиты... А шампанское после супа пошло... А после пирожного тут же рот полощи... Аглицкая мода... Плюй при публике, а громко сказать неприлично-с... Понял, Суслик?

— Точно так, Максим Иваныч.

— Таких не видал, Суслик?

— Не доводилось, Максим Иваныч.

— Завтра покажу. Его светлость и дочка его приедут посмотреть корабль, и мы дадим завтракать... Да чтобы ты был у меня в полном параде... Понял?

— Есть!

— Чтобы чистая рубаха... Побрейся и обуйся. Нельзя босому подавать важной даме. Скажут: грубая матрозня! — не без иронии вставил адмирал и прибавил: — Да смотри, идол, рукой не сморкайся...

— Не оконфузю, Максим Иваныч! — уверенно и не без горделивости ответил Суслик.

И в черноволосой, коротко остриженной его голове промелькнула мысль:

«Ты-то не оконфузь своим языком!»

— Ты у меня вестовщина с башкой! То-то черти играли в свайку на твоей чертовой роже.

— Небось по своему матросскому рассудку могу обмозговать и марсалу завтра подам к столу, дарма что по-столичному не подают...

Адмирал засмеялся.

— Сметлив ты, Суслик, когда трезвый! — произнес он.

— Я только отпущенный вами на берег занимаюсь вином... И редко! — угрюмо и сердито промолвил вестовой, хорошо зная, как основательно он «занимается» во время редких отлучек на берег и какие бывали с ним разделки от адмирала, когда он, случалось, очень «намарсаливался».

— Ты, Суслик, не вороти рожи... Я к слову...

— Так прикажете принести графин марсалы, Максим Иваныч?

— Молодчина! Догадался, башка, попотчевать адмирала. Давай да попроси капитана.

Вестовой принес графин марсалы и две большие рюмки, поставил на стол и пошел за капитаном.

Адмирал налил рюмку, быстро выпил рюмки три и четвертую начал уже отхлебывать большими глотками, с удовольствием смакуя любимое им вино.

II

Осторожно и вкрадчиво, словно кот, вошел в адмиральскую каюту капитан, пожилой, толстый, круглый и сытый брюнет с изрядным брюшком, выдающимся из-под застегнутого сюртука с штаб-офицерскими эполетами капитана первого ранга, с волосатыми пухлыми руками и густыми усами.

Его смуглое, отливавшее резким густым румянцем, с крупным горбатым носом и с большими, умильными, выпуклыми черными глазами с поволокой лицо выдавало за типичного южанина.

Несмотря на необыкновенно ласковое и даже слащавое выражение этого лица, в нем было что-то фальшивое. Капитана не терпели и прозвали на баке «живодером греком».

Капитан, впрочем, называл себя русским и считал более удобным переделать свою греческую фамилию Дмитраки на Дмитрова и испросил об этом разрешение.

— Что прикажете, ваше превосходительство? — спросил, приближаясь к адмиралу, капитан почтительно высоким мягким тенорком и впился в адмирала своими полными восторженной преданности «коварными маслинами», как называли его глаза мичманы. Но прежде капитан предусмотрительно взглянул на графин — много ли уровень марсалы понизился.

— И что это вы, Христофор Константиныч, словно ученый кот, меня прельстить хотите... Я хоть и превосходительство, а Максим Иваныч. Кажется, знаете-с? — насмешливо и раздражительно выпалил адмирал.— Присядьте... Хотите марсалы? — прибавил он любезнее.

По-видимому, капитан нисколько не обиделся насмешкой адмирала. Напротив, приятно улыбнулся, словно бы остроумие адмирала ему понравилось.

«Лишняя лесть не мешает, как и лишняя ложка масла в каше»,— подумал «грек», никогда не показывавший неудовольствия на начальство.

И капитан, присаживаясь на стул, тем же льстивым тоном проговорил:

— Премного благодарен, Максим Иваныч... А что назвал по титулу — извините-с, Максим Иваныч... По привычке-с... Прежний адмирал не любил, чтобы его называли по имени и отчеству...

— А я не люблю, когда меня титулуют-с... И не благодарите-с. Хотите или нет-с марсалы?

— Выпью-с рюмку, Максим Иваныч... Отличное вино...

— Наливайте... Вино натуральное...— И, отхлебнув марсалы, прибавил: — Завтра у нас смотр, Христофор Константиныч.

Капитан изумился.

— Главный командир? — испуганно спросил он.

— Эка вы, Христофор Константиныч! Приезжай главный командир в Севастополь, давно бы у вас дрожали поджилки... К нам приедет в одиннадцать часов князь Собакин... Катер послать с мичманом!

— Его светлость?! — с каким-то сладострастием в голосе воскликнул облегченно капитан...— Почему его светлость пожелал осчастливить нас?

— А так-с. Взял да осчастливил!.. Захотел посмотреть и с дочерью... Она пожелала... И насчет этого князь в некотором роде-с стеснился... После обеда... Обед ничего, только марсалы не подавали-с... Отвел меня к окну и тихонько спрашивает: «Только удобно ли дочери, адмирал?»

— В каком это смысле, Максим Иваныч?

— Не сообразили, Христофор Константиныч? А еще командир корабля!..— насмешливо спросил адмирал.

— Не могу сообразить, Максим Иваныч...

— Поймете, как узнаете, что думает князь... А мне досадно, что этот брандахлыст, будь ты хоть разминистр и развельможа, боится везти замужнюю дочь на русский военный корабль. Аристократка,— скажите пожалуйста!.. Я спрашиваю, будто не догадываюсь: «Почему-с сомневается ваша светлость?» А он улыбается по-придворному — черт его знает как понять! — и наконец с самой утонченной любезностью прогнусавил: «Я слышал, милый адмирал, что на кораблях в ходу такой морской жаргон, что женщина сконфузится... Так не лучше ли не брать графиню?» Поняли, Христофор Константиныч?

— Какое мнение у его светлости о флоте, Максим Иваныч! — с чувством прискорбия промолвил капитан.

— Дурацкое мнение-с!..— выкрикнул адмирал, обрывая капитана.— Екатерина небось не обиделась, когда адмирал Свиридов, рассказывая ей о победе, увлекся,

стал «загибать» и, спохватнвшнсь, ахнул... Она была умиая н ласково сказала: «Не стесияйтесь, адмирал. Я, говорнт, морскнх термннов не поннмаю!..» А ведь иа смотру мы барыньке о сраженнях рассказывать не будем... Да хоть бы услышала с бака «морской термии»... Эка беда!.. Не слыхала, что лн, на улице, будь н графиня!.. Ваш, Хрнстофор Коистантииыч, князь,— почему-то назвал адмирал киязя капнтанскнм,— ие очень-то умен... Ты посмотрн, и увидишь, сконфузнм лн мы даму, еслн захотим! И я дал слово, что не сконфузим. Поияли?..

— Есть!

— Чтобы завтра во время смотра нн одного «морского термииа», Христофор Коистаитииыч! — строго проговорил адмнрал.

— Слушаю-с...

— Положнм, на баке хоть топор повесь — так ругаются, особеиио боцманы н уитер-офнцеры... Но пусть хоть при даме воздержатся...

— Не посмеют, Макснм Иваныч,— с какой-то внушительиою загадочностью по-прежнему ласково проговорил капитан.

— И офнцеры чтобы придержалн языки... Нн одной команды ие могут коичить без прибавленнй... Так побольше, зиаете лн, характера... На час, не больше...

— Помилуйте-с, Максим Иваныч.

— Что-с?

— Да уже одио посещение таких высокопоставлеиных особ, как его светлость и ее снятельство графння, обрадует господ офицеров н заставнт их быть иа высоте положеиия! — не без «лнрнкн» проговорил капнтан.

— Что вы вздор городите-с! — резко оборвал Максим Иваныч.— Что-с? Какая там радость и высота положеиня... лакейство-с!.. Это брехня на офицеров... Что-с? — выкрнкнвал, точно спрашнвал, взбешенный адмирал, хотя капитаи ие думал возражать.— И вы нничего ие говорнте офицерам... Поиялн-с?

— Понял, ваше превосходительство!

— Я сам им скажу, что адмирал не хотел бы вндеть подтверждения глупостей князя н дамы в обмороке от... от «морских термииов», что ли... Одиим словом... Я попрошу офицеров, н оии воздержатся... Слышали-с?

— Слушаю, ваше превосходительство.

— А больше вас не задерживаю, можете ндтн-с!

Капитан вышел, улепетывая, как вежлнвый, боязлнвый кот от оскалившей зубы собаки.

«Подлииио собака!» — с иеиавистью подумал капитаи.

Адмирал, раскрасиевшийся и от возмущеииого чувства, и от миогих рюмок марсалы, сердито проговорил:

— Экая подлая лакейская душа! Думаешь, и ко мие в душу влезешь? Дудки, лукавый грек!

Адмирал раздражеиио выпил рюмку марсалы и крикиул:

— Суслик!

— Есть,— ответил прибежавший вестовой.

— Марсалы иа доиышке, а ты ие видишь?.. А?

— Не будет ли вреды, Максим Иваиыч? — заботливо и осторожио промолвил Суслик.

— Молчи, чертова свайка! На иочь вредио? Какой-иибудь графиичик... да еще и «грекос» пил! — приврал вестовому адмирал.— Давио ие учил тебя, гувериера, идола, что ли? Да живо!.. И трубку!

Вестовой исчез и вернулся с трубкой и с графиием марсалы, ио иаполиеииым до половииы только.

III

Капитаи призвал к себе старшего офицера, Николая Васильевича Курчавого, рассказал о счастье, которое выпало «Султаи Махмуду», и обычиым своим ласковым тоиом продолжал:

— Так уж вы присмотрите, дорогой Николай Васильич, чтобы смотр как следует... Чтобы паруса горели... при постаиовке и уборке... Орудия чтобы летали... И чтобы ии сориики иигде... одиим словом... идеальиая чистота...

— Все будет исправио, Христофор Коистаитииыч! — иетерпеливо проговорил старший офицер.

«Чего размазывать, ковариый грек!» — подумал этот блестящий морской офицер и любимец севастопольских дам, молодой, красивый и щеголеватый капитаи-лейтеиаит.

И его жизиерадостиое, веселое лицо вдруг стало иапряжеииым и подавлеииым.

— Уж я зиаю, дорогой Николай Васильич, что с таким превосходиым старшим офицером комаидир спокоеи... Я так только, для очистки совести иапомиил...

— Так позволите идти, Христофор Коистаитииыч?..

— Я ие задержу вас, Николай Васильич... Куда торопитесь?.. Или собираетесь иа берег... иа бульвар?..

— Какой бульвар?.. Работы миого... Да и смотр завтра.

— Я так и полагал, что вы ие уйдете с корабля, Николай Васильич, хоть вы и ждаиный кавалер иаших дам,— сказал капитаи, словио бы сочувствеиио глядя иа

своего старшего офицера, имевшего репутацию ловкого «обольстителя».— Наверное, вас ждут на бульваре! — прибавил капитан и плутовски прищурил глаз.

— Никто меня не ждет, Христофор Константиныч! — небрежно бросил Курчавый.

И про себя улыбнулся, как вспомнил, что супруга пожилого капитана, молодая красавица «гречанка», наверно, сегодня на бульваре и позволила бы ему заговаривать ей зубы.

«А эта ревнивая скотина и не догадывается!» — мысленно проговорил старший офицер.

— Ну-с, от поэзии перейдем к прозе-с, Николай Васильич.

— Что прикажете?

— Не приказываю, а прошу-с объявить, что если завтра я услышу во время пребывания высоких гостей хоть одно ругательное слово, то всех боцманов и унтер-офицеров перепорю-с, дорогой Николай Васильич, по-настоящему, без снисхождения. А кто-нибудь из них или из других нижних чинов выругается площадным словом, с того спущу шкуру, пусть в госпитале отлежится. И пожалуйста, внушите им, что пощады не будет! — тихо и ласково, словно бы речь шла о каком-нибудь удовольствии, проговорил капитан.

Он еще был первую кампанию на «Султан Махмуде» и стеснялся адмирала. Но изысканная жестокость «грека» была известна во флоте.

Подобная угроза, перед исполнением которой он не затруднился бы, изумила даже и в те жестокие времена во флоте.

И старший офицер, далеко не отличавшийся гуманностью и, как все, считавший лучшей воспитательной мерой телесные наказания матросов и «чистку зубов», был возмущен «жестоким греком».

Но, сдерживаемый морской дисциплиной, скрывая волнение, он официально-сухим тоном проговорил:

— Приказание ваше передам, но внушать основательность жестокого наказания всех за одного и притом за ругань, которая до сих пор не считалась даже проступком и никогда не наказывалась, не считаю возможным по долгу службы. И, пожалуй, наказанные заявят претензию адмиралу. Адмирал — справедливый человек.

«Грек» струсил.

— Адмирал же приказал, чтобы ни одного ругательства. Он обещал его светлости, что дочери можно при-

ехать. И как же ииаче поддержать честь флота, Николай Васильич? Но если вы можете заставить боцманов не ругаться завтра без страха взыскаиий, то я иичего ие имею... Я ие жестокий комаидир, каким меня расславили... Поверьте, Николай Васильич! — необыкновенио грустным тоном прибавил капитаи.

И даже «маслины» его будто опечалились.

— Будьте покойиы, Христофор Констаитииыч. Меия послушают.

— Тогда вы маг и волшебник! И как я счастлив, что имею такого старшего офицера, уважаемый Николай Васильич. Всегда говорите мие правду. Не стесияйтесь. Я люблю правду!

«И как прелестиая «гречанка» выиосит этого подлого «грека»!» — виезапно подумал Курчавый.

Он вышел из каюты оживившийся, повеселевший и довольиый и оттого, что капитан, испугавшись претензии и адмирала, отмеиил свое нелепое, иеслыхаииое по жестокости приказание, и оттого, что это «лживое животное», иаверное, скоро будет рогатым.

«Не беспокойся, «грек». Я не буду «зевать иа брасах»!»

IV

Старший офицер собрал на баке всех боцманов, уитер-офицеров и старшин и, войдя в тесный кружок, проговорил:

— Слушайте, ребята! Завтра у нас смотр. Приедет петербургский генерал и с ним дочь, молодая графиня... И такой моды, братцы, что ие может услышать браииого слова... Сейчас испугается и... в слезы! — проговорил, смеясь, Курчавый.

В кучке раздался смех.

— Не видала, зиачит, матросов, вашескобродие! — заметил одии из боцманов.

— Жар-птица объявилась!..— проговорил какой-то уитер-офицер.

— Пужливая, видно, геиеральская дочь, вашескобродие! — насмешливо сказал кто-то.

— То-то и есть, братцы! — заговорил старший офицер.— И генерал опасается... Думает, как на корабль приедет, то тут и срам дочке от вашей ругаии... Боцмаиа, мол, не могут даже при даме поберечься... Беспардоииые черти!

«Беспардоииые черти» добродушно улыбались.

— Одиако наш адмирал защитил вас, ребята, перед

важным генералом... Привозите, мол, ваша светлость, боцмана не оконфузят!

— Небось доверил, молодца адмирал... Не оконфузим, вашескобродне... Постараемся! — раздались горячие голоса.

— Так завтра, во время смотра, ни одного боцманского слова, братцы! Я уверен, что мы покажем себя! — с подкупающей, вызывающей веселостью проговорил статный и привлекательный Курчавый.

И почему-то он в эту минуту вспомнил, как сильно и благодарно-трогательно ценили эти люди, обреченные на жестокую флотскую муштру, даже небольшое человеческое отношение начальства и как много они прощали человеку только за то, что он считал и матроса человеком.

Вспомнил Курчавый, как берегли его, тогда мичмана, матросы во время ледяного шторма, вспомнил в эти секунды многое, и вдруг этот блестящий офицер сильнее почувствовал, как близки ему матросы, и в его голове пролетела мысль, что они точно к чему-то его обязывают и что, собственно говоря, и ему можно было бы поменьше драть и бить матросов.

Польщенные доверием адмирала и старшего офицера, которого давно на баке звали «козырным» за его морскую лихость и любили за открытый добрый характер,— все, проникнутые добрыми и горделивыми намерениями показать себя и не оконфузить, дали старшему офицеру обещание.

— Взгляни ты на саму приезжую графиню вроде быдто как на кварту водки — язык и при тебе, вашескобродне! — промолвил, словно бы подбадривая себя, один из унтерофицеров, торопливо обещавший, что на смотру он «ни гугу».

Только старший боцман Кряква раздумчиво молчал.

Это был сухощавый и крепкий старый человек, со скрюченными корявыми пальцами левой руки, давно сильно помятой высученным марса-фалом, и слегка искривленными цепкими, жилистыми босыми ногами, со спокойно-лихой посадкой небольшой ладной фигуры настоящего «морского волка», видавшего всякие виды.

Перешибленный сизоватый нос и отсутствие нескольких передних зубов, следы тяжелых карающих рук, разумеется, не украшали загорелого, красного и грубого бритого лица, с короткою щетинкой седых усов и с плешинами на черных клочковатых бровях, под которыми светились умные, зоркие, слегка иронические темные гла-

за. Все повреждения лица имели, впрочем, свою жестокую историю, о которой Карп Тимофеич Кряква и рассказывал кому-нибудь из матросов, но только на берегу и когда, после бесчисленных шкаликов, был еще в словоохотливом периоде воспоминаний, во время которых начальству икалось.

Первый ругатель-художник на эскадре, творчество которого было для черноморских моряков классическим образцом сквернословия, он, видимо, сомневался в исполнении сослуживцами легкомысленно принятого на себя обязательства и добросовестно не решался давать зарок хотя бы на время смотра.

— Надо стараться, вашескобродие! — сказал, наконец, боцман поощрительным тоном.— Разве только, ежели не стерпеть, хучь тишком, чтобы барышня не вмерла с перепугу, Николай Васильич! — предложил Кряква словно бы устраивающий обе стороны компромисс.— Она, видно, щуплая и пужливая, ровно как борзая сучонка, вашескобродие... Так она не услышит, ежели тишком...

Все засмеялись.

Засмеялся и старший офицер и сказал:

— От твоей выдумки барынька умереть, пожалуй, и не умрет, а в обморок, чего доброго, и упадет... А голос-то у тебя... сам знаешь, такой, что и тишком на юте слышно... Так уж ты, Кряква, постарайся, поддержи.

— Разве подлец я, что ли, чтобы изобидеть барышню, вашескобродие! И оконфузить наш «Султан Махмуд» перед князем, и обезнадежить адмирала и вашескобродие никак не согласно... Во всю мочь буду стараться, но только от зарока освободите, Николай Васильич, чтобы совесть не зазрила.

— Ну, ладно... ладно... Спасибо, Кряква... И уж если не сможешь, так заткни рот рукой и себя облегчи про себя... Так завтра, братцы, чтобы все было в исправке,— прибавил старший офицер и вышел из кружка.

— Как есть «козырный»,— сказал один унтер-офицер после ухода Курчавого.

— «Козырный» и есть! — раздались голоса.

Кучка разошлась.

Каждый унтер-офицер внушал своим подчиненным матросам приказ адмирала и старшего офицера, чтобы во время смотра все было по-хорошему... благородно.

И, разумеется, унтер-офицер уже от себя прибавлял к этому обещание форменно «начистить рожу» того «сучьего матроса», который «оконфузит» адмирала.

— А еще какая шлнховка будет от капитана, ежелн узнает... Только держись, ежели как сам будет считать удары. Он, видншь небось, какая «греческая Мазепа»! — в заключенне прибавлял для острастки унтер-офнцер.

Затем, словно бы отделавшись от служебной обязанностн по временам «нграть в строгое начальство», унтерофицеры мгновенно делались простыми, далеко не страшными людьмн н по-товарищески лясничали с теми же матросамн, у которых обещалн «искровянить хайлы», о посещении петербургского важного генерала н — главная загвоздка в том-то и есть! — о «щуплой и пужливой» дочке, боявшейся даже и духа матросской ругни. «Вроде как помрет, братцы!» — вышучивалн рассказчикн графнню. Представлялась она нм нменно такой «щуплой и пужливой», как вообразил себе боцман Кряква.

Старый боцман никому не внушал.

«Сама, мол, матрозня в чувстве!»

После спуска флага адмнрал хоть и был красен, но далеко еще не «намарсалнлся». Он попросил к себе офицеров и объяснил им, почему проснт их воздержаться...

— Дама-с будет с ннм... Дочь его! — прибавил адмирал.

Нечего и говорить, что офнцеры обещали...

А молодой лейтенант Адрианов, интересовавшийся литературой и вдобавок влюбчивый, как воробей, не без торжественности проговорил, краснея, как маковый цвет:

— Одно прнсутствие женщины, Максим Иваныч, женщины... которая влияет... благотворно... и... и... и...

У лейтенанта «заело». И адмирал поспешил на помощь к растерявшемуся лейтенанту.

— И прехорошенькая-с, Аркаднй Сергеич... Да-с! И сложена... и... Одним словом — есть на что посмотреть... И... шельмоватая-с... Любит, что показать-с,— сказал, смеясь, адмнрал.

V

Высокий н прямой старик в военном сюртуке с генерал-адъютантскими эполетамн и эффектно одетая молодая блестящая женщнна ровно в одиннадцать часов вступили на палубу «Султан Махмуда».

Адмирал, капнтан н вахтенный офицер прнняли почетных гостей у входа. Встреча была парадная, как полагалось по уставу. Музыка играла марш. Команда выстроена была во фронте. На шканцах стоял караул, н офицеры,

в сюртуках и в кортиках, вытянулись в линню. Во главе стоял краснвый старший офицер.

Его светлость, ие отнимая руки в белой замшевой перчатке, отдавал честь и подошел с дочерью к офицерам. Адмнрал представил нх гостям. Киязь протяиул старшему офицеру руку. Пожимая руку Курчавого, графиия иа секунду приостаиовилась, броснла на него быстрый любопытный взгляд н двинулась за отцом. Он всем подавал руку... То же делала и дочь. Штурмаиам и двум врачам его светлость руки не подал. Графиня любезио пожала им рукн.

«Молодчага!» — подумал Максим Иваиыч, вндимо, ие очень-то довольный «иакрахмалеиным» вндом его светлостн.

Затем князь поздоровался с матросами. Те так рявкиули, что князь едва заметно поморщился. Обойдя фроит по обеим сторонам, ои вместе с молодою, высокою и цветущею графнией пошел по приглашенню адмнрала «заглянуть вииз, в палубу».

Между тем приказано было разойтись.

Матросы, видимо, былн чем-то удивлены и сдержанно хихикали иа баке.

— Вы что, черти, зубы скалнте? — вполголоса спросил старший боцман одиого матроса, подошедшего покурить.

По «политическим» соображенням старший офицер приказал Крякве не быть на палубе прн осмотре, и боцмаи иаскоро курил трубчоику.

— Как же, Карпо Тимофеич. Щуплая — графиия-то?

— То-то и я полагал: сучонка. А как есть формеиная сука. Должио, ие пужливая! — тихо промолвил старый боцман и, сплюиув в кадку, усмехиулся.

После того как гости в сопровождеиии адмирала, капитаиа и старшего офицера обошлн все палубы, загляиули в пустой лазарет и побывали в кают-компаиии, все вернулись иаверх и поднялись на полуют.

— Я в восхищеннн от безукорнзиенной чнстоты и порядка иа корабле. И какой бравый вид у матросов! Какая ндеальиая тишнна, любезный адмнрал! Я вннжу больше того, что ожидал, любезный адмирал! — говорил князь утонченио-любезно, протягивая слова и чуть-чуть в иос.— Почту за долг личио доложить, когда возвращусь в Петербург,— прибавил князь с особеиною аффектацией серьезной почтительности в тоие, словно бы желая осчастлнвить этого «маловоспнтаиного моряка», какнм считал киязь адмнрала.

«Смотр»

Адмирал не был особеиио троиут комплиментами его светлости, ничего ие смыслившего в морском деле и словио бы удивлявшегося, что на корабле Чериоморского флота чистота и порядок. И это снисходительное высокомерие в дурацкой манере звать «любезиым адмиралом», и желание облагодетельствовать своим докладом, и апломб... все это начинало раздражать самолюбивого адмирала.

«Брандахлыст ты и есть. «Почтешь за долг»! А воображаешь: умиица»,— подумал адмирал.

Зато «грек», получивший и на свою долю иесколько любезных слов, таял и рассыпался в восторженно-льстивой благодариости.

Тем временем в иескольких шагах от отца графиия болтала со старшим офицером.

Это была брюиетка лет тридцати, эффектиая и красивая, с надменно приподнятой головой, бойкая и самоувереииая, словно бы имеющая право созиавать и иеотразимость красоты лица, и привлекательиость своих форм и роскошного сложеиия.

Казалось, оиа хорошо зиала, чем имеиио привлекает мужчин, и словио бы иечаяиио показывала Курчавому то руки, то ослепительную шею и играя черными, слегка вызывающими и смеющимися глазами, говорила старшему офицеру:

— У вас очень мило... Мие поиравилось... И какие вы, господа моряки, любезиые...

И, бесцеремоиио оглядывая красивого блондина значительиым, и пристальным, и ласковым взглядом красивого и холеного животиого, вдруг с дерзкой насмешливостью проговорила:

— А вы, кажется, имеете здесь репутацию опасиого... Очень рада видеть местную зиамеиитость.

Курчавый, самолюбиво польщеииый, вспыхиул и с иапускною серьезиостью сказал:

— Репутация, графиия, иезаслужеииая...

— Не совсем, я думаю... Приходите — поболтаем! — почти приказала оиа.

Курчавый, сиимая фуражку и наклоняя голову, спросил:

— Когда позволите?..

— А сегодня, в семь часов...

Его светлость повел бесстрастиые глаза на дочь.

«Новый каприз!» — подумал ои и поморщился.

«Проблематическая» репутация единствеиой дочери, жены известного сановника, товарища киязя по пажескому корпусу, давио уж была болячкой киязя, и уж ои только

смущался теперь забвением «апарансов»[1] красавицы графини.

Его светлость опять взглянул на дочь.

Но она не обратила внимания на значительный, предостерегающий взгляд отца, который — графиня хорошо знала — говорил: «Люди смотрят!»

— С чего прикажете начать, ваша светлость? — слегка аффектированным тоном младшего по должности и по чину спросил адмирал, прикладывая руку к козырьку своей белой фуражки, слегка сбившейся на затылок.

— Я в вашем полном распоряжении, любезный адмирал! — с подавляющей любезностью ответил князь и тоже немедленно приложил два длинные пальца руки в перчатке к большому козырьку фуражки, надвинутой, напротив, на лоб.

— Угодно вашей светлости сперва посмотреть артиллерийское учение, потом парусное?.. Или пожарную тревогу прикажете, ваша светлость? — настойчивее спрашивал адмирал, продолжая играть роль подчиненного.

— Так покажите мне, любезный адмирал, сперва ваших молодцов матросов-артиллеристов и затем лихих моряков в парусном учении... Больше я не злоупотреблю вашей любезностью, адмирал.

— Слушаю-с, ваша светлость.

Адмирал позвал к себе вахтенного офицера и приказал:

— Барабанщиков.

Старший офицер, слышавший разговор двух стариков, похожих в эту минуту на «ученых обезьян», извинился перед графиней и бегом бросился к компасу, чтобы подменить вахтенного лейтенанта и командовать авралом.

И, слегка перегнувшись через поручни полуюта, звучным, красивым и особенно радостным голосом крикнул бежавшим по палубе двум барабанщикам:

— Артиллерийскую тревогу!

Барабанщики с разбега остановились и забили тревожный призыв.

— К орудиям! — рявкнул с бака Кряква.

В мгновение раздался топот сотни ног по трапам и по палубе. Ни одного окрика унтер-офицеров.

Через минуту на корабле царила мертвая тишина. У орудий на палубе и внизу, в батареях, недвижно стояла орудийная прислуга.

---

[1] Здесь: приличий (от *фр.* les apparences).

VI

— Где угодно, ваша светлость, посмотреть учение? Здесь или внизу?

— Пожалуй, здесь, адмирал.

Пробила дробь, и ученье началось.

Старый артиллерист, по обыкновению, волновался, но не закипал гневом и не ругался. Он, по счастью, не забывал, что на полуюте его светлость и графиня, которая...

«Пронеси господи смотр!» — мысленно проговорил колченогий капитан морской артиллерии и наконец просиял. Он заметил, что и гости, и адмирал, и «коварный грек», и старший офицер, видимо, были довольны.

Еще бы!

Матросы откатывали орудия в открытые порты и подкатывали назад для примерного заряжания, словно игрушки, и делали свое дело без суеты, быстро и молча.

— Превосходно... Ве-ли-ко-леп-но! — говорил его светлость, любуясь ученьем и обращаясь к адмиралу, точно лично он — виновник торжества.

— Привыкли матросы, ваша светлость!.. И в море боевыми снарядами недурно палят! — отвечал адмирал без особой почтительной радости и словно нисколько не удивлялся лихости матросов.

Но в душе радостно удивлялся, что старый артиллерист из вахтеров не произнес ни одного бранного слова.

— Удивляет меня наш Кузьма Ильич! Хоть бы свою любимую «циготную девку» сказал! — тихо и весело проговорил адмирал, подходя к старшему офицеру.

— Еще как окончится учение, Максим Иваныч!.. Зарежет!.. Особенно перед графиней! — взволнованно отвечал старший офицер, не спуская глаз с артиллериста, точно хотел внушить ему не прорваться.

— А эта дамочка-с, видно, все свои онеры вам показала, Николай Васильич? — с улыбкой бросил адмирал и вернулся к его светлости и графине, от которых не отходил капитан и восторженно улыбался.

Скоро его светлость просил дать отбой, и матросы были отпущены от орудий.

— Ну-ка, теперь покажем гостям, как мы ставим и убираем паруса, Николай Васильич? — уже сам возбужденный при мысли о быстроте парусных маневров, весело сказал адмирал старшему офицеру.

И, обратившись к его светлости, промолвил:

— Не угодно ли, графиня и ваша светлость, поближе подойти.

Князь и графиня подошли к поручням.

Старший офицер, лихой моряк и знаток парусного дела, возбужденный, с загоревшимися глазами, забывший в эту минуту решительно все, кроме парусов, и казалось, еще красивее, со своим вызывающим видом лица и всей посадки его стройной фигуры, как-то особенно звучно и весело крикнул:

— Свистать всех наверх! Паруса ставить!

Боцмана засвистали. Все матросы были на палубе, и марсовые бросились к мачтам.

— К вантам! По марсам и салингам! — крикнул старший офицер.

Сигнальщик уже перевернул минутную склянку.

Матросы взбежали по веревочной высокой лестнице духом.

Адмирал отошел от гостей и, подняв голову, впился глазами на мачты. Казалось, теперь он весь жил постановкой парусов.

— По реям!

Матросы разлетелись по реям как бешеные, словно бы по ровному полю.

Еще минута — и весь корабль, точно волшебством, весь оделся парусами.

И адмирал, и старший офицер, и боцман Кряква только довольно улыбнулись. Нечего и говорить, что князь дивился быстроте маневра.

— Одна минута, вашескобродие,— доложил сигнальщик старшему офицеру.

— Прелестно... Весь маневр в одну минуту... Это волшебство! — проговорил князь.

Адмирал не опускал головы с верху и зорко поглядывал на паруса, все ли до места дотянуто. Не спускал глаз и Курчавый и не заметил, что графиня бросала по временам на него восхищенные взгляды, словно бы на первого тенора на сцене.

Адмирал слышал слова князя и не подумал ответить.

«Точно могли на «Султан Махмуде» ставить паруса более минуты! Точно матросы не работают как черти!» — подумал адмирал, и, конечно, в голову его и не пришло мысли о том, какими жестокими средствами дрессировали матросов, чтобы сделать их «чертями».

Вместо адмирала «грек», весь сияющий, благодарил его светлость за то, что быстрота так понравилась князю и графине, и точно он, капитан, виновник такого торжества.

Через несколько минут раздалась команда старшего офицера «крепить» паруса.

Снова побежали наверх марсовые и стали убирать марселя и брамсели. Внизу в то же время брались на гитовы нижние паруса.

По-прежнему царила тишина на корабле, и адмирал и старший офицер были в восторге. Уборка парусов шла отлично, и ни одного боцманского словца не долетало до полуюта.

Но вдруг — на фор-марсе заминка. Угол марселя не подбирается.

Курчавый в ужасе взглянул на фор-марсель. Адмирал нетерпеливо крякнул.

В эту минуту маленький молодой матросик, стоявший внизу у снасти, смущенно и быстро ее раздергивал. Она «заела», и не шла.

И, вероятно, чтобы понудить веревку, матросик чуть слышно умилостивлял веревку, говоря ей:

— Иди, миленькая! Иди, упряменькая!

Но так как «миленькая» не шла, то матрос рассердился и, бешено тряся веревку, тихо приговаривал:

— Иди, подлая. Иди, такая-сякая... Чтоб тебе, такой-сякой.

Унтер-офицер услыхал непотребное слово и, негодующий, чуть слышно проговорил матросу:

— Ты что ж это, Жученко, такой-сякой, ругаешься? Что я тебе приказывал, растакой с... с...

Боцман подскочил к снасти, раздернул ее и сдержанно сердито воркнул:

— Чего копались тут, такие-сякие, словно клопы в кипятке? Матрос, а насекомая, такая-сякая!

Мачтовый офицер в благородном негодовании воскликнул:

— Не ругаться, такие-сякие!

Среди тишины до полуюта долетели и «морские термины». Князь весь съежился. Графиня улыбнулась и отвернула лицо. Словно бы смертельно оскорбленный, что вышла заминка, как сумасшедший бросился старший офицер вниз, и, не добегая до бака, он крикнул:

— Отчего не раздернули?

— Раздернули! — крикнул Кряква.

— Раздернули?! А еще обещали... Постараемся!

И с уст старшего офицера как-то незаметно сорвалось «крылатое» словечко, и он полетел назад.

«Грек» замер от страха. «Все пропало! Его светлость?!

Что он доложит в Петербург?» — пронеслось в голове капитана.

И он уже был на баке и, по обыкновению мягко, проговорил:

— Перепорю вас, такие-сякие!..

Князь совсем сморщился... Графиня сдерживала смех.

Максим Иваныч, услыхавши всю эту брань, вспылил. Он побежал сам на бак. Но до бака не дошел и, увидавши ненавистного ему «грека», прошептал:

— Разодолжили-с... Нечего сказать... При даме-с!..

И позабывший, что дама в нескольких шагах, адмирал прибавил от себя более внушительные слова.

Только что взбежавши назад на полуют, адмирал вспомнил, чтó сказал, и, смущенный, чуть слышно спросил старшего офицера:

— Слышно было?

— Слышно, Максим Иваныч! — угрюмо проговорил старший офицер и продолжал командовать.

Закрепили паруса отлично. Никто из гостей и не заметил заминки на несколько секунд, которая «зарезала» моряков.

Марсовых спустили с марсов.

— Я в восторге, адмирал,— проговорил с утонченною любезностью князь.— Парусное учение великолепно. Благодарю за доставленное наслаждение, любезный адмирал.

Адмирал смущенно поклонился.

— Прикажете продолжать учение, ваша светлость?

— К сожалению, не могу... Обещал смотреть сегодня пятнадцатую армейскую дивизию.

— Быть может, изволите позавтракать, ваша светлость?

Но князь извинялся, что нет времени, и скоро, любезно простившись со всеми, направился к трапу...

— Так вечером приходите! — промолвила, весело смеясь, графиня, протягивая руку Курчавому.

Проводивши гостей, адмирал вошел в свою каюту и, взглянув на парадно накрытый стол и на вестового в полном параде, воскликнул:

— Ну и черт с ним, если не захотел завтракать...

И, обращаясь к вестовому, крикнул:

— Старый сюртук и зови всех офицеров к столу, Суслик! Да башмаки свои можешь снять!

1900

БЛЕСТЯЩИЙ КАПИТАН

I

Был девятый час сентябрьского утра.

Тулонский рейд точно млел в мертвом штиле. Солнце еще не томило жгучими лучами.

Капитан «Витязя», стоявшего рядом с флагманским кораблем французской эскадры, только что принял обычные утренние рапорты и, оставшись на мостике, радостно, почти что влюбленно любовался своим красавцем корветом, с изящными линиями обводов, стройным, с высоким рангоутом, белоснежною трубой и сверкавшею белизной палубой.

Капитан-лейтенант Ракитин, молодой моряк, впервые назначенный командиром, еще переживал медовые месяцы власти и командования одним из лучших судов балтийского флота и щеголял безукоризненным порядком, умопомрачительной чистотой «Витязя» и «идеальной» быстротой работ на нем.

И «Витязь» приводил в восторг даже иностранных моряков.

То было время обновления и во флоте. Только что были отменены телесные наказания. Капитан умел и без жестокости властвовать командой, и его «молодцы», как он называл матросов, рвались на работах изо всех сил, рискуя из-за «идеальной» быстроты на учениях увечьями и даже жизнью ради самолюбивого щегольства и желания отличиться блестящего капитана. И он был доволен «молодцами». Они не осрамят «Витязя».

Щеголевато одетый, весь в белом, стройный и хорошо сложенный блондин лет под тридцать, красивый, с самоуверенным лицом, с шелковистыми светло-русыми усами и бакенбардами, Ракитин взял бинокль и смотрел на

флагманский французский корабль. И торжествующая победоносная улыбка играла на его лице.

Он отвел бинокль и, щуря голубые глаза, кинул, обращаясь к вахтенному офицеру, мичману Лазунскому:

— У французов, верно, сегодня парусное ученье.

— И у нас будет, Владимир Николаич? — почтительно и весело спросил мичман.

— Конечно.

— Опять французы «опрохвостятся», Владимир Николаич! — возбужденно проговорил мичман.

И его юное безбородое и жизнерадостное лицо светилось счастливой улыбкой победителя.

Но Ракитину, щепетильно оберегающему свое капитанское достоинство, вдруг показалось, что мичман фамильярен, вступая с капитаном в разговоры. И Ракитин оборвал мичмана, проговорив резким тоном:

— Сигнальщик пусть не спускает глаз с крюйс-брамстеньги адмирала!

— Есть, смотрит! — мгновенно делаясь серьезным, отвечал мичман.

— И вы посматривайте. Не прозевайте сигнала.

— Есть! Не прозеваем! — еще серьезнее, тоном служебной аффектации, ответил несколько обиженный мичман.

И несмотря на то, что сигнальщик не спускал подзорной трубы с адмиральского корабля, мичман крикнул ему:

— Хорошенько смотри на адмирала!

«Зря кричишь!» — подумал сигнальщик и крикнул:

— Есть! Смотрю!

Капитан не сходил с мостика и то и дело взглядывал на флагманский корабль, по юту которого расхаживал невысокий худощавый адмирал, горбоносый, с седой эспаньолкой, в темно-синем длинном форменном сюртуке, с отложными воротничками белоснежной сорочки, необыкновенно любезный и вежливый старик орлеанист, хоть и служил при Наполеоне Третьем.

Ракитин нетерпеливо теребил бело-русую жидкую бакенбарду в ожидании торжества «Витязя». Еще бы! Не раз уже «Витязь» возбуждал профессиональную завись и национальную досаду иностранных моряков и тешил самолюбие русского блестящего капитана.

Когда «Витязю» приходилось стоять в каком-нибудь рейде с французской или английской эскадрой, Ракитин, соблюдая любезность международного этикета, по сигналу иностранного адмирала делал на «Витязе» те же учения, какие делались и на чужих эскадрах. И большей частью

русский корвет оставался победителем. Все на «Витязе» радовались. Даже доктор и батюшка торжествовали, что на корвете ставили и убирали паруса минутой или полминутой раньше французов или англичан.

II

— Сигнал! — крикнул во весь свой голос сигнальщик.

На крюйс-брам-стеньге флагманского корабля «Terrible» взвились три комочка и у верхушки развернулись сигнальными флагами: «Поставить все паруса».

В ту же секунду на всех судах французской эскадры поднялись ответные сигналы, и среди тишины рейда раздались командные французские слова.

— Свистать всех наверх! Паруса ставить! — неестественно громко и взволнованно крикнул мичман, срываясь с голоса, которым старался напрасно басить.

Засвистали дудки. Прозвучали голоса боцманов и унтер-офицеров.

Словно вспуганное стадо, бросились матросы к своим местам. Офицеры стремглав выбегали из кают-компании и неслись к мачтам. Старший пожилой штурман рысцой побежал на мостик, а младший тем же аллюром пронесся за ним и взял в руки минутную склянку, чтобы усчитать время маневра.

Старший офицер «Витязя», Василий Леонтьевич, маленький, кругленький, толстенький и свежий, как огурец, лейтенант, лет за тридцать, уже взбежал на мостик и расставил свои короткие ноги, подавшись всем своим корпусом через поручни.

Все стихло.

— Марсовые к вантам! По марсам и по салингам! — громко, весело, задорно и точно грозя кому-то вызовом, скомандовал густым и сочным баритоном Василий Леонтьевич.

С этой командой он бросил взгляд быстрых и острых, как у мышат, карих глаз на «француза»: побежали ли там по вантам.

Нет еще! Слава богу!

А марсовые «Витязя» уже ринулись как бешеные по натянутым вантинам. Лишь мелькали голые пятки. Одни уже были на марсах, другие бежали выше — на салинги, когда французские матросы еще только добегали до марсов.

И шустрый живчик Волчок, как называли на баке Василия Леоитьевича, нетерпеливее и громче крикнул:

— По реям!

Белые рубахи разбежались по марса- и брам-реям, придерживаясь рукой за выстрелы (вроде перекладииы поверх реи) для баланса, с такой смелой быстротой, словио бы оии бежали по полу, а ие по круглым поперечиым деревам — реям, которые своими середииами висели иа страшиой высоте иад палубой, а иоками (коицами) — над морем.

Матросы точио и ие думали, что малейшая иеосторожиость — и сорвешься, чтобы размозжить голову о палубу или иырнуть с высоты в море и ие выиырнуть на свет божий.

— Отдавай!.. Пошел шкоты! С марсов и салингов долой!

Голос старшего офицера звучал иервнее и иетерпеливее.

Капитан, не спускавший глаз с рей, едва сдерживался от иетерпеиия и самолюбивого волиеиия. Ему казалось, что вот-вот — и позор: «Витязь» ие обгонит французов...

— Сколько минут? — вздрагивавшим голосом крикиул ои.

— Две с половииой! — ответил младший штурман.

«И чего эти подлецы копаются!» — думал Ракитии, словио бы забывая, с какою быстротой и с какою смелой удалью делали матросы свое трудиое и опасное дело.

— Василий Леоитьич! Скоро ли?! — с упреком воскликиул капитаи.

Старший офицер пожал плечами.

— И без того люди рвутся! — ответил Василий Леоитьевич.

Еще минута, бескоиечная миiута...

И «Витязь» сверху доиизу, и с боков и впереди по бугшприту, оделся парусиной и походил на гигантскую птицу с опущенными крыльями.

По-прежнему иа корвете царила тишииа.

Минуту спустя поставлены были парусы и на судах французской эскадры.

Но торжество капитаиа было иеполиое.

Ои сердился. Самолюбие блестящего капитана было уязвлеио.

Еще бы!

Сегодня на «Витязе» поставили ие с обычиой сказочиой быстротой, приводившей в изумление моряков, а на сорок

секунд позже, и «Витязь» опередил французов только иа минуту.

— Прикажите команду во фронт, Василий Леоитьевич.

— Есть!

Через мнииуту матросы стояли во фронте.

Быстрой и решительной походкой, приподияв голову, подошел Ракитии к средине фронта. Все глаза были устремлеиы иа капитана. В иапряжеииых взглядах матросов была подавлеииость. Несколько секунд Ракитии молчал, остаиовнв прищуреииые серьезные глаза на одиом матросе, стоявшем против иего. И молодой марсовой еще больше и бессмыслеииее выпячивал глаза иа капитаиа.

— Не ожидал от вас, ребята! Подгадили сегодия. Копались! — проговорил капитан строго н торжественно-мрачно.

И матросы словно бы почувствовали себя виноватымн. Лица стали еще иапряженнее. Эффект вполне удовлетворил капитана, и он, уж смягчая голос, продолжал:

— Смотрн!.. Впредь ие осрамитесь н меня ие осрамите перед французами. Уверен... Вы ведь у меня молодцы...

— Рады стараться, вашескобродне! — облегчеиио и весело рявкнули матросы.

Капитаи велел разойтись, успокоенный, что «молодцы» ие осрамят его и ценят слова капнтаиа.

III

Матросы считалн Ракитииа «молодчагой» по флотской части командиром.

Обрадоваииые «отдышкой» после прежиего капитаиа, типичного «мордобоя», с расточнтельностью наказывавшего людей лииьками, матросы находилн, что новый командир хоть и доинмает службой н спешкой куда больше «мордобоя», но зато «добер». Дрался редко н «с рассудком», зря в штрафиые ие переводил «для всыпкн», не очень уважал, чтобы офицеры заннмалнсь сильиым «боем», и ие взыскивал за пьянство на берегу.

Оии, почти не зиавшие отдыха н работавшие как бешеиые, в самом деле поверилн, что «подгадили» нз-за сорока секунд и мало стараются, чтобы ие осрамить капитаиа и ие осрамиться перед «фраицузом».

И старый боцман Терентьич, сам взвинченный словами капитана, возбужденно говорил на баке матросам:

— Ужо постарайтесь, черти! Не осрамнте капитаиа

перед французом, дьяволы! Другой по форме вышиб бы всем марсовым зубы, а капитан — «молодцы, мол»! Небось при «мордобое» лупцевали бы ваши спины, и не была бы у меня цела морда, если бы он распалился за что-нибудь... Еще счастье, что за секунд не взыскивал...

Многие марсовые успокаивали боцмана.

— Не бойся, Терентьич. Постараемся!

— Строг на спешку, а добрым словом...

— Обнадежил, значит... Молодцы, мол.

— И не зудил... Не осрами — и шабаш.

— Покажем, братцы, как закрепим паруса.

— То-то покажем! — подхватили многие голоса.

И громче и возбужденнее прозвучал голос молодого, краснощекого и жизнерадостного марсового Никеева с большими ласковыми черными глазами.

IV

В то же время капитан говорил в своей каюте старшему офицеру:

— Надеюсь, Василий Леонтьич, мы утрем нос французам при уборке парусов... Не подгадим. Прикажете сигару?

— Благодарю... я папироску... Чем же подгадили, Владимир Николаич? Разве что на сорок секунд позже закрепили... Невелико опоздание...

— Невелико, а могло его не быть, Василий Леонтьич... И не должно быть... У нас команда — молодцы! С ними можно и без порки... Умей только понимать психологию русского матроса... Я, слава богу, знаю его! — самоуверенно произнес Ракитин.

— Золотой народ! — горячо проговорил Василий Леонтьевич. И виновато прибавил: — Иногда и ударишь... привычка... Но если за дело — не обижаются.

— А все лучше бы господам офицерам полегче... Того и гляди еще в «Колокол» попадем... Неловко...

Шпилька была направлена в старшего офицера.

Он понял, но ничего не сказал.

— Кто это мог сообщить про бывшего командира «Витязя»?.. Читали?

— Читал... А кто сообщил — и не думал.

— Пожалуй, младший механик Носов отличился. Тоже либерал этот сынок старшего писаря! — с презрительным высокомерием проговорил Ракитин. И, поморщившись, продолжал: — В кают-компании он проповедует глу-

ности... Какой-то механик, а тоже... Вы, Василий Леонтьич, не очень-то позволяйте этому механишке... Мы на военном судне... Чтобы он и не думал заниматься обличительной литературой... Живо сплавлю! — прибавил капитан, с каким-то особенным удовольствием подчеркивая о своей власти «сплавить».

Василий Леонтьевич далеко не уважал этого «бесшабашного карьериста», каким считал Ракитина. Он возмущался и его требованиями какой-то сказочной быстроты, и его высокомерием, и хвастовством, что может офицера сплавить, и самомнением человека, воображающего, что он один сделал «Витязь» таким образцовым судном, и пролазничеством, и нахальством...

«Ишь задается хлыщ! И мне еще ни за что делает выговоры!» — подумал старший офицер. Он вспыхнул и, сдерживая себя суровой школой дисциплины, официально-сухо ответил:

— Андрей Петрович Носов,— нарочно назвал старший офицер механика по имени и отчеству,— не говорил в кают-компании возбудительных речей, за которые я был бы вправе его остановить. А что он говорит в своей каюте или на берегу, до этого мне нет дела. Я старший офицер, а не сыщик-с! И если вам угодно не позволить ему писать, коли Андрей Петрович пишет, то извольте ему приказать или прикажите мне передать ваше приказание...

Блестящий капитан дорожил Василием Леонтьевичем, как отличным старшим офицером, понял свою бестактность перед ним и в первое мгновение был огорошен словами Василия Леонтьевича, казалось недалекого и покладливого служаки.

Тем было досаднее Ракитину, что он не смел оборвать старшего офицера, который так настойчиво противоречил капитану и отказался исполнить его приказание, выраженное в форме совета.

И Василий Леонтьевич, видимо не желавший сближения с Ракитиным с первого же дня его командирства, вызывал в капитане теперь злобное чувство мелкой самолюбивой душонки.

Струсивший служебного разрыва, Ракитин и не показал вида неудовольствия. Напротив, словно бы удивленный, он самым любезным товарищеским тоном, желая очаровать старшего офицера, проговорил:

— Да что вы, Василий Леонтьич?.. Извините, если я вас без намерения обидел... Я и не думал делать вам замечания... И не имею повода... На днях слышал с мости-

ка через открытый люк кают-компании слова механика, и мне показалось... Вас, верно, не было... Я ведь знаю, что вы не допустите чего-нибудь предосудительного... Точно я не знаю, какой вы идеальный старший офицер и незаменимый помощник, Василий Леонтьич!

«Экий подлец! Без всяких правил»,— подумал Василий Леонтьевич.

И, сам честный человек, имевший правила, от которых не отступал, он смягчился от комплиментов и извинения блестящего капитана.

— Я в частном разговоре, по-товарищески, высказал вам, Василий Леонтьич,— говорил капитан еще мягче и вкрадчивее,— свое мнение о механике.

Пустив душистым дымком хорошей гаваны, продолжал:

— Между нами говоря, не люблю я штурманов, механиков и артиллеристов... Порядочные таки хамы...

И сколько презрения к этим париям флота было в тоне Ракитина и сколько уверенности, что старший офицер вполне с ним согласен!

Хотя и Василий Леонтьевич не был лишен кастового предрассудка, но далеко не был таким ненавистником офицеров корпусов, как Ракитин.

И старший офицер сказал:

— Наши штурмана, механики и артиллерист достойные офицеры, Владимир Николаич!

— Еще бы были у меня лодыри!..

— И вполне порядочные люди... А если не особенно показные... не светские... Так ведь это, я думаю, не порок, Владимир Николаич! — проговорил Василий Леонтьевич.

— Очень рад слышать такой отзыв... Значит, наши... приятное исключение...

Наступило молчание.

Старший офицер поднялся с кресла и спросил:

— Я вам больше не нужен, Владимир Николаич?

— Нет, Василий Леонтьич...

Когда Василий Леонтьевич вышел из каюты, Ракитин ненавидел своего старшего офицера.

V

На флагманском корабле поднят был сигнал: «Убрать паруса».

Матросы «Витязя» превзошли ожидания даже Ракитина.

Они уже кончали крепить марселя и брамселя, когда французские матросы еще только расходились по реям.

— Экие бабы! — произнес с веселой улыбкой капитан и стал смотреть на реи «Витязя».

Марсовые точно волшебством забирали мякоть подобранных парусов марселей и связывали их сезнями (бечевами), упираясь ногами на перты — веревки, протянутые вдоль рей.

Обещавшие не «осрамить» капитана, марсовые с возбужденными, вспотевшими и раскрасневшимися лицами торопились, словно обезумевшие, для которых мгновение — сокровище. Казалось, в эти секунды они не знали чувства самосохранения и забыли, что тонкие веревочные перты, качавшиеся от движения сильных и цепких ног, были опасной опорой, требующей осторожности и владения нервами.

А восхищенный капитан, предчувствовавший торжество победы, только любовался, как бешено рвутся и «идеально» крепят марселя «молодцы», покачивающиеся на высоте рей.

Старший офицер, напротив, взволнованный, с тревогой смотрел наверх. Бешеная торопливость марсовых возбуждала опасения, и совесть его была неспокойна. И он взволнованно крикнул:

— Марсовые! Осторожнее! Крепче держись, братцы!

Ракитин метнул на старшего офицера злой взгляд и насмешливо кинул ему:

— Марсовые не бабы, Василий Леонтьич!

— Люди, Владимир Николаич! — значительно и возбужденно ответил он.

— Знаю-с, что люди! — надменно сказал капитан, краснея от негодования, что его учат.

И только что он это сказал, как перед его глазами с грот-марса-реи сорвался человек.

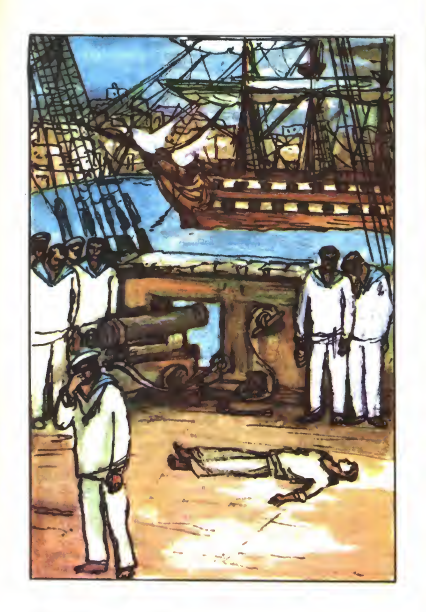
Что-то белое ударилось о ванты, отбросилось вбок и звучно шлепнулось о палубу.

Ни крика, ни стона.

Работавшие на шканцах матросы ахнули и отвернулись от недвижного человека, вокруг которого палуба окрасилась кровью.

Голова была размозжена, но красивое молодое лицо марсового Никеева уцелело. Большие черные глаза выкатились, померкнувшие в застывшем взгляде ужаса.

Многие торопливо перекрестились.



«Блестящий капитан»

Грот-марсовые невольно взглянули вниз и снова стали вязать сезни.

Безумный пыл исчез. Явилось вдруг чувство самосохранения.

— В лазарет человека! — скомандовал старший офицер.

Голос его дрогнул. Василий Леонтьевич не смотрел на убитого.

Боцман Никитич уже прикрыл размозженную голову, и двое шканечных отнесли Никеева вниз. Матросы отводили глаза от убитого, крестились и снова трекали снасти. Офицеры поторапливали. Прибежал бледный и испуганный судовой врач. Какой-то старый баковый матрос, забулдыга и пьяница Кобчиков, крепивший кливер, промолвил вполголоса:

— Тоже спешка. Вот и спешка!

— Молчать! — окрикнул первый лейтенант, распоряжавшийся на баке.

Работы горели.

— Марсовые с марсов и салингов долой! — скомандовал Василий Леонтьевич.

В его команде не было прежнего возбуждения. Убитый не выходил из его головы.

«Витязь» был победителем.

Еще на французской эскадре не были убраны паруса, а «Витязь» красовался с оголенными мачтами. Снасти были убраны.

Несмотря на торжество русского корвета, на палубе стояла зловещая тишина только что бывшего несчастья.

Потрясенные матросы притихли и угрюмо молчали, стоя у своих снастей.

Только забулдыга Кобчиков тихо говорил с иронической ноткой в сиплом пропитом голосе двум товарищам:

— А вы рвись, такие-сякие... Подыхай из-за секунда!.. Зато молодцы! А ему начхать, что Егорка расшибся... Ты погляди, что ему... Это не Волчок... У того душа!

Действительно, блестящий капитан был под впечатлением торжества.

Напрасно он старался принять озабоченный вид. В его еще торжествующем лице было лишь выражение досады, когда он произнес, обращаясь к старшему офицеру:

— Экий неосторожный матрос...

И, не получив ответа, спросил:

— Кто сорвался, Василий Леонтьич?

— Егор Никеев... Уже второе несчастье в течение ме-

сяца! — взволнованно-сердито проговорил старший офицер...

И скомандовал:

— Подвахтенные вниз!

Капитан, раздраженный и еще выше поднявший голову, ушел в каюту.

Разговаривая между собой, офицеры спускались в кают-компанию.

Мичман Лазунский вскочил на мостик, вступая на вахту.

Расстроенный и грустный, словно бы желая поделиться с кем-нибудь тяжелым настроением, он сказал старшему офицеру:

— И если бы вы знали, Василий Леонтьич, какой был славный Никеев!

— Знаю. Всякого было бы жаль. Человек! — раздумчиво и серьезно промолвил Василий Леонтьевич.

— Еще бы... Конечно, всякого, Василий Леонтьич...

И, мгновенно вспыхивая, чуть не со слезами в голосе, точно боялся, что Василий Леонтьевич может дурно подумать о мичмане, Лазунский торопливо и застенчиво прибавил:

— Вы не подумайте обо мне, Василий Леонтьич, будто я...

— Что вы, что вы, Борис Алексеич?.. Я думаю... я уверен, что вы славный юный мичман... Таким и останьтесь, когда будете капитаном! — ласково сказал Василий Леонтьевич... И уходя, прибавил: — Панихида будет в одиннадцать... Дайте знать капитану в одиннадцать... И половину вахтенных отпустите вниз...

— Есть, Василий Леонтьич! — ответил мичман.

А глаза его говорили:

«И какой добрый этот Василий Леонтьевич».

VI

Через полчаса старший офицер прошел в лазарет. У двери стояла толпа, ожидая очереди. В маленькой каюте лазарета толпились матросы, пришедшие взглянуть на покойника и, перекрестившись, поцеловать его лоб.

Уже обмытый и одетый в чистые штаны и рубаху, с парусинными башмаками, он лежал на койке. Голова покоилась на подушках. Глаза были закрыты, и уже

мертвенно пожелтевшее лнцо казалось спокойным, с тем выраженнем какого-то важного недоумення, которое часто бывает у покойннков. Образной чнтал псалтырь.

Васнлнй Леонтьевнч постоял минуту-другую, не спуская глаз с покойннка, потом перекрестился, поклонился ему и вышел, испытывая тяжелое чувство вннcontrol.

— Послать ко мне в каюту боцмана! — прнказал вестовому Василий Леонтьевнч.

Через минуту Никитич вошел в каюту старшего офицера.

Василнй Леонтьевнч велел покойннка перенести в палубу перед образом и сказал, что паннхиды будут два раза в день, а через день его похоронят на французском кладбнще.

— Чтобы взвод провожал, н может ндтн на похороны кто пожелает.

— Есть, ваше благородие...

— Да вот еще что, Кнриллов... Узнай, нз какой деревни покойный Ннкеев и живы лн у него родители?..

— Никого у его в живых, ваше благородие...

— Так, может, близкне кто у него на роднне?..

— Точно так, ваше благородне, н по той причине дозвольте разрешнть...

— Что?

— Собственные вещи Никеева отправнть на родину. Покойник беспременно наказывал своему земляку Иванову... Ежелн, говорит, случаем расшнбусь, отпншн в Кронштадт н без промедлення отправь вещи...

— Хорошо. Я отправлю. А какне вещи?..

— По малостн бабьи гостинцы, ваше благородие! На платье штучка, два колечка, платок н сорок франков... Покойный не заннмался внном, ваше благородие.

— Ладно. Прннеснн мне. И адрес дай.

— Очень благодарны, ваше благородие... Душевный был матросик... Простой. Вся команда жалеет... Горяч был на работе. Из-за горячностн н сорвался. Хвастал не осрамнть капнтана. И не осрамил, ваше благородие!

— А кому же послать?.. Кто она?..

— В законный брак с ей собнрался, ваше благородие, как «Внтязь» вернется. Той самой невесте н копил гостнннцы. Прнгвоздила, значнт, покойного Егорку эта вроде не то, с позволения сказать, вроде девицы, матросская дочка. И сама пригвоздимшись... Трн года с нм зналась, как мужняя жена... И часто отпнсывала ему... Только н была близкая ему.

— А отчего Никеев, такой молодец, думал, что убьется?..

— Так, зря болтал, а вышло быдто чуял судьбу, ваше благородие... Азартный был сердцем. А капитан еще давеча приказывал не подгадить... И лестно так... Никеев и распалился... И дозвольте, ваше благородие, еще доложить...

— Что?.. Говори!

— Очень эта спешка самая может извести команду... Так попросили бы командира... Он добер... Даст ослабку, ваше благородие...

Василий Леонтьевич сморщился и обещал поговорить.

После похорон матроса старший офицер осторожно поговорил с капитаном... и разговор кончился тем, что Василий Леонтьевич на другой же день списался с корвета и уехал в Россию.

1900

ТОВАРИЩИ

I

В этот жаркий иоябрьский день на «Кречете», стоявшем на рейде Гонконга, было особеииое возбуждение.

Ждали прихода в Гонконг нового иачальннка эскадры, контр-адмирала Северцова.

Матросы, взволнованные и серьезиые, таинственно шушукались на баке, разбнвшись кучками.

Переходя от одной к другой, пожилой и степениый фор-марсовой Аким Васьков увереииым и ободряющим голосом, поииженным до шепота, говорил:

— Он, братцы, проиэведет разборку! Ои дознается! Только ие трусь, ребята! Поддержи по совести, как я всю правду обскажу: «Так, мол, и так, ваше превосходительство!»

Только что окончена была геиеральиая чистка н «прнборка». Клипер «Кречет» так и сверкал на солнце блеском меди орудий, поручней, люков и компаса. Труба была белосиежна. Борты заиово выкрашеиы. Раигоут выправлеи иа славу. Палуба безукоризиениа. О том, что иа смотру ие подгадят работамн, нечего и говорить.

А между тем капитаи, старший офицер, ревнзор, старший механик н два вахтенные начальиика, видимо, были встревожены. Испуганно притихшие, оии сегодия не били матросов н не ругалнсь с обычиою виртуозностью.

Адмирал шел иа корвете «Проворном», вызванном телеграммой в Снигапур неделю тому иазад. Только из этой телеграммы иа «Кречете» узиалн о новом начальиике эскадры и его неожидаиио скором прнезде из России.

«Нового» не зиалн.

Никто раньше с иим ие служил. После службы в

Черноморском флоте и оставления Севастополя Северцов несколько лет был морским агентом за границей и тридцати семи лет, только что произведенный в контр-адмиралы, был назначен начальником эскадры.

Быстро делавший карьеру, обогнавший многих старших по службе, Северцов, по кронштадтским слухам, был хладнокровный, сдержанный, молчаливый и строгий человек, особенно преследующий злоупотребления, и хороший моряк. Передавали, что он не «разносит» офицеров, но придирчиво требователен и служить с ним нелегко. Говорили, что он имеет состояние и потому относительно независим и служит из честолюбия. В последнее время на эскадру дошли слухи, будто бы Северцов подавал высшему морскому начальству докладную записку о необходимости реформ во флоте.

Знал Северцова только капитан «Кречета» Пересветов. Они были товарищи. Но Пересветов знал товарища только в корпусе. После выхода в офицеры служба их разлучила, и они не встречались.

Пересветов хоть и помнил, что Северцов в корпусе был хорошим товарищем, тем не менее очень волновался приездом товарища-адмирала, слухи о котором были не особенно утешительны для капитана, который более чем фамильярно относился к счетам по поставкам угля и провизии. Положим, он пользовался скидками на счетах единственно потому, что был образцовый муж и отец и желал кое-что припасти для семьи; сам он отличался скромностью своих потребностей и был расчетлив до скупости,— но все-таки едва ли будут приятны объяснения с товарищем-адмиралом, если бы обнаружились какинбудь его семейные заботы.

«Уж слишком высоки были цены по счетам»,— думал теперь Егор Егорович, почесывая свою лысину, и о чем-то конфиденциально шептался с ревизором, лейтенантом Нерпиным.

— Не беспокойтесь, Егор Егорыч... Все по форме... Не к чему придраться. Консулы удостоверяли цены. Чем же мы виноваты, если цены высоки! — успокаивал капитана молодой лейтенант, прокучивавший в портах шальные деньги.— И, наконец, откуда может узнать начальник эскадры? Разве мы, Егор Егорыч, делаем злоупотребления? Мы пользуемся не от казны, а от поставщиков... И многие капитаны и ревизоры так делают... Точно уже оно такой секрет... Никто за такие безгрешные доходы не попадал под суд, Егор Егорыч. Может,

и новый адмирал, когда был капитаном, знал, где раки зимуют. Он богач,— ему не нужны деньги, а ревизору у него, вероятно, были нужны, Егор Егорыч!

И лейтенант так добродушно рассмеялся, и в его веселых серых глазах сверкала такая беззаботная уверенность, что капитан несколько успокаивался, и в его голове проносилась мысль: «Все-таки Северцов — товарищ и не станет придираться».

— А вы, Александр Иваныч, впредь будьте осторожнее.

— Есть, Егор Егорыч!

Но не одни только счеты пугали трусливого капитана. Тревожило его и «несколько строгое» обращение с матросами, как деликатно называл Пересветов нещадную порку людей, и, главное, это недавнее наказание матроса Никифорова, которого пришлось отправить на берег в госпиталь после трехсот линьков.

Капитан очень дорожил старшим офицером, который был настоящим помощником и действительно «собакой» и который так вышколил команду, что «Кречет» был образцовым судном и работали на нем превосходно; но теперь капитан вдруг стал находить, что Леонтий Петрович чересчур увлекается... Вот этот случай с «подлецом» Никифоровым... Что, если адмирал узнает? Может выйти целая история...

И капитан, толстый, с изрядным брюшком, небольшого роста, лысый и «мордастый», с маленькими бегающими глазками, с большими усами полного, рыхлого и бритого, несколько бабьего лица, еще более струсил при мысли о приходе этого молчаливого товарища-адмирала («Черт знает, каким он стал теперь!») и о матросе Никифорове, который так некстати опасно заболел после недавней порки.

Ввиду неизвестности, что будет, капитан, казалось, еще более затосковал о жене и своих трех детях. По крайней мере, он несколько раз взглядывал на фотографии, висевшие в его каюте, вздыхал, торопливо крестился и снова ходил мелкими неспокойными шагами по клеенке.

— Леонтья Петровича позови! — крикнул он вестовому.

— Что прикажете, Егор Егорыч? — с почтительною официальностью, довольно сухо спросил старший офицер.

Он был еще более хмур, желт и раздражен, чем обыкновенно, этот худощавый, высокий блондин с свет-

ло-русыми баками и усами, мученик службы и дисциплины, беспрекословный исполнитель и один из тех «собак» — старших офицеров, который, не зная отдыха, заботился о безукоризненном порядке и умопомрачающей чистоте «Кречета», вечно «собачился» и, самолюбивый службист, наводил страх на матросов беспощадною строгостью, чтобы судно было в порядке и чтобы капитан не мог быть недовольным лихими работами команды.

— Присядьте, Леонтий Петрович. Как Никифоров? Посылали сегодня в госпиталь справиться? — тревожно спросил капитан.

— Плохо-с, Егор Егорыч. Доктор ездил! — угрюмо ответил старший офицер, присаживаясь в кресло.

— Что с ним?

— Скоротечная чахотка.

— Быть может, прежде был болен?

— Что уж тут обманывать себя: просто заболел от наказания. Запороли, Егор Егорыч!

— Эх, Леонтий Петрович!.. Не похвалят нас, если адмирал узнает.

— Очень даже... Можно и под суд попасть! — с мрачною правдивостью промолвил старший офицер.

— И как это вы так наказали матроса, Леонтий Петрович? — проговорил капитан с видом сокрушения и досады.

Баклагин взглянул в глаза капитана, и во взгляде старшего офицера промелькнуло изумление и презрительное негодование.

И Леонтий Петрович сказал:

— Доктор говорил, что трехсот линьков нельзя, и я доложил вам, а вы приказали исполнить ваше распоряжение, наказать Никифорова.

— Я, кажется, не приказывал запороть человека, Леонтий Петрович!..

— Конечно, я виноват-с, что буквально исполнил приказание капитана... Я и не стану отпираться.

— Но, бог даст, вам не придется, Леонтий Петрович. Можно попросить доктора... Он доложит, что... что Никифоров заболел не от наказания... Скажите доктору...

— Уж говорите об этом доктору сами!..— негодующе вымолвил старший офицер.

— И, наконец, адмирал может и не узнать... Не правда ли, Леонтий Петрович?

— Узнает.
— Почему?
— Команда заявит претензию...
— Верно, скотина Васьков мутит?
— И он, да и все недовольны...
— Так как же вы довели до этого команду?

— Вы думаете, один я?.. Ведь пищей недовольны, Егор Егорыч... Я думаю, будут претензии на вас и на ревизора... По слухам, новый адмирал... справедливый человек... И песня моя спета! — неожиданно прибавил Баклагин с каким-то равнодушием отчаяния...

— Не отчаивайтесь, Леонтий Петрович... Северцов все-таки — мой товарищ... Я доложу, какой вы отличный старший офицер...

— Очень вам благодарен, Егор Егорыч. Не беспокойтесь... Я все-таки буду проситься в Россию и... выйду в отставку, не ожидая, что выгонят... за то, что я безусловный исполнитель... Больше я не нужен, Егор Егорыч?..

— Да что с вами, Леонтий Петрович?.. Я думал, вы меня успокоите, а вы...

— Валите теперь все на меня, Егор Егорыч?.. Быть может, ваш товарищ и удовлетворится вашими объяснениями о матросе Никифорове... Да, кажется, он скоро и помрет и не пожалуется...

С этими словами старший офицер ушел и, казалось, только теперь понял, что Пересветов не только плохой моряк и отчаянный казнокрад, но и трус, готовый ради спасения шкуры свалить свою ответственность на своего подчиненного, которого так лицемерно уверял в благодарных чувствах.

Баклагин, этот рыцарь исполнительности и строгости, не ожидал такого предательства от капитана, обязанного отвечать за все на вверенном ему судне.

И Никифоров, умирающий в Гонконге, и подлец капитан, чуть ли не отрекавшийся от своего беспощадного приказания, не выходили из головы старшего офицера. И он с угрюмой тоской думал о позоре суда.

Ведь он видел, что последние удары линьков ложились на синюю спину уже бесчувственного, притихшего человека. Он мог остановить истязание!

До такой исполнительности он еще не доходил в течение своей морской службы!

II

В пятом часу дня корвет «Проворный» под адмиральским флагом иа крюйс-брам-стеньге вошел, попыхивая дымком, иа гонкоигский рейд и стал на якорь вблизи от «Кречета».

Капитан в полной парадной форме только что хотел идти иа вельбот, чтобы ехать к адмиралу с рапортом, как сигнальщик доложил вахтенному офицеру, что адмирал отвалил от борта.

— К нам? — спросил капитаи, возвращаясь от парадного трапа.

— К нам! — ответил молодой вахтенный офицер, взглянув на адмиральский вельбот.

Капитан рассчитывал поговорить иаедине с адмиралом и «подготовить» его на всякий случай по-товарищески к строгости с комаидой старшего офицера. И, почти растерянный, ои сиова вериулся к трапу и приказал выстроить команду во фроит, вызвать караул и господ офицеров для встречи адмирала.

Через иесколько мииут, среди мертвой тишииы, иа палубу клипера вошел адмирал с новым флаг-офицером и приостаиовился, чтобы выслушать обычиый рапорт вахтеииого офицера.

— На клипере все благополучио! Воды в трюме — одии дюйм. Больных иет.

Вслед за вахтенным офицером Пересветов с особениой служебной аффектацией подчинеииого проговорил иесколько взволиоваиным голосом, причем приложеиные к треуголке короткие, толстые пальцы слегка вздрагивали:

— Честь имею доиести вашему превосходительству, что иа ввереином мне клипере все обстоит благополучно.

— Здравствуй, Егор Егорыч. Давио ие видались! — проговорил адмирал, пожимая руку капитаиа.

С этими словами ои иаправился к офицерам, выстроеиным на правой сторoие шканцев.

Невысокий, худощавый, без импонирующего адмиральского вида завзятого моряка, а, напротив, скромный и простой, не производивший впечатлеиия строгого начальника своим серьезиым, моложавым и довольно красивым лицом с темио-русыми бакенбардами и усами, ои несколько застенчиво, красиея, подавал каждому офицеру свою маленькую руку в белой перчатке.

Не промолвив никому ни одного из тех любезных или внушительных слов, которыми считают нужным начальники при первой встрече «ободрить» подчиненных, Северцов пошел к выстроенной по обеим сторонам шкафута команде.

Без той молодцеватости в посадке и без зычности в голосе, какими обыкновенно приветствуют матросов адмиралы,— «новый» без всякой внушительности и далеко не громко произнес обычные слова:

— Здорово, ребята!

— Здравия желаем, ваше превосходительство! — ответили матросы.

Но в этом ответе не было того громкого и веселого возгласа полутораста голосов, какой бывает обыкновенно на судах.

Адмирал заметил это. Заметил и напряженно-взволнованные лица людей.

По-прежнему молча спустился адмирал в палубу, молча и внимательно осматривал кубрик, шкиперскую и баталерную каюты, камбуз, заглядывал в некоторые офицерские каюты и только спросил врача, заглянув в пустой лазарет:

— И на берегу нет больных?

— Есть, ваше превосходительство. Матрос Никифоров в госпитале.

— Что с ним?

— Скоротечная чахотка.

— Опасен?

— Очень.

Адмирал пошел дальше, направляясь в машинное отделение.

От сердца капитана отлегло. Северцов, по-видимому, удовлетворился ответом.

И, сопровождая адмирала, Пересветов подумал: «Северцов не такой, как о нем слухи. Не будет придираться. И не к чему! Клипер — игрушка! И, если будет претензия,— он не поднимет истории. Все-таки товарищ, и крепко пожал руку, и не задается... Простой... И из-за чего ему так фартит!» — пробежала завистливая мысль.

Снова ни слова не говоря, адмирал осмотрел машинное отделение, залезал в коридор винтового вала, в трюм и, наконец, поднялся наверх и взошел на мостик.

Кажется, все в порядке, а он молчит, и неизвестно, доволен ли он или нет.

«Товарищи»

Это молчание беспокоило и капитана, и старшего офицера, и механика, и ревизора.

Адмирал сделал несколько учений. Смотрел и перемену марселей, и пожарную тревогу, и десант, и многое другое.

И ни слова.

Только во время артиллерийского учения подходил к офицерам, заведующим батареей, и интересовался:

— Как угол обстрела вашего орудия? Какова дальность полетов снаряда?

Моряки не умели ответить и конфузились. Никто об этом не спрашивал.

— Надо узнать! — тихо говорил адмирал, чтобы не слышно было замечания.

Адмирал, видимо, не понравился. Все только смотрит, такой серьезный и молчаливый и будто не радуется, что матросы отдают и крепят паруса с поразительной быстротой.

Раскрасневшийся и вспотевший капитан ждал, что хоть после учения, блестящего парусного учения, на котором матросы летали по вантам и разбегались, словно обезумевшие, молчаливый и серьезный Северцов заговорит и похвалит.

Но вместо того он тихо проговорил капитану:

— Напрасна такая быстрота.

Пересветов вытаращил изумленные глаза. Однако почтительно промолвил:

— Слушаю-с, ваше превосходительство!

— Все эти... эти фокусы — дурная старая привычка. И для дела бесцельны... И люди рискуют упасть! — прибавил Северцов, словно бы желая пояснить свое замечание.

— Точно так, ваше превосходительство! Ваше приказание будет свято исполнено, ваше превосходительство! — угодливо поддакнул ошалевший капитан.

Северцов пристально взглянул на товарища и густо покраснел. Что-то брезгливое мелькнуло в серьезных серых глазах адмирала.

— Прикажи собрать команду и удались вместе со всеми офицерами.

— Есть!

И Пересветов перешел к старшему офицеру, бледному и мрачному, стоявшему у компаса.

— Людей во фронт!..

— Есть!

— Леонтий Петрович! — чуть слышно, упавшим голосом прибавил растерянный капитан.

— Что-с?

— Уговорите Васькова... Скажите: сделаем унтер-офицером, если не будет претензий...

— На такую... подлость я не способен, Егор Егорыч! — зло прошептал старший офицер.

И словно бы обрадованно крикнул:

— Команда, во фронт!

Капитан и все офицеры спустились в каюты. Только вахтенный офицер, юный мичман Аркадьин, остался на мостике и, радостно взволнованный, посматривал на адмирала, остановившегося вместе с флаг-офицером посредине фронта.

«Узнает ли он наконец, что у нас творится?» — думал мичман.

Капитан стоял под приподнятым люком своей роскошной каюты, в которой еще недавно благодушествовал и чувствовал себя редким, заботливым мужем и отцом, когда подсчитывал, сколько «сбережения» привезет он домой. Уже тысячу двести фунтов отложил, и еще целый год впереди покупка угля и провизии. «Нельзя «дурака строить», если семейный и предусмотрительный человек, и многие не зевают на брасах»,— не раз думал Пересветов, подписывая счеты и получая от ревизора свою львиную долю.

Теперь Егор Егорович напряженно прислушивался к тому, что покажут матросы («И какая свинья Баклагин!» — подумал капитан), прислушивался, и испуг перед серьезными неприятностями все более и более охватывал его сердце вместе с завистливою злобой к этому товарищу, желающему выскочить перед высшим начальством. «Тихоня, молчит, а выдумал что? «Напрасна быстрота». Где это слыхано?.. Он, слава богу, двадцать пять лет служит, и везде порют, чтобы матросы работали лётом, а Северцов — новые порядки. Скотина какая, а еще товарищ... Ни слова благодарности за порядок на клипере... Молчит... Того и гляди, напакостит мне... Испортит карьеру...»

Мысль эта гвоздила Пересветова. Он малодушно трусил и старался возбудить себя надеждой на объяснение с Северцовым. «Он поймет, что у него семья... Он поверит, что не по вине командира Никифоров так наказан. И эти высокие цены... Он ни при чем... Ревизор

делает покупки... Ведь товарищ же он... Не посмеет утопить товарища...»

И Пересветов торопливо крестился, умоляя господа бога, чтобы адмирал оказался порядочным товарищем и не поднимал бы истории из-за матросских претензий... Пусть уберут Баклагина, и на клипере не будет порки...

В кают-компании царило подавленное молчание.

Старший офицер свирепо курил папиросу. Два лейтенанта, особенно расточительно наказывавшие матросов, вспомнили, что беззаконно наказывали даже унтер-офицеров. Сам ревизор, обыкновенно развязный и болтливый, притих, подумав, что еще не роздал матросам жалованья за прошлую треть. Был в меланхолии и старший механик Подосинников. Невесело глядел и доктор Моравский.

Только старший штурман и его помощник да несколько молодых мичманов без страха ожидали конца смотра нового адмирала.

— Никого не разнес... Редкий адмирал!..— одобрительно промолвил один из мичманов, обращаясь к старшему штурману Василию Андреевичу, пожилому и коренастому плотному человеку с красноватым лобастым лицом, заросшим черными, едва пробритыми бакенбардами и густыми усами.

— Д-да... Кажется, серьезный человек. Не кипятится... Не болтает на ветер и не куражится: «Я, мол, молодой адмирал!» — ответил сам серьезный, основательный и добросовестный служака, «имеющий правила», как говорил Василий Андреевич про людей, которых считал порядочными.

И, помолчав, прибавил:

— Небось разберет основательно претензии. То-то капитан в тревоге. Еще какая выйдет история... Что обнаружится...

— Какая история? Что именно обнаружится?..— резко и вызывающе спросил ревизор Нерпин, услышавши тихий разговор штурмана с мичманом.

— Многое-с! — сухо ответил Василий Андреевич.

— Например-с?

Штурман хотел было ответить, как с дивана вдруг мрачно и резко выпалил старший офицер:

— А хоть бы болезнь Никифорова, которого запороли... А гнилое масло у матросов?.. А... Да мало ли что... Или вы ничего не помните, Александр Иваныч?

Ревизор принужденно засмеялся. Мичманы изумлен-

ио взглянули на старшего офицера, который присутствовал при наказаиии Никифорова, и опустили глаза. Все молчали. Сиова иаступила в кают-компаиии тяжелая иапряженность.

III

Среди мертвой тишины иа палубе «Кречета» раздался иегромкий, слегка басоватый голос адмирала:

— Есть ли какие-иибудь претеизии, ребята?

И его серьезные глаза оглядывали особеиио насупившиеся и встревожеииые лица матросов...

Прошла секунда, другая, и из фроита вышел пожилой, побледиевший матрос Аким Васьков и, остаиовившись перед адмиралом, проговорил:

— Имею претеизию, ваше превосходительство!

— Как твоя фамилия?

— Васьков, ваше превосходительство.

— Говори...

— Мочи иет терпеть, ваше превосходительство. Вовсе нудно от дёрки и боя, ваше превосходительство... За всякий пустяк иаказывают... Господии капитаи и старший офицер ровио с арестаитами обращаются и иаказывают, можио сказать, без всякого закоиа... Недавио пороли матроса Никифорова, когда уж ои в омертвеиии был... И, когда пришел в чувство, его отправили в госпиталь, и там ои помирает, ваше превосходительство... И за треть левизор жалоВаиья ие выдает... Просил — так говорил: потом, мол... Шесть месяцев ие выдают, ваше превосходительство. И, осмелюсь доложить, харч иеправильиый. Извольте обследовать мою претеизию, ваше превосходительство.

— Я разберу... У кого еще претеизия, ребята? — спросил адмирал.

Тогда сразу вышло несколько десятков матросов. Оии заговорили сразу.

— По очереди! — промолвил адмирал.

Лицо его по-прежнему было серьезио и спокойио. Все говорили почти одно и то же, что докладывал Васьков.

Жаловались иа безмерную порку, если на секунду опоздают марсовые крепить или отдавать паруса, и на «бой с повреждеиием»; жаловались иа гнилое масло, иа тухлую солонииу, иа порчеиые овощи...

Претензию заявило человек сорок.

Адмирал терпеливо выслушал жалобы, и когда последний жалобщик окончил, Северцов сказал:

— Все претензии будут рассмотрены, ребята.

— Покорно благодарим, ваше превосходительство! — гаркнули вдруг весело матросы, как один.

— Защитите, ваше превосходительство! Прикажут за претензии отодрать до бесчувствия! — раздался вслед за окриком голос Васькова.

— Васьков, подойди!

Матрос вышел из фронта.

— Ты сейчас говорил?

— Точно так, ваше превосходительство!

— Почему ты предполагаешь, что тебя накажут?

— В прошлом году обсказывал на смотру такие же претензии начальнику эскадры, и как они изволили уехать, мне было дадено двести линьков, ваше превосходительство. В лазарет снесли опосля...

— За твои претензии не накажут. До свидания, ребята! — проговорил адмирал.

— Счастливо оставаться, ваше превосходительство! — крикнули матросы...

До капитана дошли некоторые жалобы. Он слышал эти веселые окрики и, совершенно растерянный, вышел наверх. Адмирал попросил вахтенного офицера велеть подать адмиральскую гичку к борту.

Все офицеры были во фронте, и караул вызван для проводов начальника эскадры.

Он подошел к капитану и отвел его к корме.

— К сожалению, я слышал очень серьезные претензии! — совсем тихо и снова нисколько не меняя своего покойного тона, сказал адмирал.

— Я слышал, ваше превосходительство, как команда бунтовала, стараясь...

— Если претензии справедливы,— тогда твое счастье, что команда и не подумала бунтовать... Матрос Никифоров засечен?

— Старший офицер недоглядел, ваше превосходительство...

— А мне не сказали, что есть больной в госпитале...

— Он на берегу...

— Попрошу тебя не наказывать людей за подачу претензий... И ты поймешь, что я вынужден просить тебя и старшего офицера съехать сегодня же на берег

и ожидать окоичаиия дозиаиия... Завтра дозиаиие иачиется...

— За что же, ваше превосходительство? — почти умолял капитаи.— Обращаюсь к товарищу... Не губи меия... Позволь объясииться с тобой иаедиие...

— Я попрошу к себе иа корвет, я выслушаю тебя... Приезжай после сдачи клипера. Об этом получишь приказ.

С этими словами Северцов повериул к шкаицам, сделал общий поклои офицерам, протяиул руку капитану и отвалил от борта.

— На корвет! — проговорил адмирал, обращаясь к флаг-офицеру, севшему иа руль.

Через полчаса адмирал в статском платье ехал иа своем вельботе по иаправлеиию к городу.

— Верио, едет в госпиталь иавестить Никифорова! — заметил мичмаи иа вахте, обращаясь к своему товарищу, подошедшему полясиичать о событии, о иеожидаииом отрешеиии от должиостей капитаиа и старшего офицера.

— Если только застаиет Никифорова в живых! — вдруг раздался из-под мостика иеобыкиовеиио суровый и в то же время тоскливый голос старшего офицера.

Капитаи о чем-то шептался с ревизором в своей каюте, пока вестовой его укладывал чемодаиы и суидуки. Сборы Баклагииа ие беспокоили его. Оии — зиал ои — иедолги.

К семи часам адмирал вернулся с берега. Вскоре иа катере приехали с вещами старший офицер и первый лейтеиаит с флагмаиского корвета, чтобы в зваиии времеииых капитаиа и старшего офицера «Кречета» прииять клипер. Они передали отрешеииым адмиральский приказ по эскадре и передали словесную просьбу адмирала — пожаловать капитаиу после ответа иа допросиые пуикты.

В десятом часу вечера, когда уже команда спала, сперва Пересветов, а потом Баклагии оставили клипер и уехали в Гоикоиг. Оба остаиовились в одиом отеле.

IV

Следствеииая комиссия под председательством командира адмиральского корвета окончила дозиаиие, и все дело было представлеио Северцову.

Раииим утром сидел ои иад иим в своей роскошиой

адмиральской каюте и внимательно прочитывал вороха исписанной бумаги.

Адмирал наконец окончил последний лист.

Дознание вполне выяснило, что на «Кречете» никто не чувствовал себя человеком, до того жестоко было обращение с командой. Особенно была значительна объяснительная записка бывшего старшего офицера Баклагина. Она еще с большею беспощадностью раскрывала тяжелое положение матросов, чем показания самих жертв. В этих показаниях чувствовалась как бы недосказанность и смягченность, словно бы, уже счастливые, что избавились от капитана и старшего офицера, они не хотели губить их и ежели и не прощали им, то, во всяком случае, готовы были щадить их.

Никифорова адмирал не застал в живых. Но Баклагин описал возмутительную картину наказания, а матросы словно бы не хотели класть настоящие краски.

Особенно удивило Северцова данное комиссии показание Васькова.

Этот часто наказывавшийся матрос, на словах ненавистник капитана и старшего офицера, был удивительно сдержан в своих показаниях. Он даже скрыл, что после какого-то резкого ответа он получил триста линьков и пролежал месяц в лазарете. Скрыл он и то, что у него было надорвано ухо и вышиблено несколько зубов.

Обо всем этом с педантическою подробностью было указано в записке старшего офицера, а потерпевший словно бы щадил мучителя.

Кроме несомненных фактов жестокости, не вызываемой даже серьезными поводами, дознание обнаружило и самые наглые злоупотребления.

Оказывалось, что Пересветов, товарищ адмирала, был в стачке с ревизором и механиком по казнокрадству, а ревизор — уже один обкрадывал матросов.

«Я им покажу! — подумал адмирал, убежденный, что он покажет отменный пример силы закона, если отдаст под суд нескольких офицеров.— Пусть виноватый — не только товарищ, а хоть бы брат: не пощажу!» — решил молодой адмирал и сам восхитился своим нелицеприятием.

И тем не менее бесспорно жестокий старший офицер находил в его уме какое-то снисхождение...

— Николаев!

В каюту вошел белобрысый матрос, только что назначенный вестовым к адмиралу.

— Попроси сюда флаг-офицера!

— Есть!

Через минуту в каюту вошел Охотин, приехавший с новым адмиралом из России; Северцов взял его флаг-офицером по рекомендации одного приятеля.

— Что прикажете, ваше превосходительство?

— Попросить сигналом ревизора «Кречета».

Охотин направился из каюты, как Северцов окликнул:

— Владимир Сергеич!

— Есть, ваше превосходительство.

И, сразу «осадив» и красивой, легкой походкой приблизившись к адмиралу, пригожий и румяный, черноволосый с маленькими усиками флаг-офицер смотрел в глаза Северцова серьезно, внимательно и спокойно, стараясь во всем подражать своему начальнику. Даже и говорил тихо и сдержанно.

— Когда сделаете сигнал, поезжайте на берег на моей гичке и пригласите от моего имени Пересветова приехать сейчас.

— Есть! А если не застану дома? Прикажете оставить записку, ваше превосходительство?

— Непременно. И зайдите к Баклагину. Попросите его приехать ко мне после полудня.

— Слушаю-с. Больше никаких приказаний, ваше превосходительство? — осведомился Охотин, точно щеголяя и своим бесстрастным видом, и своею предусмотрительностью.

— Нет, Владимир Сергеич!

Северцов снова задумался и лениво отхлебывал чай.

И наконец спокойно, решительно, с довольным сознанием рыцаря служебного долга, не останавливающегося ни перед чем, прошептал:

— Лес рубят — щепки летят!

Несомненно, что в щепках адмирал видел виноватых людей, по-видимому, не испытывая к ним ни снисхождения, ни жалости.

И когда его превосходительство решил в своем уме, как он искоренит безобразия на эскадре, если и на других судах увидит что-нибудь подобное, что увидел на «Кречете», и окончил пить чай,— в комнату вошел ревизор.

Бледный, далеко уж не с наглыми и смеющимися глазами, молодой и щеголеватый лейтенант Нерпин сде-

лал несколько шагов и, поклонившись адмиралу, которого теперь ненавидел как виновника своего несчастья, проговорил упавшим голосом:

— Честь имею явиться, ваше превосходительство!

Адмирал слегка наклонил голову, но руки не протянул.

И Нерпин сделался еще бледней.

— Из показаний видно, что вы вместе с капитаном при посредстве консулов получали в свою пользу деньги, остававшиеся от разницы между фиктивной и действительной ценою... Вы отрицали это в своих показаниях... А между тем и капитан с механиком сознались... Кроме того, матросы показали, что им выдавалась скверная провизия... Вы остаетесь при прежних показаниях? — спрашивал Северцов тихо и, казалось, нисколько не волнуясь.

— Нет. Все правда, ваше превосходительство.

— Что вас вынудило? Были какие-нибудь особенные причины?

— Никаких. Кутил, ваше превосходительство! Да и многие ревизоры и капитаны пользуются доходами и за это не обвинялись... И я не считал, что делаю преступление. Я только пользовался процентными скидками!.. Казна ничего не теряет...

— Не теряет? А более дорогие цены? А дурная провизия матросам?

— Цены даются консулами. А провизия редко бывала дурной...

Адмирал поднял глаза на Нерпина. По-видимому, он действительно не сознавал всей гадости, которую делал.

И Северцов продолжал:

— Положим, вы не понимаете настоящего значения этих скидок... Но на вас есть обвинения более тяжелые... Многие показывают, что вы не выдавали следующих им денег...

Ревизор молчал.

— Ответьте. Ведь это неправда? Вы не обкрадывали матросов?

Краска разлилась в лице Нерпина. В нем был тупой страх пойманного животного, и больше ничего.

— Я эти деньги раздам завтра же.

— А если бы я не узнал, то не роздали бы?! Таким офицерам не место во флоте...

— Я подам в отставку, ваше превосходительство! Не губите, умоляю вас... Не позорьте... Ведь жизнь впе-

реди. Верьте, я больше не поставлю себя в такое положение.

Он был жалок, этот умоляющий, готовый на всякие унижения человек, чтобы только избавиться от оглашения позора — невыдачи жалованья матросам... Это он считал позором... Но ведь он уплатит, немедленно уплатит...

Адмирал слушал и не чувствовал в сердце сожаления, а ум, напротив, говорил, что такой молодой человек и такой бесчестный не имеет никакого права на прощенье.

И Северцов, не подымая тона своего тихого и монотонного голоса, сказал:

— Оправдать или обвинить вас — дело суда, а я не смею по долгу службы замять вопиющего дела. Не смею. Прошу вас завтра же сдать должность, удовлетворив жалованьем матросов, списаться с клипера и ехать в Кронштадт. А я представлю управляющему министерством, чтобы всех привлеченных к делу предали суду...

— Ваше превосходительство!.. Разве, погубивши меня, вы... вы спасете что-то?.. Искорените привычку?.. Ну, если я вор, так и выйду в отставку... а другие?.. Они занимают видные места... Все знают, откуда дом, называемый угольным, у адмирала Бедряги... Ведь вы не погубите его... О ваше превосходительство!.. Не отдавайте под суд! — с какой-то настойчивостью отчаяния и страха воскликнул Нерпин.

— Объясните все это суду... Он примет во внимание... А я не смею, лейтенант Нерпин... Поймите это... Можете идти...

— Понимаю, понимаю, ваше превосходительство... Понимаю, что это жестоко, ваше превосходительство!

И с этими словами ревизор выбежал из каюты.

Адмирал, казалось, тоже не мог понять, как этот офицер, без всякого самолюбия и не имевший чувства чести, но все-таки не дурак, не мог понять непоколебимой справедливости адмирала и унизительно молил о пощаде.

Точно он мог рассчитывать, что адмирал, уже заслуживший репутацию рыцаря без страха и упрека, будет делать поблажку бесчестным и вредным для флота людям...

И Пересветов, этот естественный вор и палач, тоже воображает, что адмирал, потому что он товарищ, должен мирволить бесчестному. Кажется, мог бы не красть и не запарывать людей! Кажется, мог бы сообразить, что в России новые веяния.

Так просто, благородно и прямолинейно рассуждал Се-

верцов и не без удовлетворенного чувства вспомнил свою безукоризненную службу, щепетильную честность и независимость, благодаря которой он не только не затерялся в толпе, а сделал блестящую карьеру, и в тридцать восемь лет — адмирал, начальник эскадры, а его товарищи только капитаны второго ранга...

И адмирал присел к письменному столу, взял большой лист почтовой бумаги и так начал рапорт морскому министру:

«С глубоким сожалением имею честь донести вашему высокопревосходительству о позорном деле, дознание о коем при сем препровождаю...»

Не успел адмирал написать и страницы своим размашистым почерком, как в каюту вошел флаг-офицер и, осторожно приблизившись к столу, остановился, выжидая, когда занятый адмирал поднимет голову.

Через минуту Охотин доложил:

— Капитан второго ранга Пересветов приехал с берега, ваше превосходительство! А капитан-лейтенант Баклагин явится к вашему превосходительству в два часа.

— Просите Пересветова ко мне. И скажите на вахте, чтобы никто не входил ко мне.

— Есть!..

V

— Здравствуй, Егор Егорыч!.. Садись...

И Северцов пожал руку товарища и проговорил:

— Ты, как умный человек, поймешь, конечно, что я должен дать ход дознанию. Знаешь: дружба — дружбой, а служба — службой,— прибавил адмирал, хотя в корпусе никогда ни с кем не дружил.

Егор Егорович тяжко вздохнул, вытер вспотевшую лысину и, словно бы еще не теряя надежды на товарища, старался скрыть свой страх и даже попробовал улыбнуться, когда вздрагивающим голосом проговорил, подсапывая носом:

— Что же, ваше превосходительство, ты хочешь сделать с товарищем?

— Предложить ехать тебе в Россию, Егор Егорыч... А уж там... морское начальство решит: предать ли тебя суду или нет...

— А ты... ты, Николай Николаич... что напишешь? — с мольбой в глазах спросил Пересветов.

— Правду, коиечио, Егор Егорыч...

— А именно?

— Прошу суда...

— За что же?.. Ты, значит, поверил показаниям матросов?..

— Не одним их показанням... Они еще былн очень мягки. А показаиия Баклагина противоречат твоим... Жестокне наказания ты прнпнсываешь только бывшему твоему старшему офнцеру...

— И я показывал справедливо... Я инкого не засекал... Я, по данному мне уставом праву, приказывал внновных наказывать лииькамн... Старшнй офнцер увлекался... Это он смотрел, как наказывалн Ннкнфорова.

— Баклагин хоть имел мужество ие щадить себя, а ты, Егор Егорыч, извинн, ведь в своих ответах говорил иеправду.

— Я не отрицал, что ревизор меня запутал, Ннколай Николанч!.. Что ж... я виноват... Но за это не отдают под суд... И, Ннколай Ннколанч... Ты богатый человек и иесемейиый... А я... Ты думаешь, я запутался в этих делах ради наживы для себя?.. Клянусь, из-за семейиого положения... Николай Николанч!.. Ведь я — сам-пят!.. А содержание... Нехорошо, не спорю... Но однн, что ли, я?.. Разве нет смягчающих обстоятельств... Что ж ты хочешь по миру пустнть мою семью... Так ведь это... того... не по-товарнщескн... Отдашь под суд... меня выгонят... без пенсии... Ты говоришь: строгость на клипере... Так ведь везде иа флоте строго... Прежннй адмнрал в прнказах объявлял благодарность... И всегда я был на хорошем счету. И всегда порол... А теперь я вдруг — нзверг... Хорошо... Ну, изверг... Ты приказал не наказывать строго... Не гнаться за быстротой... Ну, я исполню твон приказания... И с этимн процентамн со счетов, н уголь... Черт с нимн... Ну уж еслн тебе иадо показать твою строгость н ретнвость молодого адмнрала, так отошли меня в Россию по болезни... А то н позор, и иищету... О господи! За что?

И Пересветов больше не мог говорить. Рыдання вырвалнсь нз его груди.

«И какой же ты подлец!» — думал адмирал, взглядывая на рыдающего Пересветова, и словио бы ие догадывался, что н этот жестокий человек с матросами н казнокрад может быть любящим семьяиииом. Ои забыл, что можно избавить флот от таких капнтанов н без того, чтобы сделать нх несчастнымн, н, главное, забыл, что не лнца виноваты, а система.

Но адмирал хотел «показать пример» и проговорил:

— Мы разно смотрим на службу, Егор Егорыч. Ты меня не убедишь. Флот наш должен обновиться...

— Из-за того, что я буду с семьей нищим? Я запорол, как ты говоришь, Никифорова...

— Да... И за это, и за злоупотребления должен потерпеть кару...

— А ты не запорешь, а сделаешь несчастными многих людей... и скажу как бывшему товарищу: знаешь ли почему? Можно сказать?

— Говори, пожалуйста.

— Из-за своей карьеры... А ты разве не порол марсовых, когда был старшим офицером на «Андромахе» в Черном море?.. Тогда мода была такая... А теперь ты... Что ж, отдавайте под суд, ваше превосходительство! — с отчаяньем в голосе крикнул этот возбужденный страхом трус.

И, злобно бессильный, Пересветов взглянул на адмирала и вышел из каюты.

Адмирал густо покраснел и стал продолжать рапорт.

VI

Пересветов возвращался на берег в Гонконг, хотя и очень расстроенный, но все-таки, по крайней мере, он знал, что с ним хочет сделать адмирал. Известность положения не так волнует, как неизвестность. И, несмотря на объявление Северцова, что он будет просить высшее начальство о предании своего товарища суду, Пересветов не терял еще надежды, что в Петербурге не поднимут дела и не отдадут под суд, а отнесутся «полегче».

И министр, и другие более или менее влиятельные старики адмиралы посмотрят на эти обвинения в жестокости и в злоупотреблениях проще, трезвее и спокойнее «подлеца» Северцова, который готов погубить товарища из-за честолюбивого желания отличиться беспощадной карой.

И когда Егор Егорович представлял себе многих адмиралов, с которыми был знаком не по службе только, а бывал у них в домах и играл с ними в преферанс, когда он вспомнил, что очень любим тестем, тоже старым адмиралом, то Пересветов еще более надеялся, что его не погубят. Ведь многие из них, когда были капитанами, запарывали не одного только матроса и не были без коекаких слабостей в хозяйстве экипажа: и пользовались

даровыми рабочими — матросами, и делали экономии на обмундировании и довольствии нижних чинов. И, когда делались адмиралами, эти капитаны, наводившие прежде трепет на матросов, становились мягче и уж не пользовались — да и не могли — тем, чем пользовались раньше по обычаю, о котором хотя и не говорилось громко, но который не считался чем-нибудь позорным. Вот распустить команду, не держать судна в порядке, долго крепить паруса, ничего не понимать в своем деле — это позор!

Так как же эти почтенные и уважаемые служаки-адмиралы покарают того, кто делал то же, что делали в свое время и они, и попался «в передрягу» только потому, что имел несчастие нарваться на бессердечную, скрытую «собаку» Северцова и что появились какие-то новые веяния — черт бы их побрал! — о которых, однако, не объявили приказом по флоту.

Такие размышления занимали Пересветова, когда он ехал по заштилевшему рейду на адмиральской гичке. И после первой остроты отчаяния и страха за будущее его и его семьи он оправился настолько, что мог обсуждать свое положение.

И тогда-то Егор Егорович мог вспомнить и общность взглядов, правил и привычек большей части дружной морской семьи, воспитанной тем же корпусом, и брезгливость выносить сор из избы, брезгливость да и боязнь, как бы не вызвать неудовольствия высшей власти, и главное,— добродушную снисходительность к своему же моряку, если он попал «в неприятности» не по морской службе и не по серьезному нарушению дисциплины.

«Тогда суди и наказывай!» — мысленно произнес Пересветов.

И будущее теперь казалось ему не таким уже отчаянным, каким представлялось после беседы с адмиралом.

Если Егор Егорович и не возносился чрезмерными надеждами, то все-таки надеялся не на что-нибудь ужасное, а только на «пакости», хотя и большие.

Уж если и не замнут совсем дела о нем, чтобы не «опрохвостить» этого выскочку-адмирала, имеющего, по-видимому, высокого покровителя в высших морских сферах,— то дадут домашнюю головомойку министр и начальник штаба и будут держать на службе до выслуги полной пенсии и уволят, по прошению, в отставку с производством в контр-адмиралы.

Но чем более смягчалась кара в уме Пересветова при

мысли о своей отличной службе, еще недавно засвидетельствованной предместником начальника эскадры, о родственных узах с адмиралом-тестем и о знакомстве со многими адмиралами, которые были не бессердечными, а хорошими и добрыми людьми и «не зевали при случае на брасах»,— тем несправедливее казалась эта кара и тем ненавистнее становился в его глазах Северцов.

Но особенно злился Пересветов на бывшего своего помощника Баклагина.

По мнению бывшего капитана, Баклагин именно благодаря его показаниям и нежеланию помочь своему капитану был главным виновником того, что вся эта история открылась и с подлым удовольствием раздута адмиралом Северцовым.

Нечего и говорить, что о запоротом Никифорове и о тысяче двухстах фунтах, лежавших в виде чека в кармане, Пересветов в эту минуту не вспомнил.

Зато Егор Егорович злился и, не понимая, чем, кроме подлости или несосветимой глупости, объяснить эти откровенные разоблачения «собаки», старшего офицера, спрашивал себя:

«Какая цель такой подлости? Кажется, я ему ничего дурного не сделал, и... такой подлец!»

VII

Пересветов вернулся в отель, сбросил сукно, облачился в чесунчу и стал отпиваться содовой водой с brandy[1]. После нестерпимо палящего зноя на улице — в прохладном, полутемном номере Пересветов несколько отдышался, пересчитал изрядную сумму денег в золоте, написал жене длинное письмо о «подлости» товарища-адмирала и о скором приезде и вышел в контору отеля, чтобы сдать письмо и справиться о дне отхода первого парохода в Европу.

В это время в конторе появился бывший ревизор, лейтенант Нерпин. Вещи его были внесены китайцем — боем гостиницы.

— Под суд еду, Егор Егорыч! Прямо в Россию и под суд, Егор Егорыч! — воскликнул, здороваясь с Пересветовым, молодой красивый лейтенант в щегольском статском платье.

---

[1] водкой *(англ.)*.

И в лнце и в голосе Нерпииа была вызывающая, неспокойиая иаглость, н в преувелнченном смехе слышалась искусствеииость.

— Как же-с... И вас под суд — скажите пожалуйста! И всех иас, грабителей: вас, меия и Подосниинкова, старшего механика... С ним и не говорил этот иовый прохвост, а приказал передать — уезжать. Верио, и Баклагина отправнт в Россию... Ои, дурак, сам себя, говорят, опнсал извергом... Сегодня Баклагина зовет к себе Северцов... Верио, Баклагин еще порасскажет. Может, за откровеииость грозиый судья н не потребует примериого иаказання... Всех, говорят, выдал в своем показаинн. Нечего сказать, по-товарищески, Егор Егорыч... Каков-с?!

Пересветов озлобленио промолвил:

— Да... Прнзиаться, не ожидал такой... мерзостн...

— А еще фыркал... Придирался ко мие... Ревизор, мол, худо кормит... Помините, нз-за солонннны чуть было скандала ие сделал!.. Хорош товарнщ... Вроде этого Иуды адмнрала. И, пожалуй, еще Иуда оставит Баклагииа иа эскадре... А ведь мы воры... ужасные воры... Ои ведь так-таки н иамекал мие об этом. Так н хотелось дать ему в морду... да удержался... Не захотел в матросы из-за мерзавца. И какой же скот его превосходительство... Реформатор... Неподкупиый... Долг выше всего. Независимый!.. Имеет деиьги, так и зудит, подлец. А как сам-то выскочил в адмиралы?.. Я слышал от ревнзора иа «Проворном».

— А что? — с замирающим любопытством спросил Пересветов.

— Из-за одиой пожилой дамы, жены... (и Нерпин даже иазвал фамилию какого-то саиовинка). И карьера оттого... Нелицепрнятный! Незавнснмый! — лгал Нерпни, перевирая слышаииую нм сплетию.

Пересветов теперь уж ие остаиавливал лейтеианта, который хоть и в статском платье, а все-такн ие смел по долгу днсциплииы так ругать начальнника эскадры, и капнтаи прежде, разумеется, ие позволнл бы подчиненному таких речей.

Егору Егоровнчу, иапротив, было приятио слушать брань н сплетни иа Северцова, да еще без свидетелей н в коиторе нностранного отеля, в которой сндел аиглнчаннн-хозяин (коиечио, «подлый» н «воображающий о себе»), разумеется, ии слова ие поимавший и только иедовольио пучнвший н без того слегка выпяченные голу-

бые глаза, словно бы находя, что для разговоров место не «office»[1], а «parlour»[2].

Но еще приятнее и успокоительнее было то, что ревизор, по-видимому, не был в отчаянии и, казалось, далеко не верил возможности быть под судом.

«Положим, Неприн и легкомысленный человек, но неглупый и ловкий»,— думал Егор Егорович и сказал бывшему ревизору:

— Едем, Александр Иванович, на одном пароходе...

— Обязательно с вами, Егор Егорыч... И старший механик вместе, Егор Егорыч...

— Обсудим, как показывать в Петербурге... А вы еще уверяли: не узнает! — не без упрека прибавил Пересветов.

— Да ведь вольно было вам, Егор Егорыч, признаваться... И Подосинников тоже... И какие доказательства? Книги и документы в полном порядке. И какие злоупотребления, если по совести разобрать? Ну, отдавай под суд! Я на суде скажу, что мы не воры... Да, не побоюсь многое сказать... Пусть мне докажут, что мы воры оттого, что не отдали скидки со счетов поставщикам или консулам. Я объяснил этому упрямому подлецу!.. Он говорит: «Объясните суду». И объясню... Увидят! — не без горячности говорил Неприн.

— А бог даст, до суда и не дойдет. Что мусор-то перекапывать!

— То-то и я иногда так думаю. А вы как думаете? Под носом у адмирала ревизор на «Проворном» не купит в Гонконге по шести фунтов за тонну угля? И разве скидку не спрячет? Так меня за что под суд!

Наконец Неприн замолчал, и хозяин обратился к русским офицерам:

— Вам, кажется, я нужен?

Тогда Неприн стал спрашивать о дне ухода парохода в Европу и о цене мест в первом классе.

Кстати подошел Подосинников, и Неприн взял три билета и сказал бывшему своему капитану:

— А вы, Егор Егорыч, одолжите своему ревизору двадцать пять фунтов... А то не хватит до России. В Кронштадте возвращу.

Пересветов поморщился и обещал дать деньги.

— Только в дороге... А то, пожалуй, просадите деньги в Гонконге, Александр Иваныч.

---

[1] контора *(англ.)*.
[2] гостиная *(англ.)*.

Все трое вышли, направляясь в свои комнаты.

Нерпин обещал сейчас же зайти к Егору Егоровичу и в подробности рассказать, как «точил» адмирал. «И все тихо так, спокойно. Этакий фарисей!»

VIII

В эту минуту в дверях своего номера показалось хмурое лицо Баклагина.

Все раскланялись с ним.

— Вы к адмиралу, Леонтий Петрович? — спросил Пересветов.

— К Искариоту? К этой скотине? — задал вопрос и ревизор.

— Потрудитесь вежливее говорить при мне о русском адмирале,— сухо, резко и повелительно произнес Баклагин.— Вы еще флотский офицер,— прибавил бывший «собака» старший офицер.

Нерпин скрылся в свой номер, а Пересветов проговорил:

— На пять минут, Леонтий Петрович!

— Что вам угодно, Егор Егорыч?

И он отворил двери и просил войти своего бывшего капитана.

— Пожалуйте!

И Баклагин указал на кресло.

Пересветов опустился на кресло. Присел и Баклагин.

— Леонтий Петрович! Что вы со мной сделали? — обиженным тоном спросил Егор Егорович.

— Что сделал с вами? — переспросил Баклагин серьезно.

— Вы подвели меня, Леонтий Петрович. И за что? За что?

— Я не имею привычки подводить. Не понимаю. Как я вас подвел?

— Да вашими показаниями, Леонтий Петрович.

— Вы тоже давали их?

— Конечно.

— Так при чем же мои. Я отвечал на вопросные пункты по совести и по правде.

— А за вашу правду я иду под суд, Леонтий Петрович.

— Значит, и я буду под судом. И за себя. Люби кататься, люби и саночки возить. И вы не за мою правду

пойдете отвечать суду, а за что — вы сами знаете. Я в показании говорил о своей жестокости, о том, как я наказывал. О вас, конечно, не говорил. Это ваше дело говорить за себя.

— Но вообще это не по-товарищески, Леонтий Петрович.

— Что не по-товарищески?

— Да как же — эти ненужные подробности о наказаниях... И зачем?.. И ведь вы, Леонтий Петрович, усердствовали... Могли бы и остановить меня, если бы я требовал строгих наказаний, а вы всё: «слушаю-с» да «слушаю-с»... И теперь... я во всем виноват... И, наконец, вы даже не хотели исполнить просьбы, чтобы не было претензий, и сказать доктору... А у меня семья, Леонтий Петрович! — прибавил Пересветов.

— У меня другие правила-с. Таких просьб не считал возможным исполнить... Я не ожидал таких просьб от капитана... А что я был жесток не менее вас — знаю... И правду об этом написал в показаниях потому, что не считаю нужным скрывать то, что делал. Надеюсь, можно понять?

Но, по-видимому, Пересветов не понимал.

Пересветов поднялся с кресла.

Имея вид оскорбленного и обиженного человека, он проговорил именно то, из-за чего и пришел к Баклагину перед его отправлением к адмиралу:

— Согласен... Не хотели покрыть меня, Леонтий Петрович... У вас другие правила... Вижу, что вы во многом меня обвиняете... И сознаю, что виноват в смерти Никифорова, и... ну, знаете, как нахально действовал ревизор, и я... одним словом... Но, Леонтий Петрович!.. Вы знаете мое положение... Знаете адмирала и что мне грозит... И я прошу вас...

В голосе Пересветова звучала просительная, приниженная нотка. Лицо его имело выражение побитой собаки. Баклагин отвел глаза и, вставая, нетерпеливо и удивленно спросил:

— В чем же дело?

— Вы едете к Северцову...

— Да. Потребовал...

— Так не говорите обо мне, Леонтий Петрович... Не прибавляйте адмиралу его злобы к товарищу...

— Да что же вы смеете думать обо мне? — вдруг вскрикнул как ужаленный негодующий Баклагин.

И лицо его стало бледным.

— Вы... вы... верно, людей судите по себе?.. Так вы ошибаетесь! Я не скрываюсь за спиной другого...

Пересветов торопливо ушел, недоумевающий и испуганный бешеным окриком Баклагина.

С брезгливым чувством взглянул Баклагин на слегка сутуловатую фигуру бывшего своего капитана и чрез минуту вышел из отеля и поехал на пристань.

IX

У пристани дожидал Баклагина вельбот с «Проворного».

Леонтий Петрович вскочил в шлюпку, взялся за суконные гордешки руля и сурово крикнул:

— Весла!

С первого же взгляда вельботных на хмурое и серьезно-строгое худощавое и осунувшееся лицо Баклагина, на длинной фигуре которого «вольное» платье сидело и мешковато и неуклюже, и с одного его отрывистого и повелительного окрика гребцы сразу почувствовали и поняли, что повезут «собаку» старшего офицера. И с первых же гребков навалились вовсю, словно бы хотели показать «собаке», как гребут матросы с «Проворного».

Вельбот быстро шел, разрезая, словно ножом, воду. Гребцы, раскрасневшиеся от гребли и от палящего солнца, гребли артистически, с небольшими и равномерными паузами между гребками, во время которых все гребцы как один откидывались назад и поднимались.

И мрачное лицо Баклагина слегка прояснилось.

Прояснилось оно и когда вельбот приближался к «Проворному» и к «Кречету».

В него и впились загоревшиеся глаза бывшего старшего офицера. И он словно бы выискивал чего-нибудь оскорбляющего его морской глаз, но не находил, и глаза светились любовным взглядом старшего офицера, который восхищался стройным своим клипером с его чуть-чуть наклоненными тремя высокими мачтами, с безукоризненно выправленным рангоутом и белоснежной каймой выровненных коек поверх борта...

И Баклагин отвел глаза, угрюмый и грустный при мысли, что клипер, за которым он так неусыпно доглядывал и заботился, который лелеял и любил, как близкое и дорогое существо,— теперь не его клипер... И все конче-

но... Служба, которую он любит, невозможна... И еще позор суда...

Да... Он был жесток...

И в смерти Никифорова, и в той почти молитвенной радости матросов, вызванной уходом капитана и его, он словно бы прозрел всю силу своей жестокости.

Баклагин не переставал думать о том, о чем до смерти Никифорова, в которой себя обвинял, и не думал.

Как он, Леонтий Петрович,— казалось, не злодей же,— сделался таким жестоким и самым неумолимым исполнителем, особенно когда сделался старшим офицером?

Он считал себя честным и правдивым человеком. Он был добродушен и ласков с вестовым и с матросами на берегу, но на судне...

Конечно, без наказаний нельзя во флоте. Но ему теперь казалось, что можно было бы и легче... Он точно не видел, что жизнь на «Кречете» действительно была арестантской. И, кроме того, матросов обкрадывали. Он возмущался, но и только...

«И Пересветов ведь прав!» — с тоской думал Баклагин. Он, старший офицер, действительно усердствовал, во имя чего и перед кем? Мог бы и остановить тогда Пересветова, когда доктор говорил, что Никифоров не выдержит стольких линьков. Мог бы... Должен был... И капитан послушал бы своего старшего офицера, как слушал всегда и во всем по морскому делу. Баклагин ведь знал, что когда засвежеет или придется штормовать, то трусивший и малоходчивый капитан всегда беспрекословно приказывал то, что под видом почтительных советов приказывал старший офицер.

А между тем...

И какая слепота! Он не догадывался, что ревизор делится... Он не думал, что Пересветов такой форменный подлец... Его же одного обвинял в жестокости и о чем же приходил просить... В какой гнусности подозревал его, не знающего подвохов и лакейства!..

Он служил со многими и всякими капитанами, но такого позорного человека, такой подлой душонки не видал, слава богу...

«Проворный» был в нескольких саженях.

Баклагин стал еще мрачнее. Ему было оскорбительно-неприятно встречаться с знакомыми на корвете...

«Что, Леонтий Петрович? Запороли человека и пожалуйте к адмиралу!» — казалось Баклагину, встретят его на

«Проворном», на котором с командой не так обращались, как на «Кречете».

— Шабаш! — скомандовал Баклагин.

Он оставил на банке три доллара.

— Гребцам! — промолвил Баклагин загребному и поднялся на корвет.

X

Командир «Проворного», бывший на палубе, подошел к Баклагину, крепко пожал руку и деликатно, ни словом не упоминая о служебной серьезной неприятности, с приветливостью сказал:

— Ну как нашли корвет со шлюпки, Леонтий Петрович? Вы ведь дока... и я дорожу вашим мнением, вы знаете?

— В отличном порядке, Иван Иваныч... Красавец корвет... А я, извините... Адмирал потребовал... Адмирал...

— Да... да, ждет вас... Он, как я знаю, очень ценит в вас отличного морского офицера, Леонтий Петрович, и рыцаря правдивости! — прибавил капитан, который, как председатель следственной комиссии, знал об этом и счел долгом обратить на редкое показание Баклагина внимание адмирала.

Баклагин мысленно поблагодарил командира и попросил вахтенного офицера послать доложить адмиралу.

— Он приказал просить к нему, Леонтий Петрович, без доклада.

Баклагин вошел в адмиральскую каюту.

— Пожалуйте, Леонтий Петрович...

С этими словами Северцов привстал, протянул свою маленькую белую руку и указал на кресло у письменного стола, в глубине каюты, у открытого большого иллюминатора в корме, из которого точно в рамке виднелось море и бирюзовое небо.

— Прикажете папиросу, Леонтий Петрович? — предложил адмирал, пододвигая ящик.

— Очень благодарен, ваше превосходительство. Я привык к своим! — без всякой аффектации почтительности или благодарности, просто, видимо, не пугаясь предстоящего объяснения, проговорил Баклагин тем покойным, слегка официальным тоном, каким говорил обыкновенно с начальством.

И достал из кармана объемистый портсигар, вынул тол-

стую папироску и, вложив в янтарный мундштук, не спеша закурил.

Этот хмурый человек словно бы не знал, что может ему предстоять и в какой служебной зависимости находится от адмирала — до того Баклагин был непохож на испуганного или на представляющегося испуганным подчиненного. Северцов несколько удивленно посмотрел на Баклагина. И вместе с невольным уважением, которое вызывал Баклагин в Северцове, он словно бы рассеивал престиж молодого адмирала в его же глазах. И это сознание было неприятно Северцову. Он как будто терял с Баклагиным тон, которого надо было держаться справедливому, строгому и нелицеприятному адмиралу.

Баклагин невольно помешал внутреннему покойному довольству адмирала. И Северцов, при всей гордости своею независимостью, казалось, был бы более доволен, если бы Баклагин показал себя менее независимым и более чувствующим престиж адмиральской власти, безукоризненной справедливости и редкого повиновения голосу долга.

Его превосходительство несколько секунд помолчал и, слегка краснея от самолюбивого самоудовлетворения тем, что собирался сказать, с обычным своим серьезным спокойствием проговорил:

— Я считаю своим долгом прежде всего выразить вам благодарность за то мужество откровенности, с каким вы ответили на вопросные пункты. По крайней мере, вы не побоялись серьезной ответственности и сознались во всем.

— Я говорю правду, ваше превосходительство, не в ожидании благодарности! — ответил Баклагин.

Северцов покраснел. Он понял, что Баклагин не только не обрадован благодарностью, а, напротив, отклоняет ее. И, сбитый с позиции, он уже несколько нервнее проговорил:

— Из вашего показания видно, что наказания были жестоки. Вы знали, что закон, допуская телесные наказания, не имел в виду истязаний...

— Знал, ваше превосходительство.

— А кем наказан покойный Никифоров?

— По приказанию капитана, но в моем присутствии. И смерть матроса — моя вина... Я мог бы остановить наказание и доложить капитану, но я этого не сделал.

— Почему?

— Прошу разрешения не отвечать вашему превосходительству! — мрачно сказал Баклагин.

Он подумал: «И как смеешь ты залезать в мою душу!» И адмнрал показался ему далеко не симпатичным.

И в ту же минуту Северцову Баклагнн показался грубым н не поинмающим такого справедливого адмирала, как он.

— Мне очеиь жаль, что в вас эскадра лишнтся хорошего морского офнцера, но я все-такн обязан представить все дело высшему начальству н просить о предаиии всех прикосновеиных суду.

Баклагии молчал. Ни проблеска желаиия просить о чем-нибудь адмнрала.

И он уже с меньшим спокойствием прнбавил:

— Впрочем, я буду проснть мнннстра, чтобы вас избавнлн от суда... Я ведь знаю, что вы были только нсполнитель в иаказаннн Никнфорова... И ваша прежняя служба...

— Прошу ваше превосходительство отдать меня под суд. К чему же иарушать справедлнвость радн меня, ваше превосходительство? Я внноват, н дело... суда покарать! — холодно н сухо ответнл Баклагин.

Северцов покраснел и, едва сдержнваясь, несколько возвышая голос н раздражаясь, сказал:

— Это уж мие предоставлеиа власть. А вас покорнейше прошу отправиться в Россню н явнться к начальству. С богом!

Адмирал поклоннлся, но не подал рукн Баклагину и, когда остался одии, почувствовал себя словно облегченным и сиова нспытывал чувство удовлетворенностн н созиания своего престнжа.

Баклагин поставнл на свой счет памятник матросу Никнфорову н после этого вернулся в Россню.

Суда ни над кем не было. Все прикосновенные остались на службе. Только Баклагин сам подал в отставку.

1901

АМЕРИКАНСКАЯ ДУЭЛЬ

I

«Чайка», красавец военный трехмачтовый клипер, слегка накренившись, несся под всеми парусами с попутным, ровным зюйд-вестом, направляясь из Гонолулу, на Сандвичевых островах, к берегам Калифорнии, в Сан-Франциско.

Был седьмой час чудного июньского вечера.

Солнце, ослепительно заалевшее, медленно, величаво и словно бы нехотя опускалось за горизонт, заливая его блеском пурпура и золота и окрашивая часть бирюзового неба какими-то волшебно-нежными переливами всевозможных красок.

Палящий зной дня прошел. От волнистого безбрежного океана веяло прохладой. Казалось, не надышишься этим чистым морским воздухом.

Океан тихо рокотал. В этом рокоте не звучал угрозой морякам и не натягивал их постоянно напряженные нервы. Могучие волны прозрачной синевы с седыми, ослепительной белизны, верхушками одна за другою с тихим гулом разбивались о клипер, обдавая его алмазною водяною пылью, и покачивали его с бока на бок с ласковою осторожностью доброй няньки.

За кормой слегка пенилась серебристая лента и вдали исчезала, сливаясь с волнами.

Было тихо и торжественно кругом на беспредельном просторе океана, часть которого была охвачена заревом заката. И эта торжественность природы невольно передавалась многим чутким душам моряков.

Вахтенные матросы, стоявшие у своих снастей, не перекидывались словами. Они притихли и, любуясь на величавый закат, невольно отрешались от обыденных мыслей,

приподнято настроенные. У многих вырывались невольные вздохн, те вздохн безотчетной грусти, которая охватывает людей, чувствующих красоту и таинственную неразгаданность природы.

Один молодой матросик, маленький, худенький и пригожий, с большими глазамн, пугливымн, как у дикого зверька, тоскливо смотрел, как закатывается солнце, и вдруг перекрестился н шепнул:

— О господн!

И молодой голос его звучал грустно-грустно, словно бы он жаловался на что-то, просил о чем-то, жалел чего-то.

А между тем вокруг так хорошо!

Ннкто не обратил вннмания на это скорбное восклицанне молодого матросика.

Только стоявший около него, у той же фок-мачты, прн снастях, пожилой матрос, рябоватый и вообще неказнстый лнцом, крепкий н прнземистый, без среднего пальца, давно оторванного марса-фалом на жилистой, пропнтанной смолой, правой руке, повел на вздохнувшего матроснка бесстрастным, казалось, взглядом человека, давно ко всему прнтерпевшегося.

Повел и, сразу понявшн причнну грустного настроения первогодка-матросика, проговорил своим грубоватым, сиплым от пьянства голосом, в котором, однако, несмотря на грубость, пробнвалась участливая нотка:

— И дурак же ты, Егорка.

Егорка пугливо взглянул на старого матроса, который раньше никогда не удостоивал его разговором.

— А ты не оказывай перед им страху,— продолжал беспалый матрос, поннжая конфиденциально свой зычный бас: — Он н броснт над тобою куражиться... боцман-то... Нешто больно даве съездил? Целы зубы? — небрежно прибавил он.

— Целы... Он зубов не касался.

— Так чего же ты заскучал, Егорка?

— Главная причина: вовсе обидно, Иваныч.

— Обидно? А ты не обиждайся. Плюнь! Такая уж флотская служба терпеливая. Не ты один матрос на «Чайке». Все терплют. А то какой обидчистый, скажн пожалуйста,— насмешливо кннул Иваныч.

Матросик был, виднмо, смущен таким напомннанием о «всех».

В самом деле, разве он один терпнт? Других вот наказывают линьками, а его, слава богу, еще ни разу не пороли.

Вот только боцман утесняет, за всякую малость дерется, а то господь пока миловал.

А Иваныч, словно бы желая подбодрить Егорку, продолжал:

— Это што, коли боцман или старший офицер съездит по морде с рассудком, без повреждениев... Это настоящее дело для форменного матроса. Он должен к бою привыкать — на то она и служба. А вот меня, братец ты мой, так прежде форменно шлифовали линьками и, можно сказать, вовсе до отчаянности и безо всякого предела... Такой уж дьявол был у нас на корабле старший офицер... ну и капитан тоже... лют был на порку. И ничего: сустерпел все. Жив остался и безо всякой чихотки. А ты: «обидно»! То-то оно и есть, что ты еще вовсе глуп, Егорка!

И, помолчав, прибавил:

— А я уже боцману скажу, чтобы не очень тебя обалванивал. Пужливый и обидчистый, мол, матросик... Покурить нешто!

И с этими словами Иваныч отошел от мачты и, вынув из кармана просмоленных штанов коротенькую трубку и кисет с махоркой, набил трубку и стал курить.

Егорка не успел и сказать слово благодарности, весь проникнутый ею.

Благодаря ласковому слову, он уже был иначе настроен. Обнадеженный, он уже не чувствовал жуткой сиротливости и снова стал смотреть на закат, но уже без щемящей тоски забиженного существа, а в тихом, грустном и неопределенном раздумье.

И жить так хотелось, несмотря на обиды боцмана.

II

На мостике стоял, одетый во все белое, в сбитой слегка на затылок фуражке, из-под которой виднелись светло-русые кудрявые волосы, лейтенант Весеньев.

Он тоже любовался величественной картиной заката, душевно приподнятый и бесконечно счастливый, полный надежд таких же ярких и чудных, как эти краски неба.

Восторженно-мечтательное выражение светилось и в его молодом, свежем и жизнерадостном лице, опушенном шелковистой, вьющейся русой бородкой, и в его небольших живых серых глазах. Во всей его статной, хорошо сложенной фигуре было что-то вызывающее, победное и счастливое.

Он отрывался от заката, чтобы взглянуть иа паруса, иа компас, иа вымпел, и сиова устремлял свои глаза иа запад, туда, где должиы через деиь показаться красиоватые берега Калифорнии, которая казалась теперь молодому лейтеиаиту самым милым, самым желаииым уголком божьего мира.

И, любуясь закатом, любуясь океаном и небом, любуясь бледиым диском луны, едва светящейся иа иебе и словно ие смеющей показать своей красоты перед солнцем, глядя на паруса, иа палубу, иа рулевых, молодой лейтеиаит, весь проиикновенный и восторжениый, и в солице, и в небе, и в море, и в парусах — словом, во всем видел малеиькую, грациозную женщиину с большими темными глазами, то грустиыми, то задумчивыми, то улыбающимися и всегда прелестными.

Ои словио бы отожествлял весь мир с ней, и весь мир был полон ею.

Вот уже три месяца, как все мысли Весеньева поглощеиы этой малеиькой женщиной с большими темиыми загадочиыми глазами, с которой ои позиакомился в Саи-Франциско, и с первой встречи влюбился в иее так, как иикогда еще ие влюблялся ии в каких широтах, сам иесколько испугаииый и смущеиый захватившим его чувством, которое в разлуке ие только ие проходило, как прежде, а напротив, захватывало еще сильиее, и ие было, казалось ему, другой жеицииы во всей подлуииой, которая могла бы заставить забыть эту. Она одна, одна была имеиио тою родствеиною душой, другом и желаииой жеицииой — словом, тем воплощеиием идеала и иистиикта, присущим каждому мужчиие, который давио иосился в его душе. И когда ои в первый раз увидел в Саи-Франциско эту жеищину, он сразу же призиал ее за ту, свою любимую, давио зиакомую, о которой тосковал, ища жеиской любви, в мечтах, еще иа заре своей юиости,— призиал и радостио отдался чувству, ие думая, зачем, к чему, что из этого выйдет.

Весеиьев, обыкиовеиио экспансивиый, болтливый и общительиый, охотио рассказывавший о своих увлечеииях, иа этот раз тщательио скрывал от всех сослуживцев свое чувство и даже закадычиому другу своему, красавцубрюиету Олеиичу, ие открывался. И только, чувствуя иеодолимую потребиость говорить о любимой жеищине, ои рассказывал иногда ему, какая умиая, отзывчивая и милая жеищииа миссис Джильда. Однако друга своего ие знакомил с ней.

Скрывал ои от всех и переписку с миссис Джильдой и свое намерение жеииться иа ией. Ему казалось, что оиа ие любит своего мужа, иесколько иахальиого, хлыщеватого, с кольцами иа руках, ие всегда опрятиых, в пестрых костюмах и мало образоваииого, довольио красивого яики, лет тридцати пяти, профессия которого была загадочиа. По крайией мере, кто-то предупреждал Весеиьева иикогда ие играть с ним в карты и вообще остерегаться его.

Но ему до мужа ие было иикакого дела, и ои очеиь редко встречал его в гостииой жеиы.

А оиа, эта малеиькая брюиетка с лицом матовой белизиы, с чериыми как смоль волосами, которой по времеиам казалось лет двадцать пять, а по времеиам и больше, урожеика Мексики, изывавшая себя испаикой, так ласково, так проиикиовеиио, казалось, слушала, иежась в ленивой позе иа диваие или лежа в гамаке под теиью высокой калифориской секвойи в саду, почти всегда в ярко-пуицовом платке, который так шел к ией,— слушала стремительные речи этого кудрявого, белолицего блоидииа и загадочио улыбалась. Сама оиа почти иичего ие говорила и только иногда подавала реплики, умиые и подчас иасмешливые, воспламеиявшие еще более молодого моряка.

Весеиьев был представлеи ей иа балу, даииом городом офицерам «Чайки» через три дия после прихода ее иа саи-фраицисский рейд. Это было время междоусобиой войиы, и америкаицы-аболициоиисты всячески выражали участие русским, правительство которых явио показывало свои симпатии северяиам.

Все клубы, все гостииые широко открыли свои двери русским офицерам, и оии были везде желаииыми гостями.

Весеиьев заговорил с миссис Джильдой, точио давио ее зиал. Ои таицевал почти с ией одиой, получил иа память от иее гвоздику и вериулся под утро иа клипер, влюблеииый по уши.

На другой деиь ои был у иее с визитом, в иебольшой вилле почти за городом, и просидел два часа, а затем стал ходить каждый деиь. Его иеодолимо тяиуло в эту маленькую гостииую, где миссис Джильда обыкиовеиио проводила целый деиь, лежа иа диваие с киигой в руках, или в сад к гамаку, под секвойи.

Ои почти иикого ие встречал у иее в те предобедеииые часы или по вечерам, когда бывал у иее, и оиа ласково,

«Американская дуэль»

как доброму хорошему знакомому, протягивала ему свою крошечную руку с рубином на мизинце и уютнее усаживалась на диван, не скрывая своих маленьких ног в шитых туфлях. Приготовляясь слушать этого пришельца с дальнего севера, вдруг, как-то неожиданно, сделавшегося своим человеком в доме, она глядела на него умным, вдумчивым и грустным взглядом, казалось, нисколько не удивленная, что русский моряк ходит каждый день, но порою, казалось, недоумевала, что он даже не пользуется правами американского флирта и с робкою почтительностью целует ее крошечные холодные руки, и по временам глядит на нее так грустно-грустно, точно жалеет ее, точно прозревает, что в сердце этой маленькой женщины разыгрывается драма.

И миссис Джильда привыкла к Весеньеву и, казалось, не без удовольствия слушала, как стремительно, словно бы «волнуясь и спеша», говорил он без умолку на своем не особенно правильном английском языке о далекой России, о которой она имела представление, как о стране, где вечный снег и где везде гуляют медведи, о родных, о плавании на «Чайке», о своих планах и надеждах. Она слушала, слегка удивленная его горячностью и огоньком, сверкающим в его обыкновенно смеющихся глазах, когда он, со свойственною русским откровенностью, обнажал перед ней свою душу, высказывая свои решительные взгляды и нередко требуя самого радикального переустройства вселенной.

Скоро он стал менее болтлив. Он задумчиво примолкал, сидя около маленькой женщины, и глядел на нее восторженными глазами. Она тихо улыбалась и не отнимала своей крошечной руки, которую молодой лейтенант осыпал поцелуями.

Накануне отхода из Сан-Франциско Весеньев тоскливо сказал:

— Завтра мы уходим, миссис Джильда.

Она, казалось, была удивлена.

— Уходите? И я вас более не увижу? — протянула она грустно.

— От вас зависит. Я вас люблю, Джильда. Не на шутку люблю.

Лицо ее омрачилось печалью. Ее большие темные глаза нежно и благодарно глядели на Весеньева.

И она наконец прошептала:

— Это скоро пройдет.

— Это скоро не пройдет. Я чувствую.

— Зачем это случилось? Зачем? — уныло сказала она.

— Я не знаю зачем. Я знаю только, что люблю вас.

— Но вы совсем меня не знаете?

— Вы... чудная.

— О, я совсем не такая, как вы думаете... Я далеко не хорошая...

И слезы показались на ее глазах.

— Не лгите на себя... Хотите быть моей женой, Джильда?

Она почти испуганно посмотрела на Весеньева.

— Мне тридцать лет... я почти старуха, а вы...

— Мне двадцать шесть... Но разве это не все равно? Я люблю вас больше жизни. Хотите быть моею навсегда, Джильда? Вы разведетесь с мужем... Ведь вы не любите его?

— Нет.

— Я приеду через полгода сюда и увезу вас в Россию.

Джильда с тоской глядела на Весеньева и молчала.

— Вы отказываете?

Джильда не роняла слова и сидела с поникшей головой.

— Вы, значит, нисколько не любите меня, Джильда? А мне казалось...

Лицо Весеньева вдруг побледнело, голос был полон тоски, и на глазах дрожали слезы.

Маленькая женщина быстро подняла голову.

Еще секунда — она рванулась с дивана и, обвивая шею Весеньева, прильнула своими устами к его устам и снова села на свое место.

А слезы так и бежали из ее глаз.

— Джильда! Родная! Голубка моя! — проговорил по-русски Весеньев, умиленный и готовый плакать от счастья.

И, целуя ее руки, он по-английски продолжал говорить о своей любви.

А она, перебирая тонкими, бледными пальцами его кудрявые волосы, повторяла:

— Лучше забудь меня. Лучше забудь!

Определенного ответа она не дала, но не лишала его надежды.

Они расстались, обещая писать друг другу.

Письма ее были печальны и полны любви.

III

Солнце уплывало за горизонт.

— На флаг! — скомандовал Весеньев.

К спуску флага наверх вышли все офицеры.

Солнце исчезло из глаз, а на горизоите тотчас же потускнели яркие краски. Горнист заиграл зорю. Все обиажили головы. Спустили флаг. Со спуском флага деиь на военном судне окончился.

В скором времеии была пропета матросами молитва и роздаиы койки.

После коротких сумерек быстро опустилась ночь, чудная, теплая иочь. В небе засверкали мириады звезд, и луиа, томиая, задумчивая и красивая, медлеиио подималась все выше и выше, обливая своим серебристым светом и полосу океана, и паруса «Чайки», и палубу клипера.

Каким-то волшебством дышала эта ночь.

Весеиьев шагал взад и вперед по мостику, вдыхая полною грудью, и мечтал о встрече с Джильдой.

Какое неожиданиое счастье, что в Гонолулу, где собралась эскадра, адмирал приказал комаидиру «Чайки» идти в Сан-Фраициско и там дожидаться его. Навериое, придется стоять около месяца. Каждый деиь он будет у Джильды, и вопрос о свадьбе решится. В последием письме она писала, что согласна. Она и ие догадывается, что послезавтра ои будет у нее. Ои нарочно явится сюрпризом.

И молодой лейтеиаит представлял себе радость встречи, и сердце его замирало. И он глядел иа океан, глядел на луиу и иа звезды и видел одиу Джильду.

Пробило 8 ударов полуиочи, и иа смеиу Весеиьева пришел другой вахтеиный офицер.

— Все паруса... Курс WSW. Ветер восемь баллов... Ходу десять узлов... Хорошей вахты! — весело говорил Весеиьев, сдавая вахту мичману.

Он бегом бросился в кают-компаиию. Там вестовой уж приготовил ему стакан горячего чая.

Там же сидел, читая книгу, и друг его, лейтенаит Оленич.

Они были друзьями еще с морского корпуса и с тех пор жили душа в душу, братски привязаниые друг к другу.

Весеньев был такой веселый, такой жизиерадостиый, что Олении невольно спросил:

— Что с тобой, Боря?.. Отчего ты сияешь?

— А разве я сияю?

— Совсем... Точно собираешься идти на свидание с любимой женщиной, а не ложиться спать! — засмеялся Оленич.

Весеньев покраснел.

Он присел к столу рядом с Оленичем и тихо шепнул ему:

— Ты почти угадал, Володя... Я тебе ничего не говорил раньше, но теперь скажу... Ты ведь мой единственный друг.

И Весеньев рассказал о том, что любит миссис Джильду и собирается жениться.

— Ты с ума сошел! — воскликнул Оленич, когда его друг кончил.

— Отчего с ума сошел?

— Да ведь ты совсем не знаешь этой дамы. Я видел тогда на балу, и...

— И что же?

— И, скажу тебе по правде, она мне не понравилась...

— Отчего?

— Трудно сказать... В ней есть что-то скрытное... Точно ей есть что скрывать.

— Ты, Володя, гнусно смотришь на женщин вообще и потому говоришь вздор. Придем в Сан-Франциско, и я тебя познакомлю с Джильдой... Тогда ты увидишь, какая это прелестная женщина.

— Но, во всяком случае, Боря, ты хоть спроси о ней у нашего консула. Он всех знает.

— К чему спрашивать?

— А как же? Быть может, твоя миссис Джильда просто авантюристка...

Весеньев стал белее сорочки и вздрагивающим голосом произнес:

— Оленич! Я люблю тебя, как брата, но если ты когда-нибудь осмелишься сказать о ней подобное слово... мы навеки враги.

Оленич пожал плечами с видом сожаления.

— Прости, Боря... Ведь я твой друг и потому позволил себе сказать...

— Гадость! — прибавил Весеньев.— О, я непременно познакомлю тебя с ней, и ты убедишься, что это за чудное создание.

— И однако муж ее, говорят, шулер...

— Может быть... Но разве она виновата... Может быть, она этого и не знает...

— Мудрено не знать, если весь город знает...

— Ну и пусть знает...

— И живет с ним и пользуется средствами шулера... Боря, голубчик, не торопись, умоляю тебя... Прежде разузнай, расспроси... Ты ведь доверчив, несмотря на свой ум, и наивен, несмотря на то, что считаешь себя знатоком людей... Связать себя на всю жизнь...

Оленич замолчал, взглянув на страдальческое лицо друга. Он понял, что продолжать было бесполезно, не рискуя поссориться с человеком, которого любил.

И он решил иначе спасти друга от легкомысленной женитьбы.

IV

Через день «Чайка», слегка попыхивая дымком из своей белой трубы, тихим ходом входила на сан-францисский рейд.

Клипер еще накануне подчистился, прибрался и показывался теперь в чужие люди нарядным, изящным щеголем, возбуждавшим завистливое удивление на военных иностранных судах, стоявших на рейде. А их было немало.

И моряки разных национальностей ревниво смотрели, как ловко проходила среди купеческих кораблей «Чайка» и как хорошо она стала на якорь и быстро спустила все свои шлюпки на воду.

А Весеньев уже торопливо одевался в своей каюте в новую летнюю статскую пару и, в пробковом «шлеме», обернутом белой кисеей, в светлых перчатках, с тросточкой в руках, имел вполне джентльменский вид.

Он отправился в город с первой же отходившей шлюпкой.

Оленич, бывший на вахте, проводил своего друга взглядом, полным сожаления. Он сегодня же вечером собирался поехать к консулу и разузнать от него об этой миссис Джильде Браун.

Несимпатична была ему эта маленькая брюнетка с грустными глазами... Теперь же, после признания Весеньева, он прямо-таки относился к ней враждебно и готов был поверить всяким дурным о ней слухам.

«И чего нашел он в ней привлекательного?» — задавал вопрос себе Оленич, вспоминая эту брюнетку, какою он ее видел на балу: в желтом газе с красным, сильно декольтированную, с красной гвоздикой в темных, беспорядочно спутанных волосах. Чересчур истомленное лицо, большие

глаза, правда грациозиа, ио в ее маиерах что-то кошачье, что-то лукавое...

«Бедиый Борис!»

А «бедиый Борис» в это время ступил иа иабережную, предвкушая радость встречи. Жара была иестерпимая, и ои тотчас же иаиял коляску и попросил везти себя за город, иа виллу Брауи.

— Зиаете?

— Зиаю! — ответил кучер-ирлаидец.

— А чем заиимается мистер Брауи, вы зиаете? — спросил Весеиьев.

— Это его дело! — резко отвечал ирландец и прибавил: — А в карты вы все-таки с иим ие играйте, сэр!

Не доезжая до виллы, Весеиьев просил кучера остаиовиться.

Отпустив коляску, ои пошел пешком, рассчитывая обрадовать Джильду виезапиым появлеиием.

«То-то обрадуется!» — думал ои, вспомииая ее последиее, особеиио иежиое письмо, выучеииое почти иаизусть молодым лейтеиаитом.

С сильио бьющимся сердцем вошел ои в калитку сада. Масса чудиых роз, олеаидров, фиалок, гелиотропа и резеды иаполияли сад благоухаиием.

«Оиа, коиечио, одиа, в гамаке, с киигой в руках»,— подумал Весеиьев и, свериув в узкую каштаиовую аллейку, иаправился к высоким секвойям, распростраияющим смолистый аромат.

Вдруг раздался мужской голос, грубый и иаглый, как показалось Весеиьеву, и вслед за тем веселый, громкий и самодовольиый смех.

«Это ие муж»,— проиеслось в голове Весеиьева.

И у иего екиуло сердце. Все радостиое иастроеиие виезапио пропало. В душе сделалось мрачио, и сад показался вдруг мрачиым-мрачиым... И все вокруг словио потеряло прелесть.

Ои хотел уверить себя, что это голос брата или отца... Накоиец, какой-иибудь хороший зиакомый... Но этот голос... этот подлый голос звучал какими-то торжествующими звуками, иаполиявшими сердце Весеиьева тоской.

«Разве уйти?» — подумал ои.

Но сам подвигался вперед, замедляя шаги и чувствуя, как замирает сердце, словио бы его ожидало иесчастье.

Ои ищет жадиыми, лихорадочио загоревшимися глазами эти две зиакомые секвойи... и оии в иескольких шагах.

Между иими протяиут гамак, и в ием, вся в белом,

словно окутанная пеной, эта малеиькая женщиииа... Белые туфельки видиы из-под юбки. Голова лежит на подушке... Глаза полузакрыты... И это матовой белизны лицо кажется еще прелестнее.

А около, почти у самой головы Джильды, иа складном стуле сидел плотиый, кореиастый господин лет под сорок, хлыщеватого вида, с лицом, которое показалось Весеиьеву до невозможности пошлым и глупым.

А между тем этот пошляк-яики, в каком-то ярко-зеленом пиджаке, взял волосатою, грубою рукой малеиькую бледную руку Джильды и жадно поцеловал эту руку своими толстыми сочиыми губами раз, другой, третий...

Скрытый деревьями молодой человек все это видел и чуть не вскрикиул от негодоваиия.

Напрасно он старался побороть жгучую, острую боль ревиивого чувства, охватившего его. Напрасно он хотел изобразить иа своем лице презрительиое равнодушие.

Он имел самый жалкий, страдальческий и растеряиный вид, когда, перейдя дорожку, подошел к гамаку и, почтительно поклонившись, проговорил глухим, точио чужим, голосом:

— Здравствуйте, миссис Брауи.

Джильда слабо вскрикнула. В ее глазах блеснула радость, и в то же время что-то виноватое промелькнуло в этом взгляде.

— Вот иеожидаиио. Я очень рада вас видеть!

Оиа крепко сжимала руку молодого человека, ио, иесмотря на слова о радости, лицо ее было грустио.

— Мистер Блэк... Мистер Весеиьев, русский моряк,— проговорила Джильда.

— Тот самый, что ходил к вам каждый деиь, миссис Джильда? — с бесцеремонным смехом выпалил янки.

И, смерив молодого человека далеко ие дружелюбным взглядом, протяиул ему руку.

— Мистер Блэк ие особеиио воспитаиный человек! — смущенно промолвила Джильда, взглядывая иа Весеиьева.

— Еще бы! Я не белоручка из Европы, а яики! — дерзко проговорил мистер Блэк.

— Пойдемте-ка, господа, лучше в дом... Здесь жарко.

Джильда спустилась с гамака и взяла под руку Весеньева.

— Мне некогда... Я на миичтку только,— пролепетал ои.

Джильда зиачительио взглянула на молодого человека и ласково проговорила:

— Куда вы? Посидите, прошу вас...

— А я ухожу, мне некогда. До свидания, дорогая миссис Джильда. До завтра, не правда ли? Завтра едем в Сакраменто? — говорил мистер Блэк и на прощание поцеловал несколько раз руку молодой женщины.

Весеньева передернуло.

Джильда смущенно высвободила свою руку из руки мистера Блэка.

— Я не поеду с вами в Сакраменто, мистер Блэк! — проговорила она.

— А почему, позвольте узнать, вы не поедете? Ведь вы хотели ехать.

— Я передумала.

Мистер Блэк засмеялся гадким смехом и пристально поглядел на Джильду.

— Это решительно? — спросил он.

— Решительно.

Янки еле кивнул головой Весеньеву и ушел, насвистывая какой-то мотив.

Когда он вышел за калитку, Джильда умоляюще посмотрела на Весеньева и спросила:

— Что с вами? Вы сердитесь на меня?.. Вы... не доверяете мне?.. О, я вперед знала, что это будет! — печально промолвила молодая женщина, и по лицу ее пробежала грустная усмешка.

— Скажите, что это за идиот был у вас? — едва владея собой, спросил Весеньев.

— Один мой знакомый...

— Нечего сказать, хорош! Он вам очень нравится?

Джильда грустно усмехнулась.

— Отвечайте. Нравится?

— Нет, нет! — повторила молодая женщина.

— Но в вас он, конечно, влюблен?

— Да! — виновато шепнула Джильда.

— И бывает у вас каждый день?

— Бывает.

— И целует ваши руки?

— Целует! — покорно отвечала она.

— И вы обещали с ним ехать в Сакраменто?

— Обещала.

— А между тем вы писали, что любите меня...

— Писала...

— Но как же в таком случае вы принимаете этого болвана и позволяете ему думать?..

— Скучно одиой. Я говорила вам: я нехорошая... Я люблю, когда за мной ухаживают...

Молодой лейтенант недоверчнво взглянул на Джнльду.

— И только целуют рукн? — негодующе спроснл он.

— Вы мне не верите. Вы что-то подозреваете? А я ннкогда не лгу...

— И вы в самом деле говорнте правду, что любнте меня н пойдете за меня замуж?

— Люблю. Но, мне кажется, свадьбы ие будет. Я несчастная. И вы мне не верите! — сказала она, н все в ней говорило о какой-то тоске.

— Верю... верю! — вдруг порывисто воскликнул Весеньев, забывая все под чарамн любвн.

И, умиленный, стал целовать лнцо малеиькой женщины.

Она просветлела н нежно-благодарным взглядом ласкала молодого Весеньева.

Они пошлн в полутемную прохладиую гостиную. Джильда, по обыкновенню, улеглась на шнрокий диван. Весеньев сел около. Ои говорил о свадьбе. Ои торопил ее скорей сказать мужу и потребовать развода.

— Ои не даст... Он н Блэк убьют вас.

— В таком случае уедем тихонько. Согласиа?

Онн решнлн уехать вместе тайно в Нью-Йорк н оттуда на пароходе в Европу. Весеньев по болезни спншется с «Чайки». Его наверно отпустят.

— Только уедем скорей... Мие все не верится, что мы уедем, что ты меня любншь... Говорн, что любишь! Говори! — шептала Джильда.

И Джильда горячо целовала жениха.

Решеио было уехать через трн неделн. В седьмом часу Весеньев ушел от Джильды, еще более влюбленный, обещая быть завтра вечером.

V

Через два дия Весеньев прнвез к Джильде своего друга Оленнча.

Олеиич уже успел собрать справкн у русского консула о мистрис Браун, н справкн этн были не особеино благоприятны. По словам коисула, миссис Джильда женщина сомнительной репутации. Ее часто встречают с посторонннми мужчинамн. Что же касается до мужа, то это профессиональный шулер и человек вообще очень подозрительный.

Несмотря на неблагоприятные отзывы, Оленич был решительно очарован этой маленькой, бледной женщиной с большими темными глазами. Далеко не красавица, она показалась Оленичу пленительной с ее маленькой, ленивой и грациозной фигуркой. В этой женщине было что-то привлекающее, точно магнит. Она, по обыкновению, и с Оленичем говорила мало, больше слушала, подавая реплики и задавая вопросы, говорящие о тонком уме и отзывчивости, и при этом словно бы ласкала взглядом, полным чего-то манящего, загадочного и грустного. В этих глазах точно были и правда и обман...

И Оленич после визита, сам восхищенный, тем не менее пришел к заключению, что друг его делает величайшую глупость, собираясь жениться на Джильде.

«Это было бы величайшим несчастьем!» — подумал он и сам чувствовал, что что-то неотразимо тянет к этой женщине и ласковый ее взгляд чарует и волнует его.

— Ну, что, голубчик, понравилась тебе моя Джильдочка? — торжествующе и радостно спрашивал Весеньев своего друга, когда они возвращались с виллы.

— Очень!

— Еще бы, это прелестная женщина... И какие добрые глаза!

— Загадочные...

— И, не правда ли, хороша собой...

— Да... недурна! — сдержанно отвечал Оленич и почему-то покраснел.

С этого дня между друзьями как-то незаметно наступило охлаждение. Оленич точно избегал говорить с Весеньевым и резко обрывал его, когда он начинал говорить о Джильде.

VI

Адмиральский корвет «Витязь» неожиданно пришел в Сан-Франциско десятью днями раньше, чем его ожидали.

Капитан «Чайки», ездивший к адмиралу с рапортом, возвратившись, передал старшему офицеру о приказании адмирала — через три дня идти «Чайке» на Ситху.

Узнавши об этом распоряжении, Весеньев тотчас же попросил шлюпку, собираясь предупредить Джильду, чтобы она была готова ехать с ним через два дня в Нью-Йорк.

Весеньев заручился уже согласием капитана на отъезд в Россию по болезни и не сомневался, что и адмирал

разрешит отъезд, но хлопот предстояло еще много. Надо было устроить денежные дела, сделать кое-какие покупки на дорогу для Джильды и для себя, и Весеньев рассчитывал, что Оленич поможет ему разделить хлопоты этих дней.

И молодой лейтенант постучался в каюту Оленича. Ответа не было. Каюта заперта. Вестовые доложили, что он еще с утра уехал на берег.

«И куда это он каждое утро ездит!» — подумал Весеньев, несколько заинтересованный этими регулярными съездами на берег по утрам своего друга.

Около полудня Весеньев подъехал к вилле.

Горничная Бетси, толстогубая негритянка с добродушными, влажными и сильно выкаченными глазами, объявила мистеру «Весени», как она называла лейтенанта, что мисси Джильды нет дома.

— Скоро будет?

— А не знаю. Она куда-то уехала с вашим другом.

— С каким другом? — изумился Весеньев.

— С мистером Олени... Он ведь каждый день по утрам у нас бывает... Сидит с мисси Джильдой. Вы вечером, а он утром! — прибавила она, добродушно улыбаясь всем своим лоснящимся черным лицом и показывая ослепительно белые зубы.

В глазах лейтенанта помутилось. Он не верил своим ушам. Ни Джильда, ни Оленич ни слова не говорили ему об этом.

«Господи! Что же это?.. И Джильда и друг лгут... Зачем?.. Зачем?..» — подумал он.

Ревнивые подозрения закрались ему в голову. Светлый летний день точно померк, и сам Весеньев стал мрачнее тучи.

«Так вот для чего Оленич съезжает на берег каждое утро!»

Злоба к Оленичу наполняла сердце Весеньева,— злоба жестокая, какая только может быть у человека, обманутого людьми, в которых он верил, и у ревнивца, терявшего любимую женщину.

— О, подлые! — простонал Весеньев.

Толстая Бетси сочувственно, и в то же время слегка насмешливо, посматривала на русского моряка.

— Куда они поехали? — спросил он.

— Кажется, в парк.

— В парк... Зачем в парк? — бессмысленно повторил он.

— В парке хорошо гулять...

— В Сакраменто еще лучше! И Блэк бывает здесь?

— Теперь реже.

— А прежде?

— Каждый день...

«А она обещала его совсем не принимать!» — мелькнуло в голове молодого человека.

— О, лживая, подлая гадина! — вырвалось из его груди.— Дайте мне конверт, Бетси.

— Пойдемте в комнаты.

Весеньев прошел в гостиную. Эта комната, в которой он был так счастлив, теперь казалась ему словно бы опозоренной... Все здесь фальшиво... везде ложь, как и в этой женщине...

Он достал визитную карточку и дрожащей рукой, не понимая, что делает, написал следующие строки:

«Вы лживое создание. Мне стыдно за вас и за себя. Возвращаю ваше слово и презираю вас!»

Вложив карточку в конверт, он отдал ее Бетси и сказал:

— Прошу вас, Бетси, отдайте эту записку в руки миссис Браун.

— Будьте покойны.

— Непременно в руки...

— Отдам в руки. А вы разве вечером не приедете?

— Нет, Бетси, не приеду. Никогда больше не приеду.

И, едва сдерживая рыдания, Весеньев выбежал из виллы.

— В парк! — крикнул он кучеру.

Он велел остановиться у входа и вошел в огромный парк с высокими пихтами и секвойями, и озирался кругом безумными взглядами.

Он обежал все главные аллеи, всматривался в гуляющих и сидящих на скамьях. Тех, кого он искал, не было.

Тогда он направился наобум в глубь парка, в густую чащу. Там было прохладно. Он шел, не зная зачем, не зная куда, подавленный горем, обезумевший от полученной обиды и любивший Джильду, казалось, еще сильнее оттого, что она его обманула.

Где-то послышался голос.

Весеньев осторожно, крадучись, как тать, пошел на голос и замер, полный злобы.

У пруда на скамейке сидели Джильда и Оленич.

Он что-то тихо говорил и целовал ее руку.

Она слушала и ласково глядела на него задумчивыми грустными глазами.

Весеньев прнблизился к ним.

Джильда стала белее рубашки н испуганио остановила глаза на Весеньеве. В ее лице было что-то бескоиечио страдальческое.

Оленнч смущенно отодвннулся, выпустив руку Джильды.

Смертельио-бледный Весеньев, едва кивнул Джильде, подошел вплотиую к Оленичу, дал ему пощечииу и проговорил:

— Вы подлец, и я к вашнм услугам.

С этнми словамн он тихо удалился, неестествеино улыбаясь, точно сделал что-то зиачительиое н иужное для своего спокойствия.

VII

Уже выхажнвалн на шпиле якорь, когда к «Чайке» пристала шлюпка и из нее вышел иегр-посыльиый.

Ои спроснл, где мистер Весеньев, и подал ему малеиькнй конверт.

Весеньев, осунувшнйся за эти днн, точно выдержавший какую-то болезнь, отошел к борту н прочнтал следующие строки:

«Я ждала того, что случилось, но, прнзиаться, думала, что вы спросите, так лн я виновата, прежде чем написать, что я лживое создание... Я просто несчастное, нехорошее, ио ие лживое создаиие... И, клянусь, я вас одного люблю, хоть слушала н Блэка н вашего друга... Спроснте у него, он вам скажет... Простите меия и будьте счастливы... Надеюсь, вы меня довольио презираете, чтобы не проснть вас забыть иесчастную и легкомысленную, ио непорочную Джильду».

— Будет ответ, сэр?

— Ннкакого.

— Так н сказать миссис Браун?

— Так н скажите.

«Какой ответ! Она опять лжет!» — подумал Весеньев. Ведь Олеиич сказал ему, что она была его любовннцей!

И мучительное, злое чувство обиды и ревности опять сказалось с прежией остротой.

Как он страдал, этот бедный, легкомыслеииый лейтенаит! Эти днн он ходил словио безумиый и серьезио думал о том, что жить не стоит. И когда Оленич, после нанесеиного оскорблеиия, предложил бывшему своему дру-

гу американскую дуэль, Весеньев радостно согласился, почти уверенный, что узелок вытянет не он.

Однако узелок вытянул он. Умирать предстояло Оленичу.

Решено было, чтобы не возбудить подозрения в умышленной смерти, что вынувший роковой жребий бросится в море на другой день по выходе из Сан-Франциско. Таким образом смерть объяснится несчастною случайностью.

После объяснения, во время которого Оленич, словно бы нарочно, чтобы нанести тяжелую боль Весеньеву, сказал ему, что Джильда была его любовницей, они не говорили, конечно, ни слова и, казалось, еще более возненавидели друг друга.

«Чайка» тихо выходила с сан-францисского рейда. Весеньев жадно смотрел на город, в котором так жестоко поругана была его вера в двух любимых людей.

Наконец город скрылся, а молодой лейтенант все еще смотрел на берега, и образ маленькой бледной женщины с большими грустными глазами невольно стоял перед ним, наполняя все его мысли. И он чувствовал, что все-таки любит Джильду. И жалел и ее и себя.

Но Оленича он не прощал. При мысли о нем злоба закипала в сердце молодого человека, и он словно забывал, что бывший друг его должен завтра умереть.

Оленич не показывался из своей каюты. Он целую ночь писал кому-то письма и плакал.

VIII

Весеньев стоял вахту с четырех до восьми утра.

Мрачный ходил он по мостику и, когда солнце выплывало из-за горизонта, разогнав предрассветный полумрак и заливая светом и блеском все вокруг, он не любовался чудным зрелищем восхода. На душе у него было тоскливо и смутно.

Он посматривал на паруса, на океан, катившии свои волны, взглядывал на компас и снова ходил по мостику.

А ветер заметно крепчал и волны рокотали сердитей, сильнее раскачивая «Чайку», которая под марселями, брамселями, фоком и гротом неслась к северу, в полветра, узлов по десяти в час.

Как только что взошло солнце, Весеньев увидел поднявшегося снизу Оленича. Его красивое лицо было мерт-

венно-бледно, спокойно и серьезно. Только тонкие губы вздрагивали и глаза как-то странно жмурились.

При виде Оленича сердце Весеньева екнуло.

Оленич твердой походкой поднялся на мостик и подошел к Весеньеву. Весеньев смущенно опустил глаза, не смея взглянуть в лицо человека, приговоренного к смерти.

А он между тем говорил:

— Перед смертью простимся, Боря. Я очень виноват перед тобой, прости меня. Расстанемся хоть не врагами...

И он протянул Весеньеву руку. Тот пожал ее.

— Прости меня,— повторил он,— и слушай: Джильда никогда не была моей любовницей. Я гнусно наврал на нее. Она любит одного тебя...

И тотчас же у Весеньева исчезла всякая злоба на Оленича, и он взволнованно проговорил:

— Зачем ты это сделал?

— Я тоже люблю Джильду... и ревновал... понимаешь?.. Сперва я ухаживал за ней, чтоб открыть тебе глаза и остановить от женитьбы, а потом... потом... увлекся ею...

— А она?

— Она жалела меня, слушала, что я ей говорил, и скрывала наши свидания, чтобы не огорчить тебя... Она несчастная, легкомысленная, все, что хочешь, но не лживое создание... Но ты все-таки не женись на ней... Она измучит тебя... Ты всегда будешь ее подозревать... Прости же, Боря... Скажи, что ты не вспомнишь лихом своего друга...

— Володя... милый... Так зачем же?.. Забудем все и... прости меня. Дуэль недействительна...

— Нет, голубчик... Нельзя... Слово держать надо. Надо искупить позор оскорбления и подлость. Прощай!..

Они обнялись крепко, по-братски.

Слезы душили Весеньева, когда он опять сказал:

— Володя... ведь это глупо... умирать... Опомнись... Из-за чего? Я разрешаю тебя от слова...

— Но я не разрешаю... И прошу тебя не ложиться в дрейф из-за меня... Я скоро потону. Я пловец неважный... Письма отправь... Вот они...

Он отдал письма, быстро спустился с мостика, сел на подветренный борт и, нарочно перегнувшись, упал за борт.

Весеньев ахнул. В одно мгновение он снял с себя сапоги и сюртук и бросился с мостика в океан спасать своего друга.

Сигнальщик побежал за капитаном, и через несколько минут «Чайка» лежала в дрейфе, и баркас был послан искать погибающих.

Весеньев был отличный пловец и скоро настиг Оленича.

— Боря... родной... зачем?..— воскликнул Оленич.

— Затем, чтоб ты жил, а не то вместе погибнем! — радостно говорил Весеньев, поддерживая друга.— Ложись на спину... Вот так... Смотри, и баркас идет.

Действительно, скоро подошел баркас, и оба друга были вытащены из воды.

Из Ситхи Весеньев написал Джильде письмо, моля о прощении. Отзета по указанному адресу в Гонконг не было. Тогда Оленич написал консулу, и через две недели был получен ответ, что миссис Браун убита некиим Блэком.

СЛОВАРЬ МОРСКИХ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В РАССКАЗАХ[1]

Абордаж — свалка нлн сцепка двух судов с целью наиести вред друг другу.

Авария — повреждеиие судна или груза.

Аврал — работа на корабле, в которой прнннмает участие вся команда. Во время аврала командует старший офицер.

Адмирал — званне начальствующего флотом. В Росснн это звание делится на 4 чина: 1) генерал-адмирал, 2) адмирал, 3) вице-адмнрал н 4) коитр-адмирал. Во время пребывання в плаванни адмнрал имеет флаг на грот-мачте, внце-адмирал иа фокмачте н контр-адмирал на бизань-мачте.

Адмиральский час — выраженне, получнвшее иачало во времена Петра Великого; обозначает час, когда надо приступнть к водке перед обедом. Петр Велнкнй н его сподвижннкн — члеиы коллегий — прерывали заседаиня прнсутствнй перед обедом в 11 часов н, возвращаясь домой, заходили в австерни выпнть водки.

Анкерок — бочоиок в одио, два, три ведра; употребляется для водяного балласта иа шлюпках, для вниа, уксуса н прочей мокрой морской провизии.

Апанер — положеиие каиата, перпендикуляриое к воде, при выхаживаиии якоря, когда последннй еще ие встал, т. е. не отделнлся от грунта.

Артель — комаида иа судие делится иа артели, н каждая из своей среды выбирает артельщика.

Артиллерийский офицер — офнцер морской артиллерии. Ныне этот корпус офицеров упразднен.

Ахтерштевень — брус, идущий вертикальио илн наклонио от киля и составляющий задиюю окоиечиость судна; к ахтерштевию навешнвается руль.

Бакан — плавающий буй, ставится иа якорь для обозиачення опасиостн нли ограждеиня мели.

Баковый — имеющий иазиачеиие работать иа баке или предмет, помещаемый на баке.

[1] Заимствовано из объяснительного морского словаря В. В. Вахтина.

Бакштаг (курс относительно ветра) — попутный ветер, составляющий с диаметральной плоскостью судна угол более 90° и меиее 180°.

Бакштаг — снасть, которая служит для укреплеиия с боков рангоутных деревьев, трубы, боканцев и т. д.

Бакштов — толстая веревка, выпускаемая за корму; за нее крепятся гребные суда во время якорной стоянки.

Бак — передияя часть судна до фок-мачты. Посадить иа *бак* — наказать. *«На баке!»* — так кричат, чтобы во время работы обратить виимание старшего из находящихся иа баке чииов.

Бак — посуда; большая деревяииая миса, употребляемая для пищи артели.

Баластина — чугуииая или вообще металлическая плитка или брусок, употребляемые на судах для балласта.

Балкон — галерея за кормой.

Балласт — груз судна для того, чтобы оио не оставалось пустое. Может быть чугунный, каменный, песчаный или водяиой.

Банка — мель среди глубокого места.

Банка (у шлюпки) — сиденье для гребцов.

Бар — мель, или иаиос, образующийся у устьев рек.

Барашки, или *зайчики* — белые верхушки у волн.

Барк — коммерческие парусные суда, имеющие две мачты с прямыми парусами и одну (бизань-мачту) с косыми.

Баркас — самое большое гребиое судно на корабле. Бывает и паровой.

Барометр — ртутный прибор для измерения давления атмосферы.

Баталер — унтер-офицер иа судне, помощник комиссара. Содержатель провизионных запасов.

Батарея — на судне так называется палуба, на которой стоят орудия.

Бейдевинд — курс, самый близкий к линии ветра.

Береговые ветры (бризы) — правильно дующие ветры близ берега: днем с моря, а ночью с берега. Особенною правильностью отличаются в жарких страиах.

Берег. Наветренный — если ветер от него, и *подветренный* — если ветер дует на него.

Беседка — доска, на которой матрос, сидя, работает. Доска вставляется в петлю, образуемую сиастью, таким узлом, чтобы он не затянулся.

Бизань — парус иа задней, бизань-мачте.

Бимс — поперечный деревяииый брус или железная уго́льиая полоса между бортами. На бимсы настилаются палубы.

Бить склянки — бить в колокол число скляиок.

Блок — бляха, ком — деревяииый или железный; имеет внутри шкив (бакаутиое или медное колесо, вращающееся между щеками блока) и служит для проводки сиасти.

Боканцы — деревяиные или железиые брусья по бокам судна, на которых висят шлюпки.

Бора (от греч. и лат. Boreas) — жестокая приморская буря в Адриатическом море (на берегу Далмации), а также в Южной России, особенно на восточном побережье Черного моря.

Борт — сторона или бок судна.

Борт-о-борт — сближение двух судов, когда они почти касаются друг друга.

Бот — одномачтовое судно. *Лоцманский бот* — бот, на котором лоцман выходит в море для встречи судов.

Боцман — старший строевой унтер-офицер; на судне имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми.

Брамсель — парус, поднимаемый над марселем. Смотря по тому, какой мачте принадлежит, называется: гром-*брамсель*, фор-*брамсель* и крюйс-*брамсель*. Парус, поднимаемый над брамселем, называется *бом-брамселем.*

Брандвахта — караульное судно на рейде или в гавани.

Брандспойт — переносная пожарная помпа, употребляемая на судах помимо своего прямого назначения и для других надобностей, как то: скачивания палубы и каната, мытья бортов, обливания матросов в жарких странах и проч.

Брас — снасть бегучего такелажа, посредством которой ворочают рен. Брасы принимают названия тех реев, к которым они прикреплены (грота-*брасы*, фока-*брасы*, гром-марса-*брасы*, фор-марса-*брасы* и т. д.).

Брать высоты солнца — измерять угломерным инструментом высоты солнца.

Брашпиль — горизонтальный ворот, употребляемый для подъема якоря.

Брезент — сшитые вместе полотна парусины. Употребляются для застилки палуб и вообще для прикрытия предметов, которые надо защитить от сырости или пыли.

Брейд-вымпел — широкий вымпел. Поднимается на судах в знак присутствия особ императорской фамилии, управляющего морским министерством, главного командира порта или начальника отряда судов, не имеющего адмиральского чина.

Бриг — двухмачтовое парусное судно с прямыми парусами на прямых мачтах.

Броненосец — судно, защищенное броней.

Брызгас — работник, исполняющий все железные работы по судну.

Бугшприт — горизонтальное или наклонное дерево, выдающееся с носа судна.

Буек — поплавок и спасательный круг.

Буксировать — тащить за собою другое судно на толстой веревке, называемой *буксиром.*

Буревестник — птица из рода Procellaria.

Бурун — отбой и прибой волны между камнями или к берегу и от берега.

Бухта — небольшой залив.

Бухта — трос, свернутый кругами, или снасть, уложенная в круги. *Из бухты вон!* — приказание отойти от каната перед отдачей якоря.

Валек — утолщенная часть весла.

Вал гребной — вал, который приводит во вращательное движение *винт* парового судна.

Ванты — пеньковые или проволочные снасти стоячего такелажа, которыми укрепляются с боков и сзади мачты, стеньги и брам-стеньги.

Ватервейс — водяные стоки. Толстый деревянный брус, накладываемый на бимсы и прилегающий к борту; идет вокруг всей палубы.

Вахта — дежурство. Четырех- или шестичасовой промежуток времени на судах, в которых вступает на дежурство наверх офицер — вахтенный начальник — и с ним половина судовой команды. По времени вахты различаются на дневные и ночные. Каждая вахта команды делится на два отделения. Ближайший начальник вахты нижних чинов — боцман. Сутки на военных судах делятся на пять следующих вахт: 1) с полдня до 6 ч. веч., 2) с 6 веч. до полночи, 3) с полночи до 4 ч. утра, 4) с 4 ч. до 8 ч. утра и 5) с 8 ч. утра до полдня. Сменившиеся с вахты называются подвахтенными.

Вахтенный начальник — офицер, правящий вахтой, лицо, которому подчинена вся вахтенная команда. Вахтенный начальник за все время своей вахты отвечает за безопасность судна, за содержание в постоянной исправности, за соблюдение порядка и за исполнение всех приказаний командира и старшего офицера. Ему подчинен караул и все вахтенные офицеры и нижние чины. Отличительным знаком вахтенного начальника служит рупор. Вахтенному начальнику не разрешается садиться, курить, вступать в разговоры, не касающиеся его служебных обязанностей, и спускаться с верхней палубы, не сдав вахты другому вахтенному начальнику. Во время аврала на вахту вступает старший офицер.

Вахтенный (или шканечный) журнал — шнуровая книга, в которую заносятся все события из жизни судна и лиц, на нем плавающих, случаи сношения с другими судами и вообще все обстоятельства плавания (курс, направление и сила ветра, ход, крен, температура воды, высота барометра, состояние погоды, моря и неба, обороты винта, дрейф, паруса, под которыми идет судно, и т. п.). Подписывается вахтенным начальником.

Вельбот — шлюпка, имеющая нос и корму острые; она имеет пять-шесть распашных весел и, смотря по тому, для кого служит, получает название адмиральского, капитанского или офицерского вельбота.

Верп — небольшой якорь, употребляющийся преимущественно для завозов.

Весло — деревянное орудие для гребли. Части весла: *валек* (от уключины до рукоятки), *рукоятка* (место, за которое гребец

держится рукамн) н *лопасть* (часть, погружаемая в воду). По роду гребли весла бывают *распашные*, когда на баике сндит однн гребец, и *катерные*, когда на каждой банке сндит по два гребца. *«Суши весла!»* — команда, по которой гребцы, не вынимая весел нз уключин, держат нх в горизонтальном положенни, лопастями параллельно воды. *«Навались!»* — гребн сильней. *«Табань обе!»* — или *«Табань правая!»*, *«Табань левая!»* — та сторона, которой отдаио приказанне, или обе гребут в противиую сторону, от себя, сообщая шлюпке заднні ход. *«Шабаш!»* — по этой команде весла убнраются.

Вестовой — матрос, назначенный для услуг в кают-компаннн н офнцерам.

Ветер заходит — становится круче. *Отходит* — становнтся полнее.

Веха — шест на поплавке, поставленном на камне нлн баластнне (вместо якоря) для указаинй фарватера или на месте утонувшего корабля.

Винт — двигатель, помещаемый за кормой парового судна.

Водоизмещение — вес воды, выдавлнваемой судном прн углубленнн его по грузовую ватерлинию.

Водолаз — человек, опускающнйся на дно в водолазном аппарате.

Водопреснительный аппарат (опреснитель) — аппарат на судне, служащий для опреснения забортной соленой воды.

Волнение — колебание воды от действня ветра. Образующиеся выпуклости называются валамн нлн волнамн. Неправнльное волнение иазывается *толчеей.*

Вооружать судно — осиастить его, снабдить артиллериею н всем необходимым для плаваиня.

Ворса — старые снастн, распущенные на пряди н каболки.

Вперед смотреть! — приказаиие, отдаваемое часовым с вахты для возбуждення нх вннмаиня.

Встать на якорь — бросить якорь.

Всех наверх! — команда, по которой вызываются людн наверх для работы.

Выбленки — тонкнй трос поперек вант, составляющнй лестнницу, по которой поднимаются матросы для работ иа марсах н реях.

Выбрать конец — вытянуть конец (веревки), поданный нли брошеиный на судно или иа шлюпку.

Выгребать — подвнгаться с трудом на веслах вперед.

Выйти на ветер — выйти иа ту сторону, в которую дует ветер.

Вымбовка — рычаг, деревянный длнннный брусок, который вкладывается в вырезки шпиля. Вымбовкн служат для вращения шпнля.

Вымпел — узкнй н длнннный флаг, поднимаемый на брамстеньге.

Выстрел — рангоутное дерево, служащее для постановкн

нижних лиселей. Во время якорной стоянки на выстрелах держатся привязанные на концах шлюпки.

Вытравить канат — выпустить в воду более каната, чем было.

Вытягиваться на рейд — выходить из гавани посредством завозов.

Гавань — место на воде, огражденное естественно или искусственно от волнения и представляющее удобную стоянку для судов.

Галета — морской сухарь; выпекается из ржаной или пшеничной муки и употребляется в плавании вместо хлеба.

Галс — веревка, удерживающая на должном месте нижний наветренный угол паруса.

Галс (курс корабля относительно ветра).— Если ветер дует с левой стороны, то говорят, что судно идет *левым галсом*; если же с правой, то говорят, что оно идет *правым галсом. Лечь на другой галс* — значит поворотить так, что ветер, дувший, например, в правую сторону судна, будет дуть в его левую сторону. *Сделать галс* — пройти одним галсом, не поворачивая.

Галфинд.— Когда направление ветра с курсом корабля составляет прямой угол, то говорят, что судно идет галфинд или *вполветра.*

Гальюн — пристройка к носу судна, где на старинных судах помещались штульцы для команды.

Гальюнщик — матрос, заведующий гальюнами.

Гандшпуг — палки, спица, всякий деревянный или железный рычаг.

Гардемарин.— С 1860 по 1882 г. это было офицерское звание, которое давалось по окончании курса в морском корпусе на 2 года, до производства в мичмана: теперь звание это принадлежит кадетам старшего класса морского корпуса.

Гарпун — небольшое железное копье, надеваемое на древко. Употребляется для ловли китов и другой большой рыбы.

Гитовы — снасти, которыми убираются паруса. *Взять на гитовы* — подобрать парус гитовами.

Гичка — легкая, узкая и длинная шлюпка с тупой кормой.

Гнать к ветру — идти бейдевинд, как можно круче.

Голанка или голландка — верхнее платье матроса. Род блузы из фланели или парусины. В русском флоте шьется из серой парусины.

Гордень у паруса — снасть, которою парус подтягивается к рею.

Горизонт — круг, отделяющий видимую часть земной поверхности от невидимой. *Видимый горизонт* — окружность круга, разделяющая, по-видимому, небо от воды. В сущности, эта окружность есть основание конуса, вершина которого в глазе наблюдателя, а образующие суть касательные к поверхности земли.

Кто гребет? — оклик проходящей мимо судна шлюпке или подходящей к нему шлюпке. На это со шлюпки отвечают:

«Мимо!» — если она не пристает к борту, или: «Матрос, офицер с такого-то судна!» Командир в ответ называет имя своего судна, а адмирал отвечает: «Флаг!»

Грот — нижний парус грот-мачты.

Грунт — дно моря, реки, озера, океана.

Гюйс — флаг, ставящийся на военных судах на бугшприте, когда судно стоит на якоре.

Даглиск — левый становой якорь.

Двойка — двухвесельная малая шлюпка.

Дождевик — пальто из непроницаемой ткани.

Док — канал, который может быть осушаем; в него вводят суда для починки.

Долгота места — дуга экватора между некоторым меридианом, принятым за первый, и меридианом, проходящим через данное место.

Дрейф — отклонение от пути. Всякое судно, идя бейдевинд, кроме поступательного движения, имеет боковое, по направлению ветра; это последнее называется дрейфом. *Лечь в дрейф* — расположить паруса таким образом, чтобы от действия ветра на один из них судно шло вперед, а от действия ветра на другие — пятилось назад. Во время лежания в дрейфе судно попеременно то идет вперед — восходит, то пятится назад — нисходит.

Дымовая труба — труба из машины, в которую выходит дым из топки после того, как он пройдет по *дымогарным трубкам* и поступит в *дымовой ящик*.

Делать столько-то миль в час, в сутки — проходить это число миль.

Ендова — медная посуда с носиком. В ендову наливают водку перед раздачей, и из нее матросы черпают чарками, когда пьют.

Есть! — слово, принятое во флоте вместо ответа: «слушаю», «хорошо» и т. д.

Завоз.— Чтобы протянуть судно вперед, назад или в сторону, на шлюпку подают якорь или верп, к которому привязывают кабельтов; шлюпка, отойдя в желаемом направлении, бросает якорь. Говорится, что она сделала завоз. Тянуться на таких завозах, чтобы пройти вперед без парусов, паров и весел, называется: верповаться.

Загребной — гребец или гребцы, действующие первыми от кормы веслами.

Закрепить парус — обнести сезнями или концом после того, как парус взят на гитовы.

Залив — губа или бухта. Часть моря, озера или реки, вдавшаяся в берег.

Залп — выстрелы, произведенные вдруг из нескольких орудий.

Запасный такелаж, паруса, стеньги и пр. — предметы судового вооружения, отпускаемые в запас.

Запеленговать — определить направление по компасу.

Зарываться — брать воду носом.

Зенит — точка на небе, находящаяся прямо над головой наблюдателя.

Зыбь — плавное волнение или колебание моря, бывающее обыкновенно или после ветра, или предвещающее его приближение.

Идти — плыть на судне.

Интрепель — холодное оружие вроде топора; употребляется при абордаже.

Кабельтов — трос толщиною от 6—13 дюймов.

Кабельтов — расстояние в 120 сажен. В море небольшие расстояния принято считать кабельтовами.

Каболка — пеньковая нить, составная часть всякого троса.

Каботажное судно — судно коммерческое, плавающее в виду берегов.

Кадка марса-фальная. — Бухта марса-фала укладывается в кадку для того, чтобы эта важная снасть, при отдаче, была всегда чиста. *Кадка фитильная* — кадка, в которую ставится ночник с фитилем.

Калнор — диаметр канала орудия.

Камбуз — судовая кухня.

Канат якорный — цепной составляется из концов длиною каждый в 12 $^1/_2$ сажен; такой конец называется смычкой. Смычки соединяются между собою соединительными скобами.

Канонерская лодка — паровое военное судно, имеющее две или три голых мачты и от одного до трех поворотных орудий.

Капитан — командир военного судна или шкипер коммерческого. *Флаг-капитан* — штаб-офицер, состоящий при адмирале, командующем эскадрою.

Карбас — лодка, употребляемая жителями Архангельской губ.

Карта — изображение земной поверхности на бумаге; к таким изображениям прибегают по необходимости, за неудобством иметь глобусы больших размеров, на которых поверхность земли могла бы быть изображена с достаточной подробностью. Морские карты бывают меркаторские и плоские. *Меркаторская карта* — карта с меридианами и параллелями прямыми и друг к другу перпендикулярными линиями. Эти карты впервые были изданы нидерландским географом Меркатором, во второй половине XVI века, и поэтому получили название меркаторских. Градусы долготы на этих картах равны между собою и экваториому градусу. Градусы широты постепенно увеличены от экватора к полюсам в том же отношении, в каком градусы параллелей на земном шаре уменьшаются против экваторного градуса, так что все точки изображаемой на карте поверхности находятся

в том же взаимном положении между собою, как и на земном шаре. Расстояния между этими точками те же самые, что и на земном шаре, но измеряются особым способом, т. е. снимаются циркулем и прокладываются к меридиану, и именно к той его части, против которой (по параллели) лежат данные пункты, так что масштаб изменяется с изменением широты пунктов. Меркаторские карты употребляются для больших плаваний. *Плоская карта* — употребляется для малых плаваний; на плоских картах меридианы изображены прямыми линиями, параллельными между собою; параллели также прямыми линиями, перпендикулярными меридианам. Градусы широты равны между собою; градусы долготы также равны между собою и экваториому градусу, если экватор включен в карту.

Картушка (на компасе) — бумажный или слюдовый круг, соединенный с магнитной стрелкой. Круг разделен на 32 деления, называемые румбами, и на градусы. Каждое деление, кроме того, разделяется на 4 части: на четверти румба.

Катер — шлюпка с более острыми обводами и вообще более легкой постройки, чем баркас. Преобладающий тип шлюпок на военных судах.

Качка — колебание корабля на волнении. Если судно качается с боку на бок, то говорят, что оно имеет *боковую качку*. Колебание судна вдоль киля называется *килевою качкою*.

Каюта — комната на корабле.

Кают-компания — общая каюта, салон для офицеров.

Киль — четырехгранный брус, составленный по длине судна из нескольких штук; он служит основанием судна.

Кильватер — струя, остающаяся за судном, когда оно идет. Так же называется строй, когда суда идут друг за другом, строй *кильватера*.

Китобой — судно, занимающееся китовым промыслом.

Класть руля — ворочать руль.

Кливер — косой треугольный парус, ставящийся впереди фок-мачты.

Клипер — судно, отличающееся от других типов быстротой хода и остротой своих обводов. Вооружено тремя мачтами; задняя — сухая, т. е. без прямых парусов.

Клотик — довольно толстый точеный кружок, имеющий четырехгранное отверстие в центре, которым надевается на флагшток или топ мачты. Он имеет два или три шкива для сигнальных фалов.

Кнехт — вертикальные брусья, имеющие шкивы и оканчивающиеся сверху головками. Они служат для проводки снастей и крепления и утверждаются или на палубе, или на внутреннем борте, или между шпангоутами; в последнем случае открытою остается одна головка.

Сигнальная книга — книга, в которой в алфавитном порядке помещены все необходимые для переговоров выражения, а также комбинации букв, по которой производится сигнал или нумер для ночных и туманных сигналов.

Койка — постель для матросов; шьется из белого коечного канифаса, длина ее равна 2 арш. $10\,{}^{1}/_{2}$ верш., а ширина 1 арш. 8 верш., глубина подвешенной койки 12 верш. Шьется из двух полотен, причем одно разрезывается продольно и вместе с балтами наставляется к краям другого полотна, так что швы приходятся по обеим сторонам койки. Принадлежность койки: пробковый матрац, подушка, одеяло и простыня. Все эти вещи закатываются в койку. *Койки наверх*! — по этому приказанию койки, скатанные, выносятся наверх своими хозяевами для укладки их на место, в коечные сетки.

Кок — повар, который готовит на судах пищу для матросов.

Колдунчик — флюгарка из перьев на штоке, который ставится на наветренной стороне мостика; по этой флюгарке определяют направление ветра. Способ весьма неточный, потому что флюгарка увлекается ходом судна и не показывает верного направления ветра.

Водолазный колокол — аппарат, имеющий форму колокола и открытый снизу. Внутри его помещается человек и в нем опускается на дно моря. Воздух под колоколом возобновляется посредством воздушного насоса, соединенного гуттаперчевой трубкой с аппаратом.

Комендор орудия — нумер, распоряжающийся действием орудия; он наводит орудие и производит выстрел. Это, собственно, первый комендор, а 2-й комендор стоит рядом с первым, по правую сторону, и заведует клином или подъемным винтом. На обязанности комендора лежит исправное содержание орудия со всею принадлежностью. Он же должен знать, как обращаться со спасательным линем, фалшфеером и сигнальной ракетой, а также уход за цепными канатами. Для образования комендоров существует особая школа при артиллерийской команде.

Комиссар — чиновник на корабле, заведующий провизией; он состоит под ведением ревизора.

Компас — прибор, по которому правят кораблем, определяют направление предметов и проч. Изобретение его весьма древнее; сведение о нем в Европу доставлено итальянцем Флавио-Жойя, который жил около 1300 года по Р. Х. Некоторые предания свидетельствуют, что еще в двенадцатом столетии этот инструмент был в употреблении в Европе. Главные части компаса: *стрелка* с наклеенною на нее *картушкой, котелок* и *шпилька*, на которую накладывается центром картушка со стрелкой.

Конвоир, или *конвоирующее судно* — сопровождающее.

Кондуктор — воспитанник высшего класса технического училища морского ведомства.

Конец — всякая свободная снасть небольшой длины.

Консул — агент от правительства одного государства, назначаемый для охранения торговых интересов подданных этого государства за границей.

Контра-брасы — брасы спереди реев; так, например, у грота-рея, а на больших клиперах — и у фока-рея, контра-брасы по-

стоянные н проводятся в помощь заднни брасам, чтобы легче было бросать реи.

Корабельный инженер — строитель военных судов.

Корабль — всякое судно вообще называется кораблем. Собственно же корабль есть трехмачтовое военное судно, ныне изгнанное из употребления, как невыгодное для боя, потому что высокий борт корабля представляет слишком большой щит для неприятельских выстрелов. Корабли прежде были трех рангов: 74-х-пушечн. и 84-х-пушечн., двухдечные, н стопушечные, т. е. носившие от 110 до 120 пуш.— трехдечные. Последние начали строить испанцы. История в первый раз упоминает об испанском корабле «Филипп», с тремя рядами пушек, который находился в битве при Азорских островах с английским кораблем «Ревендж» в 1591 году. В каждом из трех рядов было поставлено по одиннадцати пушек на стороне н, кроме того, находилось 8 погонных портов в носу и были порты в корме. В Англии первый 3-х-дечный корабль построен в 1637 году. *Адмиральский*, или *флагманский корабль* — корабль, на котором адмирал, флагман имеет свой флаг и местопребывание.

Корвет — трехмачтовое военное судно с открытою батареею. По новой классификации военных судов такого типа более не существует.

Корма — задняя оконечность судна; смотря по форме своей, бывает: круглая, четыреугольная и заостренная.

Корсар — морской разбойник, грабящий коммерческие суда; слово заимствовано от итал.: corsare, corso; так назывались варварийские разбойничьи крейсеры в XVI столетии.

Кортик — ручное оружие, носимое всеми офицерами флота н корпусов, а также чиновниками морского ведомства при сюртуке.

Кочегарня — отделение в машине перед котлами: из этого отделения заряжаются топки и поддерживается в них огонь.

Кочегар — так называются те из машинной прислуги, которые назначаются собственно для ухода за котлами.

Кошка — конец, имеющий девять хвостиков. Прежде кошкой наказывали виновных.

Крамбол, иначе *кранбал-брус*, поддерживаемый снизу кницей (называемой санортус). Он прикреплен к скуле судна н служит крепом для подъема якоря. Крамболы бывают и железные, переносные, похожие с виду на шмон-балку. *На левый крамбол. На правый крамбол.*— Выражения, которыми определяют положение предмета или судна относительно того судна, на котором находятся. Судно видно на правый крамбол,— значит, оно находится на той линии, которая мысленно продолжена по направлению крамбола.

Крейсеровать — плавать в известном месте или между определенными местами моря. *Крейсерство* — плавание в определенном районе.

Кренометр — инструмент для измерения крена. Состоит из свободно висящей медной стрелки, вращающейся в центре дуги

сектора; дуга разделена на градусы; середина обозначена нулем.

Крен — наклонение судна набок.

Крепить паруса — завертывать их или свертывать по реям, мачтам и проч., когда они были распущены, т. е. поставлены или отданы.

Крепление орудий по-походному — такое крепление, при котором орудия во время качки остаются неподвижными.

Крюйт-камера — погреб на корабле, где хранится порох; обыкновенно устраивается в подводной части корабля.

Крюйт-камерный фонарь — фонарь, которым освещается крюйт-камера; их обыкновенно бывает 2 или 4. Зажигаются вне крюйт-камеры, в особых отделениях.

Крюк! — приготовительная команда на шлюпке перед командой шабаш! По команде: *крюк!* баковые кладут весла, берут крюки и становятся во весь рост на своих местах. На четверках, шестерках, гичках, вельботах-двойках и тузах «крюк» не командуют.

Кто гребет? — оклик, который делает часовой (от спуска до подъема флага) проходящей мимо или подходящей к судну шлюпке.

Кубрик — самая нижняя жилая палуба на корабле; ниже ее идет трюм.

Купец — купеческое судно.

Курс — путь, по которому корабль плывет. Относительно ветра курс бывает: *бейдевинд*, когда угол, составляемый направлением судна с ветром, менее 8 румбов; *галфинд*, или *пол-ветра*, когда этот угол равен 8 румбам; *бакштаг* — от 8 до 16 румбов и *фордевинд* — когда ветер дует прямо по направлению движения судна. *Продолжить курс* — определить по карте направление, по которому надо идти.

Лавировать — идти по ломаной линии, ложась то на правый, то на левый галс бейдевинда.

Лаг — инструмент, имеющий вид сектора, служит для измерения переплытого расстояния. Устройство его основано на том, что при равномерном ходе по расстоянию, пройденному кораблем в минуту или в пол-, четверть минуты, можно судить о расстоянии, проходимом в час.

Лаг — борт судна; говорят, например, поворотиться лагом, стать лагом, навалил лагом и проч.

Лаг-линь, или *лаглинь* — линь, который привязывается к лагу (сектору). Он развязывается обыкновенно так: от вершины сектора оставляют на лине расстояние, равное длине судна или несколько более, и кладут в этом месте марку, т. е. ввязывают кусок флагдука. От этого флагдука измеряют линь на части в 48 фут, т. е. немного меньше $^{1}/_{120}$ итальянской мили. По размерении его таким образом, через каждый 48 фут вплесниваются кончики веревок с узелками: одним, двумя, тремя и т. д., почему и самые расстояния называются узлами. Каждый узел делится

пополам и в средину ввязывается петелька, означающая половину узла, каждая половина опять делится пополам, и ввязывается кончик, означающий четверть узла. Сколько узлов высучит лаглиня в течение 30 секунд, столько миль судно проходит в час. Объясняется это тем, что 30 секунд составляют $^1/_{120}$ часть часа, и узел тоже почти $^1/_{120}$ часть мили ($1^3/_4$ версты). Принято считать узел в 48 фут, а не в 50,7, как бы следовало для того, чтобы судно считало себя всегда несколько впереди настоящего места, т. е. ближе к опасности. Лаглинь наматывается на вьюшку. *Бросить лаг* — выражение, употребляемое на судне, значит бросить сектор в воду, набрав бухточку линя, и замечать по склянке, сколько высучить в вышки линя; короче сказать, измерить ход судна в данный момент.

Лайба — простая большая чухонская лодка, с одною и с двумя мачтами, на каждой из которых по одному парусу. Эти лодки, до введения пароходов, употреблялись в окрестностях Петербурга для перевоза дров, сена и т. д.

Лапа у якоря — лопасти, которыми заканчиваются рога якоря.

Лебедка — небольшой брашпиль, назначенный и приспособленный к подъему тяжестей.

Леер — туго вытянутая веревка, у которой оба конца закреплены. Употребление лееров весьма разнообразно: они служат для постановки косых парусов, как-то: кливеров и стакселей, и смотря по тому, какой из парусов по ним ходит, называются кливер-леером, стаксель-леером. Леера пригбиваются к реям (эти бывают и из прутового железа), и за них привязываются прямые паруса; белье и койки поднимают для просушки на *бельевых* и *коечных* леерах, и, наконец, леера протягивают вдоль палубы, во время качки, чтобы люди могли держаться.

Лежать на боку — говорится о судне, когда оно наклонено.

Лежать на таком-то румбе — говорится о судне или о другом предмете, видимом по такому-то румбу.

Лейтенант — второй офицерский чин в русском военном флоте. Золотые эполеты с тремя звездочками, погоны имеют одну продольную полосу и те же три звездочки.

Линь — тонкая веревка, трехпрядная, тоньше одного дюйма. *Лот-линь* — линь, привязываемый к лоту. Этим линем измеряется глубина моря.

Лисель — паруса, ставящиеся с боку прямого паруса, как-то: брамселя, марселя и фока; сообразно с этим называется: брам-*лисель*, марса-*лисель* и ундер-*лисель* — последний бывает четыреугольный, как и все предыдущие, и треугольный; в первом случае он растягивается по выстрелу, во втором имеет вид треугольника, обращенного вниз вершиной. На мелких купеческих судах иногда ставят летучий ундер-*лисель*, особенно в свежий ветер, потому что во время качки и когда судно рыскает, выстрел зарывается в волнах. Ставится летучий ундер-*лисель* следующим образом: к углам нижней шкаторины обыкновенного ундер-*лиселя* привязывают реек одной с ней длины, а к концам

рейка прншлескивают концы шпрюйта, длиною несколько более длины рейка; за середину шпрюйта привязывают задний выстрел-*брас*. Такой ундер-*лисель* часто, при большом волнении, носят совершенно сухой.

Лотовый — человек, который бросает лот.

Лот (от г о л л. lood) — свинцовая гиря конической формы; в основании имеет гаечку, в которую перед опусканием лота кладут сало. К салу пристает песок, ракушка, камень и проч., и таким образом, вместе с глубиной, лотом определяется характер грунта. Для малых глубин употребляется ручной *лот*, а для больших дип-*лот*, отличающийся от первого только бо́льшим весом. Есть еще Массеев *лот*, или лен, изобретенный Массеем. Он употребляется для определения больших глубин. *Лот-линь* — линь, привязываемый к лоту; он размерен или развязан на сажени, которыми принято выражать глубину. *Бросать лот* — измерять глубину.

Лоция — руководство в прибрежных плаваниях, как-то: в шхерах, заливах, проливах, при входах в портах и вообще в морях, стесненных берегами, усеянных островами, мелями, подводными камнями, отмелями и проч. Лоция дает сведения о глубине, грунте дна моря, якорных местах, о течениях, их направлении, времени большой и мелкой воды, о фарватерах и створах на них — одним словом, доставляет сведения о всем, что служит руководством к безопасному плаванию в тех местах, для которых лоция изложена.

Лоцман — моряк, хорошо знающий характер известного прибрежья и все местные проходы и фарватеры.

Люк — так называется как отверстие в палубе, служащее для схода вниз или для освещения палуб,— светлый *люк*,— так и прикрывающая его стеклянная рама или ставня.

Магнитная стрелка — железная или стальная полоска намагниченная. На нее накладывается компасная картушка.

Марса-фал — снасть, которою поднимается марсель.

Марсель — парус, который ставится между марса-реем и нижним реем.

Марсовой — работающий по расписанию на марсе. Старший из матросов марсовых или унтер-офицер называется *марсовым старшиной*. *Грот-марсовой* — который служит на грот-марсе. *Фор-марсовой* — служащий на фор-марсе.

Марс — деревянная площадка, наложенная на мачтовые лонгасалинги. Смотря по тому, какой мачте принадлежит, называется грот-*марсом*, крюйс-*марсом* или фор-*марсом*. *На марсе!* — оклик снизу, чтобы возбудить внимание марсовых.

Мат — бывает тканый, плетеный и шпикованный. Пеньковый ковер или коврик, употребляемый на судах для предохранения дерева или троса от порчи в местах, где они могут подвергаться трению, иногда же и для обтирания ног.

Мачта — самая нижняя стоячая часть рангоута. Бывает деревянная или металлическая; смотря по месту, занимаемому на

палубе, называется: *бизань-мачта* — самая задняя или третья с носа; *грот-мачта* — средияя илн вторая от носа мачта; *фок-мачта* — самая передняя; *фальшивая мачта* — такая, которую ставят на время, вместо потерянной иастоящей мачты; она обыкновенио меиее иастоящей. *Мачты рубить!* — команда иа шлюпке убрать паруса н мачты. Это делается илн когда шлюпка пристает к борту нлн пристанн, нлн когда она шла под парусамн и желает ндти на веслах.

Машинное отделение — отделение, занимаемое машииой.

Маяк — башня с фоиарем; служнт приметным знаком только для судов. На отмелях, ндущих далеко от берега, или иа банках, ставят с этою же целью суда с фоиарями, изываемые плавучнми маякамн.

Меридиан — большой круг, проходящий через полюсы мира, называется небесным меридианом, а через земные полюсы — земным.

Мертвый якорь — якорь нли другой груз, положеныий на каком-либо месте с поплавком или бочкой. За последиюю привязываются суда, т. е. стаиовятся иа мертвый якорь.

Мертвый штиль — такое состояиие погоды, при котором вода представляет совершенио ровную, гладкую поверхность.

Миля (морская) — равна $1^3/_4$ версты.

Мичман — первый офицерский чин в русском воеином флоте.

Держаться в море — говорнтся о судие. Значит, не входить в порт, а оставаться в море по какнм-лнбо прнчннам, напрнмер, по случаю тумаиа, темиоты и проч. *Идти в море* — говорится о судие, оставляющем порт.

Морской разбой, или *пиратство* — разбирается по законам того государства, которому прииадлежит судно, захватившее пирата. Пираты, употребившие оружие, подвергаются смертиой казин. Судно, подозреваемое в пиратстве, может быть остаиовлено, ио невннио заподозреиный может взыскивать убыткн за остановку.

Мостик — иа судах устраиваются мостики между кожухами или бортами, для командира, старшего офицера и вахтеиных иачальннков.

Муссон — периодический ветер, который начниается н кончается всегда в те же времена года.

Навались! — прнказание гребцам на шлюпке грести сильиее.

Найтовить — связывать веревкой, делать найтов.

Нактоуз — шкапок, в котором стонт компас на месте верхией крышки.

Нижние паруса — так называются фок и грот иа судах с прямыми парусамн.

Нижние реи — реи, служащие для нижиих парусов.

Нижняя мачта — собственно мачта без стеиьги н брамстеньги.

Нок — так изывается оконечность всякого горнзонтального

или почти горизонтальиого рангоутного дерева, иапр.: рея, бугшпрнта, выстрела, утлегаря и проч.

Нетчик — отсутствующий иа переклнчке, ие явнвшийся своевремеиио с берега.

Образной — матрос, иазначенный смотреть за образом. Ои прнслужнвает в походной судовой церкви.

Обрезать нос, нлн *корму* — пройти близко перед иосом судиа нли за его кормой.

Обшивка — доскн, которымн обшиты шпангоуты. Обшивка внутренняя — которою обшиты шпангоуты с внутренией стороны, и внешияя — с внешией. Подводная часть судиа, сверх наружиой обивкн, обнвается меднымн листами, это называется медной *обшивкой* или металлической.

Овер-штаг поворот — состонт в том, что судно, лежавшее, положим, левым галсом, помощью руля и особого расположеиия парусов, катится влево, пока ие пройдет бейдевннд на правый галс.

Огни открыть! — команда, по которой одновременно ставятся на места отличительиые огнн (боковые), а топовой поднимается иа топ.

Одежда (матросская) — разлнчается на зимиюю и летиюю. Знмняя состонт в нашем флоте нз синей флаиелевой рубахи, черных брюк и шннели (иа берегу). В море шинель не полагается, а вместо нее выдается буршлат (укороченное пальто). Летияя состоит нз белой рубахн с снннм воротником и такими же обшлагамн, белых брюк и полосаткн.

Одержать нли *одерживать* (говоря о руле) — уменьшнть быстроту, с которой катится судно, когда положен руль право нли лево. По комаиде *одерживай!* рулевой отводнт руль, ставит его нли прямо, нлн близко к этому положеиию.

Острога — копье, которым бьют кнтов и крупиых рыб.

Отваливать — отойти иа судне или шлюпке от прнстаин или от борта судна. На шлюпке обыкновенно командуют для этого: *отваливай!* — по этой команде баковый или двое баковых берут крюки и ими отваливают нос шлюпки от борта судна или от прнстаии.

Отдать якорь! — команда, по которой бросают в воду якорь.

Отдать паруса — распустить сезни, которыми паруса были привязаиы.

Отдать снасть — отвернуть снасть с киехта, с утки и проч., где оиа была завернута.

Отдать якорь — бросить якорь в воду.

Вахтенное отделение — половнна вахты нли четверть всей судовой команды.

Открытый рейд — рейд, ие защищенный от ветров и волнения.

Открыть берег — увндеть, рассмотреть очертанне берега.

Отлив — ежедневное периоднческое правильное движение моря, состоящее в том, что во всяком месте морские воды

в продолжеиие шести часов постояиио возвышаются и, достигнув иаибольшей высоты, сохраняют ее около семи минут; после того в продолжение шести часов оии понижаются и в иебольшом поиижеиии остаются около семи мииут; потом снова повышаются и т. д. Таким образом, море каждые сутки два раза повышается и два раза понижается. Движеиие, действием которого море возвышается, назваио *приливом*, то же, которым понижается,— *отливом*. Состояиие моря при иаибольшем возвышении иазывается *полной водой*, а при иаибольшом поиижеиии — *низкою* или *малою водою*.

Отличительные огни — морские паровые суда иа ходу обязаиы иметь: иа фор-марсе — яркий белый огоиь, иа правой сторои — зелеиый огонь, иа левой сторое — красиый огоиь.

Отмель — пологость, идущая от берега в море, иа которой глубииа меиее 5 сажеи.

Отряд — несколько судов, плавающих соедииеиио, составляют отряд.

Отстаиваться — стоять в порту, в бухте или на рейде, в ожидаиии благоприятиых условий для выхода в море, иапр., попутиого ветра, высокой воды, когда стихиет жестоко дующий ветер и проч.

Отходить (говоря о ветре) — делаться попутиым.

Отшедшая широта — широта, от которой судио отправилось.

Отшедший пункт — пуикт, от которого судио отправилось.

Очистить снасть — распутать, освободить ее.

Ошвартоваться — привязаться к берегу или пристаии помощью перлиней или кабельтовов.

Паз — долевая щель между соприкасающимися досками или брусьями у иаружиой обшивки и у палубиой иастилки; его коиопатят и заливают смолой.

Палуба — помост или пол иа судах. На палубе военных судов ставят артиллерийские орудия. *Верхняя палуба* — или оиердек; иосовая часть ее изывается баком, затем следует шкафут, потом шкаицы и, иакоиец, самая кормовая часть верхией палубы иазывается ютом; кормовой борт — иазывается бортом.

Пампуши — большие башмаки, сшитые из кожи, войлока или сплетеииые из волос; иадевают их иа сапоги, когда идут в крюйт-камеру или в пороховой погреб, где храият порох, мякоть и прочие огиестрельиые вещества; пампуши нужны для предосторожиости, чтобы от шаркаиья сапогов по полу ие произвести искры.

Парадный трап — трап с правой стороны воеииого судиа.

Параллель — малый круг, параллельиый экватору.

Паруса. Верхние паруса — паруса выше нижиих. *Задние паруса* — так изываются паруса иа грот- и бизаиь-мачтах, в отличие от парусов фок-мачты, изываемых передиими. *Крепить паруса* — прямые паруса крепятся по реям, т. е. гитовами и гордеиями подтягиваются к своим реям и там скатываются и связываются сезиями. Косые паруса или опускаются вниз и крепят-

ся по утлегарю, по бугшприту, по топу мачты н проч., или гитовамн подтягиваются к свонм гафелям н по мачтам н там крепятся сезнями. *Нижние паруса* — фок н грот. *Отдать паруса* — отвязать сезин, которымн паруса закреплены. *Паруса полощет* — выраженне, означающее, что паруса не стоят, что нх не надувает ветром, а треплет; это случается, когда ветер дует под очеиь малым углом к поверхиостям парусов. *Форсировать парусами* — нестн бóльшую парусиость, чем позволяет сила ветра.

Парусная каюта — каюта, в которой хранятся запасные паруса.

Парусник — мастеровой, который шьет паруса.

Парусное судно — судно, плавающее исключительно под парусамн.

Парусность — все паруса одного судна составляют его парусность. Сумма площадей всех парусов — площади парусности.

Пассажир — лицо, не входящее в состав судовой команды. Этнм нменем в военном флоте, в иасмешку, называют моряков, не ннтересующихся своею специальностью, плавающих в составе команды, но небрежно отиосящихся к свонм судовым обязаииостям.

Пассатный ветер — ветер, который сохраняет свое направление постояиио, в течение целого года; пассаты встречаются в Атлантическом н Тихом океанах. В первом между 29°н 8°северной шнроты дует постоянный северо-восточный пассат, н между 3°северной н 28°южн. шнр. такой же постоянный юго-восточный. Страна между 8°н 3°сев. шир., разделяющая северо-восточный пассат от юго-восточиого, отличается совершенным безветрнем, прерываемым только по временам сильнымн порывами ветра илн шквалами, а потому эта страна называется поясом тишнны или безветрня.

Пеленговать — замечать по пель-компасу румб, на который с судна вниден какой-лнбо предмет. *Пеленг* — угол, заключенный между магннтным меридианом н румбом, на котором вниден предмет.

Переборка — перегородки, разделяющие трюм н частн палуб на каюты или отделеиня, назначенные для храиення различиых предметов.

Пересечь экватор — пройтн экватор.

Переход — плаванне от одного порта или места до другого.

Перлинь — ваитрос толщиною от 4 до 6 дюймов.

Перты — род шпрюйтов под реями, на которых стоят люди при креплеиии парусов.

Пика — трехграниое железо, насаженное иа длииное древко; одно из употребнтельнейших абордажных оружнй.

Плавучий маяк — судно, поставленное иа якорь вблнзн опасиости н прнспособлеииое специально для того, чтобы служить маяком.

Пластырь для заделывания пробоин — нзготовляется из двойной парусииы и шпикованного мата. Подводится под про-

боииу иа четырех коицах троса парусииою к пробоиие, а матом киаружи. Нажимается давлеиием воды.

Плехт — правый стаиовой якорь.

Пли! — команда, по которой первый комендор сильиым и вериым движеиием руки иатягивает шнур от трубки и в то же время приставляет левую иогу к правой так, чтобы иаходиться вие отката орудия.

Поворот — переход с одиого галса иа другой; если при этом корабль переходит лииию ветра иосом к ветру, то такой поворот иазывается *оверштаг*; если же кормою к ветру, то — *через фордевинд*.

Давать погиб — давать выпуклость.

Подать конец — бросить веревку пристающей к борту шлюпке, на пристаиь, другому судну и проч.

Подветренная сторона.— Если судио идет правым галсом, то левая его стороиа иазывается подветреииой и обратио.

Подветренный берег — отиосительио идущего судиа, иапр., левым галсом, берег, иаходящийся с правой стороиы, будет подветреиным, а с левой — иаветреииым.

Поддерживать пары — загрести жар в топках.

Поднимать пары — растопить хорошеиько топку, чтобы в котле образовалось больше пару.

Подтянись к борту! — приказание шлюпке подтянуться, помощью крюка, к борту судиа.

Подушка — всякий мешок, сшитый из парусииы и иабитый пенькой иаподобие обыкиовеииой подушки; подкладывается в тех местах, где трутся между собою два дерева.

Подшкипер — помощник шкипера или самостоятельиый содержатель уитер-офицерского зваиия.

Пожарная тревога — вызов людей по расписаиию для тушеиия пожара. Команда вызывается по звоиу в колокол.

Позывные — флаги для распозиаваиия судиа.

Истинный полдень — момеит, когда солице достигнет иаибольшей высоты.

Штилевые полосы — полосы океаиа, в которых господствует штиль. Более всего известиы *экваториальные штилевые полосы*.

Полубаркас — второй баркас, иесколько меиьших размеров против первого.

Полундра! — окрик сверху вместо «берегись!», когда чтоиибудь падает.

Помпа — постояииый, остающийся всегда иа одиом месте, иасос; называется так в отличие от переиосиого иасоса, называемого брандспойтом.

По местам! — приготовительиая команда перед каким-либо судовым маиевром: *«По местам к повороту!»*, *«По местам, паруса отдавать!»* и проч.

Попутный ветер — ветер, дующий в корму или почти в корму.

Порт — отверстие в борту судиа для орудия. Так же изывается место, имеющее рейд или гаваиь для судов.

Поручень — деревяииый брус илн металлнческнй прут, прнкрепленный к вершииам стоек у трапов или мостика.

Послушное судно — хорошо слушает руля.

Потравить — дать слабину сиасти.

Пошел все наверх! — вызов всей команды наверх для нсполиеиия какого-лнбо маиевра; прн вызове прнбавляется всегда, для чего команда вызывается, напр., рифы брать, паруса крепить н проч.

Пошел шпиль! — команда для иачала вращення шпиля.

Править — иаправлять курс корабля. По-славянскн: кормаинти.

Править вахтой — дежурнть иа судие, стоять на вахте.

Право на борт! — команда, по которой кладется руль право насколько можно.

Прекратить пары — выгрести жар нз топок.

Претензия — заявление на смотру илн иа *опросе претензий* о иезаконных н иесправедлнвых действнях н распоряженнях иачальства, о неудостоеннн за службу прав н преимуществ илн о неудовлетвореннн положенным довольствнем.

Привести к ветру — взять курс, относнтельио ветра, ближе к ветру, ближе к лииии бейдевинда.

Придерживаться к ветру — идти блнже к лнннн ветра.

Принайтовить — скрепнть иайтовом.

Принять волну — выражеине, употребляемое, когда волна закатится иа палубу.

Приспуститься — ндя под парусамн бейдевннд, увелнчить угол, составляемый направленнем ветра с курсом.

Прокладывать по карте — иаиоснть иа карту курс судна, пришедшнй пуикт н проч.; самое действне называется прокладкой.

Проложить курс — помощью траиспортира н лниейкн провестн на карте черту, соответствующую курсу судна.

Противное волнение — волненне, направляющееся против курса.

Противный ветер — дующий по направленню, протнвиому курсу судна.

Прямо руль! — поставнть руль в днаметральной плоскостн.

Прямой парус — парус, который прнвязаи к рею н может быть поставлен поперек судна; таковы: инжние паруса, марселн, брамсели н бом-брамселн.

Прямые паруса — паруса, которые прнвязываются к реям н могут быть поставлеиы поперек судиа.

Пузо — выпуклость паруса, когда ои надут ветром.

Пункт — место корабля на карте.

Путевой компас — компас, по которому правят судном.

Равноденствие — два времени в году, в которые день равеи ночн. Одно нз равиоденствнй, называемое жителямн северного полушарня весеиним, всегда 10—23 марта, другое, иазываемое осеинни, 11—24 сеитября.

Разводить пары — затопить топки и поддерживать огоиь, пока ие образуются пары в котле.

Снасти разбирать! — команда, по которой сиасти убираются, каждая в свою бухту; это делается после авральиой работы, когда сиасти еще ие успели порядочно сложить.

Разружить, разружать — сиять с судиа такелаж и спустить раигоут.

Рассыльный — отряжаемый с вахты матрос специальио для посылок вахтеииого иачальиика.

Рангоут — мачты, сиасти, реи, бугшприт и проч. деревья, иа которых ставят паруса.

Рандеву — место встречи или соедииеиия судов.

Расклепать цепной канат — разъедииить каиат в местах соедииения, т. е. у скобы; выколотить расклепку у скобы.

Расписание — распределеиие людей иа судие для различных работ и для заведываиия различиыми частями.

Расцветиться флагами — подиять флаги в честь победы, или царского дия, или особо высокого праздника.

Ревизор — офицер, заведующий хозяйствеииой частью иа корабле.

Рей (рея) — раигоутиое дерево, подвешеииое за середину и служащее для привязываиья паруса.

Рейд — часть моря, защищеииая берегом и островами или молом от ветра. Если рейд ие хорошо защищеи от ветра, или ие вполие, то иазывается открытым; в противиом случае — закрытым.

Риф — гряда камеиьев иа поверхиости воды; если оии скрыты под водой, то риф иазывается подводиым. По-славяиски: гребеиь.

Риф — леер у паруса или ряд сезией, посредством которых площадь паруса умеиьшается. *Взять рифы у паруса* — умеиьшить площадь паруса, связывая риф-штерты или между собою, как у косых парусов, или за леер, как у прямых. *Отдать рифы* — развязать риф-штерты, которыми были взяты рифы.

Ровный ветер — ветер без порывов.

Ростры — собраиие запасных деревьев иа судие, как-то: стеиег, реев, шкал и пр.; укладываются иа судах различио, ио большею частью, между фок- и грот-мачтами, так что между иими остается место для баркаса и других шлюпок, подиимаемых иа палубу.

Рубашка паруса — середиина закреплеииого прямого паруса.

Рубка — каюта иа верхией палубе или полукаюта под люком.

Рулевой — человек, который правит рулем. *Рулевой старшина* — старший из рулевых, иа обязаииости которого лежит исправиое содержаиие штурвала, штуртроса, пактоузов и всего, что касается руля.

Руль — прежде иазывали — кормило; по-славяиски кармаиь. Прибор для управлеиия судиом. *Прямо руль!* — приказаиие рулевому, чтоб он поставил румпель (прямой) в диаметральную плос-

кость. При этом положении стрелка аксометра показывает нуль. *Не зевать на руле!* — напоминание рулевому, чтобы он не дремал. *Право руль!* — приказание поворотить румпель вправо. *Руль на борт!* — приказание поворотить румпель как можно больше вправо или влево, смотря по тому, *«право на борт!»* или *«лево на борт!»* было скомандовано.

Румб — румбом называется всякое направление от центра видимого горизонта к точкам его окружности. Из множества румбов 32 носят особые названия, и в числе их 2, именно О, W называются главными. Под словом румб подразумевают весьма часто величину угла между двумя румбами; в этом смысле говорят: один румб равен 11°15′; два румба — 22°30′ и т. д.

Румпель — деревянный или металлический брус, надеваемый на голову руля; служит он рычагом для поворачиванья руля вправо или влево.

Рупор — ручная трубка, сделанная из меди или жести, в виде усеченного конуса; служит для увеличиванья громкости голоса. Рупор употребляют во время командования, при управлении на судне парусами, чтобы произносимые командные слова на всем пространстве судна были слышны.

Руслени — площадки, приделываемые снаружи борта судна, на высоте верхней палубы; служат для отвода вант.

Рым — железное кольцо, вбиваемое в разных местах судна для закрепления за него снастей.

Рыскать — говорят, что судно рыскает, если оно виляет то в одну, то в другую сторону.

Ряжи — подводное заграждение, большею частью состоящее из свай, вбиваемых в грунт.

Садить — тянуть вниз; чтобы вытянуть фока или грота-галса, командуют: фока и грота галсы *садить*!

Сажень — морская сажень имеет 6 фут.

Салинг — рама, состоящая из продольных брусков, называемых лонгасалингами, и из поперечных, называемых краницами. Надевается на топ стеньги и служит для отвода брам и бом-брам бакштагов.

Салют — отдание почести лицу, событию или флагу установленным числом выстрелов. Коммерческие суда при встрече друг с другом или с военными судами салютуют флагом, т. е. приспускают и подымают до места три раза кормовой флаг.

Свалиться — сцепиться с другим судном.

Свистать.— Команда на судах вызывается на верх свистком в дудки; таким же свистком сопровождается всякая работа.

Свисток — действие, производимое дудкой. Так же называется и самая дудка, составляющая принадлежность унтер-офицеров на судне.

Секстан — отражательный и угломерный инструмент, принятый на судах для астрономических наблюдений.

Сигнал — всякие переговоры или предупреждения на отдаленном расстоянии. *Поднять сигнал* — поднять в известном

сочетании сигнальные флаги. *Сигнал с пушкой* — если вместе с подъемом сигнала производится пушка, то это означает: или что требуется скорое исполнение, или — выговор. *Сигнальная книга* — книга, по которой можно как сделать, так и разобрать всякий сигнал. *Сигнальная пушка* — пушка в известный условленный момент, напр., для начала гонки. *Сигнальная ракета* — служит приготовительным сигналом для сигналов на дальнем расстоянии, которые производятся пушечными выстрелами.

Сигнальщик — матрос, который имеет специальное назначение следить за всем окружающим и делать сигналы по приказанию вахтенного начальника.

Сирокко — так называется в Средиземном море юго-восточный ветер.

Систерна — железный ящик; в систернах на судах хранится пресная вода.

Склянка — песочные часы. Состоят из двух стеклянных конусов, соединенных между собою их вершинами и заключенных в деревянную или металлическую оправу. Оба конуса имеют друг с другом сообщение сквозь отверстие в их вершинах; в один из конусов насыпается мелкий и сухой песок в таком количестве, чтобы он пересыпался в другой конус в определенное время, например, в 30 сек. или в 15 сек., если склянки держать вертикально. Больших размеров склянки, как-то: получасовые, часовые и четырехчасовые, заменяли в старину часы на часах и давно вывелись из употребления, уступив место пружинным стенным часам. Несмотря, однако, на это, выражение *склянка*, означающее получасовой промежуток, до сих пор употребляется на судах.

Скрябка — инструмент, служащий для отскабливанья старой краски от борта, смолы с палубы и проч.

Скула.— Выпуклости в передней подводной части судна называются скулами.

Слабину выбрать! — приказание вытянуть снасть, чтобы она не имела слабины.

Следовать движениям адмирала — делать то, что делается на флагманском судне; например, если там ставят дождевые тенты, то следует их ставить и на судне, находящемся на одном рейде с адмиралом; если у адмирала команда в белых рубашках, то следует и судовую команду переодеть одинаково, и проч.

Смерч — водяной столб между небом и водой; состоит из двух конусов, сходящихся вершинами. Явление смерча сопровождается вихрем.

Вперед смотреть! — напоминание часовым, чтобы они не дремали. Последние отвечают: *есть, смотрим!*

Снасти — все тросы, входящие в вооружение судов и служащие для постановки и уборки парусов, для подъема и спуска рангоута.

Снасть — веревки, служащие на судне для постановки и уборки парусов и имеющие специальные назначения; называются вообще снастями. *Отдать снасть* — отвернуть ее с кнехта или с

утки, иа которых оиа была завернута, закреплеиа. *Очистить снасть* — распустить ее, если бы оиа была спутаиа с другими сиастями или задела за раигоутиое дерево.

Снайтовить — соедииить иайтовом.

Снять вахту — прииять дежурство по судиу от другого.

Сняться с дрейфа — продолжать плаваиие после того, как судио лежало в дрейфе.

Собачья дыра — отверстие, люк в марсе, через который пролезают с ваит иа марс.

Содержатель — иа воеииых судах бывают содержатели по шкиперской, комиссариатской и артиллерийской части; последиий иазывается вахтером, первый шкипером или подшкипером и второй комиссаром или баталером.

Солнечный тент — теит, который ставится иа судие или шлюпке для защиты от солица.

Солнцестояние — точки, в которых солице бывает в иаибольшем удалеиии от экватора.

Спасательная лодка — бот для спасаиия погибающих.

Спасательный буек — буек, иазиачеииый для подаиия помощи утопающему или упавшему в воду. Бывают различиых форм и устройств.

Спасательный пояс — пробковый пояс или иагрудиик, надеваемый в случае опасиости быть смытым с палубы или другим образом опрокинутым в воду.

Сплесень — соедииеиие двух веревок; чтобы сделать сплесеиь, коицы распускают иа пряди и пряди одиого коица пробивают в переспущеииые пряди другого, а пряди этого последнего пробивают в переспущеииые пряди первого.

Сплескивать — сращивать две веревки, делая сплесеиь.

Спускаться — отходить от лииии ветра, составлять угол курса с иаправлеиием ветра больший; напр., если судно шло бейдевинд и легло бакштаг, то оио спустилось.

Спустить баркас — подиять его с палубы судиа и спустить иа воду.

Срубить мачты — в переиосном зиачеиии: убрать мачты, если оии были поставлеиы иа шлюпке.

Стаксели — треугольиые паруса, подымаемые по лееру или по штагу.

Стационер — судно, иаходящееся постояиио иа какой-иибудь стаиции в заграиичиом порту.

Старшина. Баковый старшина — уитер-офицер иа баке. *Марсовой старшина* — уитер-офицер, заведующий марсом. *Рулевой старшина* — старший из рулевых.

Старший офицер — старший после командира флотский офицер.

Стать фертоинг — стать иа два якоря, имея такое количество каиата у каждого, чтобы иос судиа при всех переменах ветра оставался между якорями.

Статья — степеиь матросского звания.

Створ — иаправлеиие, по которому видиы вдруг два или ие-

сколько предметов один за другим, или линия, на которой один предмет закрывается другим.

Стеньга — дерево, служащее продолжением мачты. *Брам-стеньга* — дерево, служащее продолжением стеньги.

Стопорить — остановить тягу снасти, завернуть, закрепить снасть. Остановить вообще какое-либо действие.

Стоп! — команда, которая останавливает какое-либо действие.

Сухая (или *голая*) *мачта* — мачта без реев.

Тайфун — ураган в Китайском море.

Такелаж — общее наименование всех снастей. Такелаж, служащий для удержания рангоута (мачт, реев и т. п.) в надлежащем положении, называется *стоячим*, весь же остальной — *бегучим*.

Тали — снасть, основанная между блоками.

Тендер — одномачтовое судно с далеко выдающимся горизонтальным бугшпритом.

Тент — полотно, или парусина, растягиваемая над палубой для защиты от солнца или дождя.

Тифон — воздушное явление, состоящее из водяного столба, который, подобно вихрю, поднимается с чрезвычайной силой к небу.

Толчея — неправильное волнение.

Тонна — мера вместимости = 60 пудам.

Траверз — направление, перпендикулярное к курсу судна. *Быть на траверзе* — быть на линии, перпендикулярной к судну.

Травить — пропускать снасть, завернутую на кнехте.

Транспорт — судно, имеющее грузовой трюм и назначение преимущественно для перевоза грузов.

Тропики — два малые круга, параллельные небесному экватору и удаленные от него один к северу, другой к югу на 23° 28′. Таковые же два малые круга, параллельные земному экватору и отстоящие от него на 23° 28′, называются земными тропиками.

Трос — общее наименование веревок.

Трюм — самая нижняя часть внутреннего пространства судна.

Узел — величина узла (которыми измеряют пройденное кораблем расстояние) равна 1/120 части итальянской мили, т. е. 50 футам 8 дюймам, но опыт показывает, что при такой величине узлов скорость получается всегда меньше настоящей, почему постановлено делать расстояние между узлами в 48 ф. (см. *лаг-линь*).

Уключины — вырезки в бортах для весел или металлические сектора, вставляемые на бортах шлюпок.

Ураган — особый род ветра, отличающийся необыкновенной силой и производящий вследствие того самые ужасные и разрушительные действия. Скорость его доходит до 120 футов в

секунду. Ураганы образуются чаще всего в тропнках н преимущественно в двух странах: прн Антильскнх островах, в Мекснканском залнве н в Индийском океане. Время, в которое онн наиболее свнрепствуют, есть равноденствне.

Утлегарь — дерево, служащее продолжеинем бугшприта.

Уходить (убежать) от волны — идя фордевннд, нестн столько парусов, чтобы волна не могла догнать судна.

Фалреп — тросы (веревки), заменяющие поручнн у входных трапов. Матросы, иазиачаемые с вахты для подачи фалрепов, иазываются *фалрепными*.

Флагман — лицо, командующее эскадрой.

Флагманский корабль — судно, иа котором флагман держнт свой флаг.

Фок — самый инжнний парус иа передией фок-мачте.

Фок-мачта — передняя мачта.

Фордевинд — ветер, дующий прямо в корму нли по курсу судиа.

Форштевень — дерево, составляющее переднюю оконечность судна.

Фор — слово, прнбавляемое к наименоваиням реев, парусов н такелажа, находящихся выше марса фок-мачты.

Фрегат — военное трехмачтовое судно, имеющее одну закрытую батарею.

Фрегат — большая морская птица нз породы чаек.

Фут — мера длнны. В морской сажени 6 ф.

Ходом! — Приказанне скорее тянуть что-ннбудь илн вертеть шпиль.

Хронометр — тщательно сделанные морскне часы, подобные обыкновениым карманным, ио отличающиеся от них более правнльным ходом, мало измеияющимся от изменення температуры.

Шабаш — окончанне работы.

Шаланда — небольшое грузовое судно.

Швабра — метла, сделанная нз хорошо разбнтой ворсы.

Швартов — тяжелый, крепкнй канат, веревка, кабельтов, цепь, завознмый с судна на берег.

Широта — удаленне места от экватора, счнтаемое по меридиану.

Шканцы — часть верхией палубы военного судиа от грот-мачты до бизань-мачты.

Шкаторина — сторона или край паруса.

Шкафут — пространство на верхней палубе между грот- и фок-мачтамн. Середнна шкафута заията рострамн.

Шквал — сильный порыв ветра.

Шкиперская — помещенне на военном судне всех прнпасов, находящихся в веденнн шкнпера.

Шкипер — содержатель казенного нмущества, как-то: такелажа, блоков, чоков, парусов н проч.

Шкот — сиасть, которою рассечивается парус.

Шкуна — судно, нмеющее две или три иаклоиные мачты с косымн парусамн.

Шпигат — сквозное отверстне в борту для стока воды с палубы.

Шпиль — вертнкальный ворот для подъема якорей и других тяжестей.

Штаг — сиасть стоячего такелажа, которая держит раигоутное дерево в диаметральиой плоскостн.

Шторм — буря.

Шторм-трап — трап веревочный, свешиваемый за кормой судна. К этому трапу прнстают шлюпки в очень свежую погоду н большое волиение, когда к борту корабля, без опасиости для шлюпки, пристать нельзя.

Штурвал — механнческое прнспособленне, облегчающее действне рулем.

Штык-болт — тонкая снасть, которой подтягивают баковые шкаторины парусов, когда у последннх берутся рнфы.

Штык-болтный — матрос, находящийся у этой снастн.

Экипаж — команда судиа.

Экипаж — часть строевого состава иа сухом путн, соответствующая в армии полку.

Эллинг — место строения кораблей на берегу, устроенное скатом.

Эскадра — несколько судов, плавающих под иачальством адмирала.

Юнга — мальчик, готовящийся быть матросом.

Ют — кормовая часть верхней палубы, сзади бизань-мачты.

Якорь — прнбор для задержания судна на месте. *Встал якорь!* — значит, отделился от грунта.

Ял — небольшая четырехугольная шлюпка на военном судне.

1897

СОДЕРЖАНИЕ

Леонид Соболев. О Константине Михайловиче Станюковиче 3

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Матросский линч 14
«Человек за бортом!» 41
На каменьях 61
Куцый 78
Исайка 100
Беспокойный адмирал 123
Нянька 234
Побег 295
Максимка 317
«Глупая» причина 347
Два моряка 362
За Щупленького 381
Отчаянный 392
Смотр 411
Блестящий капитан 432
Товарищи 446
Американская дуэль 478

Словарь морских терминов 500

Станюкович К. М.

С77 Избранные произведения. В 2-х т. Т. 1/Вступ. статья Л. Соболева; Ил. худож. А. Тарана.— М.: Худож. лит., 1988.— 527 с., ил.

ISBN 5-280-00087-6 (Т. 1)
ISBN 5-280-00086-8

В первый том двухтомного издания избранных произведений известного русского писателя Константина Михайловича Станюковича (1843—1903) вошли лучшие рассказы о русских моряках.

С $\frac{4702010100-006}{028(01)-88}$ 9-88 ББК 84Р1

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ СТАНЮКОВИЧ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ
ТОМ 1

Редактор *Е. Малинина*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технический редактор *Л. Витушкина*

Корректор *Н. Гришина*

ИБ № 5039

Сдано в набор 20.02.87. Подписано к печати 03.11.87. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Тип Таймс». Печать офсетная. Усл.-печ. л. 27,72. Усл. кр.-отт. 104,58. Уч.-изд. л. 30,71. Тираж 600 000 экз. (2-ой завод 200 001 — 300 000 экз.) Изд. № II-2784. Заказ 204. Цена 2 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93